

ЖОРЖИ
Амаду

ЖОРЖИ
Амаду

3

ЖОРЖИ АМАДУ • СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ТРЁХ ТОМАХ



ЖОРЖИ
Амаду

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ТРЁХ ТОМАХ

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1987

ЖОРЖИ
Амаду

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ТРЁХ ТОМАХ
ТОМ ТРЕТИЙ

ЗАХВАТ ХОЛМА МАТА-ГАТО,
ИЛИ ДРУЗЬЯ НАРОДА

ЛАВКА ЧУДЕС

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ
ПОЛОСАТОГО КОТА
И СЕНЬОРИТЫ ЛАСТОЧКИ

ВОЕННЫЙ МУНДИР,
МУНДИР АКАДЕМИЧЕСКИЙ
И НОЧНАЯ РУБАШКА

ПЕРЕВОД С ПОРТУГАЛЬСКОГО

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1987

ББК 84.7Бр

A 61 JORGE AMADO

A INVASÃO DO MORRO DO MATA GATO
OU OS AMIGOS DO POVO

1964

TENDA DOS MILAGRES

1969

O GATO MALHADO E A ANDORINHA
SINHA: UMA HISTÓRIA DE AMOR

1976

FARDA, FARDÃO, CAMISOLA DE DORMIR

1980

Редакционная коллегия:

*Ю. Дашкевич,
О. Игнатьев,
В. Кутейщикова,
А. Минин*

Составление

И. Тертерян

Художник

В. Пахомов

**ЗАХВАТ ХОЛМА
МАТА-ГАТО,
ИЛИ ДРУЗЬЯ
НАРОДА**

НОВЕЛЛА ИЗ КНИГИ
«ПАСТЫРИ НОЧИ»

**Перевод
ЮРИЯ КАЛУГИНА**

Мы не станем подразделять их на подлецов и героев — да разве можем мы, подозрительные бродяги с рыночного холма, судить о делах, выходящих за пределы нашего разумения? Захват земель Мата-Гато вызвал шумиху в газетах, правительственная партия и оппозиционеры поносили друг друга, восхваляя лишь себя и стремясь извлечь наибольшую выгоду из этой истории. С самого начала, еще до того, как произошло вторжение, никто, казалось, не противостоял захватчикам, никто не выступал против них, а у некоторых, например у депутата от оппозиционной партии Рамоса да Кунья и журналиста Галуба, взявших их сторону, были серьезные неприятности.

Мы не суд и никого не обвиняем, но никто не пытался установить виновного или виновных в смерти Жезуино Бешеного Петуха — слишком все были заняты тем, чтобы достойно почтить его память. Однако мы не присоединим наш голос к хору похвал губернатору и оппозиционерам, владельцу этих участков — старому испанцу Пепе Два Фунта, он же Хосе Перес, владелец нескольких пекарен, скотоводческих ферм и крупных земельных участков, а также доходных домов. Его превозносил в своих стихах Куика как человека великодушного и благородного, способного пожертвовать своими интересами ради блага народа. Можете себе представить?! Изрядную сумму, должно быть, получил поэт, в общем неплохой парень, ничего против него не скажешь, только всегда он готов расхвалить или изругать кого угодно, если ему кинут монетку. А ему, бедняге, обремененному огромной семьей, нужно зарабатывать на жизнь. И мог он это сделать исключительно при помощи своего интеллекта. Он писал истории в стихах, некоторые из них получались удачными, сам набирал и печатал свои творения,

рисовал обложки и торговал книжками на рынке и в порту, выкрикивая названия и расхваливая их достоинства.

Итак, он перевозносил испанца Пепе Два Фунта, забыв упомянуть, почему тот получил свое прозвище, а получил он его потому, что килограммовые гири в его магазинах и булочных весили на самом деле всего восемьсот граммов. Гири эти и положили начало его богатству. Еще Куика перевозносил губернатора, вице-губернатора, депутатов и муниципальных советников, всю прессу, и в частности, бесстрашного репортера Галуба:

Герою Мата-Гато,
Редактору Жако,
Они грозят расплатой...
И это лишь за то,
Что драться он готов
В любое время года
За кров для бедняков...
Галуб — он друг народа!

Куика восхвалял всех или почти всех, кто ему платил, а с Пепе Два Фунта, наверное, сорвал солидный куш. И все же он был единственный из всей огромной армии журналистов, кто упомянул о Бешеном Петухе и его выдающейся роли в этой истории. Газеты и радио ни слова не сказали о нем. Они рассыпались в похвалах губернатору, депутату Рамосу да Купья, отважным полицейским, начальнику полиции, благоразумному и в то же время мужественному и так далее и тому подобное. А о Жезуино ни слова! Только Куика в своей брошюре «Захват земельных участков Мата-Гато, где народ за двое суток построил целый квартал», посвятил ему волнующие строки; ибо Куика, хотя и искажил истину, все же знал, как в действительности разворачивались события, если отбросить хвалебную болтовню и последующие попытки приукрасить происходившее. Бедняга Куика нуждался в деньгах, и ему приходилось поступаться правдой.

К чему осуждать его? Он был популярным на рынке поэтом, сам торговал своими нескладными виршами с убогими, подчас ужасающими рифмами, среди которых иногда сверкала жемчужина подлинной поэзии. Его убеждения менялись в зависимости от того, кто ему платил. Но разве не поступают так же многие крупные популярные поэты, которым даже ставят памятники? Разве не приспособливаются они к сильным мира сего, не продают им свое перо? Такова истина, и пусть она прозвучит

здесь во всеуслышание. Разве не отказываются они от своей литературной школы, своих тенденций, убеждений, взглядов за те самые деньги, за которые менял свои взгляды и Куика? За деньги или власть, роскошь или солидное положение, за премии, рекламу, хвалебные отзывы, не все ли равно?

Мы никого не обвиняем, мы здесь не для этого, а для того, чтобы рассказать историю, разыгравшуюся на холме Мата-Гато, ибо в ней, как во всякой истории, есть забавное и печальное, и об этом все должны знать. Мы не станем лить воду на чью-то мельницу, просто мы были там и знаем правду.

На фоне этих важных событий началась связь (впрочем, началась ли?) Капрала Мартина и Оталии, а также страсть чувствительного Курио к знаменитой индийской факирше мадам Беатрис (родившейся, кстати, в Нитерое¹). Мы намерены рассказать и об этих любовных историях и постараемся связать романтические увлечения Капрала и Курио с захватом земельных участков, принадлежавших ранее командору Хосе Пересу, столпу испанской колонии, достопочтенному сыну церкви, выдающемуся гражданину, пользующемуся влиянием в самых различных сферах баианской жизни. Простите, если здесь вперемежку будут упоминаться губернатор и Тиберия — хозяйка дешевого публичного дома, депутаты и бродяги, солидные политики и озорные мальчишки, депутат Рамос да Кунья и Ветрогон, журналист Галуб и Капрал Мартин, впрочем, произведенный тогда в сержанта Порсиункулу. Иначе поступить мы не можем, события перемешали их всех — бедных и богатых, беззаботных и серьезных, людей из народа и людей, которых в газетах называют друзьями народа. Повторяем, однако: мы никоим образом не собираемся обвинять.

Хотя бы потому, что никто не поинтересовался, кто повинен в смерти Жезуино Бешеного Петуха, чтобы наказать виновного... Оказалось, что все очень заняты тем, чтобы достойно почтить его память. Говорят, будто губернатор, у которого глаза на мокром месте, расчувствовался и всплакнул, обнимая депутата Рамоса да Кунью, своего политического противника, автора законопроекта об отчуждении земель. Однако просиял, когда показался на балконе, чтобы поблагодарить за аплодисменты собравшуюся на площади толпу.

¹ Нитерой — город в Бразилии.

Куика допустил поэтическое преувеличение, когда в длинном названии своей книжки упомянул, будто квартал был построен за двое суток. На самом деле потребовалась неделя, чтобы холм, захваченный первым в Баие, приобрел вид городского квартала. Ныне же Мата-Гато ничем не отличается от других кварталов, там, в частности, высится нарядный фасад пекарни «Мадрид», принадлежащей Пепе Два Фунта,— как раз напротив домика негра Массу. Впоследствии были успешно осуществлены захваты других земельных участков, выросли новые кварталы в районе улицы Свободы, на северо-восток от Амаралины, был захвачен также холм Шимбо у Красной Реки, где вырос поселок. Надо же и беднякам где-то жить, нельзя вечно оставаться под открытым небом; всем нужна крыша, но не все могут платить за аренду.

Ведь и мы, гуляки-полуночники, время от времени должны отдохнуть у себя дома. Нельзя жить без собственного угла, и даже Ветрогон, человек легкомысленный, без определенных занятий, зарабатывающий на продаже лягушек, мышей, змей, зеленых ящериц и прочих тварей, привыкший к ветру и дождю и к ночевкам на песчаных пляжах вместе с мулатками, по которым сходит с ума,— даже Ветрогон, который и сам, как животное, быстро ко всему приспосабливается, почувствовал необходимость иметь какую-нибудь нору, чтобы укрываться в ней. Он явился, если можно так выразиться, предтечей вторжения.

На холме Мата-Гато из листьев растущих там кокосовых пальм, реек, ящичков и других бросовых материалов он соорудил себе подобие хижины и бродил по окрестностям в поисках добычи. В ближайшем овражке не было недостатка в лягушках и жабах, надо было только пройти немного к устью реки. Мышей всех сортов и размеров водилось неподалеку тоже вроде достаточно, в особенности в лачугах вдоль дорог. А в зарослях кустарника на окрестных холмах он мог найти ящериц и ядовитых и неядовитых змей, гусениц, иногда даже зайцев и лисиц. Кроме того, он ловил для себя речную и морскую рыбу, раков и креветок.

Долгое время Ветрогона никто не тревожил. Здесь, вдали от города, у него мало кто бывал, разве что иногда приводил приятеля полакомиться рыбой или девушку полюбоваться луной. Ни разу Ветрогон не попы-

тался узнать, принадлежат ли кому-нибудь эти заброшенные земли и не совершил ли он незаконного акта, воздвигнув там свою жалкую лачугу.

Именно так он и сказал Массу, когда тот пришел однажды по приглашению Ветрогона отведать ухи. Ветрогон отлично стряпал, особенно ему удавалась мокека из морского окуня, красной рыбы, карапебы и гароупы, которых он сам ловил. Он не раз носил в подарок Тиберии и рулевому Мануэлу большие рыбины весом в четыре-пять кило или связки сардин, спрутов и скатов и готовил мокеку на паруснике Мануэла, перебрасываясь шуточками с Марией Кларой, либо в окружении девиц на кухне заведения Тиберии. Уха, сваренная Ветрогоном, всегда получалась такая, что пальчики оближешь!

Иногда он готовил ее у себя в лачуге на Мата-Гато и приглашал полакомиться приятелей. Обычно же он съедал кусок вяленого мяса, немножко муки и рападуры¹. Ветрогон довольствовался малым, а ведь был в его жизни период, когда у него даже вяленого мяса не было — одна рападура да мука. В те времена он бродил по провинции и занимался богоугодным делом — помогал помирать.

Знаете, как бывает: иные упрямы, готовящиеся перейти в лучший мир, долго тянут со смертью, отравляя существование родственникам и друзьям. Возможно, это объясняется тем, что они должны расплатиться за грехи и нуждаются в молитвах. И Ветрогон помогал этим медлительным людям переступить через порог иного мира, оставив в покое семью, погруженную в подобающую случаю скорбь и приготовления к похоронам, а также закусок и выпивки для ночных бдений у гроба. Поминки по усопшим, как правило, устраивались на широкую ногу — наедались и напивались до отвала.

Те, у кого оказывался такой приговоренный к смерти упрямец, не желающий умирать и цепляющийся за светильник жизни, знали, что делать: посылали за Ветрогоном, который прежде всего договаривался об условиях оплаты, — он не был рвачом и добросовестно относился к делу. Ветрогон садился у постели больного и начинал читать молитвы, воодушевляя умирающего.

— Давай-давай, ведь тебя сам бог ожидает. Бог и вся его небесная свита, — а потом запевал своим низким голосом: — *Ora pro nobis...*²

¹ Рападура — дешевый паточный сахар.

² Молись за нас (лат.).

Были, конечно, и другие молеельчики и молеельщицы, но никто из них не добивался столь быстрых и надежных результатов, как Ветрогон. Через полчаса, максимум через час умирающий отдавал концы и отправлялся наслаждаться прелестями рая, обещанными Ветрогоном. Обычно тот выдвигал семье, которой предстояло надеть траур, единственное, но неперемное условие: оставить его на время с умирающим и не мешать своим присутствием. Все выходили, и из комнаты, где был Ветрогон, некоторое время до них доносились молитвы и наставления:

— Покойся в мире, брат, да пребудут с тобой Иисус и Мария...

Однажды какой-то любопытный родственник заглянул в двери и воочию убедился, насколько серьезна помощь Ветрогона, которая отнюдь не ограничивалась молитвами. Он помогал умирающему также локтем, давил ему на живот, отчего бедняга совсем переставал дышать.

Родственник, разумеется, не стал молчать, и карьера Ветрогона кончилась. Угроза мести заставила его переехать в столицу штата. Тут он построил свою лачугу на Мата-Гато и познакомился с Жезуино Бешеным Петухом, предложив свои услуги его куме, муж которой никак не хотел покидать бренной земли. В то время Ветрогон еще не посвятил себя науке и не сотрудничал в лабораториях.

Однако интересное и богатое событиями прошлое Ветрогона не имеет никакого отношения к захвату холма Мата-Гато. Мы упомянули о нем лишь потому, что Ветрогон в то время, еще задолго до появления там Массу, был единственным жителем этого района.

Негр Массу, растянувшись на песке, попивал кашасу и, вдыхая аппетитный запах мокеки, любовался пейзажем: голубым морем, белым берегом, кокосовыми пальмами; он спрашивал себя, почему до сих пор не поселился здесь, в этом прекрасном уголке, лучше которого, пожалуй, и не сыщешь.

Положение негра Массу в тот момент было весьма серьезным. Хозяину барака, где он обитал уже несколько лет вместе со своей столетней бабкой и маленьким сыном, наконец надоело требовать плату за жилье. Четыре года и семь месяцев — ровно столько, сколько негр проживал в этом бараке, — он не платил ни гроша. И не потому, что был мошенником, наоборот, мало нашлось бы еще столь серьезных и обязательных людей, как он. Не

платил Массу лишь потому, что к концу месяца у него никогда не оставалось денег. Иногда Массу удавалось скопить несколько монет, которые он собирался отдать хозяину, но обязательно возникали какие-нибудь непредвиденные обстоятельства или надвигался праздник, поглощавший все его скудные сбережения.

Однажды хозяин барака, он же владелец находившейся по соседству мясной лавки, сам пришел за деньгами. Он застал только старую Вевеву, которую у него не хватило духа выгнать, и оставил Массу записку. В другой раз он застал Массу, который чинил дырявую крышу барака; негр разбушевался — крыша ни к черту; барак — дерьмо, а плату требуют большую, этот мясник еще смеет орать, думает, ему сейчас же выложат денежки. Задыхаясь от ярости, негр спустился с крыши, его мускулистое тело блестело на солнце. Массу совсем разошелся, и хозяин, отказавшись от дальнейших переговоров, пообещал прислать рабочего заделать дыры.

И вот недавно мясник довольно дешево продал и участок и барак какой-то компании, так как не мог ни получить с Массу за аренду, ни выселить его.

Эта компания собиралась строить фабрику, приобрела много земли, стала сносить дома и бараки, дав всего месяц на выселение и предложив желающим работу сначала на стройке, а потом на фабрике. Негр Массу понял, что должен подыскать себе новое жилье, иного выхода у него не было.

Развалившись на песке и поедая превосходно приготовленную рыбу, он спросил Ветрогона:

— А кому принадлежит этот участок?

Ветрогон задумчиво ответил:

— Не знаю... Здесь нет хозяина.

— Ну, положим!.. Ты когда-нибудь видел землю без хозяина? Все в мире имеет хозяина..

— По-моему, она принадлежит правительству..

— Ну что ж, отлично, если правительству, значит, и нам...

— А разве это одно и то же?

— Конечно! Ведь правительство и есть народ!

— И ты этому веришь? Правительство заодно с полицией, это я знаю точно.

— Ничего ты не знаешь. А я это слышал на митинге. Ты вот не ходишь на митинги, поэтому ничего не понимаешь...

— А зачем мне понимать? Какой в этом толк?

У негра Массу жир тек по подбородку... Какая вкусная уха! И какой чудесный уголок нашел Ветрогон.

— Знаешь, Ветрогон, я буду твоим соседом... Построю здесь себе лачугу и поселю в ней Вевеву с малышом...

Ветрогон сделал широкий жест:

— Места тут всем хватит, пальмовых листьев тоже...

И через несколько дней негр Массу пришел на холм вместе с Мартином, Ипсилоном, Гвоздикой и Жезуино Бешеным Петухом. Он привез на тележке кое-какие материалы, пилу, молоток, гвозди. Помощь Ветрогона выразилась в том, что он сварил для друзей уху. Не пришел только Курио, в то время он был по уши влюблен в мадам Беатрис.

Массу соорудил домишко, который казался даже красивым. Гвоздика, бывший в молодости маляром, подобрал колер для дверей и окон — голубой и розовый — и взялся за кисть, но исключительно для того, чтобы помочь другу. В глубине души он чувствовал непреодолимое отвращение к труду.

Ипсилон, набив живот рыбой, наблюдал за тем, как Гвоздика красит окна и двери, а Массу, Мартин и Жезуино возводят глинобитные стены.

— Я даже смотреть устал, как вы работаете... — наконец вздохнул он.

Таков уж был Ипсилон: что бы ни случилось, он никогда не оставлял друзей, всегда был с ними, готовый помочь советом и участием. Этот эрудированный и культурный человек, большой любитель печатного слова, обладал, однако, хрупким телосложением и быстро утомлялся.

Всем очень понравилось местечко, где поселился Массу. Вечером, ужиная в заведении Тиберии, Жезуино расхваливал Мата-Гато.

Когда Массу переехал, Тиберия пришла навестить его и повидать крестника; они с Жезусом тоже были очарованы красотой тамошнего пейзажа.

За много лет тяжелой работы (она управляла заведением, он кроил и шил сутаны для священников) они не сумели скопить денег на покупку дома, где могли бы поселиться на старости лет. Так почему бы им не построиться здесь, исподволь приобретая кирпич и известь, немного камня, немного черепицы?

По существу, со строительством этих двух жилищ — глинобитной хижины Массу и кирпичного дома Жезуина — и начался захват холма.

Как об этом узнали люди, неизвестно. Но через неделю после того, как Жезус принялся возводить дом, на Мата-Гато уже стояло около тридцати лачуг из самых разнообразных материалов, и в каждой была куча детей всех цветов и возрастов. Ежедневно продолжали прибывать тележки с досками, ящиками, жестяными банками, листами старого железа,— словом, всем, что годилось для постройки.

Ветрогон скоро переселился подальше, оставив свою лачугу, куда сразу же въехала дона Фило, торговка, которую преследовала полиция и суд по делам несовершеннолетних за то, что она торговала детьми, впрочем, своими собственными. Их у нее было семеро, самому младшему исполнилось всего пять месяцев, и она давала их напрокат знакомым нищим. С маленьким ребенком гораздо легче растрогать прохожих. Фило рожала каждый год, и воспрепятствовать этому нельзя было ничем. Она знала всех отцов своих детей, но никого из них не беспокоила, предпочитая зарабатывать на жизнь с помощью детей. Самый старший был уже настолько хорошо подготовлен, что его однажды арестовали за налет на кондитерскую.

Так начался захват холма.

3

На землях Мата-Гато царило необычайное оживление — все строили лачуги на склонах, откуда открывался очаровательный вид на море и где постоянно веял легкий ветерок, смягчавший жару. Лишь Капрал Мартин не поддался этой горячке. Все его друзья суетились, выбирая место для жилья, он им помогал, чем мог, но не больше. После печально окончившегося брака с коварной красавицей Мариалвой Мартин не помышлял о домашнем очаге, тем более о постройке дома. Ему навсегда опротивела семейная жизнь, и он довольствовался крохотной комнатухой в большом доме на площади Позорного столба.

А ведь он был сейчас влюблен, как никогда... Страсть буквально пожирала Мартина, он совсем потерял голову, ходил как дурак, вроде этого сумасшедшего Курио, когда тот влюбляется,— помните случай с Мариалвой? Капрал Мартин, этот опытный и тщеславный соблазнитель, сейчас мало чем отличался от Курио. Все уже, конечно,

знали предмет его страсти, это была Оталия, приехавшая из Бонфина, чтобы обосноваться в публичном доме Тиберии.

Она не выходила у Мартина из головы с того самого дня, когда праздновалось рождение Тиберии и Оталия, танцуя с ним, схватилась с Мариалвой. Некоторое время он ее не видел, но часто вспоминал, не сомневаясь, что в один прекрасный день они встретятся и наступит конец его временному одиночеству. После того как Мариалва решила покинуть поле боя и уйти из домика в Вила-Америке, Мартин вскоре уложил вещи, облачился в свой лучший костюм, начистил до блеска ботинки, причесался, изведя довольно много брильянтина, и отправился к Оталии.

Эта Оталия была очень своенравной и капризной девчонкой, и в заведении у нее была своя клиентура. Она нравилась пожилым господам, так как была нежная и хрупкая, словно девушка из благородной семьи. Тиберия любила ее как дочь. Кроме клиентов, она ни с кем не имела дела, не была привязана ни к одному из друзей дома, которым, подобно Мартину, кое-что перепало от девушек и которые иной раз разыгрывали трагические сцены. Например, Теренсио выхватил однажды кинжал и тут же, в заведении, прикончил Мими с кошачьей мордочкой. И все из-за дурацкой ревности.

Оталия не привязалась ни к кому; если она была утомлена, то спала с тем, кто выбирал ее, а на праздник отправлялась под руку с тем, кто был ей по душе. Бедная девочка была очень нежна и позволяла за собой ухаживать, не то что Мариалва, которая все делала напоказ. Оталия к тому же была очень молода, ей, видимо, не исполнилось еще и шестнадцати.

Капрал Мартин без труда нашел к ней подход. Оталия, казалось, ждала его, и когда он, чтобы произвести соответствующее впечатление, напустил на себя томность, изображая покинутого мужа с разбитым сердцем, жаждущим утешения, она приняла его спокойно, будто встреча с ним была предначертана судьбой. Мартин даже подумал, что, пожалуй, она слишком доступна, и это его несколько обеспокоило.

Капрал, разумеется, не собирался тратить время на ухаживание за Оталией и говорить ей нежности, на которые был так щедр Курио. Но, с другой стороны, ему не понравилось бы, если бы она легла с ним по первому его слову; он заявил, что ему наплевать на Мариалву, так как

с того дня, когда он танцевал с Оталией, он не переставал думать о ней и даже не смотрел на других женщин. Он сам прогнал Мариалву, наверное, она слышала об этом? Сделал он это ради того, чтобы снова стать свободным и прийти к Оталии.

Оталия улыбнулась и сказала, что знает обо всем. Знает о страстной любви Курио — кто в городе не знает о ней? — и его отчаянии, о планах мести, которые вынашивала Мариалва, о решающем свидании друзей, она знает все и о многом догадывается. Она видела, как Мариалва пришла в заведение, а морда у нее была унылая, как у лошади под дождем, и, не произнеся ни слова, заперлась с Тиберией в гостиной, а потом отправилась в заднюю комнату, освободившуюся после отъезда Мерседес в Ресифе. С тех пор Оталия стала поджидать Мартина, она была уверена, что он придет. Но она и раньше ждала его, даже раньше, чем они познакомились, еще с тех пор, как пошли толки о его женитьбе. Это было в первый же день ее приезда в Баию, куда она бежала из Бонфина от преследований судьи: его сын сошелся с ней, мать с отцом подняли шум. А едва она приехала в Баию, у нее украли вещи... Потом оказалось, что это якобы пошутил Гвоздика, как объяснил ей Жезуино. Так вот, в тот день только и разговоров было, что о Мартине и его свадьбе с Мариалвой. Кстати сказать, Мариалва и сейчас видеть не может Оталию, а когда та впервые вошла в заведение, так на нее посмотрела... Но Оталия не сердится на нее, она не злопамятна. Что касается Мартина, то она наверняка знала, что он никуда не денется, рано или поздно бросит эту куклу и придет к ней, Оталии. Откуда знала? Не спрашивайте, такие вещи нельзя объяснить, как и многое другое на этом свете.

Она протянула к нему руки, подставила губы для поцелуя и улыбнулась своей чистой детской улыбкой. Уж слишком доступна, подумал Мартин, даже неприятно.

Но оказалось, что Капрал, столь опытный в сердечных делах, ошибся. Оталия взяла его под руку, и они отправились прогуляться. Она обожала гулять. Капрала такая программа устраивала, постель останется на потом, когда она закончит работу. Он придет в заведение около полуночи, закусит с Жезусом, выпьет бутылку пива, поговорит о том о сем. А когда Оталия отпустит последнего клиента, примет ванну, переоденется в домашнее платье и снова станет наивной маленькой девочкой, они отпразднуют свою первую ночь любви. И даже это

слишком скоро, обычно Мартин ухаживал три-четыре дня. Но было бы хуже, если бы она пригласила его в постель сразу, едва Мартин заговорил с ней. Поначалу он решил, что так и будет, настолько покладистой она показалась — не прикинулась недотрогой или ничего не понимающей дурачкой, а без обиняков сказала, что он ей нравится и что она уже давно ждет его.

Они прогулялись по берегу бухты, пособирали раковины. Ветер развеивал пушистые волосы Оталии, она бегала по песку, Капрал ее догонял, а догнав, обнимал и целовал в губы.

Они вернулись к вечеру — Тиберия была строга: если Оталия не работала после обеда, то вечер она никак не могла пропустить. Мартин договорился встретиться с ней после полуночи.

Он отправился на поиски партнеров — за игрой и время пройдет быстрее и немного денег можно заработать на подарок для Оталии.

Но в эти дни новый начальник полиции, злобный и хитрый тип, решивший покончить с азартными играми, яростно преследовал «жого до бишо», многих маклеров посадил в тюрьму, наводнил агентами места, где играли в карты или кости, — словом, разошелся вовсю. Правда, он не совался в притоны богачей — в их отели и фешенебельные дома, где играли даже в баккара и рулетку. На это он закрыл глаза, считая противозаконной лишь игру бедняков.

Поэтому Мартин с трудом нашел себе партнеров, у которых и выиграл в кости несколько монет. Больше остальных проиграл Артур да Гима, ему не везло в тот вечер, и его святой не раз уже приказывал ему бросить кости, но страсть к игре одерживала верх.

Было уже за полночь, когда Мартин вернулся в заведение. Оталия ждала его в гостиной, сидя за столом с Тиберией и Жезусом. Мартин принес кулек шоколадных конфет и всех угостил. Жезус налил ему стакан пива, выпили. Немного погодя Жезус отправился спать, Тиберия пошла проверить, все ли гости ушли.

— Пойдем, красотка, и мы? — предложил Мартин.

— Что ж, пойдем прогуляемся... Луна очень красиво светит.

Мартин, разумеется, имел в виду совсем не прогулку. В этот час он ложился в постель, а не отправлялся гулять. Но он ничего не сказал — каждая женщина имеет право покапризничать, и он был готов удовлетворить

прихоть Оталии. Они вышли на улицу и стали любоваться луной, клянясь друг другу в своих чувствах и вечной верности, нежно воркуя, как настоящие влюбленные. Женщины столь нежной и искренней Капрал еще не встречал и всей душой наслаждался этой прогулкой при луне, этими объятиями в подворотнях, этими поцелуями.

Наконец они вернулись в заведение, и у двери Оталия протянула Мартину на прощание руку:

— До завтра, мой негр.

— То есть как это до завтра? — удивился Мартин.

Он все же попытался войти в дом, однако Оталия была непреклонна. Они должны немного подождать — день, другой... А сегодня она очень устала и хотела бы отдохнуть, побыть одной, чтобы снова и снова вспоминать проведенные с ним часы, этот долгий и счастливый день. Она протянула ему для поцелуя губы, на миг прижалась всем телом, затем убежала к себе в комнату и заперлась. Пораженный Мартин остался стоять, ощущая на губах вкус поцелуя Оталии, тепло ее тела, все еще отказываясь верить в то, что произошло.

— Кто там? — донесся изнутри строгий голос Тиберии.

Мартин ушел взбешенный, твердо решив не видеться больше с этой сумасшедшей девчонкой, вздумавшей посмеяться над ним, и проклиная ее.

Снова Мартин был недоволен. Сначала ему была неприятна мысль, что Оталия слишком доступна и роман с нею будет лишен всякой поэзии. А теперь, когда он увидел, что попасть к ней в постель не так легко, что девушка хочет, чтобы он какое-то время за ней поухаживал, он обозлился и яростно отшвыривал камни, попадавшие ему под ноги.

Проклиная все на свете, Мартин отправился разыскивать приятелей, но нашел только Жезуино Бешеного Петуха, который сидел в баре «Сан-Мигел» и с кем-то разговаривал. Мартин тоже сел и заказал вина. Однако кашаса казалась ему безвкусной в эту ночь. Он все еще чувствовал губы Оталии на своих губах, ее тело в своих руках, его ноздри вдыхали ее аромат. И больше для него ничего не существовало.

Жезуино, ничего не знавший о последних событиях, был поражен, неужели уход Мариалвы настолько расстроил Капрала, что тот утратил хорошее настроение и вкус к выпивке? Однако Мартин заверил его, что совсем не переживает из-за Мариалвы, эта баба наскучила ему

до тошноты, пошла она к черту! Курио же остался ему другом и братом, и их родство сильнее, чем родство кровных братьев, рожденных одной матерью. Он взбешен по другой причине. Но Жезуино не стал домогаться, почему именно... Когда люди поверяли ему свои горести и надежды, затруднения и мечты, он внимательно слушал и старался помочь. Однако никогда не вырывал признаний насильно, даже если умирал от любопытства. Кроме того, он был очень заинтересован разговором со своим собеседником.

Итак, Мартин решил не возвращаться к Оталии, но к вечеру следующего дня вся его решимость испарилась. Когда он явился, Тиберия, завидев его, рассмеялась:

— Влюблен? Наверно, в нашу девочку?

Капрал услышал в ее голосе одобрение. Тиберии нравилось покровительствовать увлечениям Мартина, она всегда следила за его связями. А Оталию любила как дочь. Это совсем иное дело, нежели женитьба на Мариалве, состоявшаяся тайком от нее, когда Капрал забыл даже о самых верных своих друзьях.

Оталия приняла его все с той же нежной улыбкой, так же доверчиво и восторженно, счастливая тем, что любима и любит.

— Почему ты так поздно? Куда мы пойдём сегодня?

У Мартина было твердое намерение сегодня же покончить с этим делом и во что бы то ни стало уложить девочку в постель. Но перед ее бесхитростным простодушием его мужество отступило; обезоруженный ее наивностью, он ничего не сказал, и они снова пошли гулять. В тот день был праздник с кermесой на церковной площади и оркестром. Когда они вернулись, Оталия снова простилась с ним горячим поцелуем.

Мартин был в замешательстве: сколько же это продлится? Без сомнения, дольше, чем он предполагал. Шли дни, их прогулки становились все продолжительнее, они бродили по городу, посещали праздники, кантомбле, пирושки, балы и всюду появлялись взявшись за руки, влюбленно глядя в глаза друг другу. У двери заведения они прощались. Оталия не спала с Капралом, но и ни с кем другим из своих поклонников, она просто работала, и кроме Мартина не было иного мужчины в ее жизни.

Даже с невинной девушкой у Мартина не бывало более целомудренного флирта. Прямо удивительно! Ведь он ухаживал за продажной женщиной, проституткой, тело которой доступно для каждого, кто за него заплатит.

А между тем отношения их с каждым днем становились все более чистыми. С другими, даже приличными женщинами, ласки день ото дня нарастали, и Капрал Мартин добивался своего. С Оталией же получилось наоборот. Наиболее успешным был для него первый день, когда он смог ощутить ее маленькую грудь, округлость ее ягодиц, тепло ее бедер. В последующие же дни она пылко целовала его и прижималась в момент расставания, но и только...

И чем дальше, тем сдержаннее вела себя Оталия. Между ними крепили доверие, нежная дружба, росла близость, однако Мартину и шагу не удалось сделать по направлению к постели Оталии, к ее желанному телу. Самое большее, чего он добивался во время долгих прогулок или на веселых праздниках, — это поцелуя в губы либо в затылок, иногда ему разрешали дотронуться до ее груди, поиграть прядями ее шелковистых волос.

Так продолжалось более месяца, и друзья Мартина уже начинали возмущаться. Оталия же сделала Тиберию своей поверенной: она рассказывала ей о своей любви к Мартину, о своей бесконечной нежности и называла себя его невестой.

Однако жених и не помышлял о том, чтобы построить дом на Мата-Гато. Домашний очаг опротивел ему окончательно. Один или вместе с Оталией он приходил на холм помогать друзьям. Тиберия тоже строила себе дом, и уже издали было видно, что это будет лучший дом в поселке: кирпичный, крытый настоящей черепицей, оштукатуренный. Курио тоже сооружал себе лачугу, не говоря о Массу, который давно переселился сюда с вещами, бабкой и малышом. Иногда Мартин приносил с собой гитару и пел.

Быстро росло число лачуг. Беднякам нечем было платить за аренду домишка или комнаты даже в самых грязных и ветхих хибарах, даже в вонючих домах старого города, где семьи ютились в тесных и темных клетушках. Здесь по крайней мере у них были море и песчаный берег с кокосовыми пальмами. И все же эти бедняки из бедняков, люди, у которых не было ни кола ни двора, живущие случайными заработками или надрывающиеся на работе, не смирились. Они старались побороть нищету, не предавались отчаянию, не горевали и не теряли надежды. Наоборот, в своем тяжелом положении они не утратили способности смеяться и веселиться. Быстро воздвигались крошечные убогие лачуги из соломы, досок,

кусков жести. А по вечерам жизнь здесь кипела, били барабаны, звучали самбы. Атабаке звали на праздник богов, беримбау приглашали на ангольскую игру ка-поэйру.

Только к концу первой недели, в субботу, когда на холме уже стояло около двадцати хижин, Пепе Два Фунта, владелец всей этой прибрежной полосы и холма Мата-Гато, узнал от своего управляющего о том, что захвачен небольшой участок, на котором появились сооружения из жести и досок.

Пепе купил эти земли за гроши много лет тому назад. Он месяцами не вспоминал не только о холме Мата-Гато, но и о более крупных своих владениях, хотя у него и был план разбить их на участки для строительства жилого квартала, если город станет разрастаться в сторону океана. План недурной, но осуществить его удастся нескоро, так как прежде будут осваиваться пустующие участки в районе гавани, на горе Ипирапга, на Грасе, на берегу бухты, и только потом строители доберутся до дороги, ведущей к аэропорту. Тогда эти земли повысятся в цене.

Но как бы там ни было, он не мог допустить, чтобы на его землях кто-то строился и селился, тем более эта шайка бродяг. Он прикажет снести эти грязные лачуги, испортившие красивый пейзаж.

В один прекрасный день здесь вырастут настоящие дома, а не жалкие хибары. То будут просторные особняки с большими верандами и многоквартирные дома, спроектированные знаменитыми архитекторами, изящно отделанные, выстроенные из самых дорогих материалов. Дома и квартиры для богатых людей, которые в состоянии хорошо заплатить Пепе за земельные участки и построить красивые и комфортабельные здания. Что же касается холма Мата-Гато, то он думал оставить его внукам — Афонсо, который изучал право, и Кате, изучавшей философию. Чудесные ребята: взгляды у них левые, как подобает их возрасту и эпохе, а их чувству независимости весьма способствуют собственные автомобили и яхты.

Здесь вырастут сады, здесь, среди цветов, будут рыхлить холеные женщины в купальных костюмах, загорать на пляже, купаться в море, чтобы их тела стали еще более желанными, еще более гибкими и соблазнительными.

Прекрасна стройная мулатка Дагмар! Ее появления на субботних танцах всегда с нетерпением ожидали все мужчины. В последнее время ее любовником был Курчавый, признанный мастер капоэйры, а в свободные часы — каменщик. До того как к Дагмар пришла любовь и она вступила во внебрачную связь, она служила горничной или нянькой в богатых домах. Но Курчавый, считавший, что отныне он несет ответственность за совершенную красоту мулатки, не разрешил ей портить фигуру и терять грацию, вытирая пыль с мебели в доме какого-нибудь подлеца, либо терпеть выходки невоспитанных и плаксивых мальчишек. Он не хотел, чтобы у его возлюбленной были издерганные нервы.

Из любви к Дагмар он взялся за мастерок и сложил глинобитную лачугу на Мата-Гато. А потом помогал другим: тем, у кого были деньги — за небольшую плату, а остальным — даром; он был великолепным каменщиком и охотно помогал всем, кто в нем нуждался. Вот и сейчас, в воскресное утро, пока Дагмар, которой надоело его ждать, загорала на пляже, Курчавый помогал Эдгару Шёвроле, бывшему таксисту, который ушел на покой после того, как несчастный случай лишил его правой руки и левого глаза.

На пляж отправилась и дона Фило с пятью из семейных своих детей. По воскресеньям она не давала их напрокат, сколько бы денег ей ни предлагали. Воскресенье было ее днем, и она с утра до вечера проводила его с детьми: купала их, причесывала, выбирая насекомых, передевала во все чистое. Приятно было смотреть, как семья сидит за вкусным завтраком, приготовленным самой Фило, а потом слушает сказки. Так Фило вознаграждала себя за неделю, проведенную без них: в будни дети грязные, оборванные, с голодными глазами бродили с нищими по улицам, стояли на папертях, заходили в рестораны и бары. Два старших мальчика играли сейчас в футбол на импровизированном поле позади лачуг. Младший из них подавал большие надежды: он не пропускал в ворота ни одного мяча; так что, если будет на то божья воля, в один прекрасный день он станет профессиональным игроком, зарабатывающим большие деньги.

Утро стояло мягкое, солнечное, не очень жаркое; листья кокосовых пальм шевелил ветерок, море было спокойно, по небу плыли редкие облака. По шоссе в аэро-

порт неслись автомобили, и многие юноши оборачивались, чтобы полюбоваться смуглым телом Дагмар. Вдруг в стороне Амаралины взвыли сирены полицейских машин. На холме и на пляже никто не обратил на это внимания — наверно, едут в Итапоа.

Жезуино, Мартин и Ипсилон пришли сегодня к Массу с утра. Не хватало только Курйо, его дом был еще недостроен, а сам он улаживал дела мадам Беатрис, которая готовилась предстать перед публикой Баии с сенсационным номером: заживо погребенная, она месяц пролежит в гробу без еды. Устроившись на ящике, Мартин перебирал струны гитары, голова Оталии, сидевшей на земле, покоилась у него на коленях. Из всех, кто еще строился, работал в воскресенье только Эдгар Шевроле. Остальные отдыхали, растянувшись прямо на земле.

Три большие машины, которые везли свыше тридцати полицейских и агентов, не проследовали на Итапоа. Перед Мата-Гато они свернули с шоссе на глинистую дорогу и остановились у подножия холма. В зарослях кустарника новоселы уже проложили несколько тропок.

Все произошло внезапно и быстро. Полицейские поднялись на холм, вооруженные топорами и кирками, некоторые несли канистры с бензином. Начальник отряда свистком подал сигнал. Этого типа, который приобрел печальную известность после событий на Мата-Гато, звали Шико Ничтожество, и он действительно был ничтожеством, как мы увидим дальше.

Полицейские прошли к баракам, не сказав ни слова. Впрочем, это, пожалуй, неправда: когда отряд автоматчиков остановился против бараков, Шико Ничтожество предупредил:

— Если кто-нибудь попытается мешать нашей работе, получит пулю в живот... Тот, кто хочет жить, должен вести себя разумно...

Другой отряд направился к лачугам, топорами и кирками полицейские стали крушить все подряд — и дома, и мебель, если только ящики, колченогие столы, стулья, дырявые матрацы и старые скамейки можно было назвать мебелью. Но иной здесь ни у кого не было.

Третий отряд принес канистры с бензином, который вылили на доски, солому, тряпье и подожгли. Взметнулось пламя, один за другим разгорелись костры. Отовсюду бежали ничего не понимавшие люди; они хотели спасти свое имущество, но, отступив перед автоматами, сбились в кучу. Их глаза сверкали гневом и ненавистью.

Негр Массу словно обезумел от ярости; не обращая внимания на автоматы, он видел перед собой только Шико Ничтожество с его свистком. Массу бросился на него, но был схвачен пятью агентами, и поскольку он продолжал драться, то его избили. «Проучите хорошенько этого наглого негра!» — приговаривал Шико.

С берега моря прибежали Дагмар и дона Фило с пятью ребятишками. Но уже было поздно: полицейские выполнили свою славную миссию, и от двадцати с лишним домишек со всевозможной утварью остались только кучки пепла, который раздувал ветерок. Фило смогла лишь крикнуть:

— Сволочи! Черти собачьи!

Шико Ничтожество приказал:

— Взять и ее!..

Два агента втащили Фило на тот грузовик, где полицейские держали скрученного Массу. Но когда они захотели уехать, это оказалось невозможным: все до единой шины были проколоты. Постарались мальчишки. Изгнанные из домов люди наблюдали, как полицейские в ярости мечутся около ставших ненужными грузовиков, а Шико Ничтожество стоит на шоссе с поднятой рукой. Агенты, которым угрожала опасность тащиться в город пешком, остановили наконец машину, ехавшую порожняком из аэропорта. В начавшейся сутолоке они отпустили Массу и дону Фило, решив, что и потом будет достаточно поводов арестовать их. Полицейские и агенты набились в машину, несколько человек остались караулить грузовики, пока не подвезут новые камеры.

Люди с холма Мата-Гато еще не пришли в себя. Огонь, уничтожив их лачуги, перекинулся было на редкий кустарник, но вскоре потух. Наступило тяжелое, полное бессильной злобы молчание, которое прерывалось рыданиями женщины. У нее впервые в жизни был дом, но простоял он всего два дня.

И тут Жезуино Бешеный Петух шагнул на середину выгоревшего участка и сказал:

— Не надо унывать, друзья! Они снесли наши дома, но мы выстроим новые...

Женщина перестала плакать.

— А если они опять их разрушат, мы опять восстановим. Посмотрим, кто кого.

Негр Массу, по лицу которого еще струилась кровь, прокричал:

— Ты прав, папаша, как всегда прав! Я отстрою свой дом заново и буду настороже. Пускай ко мне сунется хоть один полицейский и попробует разрушить мой дом, я его так проучу...

С выражением твердой решимости негр подошел к старой Вевеве, державшей на руках ребенка. Он был один, но грозен, как целое войско.

Люди тут же принялись сооружать себе жилье — ведь им негде было жить. Трудились все: и красавица Дагмар, и Оталия, и донна Фило, и ее дети, и другие мальчишки. Даже Ипсилон, усталый с рождения¹, работал. Мартин играл на гитаре, остальные пели. Сегодня праздничный день, и вечером можно будет устроить танцы.

Полицейские, стоявшие у подножия холма, рядом со своими грузовиками, наблюдали за кипевшей наверху работой. Это было любопытное зрелище, и оно заинтересовало журналиста Галуба, репортера оппозиционной газеты. Он возвращался из аэропорта, проводив своего приятеля, когда густой дым и мечущиеся из стороны в сторону фигуры привлекли его внимание. Галуб остановил автомобиль и отправился спросить, что тут происходит. Жезуино Бешеный Петух подробно рассказал ему о подвигах полиции.

5

Во вторник сенсационный репортаж появился на восьмой полосе «Газеты до Салвадор» — органа оппозиции, который после поражения на выборах весьма нуждался в деньгах и читателях. Главный редактор газеты Айртон Мело, баллотировавшийся кандидатом в федеральные депутаты, угробил на избирательную кампанию немалые средства — в основном чужие, истощив редакционную казну. Он не был избран, получил пост лишь четвертого заместителя депутата и еще не сумел найти достойный способ примкнуть к правительственной группировке. Разглядывая фотографии жителей Мата-Гато (Галуб в понедельник вернулся туда с фотографом), этот честный журналист, «страж общественных доходов» (как называла его газета во время избирательной кампании), скривился при виде изображения донны Фило, в широкой

¹ Имеется в виду популярная в Бразилии поговорка: «Бразилец родится усталым».

улыбке раскрывшей свой беззубый рот, и детей, цеплявшихся за ее юбку.

— Пожалуй, не мешает немного потрясти испанскую колонию,— сказал он.— Эти галисийцы становятся все более жадными, не дают нам теперь ни гроша. Прижмите этого мошенника Переса, связав эту историю с восьмисотграммовыми гирями. Однако не надо клеветать на испанцев вообще, поэтому порассуждайте о благородстве большинства из них. Увидите, они сразу подожмут хвост, а нам это и нужно. Дела идут туго, сеньор Жако...

— А правительство?

Айртон Мело улыбнулся: он считал себя тонким и чрезвычайно ловким политиком, наследником принципов старых баиянских бонз.

— Ударьте и по правительству, мой дорогой. Ударьте крепко, рук не жалейте. Но,— понизил он голос,— пощадите губернатора. Взывайте к его совести, он, мол, должен знать, что творится вокруг и тому подобное, в общем, вы и сами умеете разводить турысы на колесах. Потом ударьте по начальнику полиции! Он ведь поклялся искоренить все азартные игры, в том числе и «жого до бишо». К сожалению, мы не могли выступить в защиту маклеров, но эта история с Мата-Гато позволит нам ударить по начальнику полиции Нестору Албукерке и даже свалить его. А средства на эту кампанию мы получим от заправил «жого до бишо»...

Он закурил сигару и, выпустив клуб дыма, ласково посмотрел на Жако.

— Если дело выгорит, мой дорогой, я вас не забуду. Вы знаете, что я не забываю услуг...

Редактор был настроен великодушно, поскольку появилась возможность получить солидную сумму. Жизнь на два дома стоила ему недешево, как и соревнование «кто больше потратит» между его женой Ритой и любовницей Розой. Пара грызунов, как он сам немного цинично, но остроумно называл их, уничтожала его заработки.

Жако Галуб взглянул на директора, развалившегося в кресле. Может быть, на свой лад он и был великим человеком, но если бы Галуб доверился его обещаниям и стал ожидать его щедрот, то умер бы с голоду. А Жако Галуб с голоду умирать не собирался. Он был тщеславен, играл на свой страх и риск и если не отказывался от скудного жалованья, которое ему платил Айртон Мело, то лишь потому, что использовал страницы газеты в своих интересах. Он был энергичным и умным человеком,

хорошим, опытным журналистом и считался одним из лучших репортеров в городе, лишенным всяких предрассудков, а также ненужной чувствительности. Галуб был хладнокровен, несмотря на внешнюю горячность; он мечтал создать себе имя и уехать в Рио-де-Жанейро, а там, завоевав большую прессу, заработать побольше денег и основать собственное дело... Он был уверен, что достигнет этого. Отвечая «честному журналисту», Галуб тоже улыбался.

— Можете быть спокойны, мы организуем шумную кампанию. Престиж газеты сразу возрастет, тираж тоже. Я сам возглавлю это мероприятие.

— Вложите в репортаж всю душу, заставьте читателей плакать от жалости к этим беднякам, не имеющим ни гроша, к этим бездомным людям...

— Можете на меня положиться...

Как только Галуб вышел, Айртон Мело снял телефонную трубку, быстро набрал номер и стал с нетерпением ждать, когда ему ответят. Тогда он сказал:

— Отавио тут? Это Айртон Мело.

Отавио Лиму, хозяина «жого до бишо» в столице штата и близлежащих городах, позвонили к телефону.

— Это ты, Отавио? Нам нужно встретиться, дорогой. У меня наконец появилась возможность свалить Албукерке...

Выслушав собеседника, он продолжал:

— На этот раз козыри у меня... Могу объяснить только при личной встрече...

Редактор улыбнулся предложению собеседника.

— В твоей конторе? Да ты с ума сошел?! Если меня там увидят, сразу пустят слух, что ты купил мою газету... Давай у меня...

Снова пауза.

— Где именно? — переспросил журналист и, подумав, предложил: — У Розы, я думаю, нам будет спокойнее.

Итак, во вторник репортажем, подписанным Жако Галубом и занявшим всю восьмую полосу с крупно набранным, броским заголовком на первой, где сияла беззубой улыбкой многодетная донна Фило, сделавшая душераздирающее заявление, «Газета до Салвадор» начала кампанию «в защиту бездомных бедняков, вынужденных занимать пустующие земли», кампанию, которая стала эпохой в баиянской печати.

Первую неделю Жако Галуб трудился не покладая рук. Большую часть времени он проводил на Мата-Гато,

воодушевляя тамошних жителей и заверяя их, что теперь, когда в их поддержку выступила «Газета до Салвадор», они могут строить сколько угодно. И действительно, репортажи сыграли роль приманки. Первыми на холм вторглись Массу, Жезус, Курио, Курчавый — все они были друзья или просто знакомы между собой, а то и родственники. Но после того как туда прибыла полиция, а затем стали публиковаться репортажи в «Газете до Салвадор», люди потянулись со всех концов города. Они везли с собой доски, ящики — все, что было пригодно для постройки. Через десять дней домов уже насчитывалось больше полусотни, но и на этом строительство не кончилось.

В своих репортажах Жако точно следовал указаниям Айртона Мело. Удар по правительству: начальник полиции, применивший силу и превысивший полномочия, подкуплен испанской колонией. В первом репортаже, основываясь на рассказах Жезуино и других обитателей холма, Жако описал, как все началось: бездомные люди нашли эти заброшенные земли и стали сооружать там лачуги. Потом в полицию поступила жалоба от Пепе Два Фунта — «миллионера Хосе Переса, уже много лет известного под этим метким прозвищем», и были предприняты насильственные действия, которыми руководил Шико Ничтожество — опытный истязатель, действовавший по распоряжению Албукерке — «начальника полиции, этого невежественного и недалекого фанфарона». Избиение Массу было описано во всех деталях: негр защищал свое жилище, жизнь своей столетней бабушки и своего сына, а полицейские скрутили его и подожгли его дом. Все это имело место, хотя в изображении Жако Массу был избит прежде, чем набросился на полицейских. Об этом репортер умолчал, что не понравилось Массу. Он выглядел беззащитным бедняком, который покорно стерпел насилие. Жако стоило большого труда уговорить обиженного негра.

Однако, нападая на правительство и в особенности на начальника полиции, журналист пощадил губернатора. Он даже воздал должное его доброте и мягкосердечию, а также его патриотизму. Правительству пора вспомнить, писал Жако, что мы живем в независимой стране, а не в испанской колонии. Хотя многочисленная испанская колония состоит в большинстве своем из честных и трудолюбивых людей, которые много сделали для прогресса штата, там процветают еще отдельные мошеч-

ники, нажившие состояния незаконным путем. И это «Газета до Салвадор» берется доказать в следующей серии репортажей. В Баие существует испанская колония, но Баия не должна превращаться в колонию испанской колонии — это разные вещи. Однако начальник полиции Албукерке с готовностью выполнил просьбу Пепе Два Фунта и попытался изгнать с заброшенных, никому не нужных земель честных бразильских тружеников, которые виновны только в том, что не имеют денег. Для начальника полиции трудно придумать более тяжкое преступление, утверждал Жако, тем более если он состоит на службе у богатых галисийцев, наживающихся на обвешивании покупателей.

Давно в баианской прессе не появлялось столько сенсационных и резких разоблачений столь важных персон. Этот номер был целиком раскуплен, и в последующие дни тираж газеты значительно возрос.

Некоторые из обитателей холма, чьи фотографии появились в газете, сделали заявления, отредактированные Жако, например красавица мулатка Дагмар, запечатленная в купальном костюме, словно кинозвезда, за что и получила несколько затрещин от Курчавого, полагавшего, что его женщина не должна демонстрировать свои прелести на страницах газет. Получив взбучку, Дагмар обвинила фотографа в том, что он фотографировал ее без ее ведома — утверждение весьма сомнительное, чтобы не сказать ложное. Но не будем вмешиваться в их семейные дела. Сообщим только, чтобы подытожить наш опыт по части женщин, что Дагмар после пощечин стала не только скромнее, но и ласковее.

Много шума наделала дона Фило — худая и растрепанная, в черном рваном платье, со своими семью ребятишками, облепившими ее, она казалась олицетворением нищеты. Даже журналы Рио-де-Жанейро опубликовали ее фотографии, купленные, разумеется, у фотографа. Фило же не получила ни гроша, зато ужасно гордилась своим портретом, напечатанным в газетах. Она стала брать дороже за прокат детей, поскольку теперь у нее была реклама. Жако приписал ей слова Жезуино: «Они снесли наши дома, но мы отстроим их заново», а потом эти слова стали приписывать самому Галубу, часто повторявшему их в своих репортажах. И журналист вскоре сам поверил, что знаменитая фраза принадлежит ему. Впрочем, авторство Галуба оспаривалось депутатом Рамосом да Кунья, лидером оппозиции в законодатель-

ном собрании и пламенным трибуном, сделавшим в одной из своих речей следующее заявление:

— Пользуясь всемогуществом начальника полиции, наглостью миллионера Переса и попустительством правительства, власти и их наемники могут сжечь дома. Но мы отстроим их заново. Разбойничьи поджоги нас не пугают. На пепелище мы восстановим наши дома — если понадобится, десять, двадцать, тысячу раз.

Рамос да Кунья был сложной фигурой — адвокат, сын провинциального полковника и владелец огромных лати-фундий, он, однако, не имел участков в столице штата, поэтому с чистой душой громил правительство. Он лишь недавно закончил университет, и отец сделал его депутатом. До тех пор пока дело не касалось аграрной реформы, юный лидер, обладавший незаурядным красноречием, оставался человеком прогрессивным, и этот эпитет часто употреблялся в прессе рядом с его именем. А в ходе кампании, развернувшейся в связи с захватом холма Мата-Гато, его даже обвинили в коммунистических взглядах. И хотя обвинения эти, вымышленные его политическими противниками, были ни на чем не основаны, они все же принесли ему известную популярность.

Возвращаясь еще раз к доне Фило, мы должны сказать, что, пожалуй, в репортажах Жако Галуба именно она предстала в наиболее выгодном свете. Журналист изобразил ее любящей матерью, трудившейся не покладая рук, чтобы прокормить семерых детей. Туманные упоминания о покинувшем малышом отце превращали ее в жертву негодяя мужа и социального строя. Мы не будем отрицать достоинств доны Фило, она весьма почтенная и работающая женщина, каких редко встретишь. Однако не следовало изображать ее жертвой мужа, поскольку такового у нее никогда не было; она не хотела связываться ни с одним мужчиной, которые, по ее мнению, годятся только на то, чтобы делать детей. А потом лишь прибавляют хлопот и вносят беспорядок.

Жако удалось сфотографировать всех обитателей холма, кроме Жезуино. Галуб, часто встречая там Бешеного Петуха, чувствовал, что он руководит остальными, что к нему в трудную минуту обращаются за советом, но, когда появлялся фотограф, бродяга исчезал...

Бешеный Петух был не менее тщеславен и не более скромнен, чем остальные. Просто он был стар и мудр, поэтому не хотел, чтобы его портрет поместили в газете. Как-то давно была опубликована его фотография: Жезуино

лежал, загорая на солнце, на откосе возле рынка, с окурком сигары во рту и со счастливой улыбкой. Этот снимок иллюстрировал поэтический репортаж известного Одорико Тавареса. А потом несколько месяцев полиция преследовала Жезуино, под любым предлогом забирала его и сажала в тюрьму. Каждый агент носил в кармане газетную вырезку со снимком Жезуино. Не помогло и то, что лирик Одорико назвал его «последним свободным человеком в городе», — свободный человек не вылезал из кутузки. Так что хватит с него фотографий!

6

Как уже упоминалось, Курио в эти недели, пока происходили события на Мата-Гато, разрывался между постройкой лачуги, которую он сооружал с большими претензиями, и безнадежной любовью (увлечения Курио, как правило, были безнадежными) к гадалке и факирше мадам Беатрис. В результате постройка дома затянулась, у Курио на это почти не оставалось времени — он был поглощен рекламой грандиозного номера: мадам Беатрис в честь жителей Баии похоронит себя заживо и целый месяц пролежит в гробу без еды и питья. Волнующее, единственное в своем роде зрелище, настоящее чудо, и за вход — всего пять мильрейсов!

Мадам Беатрис, обладавшая способностями медиума и белокуроыми, отливающимися серебром волосами, бросила якорь в Баие, «объехав несколько зарубежных столиц», как утверждалось в афише, расклеенной на улицах Салвадора. Разумеется, Аракажу, Масейо, Ресифе — столицы штатов Бразилии — были не за границей, но ведь мы не всегда получаем то, что нам хочется. И такие крупные города, как Пенедо, Эстансиа, Проприа, Гараньюнс, Каруару, тоже удостоились посещения факирши. За честь называться ее родиной спорили далекая Индия («единственная в мире женщина-факир, способная месяц пролежать в гробу, ясновидящая Беатрис, уроженка Индии, в настоящее время разъезжающая по миру, как буддийский мессия», так гласила другая реклама сенсационного номера) и приятный городок Нитерой. Она вернулась из недолгой и неудачной поездки в Амарозу, Крусдас-Алмас и Алагоиньяс, где гадалкам верили, однако не могли достойно вознаградить их, поскольку финансовое состояние клиентов находилось в противоречии с этой

пылкой верой. Мадам Беатрис прибыла в Баию с пустыми руками, и менее чем через неделю, когда был констатирован экономический крах, ее покинул красавец секретарь Дуду Пейшото, пернамбукский мошенник, который жил на содержании у женщин. Он встретился с мадам Беатрис в Каруару, когда та была в зените славы, и получил титул секретаря, а заодно и доступ к ее накрашенным губкам. Дуду был чрезвычайно требователен: он привык к комфорту, у него капризный желудок и вообще он исключительно деликатный человек. Его тошнило, если он замечал клопа и если к столу подавали плохой рис. Факирша, очарованная томными глазами и черной шевелюрой Дуду Пейшото, не замечала его недостатков, она просила прощения за все неудобства, которым подвергала его, и сулила ему золотые горы в более крупных и более передовых городах, где люди способны понять ее искусство.

К несчастью, граждане Салвадора-да-Баии не проявили должного интереса к знаменитой гадалке («научная точность, знания, располагающая обстановка» — говорилось еще в одной афише).

Мадам Беатрис вступила в контакт с Курио через его старую знакомую, хозяйку дешевого пансиона в Бротасе, где она остановилась. Она поручила ему распространение афиш, на которые потратила свои последние деньги. Дуду гарантировал, что, едва баианцы ознакомятся с ними, публика потоком хлынет к мадам Беатрис.

Как только Курио взглянул на ее серебристые кудри, он почувствовал, что умирает от любви. Никогда он не видел волос прекраснее, разве только у кинозвезд. Он посмотрел на Дуду Пейшото с презрением и ненавистью. Каким образом этому типу, явному педерасту, с глазами навывкате и женским тазом, удалось обмануть такую женщину? Видно, она просто слепа, если не замечает, как этот субъект скалит зубы и вихляет бедрами. А жаль!

И все же Курио не отказался от распространения афиш, всецело посвятив себя этому занятию, получив пока обещание, что за работу ему будет заплачено, как только появятся клиенты, а это случится, и очень скоро. Беатрис несколько не сомневалась в эффективности рекламы, Дуду Пейшото был настроен более скептически. Но чтобы выяснить, кто из них прав, мы лучше сами прочтем афишу.

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ БАИИ! МАДАМ БЕАТРИС ЗАИНТЕРЕСУЮТСЯ ВСЕ!

Объехав несколько зарубежных столиц, мадам Беатрис остановилась в этом замечательном городе, обещая удовлетворить своим искусством всех, кто прибегнет к ее услугам. К ней вы можете обратиться с вопросами, касающимися науки, вашего материального положения и вашего будущего, а также судьбы близких вам людей. Одним советом она разрешит все ваши сомнения. Мадам Беатрис, обладающая замечательным талантом, окажет вам содействие в коммерческих и семейных делах, в любви, поможет преодолеть трудности, измену, физический или моральный недуг, — словом, все, что мешает ВАШЕЙ ЖИЗНИ ИЛИ ВАШЕМУ БУДУЩЕМУ!

Она работает честно, быстро и эффективно!

Мадам Беатрис владеет к тому же чудесным порошком, привезенным из Индии. Он гарантирует успех в любви и делах. Обратитесь немедленно к этой знаменитой ученой, которая принимает у себя на дому. Ее ни в коем случае нельзя сравнивать с шарлатанами и проходимцами, превращающими благородную оккультную науку в источник доходов.

Научная точность, знания, располагающая обстановка! Спешите! Мадам Беатрис может прийти к вам на дом, ее советы доступны всем. Располагающая, интимная обстановка!

ПРИНИМАЕТ ЕЖЕДНЕВНО, В ТОМ ЧИСЛЕ И ПО ВОСКРЕСНЫМ И ПРАЗДНИЧНЫМ ДНЯМ.

От 8 до 21 часа знаменитая хиромантка принимает у себя по адресу: *улица доктора Джованни Гимараэса, 96 — Боа Виста де Бротас.*

МАДАМ БЕАТРИС МОЖЕТ ПОСЕТИТЬ ВАС НА ДОМУ!

Только чрезмерно требовательный человек мог бы пожелать более ясного и четкого изложения. И если клиенты все же не появились, то виновата в том была не афиша, а наш суровый век.

Волна скептицизма и сомнения захлестнула теперь все большие города. Грубый материализм отвращает мужчин и даже женщин от хироманток, от их «честного и эффективного труда», от лекарств, которые они предлагают против духовных и физических недугов. Мы живем во времена неверия в оккультные науки, но не мадам Беатрис повинна в нем, она сама пала жертвой этого неверия. Поэтому обвинения Дуду, у которого не было денег даже на сигареты, несправедливы.

Когда Курио, движимый профессиональной добросовестностью и желанием услужить красивой женщине, в два дня распространил афиши, он явился получить плату за свои труды согласно уговору. С трамвая он сошел

в кульминационный момент разыгравшейся драмы: томный Дуду, держа в левой руке чемодан с кричащим костюмом и шелковыми рубашками, а правой иронически помахивая на прощание, покидал неудобный номер пансиона и удобные, пылкие объятия мадам Беатрис. Выдающаяся хиромантка вовсе не была похожа на решительную и неустрашимую женщину, «обладающую замечательным талантом и помогающую в коммерческих, семейных делах и в любви». Она была вне себя, и ее торопливая речь изобиловала выражениями, которые не очень вязались с ее приятным, одухотворенным лицом. Стоя на пороге дома, мадам выкрикивала вслед этому профессиональному любовнику, утонченному и недостижимому Дуду грязные ругательства:

— Мошенник! Кот! Дерьмовый альфонс! Продажная шкура! Педераст ты, жулик паршивый!

Дуду, даже не взглянув на номер, прыгнул в тот трамвай, из которого вылез Курио, и, улыбнувшись ему, сказал:

— Займись ею, если она тебе нравится. А с меня хватит!..

С превеликим удовольствием Курио дал бы ему ногою под зад или съездил по уху, но трамвай тронулся, и мерзавец принялся поглядывать на кондуктора своими масляными глазами. Конечно, педераст!

Слезы и жалобы мадам Беатрис излились на Курио. Хозяйка пансиона, толстая, медлительная мулатка, оставила их в гостинной — ей пора было готовить завтрак, и она не могла тратить время на покинутых любовниц.

Само собой, Курио не получил ни гроша. Если бы даже у мадам Беатрис и были деньги, он и тогда не посмел бы заговорить о столь низменной материи с бедняжкой, у которой кровоточило сердце. Курио даже дал ей кое-что, правда немного, но больше у него не было. А если бы было, он, конечно, оставил бы ей все — ради женщины с такими роскошными волосами он был готов на любую жертву. В порыве отчаяния мадам Беатрис, покинутая любовником и клиентами, решила прибегнуть к сенсационному номеру — «погребенная заживо» — и в связи с этим предложила Курио должность секретаря.

За скромную плату Курио арендовал в долг на Байша-дос-Сапатејрос магазин, пустующий после пожара. Прежде в этом магазине, носящем название «Новый Бейрут», Абдала Кури торговал по дешевым ценам цветастыми ситцами и другими хлопчатобумажными тканями,

а также сатином и шелком. Он же, по единодушному мнению экспертов, присяжных и судьи, был признан ответственным за пожар, уничтоживший вышеупомянутый магазин. Было установлено, что он сам облил товар бензином и вызвал короткое замыкание. Абдалу посадили, а владелец дома стал хлопотать о получении страховой суммы, но страховая компания противилась, считая, что выплачивать должен виновный, тем более что он осужден всего на несколько месяцев, после чего сможет возобновить торговлю. Курио арендовал помещение на месяц и сам намалевал плакат, возвещавший о сенсационном номере, затем были отпечатаны новые афиши, сообщавшие всем о талантах мадам, ее индийском происхождении и буддийском вероисповедании. Курио лез из кожи вон.

Мадам Беатрис была в восторге и без устали выражала ему свою признательность: бросала благодарные взгляды, иногда доверчиво протягивала руку, иногда даже склоняла на плечо Курио свою белокурую головку. Но дальше этого дело не шло. Курио ринулся было в наступление и однажды, прижав мадам в темном магазине, впился в ее полные губы, намазанные яркой помадой. Она как будто была не против, но потом закрыла на мгновение глаза, словно желая уйти в себя, а когда открыла их снова, то, потупившись, сказала каким-то потусторонним голосом:

— Никогда больше не делай этого... Никогда...

Никогда? Курио, как раз собиравшегося повторить поцелуй, просьба мадам поразила, как удар кинжалом.

— Почему? — спросил он, не скрывая своей досады, и Беатрис почувствовала ее в голосе Курио.

— То есть... Сейчас не надо... Сейчас мне нужно сосредоточиться.

Дело в том, что в данный момент она готовится к тяжелой работе — к своему сенсационному номеру. Только при полной сосредоточенности и духовной чистоте она сможет остаться живой, пролежав месяц в гробу без еды и питья. Однажды она попробовала исполнить этот номер в Буэнос-Айресе, но лишь из-за того, что накануне в разговоре у нее вырвалось нехорошее слово, она пролежала в гробу всего две недели, поскольку осквернила себя. Она и думать не смеет о «плотских» отношениях («плотских» она произнесла почти с отвращением) до того, как встанет из гроба, на месяц отрешившись от всего земного. И тогда, быть может... Мадам вздохнула и закатила глаза.

Эту речь, пересыпанную возвышенными словами, вроде оккультизма, магнетизма, спиритизма и прочих того же рода, Курио выслушал благоговейно. Но ему захотелось получить гарантию.

— Значит, я тебе правлюсь? Правда?

Мадам Беатрис не ответила, однако крепко сжала руку Курио, посмотрела ему в глаза пламенным взглядом и глубоко вздохнула. Это было самое красноречивое подтверждение. Курио чуть не подпрыгнул от радости, но из грубого практицизма, о котором мы упоминали раньше, пожелал уточнить:

— Ты хочешь сказать, что, когда ты встанешь из гроба... мы...— И он сделал недвусмысленный жест.

Мадам Беатрис, эту нравственную женщину, последовательницу буддийской морали, смутила непристойность Курио, и она, вновь потупившись, запротестовала:

— Нехорошо так...

— Но ведь потом... Потом мы сможем, да?

Она еще раз сжала его руку, еще раз вздохнула, и в этом вздохе Курио услышал робкое «да», впрочем, достаточно ясное, чтобы сделать его счастливым и всецело преданным мадам Беатрис. Курио с воодушевлением взялся за подготовку номера, поскольку дел еще оставалось много. Надо было убрать и оборудовать помещение, побывать в редакциях газет и попросить там дать сообщение об опыте мадам Беатрис, пригласить коммерсантов и других солидных людей, в присутствии которых будет запечатан гроб, а также заблаговременно достать сам гроб и стеклянную крышку.

Труднее всего оказалось последнее. Однако Курио нашел выход: он объявил покровителями мадам Беатрис хозяина маленького похоронного бюро на Табуане и торговца стеклом и фарфором с площади Позорного столба, которые теперь приобретали право упоминаться во всех ее афишах. Похоронное бюро предоставило ему за это старый полуразвалившийся гроб без крышки, а торговец — стекло, чтобы накрыть гроб. Артур да Гима, мастер на все руки, по просьбе Курио приладил стекло к гробу, и гроб оказался герметически закрытым, как возвещалось в афишах, которые раздавали на улицах. В головах и ногах, однако, было просверлено несколько дырок, чтобы дать доступ воздуху.

Понятно, что, озабоченный всеми этими делами, Курио совсем забросил строительство своей лачуги и не проявлял особого интереса к событиям на холме Мата-Гато.

Он приходил туда, если у него случалась свободная минута, узнавал новости, возмущался действиями полиции, делал кое-что в своем домишке и исчезал. Мадам Беатрис, ходившая теперь с сосредоточенным видом, поджидала его к обеду. Ела она много, поскольку, как она объяснила Курио, нуждалась в усиленном питании, чтобы перенести длительный пост. Курио чувствовал себя счастливым: надо потерпеть всего лишь месяц, и он вступит во владение этими белокурыми волосами и всем прочим.

Менее счастлив был Капрал Мартин — и в любви, и в делах, если можно назвать делами игру в карты и кости. Хотя начальник полиции, казалось, был всецело занят событиями на землях Пепе Два Фунта, он тем не менее не прекращал своего упорного, повседневного преследования игроков. Полиция составила список шулеров, и в этом списке имя Капрала — Мартина Жозе до Фонсека — значилось одним из первых. Ежедневно совершались облавы на притоны и вертепы, как выражалась правительственная пресса, и многие столичные игроки были посажены в тюрьму. Мартин пока ускользал, он умел это делать, когда требовалось; не показывался в своих обычных местах — на рынках у Семи Ворот и Агуа-дос-Менинос. Но как достойно заработать на жизнь, если полиция и правительство лишают тебя этой возможности?

Бедный Гвоздика тоже был арестован и предан суду вместе с восемью подозрительными типами, застигнутыми в доме Жермано за игрой в рулетку. Гвоздика вышел из тюрьмы худой и грязный, он просидел в сыром подвале восемь дней, и ему ни разу не дали помыться.

Мартин еще кое-как держался благодаря обширным знакомствам среди игроков и знанию мест, где пока можно было играть в карты и кости. Перепадали ему гроши, но он довольствовался немногим.

На Оталию Мартину почти не приходилось тратить. Она позволяла угощать себя мороженым и лимонадом, однако отказывалась принимать подарки, угрожая порвать с ним, если Капрал осмелится купить ей платье, туфли или какие-нибудь безделушки. Что же касается его любовных дел, то они продвигались, пожалуй, еще медленнее, чем дела Курио, которому хотя бы подали надежду на будущее, когда факирша, восставшая из гроба, откажется от воздержания. Оталия же не обещала ничего. Мартин гулял с ней по холмам, вел долгие беседы, обменивался нежными клятвами. Но дальше этого не

шло. Он даже начал подозревать, что у нее есть возлюбленный, с которым она тайком встречается. Несколько ночей, после того как девушка поднималась к себе, он дежурил у заведения, караулил счастливого соперника, но тщетно. Расспросы, как и слежка, тоже ничего не дали. Все сходилось в одном — никого, кроме Мартина, у Оталии нет. Разумеется, у нее были клиенты, но они не в счет. Они ложились с ней, расплачивались и уходили.

Мартин ломал голову над поведением Оталии. Если он ей нравится, почему она ему не отдается? Ведь она не девица и мужа не ищет. Иногда он решал оставить ее, исчезнуть навсегда и больше никогда не появляться. Но на другой же день снова хотел видеть ее, слышать ее голос, смотреть в ее детское личико, касаться ее тонких волос, в прощальном объятии чувствовать тепло ее тела. Никогда с ним не случалось ничего подобного, тут было от чего прийти в отчаяние.

Мартин был мрачнее тучи: агенты угрожают ему тюрьмой, а эта притворщица и ломака Оталия помыкает им, как мальчишкой. Капрал растягивался на песке и пытался понять эту девчонку. Теперь он, совсем как Курю, его брат по вере, страдает от неразделенной любви. Однако он не станет с этим мириться, повторял себе Мартин, и завтра же потребует от Оталии решительного объяснения. Но всякий раз почему-то откладывал этот разговор.

В ожидании, когда кончатся гонения на игроков и сумасбродства Оталии, он помогал друзьям на Мата-Гато и не только в роли подручного каменщика или плотника, но и своей игрой на гитаре и участием в собраниях наиболее активных жителей холма, обеспокоенных угрозой, нависшей над ними в последние дни. Это была серьезная угроза: начальник полиции заявил представителям печати, что любым способом покончит с анархией, подрывающей общественный порядок и выразившейся в захвате холма Мата-Гато. Он не допустит беззакония в Баие. Священное право собственности гарантировано конституцией, и он заставит уважать это право хотя бы ценою крови. Он стоит на страже закона и не позволит шайке бродяг попирать его, устанавливать царство коммунизма. Так он и сказал — «царство коммунизма». Сеньор Албукерке питал слабость к поэзии, сочинял сонеты и любил поговорить о литературе, но сейчас он объявил войну. Войну обитателям Мата-Гато, которых уже было четырехста и у которых на новом месте уже родился ребенок.

Родила его Изабел Дедо Гроссо, любовница Жеронимо Вентуры, кузнеца. Дона Фило была повивальной бабкой, она сама нарожала столько детей, что как говорится, на собственном опыте овладела этим искусством. Жезуино Бешеный Петух помогал ей, ибо, когда начались схватки, Жеронимо Вентура в панике побежал искать Жезуино, будто старый скептик был дипломированным врачом. Впрочем, на Мата-Гато Жезуино брался за все: решал спорные дела, чинил стены, давал советы, писал письма, делал расчеты, подсказывал, как действовать в тот или иной момент.

Теперь по вечерам Мата-Гато казался иллюминированным. Жезуино велел Флоренсио, безработному электрикомонтеру, поселившемуся на холме, подвести электричество от клуба, который был на пляже. Поставили пока фонарные столбы, подвели проводку к домишкам, но утром приехала машина электрокомпании и перерезала провода. А к вечеру Флоренсио при активной помощи обитателей холма опять соединил провода, и электрический свет снова засиял над лачугами Мата-Гато.

7

Электрификацию холма Мата-Гато Жако Галуб приветствовал с воодушевлением: «Трудящиеся, построившие себе дома на пустующих землях миллионера Хосе Переса, он же Пепе Два Фунта, подвергаясь преследованию со стороны полиции и не имея никакой поддержки со стороны префектуры, продолжают, несмотря ни на что, благоустраивать новый квартал. Теперь они провели туда электричество, хотя и против воли компании. Смельчаки с Мата-Гато — истинные носители прогресса, достойные всяческого уважения».

Даже если бы вторжение само по себе не явилось в достаточной степени нашумевшим событием, оно обратило бы на себя внимание обилием литературы, посвященной этому вопросу: репортажи Жако (за которые он был удостоен ежегодной журналистской премии), речи Рамоса да Кунья (собранные в брошюру, изданную Законодательной ассамблей штата), слащавые корреспонденции Марокас — известной журналистки из «Журнал до Эстадо», героико-социально-конкретная поэма Педро Жова — «С ВЫСОТ МАТА-ГАТО ПОЭТ СОЗЕРЦАЕТ БУДУЩЕЕ МИРА», представляющая собой нечто сред-

нее между поэмами Пабло Неруды и наиболее передовых «конкретистов».

Откровенно говоря, Педро Жов не мог созерцать будущее мира с высот Мата-Гато, так как никогда там не был. Он создал свое творение, не выходя из бара, где он и другие молодые гении с азартом спорили о литературе и кино. Здесь-то его и подняли к небесам руки «сестры Фило с ее материнским лоном, оплодотворенным героями»; далее Фило превозносилась уже совсем неприкрыто. Он, Педро Жов, «народный поэт, взлелеянный борьбой и вспоенный виски», восходит на холм, чтобы увидеть мир, рождающийся в ладонях людей, которые собрались на Мата-Гато, чтобы строить будущее. Поэма, без сомнения, была сильной, хотя местами напыщенной, зато остропамфлетной. Ее иллюстрировала гравюра Лео Фильо, на которой был изображен Геркулес, поднявший сжатый кулак и чем-то напоминавший Массу.

На холме, однако, поэма не имела того успеха, на какой могла рассчитывать. Те, кто ее прочитал, ничего не поняли, даже Фило, столь возвеличенная и облагороженная в поэме: «О мадонна стали и электроники, твой холм — звездный корабль, и твои замечательные сыновья — архитекторы коллектива», — не почувствовала красот этого шедевра.

И все же поэма Педро Жова и гравюра Лео Фильо были единственно бескорыстным выражением солидарности с обитателями Мата-Гато. Остальные репортажи, речи и выступления преследовали совершенно определенную цель, а именно: ту или иную выгоду для автора. Педро Жов ни на что не претендовал: ни на государственный пост, ни на премию, ни на голоса избирателей, ни даже на благодарность людей, воспетых в его поэме. Он хотел лишь издать ее, увидеть напечатанной. Ни он, ни Лео Фильо не получили ни гроша. Айртон Мело не платил литераторам. Он считал, что делает поэту или художнику великое одолжение, публикуя их творения, открывает перед ними врата славы. А разве этого не достаточно? За репортажи ему приходилось платить, от этого он уклониться не мог, хотя платил скупое и неаккуратно. Но за литературные произведения — никогда, это было бы недопустимой ошибкой.

Однако через некоторое время бескорыстие Жова было вознаграждено: его поэма стала классическим произведением новой социальной поэзии. Она цитировалась в статьях, включалась в антологии, служила предметом

ожесточенных дискуссий, хотя обо всем этом Жов и не мечтал, когда взялся за перо. До глубины души взволнованный репортажами Галуба, преисполненный состраданием к этим беднякам, гонимым полицией, Жов слагал свою поэму, и так же искренне иллюстрировал ее Лео Фильо.

Этим они и отличались от многих других, в частности от начальника полиции, борьба которого с азартными играми, в особенности с «жого до бишо», пришлась не по вкусу некоторым влиятельным людям. Однако, защищая с пылом и непоколебимой решимостью частную ответственность, он надеялся прежде всего восстановить свой авторитет и укрепить свое положение.

Пожалуй, стоит рассказать поподробнее об этой кампании, направленной против игроков. Дело в том, что никогда прежде сеньор Албукерке и не думал преследовать «жого до бишо».

Наоборот, когда стали поговаривать о возможном его назначении на пост начальника полиции при новом правительстве, то самым соблазнительным и заманчивым в этой должности ему представлялось господство над «жого до бишо», установление связей с крупными маклерами, и прежде всего с Отавио Лимой — игорным королем штата. Пришла наконец моя пора, размышлял сеньор Албукерке, оглядывая свою многочисленную семью — жену, тещу, восьмерых детей, а также двух младших братьев-студентов, сидевших за обеденным столом. До сих пор его деятельность приносила ему главным образом огорчения и неприятности: все эти годы сеньор Албукерке находился в оппозиции, а он был упрям и по своему последователен в отстаивании своих принципов.

Он полагал, что следует установить полезные контакты с хозяевами «жого до бишо» и повысить налог, который платили полиции эти могущественные дельцы. При прежнем правительстве игра была узаконена: часть выручки ежедневно отчислялась благотворительным учреждениям, власти же не участвовали в доходах — так, по крайней мере, считалось и, похоже, так оно и было. Одному из полицейских инспекторов был поручен контроль над лотереей, и за это он получал немалое вознаграждение.

Как только Албукерке был назначен, он вошел в контакт с Лимой и изложил ему свои соображения: очевидно, маклеры предполагают и дальше действовать совершенно открыто, под контролем полиции? Пожалуйста!

Однако, кроме отчислений на благотворительные цели, теперь точно такая же доля должна поступать полиции. Лима заерзал на стуле: это слишком много, ни один маклер не выдержит таких расходов. Неужели сеньор Албукерке верит, будто отчисления поступают только в благотворительные учреждения? Ведь это же просто болтовня, которой дурачат губернатора, человека честного, чтобы он думал, будто покончил с системой подкупов в «жого до бишо». Однако лотерея потихоньку кормила всех — полицейских инспекторов и комиссаров, депутатов, секретарей, агентов, детективов — словом, едва ли не половину города. Повысить налог? Но полиции никакого налога не выплачивалось. Налог взимался только в пользу благотворительных учреждений, монастырей, обществ слепых, глухонемых и так далее. О каком же налоге в пользу полиции может идти речь? Если сеньор имеет в виду вознаграждение — Отавио подчеркнул это слово, как бы бросая его в лицо самоуверенному бакалавру, славившемуся своей честностью, — то вознаграждение это, выражающееся в крупной сумме, будет по-прежнему ежемесячно выплачиваться начальнику полиции.

Албукерке почувствовал, что краснеет. Вознаграждение! Этот невоспитанный субъект, привыкший командовать своими подчиненными, в том числе и видными политиками, этот мерзавец Отавио Лима, с нахальным видом посасывающий сигару, не без умысла употребил это слово да еще подчеркнул его интонацией. Ничего, он его прочит! Ведь он, Албукерке, один из тех, кто обеспечил новому губернатору победу на выборах, и у него сильная рука в федеральном полицейском управлении. Он кинул взгляд на «предпринимателя», самоуверенно развалившегося в кресле. Вознаграждение... Ничего, он ему покажет.

Итак, если отчисления полиции не будут увеличены до суммы, предназначенной благотворительным учреждениям, положение «жого до бишо» изменится. Его, Албукерке, не касается, что там получают отдельные инспекторы, агенты, комиссары, детективы. Ему нужны деньги на финансирование наисекретнейших служб полиции, ведущих борьбу с подрывными элементами, суммы эти, разумеется, не подлежат огласке, но должны выплачиваться пунктуально и непосредственно начальнику полиции. Что же касается вознаграждения, о котором было упомянуто, то оно служило для того, чтобы подкупать

прежних начальников полиции, он же, Албукерке, в этом не нуждается.

Отавио Лима был человеком добродушным, он разбогател на игре, начав с самого низу — шулером в порту вместе с Капралом Мартином, с которым служил в армии, только повышения не получил и остался солдатом. Еще до того как стать опытным профессиональным игроком, — впрочем, намного хуже Мартина, ибо у Лимы не было ни его ловких рук, ни его острого зрения, ни тем более его исключительных шулерских способностей, — он был прирожденным организатором. Сначала соорудил жульническую рулетку, затем, уже после смерти старого Бакурау, который двадцать пять лет держал в своих руках весь «фараон» в районе Итапажипе, а состарившись и заболев, довольствовался малым, занялся «жого до бишо».

Из Итапажипе Отавио Лима отправился на завоевание всего города и завоевал его. Он прижал остальных маклеров, потом возглавил их, соединив разрозненные группы игроков в единое, крупное, экономически мощное предприятие. Лима стал владельцем доходных домов, отелей, компаньоном банковских обществ. Однако основным источником его богатств оставалось «жого до бишо», существовавшее на гроши бедняков. Когда правительственным декретом казино были закрыты, положение Лимы не пошатнулось, тогда как другие игорные короли обанкротились. Никому не удалось запретить «жого до бишо», покончить с этой игрой. Лима наслаждался жизнью и женщинами — он содержал с полдюжины любовниц, и ото всех у него были дети, на воспитание которых он продолжал давать деньги, даже когда порывал с матерью. Наслаждался также выпивкой, вкусной едой и время от времени игрой в покер со старыми приятелями — игроками класса Мартина. Однако играл он все реже, все больше удаляясь от своего прошлого и от прежних друзей. Кстати, большинство из них работало на него, чтобы кое-как прокормиться. Только независимый и гордый Капрал да ленивый Гвоздика не состояли в его организации, оставаясь вольными бродягами.

Швыряя деньги направо и налево, без сожаления тратя их, Лима знал, какую пищу дает продажным журналистам и политикам, и презирал эту свору притворщиков: государственных деятелей, интеллигентов, дам из общества, готовых лечь к нему в постель за хороший подарок. Он чувствовал себя гораздо сильнее сеньора

Албукерке. Лима, правда, не поддерживал нынешнего губернатора во время избирательной кампании, он финансировал его противника, но это не имело большого значения. Многие, даже во дворце, были готовы защитить его и «жого до бишо». Взятки он давал щедро.

Несколько небрежно и покровительственно Лима распрощался с новым начальником полиции, пообещав ему в течение ближайших суток собрать всех маклеров и сообщить им о его предложении, хотя сам он был против и не скрывал, что будет отстаивать свою точку зрения. Но другие, может быть, согласятся, и если это случится, то ему придется лишь покориться большинству. Он демократ.

Сеньор Албукерке был человек простоватый, но не настолько, чтобы поверить, будто Отавио Лима прислушивается к мнению своих подчиненных или более мелких компаньонов. Он вышел в ярости.

Лима позвонил одному из своих друзей, близких к правительству, и поинтересовался, каково положение начальника полиции. Достаточно ли он авторитетен и силен? Друг подтвердил это, и Лима пожалел, что обошелся с ним свысока, оскорбил своим «вознаграждением» и протянул на прощание кончики пальцев. Разумеется, никаких налогов он платить не будет, но он мог бы увеличить сумму вознаграждения и уладить вопрос. Потом он велел Айртону Мело отстегать нового начальника полиции в газете. Под каким предлогом? Да под любым, для Лимы это не важно...

Вот почему на следующий день один из помощников Отавио Лимы разыскал инспектора Анжело Куябу, близкого друга короля «жого до бишо» и, как говорили, друга Албукерке. Он передал ему новое предложение Лимы, попросив Анжело довести его до сведения начальника. Это было роковой ошибкой.

Во-первых, между Анжело Куябой и новым начальником полиции дружбы не существовало, они были лишь знакомы, но не более того. Во-вторых, Албукерке крайне ревниво относился к своей репутации честного человека. Он понимал, что это его основной капитал, и не хотел, чтобы полицейский инспектор был свидетелем того, как он его растрчивает. В-третьих, уже и так ходили слухи о таинственной встрече начальника полиции и короля «жого до бишо». Губернатору, тоже заинтересованному в отчислениях с этой игры, сообщили о состоявшемся свидании, и он спросил Албукерке довольно сурово:

— Говорят, вы виделись с Лимой?..

Албукерке почувствовал, как земля уходит у него из-под ног, и покраснел так, будто ему надавали пощечин.

— Я решил предупредить его, что, пока я начальник полиции, «жого до бишо» в Баие не будет...— ответил он, глядя в глаза губернатору. Таким образом, Албукерке отказался от денег, зато сохранил положение и авторитет. Но он и не догадывался, что вопрос об его отставке был решен, едва только он это сделал. Губернатор сумел скрыть свое разочарование: пропадали такие выгодные легкие доходы от «жого до бишо». А все потому, что он окружил себя неподкупными людьми. Он должен как можно скорее избавиться от этого Албукерке с его дурацким бахвальством и честностью... Разумеется, уволить его немедленно нельзя, но это будет сделано при первой возможности.

— Вы поступили правильно, дорогой. Я целиком разделяю вашу позицию и предоставляю вам полную свободу действий.

Достойные всяческого доверия помощники поддержали его превосходительство: совсем неплохо начать правление с преследования «жого до бишо». Новый губернатор, таким образом, проявит себя поборником справедливости, а маклеры станут более сговорчивыми к моменту, когда начнутся переговоры о взаимовыгодном соглашении. Албукерке, конечно, дубина, но может пригодиться, ибо он наиболее подходящая фигура для этой кампании: человек неповоротливый, твердолобый и упрямый как осел. Маклеры не поспеют, лишь бы избавиться от него. Да и Отавио Лиму полезно проучить, раз он финансировал во время выборов противника губернатора.

Через два дня губернатор спросил Албукерке:

— Как идет кампания против «жого до бишо»? Помоему, игра ведется по-прежнему.

— Я и пришел сюда, ваше превосходительство, чтобы доложить вам, что сегодня отдал распоряжение закрыть все игорные притоны.

Он не рассказал губернатору, что через инспектора Анжело Куйабу маклеры сделали ему новое предложение. Он чувствовал, что над ним нависла опасность, под угрозой оказались его столь тщательно созданная репутация и, что еще хуже, его первый высокий пост, начало его карьеры, его положение... С негодованием выслушал он предложение Куйабы: четверть того, что он потребо-

вал от Отавио Лимы при их встрече. Выпятив грудь, Албукерке надел на себя маску неподкупности — суровый, осуждающий взгляд, каменное лицо, презрительно оттопыренная нижняя губа.

— Вы меня удивляете, сеньор инспектор... — прошепел он. — Этот преступник плохо меня знает. Допустим, я довел до его сведения, что, вступив на пост начальника полиции, я покончу с «жого до бишо» и другими играми. Ну и что же? Я ничего ему не предлагал и отказался выслушивать его предложения. Пока я здесь, пока я сижу в этом кресле, «жого до бишо» в нашем штате не будет.

Анжело Куйаба тут же пошел на попятную — мол, напрасно он взялся за это неприятное поручение.

— Если я и беседовал с Лимой, — продолжал Албукерке, — то только потому, что считался с существовавшим до сих пор положением. Я не хотел действовать неожиданно, пользуясь легальностью «жого до бишо» и доверчивостью маклеров.

Анжело не оставалось ничего другого, как восхититься своим новым начальником. Он же если и пришел с предложением маклеров, то лишь потому, что его неправильно информировали, иначе он никогда не посмел бы...

— Забудем этот инцидент, инспектор. Я знаю, что вы честный человек.

Так началась решительная ликвидация «жого до бишо», вызвавшая серьезные осложнения как для высокопоставленных особ (в частности, губернатора, от которого друзья и соратники настоятельно добивались смягчения столь строгих мер), так и для мелких агентов, которые получали взятки от маклеров и бюджет которых сразу пошатнулся. Кроме того, совершая облавы на приюты, где играли в рулетку, баккара, кости и покер, инспектор Куйаба, которому была поручена эта часть кампании, иногда врывается в богатые дома видных граждан, где игра велась на деньги. Провоцируя скандалы, инспектор помогал похоронить дурака Албукерке. Губернатору начинала надоедать эта свистопляска с «жого до бишо», и он лишь искал удобного случая, чтобы сменить начальника полиции, а затем договориться с маклерами. Не мог же он уволить Албукерке только за то, что тот боролся с азартными играми. К тому же начальник полиции пользовался поддержкой духовенства, некоторых общественных организаций и имел репутацию неподкупного человека, способствующего престижу правительства.

Албукерке, однако, чувствовал, что его авторитет поколеблен. Ежедневно губернатор сообщал ему, что на него поступает много жалоб, и говорил о гибкости, необходимой в политике; он пришел в бешенство, когда инспектор Куйаба вломился в салон сеньоры Батистини, где выдающиеся граждане отдыхали от тяжелых трудов и забот о прогрессе страны и народа, играя по маленькой в рулетку и флиртуя с красивыми женщинами. На губернатора не произвело никакого впечатления заявление Албукерке, который со слов Куйабы охарактеризовал роскошный особняк сеньоры Батистини как «публичный дом высшего разряда», а его владелицу назвал хозяйкой этого заведения. Губернатор, конечно, знал, кто посещает этот веселый дом и кто покровительствует бойкой сеньоре, привезшей в отсталую Баию нравы цивилизованной Италии. Ее дом был одним из лучших в городе, которому она оказала честь, обосновавшись в нем... К тому же сеньора Батистини умела быть полезной. Кто, например, прислал ночью в апартаменты нашего министра пятнадцатилетнюю невинную девочку, когда тот посетил Баию и попросил привести к нему чистую молоденькую девушку, чтобы лучше изучить насущные проблемы страны? Услуга уважаемой сеньоры помогла министру, а значит, и государству...

Итак, когда Албукерке начал ощущать неустойчивость своего положения и серьезную опасность, угрожавшую ему, произошел захват холма Мата-Гато. Тут для него и открылась возможность восстановить свой престиж, отвоевать утерянные позиции, возглавить другую кампанию, придав ей политическую окраску, чтобы стать потом лидером консервативных кругов, а возможно, и их кандидатом на выборах, которые состоятся не скоро, но о которых уже поговаривали. То, что богатый землевладелец, столп испанской колонии командор Хосе Перес обратился к нему за помощью, оказалось весьма кстати. Со всей энергией обрушился Албукерке на нарушителей общественного порядка, врагов законности. Правительственные газеты не скупилась на похвалы, когда он, действуя, по его собственному выражению, решительно, но разумно, приказал поджечь бараки.

Однако лачуги были тут же снова отстроены, и их число возросло, как и число их обитателей. «Газета до Салвадор» начала публиковать серию репортажей Галуба, борзописца с темным прошлым, без сомнения под-

купленного маклерами. Журналист подстрекал население к подрывным действиям и требовал отставки Албукерке, называя его палачом женщин и детей, поджигателем, баианским Нероном...

Вся пресса откликнулась на эти события, газеты оппозиции проводили ту же демагогическую линию, что и «Газета до Салвадор», сторонники правительства поддерживали действия Албукерке, но на свой лад, немного робко, причем наиболее близкая к губернатору газета намекнула на возможность решения, которое удовлетворит всех. Албукерке, однако, почувствовал себя несколько уверенней. Католическая ассоциация под нажимом Переса выразила солидарность с Албукерке, именуя его «самоотверженным защитником порядка».

Однако те, кто его поддерживал, потребовали взамен, чтобы он действовал еще решительнее и разом поккончил с поселком на Мата-Гато, подающим дурной пример. Если не положить конец этой скандальной истории, начнутся захваты других участков. А к чему это может привести? Кто же, как не начальник полиции, должен противостоять этому беспорядку и анархии?

Собрав подчиненных, сеньор Албукерке проанализировал создавшееся положение. Необходимо провести новый штурм холма, снова разрушить лачуги, не оставив камня на камне, и не дать их восстановить. То есть наголову разгромить противника, обратить его в бегство и, заняв выгодные позиции, исключить его возвращение. Хосе Перес, с которым он посоветовался, одобрил этот план. Инженеры и архитекторы по заданию командора уже смотрели, как лучше разбить территорию на строительные участки. Вторжение напугало Пепе Два Фунта. Пожалуй, стоило поскорее продать эти участки и навсегда избавиться от них. В наше время только и жди забастовок, демонстраций, митингов да студенческих волнений. Представьте себе, как это ни нелепо, но даже у его внуков левые взгляды.

Албукерке отдал необходимые приказания, одновременно распорядившись усилить кампанию против азартных игр, что было весьма неосторожно. Он вел войну на два фронта, чувствуя себя генералом, главнокомандующим, славным полководцем. Только это не принесло ему ни желанного богатства, ни даже суммы, на которую можно было бы прокормить его большую семью... И все же он становился влиятельным лицом, понемногу приобретал имя, а значит, шел по верному пути...

Они не заняли выгодных позиций, никого не выселили, ничего не подожгли, не сумели даже достигнуть вершины холма. Больше того, они были с треском разбиты, тактика и стратегия начальника полиции потерпела позорный провал. Агенты и полицейские обратились в беспорядочное бегство, побросав машины. На следующее утро в своей статье Жако Галуб приветствовал храбрых жителей Мата-Гато, победителей во вчерашнем сражении.

Однако надо сказать правду: обитатели холма не были застигнуты врасплох. Слухи о подготовке новой карательной экспедиции, ставящей своей целью разрушение лачуг и захват холма, просочились в газеты и так или иначе дошли до Мата-Гато. Одним из вестников был негр Массу. Как-то вечером он появился на холме вне себя от ярости. Кто-то из его знакомых, родственник агента секретной полиции, сообщил ему тревожную новость: через несколько дней полиция займет холм Мата-Гато и на этот раз добьется своего. Негр уселся рядом с Жезуино и заявил, покачивая своей крупной головой:

— Вот что я тебе скажу, папаша: мой дом они подожгут только после того, как убьют меня. Но прежде я постараюсь уложить одного из них. Быть беде, папаша, если они сюда заявятся...

Бешеный Петух знал, что негр слов на ветер не бросает. Он выслушал других обитателей холма и понял: они тоже готовы защищать свое добро, только не знают как. Большинство склонялось к тому, чтобы отправиться в редакцию «Газеты до Салвадор» и попросить у Галуба помощи. Курчавый, впрочем, пошел дальше: почему бы им не повидать того депутата, что так бурно протестовал против первого нападения полиции? Можно выбрать делегацию. Если они заручатся поддержкой журналистов, депутатов, муниципальных советников, полиция отступит. Больше они ничего не могли придумать. У Жезуино, однако, были другие планы. Пусть посылают делегацию, он не против, пусть обращаются к журналисту и депутату, быть может, им и удастся пресечь произвол полиции. Но он, Жезуино, сомневается в успехе. Они не должны зависеть от других, от доброй воли политиков и репортеров. Или они сами за себя постоят, или их в конце концов выгонят отсюда. Что им делать? Сейчас он скажет. Жезуино озорно улыбался, непокорные седые во-

лосы падали ему на глаза, казалось, для него снова пришла незабываемая пора детских игр, недаром с тех времен у него остался шрам от камня, брошенного противником. Он отправился на поиски Миро, старшего сына Фило, предводителя уличных мальчишек.

Делегация, в состав которой вошла Фило с кучей своих детишек, побывала в редакции некоторых газет и в муниципальном совете, где их принял и выслушал депутат Рамос да Кунья. Затем в сопровождении депутата и муниципального советника Лисио Сантоса делегация явилась к начальнику полиции. К этому времени она несколько уменьшилась, так как, услышав, что предстоит посетить Центральное полицейское управление, многие, в том числе и Капрал Мартин, вышли из состава делегации, поскольку участие в ней становилось рискованным. Остались главным образом женщины да еще Курчавый. Сеньор Албукерке принял их в своем кабинете стоя. Пожал руки депутату и муниципальному советнику, сухо кивнул остальным. Беззубая дона Фило улыбалась, заняв со своей детворой место в первом ряду.

Депутат Рамос да Кунья в высокопарных выражениях сообщил о тревоге жителей холма в связи со слухами о готовящемся на них нападении. Он не желает сейчас обсуждать юридические права обитателей Мата-Гато, не желает также вдаваться в сложную проблему, кто прав — они или командор Перес. Не это привело его к уважаемому сеньору Албукерке. Его привел долг человечности, заповедь Христа помогать друг другу. Он пришел во главе этой делегации, чтобы призвать начальника полиции оставить бедняков в покое, призвать и его выполнить наставление великого галилеянина. В этом месте голос сеньора Рамоса да Кунья задрожал, и депутат поднял руку с указующим перстом, будто говорил с трибуны. Дона Фило захлопала в ладоши, другие женщины поддерживали ее.

— Тише... Если не будете вести себя как следует, всех удалим... — пригрозил им один из агентов.

Сеньор Албукерке выпятил грудь, откашлялся и с не менее торжественным видом заговорил. Однако он не обладал таким мягким поставленным голосом, как депутат, и, волнуясь, то и дело срывался на крик.

— Если я и согласился принять делегацию от этих смутьянов, незаконно захвативших чужие земли, то сделал это, уважаемый сеньор депутат, исключительно из

почтения к вам как к лидеру оппозиции. Иначе эти люди вошли бы сюда только под конвоем.

Потом он принялся пространно и горячо доказывать незаконность захвата холма. Может быть, сеньор депутат все же сочтет нужным обсудить эту сторону вопроса, как единственно важную? Албукерке знал, что депутат не станет ввязываться в спор с ним, незаурядным юристом, особенно если дело коснется этих завладевших чужой собственностью преступников, почти каждый из которых имел приводы в полицию. Если бы эти подонки, опасные элементы оказались в тюрьме, общество от этого только выиграло бы. А прогнать их с Мата-Гато обязан каждый, кто занимает пост начальника полиции.

Но поскольку депутат воззвал к его совести христианина, он согласен дать захватчикам отсрочку на сорок восемь часов. В течение этого времени они должны покинуть холм, им предоставляется возможность унести свои вещи, их не станут арестовывать и судить. Задержаны и отданы под суд будут лишь те, кого полицейские найдут на холме, куда по истечении срока они непременно поднимутся, чтобы сжечь лачуги.

Театральным жестом он показал на большие настенные часы: было 15 часов 43 минуты. Значит, в пятницу, ровно в 15 часов 43 минуты, ни минутой раньше, ни минутой позже, полиция поднимется на холм. Все, кто там окажется, будут задержаны и предстанут перед судом. Он нарушил свой долг, но сделал это во имя великодушия, из уважения к достопочтенному лидеру оппозиции, а также из христианского милосердия и любви к ближнему.

На этом беседу ему хотелось бы кончить, так как его ждут журналисты. Но муниципальный советник Лисио Сантос, возможно, намеренно обойденный начальником полиции в его пространной речи, на свой страх и риск взял слово — пришлось его выслушать. Этот господин, избранный с помощью Отавио Лимы на выручку от «жого до бишо», славился своей беспринципностью и был замешан во многих грязных делишках. Жако Галуб отзывался о нем так: «Весьма симпатичный человек, хороший товарищ, только не оставляйте рядом с ним кошелек или хотя бы бумажку в пять мильрейсов». Его странная речь, лишенная логики и смысла, лилась водопадом:

— Сеньор начальник полиции, я здесь потому, что мое присутствие здесь необходимо. Люди пришли за

мною, нашли меня, и я пришел с ними. Хотите вы того или нет, вы должны меня выслушать.

Его выслушали, хотя и с явной неохотой. Неподкупный сеньор Албукерке не скрывал своей неприязни к этому представителю политических низов, во всем ему противоположному. Они олицетворяли собой различные и непримиримые тенденции и всегда руководствовались совершенно различными принципами. За сеньором Албукерке стояли поколения государственных деятелей, восходящие к дворянам времен империи, у него была респектабельная внешность, предполагавшая честность и благородство. У Лисио Сантоса ничего подобного не было, никто не знал о его семье, он появился из городских клоак и был избран на деньги «жого до бишо». Сходились они в одном: и тот и другой стремился разбогатеть с помощью политики и поглубже запустить руку в государственную казну. Впрочем, и здесь была некоторая разница: начальник полиции не желал при этом терять репутацию сурового, честного и неподкупного гражданина, а Лисио Сантос даже не пытался скрывать своей алчности, он торопливо хватался за любое дело, лишь бы оно сулило ему деньги. Они представляли в корне различные школы, являя собой различные типы политических деятелей, имеющих заслуги перед родиной. Их отличали друг от друга способы, с помощью которых они намеревались поживиться за счет государства, поэтому сеньор Албукерке поглядывал на «крысу Лисио» (как его прозвали друзья) брезгливо сморщившись. Но мы, простые граждане, не занимающие государственных постов, не будем принимать сторону ни одного из этих двух мошенников. Ведь известно, что воруют и те и другие — благородные Албукерке и холуи Лисио. Поэтому мы не станем критиковать образ действий одного и хвалить образ действий другого, мы сохраним нейтралитет в этом споре между великими людьми.

Крыса Лисио выкрикивал бессмысленные фразы, требуя продлить отсрочку и цитируя Руя Барбозу. По правде говоря, он был не очень в курсе дела, делегация захватила его врасплох, и он отправился с ней, чтобы разнюхать, не удастся ли чем-нибудь поживиться в этой неразберихе, к тому же, как человеку Отавио Лимы, ему надлежало действовать против начальника полиции.

Остальные муниципальные советники избегали обитателей Мата-Гато: префект, друг командора Переса, был связан с испанской колонией и целиком поддержи-

вал действия начальника полиции, так же поступило большинство муниципальных советников. Оппозиция, боясь вызвать недовольство крупных коммерсантов и землевладельцев, не хотела впутываться в эту ссору. Лисио Сантосу, однако, нечего было терять, а его тесная связь с Отавио Лимой делала его союзником захватчиков, хотя, сопровождая делегацию, он не знал подробностей дела. И только в кабинете начальника полиции, слушая депутата и Албукерке, он отдал себе отчет в важности происходящих событий и нюхом почуял огромные возможности, которые они сулят.

Лисио видел явное презрение Албукерке, видел и желание депутата Рамоса да Кунья, принадлежавшего к той же школе государственных деятелей, отмежеваться от него, но только мысленно ухмыльнулся — ведь он, если бы пожелал, мог их обоих съесть без соли, мог сделать ручными.

Его речь становилась все более взволнованной и резкой. Он требовал отсрочки по крайней мере на неделю, а то и две, чтобы компетентные люди нашли за это время решение, которое удовлетворило бы справедливые притязания владельца и не менее справедливые притязания бедняков. Знаете ли, между прочим, начальник полиции, что такое голод? «Голод, сеньор начальник полиции, — это нечто весьма неприятное», — провозгласил Лисио.

Сеньор Албукерке воспользовался драматической паузой, чтобы прервать его. Он еще раз повторил, что дает 48 часов и ни минуты больше. Что же касается притязаний этих смутьянов, то, да будет известно сеньору муниципальному советнику, они противоречат законам.

— Закон и преступление, собственность и воровство, порядок и анархия несовместимы... И либо мы пресечем подрывные действия, либо падем их жертвой...

Этим страшным пророчеством и кончилась беседа. Когда делегация уходила, доня Фило вытянулась по-солдатски, щелкнула каблуками старых башмаков и отдала честь начальнику полиции. Даже агенты рассмеялись, а сеньора Албукерке едва не хватил удар — эта нищенка посмела оскорбить власть!

Фило не попала в кутузку лишь благодаря своим отпрыскам, которые со всех сторон вцепились в нее. Начальник полиции задыхался от гнева: не будь ребятишек, никакие просьбы, ничье вмешательство не помогли бы ей.

Известие о сорокавосьмичасовой отерочке, которую

предоставили захватчикам, чтобы они покинули холм, разными людьми было встречено по-разному.

Рамос да Кунья, выйдя из полиции, отправился к Жако Галубу. Это дело обещало депутату известный престиж в столице, где у него до сих пор не было избирателей. Он хотел поговорить с журналистом об усилении кампании против полиции, хоть, конечно, кампания эта практических результатов не даст. Дело кончится тем, что бедняки будут выселены, но он и Жако заработают популярность. А это было бы кстати: тогда он сможет заложить в столице фундамент своего политического будущего. Что же касается Галуба, то его репортажи пользовались очень большим успехом, они на шумели даже за пределами Баии. Один журнал, издающийся в Рио-де-Жанейро, запросил у него материалы об этом деле и фотографии. На предстоящих выборах Галуб, судя по всему, сможет выставить свою кандидатуру в муниципальный совет.

Лисио Сантос вышел из полиции с задумчивым видом и тут же отправился поговорить с Отавио Лимой. У него зародился смелый план. Лисио слегка улыбался, вспоминая неприязненное лицо сеньора Албукерке. Эта каналья прикидывается порядочным человеком, но Лисио знает цену его показной честности, он был в курсе беседы начальника полиции с королем «жого до бишо», который подробно рассказал ему об этом разговоре. И этот мерзавец еще имеет наглость обрывать его и смотреть на него свысока? Лисио задумчиво улыбался: нужно использовать эту историю и хорошо заработать на ней. А заодно избавиться от этой язвы Албукерке с его лживой порядочностью и глупой спесью, свалить его с поста начальника полиции.

Жезуино Бешеный Петух, услышав о сроке, признал, что времени отпущено достаточно. Оборонные работы продвигались успешно. Мир поддерживали все мальчишки. С их помощью Бешеный Петух и возводил оборонительные сооружения; он рассчитывал еще на женщин и в последнюю очередь на мужчин. Жезуино всех заразил своим энтузиазмом: ребята были просто в восторге, взрослым его план тоже начинал нравиться. А когда что-нибудь делаешь с охотой, всегда получается хорошо.

В пятницу, ровно в 15 часов 43 минуты, агенты под моросящим нудным дождем высадились из машин. На этот раз, чтобы избежать сюрпризов, машины оставили на дороге, рядом с пляжем, и к холму шли пешком.

Несмотря на дождь, ливший всю ночь и утро, отчего окрестности холма превратились в болото, явилось несколько журналистов, а Жако Галуб в порыве храбрости даже поднялся на холм, чтобы стать рядом с жителями поселка — пусть и его арестуют вместе с ними. Радиостанция установила свой пост, чтобы информировать слушателей о событиях, и дикторы взволнованно сообщали о каждом передвижении агентов. До этого было передано заявление доны Фило, которая держалась на редкость твердо и мужественно; она сказала, что готова умереть вместе со своими семью детьми, защищая свою лачугу. Подошел к микрофону и тщеславный Мартин, одетый в мундир с погонями капрала; он разразился угрозами. Но Жезуино сказал, что это было ошибкой, и оказался прав, как мы убедимся позднее. А пока торопиться нам некуда, будем двигаться вперед потихоньку, у нас еще есть время, раз из перегонных кубов льется кашаса...

Шико Ничтожество в непромокаемом плаще тоже дал интервью по радио. Он прибыл во главе своих людей выполнить приказ начальника полиции: смести с лица земли эти грязные лачуги и охранять участок, чтобы не допустить нового вторжения. Полиция и так проявила снисходительность, предоставив захватчикам время для того, чтобы они убрались отсюда, но они не пожелали. Поэтому сейчас на дороге в ожидании груза стоят три машины. Полиция уже начала следствие по этому делу. Будет ли арестован журналист Жако Галуб? Будет арестован даже сам дьявол, если он окажется на холме.

На вершину холма вели две крутые, почти отвесные тропинки. Из-за дождя они стали скользкими. Обе тропинки были проложены по той стороне холма, которая была обращена к пляжу, другая его сторона была обращена к гнилому, вонючему болоту, поросшему низким кустарником. Только самые отчаянные мальчишки рисковали пробираться по этой топи. Таким образом, агенты, нагруженные канистрами с бензином, могли рассчитывать только лишь на крутые тропинки, размытые дождем. Начали потихоньку подниматься.

Им удалось сделать несколько шагов, когда из примитивных окопов, вырытых на холме Бешеным Петухом с мальчишками, на них обрушился град камней. Мальчишки оказались меткими стрелками: одному из агентов камень угодил прямо в лоб, полицейский потерял равновесие и скатился с холма, вывалившись в грязь. У другого была до крови расцарапана шея. Остальные остано-

лись. Шико Ничтожество выхватил револьвер и стал взбираться с криком:

— Ах так, бандиты? Ну, я вам покажу!..

Он медленно, скользя по грязи, лез вверх по склону в сопровождении трех-четырех агентов. Дикторы объявили: «Комиссар Франсиско Лопес, с револьвером в руке, пытается взобраться на холм. Он полон решимости и отваги, готов преодолеть любое препятствие. Комиссар Ничтожество, то есть, извините, комиссар Лопес ведет за собой остальных». И сразу вслед за этим: «Вниманис! Комиссар уже не идет впереди. Комиссар бежит обратно, за ним катится огромный, как скала, камень...»

Действительно, Массу и Курчавый подтолкнули большой камень, лежавший на вершине холма, и камень покатился в сторону Шико Ничтожества. Все бросились наутек: агенты и любопытные, журналисты и радиорепортеры со своими микрофонами. Каменная глыба, высоко взметнув грязь, тяжело плюхнулась у подножия холма.

Репортер, считавшийся лучшим комментатором футбольных матчей, закричал: «Го-о-о-о-ол!», будто вел передачу об интересной встрече, и добавил: «Два ноль в пользу бандитов с холма!»

Три раза пытались полицейские подняться на холм — и три раза отступали. Дикторы кричали в микрофоны: «Агенты стреляли, но без успеха, зато почти все камни достигли цели. Пострадал и наш коллега Ромуалдо Матос, который, чтобы лучше видеть происходящее, приблизился к месту сражения и получил удар в плечо. Камень разодрал одежду и поцарапал кожу. И все же Ромуалдо Матос продолжает вести репортаж прямо с поля боя. Стройте дома на холме или на побережье, на купленном или захваченном участке, но обстановку приобретайте в магазине «Превосходная мебель» на Седьмой авениде, номер...»

В восемнадцать часов пятнадцать минут, через два с лишним часа после начала штурма, прибыла правительственная машина. В ней находились полицейский комиссар, чиновник канцелярии губернатора и аккредитованный при губернаторском дворце журналист. Комиссар направился к Шико Ничтожеству, за ним последовал чиновник; журналист остановился поболтать с группой репортеров.

Шико Ничтожество, в перепачканной одежде, с измазанными в грязи руками и лицом, пылающий ненавистью и жаждущий крови, ждал, что ему на помощь при-

будет военная полиция, а сам он получит приказ стрелять.

— Только так можно взять эту сволочь...

Губернатор действительно отдал приказ, но не тот, которого ждал Шико: он приказал прекратить начатую операцию. Полиция была вынуждена убраться с Мата-Гато.

Аккредитованный при дворце журналист рассказал, что там собрались на секретное совещание с губернатором правительственный лидер, еще два-три депутата, адвокат Торговой ассоциации и муниципальный советник Лисио Сантос. Два с лишним часа они провели за закрытыми дверями. Начальника полиции вызвали туда в середине совещания, и когда он вышел, вид у него был не очень довольный. Губернатор лично приказал ему прекратить наступление на холм. Чувствовались какие-то новые веяния...

Побежденные полицейские расселись по своим машинам. Когда моторы заревели и автомобили сорвались с места, им вслед с вершины холма раздался оглушительный свист, к которому присоединились радиорепортеры и журналисты, а также зрители. Жезуино дирижировал. Он довольно смеялся, этот генерал оборванцев, командир уличных мальчишек; ему казалось, что и сам он стал таким же, что на нем расклеившаяся от дождя остроконечная шляпа, сделанная из жести и картона, что он играет в бандитов и полицейских. Никогда еще он так не веселился. Ни он, ни Миро, ни адъютант Миро, худущий паренек — кожа да кости, с окурком во рту и перочинным ножиком за поясом.

Но, пожалуй, самый торжествующий вид был у Жако Галуба, «героя холма Мата-Гато», как его назвал депутат Рамос да Кунья в своей памятной речи в Ассамблее, посвященной этим событиям. «Народ не одинок, господин председатель, мы с ним, и нашим посланцем там был неустрашимый журналист Жако Галуб, герой холма Мата-Гато». Сам Жако в очередном сенсационном репортаже также дал понять, что его поведение на холме решило исход дела. Взять хотя бы заголовок: «Я видел битву на Мата-Гато, я участвовал в ней». В этом репортаже он смешал с грязью Шико Ничтожество и беспощадно высмеял этого глуща. Таким образом, Галуб предстал перед читателями в ореоле героя, и его репортажи опять наделали много шума.

В тот же вечер на холме произошла новая волцую-

щая сцена. Жители поселка еще переживали радость победы, когда там появился муниципальный советник Лисио Сантос в сопровождении нескольких заправил предвыборной кампании и фотографа из «Журнал до Эстадо». Советник преподнес обитателям холма радиоприемник — дар крупного предпринимателя Отавио Лимы — и заверил их, что он, Лисио Сантос, полностью с ними солидарен. Он останется на их стороне и будет заодно с ними, что бы ни произошло, а если понадобится, то и умрет, защищая их очаги, которым угрожает опасность...

Жезуино Бешеный Петух не присутствовал при вручении дара, который приняла в свои руки дона Фило, как лицо, уполномоченное всеми жителями. После победы Жезуино счел нужным исчезнуть на несколько дней, а сейчас отправился в заведение Тиберии выпить пива с Жезусом. На холм мог заявиться какой-нибудь агент, осведомленный о его действиях во время штурма, и увести его. Жезуино захватил с собой Капрала, который так неосторожно горячился перед микрофоном, а также негритенка Миро, старшего сынишку доны Фило.

Он со смехом рассказал Оталии, Тиберии, девушкам и Жезусу о том, как перепугался журналист Жако, когда агенты стали палить из револьверов в воздух, как он спрятался в домике Курчавого, рассчитывая найти там надежное убежище.

Таким образом, Жезуино не слышал заявления Лисио Сантоса, не видел знака симпатии Отавио Лимы и ничего не знал о поддержке жителей холма выдающимися людьми, о которой упомянул в своей речи муниципальный советник. Указав на Миро — у мальчика были свалывшиеся от грязи кудри, живые глазки и мышинное личико, — Бешеный Петух сказал:

— Вот этот плут не дал агентам подняться на Мата-Гато. Он и другие мальчишки. Они, не растерявшись, стали бросать камни, когда мужчины решили, что проиграли сражение... Это им мы обязаны тем, что наши дома не спалили.

Но Жезус вступился за журналиста:

— Испугался он или не испугался, а все-таки помог. И депутат тоже.

Жезуино пожал плечами, вертя в руках стакан с пивом. Старый бродяга был скептиком и ни в чье сочувствие не верил.

— Никто нам не поможет, кум Жезус. Но мы, бедня-

ки, вроде той травы, знаешь: ее чем чаще вырывают, тем она глубже пускает корни, тем пышнее разрастается.

Миро слушал его улыбаясь. И Жезуино положил слегка дрожащую от изрядной порции кашасы и пива руку на плечо мальчишки.

— Хороший малый... Настоящий молодчина!

Но Миро знал, что на самом деле всем заправлял старый Жезуино Бешеный Петух. Знали это и жители холма, хотя и не придавали этому большого значения. Как знали уже давно мудрость Жезуино, его готовность помогать всем, его самоотверженность. Как знали его страсть к кашасе и его умение разбираться в достоинствах этого напитка. Как знали его любовь к женщинам, которые, несмотря на его седину, морщины и немалые годы, предпочитали Жезуино молодым. Старик обладал настоящей мудростью, и, наверно, именно поэтому люди не удивлялись ей. Не удивлялся и сам Жезуино: просто захотелось ему позабавиться, и все.

Сейчас на холме все собрались у приемника. Его включили, и раздалась оглушительная самба. Первой не выдержала дона Фило: оставив своих детишек, она вышла танцевать, другие последовали ее примеру.

9

После провалившейся затей полиции события, связанные с Мата-Гато, прошли две различные стадии, следовавшие одна за другой. Сначала они вызвали много шума.

В прессе без конца появлялись передовицы, статьи, репортажи и заметки, авторы которых, в зависимости от политической ориентации газеты, выступали за или против жителей поселка. Однако все хвалили осторожность губернатора, его гуманизм, выразившийся в том, что он распорядился приостановить штурм холма во избежание кровопролития и человеческих жертв. В Ассамблее штата лидер оппозиции депутат Рамос да Кунья произнес пламенную речь, возложив ответственность за волнения и беспорядки на правительство. В ответ лидер правительственного большинства депутат Рейс Собриньо обвинил оппозицию и персонально Рамоса да Кунья. Оппозиция, чтобы создать трудности для администрации и поставить правительство в невыгодное положение, якобы поощряла этих смутьянов, эти отбросы общества. Но, зная, что люди эти попались на удочку лидеров оппози-

ции, и желая избавить их от еще больших страданий, губернатор распорядился прекратить действия полиции и отсрочить изгнание захватчиков... Не следует, впрочем, путать великодушие со слабостью. Правительство будет твердо стоять на страже закона.

В муниципальном совете Лисио Сантос, ставший теперь под стать Жако Галубу самым ревностным защитником обитателей холма, поднял невероятный шум. Его поддержали два-три члена муниципального совета, которые стремились создать себе рекламу, чтобы заручиться голосами избирателей.

— Позор! — ревел с трибуны Лисио Сантос. — Действия начальника полиции, этого палача игроков, этого Робеспьера, состоящего на службе у торговцев, — преступление против народа. Почему он преследует «жого до бишо»? Да потому что ему не дали той мзды, которую он потребовал... И я отвечаю за каждое мое слово, я могу это доказать. Сеньор Албукерке, этот растленный тип, не довольствуясь пытками, которым подвергаются арестованные, решил убивать трудящихся, построивших себе лачуги на Мата-Гато. Но дом бразильца — слушайте и запоминайте, сеньор начальник полиции! — дом бразильца священен и неприкосновенен, это гарантировано конституцией...

Лисио Сантос был полон гнева. Он стремился наверстать упущенное, изображая из себя непреклонного защитника Мата-Гато. Вторжение на холм представлялось ему золотой жилой, которую надо только суметь разработать.

И вот после этих волнений, потрясших, казалось, весь мир, наступило полное затишье. Правда, продолжали ходить слухи, будто созываются совещания, вносятся разные предложения, ведутся переговоры, но все это оставалось в тайне. В газетах появилось было сообщение, что сеньор Албукерке подал в отставку, недовольный соглашательской позицией губернатора, однако оно тут же было опровергнуто самим начальником полиции. Губернатор, заявил он журналистам, приказал прекратить штурм только после того, как посоветовался с ним, и никаких расхождений между ними не возникло. Что же касается новых мер, которые будут приняты для выселения захватчиков, то они сейчас обсуждаются и скоро будут приведены в исполнение.

Разъяренные агенты кружили вокруг Мата-Гато, не решаясь подходить близко. А некоторые жители холма,

наиболее отличившиеся, в частности, негр Массу, избегали спускаться, чувствуя себя наверху в большей безопасности. Агенты не простили им своего позорного поражения — того, как они скользили по крутым глинистым тропкам, были избиты камнями и освистаны.

Жезуино еще раз доказал свою осторожность и благоразумие, когда укрылся на несколько дней в заведении Тиберии, найдя там приют у толстозадой Лауры, и когда посоветовал Капралу Мартину не появляться на оживленных улицах.

Капрала сгубила страсть к саморекламе. В день штурма, например, он выступил по радио только ради того, чтобы порисоваться. Он не мог устоять перед соблазном сказать в микрофон несколько слов. В микрофоне вообще есть какая-то притягательная сила — подойдя к нему, человек сразу начинает болтать. Таким же свойством обладает и фотоаппарат: появляется репортер с лампой-вспышкой — и ты становишься в позу, скалишь зубы. Мудрый Жезуино не только не дал себя сфотографировать, но и не стал болтать перед микрофоном, не то что Мартин. Не подумав о последствиях, он — а ведь ему больше чем кому бы то ни было следовало держаться в тени — наговорил бог знает чего, ругал полицию, рассказал (это уж было совсем глупо), как однажды Шико Ничтожество избили на танцах.

Мартин не внял совету Жезуино скрыться. В результате он чуть было не попал в руки полиции. Это случилось близ церкви Розарио-дос-Негрос на площади Позорного столба, где состоялось крещение сына Массу. Мартин выходил из бара Алонсо после решающего свидания с Оталией.

Преследуемый полицией, без гроша в кармане, поскольку играть было негде и все его партнеры исчезли из-за беспощадной кампании против азартных игр, никогда еще он так не нуждался в конкретных доказательствах любви. Об этом он и заявил Оталии с грустным видом, облокотившись на стойку бара перед пустым стаканом. Он и так был слишком терпелив, но больше это продолжаться не может. В конце концов Оталия не робкая девиственница, а он не привык оставаться в дураках...

У Оталии задрожали губы, она заморгала и, казалось, была готова заплакать, Мартин же едва не раскаялся в резкости своих слов. Но Оталия не заплакала, а снова подтвердила свое решение не ложиться с ним в постель, во всяком случае так скоро. Капрал потерял голову и

схватил ее в объятия. В этот час в баре не было ни одного посетителя, Алонсо находился в задней комнате. Однако Оталия оказала сопротивление, и когда ей удалось высвободиться, спросила жалобным голосом:

— Неужели ты не понимаешь?

Нет, он не понимал, он только желал ее, а она издевалась над ними.

— Если это не случится сегодня же, всему конец...

Она молча повернулась и ушла. Мартин бросился к двери и увидел, как она огибает угол, направляясь к заведению. Прежде чем уйти, он выпил еще стакан кашасы, недовольный всем на свете: безденежьем, преследованием полиции, Оталией, самим собой.

Едва сделав несколько шагов по улице, он наткнулся на агента, который сейчас же подошел к нему и объявил, что он арестован. Капрал быстро оглянулся по сторонам; не заметив поблизости ни шпииков, ни полицейских, он сильно ударил агента и скрылся. Когда тот поднялся и стал звать на помощь, Мартин уже исчез, сбежав вниз по склону.

Вечером, безмерно страдая оттого, что ему, судя по всему, наставляют рога, и с трудом заставив себя не ходить к Оталии, он, забыв всякую осторожность, направился к Карлосу Вонючему Мулу, чье игорное заведение было одним из немногих, еще не разгромленных полицией. Между тем именно этот притон нужно было бы уничтожить в первую очередь. Он был настоящей западней. Вонючий Мул, прозванный так потому, что от него всегда воняло потом, работал грубо, пользуясь краплеными колодами и мечеными костями, которые не могли обмануть даже слепого. Мартин знал об этих махинациях, сам Артур да Гима, искуснейший мастер, рассказал ему, как изготовлял для Вонючего Мула кости — конечно, меченые. Артур даже показал их Мартину. Отличная работа.

Итак, Капрал пошел в притон Вонючего Мула не затем, чтобы рискнуть несколькими монетами, одолженными у Алонсо. Он хотел убить время, поболтать, посмотреть на фокусы козьяина притона, возможно, так ему удастся забыть Оталию и пылкую страсть к ней. В конце концов мужчина должен быть хозяином своего слова. Он не желает больше ее видеть, он ей не игрушка, все кончено. К тому же, может, найдутся желающие сыграть партию ронды — колодой Мартина, конечно.

Притон Карлоса Вонючего Мула находился в заднем помещении механической мастерской. По вечерам вход

туда охранялся. Обязанности караульного уже некоторое время выполнял Гвоздика. Мартина встретили, как всегда, хорошо, хозяин притона уважал его.

Несколько человек сидели за столом и играли в кости. Банк держал Вонючий Мул, но кто мог выиграть, пользуясь его шулерскими костями? Каково же было удивление Мартина, когда он заметил среди игроков Артура да Гима, мастера, своими руками изготовившего эти кости. Что он, спятил или работает на хозяина притона, исполняя роль приманки? Ответив на любезное приветствие Вонючего Мула и отвергнув приглашение рискнуть на небольшую ставку, Мартин незаметно показал ему на Артура, как бы спрашивая, что это означает. Вонючий Мул пожал плечами и, немного погодя закончив игру, отпустил партнеров, заявив, что должен поговорить с Капралом. Артур да Гима удалился с угрюмым видом, что-то бормоча себе под нос.

— По-моему, он обругал себя дураком и еще почище.

Вонючий Мул рассмеялся, объяснив Мартину, что он не виноват перед этим сумасшедшим Артуром. Ну где это видано? Человек сам изготавливает кости для его притона, разумеется, знает об их особенностях и все же садится играть и ставит деньги! Да разве можно его удержать! Он попытался было, но Артур будто спятил, полез в драку. Совсем на игре помешался. Играть сейчас негде, вот он и явился, подсел к столу. Будь он один, Вонючий Мул мог бы ему проиграть. Но ведь за столом сидели и другие партнеры, и, в конце концов, Артура никто не заставлял приходить сюда. Он ведь не мальчик, давно уже вышел из детского возраста... А теперь, наверно, бьется головой о фонарные столбы и проклиняет себя.

Потом они посетовали на трудные времена, и Мартин согласился выпить стопку кашасы. Вонючий Мул посоветовал Мартину немного подождать, возможно, его удастся подключить к партии в покер, которую Мул собирался организовать. Есть тут трое растяп из конторы по экспорту табака, только один из них кое-что смыслит в игре, двое других едва знают комбинации. Правда, много с ними не выиграешь — не очень-то они богаты, да и рисковать не любят, но лучше хоть это, чем ничего. Мартин потер руки. Он сидит без гроша и согласен на все.

Действительно, полчаса спустя пришли трое простофиль. Мартин был представлен им как военнослужащий в отпуску, и они уселись вокруг стола. Однако едва начали играть, как нагрянула полиция. Гвоздика не успел

даже крикнуть, как агенты схватили его и бросили в полицейскую машину. Однако Вонючий Мул, который был всегда начеку, вовремя услышал подозрительный шум и успел крикнуть Мартину:

— Сюда, дружище!

За шкафом была потайная дверь, выходящая на пустырь позади мастерской. В нее они и выскочили, а трех простаков из конторы агенты схватили и стали загонять в машину, награждая их пинками и оплеухами.

Мартин попросил приюта у своего кума Зебедеу, дочера, живущего в Барбальо. Кум одолжил ему денег, но посоветовал уехать из города. Полицейские усиленно разыскивали Мартина; сегодня, например, они заявили к торговцу Алфредо и спрашивали о Капрале. Его ищут повсюду, шпик Шаруто, заклятый враг Мартина, действует заодно с Шико Ничтожеством, получив специальное задание схватить Мартина и засадить его в тюрьму.

Лишь теперь Капрал понял всю серьезность своего положения. С помощью Зебедеу и рулевого Мануэла он перебрался на остров Итапарику и велел о своем местонахождении сообщить только Жезуино. На Итапарике он стал именовать себя сержантом Порсиункулой, не уточняя, впрочем, служит ли он в армии или в полиции. Устроился на острове Мартин неплохо. Здесь игроков не преследовали, и, хотя сейчас был не сезон и большого оживления не наблюдалось, все же на жизнь он зарабатывал. А вскоре красивая мулатка Алтива Консейсан до Эспирито Санта помогла ему забыть Оталию и ее нелепое упрямство. И все же иногда он вспоминал о ней и, желая ее, скрипел зубами. Тогда он накидывался на Алтиву, которая очень напоминала ему русалку, и говорил под шелест ветра в конусовых пальмах, поглаживая ее медно-красный живот:

— Ты похожа на Иеманжу...

— А ты разве спал с Иеманжой, черный развратник?

В Баие свирепствовал полицейский разгул. Ветрогон угодил в кутузку, хотя и покинул Мата-Гато задолго до первого налета полиции. Его побили резиновыми дубинками и освободили только благодаря вмешательству одного из его клиентов, доктора Менандро, которому срочно понадобились лягушки и он, начав разыскивать Ветрогона, обнаружил беднягу в тюрьме спящим глубоким сном.

Еще избили Инсилона. Но его также освободили, ибо сенyor Абилафия, тюремный адвокат, по распоряжению муниципального советника Лисио Сантоса потребовал

соблюдения habeas corpus¹, для граждан, арестованных без предъявления обвинения. Все освобожденные не преминули отдать свои голоса Лисио Сантосу.

Если не считать этого усиления полицейских репрессий, стоит упомянуть, пожалуй, еще об одном факте, связанном с вторжением на холм Мата-Гато. Один из крупных юристов города от имени командора Хосе Переса возбудил судебный иск, требуя восстановить командора в правах на земельные участки, захваченные посторонними лицами. Адвокат требовал также, чтобы полиции было отдано распоряжение немедленно принять решительные меры против нарушителей закона и конституции.

10

И только Курио держался в стороне и сохранял полное безразличие ко всей этой суматохе. Он вообще не реагировал бы на кампанию против азартных игр, если бы она не затронула его друзей, и в первую очередь — Мартина. Мы уже знаем твердые принципы Курио в отношении дружбы, а Мартин был для него больше, чем друг. Вот почему Курио все же забеспокоился, хотя игра никогда его не интересовала.

— Моя слабость — жепщины... — говорил он, когда ему предлагали сигарету или приглашали сыграть в покер. Только от кашасы он никогда не отказывался, возможно считая, что пьют ее не из слабости, а по необходимости, как верное средство от различных недугов, в том числе и любовных.

Без Мартина жизнь его друзей изменилась. Хотя, по правде сказать, это случилось раньше, до того, как Мартин превратился в сержанта Порсиункулу, проводящего на побережье Итапарики медовый месяц с Алтивой Консейсан до Эспирито Санто. После вторжения на Мата-Гато неразлучные прежде друзья все реже собирались, чтобы сообща решить, что делать вечером; праздники были забыты, наступил разброд.

Даже самые бурные события на холме оставили Курио равнодушным, будто он не собирался жить там и не начал строить себе домик, кстати сказать, самый вычурный из всех. Если бы не бдительность Жезуино и Массу, этот наполовину выстроенный домик уже давно был бы занят бездельниками, всегда ищущими, чем поживиться.

¹ Закон о неприкосновенности личности в Англии,

Курио не видел ничего, кроме мадам Беатрис, феноменальной факирши, сейчас лежавшей в застекленном гробу на Байша-дос-Сапатејрос и голодавшей. Каждый посетитель платил за это зрелище пять мильрейсов.

Жезуино привык к любовным похождениям Курио, кончавшимся, как правило, неудачно; Бешеного Петуха уже не удивлял его слащавый романтизм, его иллюзии и разочарования. Но даже Жезуино, в совершенстве изучивший Курио, отказывался понимать подобную наивность: Курио действительно верил, что Беатрис постится, даже не пьет, и так пролежит целый месяц, он клялся в этом душой своей матери и готов был сунуть руку в огонь. Жезуино покачивал головой. Курио должен успокоиться и простить его, но он в это не верит. Человек не может месяц ничего не есть, а тем более не пить, он не выдержит и недели... Пусть Курио перестанет валять дурака и скажет, в чем состоит фокус, в конце концов, ему нет никакого смысла обманывать друзей, они не станут болтать. Правильно, Ветрогон?

Ветрогон, знаток по части поста, подтвердил: никто не продержится месяц. Змея жибойя может, но только проглотив теленка, которого будет долго переваривать. Люди же на это не способны, они не могут жить без еды, без выпивки и без женщин. Говорят, есть мужчины, которые способны месяц обходиться без женщины, он слышал о таких невероятных случаях. Что же касается его, Ветрогона, он уже через пять дней становится раздражительным и угрюмым и готов наброситься на первую попавшуюся женщину. Кстати, а как эта дамочка? Она тоже целый месяц будет воздерживаться, или Курио ночью залезает в гроб и развлекает покойницу? Нет, Беатрис не только в течение месяца не ест, не пьет и не имеет дела с мужчинами — а что это именно так, каждый может убедиться, взглянув на герметически закрытый гроб, — но уже недели за три до этого начинает морально готовиться к длительному испытанию, на которое способна только она, любимая ученица буддистов.

— А это что за чертовщина?..

— Индийская религия. Буддисты вообще не едят и лишь раз в полгода выпивают каплю воды. Они ходят в набедренных повязках.

— Враки это все... — решительно заявил Ветрогон.

— А я как-то читал книгу, где рассказывалось об этом. Они живут в Тибете, на самом краю света, — встал Ипсилон.

— Браки...— повторил Ветрогон.— Набедренные повязки носят индийцы, а они едят очень много...

Но Курио стоял на своем. Как она может есть или пить, если он не носит ей ни пищи, ни воды, а кроме него, ее личного секретаря, никто к ней не приближается. Разве не торчит он целыми днями в старом магазине Абдалы, продавая входные билеты и поднимая полог перед посетителями, чтобы они могли видеть красавицу Беатрис, лежащую в гробу? Впрочем, посетителей было немного и особого энтузиазма они не проявляли.

Вопрос этот не на шутку заинтересовал Жезуино.

— А когда ты уходишь выпить глоток кашасы, кто остается вместо тебя?

Он действительно каждый день уходит после обеда часа на два, чтобы съесть что-нибудь (в полдень он довольствуется сэндвичем и несколькими бананами) и повидать друзей. А у дверей магазина остается хозяйка пансиона, мулатка Эмилия Каско Верде, хорошая знакомая Беатрис, которая вызвалась помогать им.

— Эмилия Каско Верде? Та, что живет на улице Джованни Гимараэнса и держала ларек на рынке до того, как сошлась с турком и открыла пансион?

— Она самая...

— Ну тогда и голову нечего ломать... Она носит ей еду и питье...

Курио продолжал не соглашаться, но червь сомнения все же зашевелился у него в душе. Неужели они правы? Неужели мадам Беатрис, за которую он головой ручался, способна на такое жульничество? Неужели она могла усомниться в нем и доверилась Эмилии? А если это так, нельзя верить и ее словам, сулившим ему счастье по окончании этого поста.

Вот какие заботы помешали Курио участвовать в последних волнующих событиях. Он только раз поднялся на Мата-Гато, чтобы побывать у Массу и старой Вевевы и повидать малыша.

Между тем недостатка в новостях не было. Пока иск Пепе Два Фунга, выигранный в первой инстанции, ожидал нового судебного разбирательства в апелляционном суде, депутат Рамос да Кунья, поддержанный оппозицией, представил законопроект, в котором правительству предлагалось произвести отчуждение земельных участков на холме Мата-Гато и сделать их собственностью штата, чтобы граждане могли строить там дома. Проект

был встречен с интересом, который оппозиция использовала в своих целях. На Соборной площади был созван большой митинг, где выступили многие ораторы, в том числе автор законопроекта, журналист Жако Галуб, муниципальный советник Лисио Сантос и кое-кто из жителей Мата-Гато.

Мы не станем утверждать, как это сделала одна официозная газета, что «демагогическая затея оппозиции провалилась, так как широко и шумно разрекламированный митинг собрал лишь полдюжины зевак». Но и не станем поддерживать экзальтированное сообщение «Газеты до Салвадор», в котором говорилось, будто бы десять тысяч человек собрались, «чтобы послушать пламенные речи Айртоня Мело, Рамоса да Кунья, Лисио Сантоса, Жако Галуба и горькие сетования обитателей холма». Не было ни того, ни другого! Тысячи полторы людей, среди которых были и участники митинга, и случайные прохожие, ожидавшие трамвая или автобуса, слушали ораторов и аплодировали им. Особенно бурными аплодисментами были награждены довольно бессмысленные, но неизменно звучные тирады Лисио Сантоса. Его витиеватая речь гармонировала с пышным барокко Соборной площади. Жителей холма на митинге, собственно, не было. Они не решились прийти, опасаясь провокаций со стороны полиции. Только Фило, за которой ходил Галуб, поднялась на трибуну, чтобы показаться народу вместе со своими детьми. Ее появление было встречено одобрительным гулом. От имени жителей Мата-Гато все же выступил Данте Веронези, честолюбивый портной из Итапажипе, тесно связанный с Лисио Сантосом, своим политическим боссом. Речь Данте Веронези была великолепна и вполне соответствовала площади, на которой падре Виейра¹ когда-то призывал к сопротивлению голландскому владычеству. Портной не пожалел красок для описания нищеты жителей холма: лишенные домашнего очага и крова, они обречены мокнуть под дождем вместе со своими женами и ребятишками. Картина эта была вполне достойна сурового итальянского тезки Веронези, но и он, гражданин современной Бразилии, непосредственно ощущал на себе бремя этих ужасов. И вот бедняки решили построить себе лачуги на заброшенной земле миллионера-испанца, который нажил себе богатство, обвешивая

¹ Падре Антонио Виейра (1608—1697) — видный оратор и писатель, пользовавшийся большой популярностью в Бразилии,

честных людей. Но пришла полиция... Далее следовало описание полипейской расправы и страданий народа. К счастью, не перевелись еще такие люди, как Айртон Мело, уважаемый редактор «Газеты до Салвадор», репортер Жако Галуб — «герой Мата-Гато», и депутат Рамос да Кунья, выступивший с освободительным законопроектом, и, наконец, муниципальный советник Лисио Сантос, отец бедняков, защитник голодных, мужественный гражданин, которого можно сравнить лишь с великими людьми прошлого — Александром Македонским, Ганнибалом, Наполеоном, Жозе Бонифасио...¹

Право, хотя Данте Веронези и не принимал непосредственного участия в захвате холма, вряд ли можно было сказать лучше и убедительнее. Даже дона Фило, женщина, закаленная в жизненных невзгодах и отнюдь не сентиментальная, почувствовала, как на глаза у нее наворачиваются слезы, когда Данте Веронези торжественным жестом указал на нее, свою соседку и мать двенадцати детей, которая день и ночь убивает себя у корыта и гладильной доски, чтобы прокормить семью. Многие годы она влачит жалкое существование, питаюсь со своими несчастными сиротами чем бог пошлет; эта честная вдова ни у кого ничего не просила, а своими собственными руками да руками бедняжек детей построила домишко на холме Мата-Гато. И разве не преступлением будет выселить эту нежную мать, эту святую женщину?

Фило была растрогана громом аплодисментов, которые раздались по ее адресу. Это был настоящий успех.

Законопроект Рамоса да Кунья, получивший поддержку на митинге, взволновал самые различные круги. Губернатор, довольный тем, что обрел популярность, не хотел уступать завоеванные рубежи какому-нибудь демагогу из оппозиции. В свою очередь, трибунал под нажимом адвоката Пепе Два Фупта, профессора факультета права Пиньейро Салеса, а также торговцев и землевладельцев назначил дату пересмотра судебного иска командора. Суд уже решил в его пользу, вынеся постановление в четыре строки, которое предлагало полиции выселить бедняков с холма. Поговаривали, что решение это обошлось кое-кому в пятнадцать конторейсов, а в те времена это была изрядная сумма, не то что теперь, когда и пятидесяти конто не хватит на то, чтобы купить хотя бы

¹ Жозе Бонифасио де Андраде-и-Силва (1763—1838) — известный бразильский политический деятель и писатель, выступавший за освобождение Бразилии от португальского гнета.

полсвидетеля, не говоря уже о целом судье. Но тут адвокат Абилафия, защищавший интересы жителей холма, обратился в трибунал с кассационной жалобой и таким образом помешал исполнению приговора. Судьи апелляционного трибунала, которым, как говорится, горячий батат стал жечь руки, принялись маневрировать, оттягивая решение. Они знали, что оно представляет широкие возможности для политических спекуляций, и хотели сначала выяснить, откуда ветер дует. Однако после законопроекта Рамоса да Кунья и выступлений на митинге адвокату командора Переса, поддержанному коммерческими и консервативными кругами, удалось добиться, чтобы трибунал назначил точный срок рассмотрения кассационной жалобы. От председателя трибунала адвокат вышел в весьма радужном настроении, полагая, что дело уже выиграно. Ибо основная трудность как раз и состояла в том, чтобы, вопреки уверткам трибунала, весьма чувствительного к интересам партий и общественных деятелей, все же заставить его назначить дату судебного разбирательства.

Именно потому было столь велико удивление юриста, когда, сообщив радостную весть командору Пересу, он не встретил со стороны своего могущественного клиента особого энтузиазма. Пепе Два Фунта одобрял благоразумную медлительность апелляционного трибунала, ожидавшего развития событий, и не торопился сделать поворот на сто восемьдесят градусов. Проект Рамоса да Кунья встревожил адвоката Салеса и вынудил его нажать на председателя трибунала... И вдруг позиция командора в этом деле меняется! Он больше не поносит захватчиков на своем ломаном португальском языке. Адвокат несколько раз выругался про себя, он ничего не понимал.

Да и откуда ему было знать, что несколько часов тому назад главный инженер одной крупной конторы, занимавшейся планировкой и строительством жилых зданий, вручил Пепе схему разбивки участков на холме Мата-Гато и прибрежной полосе. Чертежи были выполнены великолепно, и вообще контора заслуживала полного доверия. И вот, когда все исследования были закончены и планы составлены, инженеры единодушно высказали сомнение в успехе предприятия. Они полагали, что понадобится ждать еще очень долго, возможно, десятки лет, прежде чем стоимость этих участков повысится и их можно будет продать по выгодной цене. Если командор все же собирается настаивать на немедленной реализа-

ции земель, то ему придется продавать их за гроши, но и при этом услови вряд ли удастся найти покупателей...

Чертежи и схемы остались на столе у Пепе Два Фунта. Они лежали рядом с «Диарио да Ассамблея», где был опубликован проект Рамоса да Кунья. А не может ли адвокат дать делу обратный ход? Неплохо бы подождать несколько дней, чтобы посмотреть, куда приведут все эти запутанные ходы. В конце концов он, Хосе Перес, не хочет прослыть жестоким человеком, врагом народа, в то время как все остальные, сидя у него на шее, только и мечтают поживиться за его счет. Ведь даже его внуки, эти невыносимые, но славные ребята, называют его реакционером и эксплуататором трудящихся. Его, Пепе Переса, который всю жизнь работает, работает, как лошадь или вол, лишь бы обеспечить детям и внукам приличное существование. Да, он, эксплуататор, работает не покладая рук. Он и сейчас, уже старый и немощный, встает в четыре часа утра, а в пять, когда так называемые трудящиеся спят мертвым сном, он уже садится за работу. Это он трудящийся, а его эксплуатирует множество никчемных людей, болтунов, вроде этого адвоката, которые стоят ему очень дорого, да к тому же ни в чем не смыслят, а только и думают, как бы прикарманить его деньги...

11

Очевидно, в тот самый миг, когда профессор Пиньейро Салес, совершив роковой для своей триумфальной карьеры просчет, поджав хвост и спрятав самолюбие поглубже, явился к достопочтенному председателю трибунала и заявил ему — интересно было бы взглянуть на выражение его лица в этот момент, — что передумал, что его клиент вовсе не торопится, события, связанные с захватом холма, и начали напоминать фарс.

Впрочем, председатель трибунала, старый хитрец, поднаторевший на различных политических маневрах и грязных правительственных махинациях, сразу учуял в воздухе, как говорил его зять, будущий прокурор, «запах падали», которую клюют урубу... И в самом деле, профессор Пиньейро Салес в своем черном костюме и рубашке с накрахмаленной грудью и стоячим воротом напоминал сейчас грустного урубу с поникшим хохолком. Но где же гниющая падаль? Почтенный председатель догадывался, что в этой запутанной истории что-то неладно, что она дурно пахнет. Почему, черт возьми, про-

фессор Салес, обычно такой заносчивый и самодовольный, вернулся, понурившись, в его кабинет и просит отложить разбирательство дела, хотя накануне рычал, требуя назвать точную дату. И вдруг оказывается; это не так срочно. Нет, тут что-то не так...

Забываясь о сохранении престижа, а также желая в какой-то мере отомстить профессору Салесу, председатель отказался удовлетворить его просьбу: дата была назначена по согласованию с адвокатом и по его просьбе, теперь уже поздно ее менять. Он не допустит, чтобы трибунал подчинялся прихотям адвокатов и противных сторон и тем более рисковал оказаться замешанным в какие-нибудь махинации. Председатель оставил в силе намеченную накануне дату рассмотрения кассационной жалобы.

Разбор дела в суде стал очередной сенсацией. Газеты много писали и о суде, и о «чудовищном митинге», и о готовящейся мощной демонстрации, организуемой муниципальным советником Лисио Сантосом и другими «народными лидерами», как они именовались в манифесте, который распространялся по городу. Среди последних был уже знакомый нам Данте Веронези, взявший на себя роль представителя жителей Мата-Гато, их глашатая. Демонстранты, то есть жители холма и солидарные с ними горожане, должны были собраться у Дворца юстиции и «потребовать от досточтимого трибунала приговор, который обеспечил бы народу всю полноту его прав» (формулировка Лисио Сантоса).

Уж кто никогда не забудет этой демонстрации, так это Курио! И не только потому, что его избили, но и потому, что вслед за этим его любовь неожиданно увенчалась успехом.

Невиданный номер мадам Беатрис приближался к своему окончанию, истекли тридцать дней строгого поста погребенной заживо факирши. Впрочем, если говорить откровенно, то уже на одиннадцатый день объявление на дверях возвестило о том, что мадам Беатрис голодает 26 дней. Цифра, указывавшая число дней, прошедших с момента положения в гроб, менялась каждое утро. Однако уже на пятый день, после того как накануне побывало лишь шесть равнодушных посетителей, уплативших всего тридцать мильрейсов, Курио, вместо того, чтобы написать 5, поставил 15, и на этом они выиграли целых десять дней. Мадам Беатрис на десять дней меньше предстояло голодать, Курио тоже, хотя его голод был другого рода. На восьмой день он прибавил еще три дня, так как

число любопытных резко упало: в тот день у них побывало всего двое мальчишек и солдат, который, как военнопослужащий, не заплатил.

Несмотря на подстрекательства Жезуино, Курио не хотел выяснять деликатный вопрос, касающийся профессиональной честности мадам Беатрис, все свои сомнения он похоронил в непоколебимом доверии к несправедливо подозреваемой факирше. Однако, поглядывая на нее через стекло, он каждый раз убеждался, что мадам превосходно выглядит и у нее отличный цвет лица, не слишком соответствующий недельному посту. При этом она улыбалась Курио и многообещающе закатывала глаза, поэтому все его сомнения тотчас улетучивались, ему становилось стыдно, что по наущению приятелей он пытался шпионить за ней.

Впрочем, когда она оставалась наедине с Эмилией Каско Верде, Курио вновь охватывали неясные сомнения. А что, если ему неожиданно нагрянуть к ним? Жезуино, завидя его, обычно спрашивал:

— Ну как, разоблачил обманщицу?

Но Жезуино, как известно, был скептиком, никому не верил, даже таким людям, как муниципальный советник Лисио Сантос, депутат Рамос да Кунья или честнейший Данте Веронези, который был настолько любезен, что заказал для Курио несколько стопок кашасы и выпил вместе с ним, пригласив его на демонстрацию.

С помощью Фило, щеголявшей в платье, подаренном ей сирийцем, хозяином магазина на Байша-дос-Сапатейрос, Данте всячески старался обеспечить успех демонстрации. Против всех ожиданий, эта идея не воодушевила Бешеного Петуха, он не пожелал возглавить людей, как это бывало раньше, и остался в стороне.

— Ты пойдешь? — спросил он Курио. — А я нет. Маленький человек не должен вмешиваться в дела больших людей. Иначе нам придется платить за разбитую посуду... Одно дело, когда мы на холме, другое — здесь, внизу...

И все же Курио явился, польщенный приглашением, исходившим от лидера Веронези. Вообще народу собралось мало: пришло несколько студентов-юристов, которые, случайно оказавшись в этом месте, решили принять участие в демонстрации, а один из них даже произнес пламенную речь. С холма спустились лишь немногие, большинство же до решения суда осталось наверху.

Может быть, демонстрация и увенчалась бы успехом,

как заявил Лисио Сантос репортеру «Газеты до Салвадор», если бы председатель трибунала, который, узнав о сборище у ворот величественного храма правосудия и увидев студента, повисшего на оgrade и подстрекающего этот сброд, не потребовал срочного вмешательства полиции для поддержания порядка, гарантирующего трибуналу свободу волеизъявления.

Вслед за этим агенты и конная военная полиция набросились на собравшихся. Без предупреждения и каких бы то ни было объяснений полицейские стали избивать людей резиновыми дубинками, в результате чего через пять минут демонстрация была разогнана. Курио получил несколько сильных ударов по спине и от тюрьмы спасся только чудом.

Муниципальному советнику Лисио Сантосу удалось прорваться в здание трибунала, он проник в зал судебных заседаний и пытался протестовать против действий полиции, но председатель прервал его и пригрозил выгнать силой, невзирая на его депутатскую неприкосновенность. Что же касается нашего дорогого трибуна Данте Веронези, то он оказался в тюрьме. Ему не помогло даже то, что он закричал:

— Я секретарь муниципального советника сеньора Лисио Сантоса!..

Один из агентов сказал другому:

— Это и есть их вожак, хватай его.

И его забрали. Взяли также двух студентов, остальные продолжали еще некоторое время шуметь, улюлюкая и освистывая солдат. Однако скоро им это надоело, и они разошлись. Жители холма тоже отравились восвоей, еще раз убедившись, что Жезуино был прав.

Курио, спина которого горела от ударов, заторопился на Байша-дос-Сапатејрос. Перед уходом на демонстрацию он попросил Эмилию Каско Верде заместить его на то время, пока он выполняет свой гражданский долг.

Неожиданное возвращение Курио вызвало панику. Дверь он нашел запертой, табличка перевернута. Курио сильным пинком распахнул дверь. Он был в ярости, уже предвидя, что старый мудрый Жезуино и тут оказался прав.

Удобно усевшись в гробу (стеклянная крышка была снята и поставлена рядом), мадам Беатрис, которой прислуживала Эмилия, с аппетитом уписывала обваляющую в муке фасоль с жареным мясом. Связка серебристых бананов дождалась своей очереди. Оказывается, в ко-

жаной сумке Эмилия приносила с собой миску, котелок, еду, ложку и вилку, прикрыв все это шерстью для вязания и старыми журналами. Она не забыла даже о щеточке, чтобы смахивать крошки, что говорило об отличной организации дела. Кроме того, в сумке была бутылка пива и два стакана. Курио задыхнулся от злости.

Эмилия выскочила на улицу с легкостью, которую трудно было предполагать в человеке ее комплекции, а мадам Беатрис отставила миску, закрыла лицо руками и разразилась рыданиями:

— Клянусь, что это в первый раз...

У нее и в мыслях не было обманывать публику, тем более Курио, она действительно хотела поститься целый месяц. Но из-за Курио...

Курио был разъярен, спина у него горела, а вид смугло-розовых щек мадам Беатрис, которая за эти дни прибавила по меньшей мере килограмма два, совсем взбесил его. Курио не был расположен выслушивать ее объяснения, однако насторожился, когда она обвинила его. Интересно, как далеко может она зайти в своем цинизме...

Да, из-за Курио. Слабая, совсем без сил, запертая в этом гробу, она смотрела через стекло, как Курио ходит, улыбается ей, и помимо воли у нее начали возникать дурные мысли, она стала представлять себе, будто лежит рядом с ним, и эти грешные желания сломили высокую духовную сосредоточенность — она не могла больше поститься...

В других обстоятельствах эта ложь, может быть, и тронула бы Курио, наполнив его глаза слезами жалости, заставила бы его нежное сердце забиться. Но он был взбешен, избит полицейскими и счел подлостью издевки этой особы, которая расмазывала басни о бесстыдных мыслях, будто бы вызванных у нее голодом... Он сам жил впроголодь, во всем урезая себя и почти целиком отдавая свои скудные заработки Эмилии, которую мадам Беатрис уполномочила ведать ее финансами и набивать ей брюхо. Даже пиво она пила, значит, ни в чем себе не отказывала. В жизни Курио было много трагических увлечений, на своем веку он встречал немало бесстыжих женщин, но такой, как эта, — никогда.

Спина его болела, руки были в ссадинах, плечо вывихнуто. Курио с грохотом захлопнул дверь и отвесил мадам звонкую пощечину, потом вторую. Одухотворенная будничества испустила крик, схватила Курио за руку и стала просить прощения, но он вцепился ей в волосы.

Тогда она повисла у него на шее и, получив третью пощечину, принялась бешено его целовать. Курио почувствовал вдруг, что сливается с ней в бесконечном поцелуе. Наконец-то эта женщина — и какая женщина! — влюбилась в него, она покорно отдавалась ему, сломленная своей страстью. Курио выпустил ее волосы, торопливо разорвал на ней платье из красного тюля, имитирующее индийское сари, и здесь же в гробу разговелся после длительного поста. Наконец-то Курио был вознагражден за все: за злобу и отчаяние, голод и побои. Но гроб, сделанный для мертвых, не выдержал пыла живых, и его старые доски рассыпались. Любовники упали на пол; стеклянная крышка разлетелась на тысячи осколков, а они ничего не услышали, ничего не заметили. На дереве и стекле они утолили свой голод, посмеялись над простодушными зрителями и снова запылали, как два горящих костра.

После подробного обсуждения провала сенсационного номера мадам Беатрис они решили закрыться в тот же вечер и отдать ключ приказчику соседнего магазина. Но осталось даже гроба, в котором можно было бы продолжать пост. Курио достроит свой домишко на холме, мадам Беатрис отдохнет там, восстановит силы после изнурительного номера. Для Курио работа всегда найдется, а она займется гаданием по руке либо на картах; на холме, где уже есть бар или что-то вроде лавки, у нее будут клиенты.

Пока Курио столь бурными и сложными путями шел к победе, трибунал, больше не испытывавший давления извне, собрался, чтобы вынести решение по иску командора Хосе Переса против захватчиков Мата-Гато. Прокурор, хотя и выразил сожаление по поводу краткости постановления суда и чрезвычайной сжатости его обоснований, все же признал иск справедливым. Два члена трибунала проголосовали «за». Однако третий пожелал подробнее ознакомиться с материалами дела, в результате чего окончательное решение было отложено на неделю. Профессор Пиньейро Салес облегченно вздохнул: просьба третьего члена трибунала спасла его в последний момент, когда он считал, как это ни нелепо, все потерянным, хотя дело практически выиграл. И вот нити клубна этой истории с холмом Мата-Гато начали запутываться, и запутываться так, что потом никто уже не смог их распутать, отличить дурное от хорошего, здравый смысл — от глупости, вред — от пользы.

Жако Галуб и Лисио Сантос вышли из суда, возбужденно обсуждая необходимость срочных мер, ибо уже сейчас было ясно намерение трибунала: через неделю жители холма будут выселены из своих лачуг. Лисио торопился — настало время пожинать плоды. В Ассамблее штата депутат правительственного большинства разгромил проект Рамоса да Кунья, назвав его демагогическим и антиконституционным, и сообщил палате о решении провалить проект, если он будет поставлен на голосование.

Что же касается профессора Пиньейро Салеса, то он не знал, выиграл ли он этот процесс или проиграл. А может, даже вдвойне выиграл... Однако его клиент, невежественный и грубый испанец, выслушав отчет, заявил: — В общем, это хорошо, что решение отложено. Наверно, недели мне хватит. А вы, сеньор, можете теперь дело передать мне, я сам им займусь.

На столе у командора Хосе Переса лежала визитная карточка Лисио Сантоса с просьбой о встрече. Муниципальный советник жил в одном из доходных домов командора и иногда не платил ему за квартиру по пять-шесть месяцев. Ловкий тип, бывали у него иной раз осложнения, но вообще он популярен и в этой истории с земельными участками может оказаться не менее полезным, чем Рамос да Кунья или Айртон Мело, а обойдется наверняка дешевле... Хосе Перес позвал секретаря и послал записку Лисио Сантосу.

12

За неделю, минувшую между двумя заседаниями трибунала, на которых разбирался иск двухфунтового командора против жителей Мата-Гато, произошло более четкое разграничение позиций, занимаемых сторонами в этом деле, а также усиление кампании в печати и Ассамблее. Казалось, готовится настоящая война, обе партии угрожающе росли, сеньором Албукерке вдруг все стали интересоваться, как кинозвездой.

Все это производило на обывателей большое впечатление, и некоторые из них уже предсказывали важные, чуть ли не трагические события, выражая опасение за судьбу штата и безопасность режима. Однако наблюдательный человек, умеющий читать между строк и прислушиваться к кулуарному шепоту, а не к речам с трибуны, пожалуй, не поддался бы подобному пессимизму. Никогда еще не звучали столь решительные обвинения и

угрозы по адресу захватчиков, и в то же время никогда еще кампания солидарности с обитателями холма, организованная журналистами, депутатами, народными лидерами и даже целыми партиями, кампания, в которую были вовлечены также студенчество и профсоюзы, не достигала такой мощи. Но, может быть, весь этот шум, вся эта полемика и угрозы кровопролития должны были попросту заглушать голоса посредников и миротворцев. Впрочем, не нам, стоящим в стороне от всех этих переговоров, поскольку мы не занимаем ни четкой политической позиции, ни видного общественного положения, не нам разоблачать эту кампанию в пользу мира и спокойствия, в которых в конечном счете были заинтересованы все.

Единственным исключением был поэт Педро Жов; в пьяном виде он заявил, что это — «всеобщее жульничество» за счет жителей Мата-Гато. Но мы-то знаем цену резким выступлениям поэтов, к тому же пьяных. Может быть, раздражение Жова объяснялось тем, что он повздорил с Галубом из-за одной девушки из заведения Дориньи на Ладейра-да-Монтанья? Ей он посвятил вдохновенный лирический шедевр, гениальный, по мнению его близких друзей и завсегдатаев бара: «Девственная блудница, забеременевшая от поэта и проповеди». Но пока Жов работал над поэмой, «имевшей подлинно революционный резонанс», как выразился критик Неро Милтон, журналист позвал к себе девицу, оставив поэту славу и боль от выросших рогов.

Чтобы дать представление о полемике, развернувшейся вокруг Мата-Гато в течение недели, предшествовавшей финальным событиям, стоит упомянуть о трех-четырёх фактах, взволновавших общественное мнение. Первый — это позиция, занятая вице-губернатором штата, крупным старым дельцом, любимцем консервативных кругов. Правда, некоторые не очень-то считаются с вице-губернатором, рассматривая его пост как более или менее почетную синекуру, и только. Но представьте, что дух губернатора расстается с его бранным телом и во славу божью возносится на небо... Кто тогда занимает место губернатора, кто начинает издавать и отменять приказы, распоряжаться служебными постами и казной?

Избранный оппозицией, вице-губернатор мало интересовался общественными делами и важными проблемами, избегая разногласий с губернатором. К тому же его тесные связи с коммерческими кругами, где он был видной

фигурой, позволяли думать, что он разделяет официальную позицию правительства, выражавшуюся в «лишении захватчиков воды и хлеба», как сказал начальник полиции сеньор Албукерке в своем интервью, о котором мы еще расскажем. Каково же было всеобщее изумление, когда канцелярия его превосходительства вице-губернатора опубликовала ноту солидарности с жителями Мата-Гато. Нота, конечно, не одобряла вторжения, наоборот, в ней критиковался ошибочный метод, с помощью которого бедняки хотели разрешить мучительную и острую проблему жилья. А что проблема эта существует, отрицать было невозможно, она-то и явилась причиной вторжения на земли командора Переса, и, значит, дело должно рассматриваться и решаться в совокупности всех вопросов. Придя к таким выводам, вице-губернатор выразил свою солидарность с жителями Мата-Гато и понимание их позиции. Захватчики, говорилось в ноте, не должны считаться преступниками, поскольку не являются таковыми. Они достойны уважения, с которым относятся к мятежникам, хотя их действия не подчиняются обычной логике и здравому смыслу. Однако самая острая проблема не захват участков (возможно, именно поэтому вице-губернатор здесь не предлагал никакого решения), а отсутствие жилья. И для этой важнейшей социальной проблемы, угрожающей нормальной жизни города, он предложил справедливое решение. Правительству следует изучить вопрос о скорейшем строительстве дешевых и комфортабельных домов для трудящихся — ведь пустующих земель на окраинах сколько угодно, хороших специалистов тоже достаточно. Работать на стройках могут будущие обитатели этих домов. В ноте излагался подробный проект будущего строительства, заслуживший всеобщую похвалу, в нем чувствовался ум государственного деятеля и руководителя. Очень многие убежденно заявили: «Если бы губернатором был он, все наши вопросы решились бы». Нашлись, разумеется, и вечно недовольные злопыхатели, намекавшие на какие-то махинации, которые будто бы крылись за проектом вице-губернатора. А кому, спрашивали они, принадлежит крупная строительная фирма, специализирующаяся на постройке фабрик и рабочих поселков? Что ж, вице-губернатор действительно осуществлял контроль над этой фирмой, но нечестно приписывать ему столь низменные намерения, когда он печется лишь о благе общества. Заканчивалась нота выражением солидарности с захватчиками холма и

заверением в том, что сердце вице-губернатора бьется в унисон с сердцами этих простых людей.

Тем временем в Ассамблее штата депутаты правительственного большинства наседали на Рамоса да Кунья, резко критикуя его проект отчуждения земель. Никогда будто бы не существовало более демагогического проекта, и как вообще можно решиться на отчуждение земель, захваченных народом? Представляете себе, что получится? Если депутаты создадут прецедент, хотя бы один-единственный, то потом, пока не кончится срок их полномочий, они только и будут заниматься тем, что утверждать проекты отчуждения земель. Ведь бездомные бродяги и всякие мошенники тут же начнут строить себе дома на пустошах. Пройдет немного времени, и лачуги появятся у маяка в бухте и возле статуи Христа на набережной порта. Какой ужас! Желая показать себя преданным другом народа, лидер оппозиции забыл о здравом смысле и представил проект, преследующий единственную цель — популяризировать имя его автора, известного, быть может, в Буритида-Серре и среди избирателей глухого сертана, но не в столице штата. А именно известности, и ничего больше, хотел добиться автор этим проектом.

Рамос да Кунья снова возвращался на трибуну и снова отстаивал свой проект. Он демагогичен? Тогда почему правительство не представит лучший, который сможет разрешить проблему? Он с удомольствием поддержит такой проект. Правительственная фракция может осыпать его оскорблениями, высмеивать, пытаться посорить с народом, но этим она ничего не добьется. Честные труженики, вынужденные из-за своей нищеты строить дома на холме Мата-Гато, знают, на кого они могут положиться, знают, кто их друзья и кто враги. Он, Рамос да Кунья, друг им. Многие ли из его противников найдут в себе смелость утверждать то же самое? Суровые критики его проекта — наверняка нет. А может быть, они хотят получить на выборах поддержку крупных землевладельцев или даже угодить некоторым иностранным колониям? И если он, Рамос да Кунья, стремится, по утверждению его противников, завоевать расположение народа, то те, которых большинство, стараются выслушаться перед отечественными и чужеземными магнатами.

— Да разве можно назвать трудящимися эту шайку разбойников, обосновавшихся на холме? — Это вышел на трибуну другой депутат и стал поносить Рамоса да

Кунья, а также жителей Мата-Гато, называя их сборищем воров, профессиональных шулеров, нищих, проститутток, бродяг и подонков.

Разумеется, на холме можно было встретить людей, не очень любящих работать, но было бы преувеличением считать лентяями всех жителей. Там поселились каменщики, кузнецы, плотники, вагонновожатые, возчики, электрики, ремесленники. На каком же основании сеньор депутат называет их подонками? Какая бы ни была профессия у трудящегося человека, он достоин уважения. Разве легок труд проститутки? Может быть, он и не очень почетен, но большинство женщин не выбирают эту профессию по доброй воле, их толкает на это жизнь. А что касается виртуозной работы Мартина, то она не только тяжела, но и настолько красива, что ею можно любоваться. Многие ли из господ депутатов, даже из тех, у кого самый тонкий нюх и самая легкая рука, смогли бы сдавать карты или бросать кости с таким высоким мастерством, как Мартин? Поэтому, как мы уже сказали, мы не будем становиться на чью-либо сторону или обвинять кого-нибудь, мы просто хотим рассказать о вторжении на холм Мата-Гато, которое послужило фоном для любовных историй (являющихся нашей главной темой) — Мартина и Оталии, Курио и знаменитой гадалки мадам Беатрис. Но признаемся: нам нелегко хранить молчание, когда какой-нибудь депутат, без сомнения занимающийся темными махинациями, грабящий казну и живущий за наш счет, поносит честных граждан и уважаемых гражданок. Лучше бы эти депутаты на себя посмотрели.

Вот какие бурные дебаты развернулись в Ассамблее во время обсуждения вопроса о холме Мата-Гато. Проект Рамоса да Кунья, похоже, был окончательно похоронен, и отношения между депутатами настолько обострились, что дело уже доходило до угроз.

В частности, журналист Жако Галуб выступил на страницах «Газеты до Салвадор» с заявлением, будто бы ему угрожает полиция и жизнь его в опасности. Агенты и комиссар Шико Ничтожество на всех углах изрыгали ругательства по его адресу, не скрывая своей решимости «проучить» журналиста. И Жако, подержанный профсоюзом журналистов, возлагал ответственность на начальника полиции сеньора Албукерке в случае, если с ним что-нибудь случится. «У меня жена и трое детей,— писал он.— Если я подвергнусь нападению со стороны

Шико Ничтожества или других полицейских, то буду действовать как мужчина. Если же я погибну, сраженный врагами народа, начальник полиции штата сеньор Албукерке будет виновен в том, что дети мои станут сиротами, а жена — вдовой».

Начальник полиции созвал журналистов и заявил, что Жако Галуб может спокойно ходить по городу, полиция на него нападать не станет. Вообще никто из полицейских никогда не угрожал журналисту, лучше пускай остерегается шайки, с которой он связался. Они могут напасть на него, а свалить это на полицию. Эти люди, по его личному мнению и мнению его подчиненных, не достойны «хлеба и воды», а чтобы окончательно изгнать их с Мата-Гато, полиция ждет лишь решения уважаемого трибунала. Тогда никто не сможет говорить о насилии или превышении власти. С этим сбродом, попирающим закон и моральные устои, скоро будет покончено. Он, сеньор Албукерке, уже ликвидировавший азартные игры и «жого до бишо», окажет городу еще одну важную услугу: пресечет опасную и подозрительную попытку нарушить порядок, конечная цель которой, очевидно, — разложение общества. Смириться с этим бесчинством означало бы создать условия для хаоса, восстания, революции... Революция (трагическая дрожь в голосе и взгляд, полный ужаса) — вот о чем мечтают те, кто стоит за кулисами этих событий, инспирируя захват чужой собственности, митинги, демонстрации...

Итак, для правительственного большинства жители холма Мата-Гато были подонками. А для сеньора Албукерке, трусливого и недалекого бакалавра, который не успел еще воспользоваться преимуществами своего положения, запутавшись с самого начала в переговорах с маклерами, и сейчас пытался выпутаться из этой истории, показывая себя защитником интересов городских землевладельцев, — грозными революционерами. Правда, поэтому они не переставали быть бандитами, бродягами и развратниками. Просто кутались в плащ революционной романтики. Сеньор Албукерке так много говорил об этом, что под конец сам убедил себя. Ему уже на каждом углу и в каждой переулке мерещилась революция и большевики с ножом в зубах, готовые выпустить ему кишки. С тех пор минул не один год, свершился не один захват чужих земель, над манговым болотом вырос целый город свайных домов, события на Мата-Гато уже всеми забыты, и только мы вспоминаем о них, потягивая

кашасу, но еще и сегодня сеньор Албукерке продолжает страшиться революции. Причем страх его день ото дня растет, и сеньор Албукерке предсказывает, что революция произойдет в самое ближайшее время, если у правительства не хватит здравого смысла призвать его снова на пост начальника полиции. О, если бы он вернулся на этот пост, то не стал бы валять дурака, преследуя «жого до бишо».

Мы не станем тревожить ни муниципального советника Лисию Сантосу, ни главного редактора «Газеты до Салвадор» сеньора Айртона Мело, ни других менее известных лиц, поскольку все они заняты важным делом: посятятся из конторы Хосе Переса во дворец, из дворца в Ассамблею, из Ассамблеи в дом вице-губернатора, где подадут превосходное виски, из дома вице-губернатора к Отавио Лиме — он угощает не только виски, но и французским коньяком и итальянским вермутом, ибо умеет и о себе позаботиться, и гостей принять. Пусть они занимаются своими тайными переговорами, не будем только из-за того, что переговоры эти не овеццаются в данный момент на страницах газет или на заседаниях палаты, сомневаться в их решимости защищать жителей холма и в том, что они подлинные друзья народа!

И командор Хосе Перес тоже? А почему бы и нет? Если мы углубимся в биографию этого выдающегося столпа частной собственности, то убедимся, что в свое время он оказывал обществу различные услуги — факт, нашедший отражение в печати, — и некоторые из них были значительными... Разве не он внес крупную сумму на сооружение церкви святого Гавриила в квартале Свободы, густо населенном рабочими, ремесленниками, торговцами и прочим бедным людом? В квартале ведь еще не было церкви, в которой ощущалась такая нужда, ибо до щедрого пожертвования командора здесь процветали сенты спиритов и язычников. Пепе Дэа Фунта, который нынче держит в этом квартале и его окрестностях пять пекарен, сунул руну в карман, вытащил деньги и помог верующим беднякам. Какие еще услуги он оказал обществу? А разве не довольно сооружения церкви? Впрочем, он: еще помогал своими пожертвованиями испанским миссионерам в Китае, способствовал обращению в христианскую веру диних африканских племен. Неужели мы лишены гуманной солидарности и можем остаться бесчувственными к страданиям язычников на других континентах?

А как жители холма Мата-Гато, эти пресловутые захватчики, ставшие центром всеобщего внимания? Что подделывают они, как реагируют на весь этот шум? Не забыли ли мы о них, уделяя слишком много внимания командорам, депутатам, журналистам, политическим деятелям и коммерсантам? Может быть, мы против воли поддались тщеславию, вступив в близкие отношения с известными людьми, имена которых мелькают на столбцах светской хроники? Кто же в конце концов наши герои? Разве не захватчики земель командора — негр Массу и Курчавый, дона Фило и Дагмар, Миро и старый Жезуино Бешеный Петух, а также многие другие? Разве не они подлинные герои нашей истории? Так почему же они забыты, в то время как столько страниц посвящается депутату Рамосу да Кунья, муниципальному советнику Лисио Сантосу и прочим политическим ловкачам и продажным журналистам? Хотите знать, чем объясняется это?

Мы не говорим о них потому, что нам нечего рассказывать; на холме не происходило никаких событий, которые могли бы представить интерес. К тому же эти люди меньше всего были склонны к рассуждениям и разглагольствованиям. Они просто жили в своих лачугах, и все тут. Жили без каких-либо высоких стремлений, без волнений, без показного героизма. Кто-то решал прогнать их с холма, кто-то их запинал, кто-то называл бандитами, подонками, бунтовщиками, кто-то — достойными добрыми людьми, терпящими гнет и унижение (в зависимости от направления газеты и взглядов комментаторов), а они добились главного: сумели жить, когда все было против них. Жезуино говорил, что бедняк, который умудряется жить в этой нищете, терпя лишения, борясь с болезнями и нуждой в условиях, подходящих разве что для смерти, делает огромное дело хотя бы потому, что не умирает. Да, они живут, эти упрямые люди, и не дают себя уничтожить. Свою закалку против нищеты, голода, болезней они получили давно, еще на рабовладельческих судах, а в рабстве достигли невероятной выносливости.

Жизнь мало радовала их, но жили они весело. Чем хуже шли дела, тем больше они смеялись, играли на гитарах и гармониках, пели, и песни эти разносились по

холму Мата-Гато, кварталу свободы, Ретиро, по всем бедным районам Баии. Они смеялись над своей нищетой и продолжали жить. Детишки если не умирали в грудном возрасте по волеи божьей, из-за болезней, голода, недосмотра, то получали воспитание в трудной и веселой школе жизни, наследуя от родителей выносливость и способность смеяться в любых обстоятельствах. Они не сдавались, не гнулись под ударами судьбы, гонимые и презираемые. Наоборот! Они сопротивлялись, смело шли навстречу трудностям, не боялись голода и холода. Их жизнь была полна смеха, музыки и человеческого тепла, они никогда не теряли своей приветливости, этого бесценного качества всех баиянцев.

Таковы эти обыкновенные, привыкшие к лишениям люди, таковы мы, простые бразильцы, народ веселый и упорный. Не то что вялые и апатичные представители высшего общества, от скуки занимающиеся психоанализом, страдающие комплексами Эдипа и Электры, считающие, что быть гомосексуалистом или заниматься другими подобными безобразиями изысканно.

А вот жители холма не стали страдать бессонницей от шумихи, которая поднялась вокруг них. Когда полиция появилась в первый раз и сожгла их лачуги, некоторые хотели было уйти с Мата-Гато, поискать себе другое место. Однако Жезуино Бешеный Петух, из-за своей мудрости пользующийся большим уважением, заявил: «Отстроим лачуги заново». Так они и сделали. Сопротивляться и жить было формулой их существования. Они последовали совету Жезуино, потому что верили ему. Старик всегда решал правильно.

Люди все приходили, строились новые лачуги. Полиция еще раз появилась на холме. Жезуино и мальчишки вырыли игрушечные окопы, запаслись камнями, подкопали уступы, чтобы их легче было обвалить. Полиция отступила, это было забавно, и они смеялись и торжествовали.

Постепенно весь город оказался вовлеченным в это дело, вокруг него велись нескончаемые споры, полиция стала охотиться за жителями холма, бросая в тюрьму невинных людей, избивая их; газеты подняли шум; затем последовал законопроект Рамоса да Кунья, иск Хосе Переса и еще черт знает что. А они жили по-прежнему. Если бы полиция попыталась снова напасть на них, они оказали бы сопротивление. Жезуино снова принял на себя командование мальчишками, они проложили тропу

через манговое болото, приготовились еще раз сразиться с агентами и судьями апелляционного трибунала. Упрямые люди строили лачуги и оставались в них, несмотря на все угрозы. И никто не пытался покончить с собой, если не считать негритянки Женевевы, которая облила керосином платье и подожгла его, но виновата тут была любовь — мулат Сириако, игравший на кабакиньо, бросил Женевеву и ушел к другой. Нужно было жить, не падать духом, не предаваться отчаянию. Они смеялись и пели, в одной из лачуг по субботам и воскресеньям устраивались веселые танцы, по вечерам смотрели капоэйру, поклонялись своим божествам, выполняли религиозные обряды. Курчавый грозился перерезать горло Лидио, красавчику с внешностью киноактера, если тот посмеет еще раз подмигнуть Дагмар.

Жасинто, парень довольно пустой, но с претензиями, о котором мы уже упоминали, тоже построил себе лачугу на Мата-Гато и поселился в ней с Марией Жозе, девушкой нестроного нрава. Но очень скоро произошел скандал, так как Мария Жозе, вызвавшись помогать Вевеве присматривать за ребенком, спуталась с Массу. Негр не мог спускаться с холма, поскольку его внизу поджидали агенты. Лишенный возможности свободно разгуливать, видеться с приятелями, бывать в барах, тавернах, доках, Массу напоминал зверя в клетке. Именно поэтому утешения Марии Жозе пришлось как нельзя кстати. Однако Жасинто нарушил их лирический дуэт. Вместо того чтобы возгордиться успехом своей подруги, которой удалось пролить бальзам на страждущее сердце Массу, видного человека, кума Огуна, он вошел в раж, выпил несколько стаканов кашасы, схватил нож и явился требовать сатисфакции. Негру Массу, хотя и умиротворенному ласками Марии Жозе, эта шутка не понравилась — он не любил, когда на него орали. Этот грубиян Жасинто дурно обращался с девушкой и еще, видите ли, пришел ругаться с Массу; соседи были возмущены. Негр поволок Жасинто к широкой тропе, наиболее удобной для спуска, дал ему пинок под зад и посоветовал больше не возвращаться, а при разделе имущества оставить лачугу Марии Жозе. Тем более что Жасинто получил рога довольно крупного размера.

Однако через несколько дней, когда на холме появилась Оталия, Жасинто вернулся. К Оталии он уже давно был неравнодушен, с того самого времени, как она приехала в Байю, а еще точнее — с того самого вечера, когда

Гвоздика, пошутив, спрятал ее вещи. Ему ни разу не довелось лечь в ее постель, потому что, как он думал, не было подходящего случая. Он издали следил за перипетиями флирта Оталии и Мартина, о котором было столько разговоров в порту и на вечеринках. Жасинто, не обладающему большим воображением и не склонному к романтизму, эта платоническая идиллия казалась смешной. Не станет же он верить подобным басням! Ведь он хорошо знает Мартина и даже стремился подражать ему в отношениях с женщинами: держаться высокомерно и позволять любить себя, не давая им воли. Этой басне, которую он слышал повсюду, что Капрал будто бы умирает от любви и гуляет, держась за пальчик возлюбленной, Жасинто ни на йоту не верил. Хотя понимал, что Оталия ему не достанется, пока не надоест Мартину и тот не бросит ее.

И вот ему неожиданно повезло. Правда, Мартин не бросил Оталию, но его стала преследовать полиция, и он исчез куда-то. Куда — Жасинто узнать не удалось, хотя он и расспрашивал всех знакомых. Жасинто не хотел лезть к Оталии, если Капрал обретается где-то неподалеку, — Мартин не из тех, которые готовы принять в долю незваного компаньона. Но когда Оталия, чтобы поправить здоровье, на время поселилась в домике Тиберии, Жасинто снова стал появляться на холме, всегда при галстукe; держался он подчеркнуто вежливо.

Тиберия и Жезус построили этот домик, чтобы жить в нем, когда совсем состарятся и не смогут работать. Пока же они иногда отдыхали там сами или посылали отдохнуть девушек из заведения либо прятали их от какого-нибудь скандалиста, надоевшего любовника или назойливого поклонника. Только для этих целей служил сейчас домик Тиберии; впрочем, после случая с Оталией она настолько огорчилась, что хотела даже продать его чуть ли не даром.

Как только Мартин был вынужден исчезнуть — а известил об этом всех друзей и знакомых Жезуино, — здоровье Оталии пошатнулось. Ее болезнь нельзя было ни вылечить, ни объяснить: она чувствовала слабость в ногах и во всем теле, глаза стали тусклыми; Оталия могла лежать целыми днями, ничем не интересуясь. Не хотела видеть своих постоянных клиентов, даже таких щедрых и почтенных, как сеньор Агналдо, хозяин аптеки на Террейро Иисуса, неизменно приходивший к ней каждую среду вечером. А между тем сеньор Агналдо не только

хорошо платил, но всегда приносил какой-нибудь подарок — коробочку таблеток от кашля, флакон сиропа, кусок мыла. Оталия дала отставку также старому Милитану из нотариальной конторы, богатому филантропу; доктору Мисаэлу Невесу, стоматологу, имевшему кабинет на Соборной площади, и многим другим случайным клиентам; она не принимала никого. Девушка никуда не выходила, с трудом заставляла себя спускаться в столовую, где едва притрагивалась к еде. Она лежала в постели со своей куклой, устремив глаза в потолок; бледная, без кровинки в лице.

Тиберия всполошилась. Недаром девушки звали ее Мамочкой — она и вправду заботилась о них, как о дочерях. Но ни к одной из них она так не привязалась, ни одну из них так не любила, как маленькую Оталию, совсем еще девочку, такую наивную и бесхитростную и уже обреченную заниматься ремеслом проститутки.

Старый Батиста, ее отец, владелец небольшой плантации близ Бонфина, был человеком строгих правил и, проведая о том, что сын судьи лишил его дочь невинности, озверел, схватил палку и избил бедняжку до полусмерти. А затем заявил, что не желает держать в своем доме потаскуху. Оталия отправилась к сестре, которая уже два года занималась проституцией, — она, правда, попала в публичный дом не из отчего дома. Сначала она вышла замуж, муж ее бросил, уехал на юг, и тогда ей пришлось торговать собой, чтобы как-то прожить. А вот Оталия шагнула на панель прямо из-под отцовской крыши: старый Батиста, взбешенный тем, что его красивая, как картинка, пятнадцатилетняя дочь лишена невинности и годна теперь только на то, чтобы стать шлюхой, выгнал ее.

Многое из этого Капрал услышал лишь потом от Тиберии, женщины почтенной, лучшей в Баие хозяйки публичного дома. Не подумайте, что мы хвалим Тиберию из дружеских или родственных чувств. Кто же не знает Тиберии и не восхищается ее достоинствами? Трудно найти более известную и уважаемую сеньору; в ее заведении все жили одной семьей, а не каждый для себя — Мамочка никогда бы этого не потерпела. Единой семьей, в которой Оталия была младшей дочкой, балованной и кокетливой.

Когда сын судьи, красивый студент, обесчестил Оталию, ей не исполнилось и пятнадцати лет, но грудь и фигура у нее были как у сформировавшейся женщины;

однако женщиной она казалась только внешне, оставаясь в душе девочкой. Даже в заведении она продолжала играть в куклы, шила им платья, укладывала их спать и мечтала о том, как обручится с Мартином, станет его женой. Такова была Оталия.

Студент впервые увидел ее на улочке, где она жила, и после этого несколько раз приходил туда. Он угощал ее глазированными фруктами и однажды сказал: «Ты уже созрела для замужества, девочка. Хочешь, я буду твоим мужем?» Ей хотелось, правда, чтобы сначала состоялась помолвка, это было бы так красиво, но все же она дала свое согласие и только попросила подарить ей фату и флердоранж. Бедняжка не знала, что молодой человек выражается иносказательно, что среди интеллигентных, светских людей это означало попросту лишить девушку невинности на берегу реки. Вот почему Оталия и по сей день ждет фату и флердоранж, а пока получила побои старого Батисты и оказалась выгнанной на улицу. Что ей оставалось еще, как не отправиться по пути своей сестры Терезы, ставшей на редкость раздражительной и злобной?

И все же Оталии удалось каким-то чудом сохранить душу невинного ребенка, не ведающего никакой мерзости; она мечтала лишь о почтительных ухаживаниях Капрала, о прогулках с ним рука об руку, пока не настанет день помолвки.

Но Капрал исчез, преследуемый полицией, а также потому, что ему надоел этот платонический роман. Он не знал ее истории и считал Оталию не совсем нормальной: ну где это видано, чтобы проститутка влюблялась, мечтала об обручальном кольце и венчании, прежде чем отдаться мужчине?! Итак, в силу этих двух причин Мартин снялся с якоря и, чтобы вернее обезопасить себя, сменил имя и произвел себя в сержанты. А Оталия, когда узнала о его исчезновении, совсем пала духом, слегла в постель и с каждым днем слабела все больше. Тиберия сочла за благо на время удалить ее из заведения и поселить в домике на холме, где жили ее друзья — негр Массу, Курио, у которого сейчас был роман с крашеной блондинкой — ясновидящей, не говоря уже о Жезуино, который не имел ни кола ни двора, однако, взяв на себя обязанности главнокомандующего, руководил обороной и нападением, что весьма развлекало его.

Жасинто же, едва прослышав, что Оталия появилась на холме, тут же пришел в надежде завоевать ее любовь своей самоуверенностью и красотой. Но девушка, каза-

лось, ни на кого не обращала внимания, поглощенная игрой в куклы и воспоминаниями о своем возлюбленном Мартине, с которым она должна была обручиться, а потом обвенчаться. Оталия не отлучалась из дома и целыми днями лежала на топчане, ничем не интересуясь, и только когда сынишка негра Массу приходил поиграть около нее, она ласкала его и улыбалась. С Оталии хватило бы и замужества, а о таком счастье, как иметь ребенка, она и мечтать не смела.

Что ж вам еще рассказать об обитателях холма? В общем, они живут, а это уже немало, если ты беден и полиция угрожает поджечь твой домишко. Живут, как могут, не придавая большого значения шумихе, поднятой политиками, журналистами и всеми прочими людьми. Живут и ладят друг с другом.

Итак, ничего особенного на холме не случилось, впрочем, пожалуй, об одном событии упомянуть стоит. Уже некоторое время, быть может из-за различного рода осложнений, население Мата-Гато перестало увеличиваться, новые дома перестали строиться. Одной из причин тому была нехватка воды: колодец, вырытый жителями холма, не мог удовлетворить потребности даже уже поселившихся на Мата-Гато; то же было и с электричеством — тусклый свет устраивал только влюбленных. Однако к концу бурной недели, прошедшей между двумя заседаниями трибунала, на Мата-Гато появились камешники и плотники с лопатами, отвесами, пилами и принялись строить. Грузовики управления коммунального обслуживания подвозили к подножию холма мешки с цементом, кирпичи и черепицу. Очень быстро были построены изящные, совершенно одинаковые домики, побеленные снаружи и внутри, с нарядными голубыми дверями и рамами. Никто не знал ни владельцев этих домиков, ни производителя работ — молчаливого человека, который если и мог решить загадку, то не желал никому об этом сообщить. Но ведь должен же быть у этих домов хозяин! Посматривая на грузовики, Ветрогон высказал предположение, что домики принадлежат государству и, наверно, в них будут жить семьи чиновников. А может быть, поселятся мулатки. Ветрогон все еще ожидал своих красавиц, заказанных во Франции некоторое время тому назад, но уже опасался, что произошло кораблекрушение или девушек — в общей сложности более четырехсот — по дороге украли...

Ветрогон выдвинул свою версию главным образом для

того, чтобы удовлетворить любопытство Жезуино, которому не терпелось узнать, кто хозяин новых построек. Неугомонный старик вместе с Миро и другими мальчишками снова собирался как следует встретить полицию, когда трибунал вынесет решение. Он с недоверием поглядывал на эти дома, которые были совсем как настоящие, покачивал головой, однако не прекращал своих приготовлений на случай внезапной атаки. «Холм Мата-Гато будет защищаться до последнего,— писал Жако Галуб, возлагая ответственность за все, что может случиться, на правительство.— У губернатора еще есть время сменить начальника полиции и удовлетворить требования народа». А Жезуино размышлял, расхаживая в своей странной шляпе. Он знал, что белые люди там, внизу,— белые — то есть богатые, ибо они совсем не всегда были белыми,— в конце концов договорятся между собой, и тогда начнется потеха. Они ведь все важные персоны, а важные персоны всегда договариваются друг с другом, ссора между ними не может быть долгой.

И Ветрогон был с ним согласен. После того как его поколотили в полиции, он очень хотел помочь Жезуино обратиться к полицейским в бегство. Бешеный Петух раздобыл бог знает где металлическую каску, вроде той, в которых ходят инженеры, и напялил ее, однако его седые растрепанные волосы выбивались со всех сторон, и это не позволяло ему принять воинственный вид; он скорее напоминал поэта.

Легкий ветерок шевелил листья кокосовых пальм на холме, заселенном упрямыми людьми, которые, несмотря ни на что, продолжали жить, смеяться, петь, работать, плодить детей. Теперь, когда были построены новые дома, Мата-Гато превратился в городской квартал.

— Ведь вот какой мы народ...— говорил Ветрогон.— Не так давно здесь была пустошь да еще рос колючий кустарник, а сейчас настоящий город. Вот мы какие, и этих сукиных сынов прогнали...

Жезуино смеялся своим хриплым от простуды и табака смехом. Ему определенно нравилась вся эта заваруха, и он уже начинал подумывать об участках за улицей Свободы. Может быть, кто-нибудь из его приятелей захочет строиться там? Почему бы Ветрогону не сходить вместе с ним посмотреть эти участки?

— А мулатки там есть? Настоящие?

Если есть, он сходит, но жить там не станет, Ветрогон любил одиночество и покой,

Начало связи Курио и мадам Беатрис, гадалки, для которой будущее не представляло никаких тайн, совпало с первым заседанием трибунала, созданным для пересмотра иска командера Хосе Переса, или Пепе Два Фунта, старого мошенника, обвешивавшего покупателей, а ныне ставшего столпом общества и блюстителем нравственности, ворующим на электронных весах; второе заседание трибунала, на котором был вынесен решающий приговор, совпало с женитьбой Капрала Мартина на Оталии.

Оталия умерла ранним вечером, когда приговор был вынесен, но его оставалось еще переписать начисто и передать начальнику полиции для исполнения. Тиберия пришла в свой домик на Мата-Гато накануне днем, Жезус же появился к вечеру и тоже остался там. Девушки пришли позднее, когда врач уже сказал, что надежды нет. Вечером, воспользовавшись отсутствием Жезуса и тем, что Оталия забылась беспокойным сном, Тиберия отправилась на поиски Жезуино. Старый бродяга спустился в город выпить кашасы, ибо завтра из-за постановления трибунала он уже не сможет покинуть холм. Тиберия без труда нашла Жезуино, так как знала, где он обычно бывает. Ей нужен был адрес Мартина, чтобы послать ему записку.

Поначалу Жезуино с невинным лицом твердил, что ему ничего не известно о Капрале, но когда Тиберия объяснила ему причину своего прихода, он рассказал, что Мартин, ставший теперь сержантом Персиункулой, живет на острое Итапарика, как говорят, с прекрасной мулаткой Алтивой Консейсан до Эспирито Санто. Жезуино взялся отправить записку Тиберии и немедленно пошел к Рулевому Мануэлу, чтобы тот выехал на рассвете и привез Мартина. А потом Жезуино возвратился на холм и уже не вспоминал о заседании трибунала, назначенном на вторую половину дня. Им овладели горькие мысли: он так любил бедняжку Оталию, и вот она умирает, хотя на свете столько стариков и злых людей, смерть которых никого не огорчила бы и по которым никто не стал бы лить слезы. Так почему же умирает именно она, такая веселая, нежная, грациозная, кокетливая, любящая смех и танцы, умирает, едва начав жить, хотя осталось столь-

ко подлецов, заслуживающих смерти! Это было вопиющей несправедливостью, а старый Жезуино Бешеный Петух ненавидел всякую несправедливость.

Сержант Порсиункула получил записку после обеда. Он как раз вернулся из плавучего клуба, который основали в открытом море рыбаки. У этого клуба не было ни помещения, ни казны, единственным его достоянием было несколько карточных колод. Узнав об этом, сержант поспешил примкнуть к любителям-спортсменам, чтобы оказать им квалифицированную помощь.

Возвращаясь в Баию на паруснике Мануэла, он неподвижно стоял у руля, крепко стиснув зубы, его лицо, выражавшее тревогу, походило на застывшую маску. Мартином владело одно желание: поскорее добраться до Баии, взбежать на холм и, взяв руки Оталии в свои, молить ее, чтобы она не умирала. Как-то она его спросила: «Неужели ты не понимаешь?» Тогда он не понимал. Задавая этот вопрос, она смотрела ему в глаза, а он хотел лишь добиться своего и злился на ее глупое упрямство. Мартин бежал не только от полиции, но и от Оталии, желая забыть ее. На горячей груди Алтивы Консейсан до Эспирито Санто сжег он воспоминание о девочке Оталии, о ее невинных поцелуях. Торопясь забыть ее, он заполнял свои дни азартной игрой, а ночи любовью на берегу при свете звезд. Но сейчас он все понял, глаза его открылись, он чувствует, как его сердце сжимается, и страх потерять Оталию все растет. Почему не дует ветер, почему так медленно движется парусник?

Когда в сумерках он наконец прибыл на холм Мата-Гато, Оталия уже не могла говорить и только искала его взглядом. Тиберия передала Капралу просьбу девушки, понимавшей, что час ее пробил: Оталия хотела, чтобы ее похоронили в подвенечном наряде, с фатой и флердоранжем. Тиберия знала, что ее жених — Капрал Мартин, с которым она решила обвенчаться в июне.

Безумное желание! Где это видано, чтобы проститутку хоронили в подвенечном наряде?! Но желание это было предсмертным, и его нельзя было не исполнить.

Увидев Мартина, Оталия снова обрела дар речи; еле слышным шепотом она повторила ему свою просьбу: у нее никогда не было праздничного платья, тем более подвенечного. Мартин не знал, как устроить это: во-первых, понадобится много денег, во-вторых, уже вечер и магазины закрыты. Но неужели он не сможет найти выход? Умиравшая Оталия ждала, глядя на него. И тогда жен-

щины — девушки из заведения Тиберии, соседки, старые, изможденные проститутки — взялись тут же шить подвенечное платье с фатой и смастерить венки из флердоранжа. Быстро собрали деньги на цветы, раздобыли материю, кружева и вышивки, достали туфли, шелковые чулки, даже белые перчатки! И закипела работа.

Даже мадам Беатрис никогда не видела столь роскошного подвенечного платья с такой изящной фатой, а ведь гадалка не только много путешествовала, но и знала толк в подобных вещах. До того как заняться утешением скорбящих, она держала ателье в Нитерое.

Потом женщины одели невесту; шлейф платья спустился с постели, красиво падая на пол. Комната была полна народу, Тиберия принесла букет и вложила его в руки Оталии. Подушку положили повыше, приподняв большую. Никто никогда не видел невесты красивее, нежнее и счастливее.

Капрал Мартин сел на край кровати и взял руку своей невесты. Замужняя Клариса со слезами сняла обручальное кольцо и дала его Мартину. Тот медленно надел его на палец Оталии и посмотрел ей в глаза. Оталия улыбалась: никто бы не поверил, что она при смерти, глядя на ее довольное, озаренное радостью лицо. И тут жених и невеста услышали голос Тиберии, превратившейся в священника, одетой, как полагается при венчании, с венцом и всем прочим; она подняла руку, благословляя новобрачных. Мартин склонил голову и поцеловал Оталию в губы, едва уловив ее замирающее дыхание.

Оталия попросила всех выйти, в последний раз улыбнувшись счастливой улыбкой, и все тихо вышли, за исключением Мартина, которого она удержала за руку. Оталия с трудом подвинулась, освобождая для него место рядом с собой. Капрал лег, но был не в силах говорить — что он станет делать без Оталии, как сможет жить без нее? Оталия приподняла голову, медленно положила ее на широкую грудь Капрала и закрыла глаза.

За дверью Тиберия разразилась рыданиями, но Оталия продолжала улыбаться.

К вечеру следующего дня, когда полицейские машины, которых было столько, будто готовилось генеральное сражение или штурм неприступной крепости, приближа-

лись к холму Мата-Гато, по его крутым склонам спускалась похоронная процессия с гробом Оталии. Агенты и полицейские, возглавляемые Шико Ничтожеством и Мигелом Шаруто, были вооружены пулеметами, винтовками, бомбами со слезоточивым газом и охвачены жаждой мести. На этот раз они не отступят, они твердо решили не оставить от поселка камня на камне и до отказа набить свои машины этими бунтарями.

Жезуино Бешеный Петух, стоя на вершине холма, наблюдал за исчезающей вдаль похоронной процессией и прибывающими полицейскими отрядами. Он был в своей невероятной шляпе, превращенной теперь в каску. Рядом с ним стоял Миро, его адъютант, и ожидал приказаний. Вчера вечером мальчишки наносили груды камней и сейчас расхаживали между ними. Часть ребят жила на холме, однако большинство пришло снизу, с самых дальних улиц, собираясь сразиться с полицией из солидарности с обитателями холма. Этой многочисленной и могущественной корпорации без устава и выборного руководства многие побаивались. Одетые в лохмотья беспризорные мальчишки с худыми крысиными мордочками обучались на улицах Баии трудной науке жить и смеяться над нищетой и отчаянием. Это их именовали врагами города журналисты, судьи и социологи.

Похоронная процессия, в которой участвовала Тиберия и ее девушки, шла довольно быстро: женщины провели у гроба минувшую ночь, но еще одну терять никак не могли. Сумерки спускались на море. Оталия совершала свою последнюю прогулку, одетая в подвенечное платье с фатой и цветами флердоранжа. Она лежала в гробу вся в белом, и несли ее Капрал Мартин и Жезус, Ветрогон и Курио, Ипсилон и Гвоздика.

Это были первые похороны на холме Мата-Гато, родилось же там за это время четверо малышей — три девочки и один мальчик. Накануне вечером журналист Жако Галуб приходил сюда вместе с этим симпатичным Данте Веронези и сказал, чтобы они не обращали внимания на рычание начальника полиции, дело будет решено к общему удовлетворению: никого с холма не выселят и ни один домик не будет снесен. Почему же тогда появились полицейские? Бешеный Петух и мальчишки, предчувствуя недоброе, заняли свои посты. Один из мальчишек был послан предупредить Жако.

После решения трибунала события стали разворачиваться очень быстро. А как же вели себя люди, занимав-

шие столь непримиримые позиции? Ради любви к народу, ради твердой защиты его интересов и требований были преодолены все трудности и разногласия, противники примирились. Это было подлинное торжество патриотизма, объединившего оппозиционную и правительственную группировки, представителей консервативных кругов и народных лидеров, сердца всех забились, подчиняясь одному ритму — любви к народу. Простите, что мы так часто повторяем эти слова, но если любовь действительно велика, если все преисполнено этой любви и живут ею, мы не видим причины, почему бы не повторять это слово даже в ущерб стилю. В конце концов мы не классики, и не следует требовать от нас чрезмерной чистоты и изысканности языка. Мы просто хотим рассказать свою историю и похвалить того, кто заслуживает похвалы, а чтобы никого не забыть, самое лучшее — хвалить всех без исключения.

Примирение столь выдающихся людей, разделенных политическими разногласиями, было основной темой всех многочисленных речей, статей и передовых, произнесенных и написанных в заключительной фазе событий на Мата-Гато.

«Наша кампания увенчалась успехом! Народ и «Газета до Салвадор» одержали значительную победу!» — горделиво возвещал крупный заголовок, подкрепленный изображением сирены, созывающей всех и вся. А изображение это появлялось лишь в самых важных случаях, когда публиковались сверхсенсационные новости.

Нашумевший конфликт на Мата-Гато разрешен, к общему удовлетворению, писала газета, менее чем через двое суток после постановления трибунала, то есть в рекордно короткий срок, которого еще не знала парламентская практика. Воистину любовь к народу творит чудеса. Молодому поколению, зараженному экстремистскими идеями, не мешало бы последовать этому незаурядному примеру патриотизма. Честная журналистика, стоящая на службе народа, победила.

Председатель трибунала, хитрый старикашка, был полностью информирован о ведущихся переговорах, в которых участвовали заинтересованные лица: уважаемый командор Хосе Перес, непримиримый лидер оппозиции Рамос да Кунья, губернатор, вице-губернатор, префект, муниципальные советники, в том числе неутомимый Лиссио Сантос, крупный издатель Айртон Мело, а также отважный Жако Галуб, репортерская деятельность кото-

рого заслуживала не только похвал, но и вознаграждения. Не говоря уже о видном бизнесмене, очевидно, единственно по-настоящему популярном человеке — Отавио Лиме, присутствие которого на переговорах могло бы показаться странным. Но никто не удивился. Так почему же должны удивляться мы и искать объяснения этому факту? К чему нам проявлять любопытство, если его не проявляли столь выдающиеся личности, вовлеченные в это дело? Присутствие Отавио Лимы было воспринято с абсолютным спокойствием, больше того — мы можем утверждать, что именно он определил успех переговоров, ибо при решении этого сложного вопроса губернатор, следуя своим демократическим взглядам, пожелал выслушать самые различные мнения.

Не выслушали лишь обитателей холма, но это и не было нужно. Разве не в их интересах организовывались все эти встречи и собрания? Разве не участвовало в них — к тому же так активно — столько искренних патриотов, преданных друзей народа? Например, скромный и обаятельный Данте Веронези, уже всеми признанный представитель и вожак жителей Мата-Гато, лучшим подтверждением чему были недавно построенные хорошенькие домики, которые он сдавал внаем. В перерывах между заседаниями Данте бегал на холм и убеждал Жезуино и его друзей в бесполезности их приготовлений. «Мы решили все вопросы». Не баррикады, траншеи, камни и бидоны с кипятком он советовал готовить, а флажки, приветственные плакаты, шутихи и фейерверки для празднования на площадях города. Полиция оцепила холм, однако Данте Веронези бесстрашно пробирался между машинами и пулеметами. По инициативе и за счет молодого лидера был написан плакат со следующим лозунгом:

«Да здравствует Данте Веронези, наш кандидат!»

Как мы видим, конкретно не указывалось, куда именно и от кого он выдвигался. Дело в том, что Данте, вдохновленный успешным ходом событий, начал серьезно подумывать о своем избрании в депутаты Ассамблеи штата. Конечно, вернее было бы попытаться стать муниципальным советником, но, как знать, может, удастся и депутатом... Словом, так или иначе, а он уже был кандидатом, и дона Фило, у которой Данте согласился крестить младшего сына, занималась агитацией в его пользу.

Итак, председатель трибунала был в курсе всего этого; разумеется, мы имеем в виду не трогательное единство между Данте и Фило, а беседы и переговоры, имевшие столь важное значение. Председатель был вовсе не дурак, не то что паглец Албуркерке, пребывающий на посту начальника полиции, и хорошо понимал ответственность трибунала, а также свою собственную ответственность и свой долг: стоять на страже закона и в особенности конституционной статьи, гарантирующей неприкосновенность частной собственности. А уж улаживать это дело он предоставлял политикам, они знают, как за это взяться, для того они и существуют и занимаются своими махинациями. Трибунал же обязан защищать священные права землевладельцев и сурово осудить тех, кто пытался их попортить,— захватчиков Мата-Гато. Постановление трибунала являло собой шедевр юрисдикции и хитрости. Правосудие слепо, говорилось в нем, однако к этому избитому изречению было добавлено несколько слов, выражающих сожаление по поводу судьбы таких людей, как несчастная дона Фило, любящая мать многочисленных детей, лишенных крова. Итак, Фемида слепа, и судьи должны быть глухи к голосу сердца. Представителям законодательной и исполнительной власти — вот кому надлежит заняться решением проблемы, чтобы, не нарушая права собственности, гарантированного конституцией, удовлетворить интересы этих бедняков. Трибунал верит, что бог в своей безграничной мудрости поможет правителям и депутатам найти способ воздействовать на полицию — за невозможность сделать что-либо иное, — на которую возложено исполнение приговора: выселить захватчиков с холма и вернуть земли их законному владельцу.

Поистине блестящее постановление! Трибунал еще раз напомнил всем, что бдительно охраняет частную собственность, и в то же время намекнул на необходимость решить этот вопрос политически. А значит, любое соглашение, которое будет принято впоследствии, можно будет рассматривать как вытекающее из мудрого постановления трибунала. Председатель отлично знал, что губернатор и депутаты строят козни за спиной правосудия и полиции. Начальник полиции — самонадеянный дурак, но он, председатель трибунала, не даст себя провести: приняв свое хитроумное постановление, трибунал показал, что допускает возможность любого компромиссного решения данного вопроса. Председатель велел чиновни-

кам не отправлять постановление в полицию вплоть до его особого приказа.

Только тщеславный и чопорный Албукерке мог не заметить явного оживления в полемике вокруг холма Мата-Гато. Никогда его положение не казалось ему столь прочным. Совсем недавно, желая проверить некоторые слухи, просочившиеся в печать, он получил от губернатора еще одно подтверждение полного доверия ему, Албукерке. Его превосходительство сказал, что проблема Мата-Гато совершенно не входит в компетенцию губернатора, решать это дело обязан трибунал, полиция же должна проследить за исполнением судебного постановления. Сеньор Албукерке вышел из дворца окрыленный. В дверях он столкнулся с Лисио Сантосом и сухо ответил на его фамильярное приветствие. Не пользуясь этот мерзавец депутатской неприкосновенностью, он бы засадил его в тюрьму.

Начальник полиции вполне серьезно считал, что, избравшая его человеком жестким и волевым, оппозиционные журналисты, сами того не сознавая, оказали ему большую услугу: консервативные круги теперь увидели в нем нужную им фигуру. Пока другие колебались, заискивая перед чернью и желая завоевать лишние голоса, он проявил себя непреклонным защитником землевладельцев. Так кому же теперь стать лидером тех, кто боится революционных волнений и социализма, о котором, согласно просвещенному мнению сеньора Албукерке, возвести горны с вершины холма? В критический момент кто лучше и тверже сможет править штатом? Сидя в своем кабинете и ожидая постановления трибунала, сеньор Албукерке уже предвкушал, как в губернаторском дворце он разнесит Отавио Лиму, а тот стоит перед ним с униженным и покорным видом.

Впрочем, отнюдь не один сеньор Албукерке был удивлен последующим развитием событий. Не подозревали о том, что готовится, и некоторые депутаты, а также секретари штата, имеющие обыкновение витать в облаках. К тому же все это произошло так быстро, что, например, депутат Полидоро Кастро — бывший сутенер — попал в смешное положение. В студенческие годы он пользовался скандальной славой и не раз оказывался в полиции нравов, а потом удрал в провинцию, женился там на дочери фазендейро и стал добропорядочным человеком. В столице штата он вернулся изрядно облысевший, а первый заместитель депутата от правительственной партии уполномо-

мочил Полидору исполнять свои обязанности, так как сам депутат, к общему удовольствию, отправился путешествовать по Европе за счет Ассамблеи. Кастро мнил себя великим оратором и законопроект Рамоса да Кунья расценил как повод блеснуть своим даром. Он стал самым дотошным и свирепым критиком этого проекта, громил каждый его параграф с навязчивой эрудицией провинциального адвоката и картезианской логикой любителя немолодых французских потаскух, разнося в клочья эту «грудку демагогических глупостей нашего пылкого Мирабо из сертана». Его жара хватило на три длинные речи, оставшиеся без ответа.

На следующий день после решения трибунала он проносил третью речь; упиваясь своей аргументацией, своими цитатами, иногда латинскими, тембром своего голоса, он рассуждал о «мудром уроке, преподанном трибуналом». Как раз в это время лидер правительственного большинства, вернувшийся от губернатора, вошел в зал. Взглянув искоса на оратора, он пошептался с некоторыми депутатами, а затем направился к Рамосу да Кунья, который готовил ответ Полидору, и они, усевшись в стороне, принялись о чем-то говорить. Полидору Кастро, весь во власти собственного красноречия, даже не посмотрел на лидера и не заметил, как тот подошел к столу президиума и что-то сказал на ухо председателю. Очнувшись от своего опьянения Кастро лишь тогда, когда прозвучал колокольчик и председатель предупредил:

— Время уважаемого депутата истекает...

Не может быть, у него в запасе было два часа, а еще не прошло и часа, председатель ошибся. Нет, ошибается уважаемый депутат, его время действительно истекло. Возмущенно повернувшись к председателю, Полидору бросил взгляд на лидера и понял, что тот собирается сделать какое-то важное сообщение. Для этого ему и понадобилась трибуна. Ну что ж, придется произнести четвертую речь.

— Сейчас заканчиваю, сеньор председатель...

Он пообещал уничтожить своего противника в следующем выступлении. Но Рамос да Кунья почему-то улыбнулся, услышав эту угрозу. А потом даже сел рядом с Кастро, чтобы выслушать лидера большинства, который уже откашливался в наступившей тишине. Разгромленный почти наголову, Рамос да Кунья спокойно поглядывал в потолок; видно, из толстокожих, решил Полидору.

Лидер правительственного большинства попросил у

своих коллег внимания, он прибыл из дворца и будет говорить от имени губернатора, в напряженной тишине слова эти прозвучали особенно внушительно. Он прибыл из дворца, повторил лидер еще раз, наслаждаясь воспоминанием о залах и коридорах, куда он был вхож в любое время, пользуясь правом не согласовывать аудиенцию заранее. Он только что вместе с сеньорами губернатором, вице-губернатором, префектом столицы штата, секретарем путей сообщения и общественных работ, а также другими представителями власти участвовал в заседании, на котором сложный вопрос о холме Мата-Гато рассматривался в различных аспектах.

Лидер сделал паузу, торжественно подняв руку. Губернатор штата — выдающийся государственный деятель, продолжал он, именно его в высшей степени гуманному вмешательству обязаны мы тем, что не пролилась кровь людей, которые были поставлены перед необходимостью захватить Мата-Гато. Теперь же его превосходительство, всегда чутко относящийся к народным нуждам, связан по рукам и не имеет возможности воспрепятствовать действиям полиции, обязанной привести в исполнение решение трибунала. Его превосходительство, этот выдающийся государственный деятель, этот гуманист, — депутат не прекращал грубо лстыть, — опираясь на постановление, в котором исполнительной и законодательной власти рекомендуется найти политическое решение данной проблемы, еще раз доказал свое великодушие, свою объективность и свою любовь к народу. В Ассамблее штата, здесь, в этом доме, где неуклонно соблюдаются интересы закона и народа, сейчас обсуждается законопроект отчуждения земельных участков Мата-Гато, автором которого является уважаемый лидер оппозиции сеньор Рамос да Кунья; и надо сказать, что талантом и эрудицией этого депутата может гордиться не только оппозиционное меньшинство, но вся Ассамблея, весь штат Баия, вся Бразилия (аплодисменты, одобрителные возгласы, и голос Рамоса да Кунья: «Это уже слишком, уважаемый коллега!»). Так вот: от имени сеньора губернатора он сообщит Ассамблее о поддержке правительственной фракцией, то есть большинством депутатов, патриотического проекта уважаемого лидера оппозиции. Когда дело касается интересов народа, депутаты должны забыть о своих разногласиях. Так сказал сеньор губернатор, и лидер правительственного большинства повторил эти замечательные слова. А теперь он, лидер большин-

ства, вручит сеньюру председателю ходатайство о пемедленном голосовании по данному вопросу, подписанное им и лидером оппозиции. В заключение ему еще раз хотелось бы подчеркнуть: он счастлив быть соратником столь выдающейся личности, как нынешний глава правительства. Его замечательный и великодушный акт может сравниться лишь с актом принцессы Изабел Освободительницы, издавшей декрет об отмене рабства. Да здравствует сеньор губернатор — наша принцесса Изабел, наш Освободитель! Под бурные овации оратор спустился с трибуны.

Еще не стихли аплодисменты, еще кое-кто обнимал оратора, а проворный Полидоро Кастро вернулся на трибуну, вызвав замешательство среди депутатов. Некоторые подумали, будто главный критик проекта настолько безрассуден, что готов порвать с правительством и остаться изолированным от большинства и меньшинства.

— Сейчас начнется заваруха...— оживился Мауро Фильо, сидевший на скамье для журналистов.

А на трибуне гремел Полидоро Кастро:

— Сеньор председатель, я хочу первым поздравить достопочтенного сеньора губернатора с историческим, я бы сказал — бессмертным решением, о котором уважаемый лидер большинства торжественно сообщил палате. Я подробно проанализировал законопроект коллеги Рамоса да Кунья, талант которого, как утренняя звезда, блистает на небе отчизны, и если и оспаривал его с этой трибуны, то никогда не пытался умалить его высокие достоинства. Сеньор председатель, я целиком поддерживаю этот проект и пользуюсь случаем выразить свою безоговорочную солидарность с сеньором губернатором.

— С этим Полидоро не так легко справиться. Недаром он ухитрялся добывать деньги у француженок. С ним шутки плохи...— прошептал Мауро Фильо.

Приступили к голосованию. В редакциях газет началась суматоха: журналистам понравился смелый образ лидера большинства, сравнившего губернатора с принцессой Изабел. Некоторые удивились горячей тираде Полидоро Кастро. Но кто мог помешать ему выразить свой патриотический пыл?

Вскоре стало известно, что техники и эксперты секретариата путей сообщения и секретариата общественных работ совещаются с командором Хосе Пересом, его адвокатами и инженерами. Соглашение относительно цены на земельные участки все еще не было достигнуто. Эксперты указывали на то, что они расположены далеко от

города, еще не налажено сообщение, нет коммунальных услуг, а также на то, что спрос на земли этого района невелик. Но командор Хосе Перес, опираясь на планы и проекты, не соглашался со смехотворно низкой ценой, определенной посредниками. Они хотят быть добренькими? Хотят аплодисментов и голосов? Хотят похвал в прессе? Пожалуйста! Но не за его счет, он за это платить не собирается. Как они могут называть столь низкую цену, когда все исследования проведены, расчеты и планы готовы и уже назначена дата начала торгов? А знают ли они, во сколько обошлось ему решение трибунала? Должен же он как-то оправдать свои расходы!

Лисио Сантос так и вился вокруг командора и экспертов, он всегда был там, где пахло деньгами, и от каждой взятки, от каждого тостана, переходившего из одного кармана в другой, получал процент. Он сновал от губернатора к вице-губернатору, от префекта к председателю Ассамблеи, от Айртон Мело к Жако Галубу, выполнял поручения Отавио Лимы, поскольку вместе с вопросом о земельных участках на холме решалась судьба «жого до бишо». В это же время формировался единый фронт, в который вошли различные партии, оказавшие поддержку правительству. Рамоса да Кунья и Айртон Мело называли как возможных кандидатов на правительственные посты и уже поговаривали о новом начальнике полиции.

К концу дня первый тур голосования был закончен. Оба лидера обратились с ходатайством о внеочередном созыве совещания юридической и финансовой комиссий, чтобы тем же вечером утвердить проект в последней инстанции и на следующий день обнародовать.

Нервничая и уже теряя терпение, сеньор Албукерке ожидал постановления трибунала. Он не понимал, почему оно до сих пор не у него в руках, если вынесено сутки тому назад. Нерасторопность чиновников или что-нибудь похуже?.. Новости поступали тревожные, и он пытался связаться с губернатором, но его превосходительства не было, и никто не знал, где его найти. Тогда сеньор Албукерке сам решил ускорить события.

Он приказал оцепить холм. Вооруженные до зубов отряды, прибыв на машинах, станут лагерем вокруг Мата-Гато и не дадут никому сойти вниз. Первый, кто спустится, будет задержан и брошен в машину, предназначенную для перевозки арестованных. А едва будет получено постановление трибунала, отряды займут холм и раз-

рушат бараки. Ждать этого придется не более суток. Шико Ничтожество, которому поручалось возглавить эту операцию, спросил, как далеко простираются его полномочия.

— Вы должны действовать с максимальной твердостью. Если они попытаются оказать сопротивление, применяйте силу. Решительно пресекайте любую попытку напасть на полицию или деморализовать ее... Я не желаю, чтобы нарушители порядка еще раз посмеялись над нами...

— Будьте покойны, теперь ничего подобного не случится.

Почти у самого холма агенты встретили похоронную процессию. Шико Ничтожество оскалил в улыбке свои гнилые зубы и сказал Мигелу Шаруто, сидевшему рядом с ним в машине:

— Если начнут дурить, придется им потаскать покойников...

А Мигел Шаруто мечтал засадить Капрала Мартина в тюрьму. И еще было бы здорово разбить ему физиономию!

Он не знал, что Капрал исчез, едва вышел с кладбища. Мартин пожал руку друзьям, поцеловал пухлощечку, сразу постаревшую Тиберию. Большой трехмачтовый баркас Милитана ожидал его, готовый поднять паруса. Милитан направлялся в Пенедо, в штате Алагоас, и взял Капрала по просьбе Рулевого Мануэла. Но Мартин уже не был прежним Мартином, на его суровом окаменевшем лице и следа не осталось от былой плутоватой веселости. Сухие, не пролившие ни единой слезы глаза утратили свою живость и тепло. Навсегда он расстался со своим званием. Капрал Мартин перестал существовать. Среди пустынного ночного моря одинокий Мартин все еще ощущал голову покойницы у себя на груди, прикосновение ее шелковистых волос и подвенечной фаты. Как он станет жить без Оталии?

Он придет в незнакомый город и начнет все сначала. Его руки будут так же ловки, взгляд так же остр, по-прежнему мастерски он будет сдавать карты и бросать кости, но лукавство и обаяние никогда не вернуться к нему. Плечи сержанта Порсиункулы согнутся будто под тяжким бременем — этим бременем, от которого он ни на миг не захочет отдохнуть, стала смерть Оталии. Никогда и никому он не расскажет своей истории, никогда ни с кем не поделится ею, но всегда будет помнить мертвую Оталию, одетую в подвенечный наряд.

Данте Веронези поднялся на холм, прошел мимо вооруженных полицейских, мимо наведенных на холм Мата-Гато пулеметов. Агенты не пытались остановить его и ничего ему не сказали. Но когда Веронези и производитель работ, ведущий строительство новых домов, захотели вернуться в город, их схватили и бросили в машину. Они просидели бы там всю ночь, если бы Мигел Шаруто не узнал Данте и не шепнул что-то на ухо Шико Ничтожеству. Тот решил отвести его в полицию — пусть начальник сам решает, что с ним делать.

Жители холма видели сверху, как был арестован их лидер. Вернувшись на боевые позиции, Жезуино послал одного из мальчишек в город сообщить о случившемся Жако Галубу. Мальчишка отправился по недавно проложенной среди болота тропинке, он тихо крался, прячась меж кустов, и ни один полицейский на свете не мог бы поймать его в топкой болотной грязи. Немного погодя паренек уже бежал по шоссе, а потом прицепился к попутному грузовику.

Но раньше чем мальчишка вернулся, — он задержался в редакции «Газеты до Салвадор», где его сфотографировали и взяли интервью, — на холм поднялся муниципальный советник Лисио Сантос, принеший известие об освобождении Данте Веронези и прораба, о которых он будто бы хлопотал, а распоряжение отдал сам губернатор. Он сообщил также, что законопроект да Кунья был принят Ассамблеей единогласно. Сейчас проект рассматривают юридическая и финансовая комиссии. Завтра они проголосуют, губернатор подпишет закон об отчуждении земель, и жители холма станут хозяевами своих лачуг. Лисио Сантос был счастлив сознанием того, что словом и делом помогал этой победе народа, другом и истинным представителем которого он всегда себя считал.

Все это он взволнованно изложил, стоя на пороге одного из домиков, построенных Данте. На дверях этого домика красовалась следующая надпись:

Избирательный пост
муниципального советника
ЛИСИО САНТОСА И ДАНТЕ ВЕРОНЕЗИ.

Жители холма собрались послушать его, и Лисио сыпал не только туманными фразами в кондорском¹ стиле («Поэт рабов уже сказал, что земля принадлежит народу, как пебо кондору»), но и шутками («А я говорю, что холм принадлежит народу, как кость собаке»). Люди смеялись. Потом советник обрушился на начальника полиции и объявил о его неминуемой отставке, которая, возможно, уже состоялась; Албукерке получил под зад коленом.

Но Албукерке был еще на посту. Правда, распоряжение губернатора об освобождении Данте Веронези было получено вместе с настоятельным советом: действовать против обитателей холма весьма осторожно, и начальник полиции впервые почувствовал, что почва под ним заколебалась. Он велел освободить Веронези из тюрьмы. Ему доложили, что пришел Лисио Сантос, но Албукерке отказался его принять и поспешил во дворец. Ему необходимо было повидаться с губернатором и переговорить с ним. Однако дворец был погружен в темноту; после утомительного дня его превосходительство отправился погулять, не сказав, куда пойдет и когда вернется. Начальник полиции немного подождал и решил возвратиться в управление, оставив губернатору записку: он будет всю ночь ждать приказаний в своем кабинете. Однако до двух часов никаких приказаний не последовало, и сонный Албукерке с мрачным видом направился домой. На сердце у него было беспокойно. На углу он увидел группу агентов, которые со смехом что-то обсуждали. При его приближении подчиненные замолчали, чтобы приветствовать начальство, но он успел уловить конец фразы, произнесенной инспектором Анжело Куйабой:

— ...поговаривают о депутате Мораисе Нето, он все же лучше нашего болвана...

Албукерке сел в машину с таким чувством, будто прочел некролог о себе. Так он не получил ни денег от маклеров, ни признания консервативных кругов. Однако погибал он с достоинством. «Я падаю стоя», — сказал он жене, которая, не ложась спать, ждала его, встревоженная болтовней соседок.

И все же у него осталось еще доброе имя и репутация неподкупного человека. Но жена, которой надоели

¹ Имеется в виду приподнятый, торжественный стиль, характерный для кондорской школы — литературного течения в Бравиили, возглавлявшегося крупнейшим бразильским поэтом и борцом за освобождение негров от рабства Кастро Алвесом (1847—1871).

эти высокопарные заявления и пустое тщеславие, возразила, что устоять очень трудно, а неподкупность хоть и добродетель, однако обеда из нее не сварить. Сеньор Албукерке сел на край кровати и закрыл лицо руками.

— А по-твоему, что я должен делать?

— Постарайся хотя бы опередить события и сам подай в отставку.

— Ты думаешь? А если положение изменится и губернатор вдруг решит не снимать меня с должности? Зачем торопиться?

Жена пожала плечами. Она устала, и ей хотелось спать.

— Если ты не подашь в отставку, то у тебя не останется даже достоинства... Ты лишишься его.

— Я подумаю и завтра решу...

На следующее утро его разбудила жена: пришли от губернатора, который просил начальника полиции немедленно явиться. Когда жена сказала об этом Албукерке, он так взглянул на нее, что ей стало жаль своего беднягу мужа, такого самоуверенного и такого недалекого. Уж она-то знала, как никто, истинную цену его бахвальству. Но у него был такой несчастный вид, что она не выдержала и подошла к нему. Сеньор Албукерке опустил голову — это была катастрофа.

— Губернатор хочет тебя видеть.

— В такой час это может означать только одно...

— Не огорчайся... Как-нибудь проживем... В конце концов ты выполнил свой долг.

Но он знал, что на самом деле думает о нем жена. Не стоило снова заводить разговор о честности, становиться в шозу героя, все равно ее не обманешь, ни в чем не убедишь.

— Эта банда одолела меня...

Жена не поняла, говорит ли он о губернаторе и депутатах или о жителях холма. Она помогла ему одеться — сеньор Албукерке все еще носит туго накрахмаленные воротнички.

Губернатор горячо заверил его в своем почтении, выразил благодарность и заявил, что хочет по-прежнему видеть в правительстве столь честного и уважаемого человека, но на другом посту. Но на каком именно, они потом обсудят. А начальником полиции сейчас, когда настало время примирения и взаимных уступок, должен быть человек менее принципиальный и непреклонный, чем сеньор Албукерке. Эта его непреклонность является

ценным даром, которым может гордиться не только правительство, но и вся баиянская общественность. Сеньор Албукерке всегда будет служить примером для грядущих поколений. Однако у политики свои законы, она не всегда остается честной, прибегает к лавированию, уступкам, соглашательству, иногда даже требует сделок с совестью. А уважаемый губернатор не такой человек, он не способен на компромиссы.

Сеньор Албукерке опустил голову: что ему эти похвалы? Он уходит, как и пришел, с чистыми руками, хотя у него были свои планы, и, как ему казалось, весьма реальные... Честный, непреклонный, неподкупный болван, размазня. Он смотрел на губернатора, который, любезно улыбаясь, расточал ему похвалы: чистые руки, образец добродетели. Ему хотелось послать губернатора, а также свою честность, непреклонность, неподкупность к чертовой матери.

Он поднялся, застегнул пиджак и склонился перед губернатором.

— Ваше превосходительство, через полчаса вы получите мое прошение об отставке.

Губернатор тоже встал, горячо обнял Албукерке и еще раз, почти искренне, выразил ему свою признательность:

— Спасибо, дорогой...

В прошении об отставке бывший начальник полиции не упомянул ни о «жого до бишо», хотя инспектор Анжело Куйаба, едва он прибыл в управление, поторопился сообщить о скорой отмене запрета на эту игру согласно достигнутой вчера вечером договоренности между губернатором и Отавио Лимой, ни о событиях на холме Мата-Гато. В тщательно отредактированном документе Албукерке ссылался на пошатнувшееся здоровье, необходимость отдыха и лечения: «Я не раз просил освободить меня от доверенной мне нелегкой работы, однако, не получив отставки, не мог не последовать призыву вашего превосходительства продолжать службу, хотя это было в ущерб моему здоровью. И все же сейчас...»

Губернатор незамедлительно удовлетворил ходатайство Албукерке и в своем послании не преминул похвально отозваться о бывшем шефе полиции как о знатке законов и образце честности. А журналист, которому Албукерке помог когда-то устроиться, готовя передачу последних известий по радио, дал благоприятное для бывшего шефа полиции объяснение отставки, исполнив таким образом долг благодарности, Албукерке, дескать, поки-

нул свой пост, поскольку не хотел впутываться в новый скандал, но с его уходом правительство окончательно погрязнет в игорных страстях и махинациях «жого до бишо».

Мата-Гато весть об отставке начальника полиции достига почти в полдень и была встречена с одобрением. Один из мальчишек, исполнявший обязанности связного между осажденными обитателями холма и городом, принес записку от Лисио Сантоса. В пей сообщалось, что начальник полиции снят, законопроект да Кунья одобрен комиссиями и теперь будет обсуждаться на внеочередном пленарном заседании, после чего его наверняка обнаружат. А жители холма пока должны готовиться к массовой демонстрации в поддержку правительства и митингу перед губернаторским дворцом, о которых их оповестят газеты и радио.

И действительно, утренние газеты призвали население города своим участием в митинге на Муниципальной площади выразить одобрение благородной акции губернатора. В «Газете до Салвадор» был опубликован вдохновенный репортаж Жако Галуба, посвященный ужасам последней осады холма Мата-Гато, проводившейся по распоряжению стервятника Албукерке, там же в трагическом тоне повествовалось об аресте Данте Веронези и воспроизводилось заявление Пика Пау, доставившего записку от Жезуино, а также фотография этого бойкого и симпатичного мальчишки со спадающими на лоб волосами и окурком во рту. Помимо репортажа, сообщавшего, что возмутительные гонения на бедняков прекращены, газета поместила передовую статью, подписанную Айртоном Мело, который вообще редко ставил свое имя. Но в это утро он хотел сделать широкий жест и приветствовать сеньора губернатора, своего политического противника. Айртон Мело ценил благородство, даже если его проявлял враг. А его превосходительством восхищался весь штат. Вот почему Айртон Мело согласился выступить на митинге, который наметили провести после обеда.

Жители холма готовили для демонстрации плакаты, флаги, лозунги, приветствующие губернатора. Мальчишек послали узнать новости, они спустились с холма, оцепленного полицией, бесшумно, как кошки, прокрались через кусты, растущие на болоте, а когда агенты опомнились, те были уже далеко на шоссе и просились на попутные грузовики.

Теперь единственной трудностью, которую еще осталось преодолеть, была цена на земли Мата-Гато. Юмап-

дор Хосе Перес твердо стоял на своем, поэтому кое-кому пришлось вмешаться и устроить встречу губернатора со столпом испанской колонии. Только после этого соглашение было достигнуто. Командор Хосе Перес тоже пожелал благодетельствовать бедняков на холме и сделал незначительную уступку или пошел на большие жертвы — это уж кто как расценит, сообразуясь со своими интересами и вкусами. Эксперты изменили первоначальное заключение. Впрочем, один из них отказался подписать новый документ, находя сделку слишком скаandalной. Многие поживились кое-чем из этой кормушки, и уж наверняка среди них был Лисио Сантос, по-прежнему отлично настроенный и неутомимый.

А между тем холм Мата-Гато продолжала осаждать полиция, о которой в суматохе позабыли; выполняя распоряжение своего бывшего начальника, она хватала и бросала в машины всех, кто осмеливался спускаться. Три человека уже были арестованы, однако Жако и Лисио обещали освободить их, как только найдут для этого время. А сейчас они были по горло заняты подготовкой к демонстрации, которая обязательно состоится к концу дня; о точном часе жителям холма сообщат позднее.

Жезуино, поскольку надобность в военных играх отпала, руководил теперь подготовкой массовой демонстрации, что забавляло его ничуть не меньше. К тому же Лисио Сантос пообещал выставить кашасы и пива вдоволь, чтобы как следует отметить победу. Бешеный Петух, профессию которого никто не знал и который слыл непримиримым врагом всякой работы, собирался теперь стать захватчиком земель, как он со смехом заявил Миро, когда они мастерили картонные, на длинных рейках плакаты. Жезуино уже замышлял новое вторжение: на земли за улицей Свободы, носящие странное название Впадина турчанки.

В два часа дня депутаты с большим подъемом одобрили окончательную редакцию законопроекта Рамоса да Кунья. Председатель хотел было выделить делегацию, которая отнесет ее губернатору, но Полидоро Кастро предложил пойти во дворец всем. Подписание декрета было назначено на шесть вечера, так что еще оставалось время для подготовки демонстрации.

Все радиостанции через каждые пять минут призывали власти и население собраться в шесть часов на Мунципальной площади перед дворцом, чтобы присутствовать при историческом акте обнародования принятого

Ассамблей закон об отчуждении земель Мата-Гато. В числе ораторов будут лидеры правительственной и оппозиционной фракций, журналист Айртон Мело, муниципальный советник Лисио Сантос и сам губернатор. Для добровольной народной демонстрации были мобилизованы все средства, префектура предоставила в распоряжение горожан свои грузовики.

17

Итак, за массой дел и хлопот — заседаниями во дворце, переговорами, совещаниями, обсуждениями кандидатур на пост начальника полиции и реформированием кабинета — совсем забыли о полицейских, в боевой готовности оцепивших холм, и о самих жителях холма. Муниципальная площадь была заполнена народом, из автобусов и грузовиков высаживались все новые демонстранты с плакатами и лозунгами; забыв о разногласиях, лидеры правительственной и оппозиционной фракций прибыли в одном автомобиле, прибыли и члены этих фракций, следовавшие их примеру; сеньор префект уже спустился по лестнице муниципалитета, чтобы перейти площадь и присоединиться к губернатору, когда Жако Галуб в одном из залов дворца вдруг вспомнил о людях на холме. С ним был Лисио Сантос.

— А как же те, с холма?

— Ай-ай-ай! Надо скорее послать за ними.

Тогда Жако вспомнил о мальчишке, сидевшем в редакции в ожидании поручений. «Хоть бы телефон работал». Ему удалось соединиться с редакцией, и несколько минут спустя мальчишка мчался в такси с запоздалым приглашением Жако. Для перевозки жителей холма был предоставлен грузовик, им только надо поскорее спуститься.

Потом вспомнили о полицейских. Отправились на поиски нового начальника полиции, вступившего на этот пост всего полчаса назад. Это был один из депутатов муниципального собрания, кузен супруги губернатора и друг Отавио Лимы. Таким образом, судьба «жого до бишо» будет теперь решаться в семейном кругу. Новоиспеченный начальник испугался: холм оцеплен? Да, он что-то читал в газетах. Но, по правде говоря, не очень был в курсе дела, поскольку отдыхал в Крус-дас-Алмас на своей фазенде, когда губернатор срочно вызвал его. Они могут быть спокойны, он примет необходимые меры,

впрочем, какпе именно, он не знал... Все очень просто, сказали ему. Надо послать туда инспектора или комиссара, чтобы полицейские вернулись в управление. По распоряжению этого болвана Албукерке они уже более суток осаждают холм, питаюсь одними бутербродами, которые запивают кипятком. Агенты уже начали роптать.

«Роптать» — пожалуй, слишком сильно сказано, просто им страшно надоело сидеть там, и, полуголодные, невыспавшиеся, искусанные москитами, они были злы. Полицейские еще ничего не слышали о готовящемся празднестве и, изнывая от скуки, мечтали, чтобы кто-нибудь из этих негодяев спустился, а уж они тогда набросятся на него и изобьют. Накануне, правда, удалось схватить троих, они до сих пор сидят в душной машине, томясь от голода и жажды. Шико Ничтожество ходил вокруг холма, задыхаясь от ненависти, а Мигела Шаруто все еще не оставляла мысль поймать Капрала Мартина и проучить его.

В это время на холме появилась толпа. Шико Ничтожество показалось, будто у людей какой-то угрожающий вид, вооружены они палками и камнями, а впереди с дубинкой в руке идет Жезуино Бешеный Петух. На самом деле жители холма шли к грузовику, который должен был отвезти их на Муниципальную площадь, Жезуино же нес свернутый плакат.

Мальчишка, посланный Жако, вышел из такси, не доехав до холма, пробрался через болото, незаметно поднялся на Мата-Гато и передал поручение журналиста и Лисио. Жезуино сейчас же собрал людей, которые, взяв лозунги и плакаты, последовали за Бешеным Петухом, снова надевшим свою устрашающую каску.

— Они собираются напасть на нас... — Мигел Шаруто указал на спускающихся людей.

Тогда Шико Ничтожество выхватил револьвер и напомнил полицейским о распоряжении Албукерке. Сейчас они рассчитаются с ними за прошлое поражение, за москитов, за жару, за плохую еду, теплую воду. Они вознаградят себя за все.

Жители холма исчезли за поворотом дороги. Но скоро они будут хорошо видны. Шико Ничтожество довольно засмеялся. Мигел Шаруто занял позицию, не оставляя своей мечты поймать эту собаку Мартина.

Фигура Жезуино Бешеного Петуха четко вырисовывалась на фоне красноватого вечернего неба. «Огоны!» — скомандовал Шико Ничтожество, и пулеметная очередь,

срезав ветви кустов, пробила грудь Жезуино. Он покачнулся, схватился было за голову, но тут же рухнул и, ударяясь о выступы скалы, упал в болото, которое поглотило его. Остальные отступили на вершину холма. Плакат, который нес Жезуино, остался висеть на скале. «ДА ЗДРАВСТВУЮТ ДРУЗЬЯ НАРОДА!» — было написано на нем.

Вскоре — почти одновременно — прибыли автомобиль с инспектором Анжело Куйабой и грузовик для жителей Мата-Гато. Инспектор привез приказ снять осаду, освободить арестованных, если таковые имеются, и немедленно ехать в управление полиции. Однако все желающие, добавил он, могут принять участие в демонстрации.

Затем инспектор поинтересовался, как обстоят дела. Шико Ничтожество сообщил, что все шло нормально, арестовали трех человек, когда те пытались спуститься с холма, сейчас он их освободит. Кроме того, несколько минут назад местное население попыталось напасть на полицию, он приказал дать пулеметную очередь, чтобы поугаать их, и они отступили.

— Раненых не было? А убитых?

— Не было...

Полицейские машины уехали. Кое-кто из жителей холма снова взял лозунги и плакаты, возглавила колонну донна Фило со своими детьми. Впрочем, двое старших не пошли. Мирó спустился к болоту.

Митинг на площади был в разгаре. Речь лидера правительственной фракции имела бурный успех, так как он, снова прибегнув к полюбившемуся сравнению, назвал его превосходительство принцессой Изабел нашего времени. Не меньший успех имели выступления Айртона Мело и Рамоса да Кунья. А губернатор, под аплодисменты собравшихся подписавший на балконе дворца декрет об отчуждении земель Мата-Гато, не смог удержаться от слез. И со слезами в голосе он начал свою речь, надолго всем запомнившуюся. В соседнем окне, посадывая ароматную сигару, улыбался Отавио Лима, довольный энтузиазмом толпы, в которой было немало его знакомых и подчиненных, снова получивших возможность свободно заниматься своим ремеслом. Дисциплинированный народ, все пришли как один.

Что же касается волнующей сцены, когда губернатор, глава штата и отец бедняков, обнял дону Фило, пробравшуюся на балкон со своими детьми, то описать ее и увековечить было бы под силу только Камознсу.

Праздник продолжался до глубокой ночи. Отавио велел угощать народ пивом и кашасой, а на подмостках, сооруженных на Соборной площади, были устроены танцы.

Ночь стояла темная, безлунная, небо было затянуто облаками, душный воздух предвещал грозу. Мальчишки во главе с Миро длинными палками искали в вонючем болоте тело Жезуино Бешеного Петуха. Им помогали Ветрогон, Курио, Гвоздика и еще кое-кто. Искали всю ночь, но так и не нашли. Грязь поглотила Жезуино, и при слабом свете коптилок не удалось обнаружить даже места, где он упал. Нашли лишь его невероятную каску, в которой он хотел походить на командора, однако из-за непокорных седых волос напоминал поэта.

18

Так всенародной демонстрацией, кончившейся веселым праздником с танцами и выпивкой, завершился захват холма Мата-Гато. Ничего не скажешь, хороший конец, или, как выражается теперешняя молодежь, «хеппи энд». Все остались довольны, все были вознаграждены по заслугам.

Губернатор — горячей народной любовью, вылившейся в никем не подготовленную (по словам Отавио Лимы) и искреннюю демонстрацию. Не говоря уже о поддержке оппозиции, которую он теперь будет держать на короткой узде: она стала совсем ручной. Рамос да Кунья — постом секретаря сельского хозяйства, Айртон Мело — секретаря юстиции. Правительство упрочило свое положение, добившись перемирия между фракциями.

Командор Хосе Перес, продав земли по очень хорошей цене, подарил внукам, заядлым бунтарям и отважным теоретикам, новый автомобиль. Лисио Сантос, по своему обыкновению, не упустил случая поживиться, раз уж была такая возможность. Он завоевал популярность и, судя по всему, скоро будет избран в Ассамблею штата. А его друг Данте Веронези — муниципальным советником. Этого выдвинул захватчики чужих земель, ибо, хотя нет в живых Жезуино Бешеного Петуха, их становится все больше. И в каждом новом поселке на захваченных землях Данте строит свои дома. Жако Галуб, герой холма Мата-Гато, назначен редактором бюллетеня законодательной Ассамблеи и, как уже было сказано, удостоен премии за репортажи о событиях на Мата-Гато.

Что же касается обитателей холма, то они упрямо продолжают жить как жили, несмотря ни на что. Дона Фило теперь занимается политикой, она возглавляет избирательную кампанию, агитируя за Данте. Умей она читать и писать, сама стала бы депутатом.

А как сеньор Албукерке? Неужели этот неподкупный знаток законов оказался единственным, кто проиграл? Можем сообщить хорошую весть: он тоже в некоторой степени был вознагражден. В кредитном суде штата открылась вакансия, и, хотя претендентов на это место было множество, губернатор вспомнил о бывшем начальнике полиции. Пусть в истории с Мата-Гато, в отличие от друзей народа, он вел себя как отъявленный бандит, теперь, когда все позади, было бы несправедливо забыть его. Запимая высокий пост советника кредитного суда, он ждет, что в один прекрасный день консервативные круги выдвинут его в правительство штата либо снова поручат руководить полицией. Он предпочел бы последнее, поскольку «жого до бишо» продолжало оставаться бельмом на глазу. Ходили слухи, будто губернатор и его семейство наживаются на выручке с этой азартной игры. Сеньор Албукерке, все еще носивший туго накрахмаленные воротнички, задыхался от возмущения.

Что же еще? Тело Жезуино так и не обнаружили. Находились такие, что вообще не верили в его смерть и уверяли, будто он, сменив имя, как Капрал Мартин, уехал. А через несколько месяцев, на праздничном кандомбле в поселке Ангола появился никому не знакомый кабоккло, сразу обративший внимание на Антонию да Асунсао — необыкновенно красивую мулатку, у которой еще не было святого.

Он объявил, что его зовут кабоккло Бешеный Петух, и начал танцевать. Танцевал Бешеный Петух великолепно и мог не отдыхать целую ночь. Кроме того, он лечил все болезни, решал все трудные вопросы и авторитетно судил о сердечных делах. А еще любил выпить и хорошо говорил.

Без сомнения, это был Жезуино, ибо кабоккло Бешеный Петух еще ни разу не остановил свой выбор на старой дочери святого: он выбирал только привлекательных и молодых, нисколько не смущаясь тем, что они могли быть избранницами других кабоккло. Если девушка была красива, он танцевал с ней всю ночь. Жезуино Бешеный Петух, маленький бог Баии, стал теперь божеством кабоккло.

ЛАВКА ЧУДЕС

РОМАН

Перевод
АЛЕКСАНДРА БОГДАНОВСКОГО
И ВЛАДИМИРА ФЕДОРОВА

Бразилец, баианец, бедпак.

Известен самомнением и
дерзостью.

(Из полицейского донесения
о Педро Аршанжо. 1926 год)

Иаба — это дьяволица без хвоста.

Карибе

(Сценарий кинофильма «Иаба»)

На широком просторе Пелоуриньо мужчины и женщины учатся сами, учат других. Обширен этот университет: раскинулся, расползся он по Табуану, Портас-де-Кармо, Санто-Антонио-Ален-до-Кармо, по Байша-дос-Сапате́йрос, по рынкам, по Масиелу и Лапинье, по Ларго-да-Се, Тороро, Баррокинье, Сете-Портас и Рио-Вермельо,— повсюду, где мужчины и женщины обрабатывают металл и дерево, варят травы и корни, смешивают свои шаги, ритмы своих песен, свою кровь. А из смешения этого возникают новый цвет и новый звук, рождается новая, прежде невиданная, ни на что не похожая пластика.

Там гудят барабаны атабаке и агого, там гремят бубны, погремушки и пустотелые выдолбленные тыквы-кабасы, там эти убогие инструменты исторгают прихотливые ритмы, щедрые мелодии. Там живет народ Баии, там рождается музыка, там начинается танец.

Друг, дружочек, друг, дружочек,
Друг, дружочек дорогой.

Там, рядом с церковью Розарио-дос-Претос, основал когда-то Будиан свою школу ангольской капоэйры. Сюда, в этот дом, пять окон которого всегда распахнуты на Ларго-да-Се, приходят под вечер, после работы, его ученики: они устали после трудового дня, но шутят и пересмеиваются. Под гул беримбау наносятся и отбиваются удары, проводятся приемы, их не счесть, и каждый — ужасен, каждый — неотразим: вот «мельница», вот подножка, вот подсечка, вот захват, вот зацеп, вот удар головой... Юноши ведут игру. Откуда только не вывезены эти удары, приемы и броски, — голова пойдет кругом: из Сан-Бенто Большого и Сан-Бенто Малого, из Санта-Мари и Кавалари, с Амазонки, из Анголы, а сколько еще

из других мест, боже ты мой! Здесь, в Баие, искусство ангольской капоэйры обогатилось и преобразилось: капоэйра — все еще борьба, но уже и танец.

А местре¹ Будиан легок, проворен и быстр, как дикая кошка, нет ему равных в силе и ловкости, никто не устоит против него, ничей удар его не достигнет, — так стремителен он и прыгуч. В зале показывают свое искусство и доказывают свой талант большие мастера: Боголюб, Лодочник, Шико Лом и Антонио Везунчик, Большой Захария, Пейшото Плешь, Семь Смертей, Шелкус и Кудряш, Висенте Привереда, Дюжина, Тибурсиньо, Шико Отдай, Заводила и Баррокинья, тот самый, о ком поют:

*Мальчик, кто тебя учил?
Догадайтесь сами:
Тот, кто бороды не брил,
Полицейских всюду бил
И дружил с друзьями...*

А однажды явились хореографы и обнаружили в капоэйре балетные па. За ними пришли самые разные композиторы — и хорошие люди, и подлецы, — на всех хватило нашей забавы, хватило да еще и осталось, вот оно как. Здесь, на Пелоуриньо, в этом вольном университете творит народ свое искусство. Здесь его колыбель. Здесь всю ночь напролет распевают песни...

*Ай, ай, Айде,
Научи меня игре,
Ай, ай, Айде!*

А профессора и преподаватели — в каждом доме, в каждой лавке, в каждой мастерской. В той же самой школе местре Будиана — только во внутреннем дворе — собираются и репетируют участники афоше² «Дети Баии» и других карнавальных групп, — там царство молодого Валделойра, того самого, кто не знает себе равных в устройстве карнавалов и пасторилов³. Досконально известно ему и искусство капоэйры: когда открыл он в Тороро собственную школу, то показал придуман-

¹ Местре — принятое в народе уважительное обращение к старшему и мастеру своего дела.

² Афоше — карнавальная группа.

³ Пасторил — народное представление,

ные им самим приемы и броски. А в большом патио по субботам и воскресеньям — круговая самба: тут уж на первом месте — негр Ажайи. Должность посла в афоше еще мог бы у него ospаривать Лидио Корро, но по части самбы он единственный и неоспоримый знаток. Знаток, законодатель ее ритмов, ее главный балетмейстер.

Тут же рядом пишут маслом и акварелью, рисуют цветными карандашами «чудеса». Тот, кто дал обет господу нашему, спасителю Бонфинскому, или пресвятой деве Кандейанской, или другому какому чудотворцу и получил, чего желал, — тот приходит к художнику, заказывает картину и вешает ее в церкви как безвозмездный дар. Эгих художников-самоучек зовут Жоан Дуарте, местре Лидио Лопес, местре Кейроз, Агрипиниано Баррос, Раймундо Фрага. Местре Лисидио режет по дереву гравюры, рисует картинки к разным книжечкам-брошюркам.

Здесь толкуются певцы-трубадуры, бродячие поэты, гитаристы-импровизаторы, сочинители книжонок, что набраны, сверстаны и отпечатаны в типографии Лидио Корро или в другой какой-нибудь, не менее убогой, — книжки эти идут по пятьдесят рейсов — за бесценок, и расходуется поэзия и проза по вольной земле Пелуриньо.

Вот они — поэты, памфлетисты, летописцы, моралисты. Они описывают в подробностях жизнь Баши, они перелагают в звучные вирши истории действительные и выдуманые, но и от тех, и от других у вас глаза на лоб полезут. Вот, например, «Девственница из Барбальо» или, скажем, «История принцессы Марикруз и воздушного рыцаря». Они возмущаются, они издеваются, они учат и забавляют, и удивительные порою выходят у них стихи.

А в лавке Агналдо драгоценное дерево — черное дерево, красный сандал, пероба, массарандуба, палисандр — становятся фигурами Шанго, Иеманжи, Огуна, изображениями сказочных витязей, и в могучих руках их зажатые сверкающие мечи. Могучи руки и самого местре Агналдо: когда уже устало его сердце, измученное болезнью (в те времена у рокового недуга еще не было названия, но обещал он, как и теперь, верную и мучительную смерть), руки мастера, неутомимые его руки продолжали делать богов-ориша. Эти фигуры были исполнены тайны, и казалось, что еле живой Агналдо вдохнул в них вечную жизнь. Его творения тревожат, волнуют, потому что похожи они разом и на легендарные существа, и на

всем известных людей. По какому-то случаю «отец святого», жрец из Марагожипе, заказал ему огромную фигуру Ошосси и прислал для этого ствол жакейры — шесть человек понадобилось, чтобы ствол этот поднять. Истомленный недугом, задыхающийся, Агналдо улыбнулся, когда увидал его. Ему отрадно было трудиться над такой машиной, и он вдохновенно вырезал из дерева огромного Ошосси, великого охотника, только в руки ему вложил не лук со стрелами, а ружье. Необычный получился у него Ошосси: все, конечно, признали в нем лесного царя, повелителя Кету, но в то же время он был похож и на Лукаса де Фейру, на разбойника-кангасейро, на бандита из сертана, на Безойро — Золотую Струну:

Сыну завещал Безойро
за мгновенье до конца:
«Не давай себя в обиду
и бери пример с отца».

Таким местре Агналдо увидал Ошосси, таким он его и сотворил — в кожаной шапке со звездой, в руках — ружье, за поясом — нож. Жрец отверг египетскую оскверненную, на себя не похожего бога, и много месяцев простояла она в мастерской, словно на страже, пока наконец один заезжий француз не увидел ее и не купил за хорошие деньги. Теперь, говорят, стоит Ошосси в музее, в Париже... Впрочем, мало ли что говорят на вольной земле Пеллуруньо...

А в тонких и слабых руках светлокожего мулата Марио Проэнсы жезл, цинк, медь становятся мечами Огуна, веером Иеманжи, посохом Ошала. Огромная медная Иеманжа каждому укажет мастерскую Проэнсы — «Лавку Матери Вод».

Местре Ману, угрюмый и чумазый силач, человек немногословный и суровый, ворочает в горне трезубец Эшу, оружие Огуна, тугой лук Ошосси, змею Ошумар. В пламени горна, в яростных руках кузнеца рождаются боги-ориха со всеми своими атрибутами. Руки неграмотных творцов создают искусство.

Притроившись неподалеку от Портас-до-Кармо, местре Диди возится с бисером и соломинками, с кожей и конским волосом, мастерит фетиши и амулеты. А сосед его, Деодоро, — тот, что так раскатисто хохочет, — специалист по барабанам всевозможных видов, разных народностей и племен: наго и жеже, ангола и конго, илус, любимый племенем ижеша.

А на улице Лисеу сидит словоохотливый и веселый сантейро Мигел — он лепит из глины и раскрашивает фигурки ангелов, архангелов, святых. Святые-то католические, почитаемые римской апостольской церковью — Пресвятая дева непорочного зачатия, святой Антоний, покровитель Лиссабона, архангел Гавриил, младенец Иисус, — что же связывает их с африканскими богами-ориша местре Агналдо? Что между ними общего? А общее между ними — смешанная их кровь. Вот Ошосси, вырезанный Агналдо, — вылитый наемник из сертана. А святой Георгий, сделанный Мигелом, разве не такой же кангасейро? Его шлем больше похож на кожаную шапку, а дракон напоминает не то крокодила, не то кайпору, каким показывают его на празднике богоявления.

Иногда на досуге, когда кровь играет, сантейро Мигел для собственного удовольствия вырезает фигурку нагой негритянки во всей ее непобедимой прелести и дарит друзьям. Одна такая статуэтка — ни дать ни взять Доротея: те же высокие груди, тот же гордо отставленный крутой зад, те же стройные ноги и живот, словно распустившийся цветок. Только Педро Аршанжо был бы под пару этой красавице. А вот Роза де Ошала у мастера не получилась, не удалась: «не сумел я разгадать ее тайну», как он сам говорил.

Ювелиры колдуют над благородными металлами: серебро и медь обретают надменную красоту в образе плодов, рыб, талисманов, украшений, что носят в Баие по праздникам. На Ларго-да-Се, на Байша-дос-Санпатейрос звенит золото — скоро, скоро станет оно браслетами и ожерельями. Самый славный из ювелиров — местре Луисо Рейс: отец-португалец передал ему свое искусство, но филигранным узорам он предпочел жазу, абакаши, питанги¹, шишки и фиги — амулеты всех размеров, всех видов. От матери своей, негритянки Предилеты, унаследовал он дар воображения и без усталости мастерит броши, кольца, безделушки — больших денег стоят они теперь у антикваров.

А рядом — палатки, в которых продают волшебные травы, лечат целебными настоями. Дона Аделаида Гостес, матершинница и пьяница, знает каждую травку, каждый листик, знает, пользу они принесут или вред.

¹ Жазу — плод бразильского дерева с тем же названием; абакаши — разновидность ананаса; питанга — плод дерева питангейра.

Ей ведомы целебные свойства корней, коры, кожуры: вот алуа — для печени; вот лимонная мята — чтоб унять тревогу; вот жеваная тиририка — если мучает похмелье; вот золототысячник — если почки больные; вот святая трава — от живота; вот «козлиная борода» — для того, чтобы поднялось настроение и еще кое-что. Неподдалеку торгует другая «знаменитость», донна Филомена: попросите, заплатите — и она заговорит вас от сглазу, вылечит от хронического катара, а если у пациента слабая грудь, она приготовит настой из кресса, меда, молока, лимона и бог знает каких еще снадобий, — самый страшный кашель как рукой снимет! Один врач выучился у нее кровь очищать, а потом уехал в Сан-Пауло, стал там лечить сифилис и быстро разбогател.

Ректорат этого народного университета находится в Лавке чудес, в доме № 60 по Ладейра-до-Табуан. Там сидит местре Лидио Корро, пишет «чудеса» по заказу, показывает тени волшебным фонарем, режет по дереву грубые гравюры. Может быть, там встретите вы и самого ректора, местре Педро Аршанжо? Очень может быть, что вместе с другом он склонился над старыми литерами, над капризным типографским станком. Может быть, в убогой и ветхой мастерской печатают сейчас книгу о том, как живут люди в Баие.

Совсем рядом, на Террейро Иисуса, возвышается медицинский факультет: там тоже учат лечить болезни и ухаживать за больными. И многим другим премудростям: от риторики до стихосложения. Там же выдвигаются весьма рискованные теории.

**О том, как поэт и бакалавр-социолог
Фаусто Пена получил одно поручение,
и о том, как он с ним справился**

На нижеследующих страницах читатель найдет мои исследования, касающиеся жизни и творчества Педро Аршанжо. Работа эта была мне заказана великим Джеймсом Д. Левенсоном и оплачена долларами.

Необходимо сделать несколько предварительных замечаний, потому что жизнь Педро Аршанжо от самого ее начала до конца породила огромное количество вздорных и нелепых вымыслов. Просматривая сделанные записи, я убедился, что, несмотря на все мои искренние и огромные старания — прошу читателя поверить мне! — некоторые периоды его биографии изложены противоречиво и неправдоподобно, а потому работа производит не совсем верное впечатление.

Говоря о неточностях и неопределенности, о сомнительных фактах и о заведомой лжи, я имею в виду не только биографию баиянского местре, но и всю совокупность данных о нем: от событий далекого прошлого до сегодняшних, из которых главное — сенсационная пресс-конференция Джеймса Д. Левенсона; от неслыханных кутежей по случаю пятидесятилетия Аршанжо до торжественного вечера, посвященного столетней годовщине со дня его рождения. А восстановление во всех деталях его биографии не входило в мои намерения, да этого и не требовал от меня ученый из Колумбийского университета: его интересовали только методы работы, позволившие Аршанжо создать такие живые и своеобразные произведения. Он требовал от меня лишь перечня фактов, благодаря которым смог бы лучше представить себе личность Аршанжо, написать нечто вроде предисловия к американскому изданию его трудов.

Однако не только мелкие подробности, но подчас и очень важные, необходимые для исследователя факты биографии Педро Аршанжо восстановить мне не удалось.

Я часто оказывался перед пустотой, разрывами во времени и пространстве или обнаруживал необъяснимые события, разнообразные версии, нелепые интерпретации, противоречивые свидетельства противоречивших друг другу свидетелей. Собранный материал пахнул в полнейшем беспорядке. Так, например, я не выяснил, является ли негритянка Роза де Ошала мулаткой Ризолетой, происходящей от ведьмы, или Доротеей, заключившей сделку с дьяволом. Некоторые отождествляют ее с Розендой Батиста дос Рейс, уроженкой Муритибы; иные — с прекрасной Сабиной дос Анжос, «самой красивой из всех ангелов»¹, как галантно говорил о ней Педро Аршанжо. И все же: об одной и той же бабашке идет речь или о разных? Мне это определить не удалось, и, я боюсь, не удастся никому.

Должен признаться, что в сообщениях очевидцев царит такая путаница, такая неразбериха, что у меня часто не хватало сил и терпения проверить ту или иную гипотезу, выяснить подробности, которые могли бы пролить свет на это загадочное дело. Я постоянно сталкивался с полным отсутствием достоверности и надежности, я все время натывался на «вероятно», «возможно», «скорей всего», словно эти люди видели в покойном Педро Аршанжо не человека из плоти и крови, а — судя по тому количеству подвигов, которые ему приписываются, — целую когорту героев и чудесников. Провести грань между правдой и вымыслом, между действительностью и фантазией я не смог.

Разумеется, я прочел все книги Педро Аршанжо от корки до корки; это было нетрудно: их всего-то четыре, а в самой толстой не будет и двухсот страниц (один книготорговец из Сан-Пауло собирается издать том сочинений Аршанжо, его кулинарная книга туда не войдет, потому что, в силу своей специфики, она и так будет пользоваться большим спросом). Я не стану высказывать своего мнения о творчестве Аршанжо: сегодня ему не страшна никакая критика, и никто не возьмет на себя смелость отрицать поистине всемирный успех его книг, особенно теперь, после того, как они переведены на многие языки, а Левенсон так однозначно и решительно их одобрил. Не далее как вчера я сам прочел в газете: «Аршанжо издан в Москве. «Правда» превозносит его».

¹ Здесь игра слов: анжос (anjós) — ангелы (португ.).

Я только могу присоединить свой голос к этому восторженному хору. Я бы сказал, что наслаждался этим чтением: многое из того, о чем писал Аршанжо, и поныне составляет часть нашей жизни, часть ежедневного быта нашего города. Меня очень порадовала предпоследняя из его четырех книг (говорят, что перед смертью он подготовил к печати еще одну), та самая, что принесла своему автору столько огорчений и бед, и когда я встречаю людей, кичащихся своей голубой кровью, генеалогическим древом, гербами, знатными предками, и узнаю, как их зовут, то при желании всегда нахожу их имена в списке, тщательно и дотошно составленном Аршанжо, который так страстно стремился в своем творчестве к истине.

Теперь мне остается лишь объяснить, при каких обстоятельствах познакомился я с Левенсоном и почему именно на меня пал его выбор. Имя американского ученого не нуждается ни в каких комментариях, оно известно решительно всем, и то, что именно на меня возложил он столь трудную миссию, наполняет мою душу благодарной гордостью. Хотя наше сотрудничество было непродолжительным и омрачилось некоторыми событиями, я всегда буду хранить приятные воспоминания об этом простом, веселом, сердечном и элегантном человеке, который всем своим видом опровергал затрепанный карикатуристами образ замшелого и занудливого ученого-педанта.

Я хочу воспользоваться случаем и расставить точки над «i» по поводу одного из аспектов моего сотрудничества со знаменитым профессором Колумбийского университета. Злоречивые завистники и недоброжелатели, не удовлетворившись тем, что они вторглись в мою личную жизнь, что закидали грязью — той самой грязью, в которой они привыкли всю жизнь барахтаться сами! — имя Аны Мерседес, попытались поссорить меня с левыми кругами нашего общества, утверждая, что я продал американскому империализму себя самого и светлой памяти Педро Аршанжо, продал с потрохами за пригоршню долларов.

Но скажите мне, какая связь между Левенсоном и Госдепартаментом или Пентагоном?! Никакой! Наоборот. Позицию Левенсона, его выступления против войны, его связи с движениями прогрессивного толка реакционеры и консерваторы расценивают как нечто весьма далекое от позиции правительства. Когда за значительный вклад в развитие социальных и гуманитарных наук ему была

присуждена Нобелевская премия, вся европейская пресса особо подчеркивала молодость лауреата — ему в то время еще не исполнилось сорока лет! — и независимость его политических взглядов, независимость, которая в определенных кругах навлекла на него подозрения. Впрочем, книги Левенсона, которые кто-то назвал «трагическим воплем протеста против несправедного и неправильного мира», есть везде, и каждый, прочитав их, сам может взглянуть на обширную панораму воссозданной им жизни первобытных и развивающихся народов.

Я ничем не способствовал распространению книг Аршанжо в Соединенных Штатах, но считаю это распространение победой прогресса, потому что баиянец, хоть и был анархистом без четко сформулированной программы, пользовался невиданной любовью народа, который видел в нем знамя борьбы против расизма, предрассудков, нищеты и уныния.

Левенсон получил меня, так сказать, из рук Аны Мерседес, талантливой представительницы нашей молодой поэзии — сейчас, впрочем, она полностью посвятила себя народной бразильской музыке — и корреспондентки одной из утренних газет. Левенсон на время краткого пребывания в нашем городе был поручен ее заботам, и она с таким усердием выполняла приказ своего редактора, что не расставалась с американцем ни днем ни ночью, сделавшись его гидом и переводчицей. Разумеется, ее рекомендация сыграла не последнюю роль в том, что Левенсон отдал предпочтение мне, но то, что говорят о подоплеке этой рекомендации разные мерзавцы, — бессовестная клевета: Левенсон, если уж на то пошло, смог проверить на деле, чего я стою.

Мы втроем были в Алакету на празднестве Иансан, и там я продемонстрировал американцу мои знания, образованность и степень профессиональной культуры. На смеси испанского с португальским, вставляя то и дело английские слова и прибегая к помощи Аны Мерседес, которая английским, кстати, владела не лучше меня, я объяснял Левенсону смысл церемоний, называл ему имена главных и второстепенных божеств, растолковывал ему суть движений, положений и поз, говорил о песнях и танцах, о цвете костюмов — да о чем только я не говорил! Когда я в ударе, язык у меня работает превосходно! Чего я не знал, то тут же выдумывал, потому что мне не хотелось упустить обещанные доллары. Доллары — это же не обесцененные крузейро — доллары, которые

мне были выплачены через некоторое время, в тот день, когда в холле гостиницы я распрощался — не совсем по своей воле — с Левенсоном и Анной Мерседес...

Ну вот, я все объяснил, сказать мне больше нечего. Добавлю только в заключение и не без грусти, что труд мой не был должным образом оценен великим американцем.

Как только я закончил работу, то один ее экземпляр, перепечатанный на машинке, выслал ему в соответствии с нашим договором, приложив к рукописи одну из тех двух фотографий, что мне удалось раздобыть: на выцветшем снимке можно видеть молодого, крепкого, темнокожего мулата в черном костюме, — это и был Педро Аршанжо, только что назначенный педелем медицинского факультета Баии. Другую фотографию, на которой Аршанжо, постаревший и перьяшливый, поднимает стакан с вином в компании каких-то сомнительных женщин, я решил не посылать. Снимок, по всей видимости, сделан во время попойки.

Через две недели я получил по почте письмо, подписанное секретаршей Левенсона. Она подтвердила получение моей рукописи и прислала мне чек на некую сумму в долларах — вторую половину гонорара и деньги на те расходы, которые я сделал или еще мог сделать во время моих изысканий. Выплачено мне было все до последнего цента, беспрекословно, — заплатили бы, разумеется, и больше, если бы я не был так скромен в своих притязаниях и так робок при составлении отчета о расходах.

Из всего присланного материала Левенсон, опубликовав в переводе на английский значительную часть произведений Аршанжо в одном из томов своей монументальной энциклопедии, посвященной жизни народов Африки, Азии, Латинской Америки («Encyclopedia of life in the tropical and underdeveloped countries») ¹ и подготовленной к печати крупнейшими учеными нашего времени, использовал лишь фотографию. В предисловии он ограничился разбором книг баиянца, почти не упомянув о нем самом. Впрочем, и этого было достаточно, чтобы я понял: он и не заглядывал в мою рукопись. Левенсон, к примеру, произвел Аршанжо в профессора и в члены ученого совета («distinguished Professor, member of the Feacher's Council»). Вы представляете? Я не знаю, откуда получил Левенсон эти вздорные сведения, но ведь

¹ «Жизнь в тропических и развивающихся странах» (англ.).

ему достаточно было перелистать мою рукопись, чтобы не совершить такой ошибки! Из педелей — в профессора! О, бедный мой местре! Только этого тебе и не доставало!

В книге Джеймса Д. Левенсона я не обнаружил ни ссылок на мою работу, ни упоминания моего имени и, почувствовав себя свободным от всех обязательств, охотно согласился на предложение преуспевающего книготорговца, а с недавних пор издателя с улицы Ажуда — сеньора Дмевала Шавеса, который пожелал выпустить в свет мои бесхитростные заметки. Я выдвинул единственное и неперемное условие: подписать договор по всей форме, потому что Шавес, хоть и богат, гонорары авторам выплачивает с большим скрипом. Впрочем, может быть, такова традиция издателей? Ведь и наш Аршанжо в далекие времена был жертвой некоего Бонфан-ти, книготорговца с Ларго-да-Се. Но об этом речь впереди.

О приезде в Бразилию американского ученого Джеймса Д. Левенсона и о последствиях этого приезда

1

— Ах, какой душка! — С этими словами стройная, как тропическая пальма, Ана Мерседес врезалась в толпу журналистов, профессоров, студентов, светских дам, литераторов и просто любопытствующих. Толпа, сбившись в кучу в просторном холле отеля, ожидала появления Джеймса Д. Левенсона на пресс-конференции.

Микрофоны, телекамеры, юпитеры, фотографы, операторы, лианы электропроводов — а юная корреспондентка утренней газеты «Диарио да Манья» с таким видом, словно именно ей город поручил принять и приветствовать великого человека, пробиралась вперед, посмеиваясь и вертя задом.

«Вертя задом»? Да разве может передать это неточное и грубое выражение, какплыли в ритме самбы, плавно и упруго колеблясь, груди и бедра Аны Мерседес?! Она была обольстительна, она полностью соответствовала понятию «секс-бомба»: мини-юбочка открывала смуглые точеные ноги, глаза горели, на полураскрытых, чуть припухших губах играла улыбка... А жадные зубки, а

пупок, выставленный всем напоказ? И вся она была точно из золота. Нет, она не пританцовывала на ходу: она сама была танцем, приглашением, предложением.

И вот из лифта вышел американец и остановился, разглядывая толпу и давая разглядеть себя. Метр девяносто роста, фигура атлета, грация актера, белокурые волосы, небесно-голубые глаза, трубка в зубах — вот каков был Джеймс Д. Левенсон! Кто дал бы ему сорок пять лет? Его фотографии, напечатанные на разворот в газетах Рио-де-Жанейро и Сан-Пауло, несут ответственность за то, что в холл гостиницы набилось столько женщин... Присутствующие единодушно отметили, что оригинал и сравнить нельзя с копиями. Вот это мужчина!

— Бесстыдница! — произнесла одна из них — грудь у нее была точь-в-точь как у горлицы, — это замечание относилось к Ане Мерседес.

Ученый завороченно смотрел на девушку: она решительно направлялась к нему: пупок — всем напоказ. Никто и никогда еще не видал такой танцующей походки, такого гибкого тела, такого невинного, такого лукавого лица, такую пленительную красавицу мулатку!

И она приблизилась, и стала перед Левенсоном, и сказала — не сказала, а пропела:

— Привет!

— Привет! — пророботал американец, вынул изо рта трубку и поцеловал ей руку.

Огорченные, испуганные дамы затрепетали и разом вздохнули. Проклятая Ана Мерседес! Ничтожная потаскушка, грошовая журналистка, дерьмовая поэтесса, — кто ж не знает, что стихи за нее пишет Фаусто Пена?! Быть ему рогоносцем!

«Очарование, изысканность и интеллект баиянских женщин были представлены *comme il faut*¹ на пресс-конференции гениального Левенсона. Наши красавицы играют в этнографию, наши прелестницы забавляются социологией», — так писал в своей ежедневной колонке блистательный обозреватель Силвиньо. Многие из них, кроме красоты, изящества, нарядных париков, сексуальной многоопытности, могли похвастать и другими достоинствами: у многих были дипломы об окончании курсов, организованных при туристских агентствах или театраль-

¹ Должным образом (*фр.*).

ных училищах, такие, как: «Фольклорные обычаи и костюмы», или «Традиции, история, памятники Бани», или «Конкретная поэзия», или «Религия, секс и психоанализ». Но в данный момент все они, дипломированные специалистки и дилетантки, своеправные девицы и непреклонные матроны в преддверии второй или третьей пластической операции, все, все поняли, что честная борьба исключается и все усилия бесплодны. Наглая и циничная Ана Мерседес вырвалась вперед и захватила мужественного представителя науки, объявив его частной собственностью. Ох, Ана Мерседес, хищная и ненасытная, — «ненасытная телка, звезда секса», — так назвал ее в своих стихах лирик и страдалец Фаусто Пена, — она ни с кем не поделится добычей, плакали все надежды, кончились состязания.

Рука об руку с поэтессой и журналисткой профессор Колумбийского университета прошел в центр зала, к подготовленному креслу. Вспыхнули блицы фотографов, как цветы засияли огни. Если бы в эту минуту грянул свадебный марш, то Ана Мерседес в мини-юбке и мини-блузке и Джеймс Д. Левенсон в голубом «тропикале» совсем бы стали похожи на новобрачных у алтаря. «Жених и невеста», — шепнул Силвиньо.

Они разжали руки лишь в тот миг, когда американец опустил в кресло. Ана Мерседес осталась стоять рядом, на страже, — не такая она была дура, чтобы оставить его одного среди жадной своры обезумевших от течки сук. У, кобылицы! Одна другой доступней, одна другой смешней! Знаю я вас всех! Ана Мерседес засмеялась, чтобы тем стало еще обидней. Фотографы в раже полезли на стулья, взобрались на столы, распластались на полу, отыскивая головокружительные ракурсы для съемки. По незаметному знаку управляющего официанты разнесли напитки. Пресс-конференция началась.

И вот, оставив стакан, с места поднялся, расpiraемый от важности и эрудиции, гордый и надменный редактор «Журнал да Сиаде» и литературный критик Жулио Маркос. Воцарилась почти молитвенная тишина. С того конца, где разместились дамы, долетел чей-то вздох: раз уж не достался белокурый ученый, загадочный иностранец, сидится и светлый мулат, высокомерный Маркос. От имени «Журнал да Сиаде» — и самых что ни на есть интеллектуалов — он задал первый, первый и сокрушительный вопрос:

— Не сообщит ли нам вкратце уважаемый профессор свое мнение о Маркузе¹, о его трудах и их влиянии? Не кажется ли уважаемому, что после Маркузе теории Маркса выглядят безнадежно устаревшими?

Сказав это, он обвел зал победным взглядом, покуда назначенный ректоратом переводчик — произношение безупречное, можете быть уверены! — переводил сказанное на английский, а пастырная Мариуша Паланга — три пластических операции: две — лица, одна — груди, а все под девочку играет — прошептала тихо, но отчетливо:

— Гениально!

Джеймс Д. Левенсон глубоко затапулся, с нежностью глянул на пупок Аны Мерседес, на этот исполненный глубочайшей тайны цветок, растущий только на лугах сновидений, и с той бесцеремонностью, которая так идет ученым и артистам, сказал по-испански:

— Вопрос идиотский. Только легкомысленный болтун или уж полный кретин может высказывать свое мнение о Маркузе или распространяться об актуальности марксизма на пресс-конференции. Если бы у меня было время для лекции или доклада по этому вопросу, тогда дело другое. Но времени у меня нет, и в Баию я приехал не затем, чтобы беседовать о Маркузе. Я приехал, чтобы своими глазами взглянуть на город, в котором жил и творил замечательный человек, глубокий и благородный мыслитель, выдающийся гуманист, ваш земляк Педро Аршанжо. Я здесь для этого, и только для этого.

Он выпустил новый клуб дыма, беззаботно, с типично американской приветливостью улыбнулся всей аудитории и, даже не взглянув на сраженного наповал Маркса, окутанного надменностью, точно саваном, повернулся к Ане Мерседес, оглядел ее сверху донизу — от черных распущенных волос до экстравагантно выкрашенных в белый цвет ногтей на ногах, — очевидно, с каждой минутой она все больше приходилась ему по вкусу. В одной из своих книг Аршанжо писал: «Красота женщин, простых женщин из народа, — это символ города, где живут люди со смешанной кровью, это плод любви разных рас, это ясное утро, не омраченное предрассудками».

¹ Герберт Маркузе (1898—1980) — американский социолог, философ, теоретик культуры леворадикальной ориентации.

Левенсон еще раз поглядел на пупок-цветок, на пупок-вселенную и произнес на том правильном испанском языке, какому учат в американских университетах:

— А знаете, с чем бы я сравнил творчество Педро Аршанжо? Вот с этой сеньоритой. Она просто со страниц книги мистера Аршанжо. Честное слово.

Так ясным апрельским днем пришла в Баню слава Педро Аршанжо.

2

Да, признание, известность, восхищение знатоков, слава, мировой успех, имя, склоняемое в газетах, истерические восторги обворожительных, великолепных, щедрых женщин, — все это пришло к Педро Аршанжо после смерти, когда ему уже ничего не было нужно, — ничего, даже женщин, которых при жизни он так любил и которым так умел радоваться.

Один известный журналист, подводя итоги культурной жизни страны, писал: «Этот год стал годом Педро Аршанжо». И правда, в кругу интеллектуальной элиты ни о ком не говорили больше, чем об Аршанжо, ни одну книгу не расхваливали так, как четыре его томика, спешно переизданные после десятилетий забвения, — не забвения, а незнания: ведь не только широкие круги читающей публики, но и специалисты не имели понятия о его творчестве, которое ныне вместе с его дурными привычками и благородными пороками стало достоянием гласности.

Все началось после того, как в Бразилию приехал знаменитый Джеймс Д. Левенсон, человек, которого «Британская Энциклопедия» назвала «одним из пяти гениев нашего века»: философ, математик, социолог, антрополог, этнограф и еще многое другое, профессор Колумбийского университета, лауреат Нобелевской премии в области науки и, словно всего вышеперечисленного мало, еще и гражданин Соединенных Штатов. Его взгляды произвели революцию в современной науке: этот отважный полемист изучал и объяснял историю развития человечества с самых неожиданных позиций, приходил к новым, дерзким выводам, переворачивая старые концепции и теории. Для консерваторов он был проклятый и опасный еретик; для своих учеников и сторонников —

бог; для репортеров — благословение божье, потому что Джеймс Д. не жалел слов и не прятал мнений.

В Рио-де-Жанейро он приехал по приглашению Бразильского университета прочесть на филологическом факультете курс, состоящий из пяти лекций. Как всем известно, успех был огромный: народу собралось столько, что первую лекцию, назначенную в небольшой факультетской аудитории, пришлось перенести в актовЫй зал ректората, и все равно слушатели толпились на лестницах и в коридорах. Журналам и газетам, репортерам и фотографам крупно повезло: Левенсон был столь же фотогеничен, сколь гениален.

Его лекции, после которых задавались вопросы и затевались яростные споры, принимавшие порой очень острый характер, послужили поводом для студенческих манифестаций: молодежь выражала восхищение Левенсону и ненависть диктатуре. Не раз и не два студенты, вскочив со своих мест, устраивали ему долгие бешеные овации. Некоторые его фразы особенно пришлись по душе слушателям и облетели страну из конца в конец: «Десять лет непрерывных международных конференций значат больше, а стоят меньше, чем один день войны...», «Все тюрьмы и полицейские одинаковы и одинаково отвратительны при всех режимах — всех без исключения...», «Мир можно будет назвать цивилизованным, когда мундир станет музейным экспонатом...».

Левенсон, облаченный в купальные трусики, окруженный фотографами и кинозвездами, каждое утро проводил на пляже.

Он систематически отклонял приглашения академий, институтов, ассоциаций, научных обществ и профессоров, — всем этим он был по горло сыт в Нью-Йорке, а когда еще доведется ему снова радоваться бразильскому солнцу?.. Он даже играл на пляже в футбол — его сфотографировали в тот миг, когда он метким ударом отправил мяч в ворота, — однако самый большой спортивный интерес великий ученый испытывал к женщинам. На пляже и в ночных клубах он уже познакомился с великолепными представительницами нашей бразильской нации.

Джеймс Д. только недавно развелся, а потому занимавшиеся светской хроникой журналисты без устали подсчитывали его победы и угадывали его будущую жену. Некий полоумный борзописец, который специализировался на скандалах, предрекал гибель одной семьи,

принадлежавшей к высшему обществу, но ошибся: польщенный муж сделался ближайшим другом американского мудреца-жеребца. И хроникер Зул опроверг этот мрачный прогноз: «...вчера на пляже Копакабана Кэти Сикейра Прадо в бикини, купленном в Каннах, нежно взирала на своего мужа Беби и великого Джеймса Д., которые в последнее время стали неразлучны». Популярный журнал поместил на обложке фотоснимок, запечатлевший мускулы Нобелевского лауреата рядом с соблазнительными формами Нади Силвии, актрисы большого дарования, которое ей по непонятной причине пока не удалось проявить ни на сцене, ни на экране. Сама же Надя, отвечая на вопросы репортера, хохотала и ни в чем не призналась, но ни романа, ни страсти отрицать не стала. «Левенсон — шестая мировая знаменитость, потерявшая голову из-за Нади Силвии», — объявил еженедельник совершенно серьезно и тут же привел список пяти предшественников Джеймса Д.: Джон Кеннеди, Ричард Бартон, Ага-Хан, швейцарский банкир и английский лорд — все это не считая одной мужеподобной итальянки, графини-миллионерши.

«Гениальный Левенсон, влюбленный в обворожительную Элену фон Клостер, снова посетил вчера дансинг ресторана «Ле Бато», — писал Гиза в «Хроника да Нойте». «Великий ученый освоил самбу и отныне не признает иных ритмов», — сообщал в восемнадцати газетах и по всем каналам телевидения Роберт Сабад, информируя бразильский народ о том, что великолепная Бранкинья до Вал-Бюрнье, владелица отеля «с лучшими в мире номерами и кухней», сказала: «Если бы Джеймс не был Нобелевским лауреатом, он мог бы зарабатывать на жизнь как профессиональный танцовщик». Словом, газеты и журналы не могли пожаловаться на американца, — его хватило на всех.

Однако ни одна сенсация не могла сравниться с той, что, подобно бомбе, взорвалась в аэропорту Рио перед отлетом Левенсона в Баию. Впрочем, о Педро Аршанжо американец сказал несколько слов сразу же по прилете из Нью-Йорка. «Я счастлив, — заявил он, — что нахожусь на родине Педро Аршанжо». Тогда репортеры то ли не поняли этой фразы, то ли не придали ей значения. Но теперь, когда Нобелевский лауреат в день отлета, смешавшего все карты репортерам, заявил, что два дня из своего краткого пребывания в Бразилии он оставляет для путешествия в Салвадор, чтобы «увидеть город и людей,

послуживших объектами исследования блистательному Педро Аршанжо, в книгах которого сама наука поэтична, человеку, который так высоко поднял бразильскую культуру», начался настоящий переполох.

«Да кто такой этот Педро Аршанжо?! Мы о таком и не слыхали!» — поразевали рты журналисты. Один из них, желая поймать Левенсона в ловушку, осведомился, каким образом узнал американец об этом бразильском писателе. «Я прочел его книги, — отвечал Джеймс Д., — я прочел его бессмертные книги».

Этот провокационный вопрос задал Апио Коррейя, заведующий отделом науки, литературы и искусства одной из утренних газет, человек начитанный, напористый и нахальный. Получив ответ, он не перестал блефовать и сказал, что ему ничего не известно о переводе сочинений Аршанжо на английский.

«Я прочел эти книги не по-английски, — сообщил ему неумолимый американец, — а по-португальски», и добавил, что смог сделать это, несмотря на скудное знание нашего языка, потому что владеет испанским и латынью. «Это было нетрудно», — заявил он и добавил, что обнаружил труды Аршанжо в библиотеке Колумбийского университета, когда собирал материал о народах тропических стран. Теперь же он намеревается перевести и издать в США «книги вашего великого соотечественника».

«Надо действовать!» — сообразил Апио Коррейя, бросаясь на поиски такси, которое вскоре доставило его в Национальную библиотеку.

Журналистам пришлось попотеть, прежде чем они узнали о существовании профессора Рамоса и выяснили, где находится этот человек, удостоенный многих ученых степеней и почетных званий; особая же заслуга профессора Рамоса заключалась в том, что он знал произведения Аршанжо и превозносил их в своих статьях, — только, к сожалению, статьи эти печатались в специальных журналах, выходящих ничтожными тиражами, и никем почти не читались.

«Я уже много лет, — сообщил журналистам профессор, — хожу, как на Голгофу, от издателя к издателю и предлагаю переиздать книги Аршанжо. Я написал предисловия, я подготовил подстрочные примечания, я составил комментарии, но никто не проявил интереса. Я был у профессора Вианы, декана философского факультета, чтобы через его посредство заинтересовать университет в этих публикациях. Профессор Виана ответил мне, что я

«напрасно теряю время, возясь с глупостями негра-алкоголика, алкоголика и смутьяна». Может быть, теперь, когда Левенсон отдал должное книгам Аршанжо, у нас поймут наконец огромную важность этих произведений. Замечу, впрочем, что труды самого Левенсона совершенно неизвестны в Бразилии, и все эти шарлатаны, трубящие ему славу, даже не заглядывали в них и не знакомы с самыми фундаментальными его работами, не понимают сущности его мировоззрения».

Интервью, как можно заметить, получилось довольно печальное, но признаем, что для грусти есть все основания: столько лет бороться за место под солнцем для бедного Аршанжо и ничего не добиться, выслушивать отказы издателей, сносить угрозы и нелепости Вианы... И вот приезжает иностранец, дает одно-единственное интервью — и пожалуйста: газетчики сбились с ног, а вся интеллектуальная братия, интеллигенты всех мастей, направлений, убеждений, темпераментов рыщут в поисках книг Аршанжо, вынюхивают тех, кто знал никому не известного баианца, — как же иначе: ведь Педро Аршанжо вошел в моду, тот, кто не знаком с его творчеством, кто не упоминает его работ, не может считаться ни современным, ни передовым человеком...

Статья Апио Коррейи «Педро Аршанжо, поэт этнографии», напечатанная три недели спустя, произвела настоящую сенсацию. Самое в ней любопытное — это блистательная версия диалога, состоявшегося в аэропорту, диалога между Левенсоном и эрудитом Коррейей, причем оба собеседника выказали глубокое знание работ Аршанжо. И совершенно естественно, что знания критика были обширнее и приобрел он их много раньше Левенсона, ведь речь шла о бразильце.

3

А на родине Аршанжо, в Баие, ставшей предметом и стимулом его исследований, источником его наблюдений, основой его трудов, пошла такая свистопляска, какой не было нигде.

Здесь имя ученого, которого столь высоко оценил Левенсон, знали все-таки лучше, чем в Рио и в Сан-Пауло. Стоит напомнить, что в Сан-Пауло журналисты с большим трудом отыскивали одно-единственное, хотя и чрезвычайно важное упоминание об Аршанжо: то была статья

Сержио Милье, написанная в 1929 году для сборника «Штат Сан-Пауло». Тепло отозвавшись о книге Аршанжо («Баиянская кухня — ее истоки и рецепты»), воздав ей щедрые хвалы, великий критик-модернист увидел в ее авторе «самого крупного и истинного лидера антропофагии — революционного и дискуссионного направления в науке, недавно созданного Освалдо де Андраде и Раулом Боппом»¹. «Прекрасная книжка» и по своему содержанию, и по языку, которым она была написана, казалась ему «превосходным образцом настоящего очерка по антропофагии». В конце статьи Милье сожалел о том, что не читал предыдущих работ такого знающего автора, который намного обогнал антропофагов Сан-Пауло, хотя о них даже не слышал.

В Баие, по сообщениям газет, отыскиались люди, лично знавшие Педро Аршанжо и общавшиеся с ним. Таковых, впрочем, нашлось немного, и в их рассказы мало кто поверил. Труды же Педро Аршанжо — четыре маленьких томика, описывающих жизнь народа Баии, выпущенные в свет с огромным трудом, мизерными тиражами отпечатанные на ручном типографском станке в мастерской его друга Лидио Корро на Ладейра-до-Табуан, достоинства которых привели в такой восторг американского ученого, были так же неизвестны в Баие, как и во всей стране.

Если бы Аршанжо не рассылал экземпляры своих книг в ассоциации, университеты, национальные и иностранные библиотеки, никто никогда не заговорил бы о них, потому что Левенсон их бы не обнаружил. В Салвадоре об этих книгах знало только несколько этнографов и антропологов, да и то понаслышке.

А теперь спохватились не только журналисты, но и власти, и университет, и интеллектуалы, и Академия наук, и медицинский факультет, и поэты, и профессора, и студенты, и ученики театральных школ, и вся многочисленная фаланга антропологов и этнографов, и свора туристских агентов, и Центр по изучению фольклора, и прочие бездельники, — все вдруг поняли, что среди нас жил великий человек, замечательный писатель, о котором мы словом не обмолвились, обрекая его на полную и безнадежную безвестность. Вот тогда и началась сумятица вокруг Аршанжо и его произведений. Сколько было

¹ Жозе Освалдо де Андраде (1890—1954) и Раул Бопп (1898) — бразильские писатели-модернисты.

истрачено чернил, изведено бумаги, израсходовано газетных полос, чтобы изучить и расхвалить, прочитать и разобрать, проанализировать и прокомментировать несправедливо забытые страницы. Нужно было нагнуть упущенное, исправить ошибку, заставить забыть о многолетнем молчании.

И книги Аршанжо получили наконец признание, на которое имели бесспорное право, и среди статей разнообразных негодяев, использовавших удобный момент для собственной выгоды, стали появляться серьезные работы, достойные памяти того, кто писал, не заботясь ни о славе, ни о доходах. Некоторые свидетельства современников, людей, знавших Аршанжо лично, прозвучали взволнованно и искренне; обнаружился подлинный облик этого человека. Оказывается, Аршанжо не так уж далек от нас, как предполагали первоначально: он скончался в 1943 году, всего двадцать пять лет назад, в возрасте семидесяти пяти лет, при следующих примечательных обстоятельствах: глубокой ночью его труп был обнаружен в канаве. В карманах не нашли никаких документов и вообще ничего, кроме блокнота и огрызка карандаша. Впрочем, зачем были ему нужны документы? Он жил в бедном и грязном квартале старого города, и там все его знали и уважали.

О смерти Педро Аршанжо Ожубы и о его похоронах на кладбище Кинтас

1

Вверх по улице ковыляет старик, держась за стены убогих домишек. Любой встречный решил бы, особенно узнав старика, что тот пьян. Тьма стоит непроглядная, ни один фонарь не горит, ни одна полоска света не пробивается из-за ставен: война, немецкие субмарины шныряют у берегов Бразилии, топят мирные пароходы, и грузовые, и пассажирские...

Старик чувствует, как все острее становится боль в груди, и пытается прибавить шаг. Дойти бы домой, зажечь лампочку, записать в тетрадку обрывок разговора, меткое словцо, — память уже не та: раньше, бывало, без всяких записей годами держал в голове разговоры, лица, события во всех подробностях... Вот запишет про спор, тогда и отдохнет, а боль пройдет, как пришла, так

и ушла, — не в первый раз, хотя так сильно, по правде говоря, никогда еще не схватывало. Ох, пожить бы еще немного, хоть несколько месяцев, окончить бы записи, разложить все по порядку и отдать рукопись этому милому пареньку-типографщику. Хоть несколько бы месяцев...

Старик ощупывает стенку, оглядывается вокруг — совсем плохо стало с глазами, а на очки денег нет, и на рюмку кашасы тоже нет. Он сгибается вдвое от боли, прижимается к стене. До дома недалеко, еще несколько кварталов пройти — и вот она, его комнатенка в заведении Эстер. Он придет, зажжет лампочку, запишет мелким почерком... Ох, только бы отпустило!.. Вдруг вспоминается ему, как умер кум его, Лидио Корро: уронил голову па картину, изображавшую очередное «чудо», и струйка крови потекла изо рта. Сколько дел переделали они вместе, сколько побегали вверх-вниз по крутым этим улочкам, сколько мулаток перецеловали, перещупали в подворотнях. Сколько лет прошло, как Лидио умер? Пятнадцать? Больше? Восемнадцать? Двадцать? Да, память стала никуда не годная, а вот слова кузнеца засели в голове, ничего из сказанного он не забыл. Старик хочет повторить фразу, прислоняется к стенке, нельзя это забыть, записать надо, записать... Еще два квартала, несколько сот метров... С трудом проборматывает он слова кузнеца — как он двинул, договорив, кулаком по столу, словно точку поставил, а черный кулачище — что твоя кувалда...

Старик ходил послушать радио, иностранные передачи — Би-би-си, центральное радио Москвы, «Голос Америки»: приятель его, турок Малуф, завел себе такой приемник, что весь мир ловит. Сегодня новости были хорошие: «арийцам», кажется, изрядно намяли бока. Весь мир кроет немцев, клянет немецких фашистов, говорит о немецких зверствах, а он называет их только арийцами. Ох, арийцы — убийцы евреев, негров, арабов. А он знал и замечательных немцев — вот, скажем, сеу Гильерме Кнодлер... Был женат на негритянке, прижил с нею восьмерых детей... Пришли к нему однажды, стали говорить о чистоте расы, об арийской крови, а он расстегнул штаны и отвечает, что, мол, скорей даст себя оскотить, чем бросит свою негритянку...

Когда Малуф, чтобы отметить победы, поставил всем присутствующим по стаканчику, вышел спор: вот если Гитлер выиграет войну, сможет ли он, покончив со всеми остальными, перебить тех, кто не чистокровный белый?

Судили, рядили — «сможет, не сможет», а кузнец ска- зал, как отрезал: «Даже господь бог, что нас создал, не может убить всех сразу, а забирает нас по одно- му, и чем больше народу он убивает, тем больше рожда- ется. Так и будет во веки веков: люди будут рождаться, и рожать детей, и смешивать кровь, и никакой сукин сын ничего с этим не поделает!» — и трахнул кулаком по стойке, опрокинув стакан. Спасибо, турок Малуф, душа- человек, перед закрытием снова пустил бутылку вкру- говую.

Старик ковыляет дальше, повторяя про себя слова кузнеца: «...будут рождаться, и рожать детей, и смеши- вать кровь, и чем больше рас смешается, тем лучше». Старик даже пробует улыбнуться, хотя боль, как тяжкий крест, давит на него, пригибает к земле. А улыбнулся он потому, что вспомнил внучку Розы: до чего же похожа на бабушку — и совсем другая... Старик вспоминает, ка- кие голубые у нее глаза, какая смуглая кожа, какие шел- ковистые волосы, какая она стройная и статная. Много рас смешали свою кровь, вот и получилась совершенная красота. Ах, Роза, Роза, Роза де Опала, роковая его лю- бовь! Скольких любил он в своей жизни, сколько жен- щин у него было, а ни с кем Розу не сравнить!.. Как он страдал по ней — и не расскажешь! Каких только глупо- стей не творил, каких нелепостей не делал, хотел уме- реть, хотел убить...

Все бы на свете отдал он, чтобы еще хоть раз увидеть внучку Розы — услышать смех Розы, увидеть гордую стать Розы и — голубые глаза. В кого же это у нее голу- бые глаза? Хотелось бы и друзей повидать, и сходить на террейро восславить святого, спеть и сплясать, съесть ку- риный шин-шин и рыбную мокеку, посидеть за столом с Эстер и ее девицами. Нет, не хочется умирать! Зачем умирать?! Незачем! Как же это сказал кузнец?.. Запи- сать, записать надо было, чтоб не забыть, а он забыл... И книга — на середине, надо ж докончить, отобрать исто- рии, происшествия, меткие слова... Надо еще рассказать про коварную иабу, что задумала наказать одного бабни- ка, а тот влюбил ее в себя, и стала она в его руках по- слушной, как воск... Кто же знает об этом удивительном случае больше, чем он? Ах, Доротей! Ах, Тадеу!

А боль разрывает его тело, раздирает грудь надвое. Значит, не дойти ему до заведения Эстер, и пропали кра- сивые, верные слова кузнеца, прощай, внучка Розы, не увижу я тебя.

Он падает на мостовую и медленно скатывается в канаву.

Тело его, укутанное одною лишь тьмою, долго лежало там, но потом проклюнулась заря и одела старика светом.

2

Сантейро, едва держась на ногах, указал на распротертое тело, засмеялся и сделал такое заявление:

— Нашего поля ягода! Только накачался сильнее, чем мы трое, вместе взяты! С копыт долой! А переблевался небось!.. — И он снова хихикнул и покачнулся, словно хотел сделать какой-то цирковой пируэт.

Но майор Дамиан де Соуза — то ли выпил меньше, то ли со смертью общался больше: ведь был он ходатаем по делам, адвокатом без диплома, трупы видел каждый день и к моргу привык — усомнился, подошел поближе, увидел кровь, дотронулся носком ботинка до засаленного пиджака и сказал:

— Готов! Мертвей не бывает. А ну, берись!

«А вот интересно, сколько майор должен выжрать, чтобы опьянеть?» — спрашивает себя сантейро. Этот вопрос не дает покоя всем здешним пьяницам, униженным и сбитым с толку этой непостижимой, необъяснимой загадкой. До сих пор пока что никаких запасов спиртного не хватало, а Мане Лима считает, что майор запросто может опустошить весь мировой винный погреб и все равно будет как стеклышко.

Спотыкаясь и посмеиваясь, бредут сантейро и Мане Лима на помощь майору, и втроем переворачивают они труп. Но майор уже понял, кто перед ним, понял еще до того, как заглянул покойнику в лицо: пиджак, что ли, показался ему знакомым... И Мане Лима, потеряв сначала от изумления дар речи, приходит в себя и вопит:

— Это же Педро Аршанжо!

Но майор Дамиан де Соуза на ногах стоит твердо, и разве только мрачнеет его медное лицо. Он не ошибся: это Педро Аршанжо, и майор, у которого за плечами сорок девять с толком прожитых лет, вдруг снова чувствует себя сиротой, словно остался на свете один-одинешенек, без отца, без матери. Это Педро Аршанжо — вот несчастье! Почему же его было им суждено вытащить из канавы, а не кого-нибудь другого, — лучше, конечно,

незнакомое... Сколько сволочи ходит по свету, сколько дерьма живет-поживает, а старик Аршанжо умер, и как умер: ночью, посреди улицы, никому ничего не сказав... Что ж это такое?!

— Ай, беда, ай, беда! — Вся выпитая кашаса бросилась сантейро в ноги, и он, обессилев и онемев, садится вдруг на мостовую. Сил у него хватает для того лишь, чтобы поднять из лужи руку покойного, стиснуть ее в ладонях.

Раз в неделю, по средам, — светит ли солнце или льет дождь, — непременно появлялся Аршанжо в его лавчонке, где продаются фигуры святых. Сначала отправлялись они выпить ледяного пива в баре Осмарио, потом — на кандомбле в «Белом доме». Неспешный разговор о всякой всячине, тихий разговор, а начинался он каждый раз с одного и того же:

— Ну, милый, расскажи, что слышно!

— Ничего не слышно, местре Педро, ничего нового.

— Так я тебе и поверил! Каждую минуту в мире что-нибудь да происходит: от одного засмеешься, от другого — заплачешь. Много дивного происходит в мире. Развяжи язык, дружище, — язык человеку дан для разговоров.

Откуда взялся у него этот дар отмыкать уста людские? Почему открывали ему люди душу? Даже строгие и ревнивые жрицы — тетушка Сеньора, дона Менининья, матушка Маси — уж на что высоко себя ставили, но и у них не было секретов от старика: попросит — все расскажут. Впрочем, так и богами велено: «Да не будет дверей, закрытых от Ожуобы!» А теперь Ожуоба, око Шанго, валяется мертвый на мостовой.

Вот и кончилось наше с вами пиво, местре Аршанжо, не будет больше тех трех-четырех бутылок, что пили мы по средам. Одну неделю платил сантейро, другую — старик, хотя у него в последнее время гроша ломаного не было... Но зато как бывал он горд и счастлив, если в кармане у него брэнчала медь, — с силой стучал он тогда по столу, подзывая официанта:

— Неси, милый, счет...

— Поберегите денежки, местре Аршанжо, позвольте я заплачу.

— Чем же это я тебя обидел, что лишился твоего уважения, а? Когда у меня нет денег — платишь ты, а я сижу помалкиваю, потому что от слов денег не прибавит. Но сегодня я — богач! Отчего бы мне не уплатить?

Не лишай меня ни долга моего, ни права! Не сбивай цену старому Аршанжо, оставь его таким, каков он есть!

Так он говорил обычно, и, смеясь, скалил белые зубы — до старости сохранил он все зубы, — и грыз тростник, и жевал вяленое мясо:

— Я ведь их не украл, а честно заработал!

В последние годы он прислуживал в борделе, но всегда был весел и всем доволен, — никто и не догадывался, в какой жестокой нужде он оказался, как трудно ему приходится, как тяжко он бедствует... В последнюю среду был он сам не свой от радости: в заведении Эстер судьба свела его с юным студентом, совладельцем типографии, и тот пожелал напечатать его последнюю книгу: студент прочитал предыдущие и заявлял во всеуслышание, что Аршанжо — гений, разоблачивший всю банду факультетских шарлатанов.

Когда наступал вечер и на небе появлялись звезды, а с моря дул ветерок, местре Аршанжо, сидя в трамвае, идущем на Рио-Вермелье-да-Байша, где на холме стоит «Белый дом», рассказывал о своей новой книге, и глаза его блестели плутовски и лукаво. Сколько всякой всячины услышал он и записал в свою тетрадку, сколько народной мудрости собрал для последней книги.

— Ты и представить себе не можешь, чего только не наслушался я в публичном доме! Скажу тебе, что для философа нет места лучше, чем рядом с гулящими девицами!

— Вы философ и есть, местре Аршанжо, самый доподлинный философ из всех, кого я встречал. Никто другой не сумел бы так философски относиться к жизни.

Каждую среду они обязательно шли на кандомбле в честь Шанго. Тетушка Маси клала к алтарю жертвы, стучали барабаны, пели жрицы — «посвященные». А потом все усаживались за большой стол, и приходил черед каруру и абара, акараже или жаркому из черепахи. Местре Аршанжо понимал толк в еде и выпивке. И всю ночь напролет текла веселая, согретая теплом дружбы, сердечная беседа, и одна привилегия была у бедняков Баии — слушать местре Аршанжо.

Вот и кончилась книга, допита кашаса, и не ездить нам больше на трамвае, когда все вокруг словно заново открывалось. Старик знал каждую пядь дороги, старик тысячу лет был знаком с деревьями и домами, с их прошлым и настоящим — чьи были они раньше и чьи теперь; старик помнил сына, и отца, и отца его отца, и отца его

деда и мог сказать, кто и с кем смешал свою кровь. Он знал и негра, рабом вывезенного из Африки, и португальца, по королевскому указу высланного из столицы, и крещеного иудея, «нового христианина», сбежавшего от инквизиции. Никто больше ничего не узнает от него, не услышит ни смеха Аршанжо, ни шуток. Закрылись навеки глаза, которыми смотрел на мир бог Шанго, и путь Ожуобе лежит теперь на кладбище... И навзрыд, опустошенный и осиротевший, плачет сантейро.

А майор не пьян, а раз не пьян, то плакать не может: слезы легко льются у него в суде или на поминках, когда надо растрогать слушателей, расположить их к себе. Но теперь, когда настоящая боль гложет его изнутри, по его лицу об этом не скажешь.

Мане Лима оповестил весь свет о смерти старика, став посреди Пелоруиньо — нет для глашатая места лучше, — но в глухой предрассветный час только огромные мыши и тощий щенок услышали его.

Майор отрывает взгляд от страшной картины и спешит прочь, к заведению Эстер, и плечи его гнутся под тяжким грузом черной вести. Эстер даст ему выпить, ему так это сейчас нужно!

3

И внезапно ожил Табуан. Со всех сторон — с Ларго-да-Се, с Байша-дос-Сапатеiros, с Кармо — стали появляться торопливые, взволнованные мужчины и женщины. Но встревожило их не известие о смерти Педро Аршанжо, ученого и автора книг о смешении рас, хоть, может быть, цены нет этим книгам, — спешили они, прослышав о том, что скончался Ожуоба, око Шанго, отец здешнего народа. Весть о смерти его передавалась из уст в уста, из дома в дом, разносилась по улицам и переулкам, взлетала по лестницам, спускалась по тупикам и в час, когда пошли первые трамваи и автобусы, достигла Ларго-да-Се.

Плакали и вопили женщины, которых настигла она во сне или в объятиях поздних клиентов. Труженики, живущие по расписанию, и беззаботные бродяги, не замечающие времени, пьяницы и нищие, обитатели подвалов и грязных чердаков, битком забитых бедным людом, бродячие торговцы-арабы, старики и молодежь, члены секты и продавцы всякой всячины с Террейро Иисуса,

помовик со своей телегой и Эстер в кимоно на голое тело — любуйся, кто хочет. Никто, однако, не использовал такую возможность, потому что она рвала на себе волосы, и била себя в грудь, и голосила:

— Ай, Аршанжо, отчего ж ты не сказал мне, что болел?! Откуда же мне было знать?! Что же нам теперь делать без тебя, без Ожуобы?! Твоими глазами мы смотрели, твоими устами говорили, твоей головой думали! Ты был нашей храбростью, нашим разумением! Ты знал про вчера и про завтра! Кто тебя заменит?! Ай, Аршанжо!

В самом деле, — кто? В этот час ужаса увидали люди смерть во всей ее наготе и нищете, и нечем им было утешиться. Лежал в канаве мертвый Педро Аршанжо Ожуоба, и он еще не успел стать воспоминанием, а просто был покойником, мертвецом — и все.

Распахнулись двери и окна, пришел из церкви пономарь с зажженной свечой. Плача, обнялись они с Эстер. Вокруг собралась толпа, а рядом с телом стал солдат военной полиции; был он при исполнении служебных обязанностей и вооружен. Эстер присела на мостовую возле сантейро, положила голову Аршанжо себе на колени, отерла краешком кимоно кровь с его губ. Майор, стараясь не смотреть на ее голые груди, — неподходящее для этого было время — интересно, что бы ты, Аршанжо, сказал насчет неподходящего времени, ты, который всегда твердил, что «всякое время хорошо для утех плоти»? — сказал ей:

— Эстер, давай перенесем его к тебе.

— Ко мне? — Эстер перестала рыдать и взглянула на майора, словно впервые видела его. — Совсем спятил? Ты что, не понимаешь, что это невозможно? Как же мы Ожуобу станем выносить из борделя? Ожуобу! Ведь это не проститутка, не мышиный жеребчик какой-нибудь!

— Да не в выносе дело! Переодеть-то его надо? Нельзя хоронить человека в таких грязных штанах, в таком изгвазданном пиджачишке!

— И без галстука! — встала Розалия, самая старая из девиц Эстер: в прежние времена Аршанжо крутил с ней любовь. — Он, бывало, никогда не приходил на праздник без галстука...

— А другой одежды у него нет.

— Это ничего! Я дам свой синий кашемировый костюм! Я его сшил себе на свадьбу, он совсем еще как

новый! — закричал Жоан дос Празерес, столяр-искусник, живший поблизости, и отправился за костюмом.

— А потом куда мы его перенесем? — спросила Розалия.

— Ох, да не спрашивай ты меня ни о чем, бога ради! Не могу я сейчас ничего решать! Спроси майора! А меня оставьте! Дайте мне побыть со стариком! — рывкнула Эстер. Голова Аршанжо лежала на ее теплой груди.

Майор пребывал в растерянности. И правда, куда его потом? А-а, чего там голову ломать, прежде всего надо унести Аршанжо с середины улицы, а дальше видно будет... Тут пономарь церкви Розарио-дос-Претос, старый приятель и неизменный собутыльник Аршанжо, вспомнил, что усопший был достойным членом Братства страстей господних, и, значит, ему полагается бдение в храме, отпевание, заупокойная месса на седьмой день и вечный покой в земле кладбища Кинтас.

— Пошли, если так! — приказал майор.

Хотели было приподнять тело Аршанжо, но внезапно вмешался солдат: к трупу не прикасаться, пока не придет полиция и врач. Солдатик был молоденький, совсем еще мальчик; на него напялили мундир, нацепили оружие, накачали приказами, как касторкой, — вот теперь он и власть, и сила, дерьмо такое!

— Не трогать труп!

Майор оценил солдата и ситуацию. Новобранец, деревенщина, помешан на дисциплине, с таким трудно сладить. Но майор решил попробовать:

— Ты, парень, здешний? Или из сертана? Ты знаешь, кто это лежит, а? Не знаешь? Так я тебе скажу...

— Не знаю и знать не хочу. До прихода полиции труп не трогать.

Тут майор взбеленился. Не бывать тому, чтоб Педро Аршанжо валялся на мостовой, словно преступник какой, чтоб нельзя было устроить бдение над его телом!

— Тронем, и сию же минуту!

Не за красивые глаза прозвали майора Дамиана де Соузу народным адвокатом, — немало было для того серьезных оснований. Всем известны его заслуги. А еще раньше присвоили ему чин майора, хоть и не было у него ни погона, ни батальона, ни мундира, ни командира, не говоря уж о подчиненных... Славный получился майор...

И вот он взобрался на ступеньку и, дрогнув голосом, с негодованием начал:

— Неужели же ты, народ баианский, допустишь, чтоб тело Педро Аршанжо, тело нашего Ожуобы, осталось лежать на мостовой, в водосточной канаве, в грязи, которую словно бы не замечает префект?! Неужели лежать ему здесь, пока не придет полицейский врач?! Доколе же? До полудня? До вечера? О ты, благородный народ Баии, ты, что вышвырнул вон голландцев и наголову разбил негодяев лузитан, неужели допустишь ты, чтоб тело отца нашего, Ожуобы, сгнило здесь, на улице, среди нечистот и отбросов?! О, славные баианцы!

Славные баианцы — человек, наверно, тридцать, не считая тех, что подходили с обеих сторон Ладейра-до-Табуан,— взревели. Взметнулись кулаки. Женщины, голоса, двинулись на отважного солдата. Момент был напряженный и опасный: солдатик, как и предполагал майор, собирался стоять насмерть. Запоренный и тупой, он был непоколебим, во-первых, по молодости лет, а во-вторых, оттого, что не мог допустить поругания власти. Он обнажил саблю: «Убью, кто сунется!» Соваться пошла Эстер.

Но тут раздалась мирная трель свистка — то ночной сторож Эвералдо Потаскун возвращался домой, исполнив свой долг и выпив пару рюмок: что за столпотворение в такую рань? Он увидел солдата с саблей в руке и расхристанную Эстер. «Девки, должно быть, подрались», — подумал он, но Эстер всегда пользовалась его благосклонностью.

— Смирно! — гаркнул он.

Итак, нашла коса на камень: сошлись два представителя власти: ночной сторож Эвералдо Потаскун со своим свистком, который за километр предупреждает грабителя об опасности, ночной сторож — последний человек в мире носящий мундир, — вооруженный хитростью, изворотливостью и смекалкой, и солдат военной полиции, самый настоящий солдат: у него и сабля, и револьвер, и уставы; он жесток и груб.

Тут Эвералдо заметил тело Аршанжо:

— А он что тут делает? Надрался, что ли?

— Да нет, не надрался...

Майор стал объяснять ситуацию: они обнаружили мертвого местре, а эта дубина не разрешает перенести покойника в дом Эстер. Эвералдо по прозвищу Потаскун, как человек служивый, мигом решил проблему.

— Солдат,— сказал он,— ты отвали отсюда поскорей! Голова у тебя на плечах есть? Тебе майор приказывает, а ты не подчиняешься!

— Какой майор! Кто тут майор?

— Вот он — перед тобой! Майор Дамиан де Соуза! Неужто не слышал про него?

Кто ж не слышал про майора Дамиана де Соузу?! Даже юный новобранец ежедневно слышал это имя в казарме.

— Так это майор? Чего ж вы сразу не сказали?!

Солдат разом потерял свою твердокаменность — единственное и убогое оружие, стал благоразумен, первым кинулся выполнять приказы майора. Тело Аршанжо положили на телегу, и все двинулись к дому Эстер.

Местре Педро Аршанжо был доволен своей жизнью, — теперь он был бы доволен и своей смертью. Вся эта похоронная процессия — покойник на открытой телеге, запряженной осликом с бубенцами на шее, толпа пьяниц, полуночников, проституток, приятелей, возглавляемая ночным сторожем Эвералдо, который пускал трели своим свистком, и замыкаемая солдатом, который шел церемониальным маршем, — все это короткое путешествие казалось собственной его выдумкой, историей, записанной в его тетрадке, рассказанной для увеселения гостей, что собрались за пиршественным столом, в среду, в день Шанго.

4

Деньги на похороны собрали главным образом гулящие девицы — деньги на гроб, автобус, свечи и цветы.

Розалия, в качестве бывшей возлюбленной усопшего, оделась в траур, набросила черную шаль на негустую, перекистью вытравленную гривку и отправилась по Пеллуруиньо собирать доброхотные даяния, и никто ей не отказал. Никто — даже известный скряга Маркес, который в жизни никого не ссудил деньгами на рюмочку кашасы, и тот внес свою лепту и сочувственно отозвался о покойном.

Но делились с Розалией не только деньгами: везде выслушивала она воспоминания, истории, случаи, приключения, — всюду оставил Педро Аршанжо память о себе, след своего присутствия. Маленькая, рахитичная Кики — ей едва исполнилось пятнадцать лет — лакомый

кусочек, приберегаемый для почтенных завсегдатаев борделя Деде, — тараща огромные глаза, заливаясь слезами, принесла куклу, что подарил ей когда-то Аршанжо.

А сама Деде, морщинистая сводня, знала покойного всю жизнь, и всю жизнь был он волен как птица и чуть-чуть полоумный. Еще в девицах была она любимой партнершей Аршанжо на новогодних праздниках, на всех новенах и трезенах¹, на всех репетициях карнавальных групп, на карнавалах... Всегда оставался он сорвиголовой... Кто бы мог с ним сладить?.. Много, много девиц он перепортил, — одних только пастушек на ежегодном празднике богоявления сколько наберется... Деде, вспоминая, и смеялась, и плакала... «Я тогда была молоденькая, хорошенькая, а уж какой он был шалопаи!..»

— Так это он был у тебя первым?

Вопрос остался без ответа. Деде ни слова не прибавила к сказанному, и Розалия в сомнении двинулась дальше. Ей ведь тоже есть что вспомнить, но она не плачет, не рыдает, — идет собирать пожертвования...

— Даю от чистого сердца. Было б больше — дал бы больше. — И Роке вытряхнул из кармана последние медаки.

В мастерской все пятеро внесли свой вклад, а Роке пояснил:

— Лет пятнадцать назад, что ли, это случилось. Не очень давно... Погоди, я вспомню... Точно, в тридцать четвертом, девять лет назад. Стачка транспортников, разве забудешь?! Сначала забастовали трамвайщики, так что этому чертову старику вовсе не из-за чего было в нее соваться...

— Я и не знала, что он работал в транспортной.

— Недолго. Он разносил счета за свет. Место получил с большим трудом, много было хлопот. Он очень бедствовал тогда...

— Он всегда бедствовал.

— Ну вот, он тоже ввязался в забастовку, еле-еле отвертелся от тюрьмы, но со службы его тут же выперли... Но с тех пор зато никогда не брали с него плату за проезд в трамвае... Золотой был старик.

В школе капоэйры, рядом с церковью, сидел на скамейке местре Будиан, худой — кожа да кости, сидел в

¹ Новена, трезена — молитвы, читаемые девять и тринадцать дней подряд, и праздник, которому предшествуют эти молитвы.

полном одиночестве, глядел прямо перед собой, прислушиваясь к звукам. На восемьдесят третьем году жизни разбил его паралич, словно мало ему было слепоты, но еще и сейчас, когда зал наполнялся учениками, брал он беримбау. Розалия сказала, зачем пришла.

— Я все знаю. Я уже послал жену отнести немножко денег. Когда она вернется, сам схожу в церковь, посмотрю на Педро.

— Дядюшка, не надо бы вам...

— Замолчи. Как я могу не пойти! Я намного старше его, я учил его искусству капоэйры, но всем, что знаю, обязан Педро. Очень серьезный был человек.

— Серьезный? Да большего ветрогона свет не видывал!

— Я говорю о том, что он был прямодушен и честен. Он не прятал глаз.

Местре Будиан, для которого мир погружен во мрак, местре Будиан, которому отказали ноги, видит рядом с собой юного Аршанжо — всегда с книгами, он не расставался с ними, у него не было учителя, он сам себя обучил. «И не нужен ему был никакой учитель...»

Жена местре Будиана, крепкая пятидесятилетняя бабенка, поднимается по ступенькам, и голос ее наполняет комнату:

— Такой красивенький лежит, во всем новом, а цветов, цветов сколько!. Много народу собралось. В три начнется.

— Ты отдала деньги?

— Прямо в руки сантейро Мигелу, он там распоряжается.

Так ходила Розалия из дома в дом, из бара в бар, из лавки в лавку. Она пересекла Портас-до-Кармо, спустилась по Табуану. Там, где раньше была мастерская Лидио Корро, а теперь торгуют разной галантереей, она замедлила шаг.

Это случилось лет двадцать назад, или двадцать пять, или тридцать... Какое это теперь имеет значение? Не все ли равно? И Розалия была молоденькой и хорошенькой — уже не девчонка: расцветшая, многим желанная женщина, женщина в самом соку... А Аршанжо тогда уже было под пятьдесят. Как она его любила, какая была сумасшедшая, отчаянная страсть!

Много времени проводили они в мастерской Лидио Корро. Аршанжо, Лидио и юный их помощник возились у наборной кассы, то и дело пропуская по глоточку, что-

бы работа спорилась. Розалия разжигала плиту, готовила всякие вкусные вещи, а вечером приходили друзья, приносили кашасу...

Когда-то вон на том углу стоял дом — теперь его уже нет... Сверху, из окна мансарды, видели они, как над гаванью, над кораблями, над рыбацкими лодками занимается заря. В разбитые стекла залетали капли дождя, задувал морской ветер, заглядывала желтая луна, светили звезды. Приходило утро, замирали стоны любви... Как страстен, как нежен был Педро Аршанжо!..

Нет больше ни этого дома, ни мансарды, нет больше окна, что смотрело на море. Розалия идет дальше, но теперь ей почему-то не грустно, не одиноко. Двое мужчин торопливо проходят мимо.

— Я знавал его сына, был он у меня подручным в доке, а потом нанялся матросом на какой-то корабль.

— Так ведь он никогда не был женат?!!

— Ну и что? Он наплодил больше двадцати детей, вот уж был жеребец, каких мало...

Оба весело смеются, — да, старик был настоящий бсс... Розалия, а кто же это смеется рядом, смеется еще веселее и звонче? Неужели только двадцать? Не бойся, приятель, не жмись: у Педро Аршанжо, совратителя девиц, соблазнителя замужних, патриарха проституток, хватило бы силы весь мир заселить своими детьми. Так-то, милый...

5

На площади, где высился когда-то позорный столб и стояли колодки, голубеет церковь — церковь рабов-негров. Солнце ли играет на ее каменных плитах или блещат пятна крови? Много крови пролилось на эти камни, много стонов поднялось к этому небу, много молений и проклятий эхом отдалось в притворах церкви Розарио-дос-Претос.

Давно уже не собиралась такая толпа на Пелуэринью: люди заполнили церковь, и церковный двор, и паперть, и прилегающие улицы. Хватит ли двух автобусов? Достать их было не просто — бензин нормирован, — и майору пришлось побегать, пустить в ход все знакомства. Такая же, если не больше, толпа стоит на площади Кинтас, у ворот кладбища. Многие входят в церковь, смотрят на спокойное лицо местре Аршанжо,

некоторые целуют его руку, потом садятся в трамвай на Байша-дос-Сапатейрос, доезжают до Кинтас и ждут траурную процессию. Черное полотнище протянуто через всю площадь, где во время карнавалов собирается афопе.

На паперти майор курит дешевую сигару, коротко здороваётся со знакомыми — сегодня не до разговоров, не до праздной болтовни. А в церкви, обмытый, прибранный, приличный, лежит Педро Аршанжо и ждет погребения. Вот таким, нарядным и франтоватым, ходил он на кандомбле, праздники, именины, бдения, похороны. Только в самом конце жизни стал местре Аршанжо небрежен в одежде — оттого, что впал в крайнюю нищету, — но веселости своей не утратил до последнего дня.

Когда ему было лет тридцать, каждое утро являлся он на Золотой Рынок к своей куме Теренсии, матери негритенка Дамиана, пил там кофе, ел кускус из размоченной в воде маниоки и бейжу. Ел и пил задаром, — кто бы взял с него деньги? Издавна привык Педро Аршанжо не оплачивать некоторых расходов, а лучше сказать, — привык расплачиваться золотом своего смеха, своей беседы, своей науки, своего веселья. Совсем не из жадности — он был щедр по натуре, — просто с него денег не брали, а чаще всего их у него и не было; не залеживались монетки в карманах Педро: «Деньги существуют, милый, чтоб их тратить!»

Стоило только услышать мальчишке Дамиану звонкий смех гостя, как забывал он все на свете — даже самую важную драку, — прибегал домой, садился на пол и начинал ждать рассказов. Аршанжо знал всю подноготную богов-ориша и других героев — Геракла и Персея, Ахилла и Улисса. Дамиан, шкода и озорник, гроза соседей, вожак всех окрестных сорванцов, отпетый хулиган и проказник, никогда бы не научился читать, если бы не Аршанжо. Ни одна школа не могла с ним справиться, никакие розги-линейки не помогали, три раза убегал он из колоний. А вот книги, что давал ему Аршанжо, — «Мифы Древней Греции», «Ветхий завет», «Три мушкетера», «Путешествия Гулливера», «Дон Кихот» — книги, и добрый смех, и ласковый, братский голос его («...нука, присядь на минутку, давай-ка почитаем...») приохотили лоботряса Дамиана к чтению, научили его грамоте.

Аршанжо знал на память много-много стихов, а читал он прямо как настоящий артист. Он читал и Кастро Ал-

веса, и Гонсалвеса Диаса: ¹ «Не плачь, мой мальчик: жизнь — суровая борьба; жизнь — непрерывное сражение», и, раскрыв рты, слушали его, как зачарованные, мальчишки...

Когда случались у Теренсии нехорошие минуты, когда начинала она вспоминать о муже, что ушел к другой и сгинул где-то в мире, кум Аршанжо умел развеселить ее, умел вызвать на красивых ее губах улыбку, читал ей стихи о любви: «...твоя уста — как пурпурная птичка, твои уста улыбкою щебечут...», и кума Теренсия, жившая на свете только для сына, для Дамиана, задумчиво глядела на Педро — какой дар у человека: улыбнулся — и прошла печаль... В лавке Миро быстрая Ивона забывала про свои пакеты, заслушавшись стихами: «Однажды ночью — помню я — спала ты в гамаке... Расплетена коса твоя, и грудь обнажена». Задумчивы становились глаза Теренсии.

Там же, на Золотом Рынке, однажды утром, в непогоду, когда небо почернело и разгулялся ветер, произошла встреча Педро Аршанжо со шведкой Кирси. Снова перед майором предстает чудесное видение: девушка, избитая дождем, в платье, прилипшем к телу, стоит на пороге в изумлении, замерла от любопытства... Никогда еще не видал майор таких светлых, прямых волос, такой белой кожи и таких синих, бездонно-синих, синих, как церковь Розарио-дос-Претос, глаз.

А в церкви гудят голоса, взад-вперед снуют люди. Одни входят, другие выходят, но у гроба все время толпится народ. Конечно, похороны не по первому разряду, а лежит Педро Аршанжо в простом гробу — денег собрали не густо, — но стесняться нечего: все как полагается: и позументы, и лиловый покров, и металлические петли, и укрыт покойник алым саваном братства, к которому принадлежал при жизни.

Вокруг сидят самые почитаемые жрицы — все пришли, все без исключения. А чуть раньше, когда Аршанжо лежал в доме Эстер, в задней комнатке со скошенным потолком, матушка Пулкерия выполнила первые обряды на ашеше ² Ожуобы. Церковь и площадь заполнены народом из всех общин: пришли со всех террейро и почтенные оганы, и иаво ³. Лиловые цветы, желтые цветы,

¹ Антонио Гонсалвес Диас (1823—1864) — бразильский поэт, историк и этнограф.

² А ш е ш е — похоронная церемония африканского культа.

³ И а в о — жрицы на ритуальной церемонии.

синие цветы, а в смуглой руке Педро Аршанжо — алая роза. Так он хотел, так он просил. Пономарь и сантейро пошли за майором: без пяти три.

Катафалк и перегруженные автобусы уезжают на кладбище Кинтас — там, в земле своей католической общины, обретет вечный покой Ожуоба, око Шанго. За автобусами едет автомобиль, а в нем — профессор Азеведо и поэт Симоэнс, — эти двое пришли сюда потому, что покойный написал четыре книги, отстаивал свои теории, спорил с виднейшими учеными, отрицал официальную псевдонауку, боролся с ней, пытался ее уничтожить. Все же остальные собрались проводить в последний путь соседа, старого дядюшку, человека мудрого, опытного и сведущего, всегда готового дать добрый совет, славного говоруна и признанного пьяницу, неутомимого бабника, отца бесчисленных детей, любимца богов-ориша, поверенного всех тайн, всеми почитаемого старца, почти чародея — Ожуобу.

Кладбище расположено на холме, но, вопреки обыкновению, катафалк, автобусы и машина не доезжают до его ворот. Это не простые похороны: гроб снимают у подножия холма, там же выходят и сопровождающие.

Толпа, собравшаяся в церкви, смешивается с толпой у кладбища. Море людей! Так хоронили еще только матушку Авинью — четыре года назад. Ни министр, ни миллионер, ни генерал, ни епископ не могут рассчитывать, что попрощаться с ними придет столько народу.

Оганы, согнутые бременем прожитых лет чуть ли не до земли, старики, утомленные долгим переездом, майор и сантейро Мигел трижды поднимают гроб над толпой и трижды опускают его наземь, — так положено по ритуальному обряду.

Жрец Незиньо начинает похоронное песнопение на языке йуруба:

Ашеше, ашеше
Омороде!

Хор вторит, голоса людей звучат громче, сливаются в прощальной песне: «Ашеше, ашеше!..»

Шествие поднимается по холму: три шага вперед, два шага назад — танцующие шаги под звуки священного гимна. Гроб плывет на плечах старцев.

Ику лонан та еве ше
Ику лонан та еве ше
Ику лонан,

Где-то на полпути профессор Азеведо берется за ручку гроба и легко попадает в такт, потому что и в его жилах течет смешанная кровь. Во всех окнах — люди, народ бежит со всех сторон посмотреть на необыкновенное зрелище. Такие похороны случаются только в Баие, и то не часто.

И Педро Аршанжо, чистый, нарядный, в новом костюме, при галстучке, плывет над толпой, укрытый красным саваном, и танцует свой последний танец. Мощный хор голосов проникает в дома, разрывает небо над городом, останавливает торговлю, завораживает прохожих: улица во власти танца — три шага вперед, два шага назад, — танцуют покойник, те, кто несет его, и весь народ.

Ара ара ла инсу
Ику о ику о
А инсу берере.

И вот ворота кладбища. Оганы, повернувшись, как велит обычай, спиной к воротам, вносят гроб. У могилы среди цветов, среди рыданий замолкают барабаны-атабаке, затихает песня, замирает танец. «Кроме нас этого никто не увидит», — говорит поэт Симоэнс профессору Азеведо, который взволнованно спрашивает его, знает ли хоть кто-нибудь о книгах Аршанжо? Не надо ли упомянуть о них в надгробной речи? Но профессор так и не решается. Все одеты в белое, в цвет траура...

Секунду гроб стоит на месте: пусть побудет Педро Аршанжо среди своих перед тем, как навеки лечь в могилу. В печальной толпе кое-где слышатся рыдания.

А когда наступает полная тишина и могильщики берутся за ручки гроба, чей-то одинокий, дрожащий, скорбный голос взлетает над толпой, надрывая душу, вонзаясь в сердце. Это местре Будиан, весь в белом — в трауре, — местре Будиан, поддерживаемый женой и Мане Лима, местре Будиан, слепой и обезноженный, нежно и горестно прощается с покойным. Он стоит над могилой... Говорит отец с сыном, говорит брат с братом... Прощай, брат, прощай навсегда, я любил тебя, ику о ику о дабо ра жо ма бойа...

«А когда я умру, дайте мне в руку красную розу...»
Огненную розу, медную розу, розу танца, розу песни, Розу де Опала, ашепе,

**О том, как наш поэт-исследователь
стал любовником-рогоносцем и о его
поэзии**

1

В связи с тем, что великому Левенсону для приведения в порядок своих записей в ту же ночь потребовалась помощь Аны Мерседес, а мое присутствие успешному завершению этой работы способствовать не могло и, следовательно, не требовалось, я простился с американцем в холле гостиницы. Он горячо пожелал мне удачи, но в словах Джеймса Д. я почувствовал некоторый цинизм.

Отозвав в сторону его новую сотрудницу, я попросил ее проявить осмотрительность и твердость в том случае, если гринго окажется заурядным соблазнителем и захочет превратить ночные научные бдения в нечто непотребное, но уязвленная сотрудница разом покончила с моими тревогами и сомнениями, задав мне вопрос, таивший в себе ужасную угрозу. Она спросила меня, верю ли я в ее порядочность и честность, а если не верю, то нам лучше... Я, дурак этакий, не дал ей договорить, поспешно заверил ее в своем беспредельном доверии, был прощен, получил мимолетный поцелуй и загадочную улыбку.

Затем я отправился искать какое-нибудь кафе или бар. Цель моя была такова: как можно скорее надраться и утопить в кашасе ревность, которую не смогли победить ни доллары Левенсона, ни доводы Аны Мерседес.

Да, я ревновал ее, ревновал ежесекундно, днем и ночью, — особенно если ночью Ана Мерседес была не со мной, — я умирал и воскресал, я устраивал драки, я бил и бывал бит, я испытывал нечеловеческие муки, я погружался в пучину унижения и тайной злобы, я стал посмешищем в литературных и околотитературных кругах, я превратился в жалкое ничтожество — и все из-за нее, из-за Аны Мерседес... Впрочем, не зря, не зря! То ли еще можно было вытворить и вытерпеть ради такой женщины?!

Ана Мерседес, муза и оплот новейшей волны отечественной поэзии, принимала участие в движении «Постичь коммуникацию через изоляцию!». Сказано гениально! Отрицать своевременность данного лозунга могут только абсолютные тупицы или завистники. Должен сказать, что в рядах этой армии я занимал далеко не последнее место: имя мое гремело. «Фаусто Пена, автор «Отрыж-

ки», — признанный лидер нашей современной поэзии», — писал обо мне в «Журнал да Сидаде» Зино Бател, автор поэмы «Да здравствует какашка!» — тоже признанный и тоже лидер того же поэтического направления.

Она училась на журналистском отделении факультета, где я двумя годами раньше получил диплом социолога, и за ничтожное жалованье озаряла блеском своего ума редакцию газеты «Диарио да Манья» (в качестве корреспондентки этого органа она познакомилась с Левенсоном и начала с ним работать) и бескорыстно даровала автору этих строк, бородатому и безработному поэту, право наслаждаться прелестью своего божественного тела. Боже! Где найти мне слова? Как описать мне эту из золота — из чистого золота с головы до ног! — отличную мулатку, это совершенное творение создателя, это пахнущее розмарином тело, этот хрустальный смех, это сочетание вызова и жеманства — и эту способность к нескончаемой лжи!

Когда она проходила — проплывала, словно кораблик, — по бурному морю «Диарио да Манья», по редакциям, по издательству, по типографии, у всех — от владельцев газеты до курьеров, — у всех этих мерзавцев возникало при виде ее только одно желание, и не было человека, который не мечтал бы взять этот кораблик на бордаж где-нибудь на мягком диване в кабинете шефа под портретом славного основателя газеты, или на шатком столе в редакции, или на древнем ротационном станке, или на кипах бумаги, или на заплыванном, залитом машинным маслом полу, — и нет сомнения, что если бы тело Аны Мерседес простерлось на нем, мерзкий пол мгновенно обратился бы в усыпанное розами ложе, и благодать снизошла бы на него!

Я не верю, что она уступила домогательствам кого-нибудь из этих каналов. А вот раньше... Ее видели вместе с доктором Брито, главным редактором, — в это самое время решалось, примут ее в штат или нет — в подозрительной близости от роскошного дома свиданий, вверенного попечением некой мадам Эльзы. Ана Мерседес клялась мне, что чиста, как голубка: да, она встречалась с патроном, но лишь для того, чтобы доказать ему свою пригодность к работе репортера... Все было не совсем так, но мне не хочется углубляться в эту историю, да и к рассказу моему отношения она не имеет.

Я принял эти рассказы за чистую монету, я поверил им, как верил впоследствии и всем прочим басням, в том

числе и последней — об интересах науки, — сообщенной мне в ту ночь, когда я взял на себя обязательство отыскать следы Педро Аршанжо в глухих переулках и тупиках Баии; яростная, лютая, убийственная и способная довести до самоубийства ревность мгновенно растворялась в любовных клятвах, стоило только этой змее, сбросив с себя свою мини-одежду, выставить напоказ все, что под ней скрывалось, вытянуть руки и ноги, продемонстрировать мне весь этот медный, позолоченный, золотой, пахнущий розмарином ландшафт... О, искусная развратница! «У тебя учились проститутки и овладевали мастерством», — так писал я во одном из многочисленных стихотворений, посвященных ей, многочисленных и прекрасных, — простите за нескромность.

Литература была первым связующим звеном между нами: Ана Мерседес восхищалась моими грубыми стихами задолго до того, как отдалась мне, бородатому барду, заросшему варвару в джинсах «Lee». Еще раз простите за нескромность — бородатым варваром называли меня поэтессочки.

Я никогда не забуду ту минуту, когда боязливо и робко протянула она мне студенческую тетрадку со своими первыми опусами. Красота Аны Мерседес могла взволновать кого угодно; на губах у нее дрожала умоляющая, жалкая улыбка... В первый и последний раз видел я эту женщину у моих ног, в первый и последний раз она о чем-то меня умоляла!

Дело в том, что вышеупомянутый Зипо Бател получил в свое полное распоряжение четверть полосы воскресного приложения к «Диарио да Манья» и предложил мне сотрудничество: сам он продался на восемь часов в день в рабство какому-то банку, ночами сидел в редакции, и для отбора стихов времени у него не оставалось. Труд мне предстоял нелегкий — к тому же за него не платили, — но престижность и ответственность поручения до некоторой степени компенсировали тяготы. Я обосновался в маленьком полутемном баре одной картинной галереи и вскоре был окружен плотным кольцом молодых людей обоего пола, — никогда раньше я не предполагал, что у нас такое количество таких молодых и таких бездарных поэтов: один другого вдохновенней, один другого плодовитей, и все, как один, мечтали прорваться на нашу страницу, урвать себе хоть дюйм колонки. Вдохновения было много, а таланта мало... Претенденты угощали меня лимонным коктейлем, а их более сообрази-

тельные собратья предлагали виски. Пользуюсь случаем еще раз заявить, что ни качество, ни количество алкоголя никак не влияли на беспристрастие моих оценок, на объективность моего выбора. Даже неистовым поэтессам, ненароком раздвигавшим передо мной колени, не удалось победить мою прославленную взыскательность, — ну, разве что чуть-чуть.

Ана Мерседес в два счета покончила с моим бескрытием и твердостью. Едва скользнув глазами по строчкам, я понял: она рождена не для поэзии. Боже, до чего это было бездарно! Но какие коленки, какие бедра — само совершенство... И испуганные глаза... «Да у вас талант, вот что я вам скажу!» Она благодарно улыбнулась, а я продолжал: «Большой, большой талант!..»

— Вы опубликуете это? — спросила она жадно. Приоткрыла ротик, провела кончиком языка по губам... О господи!!

— Может быть, может быть... Зависит от вас... — многозначительно и вкрадчиво сказал я.

Признаюсь, что в ту минуту я еще надеялся выбраться из этой переделки с честью и без урона для себя: с поэтессой переспать, бреда ее не печатать! Какое заблуждение! В следующее же воскресенье ее стихи заняли всю полосу «Поэзия молодых», в окружении таких вот, например, высказываний: «Стихи Аны Мерседес — величайшее поэтическое откровение нашего времени», а я ничего, кроме поцелуев, легкого тисканья и посулов, не добился. Это так же верно, как и то, что три стихотворения, напечатанные за ее подписью, написаны были мною. В одном из них ей принадлежало единственное слово — «субилаторий» — слово очень красивое и мне до тех пор неизвестное, означающее задний проход. Да! Творчество Аны Мерседес было делом моих рук, — сначала моих, а потом, когда эта неблагодарная, устав от сцен ревности, покинула мое ложе и вступила в новую фазу своего поэтического развития, — рук некоего Илдазио Тавейры. Некоторое время спустя она увлеклась народной музыкой, ушла от Тавейры и стала сотрудничать с композитором Тониньо Линсом. Сотрудничество это, я полагаю, протекло главным образом в постели, а не за роялем.

К моменту приезда Левенсона в Баию мой роман с Аной Мерседес достиг своей кульминационной точки. Рокковая страсть, вечная любовь и прочая и прочая. В течение многих, многих месяцев я даже не смотрел на женщин, — да и незачем было смотреть: сил у меня на них

уже не оставалось... Если Ана Мерседес и нарушала свои клятвы, мне ни разу не удалось уличить ее во лжи,— может быть, оттого, что не больно-то и хотелось. Чего бы я добился? Окончательного разрыва? Нет, нет, только не это! Или того, что в горькие минуты я бы не смог утешаться благотворным сомнением,— даже самой маленькой, ничтожной его частицей?..

В ту ночь, мучаясь от любовного томления, страдая от ревнивого подозрения, корчась на кресте моего отречения, получив доллары в вознаграждение, я отправился спасаться и напиваться в никому не ведомый, никем не посещаемый кабак под вывеской «Ангельское пи-пи».

Не успел я выпить первую порцию неразбавленной кашасы, как увидел неподалеку интимно беседующего с неопишимо мерзкой бабой, не то проституткой, не то старой девой, гнусного вида мегерой... кого бы вы думали? Академика Луиса Батисту, столпа морали и семьи, ярого ханжу, паладина и охранителя добропорядочности. Он задрожал, заметив меня, но деваться было некуда: пришлось подойти, любезно поздороваться со мной и пролепетать какие-то объяснения,— столь же туманные и путаные, как и те, которыми угощала меня Ана Мерседес.

От профессора Батисты — от нудных его лекций, от высокопарных речей, от непрошибаемой реакционности, от дурного запаха изо рта, от тошнотворного пуризма — я настрадался еще в университете: ни тогда, ни потом, если мы встречались изредка, особой радости ни он, ни я не испытывали. Но теперь, когда я, изглоданный ревностью, измученный страданиями обманутого любовника, увидел его за столиком грязного десятиразрядного кабака в неподобающем обществе, между нами обнаружилась некоторая близость, возникло что-то вроде взаимного интереса. Причиной его был общий враг: американский ученый Левенсон и его бразильский аналог, никому не ведомый Педро Аршанжо.

Достопочтенный академик изложил мне свои сомнения и подозрения по поводу миссии Левенсона в Баие; я же о своих, в силу их глубоко интимного, личного характера, предпочел умолчать. Батисту волновали прежде всего проблемы общественного мнения и государственной безопасности.

— У нас в Баие, на родине гениев и героев, столько замечательных людей,— взять хоть бессмертного Руя, гаагского нашего орла,— а этот иностранец расточает по-

хвалы — кому? Превозносит — кого? Безправственного негра-алкоголика!

Негодование душило его, он встал в позу оратора и, впадая в транс, словно жрец на празднестве в Алакету, обращаясь попеременно то ко мне, то к своей славной спутнице, то к официанту, ковырявшему в зубах, продолжал:

— Кошните поглубже, и за фасадом изучения культуры вы обнаружите коммунистический заговор, направленный против самой основы нашего строя! — в этом месте он таинственно понизил голос. — Я где-то читал, что этого вашего Левенсона уже хотели однажды вызвать в комиссию по расследованию антиамериканской деятельности! Из достоверного источника мне известно, что он на заметке в ФБР.

Палец его вознесся и указал на величественного и ко всему на свете безразличного официанта, который привык, должно быть, к самым нелепым речам пьяных посетителей.

— Что хочет представить нам этот американец в качестве вершины научной мысли?! Безграмотный бред, описывающий нравы простонародья, черни! Да кто такой этот пресловутый Аршанжо?! Выдающаяся личность? Профессор? Доктор? Светило? Видный политик? Может быть, хотя бы крупный предприниматель? Нет! И еще раз нет! Ничтожный педель медицинского факультета, чуть ли не нищий! Пролетарий!!

Прославленный ученый муж кипятился не напрасно: у него были основания для такой ярости. Всю жизнь он посвятил борьбе против порнографии, упадка морали, купальных костюмов, порчи португальского языка — и чего же, спрашивается, достиг? Ничего не достиг: порнография царит в книгах, в театре, в кино и в жизни; упадок морали стал обыденной пормой; девицы носят противозачаточные пилюли рядом с четками; купальные костюмы превратились в бикини, священнослужители сплошь одержимы дьяволом... Что же касается книг и португальского языка, то тут дело совсем плохо: сочинения высокоученого академика, написанные на безупречном языке Камоэнса, напечатанные автором за собственный счет, легли на полки книжных магазинов на вечное хранение, в то время как тысячи книг разных борзописцев, презирающих правила грамматики, превративших язык классиков в один из африканских диалектов, раскупаются нарасхват.

Тут я испугался, что академик укусит меня или официанта. Но нет: он взял свою даму, сел в свой «фольксваген» и уехал — искать, должно быть, укромное — по настоящему укромное! — место, где столп морали и отец нации смог бы провести все предварительные переговоры, необходимые для осуществления полового акта, который должен был произойти — впервые в жизни — не с законной супругой, и где за сладостными пристрелками академика не подглядывали бы литературные ничтожества, аморальные подонки!

И он был прав! Не будь я таковым, разве стал бы я возвращать в бульоне кашасы бациллу ревности, стал бы вдохновенно слагать сомнительные стишки?! Нет! Я ворвался бы в гостеприимный номер, застукал бы прелюбодея на месте преступления, и одной рукой швырнул бы в лицо негодяю-американцу его доллары, а в другой руке я держал бы заряженный револьвер, и пять пуль всадил бы в изменницу, прямо в ее развратное, предательское, сладострастное чрево, а шестую — себе в висок!.. Я же говорю, что ревность способна довести человека до убийства и самоубийства...

О, оскверненная звезда
О, иностранные постели
Совокупленья по-латыни
О, оскверненная звезда
остатки мне достанутся остатки
усталость розы почь настороже
отец народа мировая скорбь
остатки социологии твоей достанутся
лавандой пахнет розмарином мылом
виски ванна трубочный табак

Я заслужил!
ни пули ни ножа ни бритвы плевка не стоишь
я не рыдаю не грожу не бормочу проклятий
я не кричу
одна любовь осталась
остатки мне достанутся

Король рогатых!
в саду рогов рога на лбу рога в ногах
рога в хребте спинном в субилатории рога
рогами в плоть твою проникну
О, оскверненная звезда
чистейшая

Фаусто Пена
«Ангельское пи-пи», рассвет
1968

О людях известных, утонченных и, как правило, хорошо осведомленных — об интеллектуалах высшего разбора

1

После заявлений Левенсона перья газетчиков, микрофоны радиорепортеров, камеры телеоператоров стали служить прославлению личности и творчества никому доселе не известного и вдруг ставшего на весь свет знаменитым баианца. Посыпались репортажи, интервью, высказывания виднейших деятелей нашей культуры, статьи в воскресных приложениях, бесконечные хроники и «круглые столы» по наиболее популярным программам радио и телевидения.

Наши интеллектуалы в своих статьях, интервью и выступлениях больше всего старались доказать миру, что они уже очень давно и очень хорошо знакомы с творчеством Педро Аршанжо. Как видите, между нашими интеллигентами и их коллегами из Рио-де-Жанейро и Сан-Пауло особой разницы нет: прогресс подтягивает провинцию до уровня столицы, сокращает былые расстояния, сглаживает культурные различия. Сегодня мы такие же передовые, образованные и талантливые, как и жители крупных южных центров нашей страны, а наши даровитые молодые люди заткнут за пояс Апио Коррейю или любого другого исполина из числа завсегдаев баров на Ипанеме или Леблоне¹, — любого, даже самого лихого и остроумного. Единственное, но очень существенное различие состоит в том, что гонорары у нас в провинции низкие, нищенские — поистине провинциальные гонорары.

Совершенно неожиданно выяснилось, что каждый из наших гениев уже давно трубит славу бесценным книгам «профессора Педро» (его даже произвели из педелей в профессора), всеми способами доказывая своим постыдно равнодушным собратьям непреходящее значение его трудов. Оказалось, что американцу Левенсону вовсе не было нужды вытаскивать имя Аршанжо и его книги из мглы забвения и безвестности; оказалось, что творчество баианца всегда расхваливалось на все лады в лекциях и докладах, на диспутах и конференциях могучей когортой последователей автора книги «Обычаи и обряды народа Баии» — последователей его самого и его теорий,

¹ Ипанема, Леблон — районы Рио-де-Жанейро,

Какое трогательное единодушие, какое волнующее со-
бытие: у Педро Аршанжо оказался легион учеников —
кто бы мог подумать?! И где? В Баие, которая так богата
этнографами, социологами, антропологами, фольклори-
стами и прочими особями того же вида, причем все они —
люди высокоученые, сведущие и просвещенные до такой
степени, что боже упаси...

Хотелось бы выделить из невероятного количества за-
умного и смехотворного газетного материала две-три
серьезные и заслуживающие упоминания публикации.
Вот, к примеру, пространное интервью профессора Азе-
ведо, напечатанное в вечерней газете «Тарде».

Профессор преподавал социологию; неутолимая жаж-
да славы, одолевавшая всю нашу интеллектуальную бра-
тию, была ему чужда. Он и вправду хорошо знал творче-
ство Аршанжо, он работал вместе с профессором Ра-
мосом из Рио-де-Жанейро и давно пытался растолковать
окружающим ценность наследия Аршанжо, привести его
работы в соответствие с современными теориями, он при-
лагал все усилия, чтобы заинтересовать этими четырьмя
книжечками молодых ученых, но молодые ученые были
довольны собой и своими познаниями, и этого им вполне
хватало. Потребовался приезд Нобелевского лауреата,
Джеймса Д. Левенсона, чтобы они встрепенулись и
с опозданием принялись за прославление Педро Ар-
шанжо.

Главным источником информации для авторов блиста-
тельных статей в газетах и журналах послужило интер-
вью профессора Азеведо, потому что найти давным-дав-
но напечатанные, мизерными тиражами изданные книги
Аршанжо было нелегко. Азеведо тщательно и скрупулез-
но разбирал и объяснял творчество автора «Африканских
влияний на обычаи Баии», подчеркивая то обстоятельст-
во, что Аршанжо был самоучкой, доказывая его удиви-
тельные для того времени научную смелость и основа-
тельность. Азеведо щедро цитировал его книги, приводил
много имен, названий, дат, а вдобавок кое-что поведал
и о самом этом человеке, с которым непродолжительное
время был знаком и на похоронах которого присутст-
вовал.

Это интервью породило более двадцати очерков, ста-
тей и репортажей, некоторые из них принесли своим ав-
торам щедрые похвалы; ни в одном даже не упоминался
социолог Азеведо, но зато во всех приводились высказы-
вания Левенсона и других ученых, американских и евро-

пейских. Один журналист, отличавшийся наиболее передовыми взглядами, определил «наследие Аршанжо» как «ретроактивный продукт мышления Мао», другой, еще более прогрессивный, писал о «Сартре и Аршанжо — двух мерах постижения человека»... Вот додумались, щелкоперы!

Посреди этого моря ерунды обращал на себя внимание любопытный материал обозревателя Герры, одного из тех немногих, кто не выдавал себя за этнолога, не прикидывался учеником Аршанжо. У Герры был злой язык (к тому же без костей), а в дискуссию он вступил лишь для того, чтобы уличить плагиаторов, неоднократно обкрадывавших книгу покойного местре, — ту самую, что была выставлена лет тридцать назад в витринах книжных магазинов и — единственная из всех — получила поэтому определенную известность.

Профессор Азеведо в своем интервью не утаил, на какие огромные жертвы приходилось идти нищему местре — жаловашье у него было весьма умеренное, зато склонность к кашасе — непомерная, — чтобы издавать свои книги. Его друг и кум, гравер, флейтист и гуляка Лидио Корро, оборудовал на Ладейра-до-Табуап крошечную типографию: он печатал там рекламные листовки и объявления для всех лавок в округе, для кинотеатров Байшадос-Сапатейрос, стихи бродячих поэтов и тому подобную литературу, продаваемую на ярмарках и рынках. (О Лидио Корро очеркист Валадорес сочинил примечательную книжку под названием «Аршанжо, Корро и Табуапский университет».) Именно там, в этой убогой мастерской, были набраны, сверстаны и отпечатаны три из четырех книг никому не известного автора: все три отличаются ужасающим качеством полиграфии.

Впрочем, одно из сочинений Аршанжо было выпущено в свет настоящим издателем, и тираж составлял тысячу экземпляров, — для того времени немало, а для Аршанжо — грандиозно, потому что до тех пор тираж не превышал трехсот штук, последняя же — и важнейшая! — его работа «Заметки о смешении рас в баианских семьях» отпечатана была в количестве ста сорока двух экземпляров — не хватило бумаги... Тем не менее этих жалких ста сорока двух книжечек оказалось вполне достаточно, чтобы вызвать страх, скандал и крутые охранительные меры: когда Корро разжился бумагой и хотел продолжить печатание, в типографию нагрянула полиция.

Книге «Баиянская кухня — ее истоки и рецепты» повезло больше. Некий Бонфанти, человек с темным прошлым и сомнительной репутацией, открыл на Праса-да-Се букинистический магазин специально для школьников и студентов; одни и те же книги — хрестоматии, логарифмические таблицы, словари, учебники по медицине и праву — он покупал задешево, а перепродавал потом втридорога. Аршанжо захаживал к этому мафиозо, болтал с ним и даже задолжал ему незначительную сумму за подержанное, но полное издание «Записок врача», принадлежащих перу Дюма-отца. Последнее обстоятельство доказывает, что книготорговец, никому и никогда не веривший в долг, глубоко уважал нашего местре.

Бонфанти, для того чтобы помочь неисправимым двоечникам на экзаменах в городской гимназии и в частных лицах, издал несколько книжечек: перевод басен Федро — обязательный искус на письменном экзамене по латыни, — решение задач по алгебре и геометрии, грамматические шпаргалки, разбор «Лузиад». Формат этих книжонок был таков, что их можно было скрытно пронести в класс и незаметно перелистать под партой. Чтобы пополнить образование юношества, о коем так заботился Бонфанти, он также печатал и продавал порнографические брошюрки, пользовавшиеся спросом и у некоторых важных господ — доверенных завсегдатаев его магазина.

Баиянского мулата и итальянского проходимца сближал, кроме книг, интерес к яствам и лакомствам: оба отличались могучим аппетитом и взыскательным вкусом, оба как кулинары не знали себе равных. Аршанжо был неподражаем в приготовлении баиянских блюд: божественная получалась у него мокека из ската... Бонфанти готовил дивную *pastasciutta-ai-funghi-secchi*¹ и сокрушался, что в Баие нельзя достать совершенно необходимые для этого блюда ингредиенты. По воскресеньям они обедали и беседовали, и так вот родилась идея написать учебник баиянской кулинарии, собрав в нем рецепты, которые до тех пор передавались только из уст в уста или записывались хозяйками в тетрадки.

Обсуждение будущей книги проходило бурно: Бонфанти хотел ограничиться сводом рецептов, считая, что предисловие не должно превышать полстраницы — и то много; Аршанжо настаивал на подробном исследовании

¹ Особым образом приготовленное блюдо с сушеными грибами (ит.).

с комментариями — словом научное обоснование, а уж потом рецепты. В конце концов он настоял на своем — книга вышла в неурезанном виде — да только никто ее не покупал: то ли потому, что «кулинарный справочник рассчитан на кухарок и не должен иметь отношения к литературе или к науке», как объяснял Бонфанти, жалуясь на убыток и отказываясь платить гонорар, то ли потому, что «этот итальянский жулик напечатал гораздо больше тысячи экземпляров». Словом, книга у публики интереса не вызвала. После смерти Аршанжо у Бонфанти еще оставалось несколько непроданных томиков.

Но по прошествии многих лет, когда наш город вырос и обзавелся промышленностью, когда вслед за другими веяниями прогресса проникли в него туристические агентства, баиянская кулинария получила общенациональное признание и прославилась на всю Бразилию. Куда девалось былое безразличие читателей?! В Рио и Сан-Пауло опубликовали несколько сборников рецептов — некоторые были великолепно изданы, прекрасно оформлены и снабжены цветными иллюстрациями-фотографиями. Журналисты, светские дамы, хозяин французского ресторана, помещавшегося на улице Витория, — все эти новоявленные авторы и их издатели заработали неплохие деньги на «Баиянской кухне», на «Ста рецептах баиянских кушаний и сладостей», на «Пальмовом масле, кокосовом орехе и перце», на «Афро-бразильской кулинарии», на «Дарах Иайа» и так далее и тому подобное.

И вот неистовый Герра пришел к умозаключению, что все это бесстыдно и откровенно переписано из брошюрки Аршанжо и не содержит ничего нового или своеобразного. Плагиаторы («Идиоты!» — восклицал разгневанный журналист) не только ничего не добавили, но, напротив, выбросили как ненужную помеху всю теорию, выводы, положения, сохранив лишь рецепты. Впрочем, один проворный и бессовестный писака из Рио, просидев в Баие недельку, украл уже все: целиком, страница за страницей перекатал он сочинение Аршанжо, да при этом ему еще хватило дерзости исказить концепции автора. Отважный Герра — «заметьте, что я не этнолог и не фольклорист» — уличил его в недостойном поведении.

Ну, а интервью майора Дамиана де Соузы, испытанного бойца судебных ристалиц и непосредственного участника многих громких дел, заслуживает отдельной главы. Последствия этого интервью были чрезвычайно значительны и совершенно неожиданны.

Очень, очень немногие люди посмели бы прямо пройти в кабинет доктора Зезиньо Пинто, главного редактора (и владельца) газеты «Жорнал да Сидаде», когда один из славнейших наших сограждан уединился там, чтобы поразмышлять над делами и проектами. А больше и негде: в конторе банка — невозможно, в офисе «Петрокимика» — тоже, в «Индустриас Реунидас» — нечего и говорить. А здесь, в кабинете, куда вход посторонним был строго воспрещен, доктор Пинто, пока не пробило два часа, пока не началась редакционная суতোлка, мог обрести покой: здесь никто не прервет нить его дум, не потревожит его краткий освежающий сон.

Но для майора Дамиана де Соузы вход всюду был свободный, поэтому он протянул костлявую руку к защелке замка и вошел в кабинет со следующими словами:

— Храни вас бог, о достославный доктор Зезиньо, вас и превосходительную вашу супругу! Все ли в порядке дома? Как здоровье? Хорошо?! Дела, надеюсь, не хуже?! Прекрасно! А я к вам насчет Педро Аршанжо. Что же получается? Мальчишки из вашей газеты слушают всех встречных-поперечных, печатают портреты разных проходимцев, а ваш покорный слуга, единственный человек в Баие, который знает про Аршанжо все, остается в забросе, в небрежении, в забвении! Как это могло случиться? Майор вам больше не нужен?

Майор, сам того не зная, попал в самое больное место, прикоснулся к еще кровоточащей ране: доктор Зезиньо Пинто только что пришел с ежемесячного обеда, на котором три короля баиянской прессы, три владельца салвадорских газет вырабатывали план совместных действий. Все они давно дружили, и обед, сдобренный тонкими винами и контрабандным виски, проходил обычно очень весело: помимо обмена новостями и мнениями о политике и экономике, всегда было много смеха, сплетен, подтрунивания над промахами и ляпсусами коллег. А сегодня жертвой стал доктор Зезиньо, и все из-за того, что возглавляемая им «Жорнал да Сидаде» почти никак не отозвалась на главную сенсацию сезона — Педро Аршанжо.

— Собрал у себя в редакции весь цвет интеллектуалов, всех талантливых журналистов — и что же? Так позорно отстал от «Тарде» с интервью профессора Азеве-

до,— это вам только один пример. А «Диадио да Матия»?! Специальное приложение дали: «Аршанжо в Баие»! Я уж не говорю, какие потрясающие признания вытянула у Левенсона Ана Мерседес! Их перепечатали в Рио, в Сан-Пауло, в Порто-Алегре, в Ресифе...

— Ну, знаете, милый мой Брито, если действовать подобными методами... Покажите мне человека, который отказался бы дать интервью с глазу на глаз Ане Мерседес! Я бы и сам не прочь... Это что же, по-вашему,— законное соперничество, честная конкуренция? Да вы знаете, как ее прозвали в редакциях? «Золотая ляжка»!

— Брито, она у нее правда золотая? Говорят, вы в курсе дела...— пустил шпильку Кардим.

Все трое засмеялись, выпили доброго немецкого вина, но на сердце у доктора Зезиньо, который был патриотом своей газеты и ревниво относился к ее престижу, скребли кошки... Он платит огромные деньги своим молодцам с дипломами и учеными степенями, позволяет им печатать в газете любую ахинею,— и все для того, чтобы «Журнал да Сидаде» стала истинным глашатаем и провозвестником культуры,— а их обскакали грошовые, невежественные репортеры! Упустить такой момент!.. Ну, ничего: сегодня на летучке — вот только немножко подремлет в холодке — он взгреет как следует этих беспечных лодырей... Заелись! Он не допустит, чтобы «Журнал да Сидаде» плелась у конкурентов в хвосте!

— Аршанжо? Майор, вы знали Аршанжо?! Это правда?

— Знал ли я Аршанжо? А кто меня грамоте выучил? И кто обнаружил тело местре в канаве на Ладейра-до-Табуан? Он не стал моим отцом только потому, что ко дню его встречи с матушкой Теренсией одноглазый Соуза уже сам позаботился о продолжении рода. Когда мать открыла палатку на Золотом Рынке, Аршанжо каждое утро приходил к нам пить кофе... Он один стоил целого цирка, честное слово: так и сыпал стихами, историями, прибаутками. Я до сих пор подозреваю, что Теренсия была к нему равнодушна: у Аршанжо просто руки до нее не дошли... Знал ли я Аршанжо! А кто был моим учителем? Кто научил меня читать и писать? Кто объяснил, что есть добро и зло...

«Кто научил меня пить кашасу и любить женщин?» — мог бы еще добавить майор, но редактор уже не слушал его: он нажимал кнопку звонка и одновременно во всю мочь призывал курьера.

— Пришел уже кто-нибудь? Кто? Ари? Послать его ко мне, живо! — и, повернувшись к собеседнику, осклабился в своей знаменитой улыбке: — Майор, вы — чудо! — И еще раз одарил его улыбкой: — Вы — чудо из чудес.

В словах доктора Зезиньо содержалась доля истины: не было в Баие человека примечательней и популярней семидесятилетнего майора. Его величали «народный адвокат», «защитник бедняков», «надежда несчастных», и за полвека выступлений в суде он побил все рекорды по числу выигранных дел, то есть оправданных обвиняемых: все они, как правило, были люди неимущие и беззащитные, — о гонорарах же в большинстве случаев и речи не было. Он сотрудничал во всех газетах, и все газеты публиковали время от времени его неотразимые «Две строчки» протестов и жалоб, где он обрушивался на несправедливость и жестокость, восставал против нищеты, неграмотности, голода. Он был избран депутатом муниципального собрания, и волна его популярности забросила двух проныр, двух ненасытных крыс в кресла председателя и первого секретаря; он превратил муниципалитет в пристанище бедняков, боролся с муниципальными советниками, помогал народу захватывать пустующие земли, на которых потом выстроили жилые кварталы; и на следующий срок его уже избрать поостереглись. Прирожденный и разносторонний оратор, он произносил речи не только перед присяжными или в апелляционном суде, но и на любом празднике, на любом торжестве, — где угодно: на гражданских церемониях и на обедах по случаю свадьбы, дня рождения или крестин; на освещении новой школы или больницы и на открытии лавки магазинчика, булочной или бара; на похоронах какой-нибудь выдающейся личности и на политических митингах (в те времена еще разрешались политические митинги), причем его не интересовало, какая партия их устраивает. Он считал, что защищать интересы народа, обличать нищету, безработицу, нехватку школ можно с любой трибуны, в любой газете, а до остального ему дела не было.

Стоило послушать его выступления, — вот хотя бы ежегодную речь 2-го июня на Праса-да-Се у памятника героям войны за независимость — это был образец гражданской и высокопарной риторики. Сколько раз восторженная толпа на руках уносила его с площади!..

Майор, осипший от табака и алкоголя, гремел избытыми сравнениями и смелыми метафорами, сыпал афо-

ризмами великих бразильцев и небразильцев — предположение обычно отдавалось Иисусу Христу, Рую Барбозе и Клемансо, — срывал аплодисменты. В речах майора блистали и искрились изречения и сентенции живых, мертвых и никогда не существовавших знаменитостей: в суде он ошеломлял ими своих оппонентов, и неколебимый апломб майора сбивал прокуроров с толку. Однажды, когда для обоснования неубедительной версии «допустимой самообороны» майор сослался на «славного Бернабо, гордость Италии и всех романских стран», самоуверенный и обозленный щенок прокурор решил уличить оратора во лжи, одним махом разоблачить обманщика:

— Виноват, мне никогда не приходилось слышать о криминалисте, упомянутом только что господином адвокатом. Да и существовал ли такой криминалист?

Майор с жалостью воззрелся на самонадеянного юнца.

— Господин прокурор еще очень молод и не очень начитан. Естественно, что ему неизвестны классические труды Бернабо. Разумеется, никто не вправе требовать от господина прокурора такой осведомленности! Подобное невежество было бы непростительно человеку моего возраста, полуслепшему над книгами, а что ж спрашивать с господина прокурора!

Кстати, зрение у майора — исключительное: он даже очков не носит. В том возрасте, когда большинство людей уже одной ногой стоит в могиле и ждет переселения в лучший мир, майор прям и статен — «проспиртованное лучше сохраняется», за полночь ест сарапател в Сан-Жоакине, в Сете-Портас, в Рампа-до-Меркадо, спит с женщинами — «Лучшее средство от бессонницы», курит, не выпуская из испорченных зубов дешевой сигары... У него большие узловатые руки, а носит он всегда рубашки с высоким воротничком и белый костюм — «Исповедующие веру Ошала одеваются только в белое», — слегка засаленный на рукавах и лацканах.

Контора его там, где в данную минуту находится сам майор. Один он не ходит: под ногами у него обязательно путаются трое-четверо бедолаг, и когда он садится у стойки какого-нибудь бара, чтобы пропустить целебный глоток кашасы, неизменно помогающей от жары — или от холода, — они начинают излагать ему свои жалобы, претензии, просьбы. Он записывает все это на клочках бумаги, а потом засовывает их в карман пиджака. Впрочем, у него есть и постоянная контора: каждое утро он принимает клиентов и дает консультации в мансарде на

улице Лисеу — там, где раньше помещалась мастерская сантейро Мигела. Сантейро давно умер, теперь там разложил свои инструменты и колодки холодный сапожник, но стол майора стоит где стоял, и новый хозяин, приветливый, светлокожий, веснушчатый мулат, не жалеет для адвоката ни кашасы, ни доброго слова.

А у дверей спозаранку собирается толпа просителей. Кого здесь только нет: жены заключенных — иной раз со всем выводком; матери детей, которым настало время идти в школу, — а за школу платить нечем; безработные, проститутки, бродяги, больные — им нужна больница, врач и лекарство; выпущенные под залог жулики — их скоро будут судить; родственники умерших — их не на что похоронить; брошенные жены, девицы, забеременевшие от своих соблазпителей, а те и слышать не хотят о женитьбе; кого здесь только не увидишь — и всем грозит правосудие, полиция, сильные мира сего; а вот просто-напросто пьянчужка пришел в надежде опохмелиться... Всё народ беспокойный, томимый голодом и жаждой... Одного за другим принимает и выслушивает их майор.

А домов у майора три: на Либердаде, на Косме-де-Фариа, в Итапажице, и в каждом доме терпеливо и кротко хоть до утра будет ждать его прихода нежная наложница.

В доме на Либердаде — Эмеренсия, толстая, тихая негритянка, лет сорока с небольшим, пышногрудая и широкобедрая. Она готовит баиянские кушанья для богатых семейств и принимает у себя нескольких постоянных и почтенных посетителей. Это самая давняя из нынешних привязанностей майора: он увез ее из дома больше двадцати пяти лет назад.

В доме на Косме-де-Фариа шьет и вышивает на продажу ласковая мастерица Далина: лицо ее побито оспой, ей тридцать лет, она белокура и изящна. Далина познакомилась с майором, когда суровый отец выставил ее, беременную, из дому. Капрал, виновник ее несчастья, уже был женат; узнав о ребенке, он моментально добился перевода на юг. Майор устроил Далину в родильный дом, оплатил счет врачу, но и потом не бросил ее с ребенком на произвол судьбы.

В зеленом домике с розовыми ставнями на Итапажине живет хорошенькая полуиндеанка Мара: ей восемнадцать лет, у нее два золотых зуба, она мастерит матерчатые цветы для магазинчика на Авениде, дом семь, — сколько сделает, столько и продаст. Хозяин, впрочем, уже

не раз предлагал ей заняться иной, более выгодной работой, да и красноречивый красавец художник Флориано Коэльо тоже хотел бы взять ее под покровительство, но Мара хранит верность своим цветам и своему любовнику. Приходит майор, и она окажется в его объятиях, почувствует его дыхание, услышит его охрипший от бессонной ночи голос:

— Как поживаешь, птичка моя?

Три домашних очага, три семьи, три любовницы? «Вранье! Быть этого не может!» — заявляют многие, узнав, сколько возлюбленных у майора, и как не понять их законное удивление и недоверие! В таких случаях майор извиняется, просит принять в расчет его преклонный возраст и хлопотную профессию: конечно, раньше, когда он был моложе и свободней, то сам сбивался со счета, перечисляя свои постоянные привязанности и мимолетные увлечения.

— Аршанжо всегда был окружен людьми, а девицы просто висели на нем, — говорит майор, а главный редактор Ари записывает неразборчивым почерком его слова. Доктор Зезиньо с любопытством слушает рассказ майора. Мелькают люди, события, улицы и даты: память у майора как бездонная бочка. «Лавка чудес», Лидио Корро, Кирси, палатка матушки Теренсии, Ивоа, Роза, Розалия, Эстер, женщины, женщины, женщины, афоше «Дети Баии», мытарства Прокопио, полицейский комиссар-зверюга Педрито Толстяк, забастовка тридцать четвертого года («Об этом сейчас не надо, Ари, будьте добры, пропустите это место», — советует доктор Зезиньо своему редактору: горячая голова, вполне может заострить все внимание на забастовке, и хлопот с цензурой потом не оберешься), сантейро Мигел... Информация богатая, спору нет, но владелец газеты разочарован: вся эта болтовня не имеет никакого отношения к науке.

— Он умер в нищете, да? — спрашивает Ари.

Человек был добрый, простой, но горд и упрям, как черт, никто с ним не мог справиться. Сколько раз майор (и не только майор) предлагал ему поселиться у него: старик в ту пору окончательно лишился работы. Вы бы согласились? А он — ни в какую: «Я и сам не пропаду: в милостыне не нуждаюсь!» — и все на этом. Удалой был старик...

— Ровно двадцать пять лет назад он умер. А восемнадцатого декабря, как раз за неделю до рождества, исполнится сто лет со дня его рождения,

Послышалось восклицание: наконец-то доктор Зезиньо обрел то, чего искал и добивался.

— Что вы сказали, майор? Сто лет? Повторите!

— Так оно и есть: Аршанжо исполнилось бы сто лет. Он шумно отметил свое пятидесятилетие — целую неделю праздновали... Ох, доктор, что это была за неделя!.. Возбужденный Зезиньо вскочил на ноги.

— Неделю, говорите? Торжества, посвященные столетию со дня рождения Педро Аршанжо, будут продолжаться целый год! И начнем мы их завтра же! «Журнал да Сидаде» в связи со столетним юбилеем бессмертного Пердо Аршанжо открывает кампанию по увековечению его имени! Вы поняли? Вы уловили мою мысль? Вот когда я посмеюсь!.. Хотел бы я видеть, какие рожи скорчат Брито с Кардимом! Ари, сообщите обо всем Феррейринье и Голдману. Сегодня же всех собрать! Все на самом высшем уровне! Давно уже такого не было... Пригласим кого-нибудь из правительства, потом университет во главе с медицинским факультетом, Институт истории, Академию языка и литературы, Центр по изучению фольклора, представителей банков, торговых и промышленных кругов! Организуем юбилейный комитет, привлечем людей из Рио!.. Мы утрем нос этим щелкоперам, мы им покажем, как делается газета!..

Ари был со всем согласен:

— «Журнал да Сидаде» давно уже испытывает необходимость начать настоящую кампанию. С тех пор, как запретили критиковать правительство, газета расходится все хуже.

Доктор Зезиньо Пинто повернулся к майору.

— Майор, вы подбросили мне идею, которой нам хватит на целый год! Столетие Педро Аршанжо! Не знаю, как вас благодарить! Чем я отплачу вам?!

Он улыбнулся. Казалось бы, нет награды выше и вознаграждения щедрее, чем ласковая улыбка выдающегося человека, но майора Дамиана де Соузу улыбками не возьмешь.

— Какие пустяки, доктор! — сказал он. — Тут напротив есть бар, пойдете! Поставите мне рюмку коньяку, а лучше две, и сами выпьете. Первую — за меня, а вторую — за Аршанжо: старик без памяти его любил. Пойдете не откладывая, сейчас самое подходящее время.

Выдающемуся человеку вовсе не хотелось накатываться отечественным коньяком за стойкой третьеразрядного кабака да еще в послеполуденный зной. Поэтому он

сделал широкий жест и приказал выдать майору некоторую сумму на кашасу.

В наши дни за все приходится платить: тяжелые настали времена.

3

Великий Левенсон понятия не имел об интервью майора Дамиана де Соузы,— оно попало на страницы газеты уже после того, как американец покинул Баию,— но спустя несколько месяцев его секретарша написала доктору Зезиньо Пинто, редактору-издателю «Журнал да Сидаде», письмо, в котором уведомила его, что Левенсон не сможет принять приглашение этого замечательного органа массовой информации и произнести речь «in memoriam»¹ бессмертного Педро Аршанжо на заседании, завершающем юбилейные торжества. «Профессор Левенсон благодарит за сообщение о почестях, которые будут возданы баиянскому месту, и всецело поддерживает это начинание. Он счастлив убедиться в том, что бразильский народ по заслугам оценил труды этого выдающегося ученого». Но приехать Левенсону при всем желании не удалось, потому что он был связан давно намеченной поездкой на Дальний Восток, в Японию и Китай, и перенести ее не мог. В постскриптуме ученый собственноручно добавил несколько строк и поставил свой росчерк, что превратило письмо, напечатанное на машинке и подписанное секретаршей, в бесценный автограф. Там было сказано:

«P. S. Упомянутый выше Китай — это Китайская Народная Республика, потому что другой Китай или остров Формоза — не что иное, как нелепая и опасная выдумка милитаристов».

«Лауреат Нобелевской премии восхищен инициативой «Журнал да Сидаде» — под такой шапкой была напечатана статья о том, что «великий ученый из Соединенных Штатов восторженно поддерживает начинание нашей газеты», и о том, что он не сможет присутствовать на торжествах.

Доктор Зезиньо не скрывал своей досады: он твердо рассчитывал на прибытие Левенсона, а теперь придется ограничиться национальными гениями и провинциальными

¹ Посвященную памяти (лат.).

знаменитостями. Слабой заменой Левенсону, который, как до того сообщалось официально и переносилось молвой, «спешит к нам с территории североамериканского исполина», должен был стать профессор Рамос из Рио-де-Жанейро.

Могущественный баианский редактор-издатель даже не подозревал, что Нобелевский лауреат едва не послал к черту свои лекции в Токийском университете вместе с приглашением Пекина, чтобы вернуться в Бразилию, чтобы снова увидеть голубовато-зеленое море, и паруса рыбачьих ботов, и раскинувшийся на горе город, и его удивительных жителей, и высокую девушку — как же ее звали? — девушку, стройную как пальма, и ее губы, груди, бедра, живот, потому что забыть все это он был не в силах и хотел еще раз увидеть эту мулатку, словно сошедшую со страниц книг Аршанжо — возмутителя спокойствия, Аршанжо, следы которого едва угадывались в таинственном городе Баие.

Левенсон пробыл там три дня вместо запланированных двух — три дня и три ночи, — и вот какая нелепая и поэтичная мысль родилась у него после этого короткого путешествия: Аршанжо — просто-напросто колдун, он сотворил эту девушку, чтобы ею доказать американцу истинность всего им написанного... Но как же ее все-таки звали? Энн, да, да, Энн, радушная и бесстрашная Энн — и этот идиот жених, что ходил за ней как пришитый...

— Послушай, кто этот мрачный тип, который следует за нами неотступно? Поклонник или шпик? — спросил ее тогда Джеймс Д., осведомленный о нравах развивающихся стран и их режимах, и показал на поэта Фаусто Пену, тенью бродившего за ними по пятам.

— Кто? Этот? — беспечно рассмеялась в ответ Ана Мерседес. — Это мой жених. Раз уж мы заговорили о нем... Помнишь, ты хотел нанять кого-нибудь для сбора материалов о Педро Аршанжо? Он тебе подойдет. Он социолог и поэт, у него есть талант и сколько угодно свободного времени.

— Если он пообещает немедленно приняться за работу и оставить нас в покое, то может считать, что контракт с ним подписан.

Дни были заполнены до отказа, неутомимый Левенсон вместе с Анной Мерседес обегал весь город, прошелся по всем его улицам и закоулкам, заглянул в пышные синеваато-золотые церкви. С кем только он не познакомился: с Камафеу де Ошосси, Эдуардо де Ижеша, местре Пас-

тиньей, Маезиньей и Менининьей, Мигелом де Сантано Оба-Аре. Американец прятался от знаменитостей и отказывался от устраиваемых в его честь обедов, ссылаясь на недомогание. Он не попробовал тонких блюд и не услышал приветственной речи знаменитого академика Луиса Батисты, но зато ел ватапу, каруру, эфо, мокеку из крабов, кокаду¹ и абакаши на рынке Модело, в ресторанчике покойной Марии де Сан-Педро, а из окна были видны рыбацьи лодки, скользившие на всех парусах по глади залива, груды разноцветных фруктов, разложенных на берегу моря...

Он побывал в Алакету, на кандомбле Ольги, дочери Локо и Иансан, и воочию увидел описанных местре Аршанжо ориша и, не слушая объяснений жениха Апы Мерседес, приветствовал их радостно и сердечно. Ошала, опираясь на свой сверкающий посох, в танце приблизился к Левенсону и заключил его в объятия. А Ольга показала ему алтарь — пежи. В баианских одеждах и украшениях Ольга, окруженная свитой иаво и жриц, казалась настоящей царицей. Как это писал Аршанжо? «...Они — царицы, когда стоят на улице у своих лотков с кушаньями и сладостями, а когда выходят на кандомбле, они — царицы вдвойне...»

Когда же наступала короткая баианская ночь — всего три ночи было у него! — американец и Ана Мерседес любили друг друга... Длинные ноги, смуглые груди, аромат тропиков, ее дерзкий, ее бесстыдный смех!..

— Сейчас узнаем, гринго, годишься ты на что-нибудь или это так, одна видимость, — сказала она в их первую ночь и сбросила с себя то небольшое, что на ней было.

Праздник, равного которому нет, праздник смеха, праздник стонов... Что тут еще говорить?! Да и зачем? Знайте, дорогой доктор Зезиньо, что американский ученый Левенсон был готов забыть про Японию и про Китай — имеется в виду Китайская Народная Республика — и был готов принять ваше приглашение, чтобы еще раз увидеть город Педро Аршанжо, таинственную, колдовскую Баию.

Но доктор Зезиньо ничего об этом не знает, а если бы знал, то велел бы дать примерно такую шапку на странице своей газеты: «Великий Левенсон очень, очень скучает по Баие».

¹ Кокада — сладкое блюдо из кокосового ореха.

Те немногие современники Педро Аршанжо, которых случайно, а не в ходе планомерных розысков нашли репортеры, оказались застенчивыми стариками, простыми, совсем простыми людьми, и рассказывали они про своего доброго соседа, чуть-чуть полоумного и беспутного: у него была страсть все на свете записывать в тетрадочку, он внимательно слушал и охотно говорил сам, он искусно играл на гитаре и кабакиньо — о беримбау или атабаке и говорить нечего: этому он научился еще в детстве, когда устраивался праздник на улице или на террейро.

Свидетели то и дело сбивались, очевидцы робели под ужасающим напором журналистов, а те ждали сенсационных подробностей, извращенной и убогой эротики, жестокости, насилия ради насилия — воспоминания стариков о старом времени ни к чему оказались репортерам нашего озверевшего мира. Вроде бы не так уж много лет разделяло их, но по укладу, по ощущениям, по стилю жизни они были настолько далеки друг от друга, что репортер Песанья сказал своим коллегам обоего пола:

— Я, ребята, в полном дерьме! Не о чем писать! Рассказывают бред какой-то про colored¹ старикашку, который двадцать пять лет назад умер и похоронен, про его «Лавку чудес»! Прокол!

Да, репортер Песанья, ты в дерьме, ты, и друзья твои, и подруги, все — в полном дерьме, вы сидите в нем по уши, а кто этого не понимает, тот вдобавок еще и кретин.

— Прокол, ребята! Ничего путного не добились мы с вами! Старичье твердит про эту самую лавку, где зану-да Аршанжо строил из себя артиста, читал стишки. Мура! Не о чем писать! Знаете, этот Аршанжо — просто шут гороховый!

О карнавалах, уличных драках и прочих чудесах, о неграх, мулатах и шведке (оказавшейся на самом деле финкой)

1

Толпа в полном восторге валила по улице, аплодируя, горлая, толкаясь и приплясывая. Карнавал! Каких только костюмов тут не было: «домино», индейцы, афри-

¹ Цветной (англ.).

канцы, шуты, барабанщики, пейзажи и пираты, оборванцы-нищие, звери, птицы!.. Когда процессия вышла к Политееме, грянули рукоплескания, раздался единый ответственный вопль: ура! ура! ура-а-а!

Восторг дополняло удивление: разве доктор Франсиско Антонио де Кастро Лоурейро, временно исполняющий обязанности начальника полиции, не запретил, «стремясь уберечь мораль, добропорядочность, семью и общественный порядок, желая положить конец дебошам и преступлениям», разве не запретил он еще в 1904 году устройство афше, под каким бы предлогом и где бы их ни проводили? Запретил. Так кто же осмелился?

Осмелились «Дети Баии»: никогда еще не выходила на улицы такая огромная процессия; никто еще не видал такого количества людей, такого великолепия красок, костюмов, такого удивительного порядка, такого неистового батуке¹ и такого величественного Зумби.

«Дети Баии» осмелились не просто устроить афше, но и вывезти на улицы «Республику Палмарес» и героических ее защитников. И сам Зумби, король и военачальник, величайший из воинов, разгромивший три армии, угрожавший империи и императору, изображен был в момент битвы: триумфатором стоял он на огненной горе свободы.

В руке он сжимает копьё, а сам совсем голый — только леопардова шкура на бедрах. В такт боевому кличу пляшут негры: они сбежали с плантаций, где с ними обращались как со скотом, сбежали от плетей управляющих, надсмотрщиков и хозяев: отныне они не рабы, они — люди и воины. На левом фланге полуобнаженные негры, а на правом — наемники Домингоса Жоржи Вельо, защитника рабства, не признававшего на войне ни жалости, ни сострадания, ни закона, ни обещаний. «Живыми, живыми взять их, взять и обратить в рабов», — кричит он баиянцам сейчас на карнавале. У него длинная борода, на нем куртка, перевязь и шляпа бандейранта², а в руке — плеть-треххвостка.

Народ неистово приветствовал это неподчинение, этот отважный вызов властям: скажите, доктор Франсиско Антонио де Кастро Лоурейро, скажи, начальник полиции, — кожа-то у тебя белая, зато душа черная, — что за

¹ Батуке — танец негров Баии.

² Бандейрант — завоеватель внутренних районов Бразилии в XVI—XVII вв.

карнавал без афoше — забавы бедняков, театра бедняков, бала бедняков? Неужто мало тебе нищеты, голода, безработицы, болезней, оспы, проклятой перемежающейся лихорадки, дизентерии, уносящей грудных детей, что ты, доктор Франсиско Антонио Бей Негров, решил отнять у народа еще и это?! Освистать начальника полиции, ошкать его, осмеять!! Слава бесстрашным участникам афoше, ура! Ура! Ура-а-а!

И весь карнавал стал приветствовать «Детей Баии» и аплодировать воинам «Республики Палмарес». Такой успех не выпадал даже на долю афoше «Африканское посольство», которое в 1895 году показало волшебный двор Ошала, а через три года вывело на улицы последнего короля Дагомеи со всей свитой,— Его Чернейшее Величество Аго Ли Агбо. Так не хлопали и «Африканским весельчакам» во главе с вождем Лобосси и всему его ангольскому церемониалу. Так не радовались и афoше «Дети деревни», хотя ослепительная эта новинка вызвала в 1898 году немало рукоплесканий и славословий. Короче говоря, успех «Детей Баии» в год запрещения афoше ни с чем сравнить невозможно.

Тут на процессию бросилась полиция, пешая и конная. Народ вступился за «Детей Баии»,— долой негодя Шико, долой произвол и запреты. Началась битва, всадники обнажили сабли, стали рубить по головам, топтать конями, и участники афoше растворились в толпе... Крики, стоны, «ура!» и «долой!», избитые люди, сумятица, свалка, кто-то споткнулся, кто-то упал, вот сыщики схватили кого-то из воинов, но народ, понимающий толк и в празднестве, и в драке, отбил его...

Так в первый и последний раз «Дети Баии» провезли по улицам Баии короля Зумби и непобедимых бойцов «Республики Палмарес».

— Задержите вот того мулата! Он всему голова! — крикнул шпик.

Но мулат-всему-голова — Педро Аршанжо — юркнул в переулочек и помчался по спуску вниз, а за ним еще двое. Один из них, наверно, был при Зумби секретарем, потому что кроме набедренной повязки имел при себе перо, лист пергамента и чернильницу у пояса. Кто же этот писец, как не Лидио Корро? А во втором беглеце по белой коже и по куртке легко было узнать Домингоса Жоржи Вельо, хоть он и потерял в пылу потасовки шапку бандейранта и бороду: в миру звался он Пако Муньос, был галисийцем и содержал кабачок «Цветок Кармо».

Все трое неслись во все лопатки — прямо как чемпионы по бегу, но вдруг Педро Аршанжо, простой воин «Республики Палмарес» и главный заводила, остановился и стал хохотать — громко, добродушно и весело: нарушили-таки несправедливый приказ, состоялся наш праздник!.. Долой деспотизм, да здравствует народ! — гремел его чистый, неумолчный, радостный смех, — и пошли все начальники... ура, ура, ура-а-а!!!

2

Афоше «Дети Баии» было его последней карнаваль-ной потехой: в 1918 году, через пятнадцать лет после запрещения, афоше были разрешены, но у Аршанжо пропал к ним интерес, да и времени не доставало. Впрочем, по просьбе матушки Аиньи он еще принял участие в подготовке афоше «Африканские весельчаки», когда их славное знамя снова взметнулось над карнавальным шествием в руках Бибиано Купима, старшего жреца на кандомбле Огуна.

Афоше означает «волшба», потому Педро Аршанжо и явился к главной жрице, грозной Маже Бассан, испросить у нее благословения и совета. Он рассказал ей, что Лидио Корро, Жозе Аусса, Мануэл де Прашедес, Будиан, Сабина и он сам вместе со всеми прочими неугомонными жителями Тороро затеяли вывести на карнавал группу «Африканское посольство», чтобы показать всем тот мир, откуда пришли в Бразилию негры и мулаты.

Матушка Маже Бассан бросила ракушки, чтобы узнать, кто из богов-ориша и демонов-эшу окажет им покровительство. Оказалось, Иеманжа, царица морей, и эшу Аксан. Потом она принесла оправленный в серебро бараний рог. Без него, молвила она, никакое шествие на улицу выходить не должно.

— Вот оно, афоше, — повторила она и отдала талисман Аршанжо.

«Африканское посольство», первое афоше, которое решилось бросить вызов другим группам, лишив рукоплесканий и успеха могущественный «Красный Крест», монументальный «Конгресс Вулкана», «Слуг Эвтерпы» и прочих — впервые вышло на карнавал в 1895 году.

«Послом», церемониймейстером и несравненным хореографом выступил Лидио Корро. По его знаку

Валделойр, паренек из Тороро, потряс амулетом и запел:

Афоше лони
Э лони
Афоше э лони э.

Все хором подхватили, двинулись дальше, танцую:

И лони о имале ше.

«Сегодня у нас волшба, сегодня волшба», — пели они. «Двор Ошала» — тема, выбранная для процессии, — имел такой успех, что уже на следующий год афоше «Африканские весельчаки», созданное анголезцами и помещавшееся в Санто-Антонио-Ален-до-Кармо, присоединилось к нему. Еще через год целых пять групп запели песни негров и мулатов, песни, которые до тех пор звучали только на макумбах. Самба вышла на улицы Баии.

Как же было не запретить афоше, если песни негров, и их круговая самба, и пляски, и батуке, и все магические церемонии пришлось народу по вкусу?!

Газеты выступили против них, потому что «праздник карнавала, праздник нашей цивилизации все более приобретает африканские черты». В первые годы нового века яростная и систематическая газетная кампания разгоралась всякий раз, когда «африканские группы» брали верх над античной Грецией, над Людовиком XIV, над Екатериной Медичи — словом, над всем, что приводило в умиление людей состоятельных и образованных. «Власти обязаны запретить все эти кандомбле и батуке, которые в дни карнавала заполняют улицы, производя оглушительный и безобразный шум, превращая город в Кинту-дас-Беатас или в Энженьо Вельо, где полуголая толпа отплясывает омерзительную самбу. Афоше несовместимы с тем уровнем цивилизации, которого мы достигли», — кричал «Журнал де Нотисиас», влиятельный орган консервативных кругов.

Но афоше по-прежнему заполняли улицы и площади, будоража народ, который в бешеных ритмах самбы забывал об аллегорических колесницах Больших обществ, об их костюмах времен того же Людовика. Миновало время, когда шествия, организованные аристократическими клубами, приковывали к себе внимание зрителей и сопровождалась бурей восторга. Автор редакционной статьи требовал радикальных мер: «Во что превратится карнавал 1902 года, если полиция не воспрепятствует превра-

щению улиц нашего города в террейро, на которых господствуют африканские фетиши, где устраиваются процессии жрецов-оганов, где гремят ганзы и пандейро? ¹» Но афоше пользовались все большим успехом, все богаче и красочней становились костюмы участников, все громче раздавались звуки самбы и батуке перед театром «Поли-теама», в Кампо-Гранде, на улице Байшо, на Театральной площади. Афоше шли триумфально: их приветствовали, их награждали рукоплесканиями и даже премиями. Афоше и самба распространялись по Баие как эпидемия. Тогда были приняты крутые меры.

В 1903 году, когда тринадцать афоше негров и мулатов прошли по улицам великолепной процессией («Огласив воздух пронзительными звуками наших инструментов, мы победим соперников и докажем клеветникам, что культура черного континента — не выдумка» — так начинался один из их манифестов) и карнавал кончился, журналисты посыпали голову пеплом и покраснели от стыда: «Если кто-нибудь станет судить о Баие по карнавалу, он, несомненно, сочтет наш город африканским. К нашему стыду, надо сказать, что именно сейчас у нас гостит делегация австрийских ученых, и, разумеется, они не преминут расписать все это в газетах цивилизованной Европы, — они только того и ждут». Так куда же смотрит полиция? Что она предприняла «для того, чтобы доказать: Баия — цивилизованный город»? Все эти африканские безобразия продолжают выставляться напоказ, атабаке гремят, колонны цветных всех оттенков — от величественных креолок до изящных мулаток — продолжают отплясывать неистовую бешеную самбу. Сколько еще будет продолжаться это надругательство, эта волшба, это шаманство? Что станет с нашей латинской культурой? Да, мы наследники латинской культуры, и пусть все помнят об этом, а для забывчивых есть полицейская дубинка и плеть.

И в конце концов полиция вступилась за цивилизацию, мораль и семейные устои, за порядок и добропорядочность, защитила оказавшееся под угрозой общество и богатые процессии привилегированных Больших обществ вместе с их аллегорическими колесницами. Были запрещены афоше, самбы, батуке и «выступления групп с африканскими обычаями». Лучше поздно, чем никогда! Приезжайте, австрийские ученые, приезжайте, немцы,

¹ Ганзы и пандейро — разновидности погремушек.

бельгийцы, французы или белокурые жители Альбиона! Приезжайте, теперь можно!

А приехала Кирси, шведка, — впрочем, тут же следует оговориться: не шведка она, как все думали и говорили, не шведка, а финка, пшеничноволодая, удивленная финка. В первый день великого поста, промокая до нитки и изумленная до крайности, появилась она в воротах Золотого Рынка, и губы ее дрожали от страха. А глаза у нее были бездонной голубизны...

Педро Аршанжо поднялся из-за стола, на котором стояли кускус и бататы, улыбнулся широко, как он умел, и твердыми шагами двинулся прямо к гостье, словно ему поручено было принять ее, и протянул ей руку:

— Выпейте кофе.

Так и осталось неизвестным, поняла ли она, что ее приглашали к завтраку, или нет, но если и не поняла, то приглашение приняла и, присев к столу матушки Теренсии, жадно набросилась на кускус, бататы, сладкую маниоку и пирожки из той же маниоки, только размоченной в воде.

В лавке Миро вспыльчивая Ивона страдала от ревности, бормотала «ах ты, дешевка занюханная», матушка Теренсия потупила печальные свои глаза, — кто знает, может быть, они стали в тот миг еще печальней, — а гостья, насытившись, произнесла что-то на своем языке и улыбнулась всем. Негритенок Дамиан, который стоял помалкивал, не выдержал и засмеялся в ответ.

— Ох, до чего же белая! Как будто белилами намазана!

— Она шведка, — объяснил Мануэл де Прашедес, который заглянул к матушке Теренсии выпить кофе и еще чего-нибудь. — Она со шведского парохода, который грузит сейчас дерево и сахар. Мы с ней приплыли на одном лихтере. — Мануэл де Прашедес работал в порту грузчиком. — Это часто бывает: полоумная богатая дамочка, захотела мир посмотреть, вот и пустилась в плавание на сухогрузе...

Но Кирси не выглядела ни богатой, ни полоумной, по крайней мере, здесь, в палатке Теренсии: платье ее еще не успело высохнуть, мокрые волосы прилипли ко лбу. Какая там дамочка: девочка, а не дамочка, невинное, хрупкое, нежное дитя...

— Швед снимается с якоря в три, а ей надо быть на борту раньше, — она знает: капитан предупредил ее перед тем, как она сошла на берег.

— Кирси,— сказала она, приставив пальчик к груди, и повторила по слогам: — Кир-си.

— Ее зовут Кирси,— сообразил Аршанжо и произнес: — Кирси.

Шведка радостно захлопала в ладоши, подтверждая, потом прикоснулась к плечу Аршанжо и что-то спросила по-своему.

— Ну-ка, мудрец, отгадай загадку,— поддразнил Аршанжо Мануэл.

— Тут, милый, и отгадывать нечего.— И он повернулся к девушке — он понял, о чем она его спрашивала, он ткнул себя в грудь и повторил: — Педро, Педро, Педро Аршанжо Ожуоба.

— Ожу... Ожу...— произнесла она.

То был первый день великого поста. Накануне, во вторник, полиция рассеяла, разогнала, растоптала афоше «Дети Баии», афоше, которое у здания театра «Поли-теама» хотело отстоять право народа на самбу и на свободу. Одного полицейского Дамиан ухитрился сшибить с лошади и в качестве трофея принес домой его фуражку, но, боясь наказания, не показал ее даже Теренсии. Он побежал достать припрятанное сокровище, а когда вернулся со своей добычей, ни Аршанжо, ни шведки уже не было.

Зато Мануэлу, двухметровому широкогрудому гиганту, который еще накануне был Зумби, королем «Республики Палмарес», фуражка доставила много удовольствия. Вчера вечером он стоял с копьём на афоше и дрался с полицейскими; на рассвете переносил грузы с лихтера в трюм шведского парохода, который ночью стал в бухте на якорь,— Мануэл не успел поговорить и обсудить события с Аршанжо, Корро, Валделойром и Аусса: ведь это он начал свалку, он избил нескольких полицейских, а сколько именно, и не помнил, а потом ждал пароход и хохотал от души. Могучей рукой он приласкал Дамиана:

— Лихой парнишка растет!

— Я вот из него эту лихость выбью,— тихо и серьезно пригрозила Теренсия, устремив куда-то неподвижный взгляд.

— Ну, полно, матушка Теренсия! Как же вчера было не подрасться?! Ведь мы были правы, а не они! Разве не так?

— Он еще несмышлениш, нечего ему соваться в эти дела.

Несмышлениш? Самый юный из воинов Зумби, лихой боец — вот полицейская фуражка в подтверждение — несмышлениш?! Мануэл захохотал с такой силой, что весь рынок затрясся.

А под дождем шли к Табуану, взявшись за руки, шведка и Аршанжо, шли, не произнося ни слова, — только смеялись.

Какая-то странная тишина воцарилась в палатке. С чего бы это? Мануэл решил продолжить беседу:

— А вы, матушка Теренсия, не были вчера на карнавале?

— Зачем я там? Не люблю я праздники и карнавалы, сеу Мануэл...

— Как зачем? Посмотрели бы на нас, на паше афоше: я был король Зумби, а сынок ваш представлял моего воина! Местре Педро обрадовался бы, если б вы пришли.

— Никому я не нужна, а уж куму моему — меньше всех... У него и так есть кому радоваться, а меня он даже не замечает... Теперь еще вот появилась эта белобрысая с парохода... Лучше уж мне, сеу Мануэл, тихо сидеть в уголку, да и забот у меня много...

Ветер принес издали смех: взявшись за руки, шли песчаным берегом Аршанжо и шведка.

3

Они понимали друг друга без слов: они объяснялись жестами и смехом, они зашли в золотую церковь Святого Франциска, и в серую церковь на Ларго-да-Се, и в синюю церковь Розарио-дос-Претос. Траурные привидения, старые святоши, согнутые под бременем языческих грехов карнавала, просили снисхождения и каялись у алтарей. Кто заслужит милосердие господя нашего? Шведка, переходя из церкви в церковь, удивлялась все больше и больше, раскрывала глаза все шире и шире — и крепко держала Аршанжо за руку.

Они ходили по улицам и переулкам; Аршанжо показал ей на закрытые двери «Лавки чудес». Накануне Лидио Корро по случаю праздника выпил не менее бочонка: стало быть, проснуться собирался не ранее вечера. Кирси жестами — много было смеха — спросила Педро, где он живет. Да вот же, совсем неподалеку: окошко его мансарды смотрит на море, а по ночам в него заглядывают

луна и звезды. Пять лет назад снял он этот чердачок у испанца Сервино, и еще тридцать суждено ему было прожить там.

По темной крутой лестнице сновали мыши, и когда одна из них, совсем обнаглев, прыгнула на Кирси, шведка так испугалась или так обрадовалась предлогу, что мигом очутилась в объятиях Аршанжо, и он поцеловал ее в солоноватые, пахнущие морем губы, а потом взял, как ребенка, на руки и понес по лестнице наверх.

В мансарде пахло листьями питанги, и бочонок выдержанной кашасы стоял в углу, распространяя аромат старой древесины. А в другом углу Аршанжо устроил что-то вроде алтаря, да только не алтарь это был: вместо изображений святых стояли на нем атрибуты и орудия «посвященных» Эшу, и за Эшу выпивался первый стаканчик кашасы.

Одни говорили, что Аршанжо — сын Огуна, а другие — что сын Шанго, что при дворе Шанго занимал он высокий пост и носил громкий титул... Но когда начиналась волшба, первым, раньше всех, отзывался бродяга Эшу, повелитель всякого движения, а уж потом отвечал своему Ожуобе Шанго, а за ним — Огун, и оказывалась неподалеку царица вод Иеманжа. Первым же всегда был хохочущий Эшу, страшилище Эшу, гуляка Эшу. Конечно, Аршанжо был у демона под покровительством.

Кирси остановилась у алтаря, а потом показала в окошко на шведский корабль. Струя дыма подымалась из его трубы. «Это мой пароход», — сказала она на своем языке, но Аршанжо понял и взглянул на часы: был час полдня, и колокола подтвердили это. И под звон колоколов, без стеснения, но и без вызова, разделась она, разделась естественно и просто, улыбнулась и что-то сказала по-фински, — может быть, то была молитва, а может быть, просто присловье, — кто знает?.. Под звон колоколов простерлись они на кровати; день стал клониться к закату, но они не заметили этого.

И вот смолкли колокола, но требовательно загудел пароходный гудок, извещая о скором выходе в море, призывая на борт загулявших в портовых притонах матросов. Клубы дыма повалили из трубы. Взвыла сирена — это на корабле хватились пассажирки. А на чердаке двое стали единым существом, и единый сон сковал обоих. Аршанжо, убаюканный странными, мелодичными звуками чужой речи, неведомой лаской северных стран, заснул, и заснула рядом с ним Кирси.

Они проснулись одновременно: тревожный, требовательный зов паровой сирены разбудил их. На часах было половина четвертого. Аршанжо, бледный от вожделения, изломанный тоской — как быстро, как мало! — и все уже кончилось! — вскочил на ноги, натянул штаны. Море, корабль, капитан требовали Кирси назад. А она засмеялась.

И потом, поднявшись с кровати, белая, обнаженная, подошла к окну, помахала кораблю на прощание. Рука ее легла на грудь Аршанжо, прикоснулась к его бархатистой мулатской коже, скользнула на поясицу, — зачем одеваться? как глупо... Она говорила что-то еще, говорила на своем непонятном языке, но Аршанжо понял, что слова ее были словами любви.

— Гринга, — так отвечал он ей, — если дитя, которого мы зачали сегодня, родится мальчиком, то мальчик этот станет самым умным, самым сильным человеком на свете, королем Скандинавии или президентом Бразилии. А если будет девочка... Ах, если родится девочка, то никто и никогда не сравнится с нею по красоте и стати. Иди ко мне.

Долго еще выл паровой гудок, зовя пропавшую пассажирку... Дали знать в полицию. В конце концов капитан приказал сниматься с якоря: больше ждать нельзя... Прав оказался судовладелец, когда сказал ему, увидев на палубе путешественницу: «Вы наплачетесь с этой сумасшедшей! Капитан, когда в первом же порту она исчезнет, прошу вас не задерживаться!» В гавани Баии слова хозяина подтвердились.

Скорей, скорей, гринга, скорей, а теперь не торопись... Слились воедино, перемешались слова Аршанжо и Кирси, и слова их были словами любви.

4

Сумерки гасят солнечный свет: почти пустая Ладейра-до-Табуан еще не успела опомниться от вчерашнего карнавала. Местре Лидио Корро, склонившись над листом бумаги, рисует карандашом, пишет красками, создает «чудо». Он начал еще до праздника, а кончить надо сегодня, и на лице его, несмотря на усталость и лень, появляется улыбка.

Чудо было великое, достойное обета и благодарности, — вот ради благодарности этой Лидио Корро, живо-

писец и гравер, не жалел красок, не щадил себя. Он, правда, мало думал о благодати, о чуде, о небесной милости: он был доволен и улыбался, потому что ему нравилась сама работа — светлая, многоцветная, со множеством искусно расположенных фигур. На картине бежали лошади, стоял спаситель, рос дремучий лес. Больше всех, однако, нравился ему ягуар.

Кисточка притрагивалась то к одному краю бумаги, то к другому, и зеленел лес, чернело ночное небо, и люди четче выделялись на его фоне. Сцена, изображенная Лидио, полна была пафоса, и мастер уже оканчивал свою работу. Может быть, стоит пририсовать пару молний, разрывающих ночную тьму,— молнии добавят драматизма?..

Когда Лидио Корро, сорокалетний невысокий крепыш-мулат, человек живой и озорной, сел за работу, работа у него сначала валялась из рук. Накануне он крепко перебрал: они с Будианом потеряли счет выпитому на батуче в доме Сабины. С какой-то минуты Лидио уже не помнил, как завершился праздник, как он добрался до «Лавки» и кто ему в этом помог,— он очнулся в два часа дня и увидел, что лежит, не сняв одежды, не скинув ботинок, на своем топчане, на том самом, где спал — один или с очередной подружкой — в глубине мастерской. Мастерская была ему домом: там и кухонька, и вымыться можно в свое удовольствие, а за домом, на клочке земли, Роза высаживала и выращивала цветы... Если бы Роза решила, какой сад вырос бы от прикосновений ее рук!.. Лидио сварил себе крепкого кофе. Никто не видел на вчерашнем карнавале Розу де Ошала...

Больше всего хотелось художнику снова улечься и заснуть и проспять до вечера, а потом уж отпереть двери, принять друзей и поговорить. А поговорить есть о чем: вчерашние события наверняка обросли невиданными подробностями, слухами и толками. Вчера у Сабины кто-то рассказывал невероятную новость: начальник полиции, доктор Франсиско Антонио де Кастро Лоурейро, прослышав, что негры и мулаты осмелились нарушить его приказ и вывести свое афше на улицы, внезапно заболел.

Доктор Франсиско Антонио, выходец из знатного и прославленного рода, был человек властный, злой и упрямый: приказы его следовало выполнять беспрекословно, точно и в срок. Он не мог и представить себе, что его слушаются, что пренебрегут изданным при его посред-

стве эдиктом, что участники афаше объединятся и продефилируют по улице, да еще не просто так, а устроят оскорбительную для его достоинства свалку. Эта беспримерная дерзость, эта никем не предусмотренная выходка, разумеется, требовала тщательной подготовки, величайшей секретности, времени, денег — словом, организации. Доктор не мог поверить, что на такое неслыханное деяние решилась шайка цветного сброда, здесь следует искать ловкие козни негодяев монархистов или заговор мерзавцев оппозиционеров, — видна их рука... Но если это и вправду сделано метисами и черномазыми, то доктору остается только умереть или — что хуже смерти — подать в отставку.

Перед доктором Франсиско Антонио, который был известен отвагой и жестокостью, самые матерые бандиты моментально теряли свой гонор, самые закоренелые преступники готовы были со страху намочить штаны. И вот героический начальник полиции, настоящий «гроза негров», выставлен на посмешище всему городу, опозорен публично, освистан, опикан, оскорблен — и кем же, кем? Бродягами и уличными мальчишками. Доктор Франсиско Антонио, задыхаясь от ненависти, унижения и уязвленной гордости, ежеминутно ожидая отставки, слег в постель, звал врачей и принимал лекарства.

Рисую заказанную картину, которая получалась на диво хороша, Лидио Корро дал волю воображению: может быть, в эту самую минуту семейство исполняющего обязанности начальника полиции дает обет спасителю Бонфинскому, чтобы он сохранил доктору жизнь и не допустил его увольнения, и, может быть, еще придется художнику, секретарю короля Зумби, церемониймейстеру афаше, распорядителю танцев, еще придется рисовать лежащего в постели, позеленевшего от бессильной ярости Франсиско Антонио, а душа полицейского будет ныть от самбы и песен на языке наго, а в душе-то у доктора кроме тщеславия, высокомерия и презрения к простому народу ничего и нет... Никогда еще не удавалось им лучшей проделки, никогда еще этот самый пресловутый простой народ не отвечал на законы и запреты власть имущих с таким мужеством и благородством. Когда Аршанжо прочел в газете о запрещении афаше, самбы и батукке и предложил устроить эту проказу, даже он, Корро, сказал тогда: «Это невозможно». Но разве в силах кто-нибудь переспорить златоуста Аршанжо, который в один миг приведет целую кучу — не кучу, а гору — до-

водов и доказательств?! Но и Лидио обязан отвечать за все случившееся: он, Будиан, Валделойр и Аусса, не говоря уж о Педро Аршанжо, заварившем всю кашу, были в этом деле главными заводилами.

Нехотя, лешиво взялся он нынче за кисти-краски: как можно участнику карнавала работать в первый день великого поста, в день отдыха?! Но откладывать было нельзя: заказ следовало сдать в четверг, не позднее девяти утра, потому что на одиннадцать часов клиент — некий Ассиз, богатый провинциал, владелец табачных и сахарных плантаций, — уже позвал падре, который отслужит мессу, прочтет проповедь. Плантатор дал настоящий обет, без обмана: он обошелся ему в кругленькую сумму, — целый урожай табака уйдет на него: одних только свечей в метр длиной заказал два десятка... А фейерверк, сеу Корро? А гостиница, в которой уже неделю проживает моя семейка, знаете, сколько у меня домочадцев? И вас приглашаю, после мессы отпразднуем, если будет на то господне соизволение...

— Дорогой вы мой, я никак не успею к четвергу. Карнавал в самом разгаре, а уж во время карнавала на меня нечего и рассчитывать, да еще в этом году! Если вы так торопитесь, закажите «чудо» кому-нибудь другому.

Но плантатор и слышать не хотел о другом: подавай ему только Лидио Корро — и все тут: имя художника гремело от сертанов до юга: из Ильеуса и Кашоэйры, из Белмонте и Фейры-Санта-Аны, из Ленсоиса и даже из Аракажу и Масейо приезжали к нему заказчики. Ассиз уперся: «Сеу Корро, только вы! Мне говорили, что лучше вас никто не сделает, а я, друг мой, хочу, чтобы все было по первому разряду! Ведь такое чудо, сеу Корро, не безделица какая-нибудь! Это был же ягуар, а просто чудовище! А глаза! Глаза так огнем и полыхали!» Но, если верить сертанцу, спаситель в тот раз превзошел самого себя...

Под печальным, беду предвещающим небом, вынырнув из густого зеленого леса, стоит, готовясь к прыжку, голодный хищник, дикий черно-желтый зверь, — он царит над небом и землей, он главенствует и в картине местре Корро: рядом с огромным его телом пигмеями кажутся люди и садовые кустами — деревья. Сверкают, как вспышки выстрелов, его глаза, полыхают огнем — и вся картина освещена только ими, потому что художник, поразмыслив, от молний решил отказаться — ни к чему они,

и без них страшно: завораживающие звериные глаза пронзали тьму и приковывали к месту путников.

Четверо взрослых и трое детей спали на лесной прогалине, когда рев исполинской кошки разбудил их. Лидио изобразил оцепеневших от ужаса людей. Заржали и умчались кони — на картине видны были только их задние ноги... Настоящее чудо, ошеломительное чудо трудно изобразить на картине — вот потому-то и поборол Лидио Корро усталость и лень, потому-то и взялся он за работу, что трудно... А когда легко, тогда неинтересно, тогда вдохновения нет... Лидио Корро — художник: у него есть и гордость и тщеславие. Разве одному только Франсиско Антонио дозволено быть самолюбивым и гордым?!

Не каждый день приходится писать такую картину, не всякий заказ выполняет он со столь великим тщанием. Старательно выводит он внизу буковки: «Великое чудо, свершенное спасителем Бонфинским января пятнадцатого дня в лето 1904, когда Рамиро Ассиз, проезжая из Амаргозы в Морро-Прето вместе с женою, незамужнею сестрою, тремя детьми и нянькой, остановился на ночлег и подвергся нападению ягуара. Они воззвали к спасителю, и ягуар застыл на месте, не тронул их, а потом исчез».

История эта, уместившаяся в нескольких строчках, может показаться вполне заурядной. Так нарисуй же, местре Корро, волнение, отчаяние, ужас, изобрази мать, едва не потерявшую тогда рассудок, и самого Рамиро Ассиза, а в руках у него — никакого оружия, только ножичек, которым нарезают табак: карабин-то остался у седла!..

Нарисуй, как неслышными, предательскими шагами вышел из чащи ягуар, вышел и двинулся к самому младшему из сыновей сеньора Ассиза, а тот еще и ходить-то не научился и в невинности своей улыбнулся, увидав такую большую кошку... Вот тогда Жоакина, супруга Рамиро Ассиза, мать его детей, испустила отчаянный вопль:

— Господи, спаси мое дитя!

И господь услышал ее и подоспел на помощь в мгновение ока. В двух шагах от младенца застыло чудовище, словно удержала его длань господня. Тогда и взрослые и дети — все, кроме младшенького, еще некрещеного: он ничего не подозревал и смеялся, довольный, — все хором, в едином вопле воззвали к господу нашему: «Спаси нас!»

Рамиро Ассиз сулил художнику золотые горы. «Кто этого не видал, местре Корро, тот не поверит! Ягуар повернулся, медленно пошел обратно в заросли и исчез! Мы обнялись! Все говорят, что лучше вас нет художника в Баие. Нарисуйте мне все, что я тут вам рассказал, все как есть!»

Правильно вам сказали, сеу Ассиз, чистую правду! Много художников рисуют «чудеса» в Баие: в одном только квартале между Пелоуринью и Табуаном живут еще трое, не считая местре Корро, а вот равного ему не сыскать во всей Бразилии, — народ провозгласил его лучшим из лучших, а сам Лидио хвастаться не любит и не умеет. «Покумекаю, потружусь для святого, он заслужил».

С особым тщанием отделявал местре Корро фигуру спасителя: он распят на кресте, но одна его рука указывает на ягуара и на семейство Ассиза. В верхней части картины — там, где и творит господь свое чудо, — свет одолевает тьму, словно приближается, угадываясь в ночи, заря.

Потом Лидио снова занялся тем, кто был ему больше всего по душе, но никак не желал подчиниться воле художника: ягуар был чудовищных размеров, пятнистый, свирепый — все как полагается, и глаза горели, но вот пасть — пасть улыбалась! Чего только не придумывал художник, чтобы уничтожить эту улыбку, убрать нежность — он сделал обыкновенного ягуара из сертана ростом с тигра и страшным, как дракон, — ничего не помогало, это было выше его сил, ягуар, невзирая на все старания художника, улыбался, улыбался, и становилось ясно, что тайный договор заключен между лесным страшилищем и младенцем, что они давно друг друга знают и дружат с незапамятных времен. В конце концов Лидио сдался и поставил в углу свою подпись. Красной краской обвел он картину, белилами вывел свое имя и адрес: «Местре Лидио Корро, «Лавка чудес», Табуан, дом № 60».

И вот в предвечернем тускнеющем свете, в лиловатом отблеске наступающих сумерек любитесь местре Корро, искренне и взволнованно любитесь своим творением: хорошо получилось, красиво. Еще один шедевр создан в его мастерской, в «Лавке чудес» (если бы Роза уступила, мастерская стала бы называться «Лавка Розы и чудес»), где изо всех сил борется скромный, но в совершенстве знающий свое ремесло мастер. А ремесло его — не только

рисовать «чудеса» для тех, кто дал обет: спросите любого, кто такой Лидио Корро, сколько всякой всячины придумывает он и делает. Впрочем, не в одиночку: их двое. Лидио Корро и Педро Аршанжо, — они неразлучны, они почти всегда вместе, а когда они вместе, их не одолеть никому. Кумовья, братья, больше чем братья: они близнецы, они срослись воедино, они как два эшу носятся по городу. Не верите — пойдите в полицию, спросите у доктора Франсиско Антонио, он подтвердит!

Пятясь, отходит Лидио от картины, чтобы взглянуть на нее издали. Мало света, опускается вечер...

— Красиво, — слышен вдруг голос Аршанжо, — будь я богат, каждую бы неделю заказывал тебе по «чуду». Висели бы они на стене, как захотел — так и посмотрел.

Художник повернулся, улыбнулся в темноте и заметил девушку, фарфоровую, светящуюся белизну ее лица. Совсем ребенок!

— Кирси, — представил ее Аршанжо, и видно было, что он счастлив.

— Очень приятно, — ответил Корро и протянул руку. — Входите, будьте как дома. Скажи ей, чтоб села, а сам зажги свет.

Он не удивился появлению неожиданной гостьи-иностранки. Повернул картину к свету и долго-долго смотрел на нее, словно хотел запомнить навсегда. А из-за его плеча смотрела на картину высокая и стройная гринга, смотрела, и восхищалась, и радовалась, и хлопала в ладоши, и что-то восклицала на своем непонятном языке. Теперь все в сборе — не хватает только перелетной птички Розы... Кто знает, вдруг появится она сейчас? В «Лавке чудес» все может случиться. И случается.

5

Днем там постоянно толчется народ, а к вечеру его становится еще больше, и, как только погаснут лампы, извещающая о начале представления, люди нетерпеливо ждут обещанного. Потом остаются лишь ближайшие друзья, и разговор идет обо всем на свете.

Даже в великопостный четверг после карнавала нет отбоя от тех, кто желает посмотреть волшебный фонарь, установленный на кухне. Кто придумал этот недоразвитый кинематограф, Лидио или Аршанжо? Неизвестно, но уж наверно Лидио вырезал из толстого картона эти пло-

ские фигурки, а Педро, должно быть, заставил их двигаться, сочинил им забористый, крупной солью сдобренный текст.

Гасится свет, только тускло поблескивает огонек лампы в черном сукне, и на беленной известью стене появляются тени озорных и наивных персонажей. Все очень просто и бедно, и стоит двадцать рейсов с человека. Приходят сюда старики и молодежь, богатые и бедные, поденщики, матросы, торговцы, в темноте прокрадываются посмотреть и женщины.

И вот на белой стене два неразлучных дружка, Толстячок и Лысый, клянутся в вечной дружбе, целуются и обнимаются, но выходит на сцену шумная Лили-Соска — и к черту летит вечная дружба. Оба оспаривают прелестницу и награждают друг друга зуботычинами, пинками, оплеухами, затрепинами, и драка эта вызывает восторг у публики.

А дальше события развиваются еще хлеще: Лысый, одолев соперника, набрасывается на Лили, валит наземь и вот-вот уже добьется своего... Зрители в полном восхищении: стремительно приближается блаженный итог стараний Лысого. Но это еще не конец развлечению, главное впереди, — не зря же тут берут за вход двадцать рейсов. В самый разгар любовных утех Толстячок, оправившийся от поражения, алкая мести, принимает участие в представлении, а Лысый так занят своим делом, что замечает соперника, только когда тот уже его оседлал...

Спектакль окончен, зрители весело расходятся, а через некоторое время придут новые. Волшебный фонарь работает с шести до десяти. Вход — двадцать рейсов, это недорого.

6

Часто бывает, что Лидио Корро, искусно и старательно выполнив заказанную работу, не хочет расставаться с ней, не желает отдавать ее клиенту, а мечтает оставить у себя и повесить на стенку. Ну не все, так хоть самые удачные... Но висит в «Лавке чудес» только одна картина.

Изображает она иссохшего, бледного, тощего человека в последней стадии чахотки. А спасся он от смерти потому, что, когда уже началось у него кровохарканье, родная его тетка, не верившая в медицину, но очень

почитавшая пречистую, обратилась за помощью к богородице Кандейанской и ей вверила судьбу племянника, который уже захлебывался кровью.

Тетка болящего лично явилась заказывать работу. Была она толстой, упоительно говорливой — куда там Ассизу с его ягуарами! — и очень еще ничего из себя. Мануэл де Прашедес, присутствовавший при встрече художника с заказчицей, так и впился в нее взглядом — нравились ему толстые женщины. «Я люблю мясо! Кости пусть собаки грызут, хотя попробуй дать дворняге добрый кус окорока или там, скажем, ростбиф — увидишь, что будет!..»

Тетка, удостоенная небесной милости, очень гордилась чудом: она стала доказывать преимущества пресвятой девы перед медициной и хвастаться, в каком она фаворе у богородицы. Мануэл де Прашедес сообщил ей, что и он очень почитает деву Марию и ежегодно, дождь ли на дворе или ведро, отправляется на праздник в Кандейас. Пречистая не подведет!

Заказчица покочетничала с Мануэлом, а художнику предложила задаток в виде половины условленной суммы — и тут Лидио очень повезло, потому что больше клиентка не появилась. Говорили, что новый приступ кровохарканья пречистая не остановила, а почему — неизвестно: видно, были у нее на то серьезные причины. Просвещенное мнение Розенды Батисты дос Рейс, которой Лидио поведал всю эту историю, было таково: пресвятая дева оскорбилась, что толстуха и грузчик все упоминают ее имя, а сами тем временем завели флирт, и покарала их, оставив чахоточного племянника легкомысленной тетке на произвол судьбы. Суждения Розенды всегда были разумны, слов на ветер она не бросала, в чудесах и обетах разбиралась.

На картине в мрачно-торжественных тонах изображена была унылая комната, тесная и сплошь залитая кровью. Умиравший — обессиленный, обескровленный человек — полулежит на холостяцкой кровати: живые мощи, восковое лицо, и ясно, что он долго не протянет. Рядом стоит веселая и набожная тетка — юбка в цветок, красная шаль, — смотрит на пресвятую деву и молит о сострадании к мукам больного. Кровь заливают постель, простыни, растекается по полу, захлестывает небо, а чуть поодаль от этой кровавой лужи стоит фаянсовый ночной горшок, расписанный зелеными, розовыми и красными цветочками — такими же точно, как на юбке. Должно

быть, этими цветочками местре Корро хотел смягчить чересчур мрачный колорит картины, оставившей у каждого угрюмое ощущение безнадежности и смерти... «Ах, дорогая моя, посмотрите на полотно, взгляните в лицо страдальцу — и вы поймете, что никакие святые ему уже не помогут...»

Чуда не произошло, пречистая не сжалилась, а картина так и осталась висеть на стене между раскрашенной гравюрой и изображением святого Георгия на белом коне, который попирает огнедышащего дракона, и плакатом «Мулен Руж», — на плакате стояла подпись Тулуз Лотрека, и французенки со вздернутыми юбками, показывая бедра, подвязки и кружева, отплясывали канкан... Каким ветром занесло к Лидио этот плакат?

Ах, до чего ж хотелось ему оставить у себя хоть некоторые работы — самые красивые, те, что труднее всего дались, что написаны так искусно и старательно! Да как оставишь, когда деньги нужны? Деньги, много денег, и срочно! Корро откладывал, относил еженедельную выручку в банк сеу Эрвала в Нижнем Городе: типография, пусть хоть самая заваливающая, стоит кучу денег...

Иметь собственную типографию было его единственным желанием, и скоро желание это осуществится... Да, единственным, потому что любви Розы до Опала не добьешься никакими деньгами, никакими трудами, — так и останется эта женщина недостижимой мечтой... Для этого нужно, чтобы, объединив свои усилия, сотворили бы величайшее чудо и господь наш, спаситель Бонфинский, и святая дева Кандейанская — оба разом, да еще, наверно, пришлось бы дать обет и Ошолуфану, Опала-старцу, главному над всеми богами.

7

Вот оно, чудо, любовь моя: пляшет Роза де Опала — белая верхняя юбка необъятной ширины и семь нижних юбок, голые руки и плечи под кружевом, ожерелья, браслеты, бисерные бусы, — пляшет и смеется диким своим смехом. Чтоб рассказать про Розу, Розу де Опала, Розу-негритянку, чтоб описать, как веет от нее ароматом ночи и запахом самки, как блистает ее шелковая, нежная, словно лепесток, иссиня-черная кожа, как бренчат ее серебряные браслеты, как полна она глубинной гордой силы и красоты, как томно сияют ее колдовские

глаза — для всего этого надо быть великим поэтом, рас-
трепанным рапсодем, а бродячий певец-гитарист с со-
седней улицы, хоть и ловко складывает семистопные
частушки, тут не справится, нет, не справится!..

Шла однажды Роза, разодетая для праздника, по ули-
це, в «Белый дом» направлялась, пятница была, потому
и купила она белого козленка, чтобы принести его в
жертву отцу Ошолуфану. А из окна богатого особняка
глядели, как несет Роза дар божеству, как идет она во
всей царственности и великолепии — все на ней новехонь-
кое, — а каблук ее отстукивают мелодию, и тянется она
за нею следом, а в волосах у нее роза, бедра качаются,
как волны в час прилива, солнце блестит-отражается на
полуоткрытой груди, — так вот, глядели на нее из окна
двое важных сеньоров: один уже сильно в летах, а
другой совсем молоденький.

И оба вздохнули, и тот, что был помоложе — изне-
женный барчонок, рахитичный неженка-хвостун — такие
рождаются, только когда спят кузины с кузенами, чтоб
не испортить породу, — сказал, запинаясь: «Вот это жен-
щина, полковник! Все бы на свете я отдал, чтобы согре-
шить с нею!» А старый фазендейро — был он когда-то
могучим деревом, стремительным речным потоком, не-
укротимым жеребцом — отвел глаза от удалявшейся не-
гритянки, взглянул на миловидного и малокровного, хи-
лого и унылого вырожденца и ответил ему так: «Эх, док-
тор! Такая женщина требует сноровки и силы: ни твоей
леечкой, ни моим подгнившим суком с нею не совлада-
ешь! Я для нее — староват, а ты — слабоват...»

Берет Лидио Корро флейту, будит мелодией звезды,
гитарным перебором ищет Педро Аршанжо, луну в небе-
сах, подносит ей, Розе, — ничего для нее не жалко, ниче-
го для нее не слишком, и о Розе рождается в «Лавке чу-
дес» самба, и плачет-заливается флейта о любви...

Роза всегда приходит нежданно-негаданно и так же
уходит — вдруг пропадает по неделям и месяцам, и ни-
кто не знает, где она. Точна она, только когда выполняет
обряды кандомбле — не все, правда, и не всякие, — когда
принимает Ошала в «Белом доме», когда причаливает
туда челн Огуна. Неожиданна она всегда и во всем —
и лишь в кругу жриц на больших празднествах заста-
нешь ее непременно.

Вот появится на целую неделю — с понедельника до
субботы, придет раньше всех, уйдет на заре, будет весе-
ла, будет смеяться, и напевать, и перебрасываться с Кор-

ро шутками-прибаутками, и на его руку опираться, и на его плечо склонит голову — нежная возлюбленная, заботливая хозяйка — все приберет и вычистит, — и думает Лидио, что она решилась и пришла навсегда; вот она — любовница, подруга, законная жена, вот она — его женщина. Но чуть только покажется все окончательным и надежным, как она исчезает, пропадает, не дает о себе знать месяц или два, и уходит тогда из жизни радость...

Когда больше года тому назад вдруг, внезапно, неизвестно почему случилось это чудо, Лидио Корро, который давно уже собирался с духом, захотел немедля оформить их связь и заявил Розе прямо и без экивоков: «Собирай-ка свои вещички да перебирайся ко мне!»

...Они возвращались тогда с какого-то праздника, и Лидио предложил проводить ее: дорога была пустынная и опасна, а она попросила показать ей волшебный фонарь, о котором столько шло разговоров, и до слез смеялась над Лысым Зе, и, выпив стакан алуа, без принуждения, сама, с жадной страстью отдалась Лидио — видно было, что нуждалась она в его любви. Три дня и три ночи не покидала Роза мастерскую, навела в ней порядок и чистоту, распевала песни, а Лидио смеялся от счастья... Но стоило ему упомянуть о переезде — вмиг сделалась она холодной и суровой и вот какую горькую угрозу произнесла: «Никогда не говори об этом, никогда, а иначе больше меня не увидишь! Если ты любишь меня, если я тебе по сердцу — не противоречь, согласишься, чтобы я приходила когда захочу, когда будет на то моя воля. Ни о чем я тебя не прошу, об одном прошу: не лезь в мою жизнь, не следи за мной, не ходи за мной. Если же не исполнишь моей просьбы, клянусь, больше ты меня не увидишь!» Сказано все это было так, что спорить не приходилось, и Лидио согласился: «Чтобы тебя любить, чтоб на тебя смотреть, я готов жабу съесть и змею закусить...»

И он выполнил свое обещание: ни о чем не спрашивал, не слушал ни сплетен, ни намеков, а наверное никто ничего о Розе не знал. Жила она в хорошем доме на Баррис: перед домом — сад, в саду — цепной пес, на окнах занавески, ничего худого за домом этим не замечалось. Среди цветов гуляла нарядная девочка, играла с собакой; ну и девочка, ну и мулаточка — точно маленькая святая — смуглая прямоволосая дочка Розы.

Одна только Маже Бассап знала, чем и как живет Роза, по тайну эту она надежно хранила в своей

необъятной груди. У жрицы, у «матери святого», и должны быть такие вот огромные груди, чтобы вместились в них все скорби и разочарования сыновей и дочерей, чужаков и чужеземцев: в них, как в ларцах, хранятся надежды и мечта, печали и обиды, в них, как в сундуках, лежат любовь и ненависть.

Одна только Маже Бассан, грозная и нежная мать, знает о Розе и о жизни ее, а прочее — вздор. «...Она живет с богачом-белым, не то бароном, не то графом, не то герцогом, из знатнейшего рода,— это он отец ее ребенка...»

«...Она в церкви повенчана и в книге записана с португальским купцом, и от него родила девочку...» — все это бабьи сплетни, досужие вымыслы, болтовня кумушек — словом, клевета. Лидио ни о чем не спрашивал да и не хотел спрашивать.

Придет веселая и лукавая Роза — вот и все, а больше ничего не надо, и кому какое дело до остального! Она поговорит с ним, она ему споет, она для него станцует... Роза поет, и низкий голос ее — это голос ночи. Роза окутана сумерками, еле-еле освещает ее скудный свет в «Лавке чудес», — там плачет-заливается флейта Лидио. Для кого она танцует? Для кого изгибается ее тело, покачиваются бедра, для кого томно сияют ее глаза? Для Лидио, для многолетнего и случайного возлюбленного? Для того — богатого или знатного, — которого нет здесь, для неизвестного никому мужа, любовника, отца ее ребенка? Для Аршанжо?

Вот истинное чудо, любовь моя, — Роза поет древнюю песнь, и слышится в ней обещание, лукавство, насмешка:

Пойдем, пойдем на Праса-да-Се,
В дом матушки Тете...
Кайумба.

Умирает от страсти местре Лидио Корро, играет на своей флейте, и надрывается от страданий его душа. Да, Роза, чтобы хоть изредка обладать тобою, съел бы он и жабу, и ящерицу, и гремучую змею... Танцует перед ним Роза, танцует и поет, отдается и отталкивает, танцует перед ним, но ведь он не один: рядом Педро Аршанжо, а о том, какой его сжигает огонь, знать не должен никто, а уж меньше всех — Лидио, ну а Роза — и подавно... Нахмурены его брови, словно из камня высечено его лицо, ничего на нем не прочтешь. Эту загадку не отгадает и Маже Бассан. Нет ключа к этому замку.

Хлопают в такт красотки, кружится самба, звучит флейта, громче звенит гитара. У каждого — своя тайна, свое томление, своя мука. У ног Педро Аршанжо, прижавшись к нему, сидит белокожая и белокурая шведка Кирси. А рядом стоит Сабина дос Анжос, из всех ангелов — самая красивая, как говорит о ней местре Педро, живот ее вздут, скоро ей рожать, но, несмотря на беременность, без устали плясала она накануне, да и сейчас врывается в круг, где уже вертится Розенда Батиста дос Рейс из Муритибы, колдунья и ворожея. На празднестве Ошосси простерлась она у ног Ожуобы, он поднял ее и, поднимая, дотронулся кончиками пальцев до тугих ее грудей. А вот стоит рядом со стулом Педро гибкая и стройная, как тростник, Ризолета: в ее жилах кровь белых людей смешалась с кровью племени мусурумин, на губах ее расцветает улыбка: однажды на площади, на Ларго-да-Се, за церковь, повстречала и познала она Педро Аршанжо.

Но только одна из них из всех ревнует Педро к приплывшей из-за морей чужестранке, — та, в чьих объятиях не был он ни разу, та, чьи губы им не целованы никогда... Только одной из всех жжет сердце ненависть, только одна из всех желает смерти белокожей гринге и всем прочим, независимо от цвета их кожи... Это Роза де Опала, — груди ее прыгают под кружевом, бедра мечутся под семью юбками, — это Роза де Опала, что пляшет перед двоими. Вдыхает и улыбается Лидио: скоро, совсем скоро обнимет он ее. Замкнут и загадочен Педро Аршанжо.

Вот оно чудо — чудо, сотворенное спасителем Бонфинским, богородицей Кандейанской, богом Опала, — это Роза, Роза, что танцует и поет в невеселую, загадочную ночь в «Лавке чудес».

8

Ужасный сон, кошмарный сон приснился Педро. В порту, в раскаленных и ледяных — как лихорадка — песках пустыни видит он себя: сердце его открыто всем напоказ, готов он для любовной схватки, да только он теперь — не он, а Лысый Зе, Лидио же превратился в Толстячка. Под звуки гитары и флейты обнимаются они, кланяются в вечной дружбе.

И приходит Лили, нет на ней ни кружевной блузы, ни верхней юбки, ни семи нижних — только ожерелья,

бусы, браслеты. Нагой стоит перед ними Роза де Ошала, иссиня-черная негрityанка, нежная как роза, нежен и густ ее голос, нежен и густ аромат ее тела... А почти не видно конца, и ночь вызывает озноб, и небо высоко над головой. Пляшет Роза перед ними, пляшет, не стыдясь ничего и ничего не тая, и вот уж стали друзья соперниками и врагами — до краев налиты они теперь ненавистью, не на жизнь, а на смерть схватываются они — в кавалерийские палаши превратились гитара с флейтой. За углом пакгауза дерутся они, — падает в волны безнадежно мертвое тело Толстячка Лидио. Когда умирает брат, солнце встает в ночи, солнце согревает белый и холодный, как известка, песок, и в последний раз простонала что-то флейта.

Вот теперь бери Розу, овладей ею, падай со своей добычей в песок... Педро Аршанжо, мокрый от пота, чувствуя лихорадочный жар и холод, от которых теснит грудь, в тоске и отчаянии поборол сон, но уже поздно, погибла дружба у ног искусительницы.

Роза! Нет мне дела ни до богатого, ни до знатного! И дворянину, и бакалейщику наставил бы я рога с большим удовольствием. Но ты пойми меня, Роза, пойми и не смотри так: если бы родился Лидио у моей матери от моего отца, и то не был бы он мне братом больше, чем есть, и то не требовалось бы от меня большей верности и преданности.

Не будет этого, не может быть! Пусть лучше я умру от любви, пусть разорвется мое сердце, пусть я буду шататься из притона в притон, мыкаться от одной женщины к другой, отыскивая в каждой твой ночной вкус, твой аромат — и всегда напрасно! — в каждой стараясь отгадать твою загадку — и всегда впусую!

Роза, ведь мы же не куклы, не тени волшебного фонаря! Есть у нас и стыд, и честь! Роза, ведь мы же не погрязнем в мерзостях свального греха! Мы не животные, мы не преступники, что хуже животных. Да, Роза, как раз такими словами описал нас один профессор, ученый доктор медицины: «Вырождающиеся метисы-полукровки, погрязшие в мерзостях свального греха». Но ведь это ложь, Роза, этот ничего не знающий всезнайка оклеветал нас!

Последним усилием разрывает Аршанжо плену сна, открывает глаза. В море рождается утро, отчаливают рыбацьи баркасы. Шведка Кирси сотворена словно из жасмина и источает нежное, рассветное благоухание.

Черный мальчик побежит по снегу. Тонет где-то вдали образ обнаженной Розы.

Я забуду тебя с этой чужестранкой, я забуду тебя с Розендой, Сабиной, Ризолетой, со всеми остальными, я освобожусь от муки и тоски. Освобожусь? Забуду или стану искать, безнадежно искать в каждой из них тебя, Розу де Ошала? И в жасминах, и в пшенице тосковать по твоей черноте? В каждой из них, Роза де Ошала, будет твоя неразгаданная тайна, твоя запретная вечная любовь.

9

На углу Ладейра-до-Табуан помещалась всем известная цирюльня старого Эмо Корро: там он брил клиентов, пользовал их от разных недугов, рвал зубы. Ремеслу своему обучил он и сыновей — Лукаса и Лидио, но Лидио вскоре забросил бритву и ножницы. Его крестный, печатник Кандидо Майа, устроил мальчика в Школу искусств и ремесел, и Лидио, отличавшийся живым умом, заинтересовался новым делом и вскоре превзошел всю премудрость: за короткий срок из подмастерья-ученика стал настоящим мастером.

Тут и свела его судьба с человеком странным, угрюмым и одиноким, а звали этого человека Артур Рибейро. Он только недавно вышел из тюрьмы, и устроиться на постоянную работу ему было нелегко. Кандидо и еще кое-кто из старых его приятелей давали ему подзаработать в училище: Артур, гравер по дереву и металлу, не знал себе равных по всему Северу. В 1848 году они втроем — он, один ливанец и русский — открыли подпольную мастерскую, и невозможно было отличить фальшивые ассигнации, изготовленные Артуром, от подлинных банкнотов, отпечатанных в Англии.

Дело процветало, и даже слишком: Рибейро печатал фальшивые деньги, ливанец и русский их продавали, и все шло прекрасно, товар их пользовался большим спросом. Так бы они и жили, если бы ливанец не наделал глупостей, не стал шиковать: женщины, шампанское, собственный выезд... Настали черные дни — тайной печатней заинтересовался комиссариат полиции. Артур и Махул-ливанец попали за решетку, а русский, набив чемодан ассигнациями — правительственными, подлинными, — успел вовремя удрать, никто никогда его больше не видел.

Артур, человек хмурый, неразговорчивый, так и не оправившийся от пережитого позора, привязался к смышленому пареньку, который к тому же хорошо рисовал, и научил его писать «чудеса» — они под конец жизни скрашивали Артуру существование, — резать по дереву гравюры — только по дереву, а не по металлу: в тюрьме дал он зарок не брать в руки медных пластинок. Однажды, подвыпив и разоткровенничавшись, рассказал он Лидио, что осталось у него одно-единственное желание: своими руками убить того негодяя, который заранее знал о намерениях полиции, но и не подумал предупредить товарищей, а смылся со всеми деньгами.

Смерть брата заставила Лидио снова взяться за бритву, ножницы и зубодерные щипцы. Отец сильно сдал, состарился и спился: кто-то должен был кормить старика и его третью жену, восемнадцатилетнюю девчонку Зизинью. Руки у отца дрожали, глаза почти не видели, слух ослабел, но с самым главным пока все было в порядке: «На нее меня хватит», — говорил он, знакомя сына с молодой женой.

В школе и на улицах Баии Лидио познакомился не только с тем, как печатают книги, рисуют «чудеса» и режут гравюры по дереву; он выучился танцам и азам музыки, овладел искусством игры в пашки, триктрак и домино. Больше всего любил он флейту. В облаках Лидио не витал, был сообразителен и ловок, предусмотрителен и практичен.

Какое-то время он стриг и брил, рвал зубы, торговал разными снадобьями: змеиным ядом, тертыми трещотками гремучей змеи, домашней микстурой из агриана (нет лучше средства от чахотки), чудодейственной корой, настоем капуавы (чтобы вернулась мужская сила), толчеными ящерками (против астмы). Потом он повстречал своего однокашника Педро Аржанжо, который был на восемь лет его моложе и так же предприимчив и любопытен. Аржанжо, как и Лидио, был мастер на все руки: засиживался в типографии, силен был по части чтения и письма, изучал грамматику, арифметику, историю и географию, замечательно писал прошения: хвалили его и за почерк, и за выдумку.

Однажды он исчез, и несколько лет не было о нем ни слуху ни духу. Единственный родной ему человек — мать умерла, отца ему узнать не довелось: отца угнали на войну с Парагваем, когда Нока еще носила Педро под

сердцем, и сгинул он в болотах Чако, так и не узнав о рождении первенца.

А не было о нем ни слуху ни духу оттого, что отправился Аршанжо бродить по свету: где только он не побывал, чему только не выучился. Все перепробовал: был юнгой, официантом в баре, подручным каменщика, помогал тупоумным португальцам писать на родину тоскливые письма. Немало повидал он, и всюду с ним были книги и женщины. За что так любили они его? За то, должно быть, что от рождения был он наделен нежностью и удивительным красноречием: последнее действовало не только на женщин,— стоило только ему заговорить, как все вокруг замолкали и слушали его, мальчишку еще, со вниманием.

Когда он вернулся из Рио, ему шел двадцать второй год, был он щеголем, играл на гитаре и кабакиньо. Он нанялся в типографию Дос Фрадес, а через несколько месяцев, в канун праздника богоявления, познакомился с Лидио Корро: оба увлеченно репетировали танец пастухов — дело непростое. С того самого времени стали они неразлучны, и вскоре цирюльня Корро преобразилась до неузнаваемости.

Прошло три года после их встречи; освобожденный нижний этаж дома № 60 по Ладейра-до-Табуан, и Лидио снял его и, тщательно вырисовывая каждую букву,— а все буквы были разного цвета,— сделал вывеску: «Лавка чудес»; «чудеса» к тому времени стали для него основной статьей дохода.

Название выбрал Аршанжо. Из типографии он уже уволился и теперь обучал грамоте и счету нерадивых школьников. Аршанжо и Лидио Корро отныне работали бок о бок и делили поровну и труд, и забаву. Большую часть скудного своего заработка Лидио откладывал, потому что задался целью купить у сеу Эстевана дас Дореса типографию, где тот набирал и печатал разные истории, песенки, куплеты, частушки и прочую рыночную литературу, а обложки этих тощих книжонок украшали гравюры Лидио. Сеу Эстеван, старый ревматик, одряхлел, еле таскал ноги, и договорились они, что как решится он уйти на покой, так и продаст Лидио в рассрочку свое дело.

А покуда не было еще ни типографии, ни заказов, стала «Лавка чудес» душою всех тех кварталов, где мощно и напряженно бурлила жизнь народа,— тех кварталов Баии, что простерлись от Ларго-да-Се и Террейро

Иисуса до Портас-до-Кармо и Санто-Антонио, охватив Целоуриньо, Табуан, Масиэл Верхний и Масиэл Нижний, Сан-Мигел и Байша-дос-Сапатејрос вместе с рынком Иансан (или, как еще называли его люди образованные, — рынком Святой Варвары).

Нелегким трудом достаются местре Лидио Корро денежки: он режет по дереву гравюры, пишет «чудеса», продает целебные снадобья, рвет зубы у охающих от боли страдальцев, показывает тени волшебным фо-нарем.

Но там же, в той же комнате, обсуждается и решается множество всяких дел. Вот рождается мысль, становится планом, воплощается в жизнь на улице, на празднике, на террейро. Там же обсуждают выдающиеся события, иерархию жрецов, «отцов» и «матерей» святых, главные песнопения, волшебные свойства растений, заклинания, обеты и волшебство. Там составляются терно волхвов, карна-вальные афоше, там основывают новые школы капоэйры, там договариваются о празднествах и приглашают на годовщины, там принимают надлежащие меры, чтобы вымыты были полы в церкви, чтобы не осталась без подношений Иеманжа — Мать Вод. В «Лавке чудес», словно в сенате, собирается многочисленное избранное общество — нищая знать. В «Лавке чудес» сходятся и беседуют жрецы разных божеств, грамотеи и сантейро, певцы, плясуны, мастера капоэйры, мастера-ремесленники, — каждый славен в своем деле.

Вот в это-то самое время и начал Аршанжо — было ему тогда лет двадцать с небольшим — записывать всякие истории, происшествия, случаи, имена, даты, никому вроде бы не интересные мелочи — словом, все, что имело отношение к жизни баиянского простонародья. Зачем он делал это? Кто его знает? Педро Аршанжо был человек сведущий во всем, — недаром еще в юном возрасте занял он высокий пост на террейро бога Шанго, был посвящен, вознесен и предпочтен многим и многим, опередил старых, мудрых и уважаемых людей, стал Ожубой. Тридцати еще не исполнилось ему, когда удостоился он почетнейшего этого титула, принял на себя все сопряженные с ним права и обязанности. Раз Шанго выбрал Аршанжо, значит, так и надо: Шанго виднее.

И бежит по улицам Баии, по всем террейро такой слух: должно быть, сам ориша Шанго велел Педро все видеть, все знать, все записывать. Для того и сделал он его Ожубой, всевидящим своим оком.

В 1910 году — стукнуло Педро тридцать два — он был назначен педелем медицинского факультета и быстро прославился в среде студентов, обучая их на скорую руку азам науки. Устроила его на это место всемогущая Маже Бассан, грозная жрица, которую побаивались даже высокопоставленные чиновники. Знакомства и связи у нее были огромные: частенько, услышав громкое имя кого-нибудь из сильных мира сего — политического деятеля, предпринимателя или даже католического священника, — произносила она как бы про себя: «Это мой человек...» А Педро Аршанжо отдавалось предпочтение перед всеми — молодыми и старыми, богатыми и бедными; он был первым и главным.

10

Появилась новая «утренняя звезда», истинная и настоящая: Кирси репетирует танец для карнавала. Предшественница ее, Ирена, вышла замуж за часовщика и уехала с ним в Реконкаво, и хорошо сделала, потому что в противном случае остался бы городок Санто-Амаро-да-Пурификасон со всеми своими сахарными заводами без часов и без минут: часовщик, будучи проездом в Баие, чуть с ума не сошел, когда увидел на карнавале Ирену...

Под звуки лундуна¹, старательно выполняя приказы церемониймейстера Лидно Корро, движутся по залу па-стушки. Впереди всех — Кирси, и взгляд ее ищет взгляда Аршанжо, одобрительной его улыбки. Смотрит Педро и на трепещущую грудь юной Деде, которая идет в танце следом за Кирси. Она совсем еще молоденькая, и как ей хочется в первый раз показать свое искусство!..

Сбереги ослицу
От почной росы!
Из бархата седельце,
Попонка из тафты!

Сияющая Кирси, Кирси — «утренняя звезда», только на репетициях и танцевала, а на карнавале ее не было, не увидит ее народ Баии на празднике. Пришел пароход и увез ее на родину. Пробыла она в Баие полгода. Считали ее шведкой, и только немногие знали, что она финка. Все полюбили Кирси, приняли как свою.

¹ Лундун — танец негров Баии.

Когда судно ошвартовалось, она сказала Аршанжо на ломаном португальском языке с моряцким своим выговором: «Мне пора. Под сердцем у меня — наше дитя. И хорошему приходит конец: счастье не может длиться вечно; если хочешь сохранить его навсегда, надо уметь вовремя с ним расстаться. Я увожу с собой твое солнце, твою музыку, твою кровь. Где я буду, там и ты со мною будешь, ежеминутно со мной. Спасибо тебе, Ожу».

Мануэл де Прашедес переправил ее на судно, и в полночь «купец» снялся с якоря. В звездной тени стоит Педро Аршанжо — как из камня высечено его лицо. У выхода из гавани, перед воротами в океан, пароход загудел. «Я не прощаюсь. Бронзовокожий мальчик, мулат из Баии, будет бегать по снегу...»

У самой кромки прибоя задорно напевает Деде:

Жажда мучит, глотку сушит,
Дай глотнуть, красавица,
Я бы выпил и отравы,
Чтоб тебе понравиться.

Там, за островами, держит курс на холодный Север, в страну туманов и бледных звезд, серый сухогруз, увозит он «утреннюю звезду». Деде старается развеселить Педро, хочет, чтобы рассмеялись молчаливые уста, ожило окаменевшее лицо. Новой звездой станет Деде: нет у нее ни золотистой гривы летящей кометы, ни сияющего кольца-ореола, но зато есть жар тропиков, бледно-смуглая кожа и веет от нее ароматом лаванды.

«Нет на свете людей лучше вас, нет народа милее и приятней, чем народ Баии — народ со смешанной кровью», — так сказала в «Лавке чудес» шведка Кирси в час прощания с Лидио, Будианом и Ауссой. Она приехала издалека, она жила среди них, она узнала этих людей по-настоящему: если уж говорит, значит, знает, значит, нет у нее сомнений. Так почему же доктор Нило Арголо, профессор судебной медицины, председатель научного общества, наставник юношества, ученый, книжный червь, написал тогда о метисах Баии вот эти ужасные слова, строчки, раскаленные злобой дробела?

Само название доклада, прочитанного на научном съезде и перепечатанного потом в медицинском журнале, уже позволяло судить о его содержании. А название это было такое: «Баия как пример психосоматической дегенерации народов со смешанной кровью». Господи, откуда только взял профессор такие вот, например, категориче-

ские утверждения: «Главным тормозом нашего развития, основной причиной нашей неполноценности являются лида со смешанной кровью — метисы, ни на что не пригодная субраса». Ну, а негры, по мнению Нило Арголо, вообще не достигли уровня людей: «Где, в какой части света смогли они создать государство, хотя бы отдаленно напоминающее цивилизованное?» — спрашивал он у своих коллег — участников конгресса.

Как-то раз — сияло солнце и дул легкий бриз — шел Педро Аршанжо, как всегда вразвалку, по площади. Декан факультета послал его с поручением к настоятелю францисканского монастыря. Приор, бородатый и лысоватый голландец, был любезен и мил; не скрывая наслаждения, смаковал он кофе, чашечку налил и веселому педелю.

— А ведь я вас знаю,— сказал он с легким акцентом.

— Я целыми днями здесь, на площади.

— Нет, я вас видел не здесь,— лукаво и от души засмеялся монах.— Знаете где? На кандомбле! Конечно, я был в мирской одежде. Я стоял в темном углу, а вы сидели в особом таком кресле рядом с «матерью святого»...

— Возможно ли, чтобы падре посещал кандомбле?

— Хожу, хожу иногда, только никому не говорите! Дона Маже — моя приятельница. Она мне сказала, что вы в совершенстве разбираетесь во всех тонкостях макумбы. Доставьте мне удовольствие, разрешите как-нибудь на днях потолковать с вами.

В этом монастырском дворе, выложенном синими плитками, обсаженном густыми деревьями и цветами, Аршанжо почувствовал, что мир устроен разумно и правильно, и непохожий на монаха францисканец это подтверждал.

— Как только захотите, падре, я к вашим услугам.

Он возвращался на факультет через Террейро Иисуса. Кто бы мог подумать, что католический священник, приор монастыря, ходит на кандомбле! Это стоит записать! Удивительно!

Тут его окружили студенты. С будущими медиками Педро Аршанжо был в прекраснейших отношениях. Любезный, внимательный и веселый, он неизменно покрывал их прогулы, хранил их учебники, тетради и конспекты. Так они и жили: незначительные услуги, долгие приятельские беседы. Первокурсники и выпускники захаживали в «Лавку чудес» или в школу капоэйры местре Будиана, а двое или трое даже побывали на макумбе.

И со студентами, и с высоким факультетским началь-

ством, и с профессорами был Аршанжо одинаково вежлив, но никогда не унижался, не пресмыкался, не льстил — таков народ Баии: самый последний бедняк сознает, что он ничем не хуже самого могущественного богача, а может быть, и лучше.

Симпатия, которую испытывали студенты к скромному педелю, после одного происшествия укрепилась окончательно. Педро Аршанжо спас шестикурсника, которому грозило исключение из университета: была там какая-то темная и путаная история, пятнавшая семейную честь некоего приват-доцента. В ходе расследования свидетельские показания Педро, дежурившего в тот день на факультете, сыграли решающую роль и спасли юношу от гнева разъяренного преподавателя. Студенты вступились за своего товарища, но в успех этой затеи мало кто верил. Аршанжо, хоть и совсем недавно стал педелем, не дал ни сбить себя с толку, ни запугать... После этого случая студенты прониклись к нему уважением, а приват-доцент, которому пришлось прервать лекции в этой группе посреди года, — возненавидел.

В центре площади, у фонтана, его окружили студенты, и один из них, лоботряс четверокурсник, любивший праздники и шутки, отдававший должное таланту Педро в игре на гитаре и кабакиньо — он и сам с удовольствием брелчал на виоле, — показал ему брошюрку. «Что скажете, местре Педро?» Остальные смеялись, предвкушая удовольствие, которое они доставят этому франтоватому и ладному мулату.

— Разделал нас профессор под орех, живого места не оставил, — сказал четверокурсник. — Хуже воров и убийц! На грани с неразумными существами! А мулаты еще хуже негров, — видите? «Зверь» покончит и с вами, местре Педро, и со всей вашей расой.

Аршанжо пробежал глазами строчки; глаза его сузились и налились кровью. Доктор Нило Арголо считает, что все беды Бразилии — от черпомазых, от гнусного смешения рас.

Педро пришел в себя, словно вернулся откуда-то издалека.

— Со мной покончит, вы сказали? — И его цепкий взгляд скользнул по волосам, губам, носу юноши. — Не только со мной. Со всеми нами: мы все здесь метисы. И со мной покончит, и с вами, — тут он оглядел остальных, — среди тех, кто здесь присутствует, не спасется ни один.

Послышались неуверенные смешки, два-три студента расхохотались. Четверокурсник добродушно заметил:

— Ничем вас не возьмешь, местре Педро, раз-два — и срубили под корень наше генеалогическое древо.

Молодой человек с дерзким и надменным лицом шагнул вперед:

— Мое — нет. — Дурачок кичился тем, что его четыре имени доказывают благородное происхождение. — Кровь нашей семьи чиста и, слава богу, неграми не осквернена.

Аршанжо уже совладал со своим гневом и теперь поспеивался про себя: он знал, что его доказательства неопровержимы, что тезисы доктора Нило — пустые бредни, дерьмо, клевета, ошибка, проистекающая от самомнения и невежества. Он взглянул на парня.

— А вы уверены? Ведь когда вы родились, прабабки вашей уже не было на свете. Знаете, как ее звали? Мария Иабаси, — так называлось ее племя. Ваш прадед был человек порядочный и женился на пей.

— Как ты смеешь, наглец?! Я разобью твою черную рожу!

— Ну что ж, попробуй...

— Осторожно, Армандо, он мастер капоэйры! — предупредил один из студентов.

Но остальные принялись подзадоривать кичливого юнца:

— Покажи-ка, Армандо, чего стоит твоя голубая кровь! Не робей!

— Рук не хочу марать, — пробурчал высокородный студент и покинул поле боя. На том и завершилась дискуссия.

— Наш блондинчик оттого так разъярился, что дед его во времена Империи был министром. Дурак... — добавил четверокурсник.

— Моя бабушка была мулаткой, и человека лучше, чем она, я не видел, — сказал студент в очках и в соломенной шляпе.

Аршанжо распрощался со студентами.

— Одолжите мне эту книжечку, если можно.

— Пожалуйста.

С тех пор никто — даже когда тень Гобино¹ простерлась над Террейро Иисуса и теория арийского происхо-

¹ Граф Жозеф Артюр Гобино (1816—1882) — французский ученый и политический деятель.

ждения, войдя в моду, сделалась официальной доктриной медицинского факультета — не пытался задеть Педро Аршанжо. Через двадцать лет, когда разразился скандал, новые поколения студентов выступили против своих профессоров в поддержку педеля.

А на карнавале в группе «Утренняя звезда» танцуют рядом белые, негры, мулаты, и им нет дела до теорий ученых мужей. Народ будет восторженно приветствовать и Кирси, и Деде — любая может стать звездой праздника: нет тут ни первой, ни второй, ни высших рас, ни низших.

А корабль уже растаял в ночи, исчез в океане... Деде замолкает, ладное тело ее, ловкое и проворное, горделиво растягивается на песке. Педро Аршанжо слышит шум волн, ветра и бескрайних просторов. «Нет на свете людей лучше, чем вы». В холодной стране Суоми будет играть бронзовокожий мальчуган, сотворенный из снега и солнца, и в правой руке у короля Скандинавии — жезл Опала.

О том, как неумный карьерист Фаусто Пена получил чек (на небольшую сумму), урок и предложение

С прискорбием должен заявить, что даже в кругах лучших представителей нашей интеллигенции свили себе гнездо зависть и подозрительность. Эту печальную истину я не могу утаить от читателя — поскольку и то и другое испытал на собственной шкуре. Вы видите перед собой человека, которого ловкие интриганы и подозрительные дураки избрали своей любимой жертвой. Горькую чашу испил я после того, как удостоился выбора великого Левенсона и заключил с ним контракт (устный) на жизнеописание Педро Аршанжо: собратья мои распускают про меня и Ану Мерседес омерзительные слухи, обливают меня помоями, и я захлебываюсь в омуте этой гнусной клеветы.

Я уже рассказывал о политических интригах: о том, как меня желали представить выкорышшем американского империалиста, внедренным в сферу бразильской культуры; как меня хотели посорить с левыми кругами нашей общественности (впрочем, это намерение, учитывая переживаемый момент, сулит мне некоторую выгоду); как меня пытались вытеснить с того поприща, которое

столь заманчиво для всякого, кто мечтает сделать себе имя и карьеру — а я мечтаю! — и на котором нам так необходимы похвалы и покровители. Я вовремя раскрыл этот подлый план и не повторяю здесь публично имеющиеся у меня доказательства только потому, что я — исследователь, а не душевнобольной и не авантюрист, который ищет разоблачений, а найдет тюрьму. Я предпочитаю действовать могучим оружием моей поэзии — герметической, но оттого не менее действенной.

Негодяи не ограничились тем, что опорочили мое имя среди левых, — они пошли еще дальше, они закрыли передо мной двери редакций. Я многолетний, ни гроша не получающий сотрудник «Журнал да Сидаде» (интересно знать, кто осмелился бы просить у доктора Зезиньо гонорар за опубликованные в его газете стихи? Хорошо еще, что он пока не догадался взимать с нас — с меня и других поэтов — деньги за предоставленное в газете место для стихов и взаимных славословий.). Я каждое воскресенье печатался на страницах любимого органа, который поддерживал и привечал искусство; кто, как не «Журнал да Сидаде», открыл торжества по случаю столетия Педро Аршанжо? Вместе с Зино Бателом я вел раздел «Поэзия молодых» в литературном приложении к нашей славной газете: работал-то я один, а благосклонность поэтесочек и прочие блага мы делили на двоих.

И вот, прибавив к прежним моим «титулам» — сотрудник «Журнал да Сидаде», поэт и критик — мой нынешний — «социолога, занятого исследованием, которое имеет международное значение и получит отклик во всем мире» — находка принадлежит Силвиньо, — я, как только узнал о достопамятной затее нашего воинственного утреннего листка, отправился в редакцию.

Ответьте мне, пожалуйста, рассудите здраво: у кого, как не у меня, имеются все основания принять участие в этой кампании, если не возглавить ее? Я — непосредственный помощник, доверенное лицо гения из Колумбийского университета: для изучения жизни и творчества бессмертного баиянца он выбрал не кого-нибудь, а меня, меня! Меня пригласили, со мной заключили договор, мне заплатили! ЗАПЛАТИЛИ — да будет позволено написать это священное, это святое слово прописными буквами, да будет позволено заткнуть алчные пасти завистливых и самонадеянных подлецов! Мне или им так щедро и своевременно заплатил наш трансконтинентальный мудрец за серьезный научный труд, и в долларах? Они

привыкли жить на подачки правительства и университета, а шуму, а похвалыбы... Но когда доходит до дела, становятся кроткими как ягнята. Скажите, кто, невзирая на скудную плату, смог бы лучше, чем я, организовать начинание, достойное такой достойной газеты, как «Жорнал да Сидаде»? У кого на это больше прав, чем у меня? В конце концов Педро Аршанжо — это моя нива, моя деланка: я на ней зарабатываю себе на пропитание.

Так вот, вы не поверите: в редакции меня встретили, как говорится, в штаны, и, чтобы прорваться к доктору Зезиньо, мне пришлось преодолеть множество самых разнообразных препятствий. Столько было сделано напрасных попыток и получено циничных отказов, что я уже был близок к отчаянию. Троица ответственных за проведение торжеств негодяев — а вернее, кто-нибудь один из них — торопливо выслушивал меня вполуха и отделивался пустыми посулами: «Сейчас, милейший, нам ничего не надо, но, может быть, в ходе кампании появится необходимость... Интервью там или репортажик...», так что у меня хватило ума даже не заикаться о своей руководящей роли, а попросту предложить сотрудничество.

Но я пришел еще раз: меня так просто не одолеть, я пришел еще раз и принес кое-какой материал. На этот раз вся шайка была в сборе. Они предложили мне за него смехотворную сумму, не оставив ни малейшего шанса на то, что мое имя будет хоть как-то связано с шумными торжествами.

Я решил сопротивляться, призвав на помощь конкурентов «Жорнал да Сидаде»; я отправился в редакции других газет, а Ана Мерседес пыталась замолвить за меня словечко в своей «Диарио да Манья»... Напрасно! У королей прессы монополия на общественное мнение, и между собой они не ссорятся.

Выхода не было, и я побрел обратно в «Жорнал да Сидаде»: я был готов принять их гнусное, но, к сожалению, единственное предложение и за грош продать свой лучший материал. С отвагой обреченного постучался я в двери доктора Зезиньо, и столп отечества сжалился и согласился выслушать меня. Но стоило мне показать ему свои заметки, с ним чуть было не случилась истерика. «Вот именно этого-то и не надо! Я не допущу неуважения к памяти великого соотечественника, который был наделен высшей духовностью! Я не позволю осмеивать образ этого человека, приижать фигуру Педро Аршан-

жо! Если мы и купим у вас этот набор злых сплетен, то лишь для того, чтобы немедленно уничтожить: ими никто не сможет воспользоваться, и никто не осквернит память о Педро Аршанжо. Фаусто, дорогой мой, подумайте о детях за партами!»

Я подумал о детях за партами и продал за ничтожную сумму мое молчание. Доктор Зезиньо еще долго беспокоился, а потом сказал, подводя итог разговору: «Многоженец! Какой позор! Да он и вообще не был женат! Это вам послужит уроком, дорогой мой поэт: великий человек обязан быть непогрешимым в моральном отношении, а если он и оступился, то наш долг — вернуть его образу безупречность. Великий человек является достоянием государства, примером для грядущих поколений: мы должны хранить его на алтаре гениальности и добродетели».

Получив чек и урок, я поблагодарил и отправился искать утешения в обществе Аны Мерседес и бутылки виски.

Итак, от газетной славы Педро Аршанжо мне не перепало ничего, кроме нескольких строчек в юбилейных статьях великодушных обозревателей Силвиньо и Рено, Жули и Мати. Еще меня отыскивали ученики театральной школы, члены чрезвычайно авангардистской группы «Долой текст и рампу», — название говорит за себя. Они предложили мне написать пьесу о Педро Аршанжо, точнее — не пьесу — им не правилось это слово, — а текст спектакля. Что ж, подумаю и, если они позволят мне принять участие в постановке, пушусь, пожалуй, в эту авантюру.

**О том, как общество потребления,
придав смысл и значение славе Педро
Аршанжо, сумело погреть на нем руки**

1

На пост председателя оргкомитета, ответственного за устройство торжеств по случаю столетия со дня рождения Педро Аршанжо, был назначен профессор Калазанс. Этот выбор следует признать удачным.

Слава историка Калазанса уже давно перешагнула границы штата и распространилась чуть ли не по всей стране. Его действительно серьезные и оригинальные

работы, посвященные Канудосу и Антонио Консельейро¹, снискали ему похвалы старцев из Национального института истории и, кажется, получили премию Бразильской академии (а если не получили, то у господ «бессмертных», допустивших такую вопиющую несправедливость, есть еще время исправить свою ошибку и увенчать профессора лаврами). Калазанс читает лекции на нескольких курсах двух факультетов, он образован, благодушен, неизменно весел, он день-деньской носится из аудитории в аудиторию, обрушивая на студентов ворох исторических анекдотов: свой хлеб он зарабатывает в поте лица. Кроме того, на Калазансе, как на вешалке, висит целая груда почетных (иногда), хлопотных (всегда) и никем не оплачиваемых (никогда) должностей и обязанностей, кои он выполняет своевременно и с удовольствием. Он и секретарь Баианской академии, и казначей Историко-географического института, и президент Центра фольклорных исследований, не говоря уж о том, что профессор *ab aeterno*² состоит в должности синдика дома, в котором живет.

Как он справляется со всем этим, как поспеваает, как ухитряется выкраивать время для исследований, занятий и статей и остается бодрым, свежим и веселым? Но суета и спешка, в которых проходит жизнь профессора, покажутся чудовищными, сверхъестественными только тому, кто не знает одного обстоятельства: Калазанс — родом из легендарного Сержипе. Ему, рожденному в феодальном поместье-латифундии, выросшему в невероятной нищете — при полном отсутствии в семье средств к существованию, ему, чудом не попавшему в роковой процент детской смертности, пережившему все болезни — от лихорадки до оспы, ему, претерпевшему нужду и лишения, — теперь уже ничего не страшно, он стал героем, он научился раздвигать время... Если профессор Калазанс взял руководство торжествами на себя, успех праздника обеспечен.

Впрочем, Большой юбилейный комитет (сокращенно БЮК) одним своим составом обеспечил столетию со дня рождения Педро Аршанжу должную величественность и размах. Его председателем стал сам губернатор штата Баия, а членами — кардинал-примас, высшие военные

¹ Канудос — район штата Баия, где в конце XIX в. состоялись массовые крестьянские выступления против помещиков, Антонио Консельейро возглавил это движение.

² С незапамятных времен (лат.).

чины, ректор университета, префект, управляющие баиянскими банками и президенты разнообразных учреждений, связанных с культурой и искусством; председатель правления «Банко до Бразил», генеральный директор Индустриального центра Арату, президент Торговой ассоциации, главные редакторы ежедневных газет; начальник Управления образования и культуры; майор Дамиан де Соуза.

Если не считать этих лиц, участие которых было настоятельно необходимо, потому что без их одобрения или благосклонного согласия любая инициатива была обречена на провал или на запрет, все остальные члены БЮК действовали по заранее определенному плану, и задача у каждого была своя. И вот доктор Зезиньо Пинто, сопровождаемый секретарем и управляющим «Журнал да Сиададе», собрал в своем кабинете немногочисленный оргкомитет: «он потому и невелик, что призван действовать энергично и оперативно».

Оргкомитет был не так уж мал. Возглавил его, естественно, доктор Зезиньо, а в его состав, кроме председателя — профессора Калазанса, вошли: директор Историко-географического института, президент Академии литературы и языка, декан философского факультета, декан медицинского факультета, секретарь Центра фольклорных исследований, начальник Управления туризма и представитель баиянского филиала акционерного общества «Донинг».

На первое заседание явились все; обстановка была торжественно-праздничная; официант — в этой роли выступил ночной курьер — принес стаканы с уже налитым виски, лед, содовую воду, просто воду и лимонад-гуарана, — на выбор.

— Отечественное... — буркнул, отведав виски, угрюмый Феррейринья, секретарь редакции.

Обратившись с приветствием к «выдающимся деятелям, почтившим своим присутствием редакцию «Журнал да Сиададе», доктор Зезиньо в короткой блестящей речи определил главные направления кампании и горячими похвалами наделил всех членов БЮК — от губернатора до майора. Одновременно он намекнул, о чем именно будут просить каждого из них: энергичному префекту надлежало назвать именем Педро Аршанжо одну из новых улиц Баии, а начальнику Управления образования и культуры — одну из школ, «где память о великом соотечественнике будет благоговейно храниться теми, кто

завтра вступает в жизнь, кто олицетворяет собой великое будущее Бразилии». От ректора университета требовалась интеллектуальная и материальная поддержка всей кампании и, в особенности — заранее подготовленного симпозиума. От начальника Управления туризма — гостеприимная встреча приглашенных с Юга и Севера страны. От редакторов газет — «не конкурентов, но коллег» — ожидалось щедрое освещение событий, бескорыстная помощь не только печатным словом, но и через посредство контролируемых ими радио- и телепередач. Все остальные — банкиры, промышленники и коммерсанты — должны будут содействовать усилиям шустрых и проворных сотрудников фирмы «Допинг». Не забыли ли мы кого-нибудь? Ах да, майор Дамиан де Соуза! Борец за права народа, почти символ нашего города! Ну, как же, он был близким другом Педро Аршанжо, он является подлинно народным представителем в БЮК, — «нельзя забывать, что Педро Аршанжо — выходец из народа, представитель трудящихся и угнетаемых масс, сумевших подняться до высот науки и литературы» (аплодисменты).

Между виски и кофе («Виски в рот взять нельзя, вот дешевка, Аршанжо заслуживал чего-нибудь получше: хотя бы приличной кашасы», — размышлял Магальяэс Нето, видный ученый, директор Института, отставив в сторону стакан пойла и протягивая руку за чашечкой кофе) комиссия наметила программу торжеств, сосредоточив все внимание — без ущерба для любых других предложений, буде таковые появятся — на трех пунктах:

а) Опубликовать четыре специальных выпуска «Журнал да Сидаде» — по выпуску в воскресенье — за месяц до 18 декабря. Посвятить их исключительно Педро Аршанжо и его творчеству; привлечь к сотрудничеству всех знаменитостей Бразилии. Даже реклама, — напомнил представитель «Допинга», — должна будет служить к вящей славе Педро Аршанжо. Составили список предполагаемых авторов-сотрудников. Ответственность за исполнение возложить на директора Института, президента Академии, секретаря Центра фольклорных исследований и, разумеется, на профессора Калазанса, без профессора Калазанса — ни шагу...

б) Провести на философском факультете научный симпозиум на тему «Расовое равенство в Бразилии как утверждение гуманизма; апартеид — как его отрицание». Эта идея принадлежала профессору Рамосу из Рио, ко-

торый в письме к доктору Зезиньо писал: «Педро Аршанжо — это великолепный пример того, как Бразилия решает расовую проблему, смешивая, сплавливая воедино разные расы. Нет лучшего способа почтить память выдающегося ученого, столько лет пребывавшего в забвении, чем созвать форум, на котором будет еще раз утвержден плодотворный путь нашей страны и осуждены преступления апартеида и расизма, ненависть человека к человеку». Ответственность за проведение симпозиума возложить на деканов философского и медицинского факультетов, начальника Управления туризма и, естественно, на могучего профессора Калазапса, — даром, что ли, родился он в штате Сержипе?!

в) Организовать торжественное закрытие юбилейных празднеств вечером 18-го декабря в актовом зале Историко-географического института: помещение торжественное, величественное, хотя и не очень вместительное, но, как сказал мудрый и многоопытный доктор Зезиньо, «лучше небольшая комната, битком набитая слушателями, чем огромный, но пустой зал». Начальник Управления туризма — большой оптимист — предложил было колоссальный актовый зал медицинского факультета или, может быть, лучше — ректората, ведь он еще больше? Но наберется ли в Баие столько самоотверженных людей, способных выслушать речь профессора Рамоса из Рио, речь представителя медицинского факультета, речь представителя Академии, речь представителя Центра фольклорных исследований, речь представителя философского факультета, — пять высокоученых, изысканно-выспренних речей, пять шедевров риторики, пять длиннейших и скучнейших выступлений? Доктор Зезиньо знал жизнь и не разделял оптимизма легкомысленного начальника Управления. Ответственность за организацию торжественного вечера целиком и полностью возложить на профессора Калазапса, — если уж он не сможет заполнить двести удобных кресел в актовом зале института, то и никто не сможет...

Протокола решили не составлять, но зато доктор Зезиньо попросил отпечатать на машинке три основных пункта программы — и со всеми подробностями: имена, темы выступлений и прочее, потому что ему хотелось еще раз изучить их, «перед тем как обнародовать». Улыбаясь своей пленительной улыбкой — он словно поздравлял собеседника или вручал ему деньги, — доктор добавил: «Будем публиковать все это постепенно, малыми

порциями: каждый день что-нибудь новое. Подогреем интерес и создадим «suspense»¹.

— Сейчас попросит nihil obstat²,— шепнул мрачный Феррейринья веселому Голдману, известному в редакции под именем «король отказов»: «Нет денег в кассе, нету...»

— Цензуру или начальника полиции?

— Обоих, я думаю.

Сердечная и плодотворная встреча была запечатлена фотографиями — пригодится и для первой страницы завтрашнего номера, и для потомства. Телевизионщики засняли ее для вечернего выпуска новостей: доктор Брито (прав, прав был Зезиньо Пинто!) оказался «не конкурентом, но доброжелательным коллегой».

Был назначен день очередного собрания; прощаясь, каждый был удостоен рукопожатия доктора Пинто, не знающего себе равных по предприимчивости. «Неужели он и гостям подает эту мерзость вместо виски? — продолжал размышлять потрясенный Магальянс.— Да нет, конечно! Дома у него наверняка целый погреб шотландского... Ох уж эти миллионеры!»

2

Гастон Симас, управляющий баиянским филиалом акционерного общества «Допинг», не по годам тучный и лысый, взмокший от пота господин, придав своему толстощекому, пышноусому лицу выражение бодрой решимости, улыбаясь и весело чертыхаясь, сообщает группе ближайших помощников — группа эта состоит из пяти мудрецов, пяти асов, пяти непревзойденных пройдох — об итогах заседания оргкомитета по поводу предстоящего столетия Педро Аршанжо. Теперь им, пяти сотрудникам фирмы, — жалование они получают поистине королевское, — предстоит поставить юбилейную кампанию на деловые рельсы, то есть приняться за составление рекламных объявлений: вот тогда и потекут денежки, и повяжутся счета-фактуры... Гастон Симас перекатывает это замечательное слово во рту, и кажется, что он вкушает амброзию, пробует икру или смакует драгоценное вино.

— В каждом воскресном приложении нам предостав-

¹ Напряжение (англ.).

² Никаких препятствий (лат.).

ляют по пять полос. В четвертом и последнем выпуске будет двенадцать полос, и мы можем рассчитывать на семь, семь с половиной, даже, если потребуется, на восемь. Но, друзья мои, мы не должны ограничиваться только приложениями! Путь свободен. Пришпорьте фантазию, творите, держайте! За дело, дети мои! Нельзя терять времени! В кратчайший срок жду от вас конкретных предложений! Наш девиз — действенность и основательность! Помните об этом!

Окончив свою речь, он возвращается в кабинет, падает в кресло. Гастон Симас — воплощение действительности и основательности: умен, трудолюбив, наделен даром воображения, но в те минуты, когда им овладевает бес самокритики, ему со всей очевидностью становится ясно, что на свет он родился не для рекламных операций; Симас не в восторге от своей профессии. Он избрал ее по необходимости и из тщеславия: она дает хорошее жалованье и заметное положение в обществе. Будь его воля — он бы так и остался журналистом: получал бы гроши, но зато не надо было бы изображать из себя важную персону, — это так не вяжется с его веселым лицом гуляки и бабника, для которого главная радость жизни — сыграть в домино у ворот рынка Модело, пропустить стаканчик-другой, поболтать о том о сем с приятелями...

«Для этой профессии во мне слишком много баиянского, — признался он однажды юному Арно, симпатичному уроженцу Рио, восходящей звезде рекламного бизнеса. — А что делать?» — «Как что делать? Смириться, милый Гастон, смириться: должность управляющего баиянским филиалом дает большие деньги и завидное положение в обществе — социальный статус, так сказать...» И вот, словно бесправный раб, Гастон Симас сидит в своем кабинете и смотрит на залив, на крепость у моря, на зеленый остров, на плавно скользящие по воде баркасы... А в кабинете все кричит о богатстве и могуществе его обитателя: там мебель черного дерева, там ковер из Женаро, там рыжая секретарша... Что ни говори, а в наше время нет искусства выше, чем искусство рекламы.

Никто не возьмет на себя смелость отрицать, что искусство рекламы — важнейшее и высочайшее искусство: ни поэзия, ни живопись, ни проза, ни музыка, ни театр, даже кино не могут сравниться с ним. Ну, а телевидение и радио, можно сказать, вообще автономно не существуют, они изначально включены в орбиту рекламы.

Создание рекламы требует художественного дара, и в рекламных агентствах полным-полно разнообразных пикассо. Среди писателей нет равных тем, кто пишет рекламные объявления: десятки хемингуэев творят новую литературу, сочиняют с неистощимой изобретательностью прозу и стихи в традициях реализма или сюрреализма, ищут и находят путь к сердцу потребителя. Так зачем же скрывать правду? Взойдет солнце, и мир увидит ее во всем блеске и могуществе!

Но пикассо и хемингуэи, в свою очередь, тоже целиком зависят от рекламы: их, пикассо и хемингуэев, создают рекламные агентства и благодаря рекламным агентствам в мгновение ока обретают они славу и успех. В течение нескольких месяцев поклоняются им толпы почитателей-ротозеев. Потом они исчезают, уходят в небытие — согласитесь, что нельзя до бесконечности держать на гребне славы новоявленных гениев и писать о них статьи! Ведь владельцы рекламных агентств — люди, а не боги! Впрочем, у каждого из рекламируемых есть свой шанс, своя звездная минута, и чем больше денег потрачено на прославление, тем дольше она длится. А потом — устраивайтесь сами, это уж ваше дело. И они устраиваются: достаточно окинуть взглядом эту ярмарку тщеславия, чтобы убедиться, сколько жуликов и ловкачей, выращенных в инкубаторах рекламных агентств, процветают и живут припеваючи, ловко управляясь со своей бесцветной бездарностью, предоставляя глупцам вроде профессора Калазапса надрываться на двух факультетах, терять последние силы на этой марафонской дистанции... Профессор Калазапс никогда не сделает карьеры, никогда не станет символом нашей эпохи, воплощением нашего восхитительного, благородного — сколько ни хвали, все мало! — общества потребления...

Вывезенный из Рио чертенок Арно, смочив перо настоящим шотландским виски, первым порадовал Гастона Симаса результатом трехдневных напряженных трудов, глубоких раздумий, — первым ослепил патрона плодом своей безудержной фантазии. Он положил на стол Симаса лист бумаги, на котором крупными буквами было написано:

«ПЕДРО АРШАНЖО,

переведенный на английский, немецкий, и русский,
ПРОСЛАВЛЯЕТ БРАЗИЛИЮ И ПРИНОСИТ ЕЙ ВАЛЮТУ,
ТРЕСТ ПО ЭКСПОРТУ КАКАО делает то же!»

— Гениально! — закричал в восторге Гастон. — Молодец!

За первым опытом последовали другие, не менее удачные, но приоритет, без сомнения, принадлежал юному принцу рекламного королевства, высокоодаренному Арно, — недаром получал он в месяц столько же, сколько добрая половина всех профессоров какого-нибудь факультета, вместе взятых!

Задавшись благородной целью повысить культурный уровень читателя, мы приведем некоторые из наиболее удачных текстов. Вот, например:

«Отпразднуйте столетие Педро Аршанжо бокалом «Полярного» пива!»

«Если бы Педро Аршанжо был жив, он писал бы свои книги только на электрических пишущих машинках «Золимпикус».

«В год столетия со дня рождения Педро Аршанжо Индустриальный центр выстроит новую Баию!»

«В 1868 году родились два баианских исполина:

Педро Аршанжо и страховая компания «Факел».

Арно не почил на лаврах, а сотворил новое чудо. Воздержимся от похвал — прочтите сами и убедитесь:

«Всегда, всегда, всегда
Горит наша «Звезда»!
Ангельский нрав!
Аршанжельский вид!
Наша «Звезда» обувает в кредит!»

Арно был так горд своим произведением и так любезен, что лично отнес его заказчику — хозяину обувной фирмы «Звезда», но тот принял принца как нельзя хуже. В это самое время он пытался похудеть, а ничто так не портит характер человека, как диета. Густобровый пятидесятилетний обувщик с докторским кольцом на пальце оценил элегантность визитера, его невозмутимую самоуверенность и безнадежно покачал головой:

— Я — дряхлый, обессиленный, голодный старик, а вы молодые, красивые, нарядны, от вас пахнет виски и акараже, и как замечательно пахнет, но все же я позволю себе заметить: рекламу вы сочинили дерьмовую.

Притворное самоуничижение и внезапная грубость так причудливо сочетались в этой фразе, что Арно не обиделся, а расхохотался. Заказчик пояснил свою мысль:

— Сударь, в Баие три магазина обуви фирмы «Звез-

да», вы же не сообщаете адреса ни одного из них. Это во-первых. Во-вторых, что это такое — «горит наша «Звезда»? Горит или прогорает? Честное слово, я сделал бы рекламу лучше, а взял бы дешевле.

К вящему разочарованию служащих фирмы, которые надеялись, что в один прекрасный день их хозяина вздуют, драки не произошло: Арно вместе с клиентом переработал текст и в конце дня, когда с моря веял легкий бриз, оба вышли на улицу. «Вы любите древности?» — спросил обувщик. «Вообще-то я предпочитаю современность...» — признался Арно, но все-таки пошел за ворчливым заказчиком по улочкам и переулкам и впервые в жизни оказался в «bric-à-brac»¹. Он увидел старинные светильники, серебряные кадила, кольца, причудливые украшения, кушетки и козетки, хрустальные шпешечки, гравюры из Лондона и Амстердама, расписанный от руки молитвенник и ветхую резную фигуру святого. Арно внезапно ощутил магическую силу красоты.

На следующий день, показывая исправленный проект Гастону Симасу, за которым оставалось последнее слово, Арно сказал ему:

— Старик, а ведь ты был прав! Здесь, в Баие, трудно заниматься нашим делом, не идет оно в этом климате... Эх, если бы можно было бросить все!.. Ходил бы себе по улицам... Скажи-ка, Гастон, ты видел когда-нибудь фасад францисканской церкви?

— Еще бы мне не видеть! Я ведь здесь родился, малыш!

— Представляешь, я уже год в Баие, тысячу раз проходил мимо, и никогда мне даже в голову не приходило остановиться, постоять, посмотреть! Лошадь я, Гастон, скотина я, несчастный я человек, сукин я сын из рекламного агентства!

В ответ на это Гастон Симас лишь тяжело вздохнул.

3

На второе заседание оргкомитета народу пришло уже значительно меньше. Так всегда и бывает: второе заседание не фотографируют, оно не удостоивается упоминания на первой странице, — хорошо, если тиснут две строчки где-нибудь на задворках.

¹ Антикварный магазин (фр.).

Президента Академии и директора Института представлял в одном лице профессор Калазанс. Деканы медицинского и философского факультетов, равно как и начальник Управления туризма, извинились и не пришли, сославшись на ранее назначенные встречи; впрочем, они сообщили, что присоединяются к любому решению и поддерживают любое начинание.

От философского факультета в порядке личной инициативы явился профессор Азеведо: его привлек план устроить симпозиум, и он с энтузиазмом ухватился за эту идею. Профессор Рамос, прося содействия в организации этого дела, написал ему из Рио следующее: «Первая научно подготовленная дискуссия может стать заметной вехой в развитии бразильской культуры. Расовая проблема приобрела ныне жгучую актуальность, во многих странах она перерастает в конфликт: это относится в первую очередь к Соединенным Штатам, где «черная власть» стала новой и серьезной силой, и к южноафриканским государствам, правительства которых, мне кажется, действуют как наследники нацизма».

Профессор Азеведо собирался документально доказать вклад Аршанжо в «бразильский вариант» решения проблемы, которую ныне должны были обсудить участники симпозиума. «Девизом этого форума,— писал он профессору Рамосу,— могли бы стать слова местре Педро: «Мировую культуру Бразилия обогатила прежде всего смешением рас. Это наш вклад в сокровищницу гуманизма, это наш дар человечеству».

Присутствовала на заседании и секретарь Центра фольклорных исследований: она героически отстаивала себе место под солнцем, сражаясь в одиночку против многочисленных этнографов, антропологов, социологов, занимающих высокие должности, получающих от иностранных университетов и научных обществ стипендии и субсидии, командующих целыми полками ассистентов; а она была самоучкой, исследованиями занималась почти кустарно и упустить такой шанс, как юбилей Педро Аршанжо, не могла. Рослая, крепкая, веселая Эделвейс Виейра одна из немногих знала работы баиянского местре; она, да профессор Азеведо, да председатель оргкомитета Калазанс, который сказал однажды: «Если я берусь за какое-нибудь дело, то готов всерьез за него отвечать».

Пришел и представитель фирмы «Допинг», нагруженный кожаной папкой, бумагами, схемами, графиками и

сводками; вместе с Голдманом они немедленно заперлись в кабинете главного редактора. Доктор Зезиньо попросил Калазанса и всех остальных «минуточку подождать», и они ждали, болтая о всякой всячине.

Угрюмый Феррейринья уволок председателя оргкомитета к окну и поделился с ним своими опасениями: «Дела идут неважно, у нашего повелителя совершенно похоронное выражение лица...» Секретарь редакции пользовался репутацией первого паникера, и Калазанс не очень-то ему поверил: такие уж настали времена — слухи, сплетни, мрачные прогнозы, да и вообще жизнь невеселая и беспокойная... Но когда дверь кабинета наконец открылась и на пороге появились Гастон Симас и доктор Зезиньо, он заметил, что как ни старается главный редактор придать своему лицу веселое и добродушное выражение, глаза у него — тревожные и испуганные.

— Извините, господа, что заставил вас ждать, — прошу вас! — сказал Зезиньо.

Продолжая стоять, Калазанс сообщил:

— Профессор Азеведо представляет философский факультет. Местре Нето прийти не смог, а сенатор улетел в столицу — президент Академии избран в сенат республики. Свои полномочия он передал мне. Декан медицинского факультета и начальник...

— Они позволили, что не придут, — прервал его босс. — Это не важно, а может, и к лучшему. Мы здесь все свои, en petit comité¹, так сказать, можно будет поговорить спокойно, обсудить все наши проблемы... Прошу садиться, друзья.

Первым слово взял профессор Азеведо и тоном правого оратора начал:

— Позвольте, доктор Пинто, поздравить вас с удачным предложением, достойным всяческих похвал! Особенно хотелось бы подчеркнуть насущную важность симпозиума по проблемам апартеида и смешения рас: этот симпозиум станет крупнейшим за последние годы событием в отечественной науке. Честь и хвала нам всем, и прежде всего — доктору Пинто!

Доктор Пинто выслушал похвалы со скромным видом человека, который просто выполняет свой долг перед отчизной и бразильской культурой и готов принести им любые жертвы.

¹ В узком кругу (*фр.*).

— Благодарю вас, дорогой профессор. Я тронут. Но раз уж вы заговорили о симпозиуме, мне хотелось бы высказать некоторые мысли по этому поводу. Буду краток: я снова и снова изучал этот вопрос во всей его сложности и глубине и пришел к определенным выводам, я сообщу их вам, друзья мои, и рассчитываю на ваш патриотизм и здравый смысл. Прежде всего я хочу выразить мое восхищение выдающимися трудами профессора Рамоса. Мои чувства не нуждаются в доказательствах; ведь это я привлек профессора к участию в юбилейных торжествах. Предложенный им симпозиум, разумеется, представляет большой научный интерес, но сейчас не та ситуация, чтобы затевать подобное... Сейчас не время!

Профессор Азеведо похолодел: всякий раз, когда раздавались роковые слова «сейчас не та ситуация», происходила какая-нибудь гадость. Последние годы ему и его коллегам по университету жилось нелегко и приходилось несладко, поэтому он, не дослушав, предположил самое плохое и прервал речь Зезиньо:

— Сейчас как раз время, доктор Пинто! Сейчас, когда расовые столкновения в США достигли размаха гражданской войны, когда молодые африканские государства начинают играть все большую роль в международной политике, когда...

— Вот-вот, дорогой профессор! Те самые события, которые, по вашему мнению, доказывают своевременность симпозиума, на мой взгляд — превращают его в серьезную угрозу...

— Угрозу? — ввязался Калазанс. — Кому?

— ...серьезную угрозу. Симпозиум на такую опасную тему, как «Проблемы апартеида и смешения рас», может стать очагом агитации, и пожар, дорогие мои, вспыхнет такой, что нам даже трудно себе представить. Подумайте о юности, подумайте о студентах! Я не отрицаю, что многие их требования правомочны и справедливы: наша газета смело заявляла об этом, — но можем ли мы сыграть на руку профессиональным смутьянам — агитаторам, внедренным в студенческую среду, можем ли мы дать повод шайке подрывных элементов?!

«Все пропало», — понял профессор Азеведо, но продолжал бороться: предложение профессора Рамоса стояло того.

— Побойтесь бога, доктор Пинто! — в последнем усилии выкрикнул он. — Студенты — даже самые леваки — поддержат наш симпозиум единодушно. Я со многими

говорил: все настроены чрезвычайно благожелательно, все заинтересованы! Ведь это чисто научная затея!

— Видите, профессор, вы только подтверждаете мою правоту и даете мне новые аргументы. Опасность как раз и заключается в том, что студенты поддержат симпозиум. Ведь его тема — это настоящий динамит! Бомба! Нет ничего легче, чем превратить научный симпозиум в политический митинг. Начнутся демонстрации, манифестации в поддержку американских негров, выступления против США... Дело может кончиться поджогом американского консульства! Вы ведь сами сказали: это левый симпозиум!

— Ничего я не говорил! В науке нет ни левых, ни правых! Я сказал только, что студенты...

— Это одно и то же: студенты-леваки и все студенчество в целом одобряют симпозиум. Это-то и опасно, профессор!

— Ну, так нельзя...— попытался Калазанс снова вступить за коллегу.

Доктор Зезиньо, не скрывая своего неудовольствия, решил прекратить прения:

— Простите, Калазанс, я перебыю вас: мы попусту теряем время. Даже если вы меня переубедите, а меня совсем нетрудно переубедить...— он вдруг замаялся,— даже в этом случае симпозиум нельзя будет провести,— и выдал из себя: — Потому что... ну, меня вызывали... и я имел возможность обсудить эту проблему во всех аспектах...

— Вызывали? Кто вас вызывал? — пожелала узнать секретарь Центра, совершенно не разбиравшаяся в тонкостях политики.

— Тот, у кого на это есть право... Профессор, надеюсь, теперь вам все ясно? Вы поймете меня и мое положение... Я хочу вас попросить: объясните все профессору Рамосу,— мне бы не хотелось, чтобы он истолковал мой поступок превратно...

Он посмотрел в окно: напротив, в кафе, сотрудники его газеты пили кофе с молоком и ели бутерброды.

— От нас ускользнули некоторые детали, а именно они в определенный момент сделали нежелательным то, что на первый взгляд казалось нам прекрасной идеей. Я сообщу вам совершенно конфиденциально: как раз сейчас наши дипломаты готовят широкое соглашение с ЮАР. Мы очень заинтересованы в расширении связей с этим сильным и стремительно развивающимся

государством. Не исключен и политический, антикоммунистический альянс: во всяком случае, в ООН мы уже выступаем как союзники и отстаиваем одни и те же взгляды. В ближайшие дни будет открыта прямая воздушная линия Рио — Йоганнесбург. Вы понимаете, что все это значит? И тут собираются бразильские ученые — собираются для того, чтобы заклеить апартеид, то есть Южно-Африканскую Республику? Я уж не говорю о США, о наших обязательствах перед великим народом! В тот самый час, когда он испытывает трудности со своими неграми, мы подольем масла в огонь? От проблемы расизма до проблемы Вьетнама — один шаг! Ничтожный шаг! Все это слишком серьезные аргументы, друзья мои! Как бы ни хотел я отстоять нашу затею, спорить не приходилось.

— Короче говоря, симпозиум запретили? — вскинулась неугомонная Эделвейс, которая из-за пагубного пристрастия к ясной и простой народной речи слов не выбирала.

— Никто ничего не запрещал, донна Эделвейс, — воздел руки к небу уже успокоившийся доктор Зезиньо. — Мы живем в Бразилии, в демократической стране, — здесь ничего запретить невозможно! Просто мы здесь сейчас всесторонне, на основании новых данных изучили проблему — мы, наш оргкомитет, и больше никто! — и приняли решение: отложить проведение симпозиума. Это не помешает нам торжественно отметить столетний юбилей Педро Аршанжо. Воскресные приложения готовятся полным ходом, Гастон сообщил мне в высшей степени отрадные сведения. Перспективы прекрасные! Торжественное собрание пройдет на высоком научном уровне, будут отличные речи! Кроме того, можно придумать что-нибудь еще — только не такое опасное, как этот пресловутый симпозиум...

Наступила тишина, вполне соответствующая понятию «сейчас не время», и в этой тишине доктор Зезиньо еще раз возродился из пепла сгоревшего симпозиума.

— Вот, например, большой конкурс для школьников... Редакция подготовит актуальную и патриотическую тему... Назначим крупную премию имени Педро Аршанжо... Победитель конкурса и сопровождающий на неделю смогут слетать в Португалию. Как вам эта идея? Подумайте, друзья мои. Спасибо за внимание.

На этот раз не было даже и отечественного виски.

Общество писателей-медиков (в Баие находилась его штаб-квартира, а отделения были разбросаны по многим городам нескольких штатов) опубликовало манифест в поддержку юбилейных торжеств: Педро Аршанжо, хотя и не стал дипломированным врачом, был тесно связан с медицинским сословием пуповиной медицинского факультета, «которому служил с замечательным усердием и трогательной преданностью».

Председатель этой деятельной организации, уважаемый рентгенолог из знаменитой клиники, писавший биографии выдающихся медиков, пожелал произнести речь — шестую! — на торжественном заседании и, дабы в сухом научном выступлении прозвучали живые человеческие ноты, отправился собирать точные сведения о личности — именно о личности — Педро Аршанжо. Постепенно он добрался до майора Дамиана, который уже много лет принимал посетителей по вечерам в баре «Бизаррия», в одном из глухих закоулков Пелоуриньо. Там был его «ночной оффис».

Бар «Бизаррия» — один из последних баров, где еще уцелели столики и стулья, а посетители могли насладиться беседой, — помещался раньше на оживленном перекрестке Праса-да-Се и принадлежал одному милому испанцу, лет пятьдесят назад приехавшему из Понтеведры. Теперь же его сыновья открыли на месте бара закусокную американского типа: за умеренную плату посетитель получал тарелку с уже разложенной едой, бутылочку с каким-нибудь прохладительным по своему выбору, ставил все это на подобие прилавка, который шел по периметру, и через десять минут был уже сыт и свободен: таким образом посетитель отрывался от зарабатывания денег только на десять пропащих минут. Старик испанец любил своих завсегдатаев, любил добрый стакан вина, не презирал и кашасу — если, конечно, хорошая кашаса; он уступил выгодный перекресток сыновьям, нетерпеливым сборникам прогресса, но отказаться от бара, где стояли бы столы и стулья, где шли бы оживленные беседы, где никто не смотрел бы на часы, не пожелал, а потому обосновался в тупичке на Пелоуриньо, и вслед за ним туда переехали упрямые пьяницы — его клиенты и приятели. Майор Дамиан был завсегдатаем бара с незапамятных времен и ежевечерне являлся туда выпить для аппетита перед ужином: у него было постоянное место.

Элегантный и несколько чопорный рентгенолог оробел и онемел, попав в этот древний мир; ему казалось, что время повернуло вспять и он оказался в уже давно не существующем городе: черные каменные плиты пола, тусклый свет, столетние сумрачные стены, восточные ароматы... В тот вечер не он один искал майора, чтобы тот поделился воспоминаниями об Аршанжо: в «Бизаррии» уже сидели Гастон Симас и какой-то франтик из его агентства. Они пили убийственное зелье, известное в свое время под названием «козлиный мосточек», а франтик — потом выяснилось, что его зовут Арно Мело, — ел акараже. Торговка, продававшая баианские яства, больше двадцати лет просидела за своей жаровней у входа в бар, а потом вместе с ним перебралась сюда с Праса-да-Се. Все было внове председателю Общества писателей-медиков, все волновало его, потому что до сих пор он ничего не знал, кроме клиники, студентов, рентгеновского кабинета на улице Чили, квартиры на улице Граса, литературно-научных собраний. Разве что по воскресеньям — пляж и фейжоада.

— Рентгенолог? — спросил майор, взглянув на визитную карточку. — Это прекрасно. Доктор Натал — в отпуске, доктор Умберто путешествует, я просто не знал, что делать. Садитесь, будьте как дома! Что будете пить? То же, что мы? Правильно. Для аппетита нет ничего лучше. Пако! — обратился он к испанцу. — Налей нам еще и подойди познакомься с доктором Бенито, который почтит нас сегодня своим присутствием.

Доктор Бенито из вежливости — в этих обстоятельствах, пожалуй, излишней — взял рюмку и с опаской пригубил чудовищную смесь. Оказалось — восхитительно! Симас и Арно, изучая пути, по которым ходил когда-то местре Аршанжо, были уже далеко — на четвертой или пятой рюмке. Майор невозмутимо затянулся дрянной сигарой, выпустил клуб дыма:

— Рассказывают еще, что одна иаба, прослышав о том, какой бабник Педро Аршанжо, решила проучить его, смешать с грязью и обернулась самой красивой и нарядной в Баие мулаткой...

— Что такое иаба? — осведомился Арно.

— Иаба — это дьяволица со спрятанным хвостом.

Они отужинали все вместе, в баре: жаренная на оливковом масле рыба, обильно орошаемая ледяным пивом, была выше всех похвал. Дважды майор пускал по кругу бутылку кашасы, чтобы «залакировать пиво».

Потом они отправились — «тут совсем рядышком» — навестить заведение, принадлежавшее некогда Эстер, а теперь — Руте по прозвищу «Горшочек Меду». Там еще подавался знаменитый коньяк времен Педро Аршанжо. В полночь Гастон Симас исполнил для воодушевленной подтягивавшей публики «Звездное небо», а Арно Мело произнес несколько невыдержанную идеологически, но яростную речь против общества потребления и капитализма как такового.

В два часа ночи доктор Бенито страшным усилием воли заставил себя вырваться оттуда. Свою машину он оставил на террейро, а домой приехал на такси: никогда в жизни — даже в студенческие времена — он так не напивался; никогда еще не совершал столько необдуманных и противоречивших здравому смыслу поступков.

— Прости, дорогая, — сказал он жене, — я очутился в каком-то странном мире... А про Аршанжо мне только и удалось узнать, что он некоторое время сожительствовал с дьяволом...

— С дьяволом? — переспросила жена.

На следующее утро доктор обнаружил у дверей своего кабинета троих посланцев майора, — у каждого была записочка: «Майор Дамиан де Соуза просит милосердного врача оказать помощь неимущему подателю сего, а господь воздаст ему сторицей».

Двоим надо сделать снимок легких, третьему — почеч. Но это только начало: поток страждущих будет бесконечен.

5

Следует признать, что один из самых восторженных откликов на столетний юбилей Педро Аршанжо принадлежит медицинскому факультету Баии. В самом начале кампании, еще на первом ее этапе, в интервью «Журнал да Сиаде» было заявлено следующее: «Педро Аршанжо — сын нашего факультета; его творчество — это часть нашего священного достояния, часть того драгоценного наследия, что возникло когда-то на древней площади Террейро Иисуса, в славном коллеже иезуитов, а потом, вознесенное на пьедестал первого учебного заведения в Бразилии, было укреплено и развито победоносными наставниками нашего факультета. Работы Педро Аршанжо, высоко оцененные ныне даже за границей, могли быть

осуществлены лишь потому, что их автор, входя в состав администрации медицинского факультета, проникся духом этого благородного и гуманного учреждения, которое, занимаясь в первую очередь развитием медицины, в то же время уделяло внимание и близкородственным дисциплинам — особенно литературе, словесности. В стенах нашего факультета звучали голоса величайших ораторов Бразилии, находили себе поддержку изумительные по изяществу стиля и чистоте языка писатели: наука и искусство, медицина и элоквенция рука об руку шли по аудиториям. В этой атмосфере высочайшей духовности и закалился дух Педро Аршанжо, под сенью науки отточилось его перо. И сегодня, в этот торжественный день, мы с законной гордостью можем воскликнуть: творчество Педро Аршанжо — детище медицинского факультета Баии!»

Ну что ж, как бы там ни было, доля истины в этом заявлении есть.

О книгах, доктринах, теориях, профессорах и уличных певцах, о царице Савской, о графине, об иабе; об одной загадке и — в довершение ко всему этому — о рискованном предположении

1

Говорят, любовь моя, что побывала однажды в Баие иаба и вознегодовала она, и оскорбилась, и горько обиделась на местре Педро Аршанжо, потому что необузданный и невоздержанный, хвастливый этот распутник, повелитель и укротитель женщин, самец бесчисленных самок, пастырь послушного и кроткого стада, жил в окружении наложниц, словно африканский какой-нибудь царек: все возлюбленные его знали друг друга, захаживали друг к другу в гости, сообща пестовали рожденных от него детишек, — мирно и дружно, как сестры, собирались, веселились, болтали или же готовили для своего повелителя разные яства.

А он ни одну из них не оставлял своими заботами, по очереди навещал каждую, и хватало его на всех: вроде бы, кроме любовных забав, и не было у него другого занятия, и, кроме сладкого ремесла любовника, неведомы

были ему другие ремесла... Жил он да поживал в свое удовольствие, ел и пил вволю, — горд как лорд, спесив как паша, — был местре Педро неизменно спокоен и уверен в себе, не ведал он, что значит страдать от любви, терзаться от потери, изнывать от желанья, потому что любовницы его, навеки утратив и стыд и честь, льстили ему наперебой — так перед ним и стелились. Даже в шутку никто из них и подумать не смел о том, чтобы бросить Аршанжо, вызвать в нем ревность или изменить ему — так искусен он был и неутомим.

Нестерпимым оскорблением показалось иабе такое надругательство над всем женским полом, и решила она строго наказать местре Педро, да так, чтобы навеки запомнил он суровый и жестокий этот урок, чтобы в мольбах и ожидании, в просьбах и отказах, в презрении и одиночестве, в измене и позоре, в тоске безответной любви познал он все ее зло, всю ее боль. Никогда не страдал от любви женолюб Аршанжо, бабник и соблазнитель, — на пышной перине ли устраивал он свое ложе или на деревянном топчане, на пляже или на лесной опушке, на рассвете или на закате — неизменно оставался он прежним. «Не страдал от любви, а теперь пострадает, теперь на своей шкуре испытает он все тяготы и мучения, — решила иаба, увидав такое возмутительное спокойствие, и поклялась: — Выставляю я тебя на посмешище и поругание всей Баие и всему свету; иссякнет сила твоя, ослабеет жила твоя, закровоточит сердце твое, вырастут рога на лбу твоём!»

И, сказавши так, обернулась иаба негритяжкой, прекрасней которой не было ни в африканских землях, ни на Кубе, ни в Бразилии: сказки рассказывают люди о таких вот ослепительных и неистовых красавицах и песни поют. Ароматом распустившихся роз заглушила она серную вонь, туфельками прикрыла козлиные свои копыта, а хвост превратился в безупречных очертаний зад, — гордо отставлен он был и покачивался при ходьбе из стороны в сторону так, словно существовал отдельно от всего ее тела. Чтобы хоть отдаленно представили вы себе ее красоту, скажу только, что по дороге из преисподней к «Лавке чудес» свела иаба с ума шестерых мулатов, двенадцать белых и двоих негров. Увидав ее, разбежалось шествие богомольцев, падре сорвал с себя сутану и отрекся от веры, а святой Онуфрий обернулся к ней со своих носилок — обернулся и улыбнулся.

Шла иаба, шурша накрахмаленными и выглаженными юбками, шла и посмеивалась: дорого придется заплатить самонадеянному Педро за свою славу неутомимого жеребца, непобедимого производителя. Станет надменный жезл местре Аршанжо ломким и хрупким, как молодой кокос, и проку от него не будет никакого, — разве что в музей снести и подписать: здесь, мол, лежит некогда славное оружие Педро Аршанжо, — было славное да сплыло, — покончила иаба с этой славой и отвагой.

Не сомневалась проклятая в своей победе, твердо была она в ней уверена: ведь всякому известно, что иабы способны превращаться в женщин необычайной красоты и непобедимого очарования, умеют они становиться пылкими и искуснейшими любовницами, по известно также, что достичь наслаждения им не дано: всегда, всегда остаются они неудовлетворенными и просят еще и еще и страсть их только пуще разгорается. Прежде чем достигнет иаба райских врат и отведаст нектара, должен будет сдаться ее любовник, сдаться и отступить побежденным. Не родился еще на свет тот, кто прошибет эту стену, из бешеного, страстного, но тщетного желания сотворенную, кто проведет дьяволицу туда, где зазвучит для нее осанна и аллилуйя.

Но иаба придумала Аршанжо кару позлее бессилия, пострашней поражения в сладостном, в яростном этом поединке: хотелось ей, чтоб навек раненым осталось и сердце его, хотелось ей смешать Педро с грязью, превратить его в жалкого, молящего, несчастного невольника, тысячекратно преданного и презренного...

Шла иаба по улице, довольна была она своим замыслом. Когда же тысячу раз заставит она Педро испытать наслаждение дивным своим телом, когда покорится он ей, влюбившись насмерть, тогда равнодушно уйдет она прочь, — уйдет, не попрашивается. И увидит она — и весь мир увидит! — как будет он валяться у нее в ногах, и целовать следы ее ног в дорожной пыли, и вымаливать, словно величайшую милость, взгляд или улыбку, и униженно выпрашивать позволения прикоснуться хоть к мизинчику ее, хоть к пятке, — ах, сжался, сжался! — к черным набухшим виноградинам сосцов...

И тогда, протащив его по грязи бессилия и презрения, втопчет его иаба еще глубже — в бесчестье. Станет она открыто предлагать себя всему свету, станет кокетничать со всеми встречными, завлекать их, кружить им головы. Пусть все увидят, как сходит он с ума от ревности, как

заносит над нею нож, как размахивает бритвой: «Вернись, не то я убью тебя, проклятая! Если другому позволишь ты сорвать полевой твой цветок, я убью тебя — тебя и себя!»

И придет день, когда все увидят, как плачет он и молит, когда превратится он в жалкого рогоносца, когда потеряет он последние крохи достоинства и навек распрощается с гордостью, когда очнется он в грязи, в позоре, в смерти, в любовной муке. «Приди! — закричит он тогда. — Приди и приводи с собою всех, кто с тобою спит, всех любовников твоих и кавалеров! Изменяй мне, сколько хочешь, но только приди! Я, вываленный в дерьме, я, вымоченный в желчи, заклинаю тебя: приди! И я приму тебя с благодарностью...»

Как все знают, иабам не дано испытать наслаждения, но неведомы им ни любовь, ни любовное страдание, потому что — это доказано — сердца у них нет: грудь их пуста, словно дупло, и тут уж ничем не поможешь... И шла проклятая природой и вечно свободная иаба по дороге, шла и посмеивалась, и покачивался отставленный ее зад, и стрелялись, увидев ее, мужчины. Бедный, бедный местре Педро Аршанжо!

Но, любовь моя, вышло так, что он, растянувшись на пороге «Лавки чудес», уже поджидал дьяволицу, — поджидал с той минуты, когда ночь зажгла первую звезду, а луна выкатилась из-за домов Итапарики и повисла над темно-зеленым, маслянистым морем. Все было в ту ночь: и луна, и звезды, и безмолвное море. Была и песня:

За вежливость, сеньора,
Спасибо от души!
Ужасно вы надменны,
Но дивно хороши!

Нетерпеливо ожидал Аршанжо прихода иабы, и так велико и непомерно было его желание, что, должно быть, от него одного на десятки миль окрест теряли девственности невинность, а иные даже беременели.

Ты спросишь, любовь моя: «Как же это? Откуда прознал Аршанжо о коварных и потаенных замыслах иабы?» Ответ на загадку эту прост: разве не был Педро Аршанжо любимым сыном Эшу, повелителя дорог и перекрестков? Разве не был он, кроме того, оком Шанго, а око Шанго видит далёко — далёко и глубёко.

Эшу известил его о могуществе и о скверных намерениях пустогрудой дьяволицы-распутницы, известил, а потом научил, что делать: «Омойся настоящим из листьев,

только не каких попало, — сходи сначала к Оссайну, узнай у него; ему одному ведома тайная сила растений. Потом пропитай воду ароматом питанги, а как пропитается, смешай ее с солью, медом и перцем и натришь ею: будет тебе больно, а ты вытерпи боль как мужчина, и скоро увидишь, что станет с тобой. Ни женщина, ни иаба не победит тебя».

А под конец волшбы вручил ему Эшу ожерелье и браслет, какой носят на лодыжке, и так сказал: «Когда уснет иаба, надень ей ожерелье на шею, а браслет на ногу, и будет она скована и пленена навечно. Остальное расскажет тебе Шанго».

А Шанго прислал ему двенадцать петухов черных и двенадцать петухов белых и еще — голубку: незапятнанной белизны было ее оперение, и выгнута грудка, и нежно воркование. Из окровавленного любящего сердца голубки сотворил колдовским способом Шанго бусину — белую, красную бусину — и отдал ее Аршанжо и проговорил громовым своим голосом такие слова: «Слушай, Ожуоба, и постигай: когда уже будет связана иаба, когда заснет она и станет беззащитна перед тобою, всунь эту бусину ей в зад и жди без страха, что последует за тем. Но что бы ни случилось — не беги, не сходи с места, ожидай». Аршанжо пал ниц и ответил: «Аше».

Потом омылся он настоем из листьев, которые по одному отобрал для него Оссайн. Медом и питангой, солью и горьким перцем растерся он перед битвой, и словно страннический посох стало оружие его. В карман спрятал он ожерелье, браслет и сердце голубки — бело-красную бусину Шанго — и на пороге «Лавки чудес» стал поджидать иабу.

Только-только показалась она на углу, бросился на нее Аршанжо, не теряя времени на разговоры, ухаживанья и заигрыванья. Сразу начали они схватку. Да, любовь моя, только-только появилась она у «Лавки чудес», ринулся ей навстречу Аршанжо, задрал ее накрахмаленные, отглаженные юбки и оказался где хотел. Пламя на пламя, мед на мед, соль на соль, перец на перец. Ах, любовь моя, кто ж в силах описать эту схватку двух равных противников, эту случку жеребца с дикой кобылой, — кто поведаст о том, как мяукает обезумевшая кошка, как воеет волк, как ревет вепрь, как рыдает девушка в миг, когда становится она женщиной, как воркует голубка, как рокочут волны?!

Проникли они друг в друга и, пронизывая ночь, покатались вниз по склону, а остановились только на песке у порта. Прилив унес их в море, но и в морской пучине продолжали они безумную скачку, неистовую игру.

Не рассчитывала иаба, что придется ей иметь дело с таким противником, и после каждой новой атаки Аршанжо думала проклятая с надеждой и яростью: «Ну, уж теперь-то ослабеет и сдастся он!» Ничуть не бывало: только крепче становилось железо в огне и в страсти.

Не ждала иаба, что испытает она такое удовольствие от чудесного, невиданного, на меду, на перце, на соли настоящего оружия Аршанжо. «Ах,— простонала она в отчаянии,— ах, если бы мне...» Но нет, не вышло.

Три дня и три ночи без перерыва продолжалась великая эта битва, небывалое это празднество, десять тысяч раз овладел Аршанжо иабой, и так измучилась она в безграничной своей ярости, что внезапно сдалась, побежденная колдовской силой... Закричала она от наслаждения, и словно расколосось грозное небо. Орошена пустыня, побеждена засуха, преодолено проклятие! Осанна и аллилуйя!

И тогда она уснула,— уснула, став наконец самкой, но не женщиной, нет, нет, еще не женщиной.

В комнате Аршанжо, где сплелись тени и ароматы, ничком спала иаба, и когда успокоилось ее дыхание, надел Аршанжо ей ожерелье на шею и браслет на лодыжку и сковал ее. А потом со всей своей баиянской нежностью вложил меж божественных ее ягодичек птичье сердечко, волшебную бусину Шанго.

В тот же миг испустила она рев,— раздались ужасные, страшные, оглушительные звуки, и смертельным запахом чистой серы наполнился воздух. Молнии блеснули над морем, глухим эхом отозвались громы, бешеные вихри-ураганы пронесли над планетой. Огромный гриб поднялся к небесам и закрыл солнце.

Но сразу все успокоилось: наступила тишина, воцарилась радость: радуга засверкала на небе,— то богиня Ошумарэ объявила о том, что настал мир, начался праздник. Запах серы сменился ароматом распустившихся роз, а иаба была уже не иаба, а негрятянка Доротея, и волею Шанго в груди ее выросло самое нежное, самое послушное, самое любящее сердце, какое только бывает. Навек стала иаба негрятянкой Доротеей: огненное лоно, непокорный и дерзкий зад и — сердце голубки.

Вот и вся история, любовь моя, и прибавить к ней

нечего. Разгрызен этот орешек, раскрыта тайна, решена задача. А Доротея стала отважной и праведной дочерью Иансан. Некоторые сплетники клянутся, что, когда начинает она танец на террейро, откуда-то явственно попахивает серой, — остался этот запашок с тех времен, когда была Доротея иабой и пожелала сбить спесь с Педро Аршанжо.

Трудное это дело — сбить спесь с мулата! Многие пытались — и в переулках Табуана, где помещается «Лавка чудес», и на Террейро Иисуса, где возвышается факультет, — многие пытались, да ни с чем остались. Только вот Роза... Если кто и обучил местре Педро любовному страданию, если кто и победил его, то это Роза, Роза де Ошала, а больше никто — ни угольно-черная иаба со всей злобой своей, ни во фрак обряженный профессор со всеми своими премудростями.

2

Двое мужчин склонились над типографским станком, а юный подмастерье не хочет, чтобы они заметили, как неодолимо клонит его ко сну. Он своими глазами увидит первые страницы — много месяцев в радостном волнении ждал он этой минуты; ждал ее Аршанжо, ждал и Лидио Корро: он так взбудоражен и оживлен, что именно его человек несведущий и посторонний принял бы за автора книги «Обычай и обряды народа Баии» — первой книги местре Педро Аршанжо.

Последние забулдыги разошлись по домам, последняя гитара оборвала позднюю серенаду. Крик петухов разносится по улице, совсем скоро проснется и оживет город. Подмастерье слушал главы из книги, считывал и помогал набирать первые строчки, а теперь он пытается подавить зевоту, трет воспаленные глаза, моргает отяжелевшими веками — вроде бы незаметно, но Лидио Корро все видит:

— Иди спать.

— Я еще не хочу спать, местре Лидио, еще рано!

— Ты ведь на ногах не держишься, стоя спишь. Иди спать!

— Крестный, пожалуйста, — теперь в голосе мальчика слышится не только горячая мольба, но и решимость настоять на своем, — попросите местре Лидио, чтобы позволил мне остаться до конца. Мне совсем не хочется спать.

Для работы над книгой оставалась у них только ночь: утром ветхий типографский станок ждали обычные заказы — брошюрки бродячих певцов, рекламные листовки и проспекты для лавок и магазинов. В конце месяца — кровь из носу! — Лидио должен выплатить Эстевану очередную взнос за типографию. Вот и сражаются они по ночам со временем и с маленькой, ручной ревматической, капризной и брюзгливой машиной. Лидио Корро называет ее «тетушкой», просит ее благословения и благоволения, заручается ее поддержкой, но сегодня «тетушка» что-то упрямилась, и большую часть времени ее чинили и отлаживали...

Подмастерье зовут Тадеу, и ремесло типографщика ему по нраву. Когда Эстеван дас Дорес решил в конце концов уйти на покой и продать мастерскую, Лидио позвал в помощники Дамиана. Однако ни типографская краска, ни литеры не заинтересовали шалопаю, и проработал он недолго. Дамиан жить не мог без движения, без уличной толчеи. Он устроился в суд, бегал с протоколами, актами, петициями, апелляциями и прошениями, носился от судей к адвокатам, от прокуроров к секретарям. Так началась его юридическая карьера: был Дамиан на редкость сообразителен, лукав и проницателен... А в типографии один ученик сменял другого, и никто не задерживался надолго в мастерской, где платили мало, а работать — и притом вручную — приходилось много. Никто не справлялся. Тадеу был первым учеником, которым местре Лидио остался доволен.

Лидио соглашается и, вскрикнув от радости, бежит Тадеу умыться холодной водой, чтобы прогнать сон. День за днем, страница за страницей следил Тадеу за работой местре Аршанжо и даже сам не подозревал, как нужен он был тому, кого называл крестным, как вдохновлял он Аршанжо на новое и нелегкое дело — как помогал он ему овладеть искусством решительных выводов и тонких намеков, скрупулезности и недомолвок, искусством писать правду, постигать слово и его смысл.

Педро Аршанжо пишет для этих двоих людей, и они водят его рукой: вот они — кум, компаньон, близнец, друг всей жизни и этот мальчик, бойкий, прилежный, хрупкий мальчик с горящими глазами, сын Доротей. И вот закончена книга, и Лидио раздобыл в кредит бумагу.

Придумал-то все паренек с Тороро по имени Валдейр, но заставили Аршанжо взяться за перо случившие-

ся в это самое время происшествия. Ему всегда нравилось читать — он проглатывал любую книгу, что попадала ему в руки, он запоминал и записывал всякие истории, случаи и события — все, что имело отношение к обычаям и нравам народа Баии,— но о своей книге и не помышлял. Не раз, правда, казалось ему, что все его заметки — ответ на теории некоторых факультетских профессоров: теории эти были нынче в большой моде, выводы их и положения склонялись на все лады в аудиториях и коридорах медицинского факультета.

В ту ночь было выпито изрядно. Большая компания внимательно слушала рассказы местре Педро, а все истории были не простые, а с подковыркой, все наводило на размышления и заставляли призадуматься... Лидио Корро и Тадеу тем временем укладывали в пачки экземпляры некой книжечки, автор которой, Жоан Калдас, «певец народа и его слуга», семистопными, кое-как зарифмованными стихами излагал повесть о жене пономаря, что уступила домогательствам падре, а потом обернулась безголовым мулом и теперь носится по лесам и дорогам, изрыгая пламя и наводя страх на всю округу. Обложку украшала резанная по дереву гравюра местре Лидио — была она одновременно и скромная, и впечатляющая: изобразил художник грозу дорог, ужас путников — безголового мула, голова же его, отрубленная, но живая, впиалась поцелуем в согрешившие уста падре-святотатца. В общем, как сказал Мануэл де Прашедес,— «картинка — закачаешься!».

— Местре Педро знает все на свете, помнит столько историй и так здорово их рассказывает, что мог бы все это записать, а Лидио бы напечатал,— сказал вдруг Валделойр, непреременный участник всех афоше, мастер самбы и капоэйры, любитель поэзии и прозы.

Разговор этот шел в деревянной пристроечке, в саду. Комната была теперь занята типографским станком, так что все беседы велись в этой выстроенной местре Лидио пристройке под оцинкованной крышей. Там же работал отныне и волшебный фонарь.

Лидио просто надрывался на работе: он верстал и печатал, рисовал «чудеса», резал гравюры для обложек и еще время от времени рвал зубы. С Эстеваном был заключен кабальный договор сроком на два года, и платить надо ежемесячно. Пристройка была нужна еще и потому, что сборы от волшебного фонаря приносили некоторый доход, а кроме того, Педро Аршанжо не мог не

читать стихов Кастро Алвеса, Гонсалвеса Диаса, Казими́ро де Абреу¹, — стихов, воспевающих любовь и проклинающих рабство, не мог не участвовать в круговой самбе, не восхищаться замысловатыми па Лидио и Валделойра, монотонным голосом Ризолёты, пляской Розы де Опала. Аршанжо не согласился бы отменить спектакли, даже если бы они не приносили ни гроша, и по четвергам плакат на дверях «Лавки чудес» по-прежнему возвещал: «Сегодня — представление».

Дождь лил без перерыва почти целую неделю, — был месяц штормов, месяц влажных, пронизывающих, иглами колющих, печально завывающих ветров с юга. Затонули две рыбацьи шхуны, троих погибших так и не нашли, — видно, суждено им до скончания века плыть в поисках земли Айока, на край света. Остальные четыре трупа через несколько дней прибило к берегу: глаза выедены соленой водой, тела облеплены крабами... Страшно смотреть! Вымокшие до нитки, дрожа от холода, стучались друзья в двери «Лавки чудес». Вот в такие-то печальные и беспросветные дни доказывает кашаса истинную свою ценность. В ту ночь после заявления Валделойра слово взял Мануэл де Прашедес:

— Местре Педро много знает: чего только нет у него в голове, чего только не поназаписывал он на своих бумажках. Жаль будет, если одними песенками, которым грош цена, все дело и кончится! Люди не слыхали о многом, а послушать стоит! Пусть бы местре Педро рассказал свои истории какому-нибудь профессору-грамотею, на факультете таких — пруд пруди, а тот все запишет по порядку: будет людям польза. Готов поспорить, что профессор с радостью ухватится за это дело.

Спокойно и задумчиво взглянул местре Педро Аршанжо на добродушного великана Мануэла, взглянул — и вспомнилось ему, сколько всего произошло за последнее время здесь, на Табуане, и в его окрестностях, и на Террейро Иисуса. Веселая улыбка медленно осветила лицо, прогоняя непривычную суровость, и стала еще шире, когда глаза Аршанжо прошли по лицам гостей и встретились с глазами кумы — красавицы Теренсии, матери сорванца Дамиана.

— А зачем мне профессор? Я и сам напишу. Неужто ты считаешь, Мануэл, что раз мы бедняки, то ничего

¹ Казими́ро Жозе де Абреу (1837—1860) — бразильский поэт-романтик.

путного не можем создать? Что ничего, кроме корявых куплетов, нам не по силам? Я тебе докажу, милый,— это не так! Я сам напишу.

— Я не думал сомневаться в тебе, Педро, дружище! Сам так сам. Просто профессор, думается мне, все проверит: не подкопаешься. Ученый человек... Для него все — открытая книга...

— Эх, Мануэл, никто на свете не врет больше, чем твои ученые люди: они черное выдадут за белое. Их-то и надо учить — невежественных и ничтожных этих всезнаек! Тебе это невдомек, Мануэл де Прашедес, ты ведь не бываешь на факультете, не слышишь этих разговоров, не мотаешь их на ус. А известно ли тебе, Мануэл де Прашедес, что, по мнению некоторых ученых мудрецов, «мулат» и «преступник» — синонимы?!

— Я, дружище Педро, не знаю, что такое «синоним», но это бессовестное вранье, и о нем надо рассказать по-подробней!

Подмастерье Тадеу не выдержал, захохотал, захолопал в ладоши:

— Крестный научит их всех уму-разуму, и дурак, кто в этом сомневается.

Напишет ли Педро Аршанжо свою книгу или, завертевшись в водовороте празднеств, женщин, репетиций пасторилов, капозйры, обрядов макумбы, позабудет обещание, что дано было той штормовой, хмельной ночью в «Лавке чудес»? Наверно, позабыл бы, если б через несколько дней не вытребовала его к себе для неотложного разговора матушка Маже Бассан.

Она восседала у алтаря в своем кресле с подлокотниками — и убогое кресло казалось тронем грозной царицы. Так сказала она Педро Аршанжо:

— Прознала я, что обещал ты сочинить книгу, но ведомо мне, что ты не пишешь, а только разговоры разговариваешь и до дела руки твои не доходят. Только думать — мало! Ты носишься по всему городу, беседуешь со всеми и все записываешь, а зачем? Неужто собираешься ты всю жизнь быть на посылках у докторов? Служба твоя кормит тебя, но довольствоваться этим не имеешь ты права. И не писать не имеешь ты права. Не для того создан ты Ожубой.

Вот тогда-то Аршанжо и взялся за перо.

Лидио Корро помогал ему во всем: подбирал материалы, делился своими догадками — они почти всегда подтверждались, — остроумно и скромно высказывал свое

мнение о прочитанном. Если бы Лидио не торопил его, не доставал денег на типографскую краску и бумагу, может статься, бросил бы местре Педро сочинение свое на полдороге или затанул бы работу до невозможности, боясь наделать грамматических ошибок, поддавшись обстоятельствам, а то и просто отвлекшись. Очень не хватало ему танцулек, воскресной попойки, любви какой-нибудь новой подружки. Лидио подгонял Аршанжо, подмастерье Тадеу — вдохновлял, а сам местре Педро излагал на бумаге свои мысли, так что поручение матушки Маже Бассан выполнено было в срок.

В самом начале работы он никак не мог позабыть о самоуверенных факультетских профессорах, и отзвуки расистских теорий так или иначе влияли на его сочинение, лишая книгу свободы и силы, подгоняя под заранее установленный образец. Но по мере того как на свет рождались новые и новые главы, Педро Аршанжо все меньше думал о профессорах и теориях, потому что вовсе не собирался разоблачать их в полемике, к которой не был готов, а просто хотел поведать о жизни народа Баии, о нищете и о великолепии убогой и благородной повседневности — хотел показать, как этот преследуемый и гонимый народ полон решимости все пережить, все преодолеть, сохранив и умножив свое достоинство: танец, песню, железо, дерево — свою культуру и свою свободу, рожденную в киломбо и сензалах¹.

Вот тогда он и начал работать с истинным, почти чувственным удовольствием, тогда и стал уделять своему сочинению все свободное время — каждую его секунду. Он перестал вспоминать о сухом и грубом Нило Арголо, о вежливом и веселом, но оттого не менее яростно отстаивавшем дискриминационные доктрины профессоре Фонте и о прочих недругах. Наставники и воспитанники, эрудиты и шарлатаны не тревожили его больше. Рукою Педро Аршанжо водила любовь к народу Баии, а гнев только вносил в его книгу страсть и поэтичность, и потому из-под его пера вышел документ — документ неопровержимой силы.

Бессонная ночь в типографии. В тяжком усилии напрягаются руки. Медленно постанывает ротационная машина. И подмастерье Тадеу забыл про сон и усталость, увидав лист бумаги, покрытый буквами, — первую страницу книги! — вдохнув запах свежей типографской крас-

¹ Киломбо, сензал — поселения беглых негров-рабов,

ки. Кумовья вынимают бумагу, и Педро Аршанжо читает — читает или произносит наизусть? — первую фразу, свой боевой клич, лозунг, итог исследований, символ веры: «Смешение рас — это лицо бразильского народа, смешение рас — это его культура».

Сентиментальный Лидио Корро чувствует, как сжимается его сердце — еще не хватало умереть от волнения в такой радостный час. А Педро Аршанжо вдруг становится серьезен, важен, держится как-то торжественно, и видно, что мысли его далеко. Но уже через минуту его не узнать: звучит его добрый, звонкий, ясный смех, раскатывается неумолчный, вольный хохот: он подумал об этих мудрецах, об этих столпах науки, о не знающих жизни знатоках, о профессоре Арголо, о профессоре Фонтесе. То-то скорчат они рожи! «И мы, и вы — плод смешения рас, но наша культура и родилась от смешения рас, а вот ваша вывезена из-за границы, как консервированное дерьмо!» Да их обоих кондрашка хватит! Смех Педро Аршанжо зажигает зарю, светом заливает баианскую землю.

3

За несколько месяцев до этого события, однажды ночью, когда празднество на террейро было в самом разгаре и ориша танцевали с сыновьями своими и дочерьми под гром атабаке и рукоплескания в такт, там появилась Доротея, и за руку она вела мальчика-подростка лет четырнадцати. Иансан позвала было ее к себе, но она попросила прощенья и опустилась сначала на колени перед Маже Бассан — чтобы та благословила ее и мальчика. Потом подвела она его к Ожуобе и велела:

— Подойди под благословение.

И Аршанжо увидел, что мальчик худ, но крепок, что лицо у него тонкое, открытое, а волосы — черные, прямые и блестящие, глаза — живые, пальцы — длинные, губы — красиво очерчены. Жозе Аусса, жрец Ошосси, стоявший рядом, окинул их обоих быстрым любопытным взглядом и улыбнулся.

— Кто он мне? — спросил мальчик.

Доротея улыбнулась, как Аусса, — загадочно и едва заметно:

— Он твой крестный.

— Благословите, крестный.

— Садись, дружок, — вот здесь, возле меня.

А Доротея, прежде чем уйти к Иансан, которая нетерпеливо кликала ее, произнесла мягко, но властно, как она умела:

— Он говорит, что хочет учиться,— только о том и твердит. До сих пор ни к какому берегу не прибился: не пожелал стать ни плотником, ни каменщиком. Все считает да считает: таблицу умножения знает лучше учителя! Помощи мне от него никакой, одни расходы. Что мне делать? Не хочу ломать ему судьбу,— видно, не в меня он пошел,— не хочу, чтобы он занимался тем, что ему не по душе. Я ведь ему не мачеха, а родная мать. Я и мать, и отец, а для меня это чересчур: сам знаешь, живу я бедно, торгую на улице, стою у жаровни,— вот и весь мой заработок. Привела я его к тебе, Ожуоба, отдаю его тебе. Выведи его в люди.

Она взяла руку сына и поцеловала ее. Потом поцеловала руку Аршанжо и долго смотрела на обоих. Иансан призывала Доротею, и она испустила крик, что и на мертвых наводит страх, и с короткой кривой саблей в руках начала танцевать на террейро. «Эпаррей!» — крикнули ей разом Аршанжо и Тадеу.

А в типографии, в книгах, в познаниях мѣстре Педро мальчик нашел то, что искал. Аршанжо узнавал себя в крестнике: та же любознательность, та же беспокойство, та же неугомонность... Только у Тадеу была точно намеченная цель и шел он по заранее выбранному пути: учился не урывками, не кое-как, не потому, что ему просто нравилось постигать и приобретать знания. Тадеу шел к цели, Тадеу хотел достичь чего-то в жизни. Откуда взялось в нем такое честолюбие, от какого далекого прадеда унаследовал он его? Упрямством-то его наделила мать, и непокорная сила тоже была от нее,— от дьявольской этой женщины.

— Крестный, я хочу сдать экзамены,— сообщил он Аршанжо как-то раз, отказавшись от прогулки.— Мне надо заниматься. Если вы мне поможете по языку и географии, можно будет попробовать. По арифметике не нужно, а по истории Бразилии меня подготовит один знакомый.

— Ты хочешь сдать четыре экзамена сразу, в один год?

— Если вы мне поможете, я сдам.

— Ну, что ж, милый, давай начнем не откладывая.

...А собирались они в Рибейру. Будиан отправился вперед, повез провизию и девиц. Обещалась там быть

одна, по имени Дурвалина, — просто куколка... Педро Аршанжо посулил ей, что будет петь под гитару, а потом, в самый разгар праздника, похитит ее и на лодке свезет в Платаформу... Не сердись, Дурвалина, прости, — в следующий раз, хорошо?

4

Бродячие поэты, большинство которых пользовалось услугами типографии Лидио Корро, не могли упустить такой замечательной темы, как ссора Аршанжо с учеными мужами, и воспели ее в стихах. Происшествие стоило того.

На Террейро Иисуса
Вышел раз большой скандал...

За несколько лет было напечатано не то шесть, не то семь книжек: в них описывались события, последовавшие за выходом его сочинения. Все авторы были на стороне Аршанжо. Первая книга местре Педро была воспета в восторженных стихах славного импровизатора Флорисвалю Матоса, неизменного участника всех именин, свадеб и крестин:

Я почтеннейшей публике рад
Сообщить: гениальный трактат
Сочинил местре Педро. Впервые
Живописаны нравы Баии.
Согласитесь, — для этого шага
Нужны равно талант и отвага.

Когда полиция нагрянула на кандомбле Прокопио, Педро Аршанжо стал героем целых трех поэм, заполненных славословиями по его адресу. Стихи немедленно стали предметом живейшего обсуждения на рынках, на улицах и в переулках, в мастерских и лавчонках, — словом, всюду, где собирался бедный люд Баии. Кордозиньо Бемтеви, «романтический менестрель», даже забросил на время очень удававшуюся ему любовную лирику и сочинил поэму с таким вот длинным и завлекательным названием: «О том, как инспектор Педрито повстречался на террейро у Прокопио с Педро Аршанжо». На обложке брошюрки Люсино Формиги «О том, как Педрито Толстяк потерпел поражение от Педро Аршанжо» изображен был отступающий в страхе инспектор, уронивший плеть, а перед ним стоял безоружный и неколебимый, как утес,

местре Педро. Но наибольший успех выпал на долю эпического романа в стихах, принадлежащего перу Дурвала Пименты. Он назывался «Педро Аршанжо против полицейского страшилища» и вызвал настоящую сенсацию.

Среди поэтов, посвятивших свою музу собственно научной дискуссии, лавры стяжали Жоан Калдас и Каэтано Жил. Первый был прославленным трубадуром и отцом восьмерых детей — по прошествии времени их стало четырнадцать, кроме того, появились внуки, и тоже в немалом числе, — он порадовал читающую публику следующим шедевром, озаглавленным «Педель учит профессора»:

...Исчерпав все аргументы,
Заявили оппоненты,
Что Аршанжо — черт...

После публикации «Заметок...» на сцену вышел, прервав все нормы и правила, юный, отважный и талантливый Каэтано Жил: он пел под гитару свои песенки о жизни, любви и надежде, сочинял самбы и модиньи. Вот его творение:

Утверждать Аршанжо смеет;
Нынче негр читать умеет!
Чернокожий!
Было ж сказано когда-то,
Что диплома у мулата
Быть не может!
Но Аршанжо заявляет:
И метис теперь читает.
Вот папаста!
В наказание за отвагу
Засадить его в тюрьму!
Где же власти?!
Что же смотрит полицейский?
Ясен умысел злодейский!
Это смута!
Покарат за оскорбленье,
За такое поношенье
Нужно круто!

5

В 1904 году профессор судебной медицины Нило Арго представил собравшемуся в Рио-де-Жанейро научному съезду свой доклад «Баия как пример психосоматической дегенерации лиц со смешанной кровью». Доклад был опубликован в медицинском журнале, а потом вышел отдельной брошюрой. В 1928 году Педро Аршан-

жо написал «Заметки о смешении рас в баианских семьях»; было напечатано всего сто сорок два экземпляра — больше не успели, — пятьдесят из которых Лидио Корро разослал по отечественным и заграничным библиотекам и институтам, отправил ученым, профессорам и писателям. За те двадцать лет, что разделяли эти события, весь медицинский факультет оказался вовлеченным в полемику о проблеме расизма в мире и в Бразилии: выдвигались доктрины, отстаивались теории, ссорились профессора и кафедры. В споре приняли участие и авторитетные ученые, и полицейские. Было написано множество книг, докладов, статей и брошюр; газеты проводили яростные кампании, в ходе которых обсуждались различные стороны жизни Баии, включая религиозный и культурный аспекты.

Книги Аршанжо — особенно первые три — имеют самое непосредственное отношение к этому спору, и можно с полной уверенностью утверждать, что в первой четверти двадцатого века в городе Баия разгорелась война — война идей и принципов — между некоторыми профессорами, окопавшимися на кафедрах психиатрии и судебной медицины, и преподавателями житейского университета Пелоуриньо: многие из них лишь тогда поняли, что происходит — да и то не вполне, — когда полиция была призвана вмешаться в конфликт и вмешалась.

В начале века на медицинском факультете Баии создались исключительно благоприятные условия для высиживания расистских теорий, потому что факультет, основанный еще при короле Жоане Шестом, медленно, но верно терял черты мощного центра медицинских исследований, колыбели бразильской науки, приюта ученых, одинаково хорошо разбиравшихся и в своем деле, и в жизни, и превращался в притон, где создавалась закостеневшая, пустопорожняя, напыщенная, реакционная, академическая литература, которую и литературой-то можно было назвать с большой натяжкой. В те времена над славным факультетом реяли знамена предрассудка и нетерпимости.

Наступила печальная эпоха медиков-литераторов, — они больше интересовались правилами грамматики, чем законами науки, они орудовали местоимениями гораздо увереннее, чем скальпелем. Там боролись не с болезнями, а с галлицизмами; там изыскивали не способы лечения эпидемий, а неологизмы, и «галошу» заменяли «мок-роступом». Там создавали гладкую, правильную, клас-

сическую прозу; там процветала реакционная, подлая лженаука.

Да будет позволено заявить, что именно книги почти никому не известного Педро Аршанжо начали борьбу с этой официальной псевдонаукой, завершили эру печального прозябания факультета. Дискуссия по расовой проблеме, вырвав славный факультет из пут дешевой риторики и сомнительных теорий, пробудила в ученых интерес к науке, вдохновила на честные и самостоятельные умозаключения — словом, заставила их вновь заняться делом.

Полемика происходила при весьма примечательных обстоятельствах.

Во-первых, полностью отсутствуют какие бы то ни было архивные материалы, нет ни записей, ни сведений, ни сообщений, хотя полемика вызвала студенческие демонстрации и крутые меры властей. Только в полицейской картотеке сохранилось упоминание о Педро Аршанжо, сделанное в 1928 году: «Известный смутьян, вступил в конфликт с выдающимися учеными». Знаменитости, принимавшие участие в дискуссии, не могли унизиться до перебранки с педелем. Никогда и нигде — ни в одной статье, ни в одном докладе, ни в одном реферате, исследовании или диссертации — выдающиеся ученые словом не обмолвились о работах Аршанжо: их не цитировали, с ними не дискутировали, их не опровергали. А сам мастер Педро лишь в «Заметках...» откровенно и прямо заговорил о книгах и статьях профессоров Нило Арголо и Освалдо Фонтеза (и о работах молодого, недавно приехавшего из Германии профессора Фраги — единственного человека, который осмелился опровергать утверждения высокопоставленных мудрецов). До этого Аршанжо не трогал двух баиянских теоретиков расизма, не касался их трудов, не отвечал им, предпочитая бороться с арийскими теориями несокрушимым оружием неоспоримых фактов, яростной защитой, страстной апологией смешения рас.

Во-вторых, эта полемика, эхом прокатившись по всему факультету, затронув и преподавателей, и студентов, и даже полицейских, оставила совершенно равнодушным общественное мнение. Интеллигенты всех мастей вообще не подозревали о ней: она не выходила за пределы медицинского факультета. Отзвук спора можно найти только в эпиграмме Лулу Пиролы, влиятельного журналиста того времени: он ежедневно помещал в одной из утрен-

них газет стихотворный фельетон, остроумно и едко комментируя события. В руки ему попал экземпляр «Заметок...», и он с веселой злостью потешался над «темными мулатами» (то есть теми, кто скрывал свое происхождение и смешанную кровь), издеваясь над их спесью и благородной голубой кровью, и превозносил «мулатов светлых» (то есть тех, кто открыто и гордо заявлял, что происходит от смешанного брака). Итак, поэзия была на стороне Аршанжо: и бродячие певцы, и сочинители ярмарочной литературы, и прославленный в газете и гостиных бард поддержали его.

Ну, а народ очень мало знал о происходящем. Волнение вызвал только арест Ожубы, хотя все уже успели привыкнуть к полицейскому произволу. Педро Аршанжо так часто попадал в разнообразнейшие передраги и скандальные истории, что последнее происшествие особенного шума не вызвало и славе его не способствовало.

Одновременно с дискуссией по поводу смешения рас Аршанжо принял активное участие в борьбе между инспектором Педрито и участниками макубы. До сих пор на террейро, на рынках и ярмарках, в порту, на всех углах, на всех улицах и во всех закоулках можно услышать многочисленные версии рассказа о встрече Педро Аршанжо и Педрито Толстяка в час, когда грозный инспектор нагрянул на обряд кандомбле у Прокопио; до сих пор повторяют слова, сказанные Аршанжо в ответ полицейскому страшилищу, одно имя которого наводило на всех страх и ужас. Гонения на участников кандомбле явились прямым следствием расистской политики, начатой на факультете и подхваченной некоторыми газетами. Педрито Толстяк применил на практике идеи Нило Арголо и Освалдо Фонтеса, действия его были логическим продолжением их теорий.

Об этой несправедливо забытой дискуссии можно сказать, что итоги ее были чрезвычайно значительны: расизм заклеили как антинаучную доктрину, его объявили синонимом — гнусным синонимом! — шарлатанства, реакционности, последним прибежищем обреченных на гибель классов и каст. Если Педро Аршанжо и не покончил с расистами — дураки и подлецы были и будут во все времена и при любом строе, — то он отметил их огненным клеймом, выставил на позорище — «полюбуйтесь, вот они — антибразильцы!» — и восславил смешенные рас.

— Нет, дорогой коллега, это не лишено интереса,— произнес профессор Нило Арголо.— Разумеется, глупо было бы ждать, что мулат, факультетский педель, сочинит что-нибудь основательное, но если оставить в стороне эту бессмысленную и наглуго защиту смешения рас,— конечно, нам, белым, находящимся у источника познания, это не пристало, но метису-полукровке сам бог велел ратовать за метисацию,— так вот, если не обращать внимания на очевидные нелепости и смехотворные выводы, а рассматривать эту книжку лишь как пространный перечень обрядов и обычаев, то нужно признать: многое из того, о чем пишет этот плут, мне было неизвестно.

— Ну что ж, тогда я отважусь прочесть его опус, хотя особенного желания у меня нет, да и времени тоже. Вон он идет, а мне пора на лекцию,— ответил профессор Освалдо Фонтес и вышел. Коллега, друг, последователь и интеллектуальный выкормыш Арголо слегка побаивался его: Нило Арголо де Араужо был не просто теоретик: это был пророк и вождь.

Разговор шел о книге Педро Аршанжо, и профессор Арголо удивил своего единомышленника, попросив его:

— Покажите мне этого кафуза¹. Я не вглядываюсь в физиономии служащих, знаю только тех, кто усерден и старателец, да и то лишь с моей кафедры. Все остальные кажутся мне похожими друг на друга, и от всех одинаково скверно пахнет. Дома моя супруга дона Аугуста заставляет челядь мыться ежедневно.

При упоминании имени ее превосходительства доны Аугусты Кавальканти дос Мендес Арголо де Араужо, благородной и жестокой супруги прославленного ученого, профессор Фонтес поклонился. Это была дама старого закала, из разорившейся знати времен Империи, высокомерная и мстительная: перед ней трепетали не только слуги, но и бестрепетные политики. Несмотря на то, что профессор Фонтес был убежденным расистом и считал мулатов неполноценной субрасой, а негров — попросту говорящими обезьянами, слуг семьи Арголо он все же пожалел: каждый из супругов и по отдельности был нелегким испытанием для смертного,— можно себе представить, каковы они вдвоем!

¹ Кафуз — метис от брака негритянки и мулата.

Педро Аршанжо шел по коридору к выходу, радуясь омытому солнечными лучами дню, ступая в такт мелодии самбы, тихонько — из уважения к стенам факультета — насвистывая ее. У самых дверей, когда он засвистел громче, потому что на площади всякий волен распевать или шуметь в свое удовольствие, властный голос остановил его:

— Подождите!

Неохотно оборвав мелодию, Аршанжо повернулся и узнал профессора. Нило Арголо, профессор судебной медицины, краса и гордость медицинского факультета, высокий, прямой, сухощавый, весь в черном, был похож на средневекового инквизитора. Злой золотистый огонек горел в его маленьких глазках мистика и фанатика.

— Подойдите!

Аршанжо своей развалистой походкой капоэйриста приблизился к профессору. Зачем он позвал его? Неужели прочел книгу?

Расточительный Лидио Корро разослал по экземпляру нескольким профессорам. Бумага и типографская краска стоили денег, и, чтобы оправдать расходы, книги продавались в магазинах или прямо на улице чуть дороже себестоимости. Когда местре Аршанжо упрекнул Лидио в мотовстве и напомнил о расходах, того едва не хватил удар. «Нужно показать этим хвастунам, — кричал он, — этим попугаям в крахмальных манишках, чего стоит баианский мулат!» «Обычаи и обряды народа Баии» — чудо из чудес, созданное кумом Аршанжо, сверстанное и отпечатанное в типографии Лидио, казалось Корро самой главной в мире книгой. Она стоила ему многих жертв, но он не гонится за барышами! Единственная его цель — утереть нос всем этим надутым шарлатанам, которые считают негров и мулатов неполноценными существами, чем-то средним между человеком и животным. Не спрашивая Аршанжо, он рассылал экземпляры в Национальную библиотеку Рио-де-Жанейро, в Публичную библиотеку Баии, писателям и журналистам южных штатов, за границу — был бы только адрес.

— Знаешь, кум, куда я сегодня послал нашу книженцию? В Соединенные Штаты, в Колумбийский университет, в город Нью-Йорк. Адрес нашел в одном журнале, а еще раньше я отправил по экземпляру в Сорбонну и в Коимбрский университет.

Профессорам Нило Арголо и Освалдо Фонтесу книги в деканате оставил сам Аршанжо. Теперь, стоя в кори-

доре, он спрашивал себя: неужели «зверь» прочел этот неприглядный, скверно отпечатанный томик? Очень бы хотелось, потому что именно труды Арголо повлияли на решение местре Педро написать книгу: он просто захлебывался от ярости, читая сочинения профессора.

«Зверь!» — говорили студенты о Нило Арголо: имелась в виду и его всесветная слава эрудита — «Вот зверь! Семь языков знает!», — и его отвратительный нрав, сухость и бесчувственность; профессор терпеть не мог смеха, веселья, свободы, он свирепо придирался на экзаменах и обожал проваливать — «Вот зверь! Прямо весь заходится от удовольствия, когда лепит кол!» Тишина, царившая в аудитории на его лекциях, вызывала зависть других преподавателей, которые не могли добиться от студентов такого благоговения. Арголо не разрешал прерывать себя и не допускал возражений: он вещал с кафедры как осененный благодатью пророк, впавший в транс прорицатель.

Молодые преподаватели, зараженные анархическими европейскими идеями, позволяли себе пускаться со студентами в дебаты, выслушивали их возражения, соглашались с их доводами, — профессор Арголо де Араужо считал это «недопустимой распущенностью». Уж те-то аудитории, в которых он читает, никогда не превратятся в «кабак, где орут смутьяны, в прибежище всякой швали». Когда пятикурсник Жу, блестящий студент и круглый отличник, «избалованный попустительством других профессоров», назвал идеи Арголо реакционными, тот отстранил его от занятий и потребовал учинить следствие над наглым мальчишкой, который посмел прервать его лекцию неслыханно дерзким выкриком с места:

— Профессор, вы настоящий Савопарола! Вы пришли на медицинский факультет Баии прямо из инквизиции!

Арголо не удалось засыпать Жу на выпускных экзаменах — воспротивились два других члена комиссии, — но поставил он ему все же только «удовлетворительно», испортив тем самым отличный аттестат. А возглас юноши, возмущенного расистскими теориями профессора, вошел в факультетские анналы, стал одной из тех историй, что передавались студентами из поколения в поколение и облетали весь город. Арголо не удостоился той анекдотической славы, какая была суждена, например, профессору Монтенегро — главному персонажу бесчисленных и забавных легенд, которые живописали его придиричивый

пуризм в употреблении глаголов и местоимений, его страсти к архаической терминологии и нелепым неологизмам,— по угрюмый столп судебной медицины стал мишенью для остроумных и злых, а то и вовсе неприличных шуточек насчет монархической твердокаменности его взглядов и вкусов.

О нем рассказывают следующий анекдот, весьма похожий на правду. Узы сердечной дружбы более десяти лет связывали профессора Арголо и судью Маркоса Андраде; раз в месяц, по укоренившейся привычке, Арголо приходил к судье в гости. В тот невыносимо душный и знойный вечер, когда профессор, как обычно, явился к почтенному юристу, Маркос отдыхал после ужина в кругу семьи и позволил себе небольшую вольность: оставшись, разумеется, в полосатых брюках, жилете, крахмальной манишке и воротничке, он снял сюртук.

Маркос, извещенный горничной о том, что его прославленный друг прибыл и ожидает в гостиной, так заторопился поскорее приветствовать профессора и насладиться его ученой беседой, что сюртук надеть позабыл. Когда же Арголо увидел судью в таком непристойном виде, уместном лишь в спальне, он поднялся и произнес:

— До сих пор, милостивый государь, мне казалось, что вы меня уважаете. Теперь я вижу, что заблуждался,— и вышел вон, не прибавив к сказанному ни слова. Он не захотел выслушать ни оправданий, ни извинений судьи, навеки рассорился с ним, даже перестал здороваться.

А Мундиньо Карвальо, которого «зверь» провалил на экзамене, решил зло отомстить ему и пустил по городу такие вот грубые, оскорбительные и, без сомнения, лживые стишки:

Я белым стихом изложу —
Мне рифмы теперь не даются —
События последней недели:
Профессор наш, мудрый Арголо,
Так черного цвета не любит,
Что даже велел соскрести
С бедра благородной супруги
Две родинки: были они
Прелестны, да больно черны.

Подойдя, Педро Аршанжо заметил, что профессор заложил обе руки за спину, чтобы избежать рукопожатия. Лицо мулата вспыхнуло.

Профессор внимательно, словно изучая редкое насекомое или незнакомый предмет, оглядел педелю с ног до

головы, и враждебное выражение его лица сменилось нескрываемым удивлением: мулат был аккуратно и чисто одет и держался с достоинством. О некоторых метисах профессор думал и даже иногда заявлял вслух: «Он заслуживает того, чтобы быть белым; африканская кровь — его несчастье».

— Это вы написали брошюру под названием «Обычай и обряды...»?

— «...народа Баии». — Аршанжо проглотил унижение и приготовился к беседе. — Я оставил вам экземпляр в деканате.

— Добавляйте «сеньор профессор», — сухо поправил его прославленный ученый. — Попрошу не забывать об этом. Я получил это звание на конкурсе, имею на него право и требую, чтобы меня называли именно так. Понятно?

— Да, сеньор профессор. — Единственным желанием Педро Аршанжо было уйти прочь, и голос его был холоден и отчужден.

— Скажите, все эти сведения относительно обрядов, празднеств, церемоний, фетишей, которые вы собрали и классифицировали, соответствуют действительности?

— Да, сеньор профессор.

— Вы их не выдумали?

— Нет, сеньор профессор.

— Я прочел вашу брошюрку... — Профессор снова смерил собеседника враждебным взглядом горящих глаз. — Она заслуживает внимания, особенно если вспомнить, кто ее написал. Разумеется, она не имеет никакого отношения к науке, а ваши выводы о метисации — это вздор и опасные бредни. Но приведенные вами факты, повторяю, заслуживают внимания. Их стоит учесть. Это любопытно.

Педро Аршанжо сделал еще одну попытку преодолеть преграду, отделявшую его от профессора:

— Сеньор профессор, а не кажется ли вам, что именно эти факты подтверждают справедливость моих выводов?

По тонким губам профессора скользнула еле заметная усмешка: Арголо смеялся в исключительных случаях и почти всегда — над глупостью и неразумием человеческим.

— Не смешите меня. Вы не ссылаетесь в своем опусе ни на одну диссертацию, статью или книгу, вы не подкрепляете свои положения авторитетом отечественных

или зарубежных ученых,— как же можно считать вашу работу научным трудом?! На чем основываются ваши выводы о смешении рас как об идеальном решении расовой проблемы в Бразилии? Как вы смеете утверждать, что наша латинская культура создана мулатами? Это чудовищное искажение действительности!

— Мои выводы основываются на фактах, сеньор профессор.

— Вздор! Чего стоят все ваши факты, не освещенные философией, наукой? Приходилось ли вам хоть что-нибудь читать по этому поводу? — Арголо издевательски засмеялся.— Рекомендую вам книги Гобино. Это французский дипломат и ученый; он жил в Бразилии, и его мнение в споре по расовому вопросу является решающим. Его труды есть в нашей библиотеке.

— Я читал только некоторые ваши книги, сеньор профессор, ваши и профессора Фонтеса.

— И они вас не убедили?! Вы считаете ужасающие звуки всех этих самб и батук музыкой, вы выдаете отвратительных идолов, слепленных без малейшего понятия об эстетике, за произведения искусства, вы утверждаете, что ритуальные обряды кафров имеют отношение к культуре. Если мы допустим проникновение этого варварства, если мы дрогнем под напором этих ужасов, нашей стране будет грозить беда! Вот что я вам скажу: мы очистим культуру нашей отчизны от этой вывезенной из Африки мерзости, даже если придется применить силу!

— Да уж применяли, сеньор профессор...

— Значит, мало применяли, нужно было действовать решительнее! — Бесцветный голос Арголо стал жестче, желтый огонек фанатизма блеснул в его беспощадных глазах.— Раковую опухоль надо удалить без пощады! Хирургическое вмешательство только кажется жестокостью: на самом же деле оно необходимо и благородно!

— Что ж, сеньор профессор, не придется ли тогда перебить нас всех, одного за другим?

Жалкий педель осмеливается иронизировать? Краса и гордость факультета угрожающе и подозрительно воззрел на Аршанжо, но лицо мулата было безмятежно, поза почтительна, ничто не свидетельствовало о неуважении. Профессор успокоился, взгляд его стал мечтательным.

— Истребить всех, кто не принадлежит к арийской расе? — переспросил он и засмеялся почти весело.

Да, мир стал бы совершенен! Грандиозная, но неосуществимая мечта! Где он, тот отважный гений, который воодушевится этим смелым планом и воплотит его в жизнь?! Но, может быть, однажды непобедимый бог войны выполнит свой священный долг? Перед провидческим взором профессора Арголо возник этот герой во главе арийских когорт. Блистательный образ лишь на секунду, на славное мгновение мелькнул перед ним и исчез: профессор вернулся к убогой действительности.

— Я считаю, что это излишне. Достаточно будет принять закон, запрещающий смешанные браки. Надо регулировать их: белый женится на белой, негр — на негритянке или мулатке, и — в тюрьму того, кто преступит этот закон.

— Трудновато различить и классифицировать, сеньор профессор.

Снова почудился Арголо оттенок издевки в этих правильно произнесенных словах, в мягком голосе мулата. Ах, если бы профессор обнаружил иронию!..

— Не вижу в этом ничего трудного, — сказал он и, показывая, что беседа окончена, приказал: — Возвращайтесь к своим обязанностям, я больше не могу терять время. Так или иначе, молодой человек, в вашей книжке среди вздора содержится и кое-что дельное. — Профессор Арголо стал если не любезнее, то снисходительнее и протянул мулату два пальца для пожатия.

Но Педро Аршанжо ухитрился не заметить протянутой костлявой руки: он ограничился кивком, точно таким же, каким приветствовал его в начале разговора Нило Арголо де Араужо, только чуточку, самую малость небрежней.

— Мерзавец! — зарычал, побледнев от ярости, профессор.

7

Педро Аршанжо в задумчивости шел по Табуану, по переулкам, где носились мальчишки: было от чего задуматься. На факультете — неприятный разговор. Здесь, на улице Мизерикордия, иссушенная страстью Доротея совсем потеряла голову. Сатана потребовал, чтобы, расставшись с Баией, со свободой, с сыном, она следовала за ним. Давно уже ничего не связывало Педро и Доротею, и если иногда и встречались они случайно, как в

прежние времена, то были эти встречи лишь воспоминанием миновавших штормов и штилей. Но оставался еще Тадеу! Тадеу — смысл жизни Педро Аршанжо!.. Вдобавок ко всему книжка потребовала много расходов, и Лидио Корро еле-еле сводил концы с концами.

Эстефан дас Дорес с сигарой во рту, с тростью в руках — трость была не простая, а со стилетом внутри — неукошительно появлялся в «Лавке чудес» каждый месяц, в тот день, когда надо было платить ему по закладной, присаживался у дверей и заводил на целый вечер неспешные беседы. Иногда, если у Лидио что-нибудь не ладилось, он прислонял свою трость к стене, поднимался — руки в боки — и давал ему советы. Дряхлый и сгорбленный типограф был настоящим мастером своего дела: работа так и горела в его черных от машинного масла руках, а старенькая «тетушка» переставала капризничать и печатала быстрее. Хотя он ни словом не намекал на долг («Сижу дома, один как сыч, а ведь ни от чего так не устаешь, как от безделья, вот и пришел поболтать с друзьями...»). Лидио при виде ожидающего кредитора чувствовал себя неловко и говорил:

— Мне очень много должны, сеу Эстефан. Первый, кто принесет деньги, принесет их для вас.

— Да я не за деньгами пришел, помилуй бог! Позвольте, однако, вам заметить, местре Корро: вы слишком много работаете в кредит, будьте осторожны.

Так оно и было: бродячие поэты-трубадуры печатали свои книжечки в кредит и расплачивались постепенно, малыми порциями, по мере продажи. Лидио превратился в главного издателя ярмарочной литературы, но, скажите, у кого хватило бы духу отказать Жоану Калдасу, старому другу, отцу восьмерых детей, существовавшему на свое вдохновение, или слепому на оба глаза Изидро Поророке, который так несравненно воспевал красоты природы?!

— Послушайте моего совета, местре Корро: что бы дело процветало, типография должна работать быстро и хорошо, а заказчики должны платить наличными.

Едва получив и трижды пересчитав денюжки, Эстефан исчезал вместе со своими советами, сигарами, ревматизмом и тростью, от которой Тадеу был без ума: когда-нибудь, мечтал он, и у меня будет грозное это оружие — трость со стилетом...

— Однажды он достанет свой ножик и зарежет меня,— говорил Лидио Корро, сохранявший хорошее настроение в этих трудных обстоятельствах.

А обстоятельства были таковы, что представления пришлось давать чаще: иногда и по три раза в неделю. Помогал Будиан со своими учениками, Валделойр, Аусса и некий морячок по имени Мане Лима, списанный на берег с ллойдовского парохода за драки и поножовщину. Он не знал себе равных в матчише и лундуне, а за время стоянок в зарубежных портах научился и аргентинскому танго, и пасодоблю, и танцам гаучо, потому и говорил, что у него «международная программа». Он познакомился с Толстой Фернандой — действительно очень толстой, но очень подвижной особой,— и в объятиях моряка она порхала, как перышко. Эта пара прославилась: после «Лавки чудес» она стала выступать в кабаре и снискала громкий успех в «Монте-Карло» и «Элеганте» — было это, правда, много лет спустя. А Мане Лима, прозванный «Вальсирующий моряк», так и не покинул больше Баию — выезжал только ненадолго на гастроли в Аракажу, Масейо и Ресифе.

Но Педро Аршанжо перестал радоваться, как бывало, этим участвовавшим представлениям: у него едва хватало времени на то, чтобы читать, чтобы учиться самому и учить Тадеу.

— Местре Педро, ведь вы и так столько знаете,— зачем вам еще читать?

— Я, милый, читаю, чтобы понять, что вокруг меня и что мне говорят.

Легкую, почти незаметную перемену в нем ощутили и женщины: постоянный, верный, нежный их любовник, всем равно и щедро даривший наслаждение, уже не был похож на беззаботного юнца, который, кроме любви, других обязанностей не знал. Раньше его жизнь заполняли праздники, карнавалы, самбы, афоше, капозэйра, ритуалы макумбы, приятные разговоры, где сообщалось и выслушивалось много всякой всячины, но главным в ней были женщины, веселая наука любви, и он служил ей усердно и безвозмездно. Теперь же не простое любопытство приводило его на террейро, где совершались обряды кандомбле, на афоше, на репетиции танцевальных групп, в школы капозэйры, в дома всезнающих стариков, не бескорыстная любознательность заставляла его подолгу беседовать с почтенными старухами. Да, какая-то неуловимая, но значительная перемена произошла с Педро Ар-

шанжо, словно, прожив на свете сорок лет, он вдруг захотел в совершенстве и полностью познать жизнь и мир, его окружавшие.

Когда он проходил мимо дома Сабины дос Аевкос, к нему подбежал мальчуган. «Благословите, крестный!» Аршанжо взял его на руки. Мальчик унаследовал материнскую красоту, красоту Сабины, царицы танца, яростное тело которой исполнено жизни и силы, Сабины — царицы Савской. Ну, вот, царица, я — царь Соломон, я пришел в царство твоей спальни. Он читал ей стихи «Песни песней», и пахло от возлюбленной его народом — народом, смиряющим сердечные тревоги.

— Крестный, дай денежку!

Такой же попрошайка, как и мать, — Аршанжо достает из кармана монету, и лицо мальчика расплывается в улыбке. От кого унаследовал он этот шутовской и вольный смех?

Сабина появилась в дверях, подзывает сына. Аршанжо ведет его за руку, и, обрадовавшись неожиданной встрече, мулатка смеется.

— Ты ко мне? Я думала, никогда уж не придешь.

Голос у нее томный, ласковый, спокойный...

— Да нет, я просто мимо проходил. У меня много дел.

— С каких это пор, Педро, появились у тебя дела?

— Сам не знаю. Появились. Появились дела и обязанности.

— Ты насчет святого? Или про свой факультет?

— Ни то, ни другое. Обязанности перед самим собой.

— Ты что-то непонятное говоришь.

Она стоит, прислонившись к стене: уста ее жаждут, тело трепещет, и ничем не прикрыта ее грудь. Трудно удержаться от искушения в такой вот вечер. Аршанжо ощущает этот зов каждой клеточкой своего существа, смотрит на красавицу и делает шаг вперед, навстречу аромату ее тела. Он достает из кармана конверт, облепленный красивыми марками: письмо пришло издалека, с края света, с Северного полюса, — оттуда, где все покрыто льдом и царит вечная ночь.

— А Кирси живет во льдах?

— Она живет в городе Хельсинки, это в Финляндии.

— А-а, я знаю! Кирси — шведка, хорошенькая такая! Письмо прислала?

Он вынимает из конверта фотографию, а письма нет: только на обороте снимка несколько фраз по-французски,

несколько слов по-португальски. Сабина берет фотографию мальчика, — ах, какой милый! Какой красивый и нежный, волосы курчавые, а глаза Кирси. Просто прелесть! Сабина отводит глаза от фотографии и смотрит на другого, на своего сына, который носится по улице.

— Красивый... (О ком она говорит?) Вот смех, такие разные, а все-таки похожи! Педро, почему от тебя рождаются одни только парни?

Аршанжо улыбается, а жадные губы Сабины совсем близко.

— Войди...

— У меня очень много дел.

— С каких пор, Педро, у тебя нет времени сотворить мальчишку? — Она обнимает его за шею. — Я только вымылась. Видишь, вся еще мокрая...

В пышном теле Сабины, в аромате ее кожи затерялся в тот день путь Аршанжо, — когда теперь явится местре Педро в «Лавку чудес», где ждут его Лидию и Тадеу? Ах, Сабина дос Анжос, самая красивая из ангелов, царица Савская в империи своей постели! Каждой — свой черед, но случается и непредвиденное. Было ведь время, когда волен был Педро Аршанжо как птица и одним только праздным ремеслом любви занимался он! Было время, да прошло.

8

— Скажите мне, мой друг, сколько это будет стоить? Я не просто бедна — я разорена, вам известно, что это значит? Много лет подряд я ни в чем себе не отказывала, сорила деньгами, а теперь вот стала скрягой. Прошу вас, не обижайте старуху, назначьте божескую цену!

У Лидию Корро по дешевке «чудо» не купишь: он лучший из лучших, им неизменно остаются довольны и заказчик, и святой, не было случая, чтоб ему вернули его работу; Лидию Корро — любимец спасителя Бонфинского. Заказы так и сыплются: бывают месяцы, когда обеты-«чудеса» приносят больше денег, чем типография. Приезжают к нему клиенты из Ресифе и из Рио, а один англичанин заказал сразу четыре картины.

— Какой именно святой сотворил чудо и в чем оно выразилось?

— Напишите мне каких хотите святых и чудо тоже сделайте по своему усмотрению.

Вот и эта старушенция, что стоит сейчас перед художником и размахивает зонтиком, вроде того полоумного гринго: как лунь седая, вся сморщенная, высохшая, худенькая. Ей, наверно, уже за шестьдесят. Шестьдесят или тридцать? Такая она жизнерадостная, оживленная, говорливая, подвижная, что поневоле засомневаешься. Она рассказывает про своего кота, заболевшего лишаем, и приговаривает:

— Я бедная старая дама, но я не жалуясь!

Была она когда-то просто принцессой, жила в роскоши, широко и пышно, владела плантациями сахарного тростника, сахарными заводами, рабами и домами в Санто-Амаро, Кашоэйре и Салвадоре. Вздыхали по ней придворные куртизаны, дрались из-за нее на дуэлях — один офицер смертельно ранил ее жениха, бакалавра права. Разорялись банкиры и бароны, чтобы добиться ее благосклонности. Много приключений было в ее жизни, многих любила она и весь мир объездила, прельщали ее и титулами, и чинами, и деньгами, но к деньгам была она равнодушна, и тем, кто, обезумев от страсти, покупал ей драгоценности, особняки и кареты, лишь тогда удавалось завоевать эту женщину, если вспыхивало в ее груди пламя любви, если хоть ненадолго увлекалась она кем-нибудь из поклонников. Сердце ее было переменчиво, нрав капризен, тело ненасытно.

Но потом появились морщины, седые волосы и вставные зубы, и она промотала состояние, делая юным своим возлюбленным по-королевски щедрые подарки, а в старости дарила она так же беспечно, как когда-то в молодости принимала дары. Праздник жизни становился для нее все дороже, но, ни минуты не колеблясь, платила она чудовищную цену: дело стоило того! Денежные ее дела пришли в полный упадок, сама она совсем состарилась и вместе с котом и воспоминаниями бурной, но краткой молодости возвратилась в Баию. Почему же так скупо отпущено человеку радости?

А сейчас она пришла заказать по обету «чудо», разузнать о цене и сроках. Кот ее, по кличке Арголо де Араужо, шляясь по крышам, подцепил у какой-то кошечки отвратительный лишай и в считанные дни облысел: иссиня-черный бархатистый его мех, в который принцесса так любила погружать пальцы, вспоминая былые свои романы, весь вылез. Хозяйка обратилась к врачам — «здесь даже ветеринара нет!», — обегала аптеки, накупила разных снадобий, притираний и мазей — все

напрасно! А вылечил kota святой Франциск Ассизский, когда она обратилась к нему с молитвой. Однажды в Венеции, в объятиях некоего поэта, она научилась любить господнего нищего: поэт в постели часто повторял проповедь святого Франциска к птицам, а потом скрылся, негодяй, скрылся и прихватил ее кошелек.

Лидио Корре, сбитый с толку этим потоком слов и смеха, сказал цену («Ну и старушка! комедия, да и только!»). Таргуется и спорит, но есть в ней какое-то необъяснимое очарование, и порой забывает о ее старости, и блещет в заказчице юная и соблазнительная прелесть; надменная властительница Реконкаво стала попросту добродушной и милой отставной проституткой. Спор продолжался: старуха, чтобы ловчей было торговаться, уселась на стул и вдруг, заметив на стене плакат «Мулен Ружа», замерла от изумления:

— O, mon Dieu, c'est le Moulin! ¹ — и вновь без умолку затрещала о своей жизни, о городах, где побывала, о чудесах, что повидала, о музыке, о спектаклях, о выставках, о прогулках, о праздниках, о винах, о сырах, о любовниках. Она получала от этих воспоминаний истинное наслаждение, и радость ее была вдвое сильнее, потому что, кроме воспоминаний, у нее уже ничего не оставалось, и бедная старуха вспоминала дни, когда она была великолепной сумасбродкой. Принцесса так увлеклась, что мешала французские слова с португальскими, то и дело восклицая в самых натетических местах по-испански, по-итальянски, по-английски.

А Педро Аршанжо вернулся от царицы Савской как раз в тот миг, когда дряхлая мореплавательница отправлялась в кругосветное путешествие, и, насмеявшись приветливо, он отчалил вместе с ней. Снявшись с якоря на Монмартре, они плыли и заходили в гавани театров, кабаре, ресторанов, музеев Парижа и его окрестностей — то есть всего остального мира. Скажу вам, друзья мои, существует только Париж, а все остальное, о-ля-ля, c'est le banlieu ².

Старуха рада была выговориться: ее внучатым племянникам, изредка и ненадолго навещавшим принцессу в домике напротив монастыря Лапа, где прозябала она вместе с котом и сварливой служанкой, не хватало терпения выслушивать ее рассказы. Пожное имя своенрав-

¹ Боже, да ведь это Мулен! (фр.)

² Это еще предместье (фр.).

ной старухи было: сеньора дона Изабел Тереза Гонсалвес Мартинс де Араужо-и-Пиньо, графиня да Агуа-Бруска. Для близких — просто Забела.

Педро Аршанжо спросил ее, бывала ли она в Хельсинки. Нет, в Хельсинки не бывала, зато бывала в Петрограде, в Стокгольме, в Осло, в Копенгагене. А почему вы так говорите о Финляндии? Вы, должно быть, заходили в Хельсинки, когда плавали, хотя на моряка, друг мой, вы не похожи, больше напоминаете какого-нибудь профессора или бакалавра.

Аршанжо засмеялся добродушно, как он умел. Что вы, мадам, я не бакалавр и не профессор и уж тем более не моряк! Я служу на факультете и так, пописываю, интересуюсь литературой... А в Финляндии у меня любовь... Он достает фотографию, и графиня долго восхищается мальчиком: «Ах, какой прелестный!» Аккуратным почерком Кирси выведены по-португальски самые главные слова, перелетевшие через море и время: любовь, тоска, Баия. По-французски написана целая фраза, и старуха переводит ее, хотя Педро давно заучил ее наизусть: «Наш сын растет, он красивый и сильный, его, как и отца, зовут Ожу, Ожу Кекконен, он верховодит всеми мальчишками, в него влюблены все девчонки. Он маленький волшебник».

— Вас зовут Ожу?

— При крещении получил я имя Педро, Педро Аршанжо, но на языке племени наго мое имя Ожуоба.

— Я бы очень хотела побывать на макумбе. Никогда не видела.

— Прикажите только, и я с удовольствием покажу вам кандомбле.

— Не лгите — «с удовольствием»! Кому нужна такая старая перечница? — Она лукаво смеется и смотрит на этого красивого, крепкого мулата, у которого любовница — финка. — Мальчик весь в вас.

— Нет, он и на Кирси похож. Он будет королем Скандинавии, — хохочет в ответ Аршанжо, а графиня де Агуа-Бруска — для близких просто Забела — в восторге вторит ему.

— Попросите сеу Лидио... Пусть он сделает мне скидку... Я понимаю, что работа стоит гораздо дороже, чем он сказал, но у меня нет и этих денег. — Графиня вежлива, как Аршанжо и Корро, как простолюдины Баии.

— Назначьте цену сами, мадам, — немедленно отзывается Лидио.

— Нет, не хочу.

— Тогда ни о чем не беспокойтесь. Я нарисую, а потом вы заплатите за чудо сколько захотите.

— Не сколько захочу, а сколько смогу.

С тетрадами и книжками в руках появляется Тадеу. Забела сравнивает его с Аршанжо, сдерживая улыбку: подмастерье вытянулся в статного и грациозного юношу, а как он смеется — с ума сойти!

— Мой крестник, Тадеу Каньото ¹.

— Каньото? Это фамилия или прозвище?

— Так нарекла его мать при рождении.

Тадеу прошел в другую комнату.

— Студент?

— Он работает здесь, помогает Лидио в типографии и учится. В прошлом году сдал экзамены на подготовительном отделении.— Голос Аршанжо чуть подрагивает от гордости.— В этом году сдаст еще четыре, а в будущем окончит отделение. Он хочет поступить в университет.

— Кем же он хочет быть?

— Инженером. Не знаю, удастся ли. Бедняку нелегко учиться в университете, мадам. Это недешево стоит.

Тадеу возвращается в комнату, раскрывает книгу, но вдруг замечает фотографию:

— Можно посмотреть? Кто это?

— Да так, один мой родственник... дальний,— еще бы не дальний: живет на другом конце земли.

— Самый красивый мальчик, какого я видел.— И с этими словами Тадеу берется за тетради: нужно заниматься.

А графиня де Агуа-Бруска, дона Изабел Тереза Гонсалвес Мартинс де Араужо-и-Пиньо стала просто Забелой. Она объясняет Тадеу французские глаголы, обучает его парижскому жаргону, она отпивает глоточек домашнего ликера из какао — изделие Розы де Опала, божественный напиток,— словно шампанское лучшей марки. Без нее стало как-то грустно.

— Самое лучшее, сеу Лидио,— сказала она, прощаясь,— если бы вы смогли зайти ко мне, познакомиться с Арголо де Араужо, чтобы знать, как он выглядит. Это самый красивый кот в Баие. И с самым отвратительным характером.

¹ Дьявол, черт (*португ.* Canhoto).

— С удовольствием, мадам. Завтра, с вашего позволения.

— Вашего кота зовут Арголо де Араужо? Как забавно... Это имя одного профессора...— говорит Аршанжо.

— Вы имеете в виду Нило д'Авила Арголо де Араужо? Это ничтожество я хорошо знаю, слишком даже хорошо. Мы с ним кузены по линии Араужо, я была невестой его дяди Эрнесто, а сейчас, когда мы встречаемся на улице, он делает вид, что знать меня не знает. Аристократишка! Пусть другим рассказывает про свое благородное происхождение! Я-то знаю всю его подноготную, и его, и всей этой гнусной семейки, все их махинации и подлости, oh, mon cher, quelle famille!¹ Если захотите, когда-нибудь я вам такое порасскажу!

— Еще бы мне не хотеть, мадам! Сегодня благословенный день: сегодня среда, день Шанго, а я Ожуба, око Шанго; мне полагается все видеть, все знать про бедняков Баии, а если нужно — то и про богачей.

— Сводите меня на макумбу, а я вам расскажу про баиянских аристократов.

Тадеу помог ей спуститься со ступенек.

— Старая я стала, никуда уж не гожусь, а умирать все не хочется.— Она кокетливо погладила Тадеу по подбородку.— Вот из-за такого смуглячка моя бабка Виржиния Мартинс потеряла благоразумие и разбавила нашу дворянскую кровь.

Она раскрыла ослепительный зонтик и твердо зашагала по крутому Табуану вниз, словно шла по парижским улицам или по бульвару Капуцинок, как в прекрасные времена своей молодости.

9

Насчет этой истории вралы очень много, но одно сомнению не подлежит: Забела присутствовала на празднике Огуна, когда там, на террейро, произошло великое чудо. Каждый рассказчик стоял на своем: каждый своими глазами видел случившееся — «провалиться мне на этом месте», — но излагали историю по-разному, а громче всех кричали, как всегда бывает, те, кого и близко в тот час не было на террейро, кто вообще ничего не видел,—

¹ О, мой дорогой, что это за семья! (фр.)

такие люди все знают лучше всех, они-то и есть главные свидетели.

Все, однако, единодушно заявляли:

— А вы верите — спросите у сеньоры с Ланы, она не даст соврать. Важная такая сеньора, благородная, вся в бриллиантах с головы до пят. Настоящая дама! Вот она была там и все видела.

Благородная — спору нет. Богатая и важная — тоже верно: была когда-то. А бриллианты — фальшивые, поддельные, ненастоящие, хоть и много их было и блестили ее перстни, кольца, браслеты всеми цветами радуги: только «мать святого», главная жрица, шавешивает на себя столько. Уходя (чтобы потом вернуться, и не раз), графиня Агуа-Бруска, что было очень на нее похоже, сняла с шеи ожерелье и протянула его Маже Бассан:

— Оно ничего не стоит, но все-таки возьмите его, пожалуйста.

Забела сидела в кресле для почетных гостей и с огромным интересом следила за церемониями, а потом встала, чтобы лучше видеть. Она волновалась, прижимала руки к груди, восклицала по-французски: «*Nom de dieu! kat, alors!*»¹, когда под тул бубнов спустились на землю боги-оринга, зазвенели мечи Огуна, когда началась пляска Ошумаре, полумужчины-полуженщины, двуполого божества.

— А что случилось с той красивой девушкой, которая разговаривала с вами, а потом так неистово танцевала? Она задержалась в дверях и исчезла. Почему она больше не танцует? Куда она ушла, Педро?

Если Аршанжо и знал разгадку этой тайны, то старей болтунье он ее не выдал. «Я ничего не заметил, мадам».

— Вы что, меня за дурочку считаете? Я же ясно видела: рядом с нею, за огнем, оказался мужчина, белый, блондин, нервный, нетерпеливый! Ну, скажите мне, кто это!

— Она исчезла, — повторил Педро Аршанжо и ничего больше не сказал.

Если собрать все свидетельства, отбросив явные нелепости, то можно будет установить: Доротей была в кругу жриц, она кружилась в баране, соперничая красотой и изяществом с Розей де Ошала. Там же были:

¹ Черт побери! Ну! Ну! (фр.)

Стелла де Опосси, Паула де Эуа и другие «посвященные», гордые и надменные.

Опосси, украшенный котским волосом, спустился и овладел Стеллой. Эуа проник в тело Паулы, порывистой, как ветер с лагуны, чистой, как вода из ручья. Рова стала Опслуфривом, Опала — старцем. Три Омолу, два Опумарэ, две Иеманжи, Оссайи и Шашго. Разом явились шесть Огунов — было тринадцатое июня, день его праздника: ведь в Баие Огун — это святой Антоний, и народ, вскочив на ноги, радостно приветствовал его дружным криком.

А когда долил свистом, паровозным гудком, пароконной сиреной Иансан позвала Доротею, она торжественно пошла к Аршанжо, поцеловала ему руку.

— Что ж ты не привел моего парня?

— Он занимается... У него много дел.

— Я уйду, Педро. Уйду сегодня. Сегодня ночью.

— Он пришел за тобой? Сегодня?

— Да. Он пришел за мной. Ничего не говори Тадеу, молчи, как будто воды в рот набрал. Потом скажешь, что я умерла: ему будет больно, но зато сразу все кончится: он перестрадает и не вспомнит обо мне.

Она встала на колени, склонила голову к земле. Аршанжо прикоснулся к ее курчавым волосам и поднял негритянку Доротею во весь рост. Не успела еще она выпрямиться, как Иансан с криком, от которого проснулись бы и мертвые, вселилась в нее. Рассказывают, что откуда-то из глубины террейрс духи-огуны отозвались на этот крик, ответили жалобным воем.

Немногие видели, что предшествовало приходу Иансан, но Забела, для которой все было в диковинку, наблюдала эту сцену от начала до конца. Младшие жрецы-экеде повели «посвященных» переодеться, потом запели кантигу и начали ритуальный танец. Больше всех танцевала Иансан в окружении шести Огунов. То был танец прощания, но никто не знал этого.

Пока менялись костюмы, в соседней комнате готовили царское пижество Огуна. Забела отведала каждого кушанья — ей очень нравились блюда, приправленные пальмовым маслом, только потом, к сожалению, печень болела... Когда вылетели в воздух ракеты, возвращаясь возвращение богов, старушка чуть не бегом припустила к выходу, чтобы ничего не прозевать на макумбе.

Появилась торжественная процессия, во главе ее шел один из шести Огунов — Огун Божоявления. Загремели

атабаке, народ поднялся, захопал в ладоши, зарево осветило небо, взлетели ракеты, шутихи, огни: июнь в Баие — месяц кукурузы, месяц фейерверков. В громе и свете огней один за другим стали входить в барак орিশа, каждый со своим атрибутом, оружием, символом. Матушка Майже Бассан запела кантигу, Ошосси начал танец.

Но где же Иансан? Почему она не вернулась в барак? Издали допесня только отзвук чего-то. Чего? Паровозного гудка? Пароходной сирены? В дверном проеме видели тогда люди Доротеею в последний раз. Не было на ней одежды Иансан, хотя многие клянутся и божатся, что была; не было и накрахмаленных юбок и кружевной блузы — наряда баияпских женщин; в платье как у пастоящей сеньоры, с длинным шлейфом и пышными кружевами появилась она. Тяжело дышала ее грудь, сверкали, как угли, глаза.

Все сходятся на том, что у человека, стоявшего рядом с Доротеей, были маленькие рожки — как у черта. В остальном к согласию и единому мнению прийти не удалось: одни видели у него хвост, кончик которого был переброшен через руку; другие заметили козлиные копыта; большинство утверждает, что был он черен, как уголь, а Эвандро Кафе, человек пожилой и уважаемый, заявил, что дьявол был ярко-красный. Любопытные же и внимательные глаза Забелы заметили белокожего и белокурого красавца с двумя завитками волос надо лбом. И графиня, и бывший раб Кафе — люди немолодые, всего в жизни навидавшиеся, так что оба заслуживают доверия.

Все произошло в сиянии шутих, в сверкании ракет, в ослепительном огне и оглушительном громе фейерверка. Доротеея растворилась в воздухе, когда вспыхнула пламенем эта заря, когда загрохотало, когда мелькнула молния. Только что стояла Доротеея в дверях — и вот исчезла, как и не было ее вовсе: в дверях никого нет, только запах серы, только свет и гром. Может быть, ракета? Кто слышал этот грохот, скажет, что тут не ракета, не шутиха — другое...

Доротеею с тех пор никто больше не видел — ни ее, ни призрака ее. Забеле послышался частый стук подков: должно быть, любовники бежали в далекие края. Эвандро Кафе услышал, как топочут козлиные копыта: должно быть, сатана увозил свою иабу. Так или иначе, нет больше Доротееи.

Несколько дней пустовало ее место на улице Мизерикордия, где много лет подряд любители абара, акараже,

кокады и прочих баианских яств встречали негритянку в ожерелье Иансан, с красно-белой бусиной Шанго. А потом перед разукрашенным лотком уселась кроткая белесая Микелина с зелеными глазами.

Плачет мальчик в «Лавке чудес», склонившись над кпигами, оплакивает мать, — для него она умерла. Другие считают, что Доротею околдовали и вернули к ее прежнему дьявольскому призванию. Одни говорят одно, другие — другое, а если Аршанжо и разгадал эту загадку, то не сказал никому ничего.

Фаусто Пена рассказывает о пробе своих сил в драматургии и о других задачах

Моя проба сил в драматургии имела прискорбные последствия. Нет-нет, я не преувеличиваю. Прискорбные, трагические, роковые. С какой стороны ни посмотри — крушение надежд, огорчения и муки. Горькие муки ревности.

А ведь я побывал всего лишь за кулисами театра, до сцены не добрался, не дано мне было познать волнение у рампы перед черной ямой партера, услышать аплодисменты и прочесть хвалебные отзывы в газетах. Обо всем этом и о многом другом мечтал я в те дни, когда загорелся идеей создать пьесу. Мое имя — на афишах во весь фасад театра имени Кастро Алвеса, в неоновых огнях рекламы на театрах Рио и Сан-Пауло рядом с именем Аны Мерседес, блистательной, неподражаемой, божественной примадонны, перед которой одна за другой гаснут все звезды первой величины. Театры забиты до отказа, публика безумствует, критика захлебывается от восторга, сборы небывалые, авторский гонорар платят вовремя, словом — начало головокружительной карьеры молодого драматурга.

На самом деле получилось совсем иное: ни денег, ни громкой славы, ни моего имени на афишах и в огнях реклам. Имя мое, как я узнал, — на заметке у полиции. Истрачены последние гроши. Единственное сокровище, которым я владел, потеряно навсегда.

Чему-то я, конечно, научился и на моих сотоварищей по этому отчаянному предприятию зла не держу. Я даже не стал врагом Илдазио Тавейры. Правда, если говорить начистоту, я его ненавижу и жду только удобного случая, чтобы отплатить ему сполна, придет и мой час, спе-

пить некуда. А пока мне никак нельзя порвать с этим искириотом: Национальный институт книгопечатания поручил ему составить антологию молодых бразильских поэтов, и он обещал включить в нее мои стихотворения, пока еще не сказал сколько. Если я перестану с ним здороваться, он, чего доброго, выкинет меня из сборника, и я останусь на задворках литературы. Что поделаешь, приберегаю для него самую любезную улыбку, на каждом шагу бурно восторгаюсь его стихами. Ради места под солнцем изящной словесности и черное назовешь белым.

Нас, соавторов спектакля, было четверо. Все три моих собрата по перу — интеллектуалы высшего класса, новаторы, гении. Самый известный из нас, Илдазио Тавейра, носил бакенбарды, щеголял в ярких рубашках и уже опубликовал к тому времени несколько стихотворений в Рио, Сан-Пауло и даже в Лиссабоне, но в театре был дебютантом. Двое других были студентами юридического факультета. Тониньо Линс, композитор, учился на третьем курсе, одна его самба была уже записана на пластинку, еще с полдюжины ждали признания на каком-нибудь фестивале. Эстасио Майя, стойкий первокурсник, обладал разнообразными достоинствами, главными из которых были буйный и крутой нрав, богоданное глубокомыслие и дядя-генерал. В узком дружеском кругу, воспаряя от возлияний, Эстасио отрекался от родства и дядю всячески поносил.

Ультрасовременный литератор с неограниченным кругозором, закаленный бесчисленными провалами, мятущийся и непостижимый, он всегда кого-нибудь играл: то неумолимого террориста, то смиренного раба божьего, но актер он был неважный, а на ампула героя-любownika и вовсе не годился. Ана Мерседес, лишь завидев Эстасио, сразу угадывала, кого он в этот день изображает: «Сегодня он геррильеро». А накануне был героем Достоевского — Раскольниковым в немудреной интерпретации. Занятный пареня.

Начали мы с того, что сделали авторское предложение театру имени Кастро Алвеса, и благодаря заботам Эстасио Майя, племянника собственного дяди, оно было принято. Затем начались бесконечные споры о содержании пьесы, мы кричали, ругались последними словами, чуть не дрались, и, конечно, кашаса лилась рекой.

Предметом споров явились направление пьесы и образ Педро Аршанжо. Эстасио Майя объявил себя ярым приверженцем черного варианта североамериканского ра-

сива и потребовал сделать Педро Аршанжо членом организации «Black Panther»¹ и заставить его провозглашать со сцены лозунги Кармайкла², призывать к непримиримости рас, к вражде на веки веков. Словом, теория профессора Нило Арголо, вывернутая наизнанку. Черные — сами по себе, с белыми ничего общего, никакого ожизательства, никакого смешения рас, борьба не на жизнь, а на смерть. Я так и не смог выяснить, куда же неистовый вождь черных бразильцев относил мулатов.

Я, кажется, еще не говорил вам, что сам Майя был голубоглазым блондином и даже не питал особого пристрастия к мулаткам и негритянкам. В частности, я должен быть ему благодарен: не считая восьми женщин, отпетых шлях, в спектакле так или иначе были заняты девятнадцать мужчин: режиссер, актеры, осветители, декораторы, статисты и прочие, и вот из всех девятнадцати один только Майя не увивался за Анной Мерседес.

Ни Илдазио Тавейра, ни Тониньо Линс не принимали концепцию Майи. Тониньо — серьезный юноша, снискавший уважение в студенческих кругах, хотел показать Педро Аршанжо в первую очередь как забастовщика, непримиримого врага хозяев, трестов, полиции — короче говоря, стержнем пьесы должна была стать классовая борьба. «Расовая проблема, друзья мои, вторична по отношению к проблеме классов, — пояснял он, ссылаясь на авторитетные источники, спокойно и рассудительно. — Понимаете, у нас, в Бразилии, негры и мулаты подвергаются дискриминации потому, что они — пролетарии: белый бедняк — тот же грязный негр, а богатый мулат — ничем не хуже самого белого из белых». Классовая борьба плюс фольклор — такова была его формула спектакля, боевого и народного. И он сочинял музыку, используя народные мотивы, но успех имела лишь одна недурная мелодия, предназначенная для сцены похорон Педро Аршанжо. Тониньо Линс выступил с ней спустя некоторое время на студенческом фестивале в Рио и был удостоен второй премии. По мнению многих, можно было дать и первую.

Что же касается Илдазио, то надо признать, что его концепция была ближе всех к истинному образу Аршанжо, если существует лишь один истинный Аршанжо, ведь

¹ Черная пантера (англ.).

² Кармайкл — один из руководителей организации «Черная пантера».

на него сейчас мода, каких только Аршанжо не вышло на свет божий в дни празднования столетнего юбилея. Одного даже можно видеть на стенах зданий, он рекламирует «Кока-коко»: «Жаль, что в мои времена еще не пили «Кока-коко».

Илдазио Тавейра не отрицал первичности классовых противоречий по отношению к проблеме цвета кожи, соглашался с Эстасио в том, что в Бразилии существуют расовые предрассудки и расистов хоть отбавляй, но сам предлагал воссоздать образ Аршанжо, не уклоняясь в ту или другую сторону, воссоздать образ борца, уверенного в своей силе и силе народа, ратующего за решение бразильской проблемы путем смешения и слияния рас, защищающего право на жизнь метисов, мулаток... Тут Илдазио Тавейра прежде всего и в особенности имел в виду Ану Мерседес, к которой подступал с гнусными предложениями при каждом удобном случае.

Наши споры мы вели в кафе и закусочных, в почном баре «Ангельское пи-пи». Илдазио с моей помощью набрал цитат из произведений Педро Аршанжо, чтобы на основе их строить диалоги. Эстасио Майя их не принимал: «Эдак мы из него сделаем реакционера». Сам он предлагал вложить в уста Аршанжо устрашающие заявления, мрачные угрозы в адрес белой расы и Запада вообще: «Мы, негры, раздавим русских и американцев, и те, и другие — белые убийцы!» Приходилось вмешиваться Тониньо Липсу и мне, ибо спорящие стороны так распаялись, что дело грозило дойти до рукопашной. Как-то Илдазио в сердцах обозвал белокурого Майю «вошью Кармайкла» — что тут было!

Они оскорбляли друг друга, мирились, лобызались, клялись в дружбе до гроба, снова спорили, ругались, пили. За месяц сотрудничества мы опустошили не один бар.

Что до меня, то я бился только над сведением воедино точек зрения, речей, диалогов, догм, схизм, платформ, идеологий, ссылок на высокие авторитеты. Мне нужна была пьеса, я хотел увидеть свое имя на афише рядом с именем Аны Мерседес — автор и примадонна, — о, наша вожделенная премьера! Она будет играть Розу де Ошала, тут никто не спорил, да и какие могли быть возражения. В ту пору я был равнодушен к посмертной театральной судьбе Педро Аршанжо: будет ли он вожаком бастующих рабочих или расистом из организации «Black Panther», отвергающим смешанные браки и провозглашающим священную войну против белых, или же оста-

нется баиянским мулатом, первооткрывателем самобытной культуры — мне было все равно. Мне нужен был анонс о премьерере.

Проявив бесконечное терпение, я из анархического хаоса противоречивых кусков слепил в конце концов связный текст, и мы его отдали в цензуру. Впрочем, по авторитетному мнению весьма передового режиссера Алваро Орландо, которого мы пригласили ставить пьесу, текст на сцене — вещь второстепенная, практически ненужная. Стало быть, на противоречия в тексте не стоит обращать внимания. Эстасио Майя заручился обещанием субсидии, предложил университету закупить премьеру для студентов. Тут он выступал в амплу племянника.

Мы начали репетиции, не дожидаясь разрешения цензуры, но случилось так, что на той же неделе, не раньше и не позже, произошли сильные студенческие волнения. Студенты юридического факультета обнаружили в своей среде провокаторов и объявили забастовку, их поддерживали другие факультеты. Первая манифестация прошла без эксцессов, а вторую полиция разогнала слезоточивым газом и пулями. Массовые аресты, раненые студенты, закрытые магазины, акты произвола, вторжение в монастырь бенедиктинцев — сущий ад.

Тониньо Линса арестовали на улице Чили, он нес плакат и дровком отбивался от фараонов. Неделю просидел в тюрьме, держался хорошо, как настоящий мужчина! Эстасио Майя в тревожные дни вышел из игры: демонстрации, стычки, тюрьма — это не для него, он — теоретик. Имя его, однако, попало в списки агитаторов, напечатанные в газетах. Он скрылся, исчез. Позже мы узнали, что наш соавтор исхлопотал себе перевод в Аракажу. Теперь он бродит по Сержипе, как-то увял, удавился в религиозный мистицизм.

Цензура запретила пьесу и, говорят, сообщила полиции имена авторов, чтобы там их взяли на заметку. Вот тебе и слава! Чтобы не пропал договор с театром, Илдазио в рекордные сроки написал пьесу для детей и пригласил Ану Мерседес на роль Прелестной Бабочки. Я резко воспротивился и сказал ему несколько «теплых» слов. В виде компенсации за несостоявшийся ангажемент я повез Ану Мерседес отдохнуть и развлечься в Рио и Сан-Пауло; на этот запоздалый медовый месяц ушли последние доллары великого Левенсона.

Доллары растаяли один за другим в кондитерских Копакабаны и улицы Аугуста, в кафе и ресторанах,

ушли на угощение литераторов, на приобретение дорогих, очень дорогих, драгоценных друзей. На рынке протекций сейчас настоящий бум: за то, что тебя, провинциального поэта, упомянут в литературной рубрике столичной газеты, ты должен оплатить обед на шесть персон в Музее современного искусства, а потом до ночи поить всю компанию шотландским виски в каком-нибудь баре.

И вот я снова на нуле, к чему были все жертвы? Ана Мерседес, заполучив туалеты от Лауса, стала строгой и неприступной. Как-то в воскресенье раскрываю литературное приложение к «Диарио да Майя» и пытаюсь на два стихотворения за ее подписью; мне она их на просмотр не давала. Читаю — уж в поэзии-то я как никак разбираюсь — и с первой же строфы узнаю стиль Илдазио Тавейры. Провел рукой по лбу: он у меня нылал от возбуждения и от пробивающихся рогов.

Как я страдал тогда, как страдаю сейчас: вижу ее во сне, кусаю подушку, которая хранит еще запах розмарина. Однако я и вида не подал, что терзаюсь ревностью, когда встретил их как-то на улице, они шли в обнимку. Илдазио заговорил об антологии, поторопил меня со стихотворениями, Институт, мол, требует представить рукописи. А эта потаскушка держалась со мной сдержанно и равнодушно.

В тот день и кашаса не могла приободрить меня: под утро, оглушенный, но не захмелевший, я написал прощальный сонет Ане Мерседес. Бывают такие страдания, что либо пускай пулю себе в лоб, либо пиши совет. В стиле Камоэнса.

О премии имени Педро Аршанжу и о том, как сам он становится предметом конкурса на поискание оной благодаря заботам поэтов, рекламных агентов, молоденьких учительниц и Веселого Крокодила

†

— Нет, это уж слишком, помилуйте...— Профессор Калазанс, казалось, вот-вот выйдет из обычного для него состояния благодушия и взорвется.— Фернандо Пессоа¹ — это уж извините!

¹ Фернандо Пессоа (1888—1935) — известный португальский поэт XX в.

Они собрались в кабинете Гастона Симаса, главы баиянского отделения рекламного агентства «Дешинг», чтобы определить тему конкурсного сочинения на соискание премии имени Педро Аршанжо. Впоследствии, когда прошли уже празднества в честь столетнего юбилея, когда разочарование и злость уступили место иронической улыбке, профессор говорил, что сам факт их встречи для обсуждения важнейшего культурного события года не где-нибудь, а в рекламном агентстве — знамение времени. А как он описывал собрания и заседания — умора, да и только.

— Фернандо Пессоа — это тема возвышенная, а Педро Аршанжо был в известном смысле поэтом, — пояснил свою идею Алмир Инозито, поэтический эмигрант в рекламе, устремив на несговорчивого сержипанца свои томные, глубоко запавшие глаза. — Вы разве не читали в «Диарио да Манья» статью Апио Коррейи «Педро Аршанжо — поэт в науке»? Гениально!

— А что там такое? Что общего нашел этот ваш гениальный писака между Аршанжо и Пессоа? — Профессор не выносил эпитета «гениальный»: слишком часто он его слышал от дочери и ее подруг по любому поводу, особенно когда речь шла о кавалерах. — Нам известно, что Педро Аршанжо любил пропустить рюмочку-другую, так что же, прикажете теперь учредить премию фирмы «Сирй» или фирмы «Крокодил», а темой конкурсной работы объявить восхваление соответствующих марок водки?

— Это идея! — раскохотался Гастон Симас. — Если бы вы, профессор, сотрудничали с нами, вы стали бы светилом в рекламном деле. У вас великолепные идеи. Испанец из «Крокодила» наверняка заплатил бы за вашу мысль.

— Мало вам этого безобразия с рекламой «Кока-кока». Педро Аршанжо на службе сбыта прохладительных напитков! И так уж дальше ехать некуда!

Дона Лусия, супруга главного секретаря комитета, утверждала, что муж ее выходит из себя не более двух раз в год. Но в тот год, тысяча девятьсот шестьдесят восьмой, в связи с празднованием столетнего юбилея Педро Аршанжо это случалось с ним по меньшей мере два раза в день: сталкиваясь с глупостью, он горячился, кричал. Только с глупостью? Были и подлости, да еще какие! Намалевать Педро Аршанжо на рекламном щите — это еще полбеды, хотя профессор и видел в

этом профанацию. А вот некий очеркист, вдохновение и труд которого были щедро оплачены, взял да и приспособил труды Педро Аршанжо к восхвалению колониализма, исказив их, конечно, до неузнаваемости,— это уж подлость так подлость!

Профессор Калазанс с радостью послал бы эти дела ко всем чертям. Однако не в его обычае было отказываться от своих обещаний, и, кроме того, кто защитил бы тогда образ Педро Аршанжо, кто помешал бы низвести дело его жизни до простого собирания фольклора, выхолостить его труды, изъять все, что было в них жизненно важного, актуального и по сей день? Описание нравов и обычаев, изучение фольклора — важно, спору нет, но гораздо важнее дать отповедь расизму, провозгласить равенство рас.

Калазанс проникся симпатией к этому баиянскому мулату, который, не располагая ни капиталом, ни хорошим заработком, ни достаточным образованием, сумел преодолеть все препятствия, стал не просто самоучкой, а большим ученым, задумал и осуществил оригинальное глубокое исследование, исполненное душевной щедрости. Жизнь его будет служить для грядущих поколений примером целеустремленности и мужества, проявленных в самых неблагоприятных условиях. Во имя этой любви к Педро Аршанжо профессор продолжал выполнять возложенные на него функции, оставался на своем посту.

— Забавно получается,— доверительно поделился он с профессором Азеведо, своим коллегой и другом.— Столько шума, суеты, возни вокруг юбилея Аршанжо, а меж тем его образ и смысл его деятельности искажаются. Да, ему воздвигают памятник, но они чествуют не нашего Аршанжо, а другого, вот именно, другого, непохожего на себя и обедненного.

— Совершенно справедливо,— согласился профессор Азеведо.— Столько лет они ничего не знали ни о нем самом, ни о его трудах — полное забвение. Но вот появляется Левенсон, и им волей-неволей приходится обратить внимание на забытого Аршанжо. Его вытаскивают на свет божий, вписывают в сферу своих интересов, рядят в новые одежды, пытаются подтянуть повыше на социальной лестнице, чтобы сделать пригодным для использования. Но знаете, Калазанс, все это не так уж важно: труды Аршанжо в принципе не поддаются никакому искажению. А весь этот шум так или иначе при-

носит пользу, создает популярность нашему местре с Табуана.

— Я порой просто выхожу из себя, меня охватывает отчаяние!

— Ну, зачем же так... Кроме мошенников, в подготовке юбилея участвует и немало порядочных людей. Есть энтузиасты, искатели, которые исследуют труды Аршанжо, руководствуются ими в своих работах, обнаруживают новые вехи нашего развития. Вот книга профессора Рамоса — монументальное произведение, настоящий памятник Аршанжо. А ведь стимулом к ее созданию послужил наш запрещенный семинар.

Семинар этот, хоть его и извели на корню, все же дал плоды в виде книг и изысканий.

— Да, вы правы. Даже ради премий за изучение наследия Педро Аршанжо имеет смысл ломать копыя.

И вот теперь выбор темы конкурсной работы на соискание премии имени Педро Аршанжо заставил профессора еще раз возмутиться, потерять самообладание:

— Фернандо Пессоа?! Ну нет, это слишком! Если уж нужна поэтическая тема, то следовало бы взять Кастро Алвеса: тот был бразильцем и аболиционистом.

Алмир Иполито чуть не переломился пополам, выражая жестами, гримасами, всей своей изящной и элегантной фигурой глубокое возмущение и горячий протест:

— О, ради бога, не надо таких сравнений! Коль речь идет о поэзии, при чем тут Кастро Алвес, жалкий рифмоплет, куда ему до моего Фернандо, величайшего португалоязычного поэта всех времен! А Кастро Алвес — женолюб, бабник — был ему омерзителен.

На этот раз профессор Калазанс совладал с собой, не произнес бранные слова, так и просившиеся на язык, заметив лишь:

— Вот как! Величайший? Бедный Камозэнс! Но даже будь он таким, для нашего конкурса это не тема.

— Известная выгода тут была бы, — заметил Голдман, шеф-редактор «Журнал да Сиададе». — Можно было бы заставить раскошелиться португальских колонистов.

— Так что же, в конце концов, мы собираемся делать: чествовать Педро Аршанжо или вытягивать деньги из португальцев? У вас одни барыши на уме.

— Педро Аршанжо — это ключ... — сказал молчавший до той поры Арно, — ключ от сейфа.

— Профессор Калазанс прав, — вступился Гастон Симас. — Идея Иполито хороша, но давайте побережем ее для какого-нибудь мероприятия, непосредственно касающегося лузитанской колонии. Ну, там, какал-нибудь годовщина Кабрала или столетний юбилей Гаго Коутиньо: «От Камоэнса до Фернандо Пессоа, от Кабрала до Гаго Коутиньо». Звучит, а? — Тут Гастон Симас слегка приосанился. — Но об этом потом. А сейчас надо решить с этой премией, прах ее побери. Нам давно пора объявить конкурс, нельзя больше терять ни минуты. Дорогой профессор, что вы конкретно предлагаете?

Вытащив из кармана пачку бумаг, Калазанс разложил их на столе и отыскал среди них положение о премии имени Педро Аршанжо, разработанное им совместно с доной Эделвейс Виейрой из Центра фольклорных исследований. При виде вороха бумаги Арно Мело подумал: «У бедняги нет даже кожаного атташе-кейса «007», как он может работать? Набивает карманы пиджака разными записками — отсталый человек. Купите «007», профессор, сразу станете другим: сильным, решительным, предприимчивым, сможете выдвигать и развивать идеи, твердо проводить свою линию».

Непрактичный в жизни профессор обошелся, однако, без атташе-кейса «007» для того, чтобы провести свою линию:

— Либо вы, господа, утвердите условия конкурса, тему сочинения и состав жюри в том виде, как обозначено в записке, либо занимайтесь конкурсом без меня и используйте себе Педро Аршанжо хоть как ключ, хоть как отмычку.

2

Гастон Симас заполучил пост директора баиянского филиала акционерного общества «Допинг» в первую очередь благодаря умению примирять, сглаживать острые углы, пожинать улыбки и доброе согласие там, где другого ждали бы кислые физиономии и неурядицы.

«Он — непревзойденный миротворец!» — восклицал Арно, большой его почитатель. Когда заказчик, выведенный из себя нерасторопностью агентов, взбешенный повторными ошибками в рекламных объявлениях, намеревался снять заказ, Гастон Симас нависал над ним всей своей гигантской фигурой и обволакивал его неотразимой любезностью.

Гастон Симас успокоил профессора: «Все будет сделано по вашим указаниям», и условия конкурса на соискание премии имени Педро Аршанжо были наконец утверждены полностью. Первоначальный проект distinguished доктора Зезиньо Пинто претерпел изменения в двух-трех пунктах. Расширился круг участников: кроме учащихся средних школ в него войдут студенты университета. Это будет не просто сочинение, а работа не менее чем на десять машинописных страниц о любом жанре баиянского фольклора, по выбору соискателя: капоэйра, кандомбле, ловля шареу¹, круговая самба, афоше, пасторил, процессия моряков, дары Йемамже, АВС о Лукасе да Фейре, мастер капоэйры Безойро, живописец Карибе, спаситель Бонфинский и уборка его храма, праздники Консейсан да Прайя и святой Варвары. Первая премия — путешествие за границу. Но, разумеется, не в Португалию, а в Соединенные Штаты, ибо североамериканская авиационная компания предложила бесплатные билеты на весь маршрут. Путешествие в Португалию Гастон Симас прибережет для мероприятия по объединению Педро Алвареса Кабрала с Гаго Коутиньо, которое уже разрабатывалось под эгидой телевидения, португальской авиакомпании и туристского агентства.

Были определены еще несколько премий: поездка в Рио-де-Жанейро, телевизоры, проигрыватели, радиоприемники, семь томов «Энциклопедии для юношества» и разные словари. Профессор Калазанс счел себя хотя бы частично вознагражденным за свои хлопоты, за время, потраченное на выслушивание идиотских речей. В интервью корреспонденту «Журнал да Сидаде» он заявил, что «премия имени Педро Аршанжо будет способствовать воспитанию у молодого поколения научной любознательности, интереса к фольклору, к истокам бразильской национальной культуры».

Прочтя свое интервью в газете, профессор расцвел довольной улыбкой, и тут зазвонил телефон: Гастон Симас просил оказать ему любезность и зайти на несколько минут в контору компании «Допинг» для делового разговора, желательно поскорей, есть хорошие новости.

Пришлось профессору отказаться от отдыха в свободный час и направить свои стопы в контору. Гастон

¹ Шареу — вид рыбы.

Симас и его свита сияли радостью, ликовали по поводу свершения, еще раз доказавшего, что они не даром едят свой хлеб.

— Любезнейший профессор! Или, если позволите, любезнейший коллега! Ведь изначальная идея была ваша!

— Какая идея? — отшатнулся Калазанс. Он побаивался этих наглых и беспардонных виртуозов рекламы, сбыта и вымогательства.

— Помните, мы собирались в среду на прошлой неделе, чтоб окончательно решить вопрос о премии имени Педро Аршанжо?

— Разумеется, помню.

— А вспоминаете ваше замечание насчет марок водочных изделий?

— Послушайте, Гастон, не хотите же вы сказать, что собираетесь сделать из Педро Аршанжо проповедника кашасы! Довольно и того безобразия с «Кока-кокой».

— Не будем возвращаться к дебатам по поводу такой мелочи, дорогой мэтр. Насчет рекламы кашасы — не извольте беспокоиться, руководство «Крокодила» отказалось от этой идеи как раз потому, что она уже использована «Кока-кокой». Зато они изъявили готовность финансировать конкурс среди учеников начальных школ, причем только муниципальных, ведь мы ничего не предусмотрели для них в программе юбилейных мероприятий. Ну, как?

— А в чем будет заключаться конкурс?

— Все очень просто: каждый ребенок напишет несколько строк о Педро Аршанжо, учительницы отберут лучшие сочинения, а уж потом жюри, куда войдут педагоги и литераторы, выберут пять лауреатов премии Веселого Крокодила.

— Премии Веселого Крокодила, ну и ну!

— А знаете, какая это будет премия, профессор? Стипендии на весь срок обучения в одном из коллежей. Фирма «Крокодил» предоставит пяти победителям бесплатное среднее образование.

Калазанс смягчился: пять бедных детей получают возможность закончить среднюю школу.

— Что ж, водка, в конце концов, ведет себя приличнее, чем прохладительные напитки. «Крокодил» берет имя Педро Аршанжо, но хоть что-то дает взамен, а те и того не пожелали. Однако не понимаю, при чем тут я.

— От вас нам нужен текст небольшой исторической справки о Педро Аршанжо, которую мы разошлем учи-

тельницам начальных школ, чтобы они располагали каким-то материалом о Педро Аршанжо. Полстраницы, максимум страницу, краткую биографию нашего героя, изучив которую учительницы смогут рассказать детям, кто такой был Педро Аршанжо. А дети перескажут каждый по-своему. Разве не здорово? Вот о такой краткой справке мы и хотим просить вас, вернее, мы ее заказываем.

— Это не так-то просто.

— Мы это понимаем, профессор, потому и обращаемся именно к вам. К тому же вам принадлежит и сама идея насчет сортов водки. Кстати, не хотите ли глоток виски? Настоящего шотландского, не то что у нашего достославного доктора Зезиньо.

— Это непросто,— повторил сержипанец.— Идет сессия, откуда взять время?

— Полстранички, профессор, самую малость, только главное. Хочу пояснить: это заказ, компания выплатит вам гонорар.

Профессор Калазанс повысил голос, он не на шутку рассердился и счел себя чуть ли не оскорбленным:

— Ни за что на свете! Я участвую в этом деле не для того, чтобы заработать, а для того, чтобы воздать должное памяти Педро Аршанжо. О деньгах со мной прошу не говорить.

Арно Мело покачал головой: с этим не столкнешься, он не исправим. Но чем же, черт побери, он так располагает к себе? Гастон Симас поспешил извиниться:

— О деньгах никто больше не заикнется. Простите меня. Могу я прислать за текстом завтра утром?

— Нет, Гастон, не успею. На сегодня у меня куча сочинений, а завтра с восьми до двенадцати я занят на факультете. Когда же мне заниматься текстом этой справки?

— Ну, хотя бы основные сведения, профессор, и ваши соображения, вот и все. Мы здесь подредактируем.

— Сведения, соображения? Что ж, это можно. Пришлите кого-нибудь завтра утром ко мне домой. Я оставлю мои заметки Лусии.

Рыжая секретарша принесла виски со льдом. Молча и не спеша поднесла каждому: какой смысл утруждать речью уста, созданные для многозначительных улыбок, утомлять лишними движениями тело, которому предназначено радовать взор и дарить наслаждение.

Имя. Педро Аршанжо.

Дата и место рождения. 18 декабря 1868 года, город Салвадор, штат Баия.

Происхождение. Сын Антонио Аршанжо и некоей Ноэмии, более известной под прозвищем Нока из Логунедэ. Об отце известно лишь, что он был призван в армию во время войны с Парагваем и погиб при переходе через Чако, оставив беременную жену, которая впоследствии разрешилась первым и единственным сыном — Педро.

Образование. Самоучкой овладев начальной грамотой, посещал лицей искусств и ремесел, где изучил ряд предметов, в том числе печатное дело. Особо преуспел в португальском, с ранних лет проявил любовь к чтению. Уже в зрелом возрасте занялся углубленным изучением антропологии, этнологии и социологии. Для этого овладел французским, английским и испанским языками. Его знание жизни и обычаев народа Баии было практически полным.

Труды. Опубликовал четыре книги: «Народный быт Баии» (1907); «Африканские влияния на народные обычаи Баии» (1918); «Заметки о смешении рас в баианских семействах» (1928); «Баианская кухня. Истоки и рецепты» (1930). Эти труды ныне считаются фундаментальными для изучения фольклора, специфики бразильского быта в конце прошлого и начале нынешнего века, и самое главное — для понимания расовой проблемы в Бразилии. Горячий сторонник смешения, слияния рас, Педро Аршанжо явился, по мнению американского ученого, лауреата Нобелевской премии Джеймса Д. Левенсона, «одним из создателей современной этнологии». Полное собрание сочинений Педро Аршанжо только что издано в двух томах издательством «Мартинс» в Сан-Пауло, в серии «Великие люди Бразилии», с комментариями Артура Рамоса, профессора филологического факультета университета. В первый том вошли три первые книги Педро Аршанжо под общим заглавием «Бразилия — страна-метис» (заглавие предложено профессором Рамосом), книга о баианской кухне издана отдельным томом. Много лет пребывавшие в забвении труды Педро Аршанжо получили теперь международное признание. В Соединенных Штатах они были переведены на английский язык и во-

шли в энциклопедию «Жизнь слаборазвитых народов», изданную под эгидой Колумбийского университета (город Нью-Йорк). В текущем 1968 году по случаю празднования столетия со дня рождения Педро Аршанжо о нем много писали. Особо следует выделить работу профессора Рамоса и предисловие к переводу трудов Педро Аршанжо на английский язык, написанное Джеймсом Д. Левенсоном и озаглавленное «Педро Аршанжо — основоположник науки».

Прочие сведения. Мулат, бедняк, самоучка. Еще мальчиком нанялся юнгой на грузовое судно. Несколько лет прожил в Рио-де-Жанейро. По возвращении в Баию работал наборщиком в типографии, преподавал в начальной школе, затем поступил на медицинский факультет на должность педеля и проработал там около тридцати лет; был уволен после выхода в свет одной из его книг, навлекшей на него гонения. Музыкант-любитель, играл на кавакиньо и шестиструнной гитаре. Участвовал в народных праздниках и обрядовых действиях. Женат не был, ему приписывают множество любовных связей, в том числе с некоей прекрасной скандинавкой, то ли шведкой, то ли финкой, точных сведений нет.

Дата смерти. Умер в 1943 году в возрасте семидесяти пяти лет. На похоронах было очень много народу, среди прочих присутствовали профессор Азеведо и поэт Элио Симоэнс.

Примером своей жизни Педро Аршанжо показал нам, как человек, рожденный в крайней бедности, выросший без отца в условиях, неблагоприятных для культурного развития, занимая скромные должности, может преодолеть все трудности и подняться к вершинам знания, стать вровень с самыми именитыми деятелями своего времени, а в чем-то и превзойти их.

4

Текст, отредактированный виртуозами рекламы из акционерного общества «Допинг» и разосланный учителям начальных школ города Салвадора

Известный всему миру бессмертный писатель и этнолог Педро Аршанжо, слава Баии и всей Бразилии, столетний юбилей которого мы отмечаем в этом году под эгидой «Жорнал да Сиададе» и фирмы «Водка Крокодил», родился в городе Салвадоре 18 декабря 1868 года. Сын

героя Парагвайской войны, сирота от рождения: отец его, Антонио Аршанжо, откликнувшись на зов родины, распрощался с беременной супругой и ушел, чтобы встретить смерть на бескрайних просторах Чако в неравной борьбе с коварным врагом.

Следуя славному примеру отца, Педро Аршанжо с ранних лет начал борьбу за то, чтобы выйти из серости и убожества той среды, в которой родился. Он начал с изучения литературы и музыки и сразу же обнаружил блестящий литературный талант. Быстро овладел несколькими языками, в том числе английским, французским и испанским.

В юности, влекомый жаждой приключений, отправился путешествовать по свету, нанявшись матросом на корабль. В Стокгольме повстречался с прекрасной скандинавкой, которой суждено было стать величайшей любовью в его жизни.

По возвращении в Баию он поступил на медицинский факультет и там нашел благоприятные условия для того, чтобы менее чем за тридцать лет стяжать себе славу ученого и писателя.

Его перу принадлежит ряд книг, в которых он описал баианские обычаи и фольклор, дал анализ расовой проблемы. Когда эти книги были переведены на другие языки, Педро Аршанжо стал знаменит во всех странах мира, особенно в Соединенных Штатах, где его труды получили признание и были изданы Колумбийским университетом в Нью-Йорке по инициативе известного профессора Джеймса Д. Левенсона, лауреата Нобелевской премии, который провозгласил себя учеником Педро Аршанжо.

Педро Аршанжо умер в Салвадоре в 1943 году, достигнув семидесяти пяти лет, окруженный всеобщим уважением и восхищением ученого мира. За его гробом шли представители власти, профессора университета, писатели и поэты.

Гордость Баии и всей Бразилии, ученый и писатель, прославивший родину за рубежом, Педро Аршанжо учит нас своим примером тому, как человек, рожденный в бедности, в среде, враждебной культуре, может возвыситься до вершин знания и завоевать солидное положение в обществе.

Празднуя столетие со дня рождения этого блистательного паладина науки и культуры, мы, жители Баии, едины в нашем стремлении почтить славную память нашего Педро Аршанжо в ответ на призыв газеты «Журнал

да Сиададе», которая в связи с этой памятной датой проводит свою очередную патриотическую кампанию.

Фирма «Водка Крокодил» не могла остаться в стороне от столь великого праздника, ибо она сама стала уже неотъемлемой частью баиянского фольклора, изучению которого посвятил свою жизнь наш гениальный согражданин. Разве не эта отменная марка водки породила образ Веселого Крокодила, вызывающего восторг у детей своими объявлениями по радио и телевидению, разве это не подлинное творение современного фольклора, где есть и стихи, и музыка?

Веселый Крокодил проводит большой конкурс в начальных школах Салвадора. Мы просим любезных сеньор учительниц рассказать на уроке историю жизни Педро Аршанжо, и пусть каждый ученик, с первого по пятый класс, напишет о своих впечатлениях. Конкурс проводится на соискание пяти премий: пяти стипендий на весь срок обучения в одной из частных гимназий столицы штата. Эти премии будет выплачивать фирма «Водка Крокодил».

Вместе с детворой из муниципальных школ Салвадора Веселый Крокодил кричит: «Да здравствует бессмертный Педро Аршанжо!»

5

Вступительное слово учительницы Диды Кейроз на уроке в третьем классе муниципальной школы имени журналиста Джованни Гимараэса, которая находится в районе Рио Вермельо

Педро Аршанжо — это гордость Баии, Бразилии, всего мира. Он родился сто лет назад, и поэтому «Журнал да Сиададе» и фирма «Крокодил», которая торгует водкой, празднуют его столетний юбилей, проводя конкурс среди студентов и школьников. Назначены ценные премии, например путешествие в Соединенные Штаты и Рио-де-Жанейро, телевизоры, радиоприемники, книги и так далее. Для вас, учеников начальной школы, тоже будут премии — пять стипендий, чтобы учиться в одной из гимназий нашего города, столицы штата. При нынешней плате за обучение в частных школах это премия ценная, да еще какая ценная.

Отец Педро Аршанжо был генералом на войне с Парагваем и пал в борьбе против тирана Солано Переса, который пошел на нас войной. Маленький Педро остался сиротой и без средств, но не пал духом. Он не мог по-

сепцать школу, уплыл на пароходе в дальние страны и выучил много иностранных языков, стал полиглотом — это такой человек, который умеет говорить не только на португальском, но и на других языках. Служил привратником на медицинском факультете, а потом получил ученую степень и больше тридцати лет преподавал.

Он написал много книжек о фольклоре, то есть таких, где рассказываются истории про зверюшек и про людей, только детям их читать нельзя. Это серьезные книги, очень важные, их читают ученые профессора.

Педро Аршанжо много путешествовал, побывал в Европе и Соединенных Штатах, по-моему, путешествия — это самое лучшее, что есть на свете. В Европе он познакомился с прекрасной скандинавкой, женился и счастливо прожил с ней всю жизнь.

В Соединенных Штатах он читал лекции в Колумбийском университете, в Нью-Йорке, а это — самый большой город в мире, и вел занятия на английском языке. В числе его учеников был американский ученый Левенсон, который столько у него научился, что потом получил Нобелевскую премию, самую большую премию; кто ее получил, входит прямо в историю.

Умер Педро Аршанжо в 1943 году очень-очень стареньким, и его похороны были как шествие в святой праздник, на них присутствовали губернатор, префект и профессора университета.

Педро Аршанжо учит нас своим примером, что бедный мальчик, если старается учиться как следует, может попасть в высшее общество, преподавать в университете, зарабатывать много денег, путешествовать, сколько захочет, и стать гордостью Бразилии. Надо только иметь силу воли и слушаться учительницу. Сейчас вы будете писать о том, что вы узнали о Педро Аршанжо, но сначала давайте крикнем вместе с Веселым Крокодиллом, который будет выплачивать стипендии: «Да здравствует бессмертный Педро Аршанжо!»

6

Сочинение десятилетнего Рая, ученика третьего класса упомянутой школы имени журналиста Джованни Гимаранса

Педро Аршанжо был очень бедный сиротка который сбежал в моряки вместе с одной иностранкой совсем как мой дядя Зука и поехал в Соединенные Штаты потому

что там много денег хватит на осла только он сказал я же бразилец и вернулся в Баию рассказывать истории про зверей и людей и такой был ученый что учил не ребят, а только докторов и учителей и когда умер то стал гордостью Бразилии и получил в премию от газеты пять бутылок водки. Да здравствует Педро Аршанжо и Веселый Крокодил!

О гражданский борьбе Педро Аршанжо Ожубы и о том, как народ захватил площадь

1

— Лучше всех у нас говорит по-французски Нестор Соуза, совсем без акцента,— заявил профессор Аристидес де Кайрес, восхваляя декана юридического факультета, выдающегося юриста, члена международных организаций. Он повторил, словно смакуя: — Нестор Соуза, светлая голова!

— У Нестора, безусловно, очень хорошее произношение. Но в оборотах речи едва ли сравнится он с Зиньо де Карвальо. Для Зиньо нет секретов во французском. Он знает наизусть не одну страницу из «Гения христианства» Шатобриана, много стихотворений Виктора Гюго, целые сцены из «Сирано де Бержерака» Ростана.— Фонсека произносил на французский лад «Виктор Юго», чтобы показать свою собственную компетентность.— Вы слышали, как он читает стихи?

— Да, конечно, и я присоединяюсь к вашим похвалам. Но все же спрашиваю: может ли Зиньо сымпровизировать речь на французском, как Нестор Соуза? Вы помните, коллеги, прошлогодний банкет в честь мэтра Дэ, парижского адвоката? Нестор экспромтом произнес приветственное слово по-французски! Потрясающе! Слушавшая его, я почувствовал гордость оттого, что мы земляки.

— Экспромтом? Как бы не так,— ехидно заметил тотщий и желчный приват-доцент Исаяс Луна, снискавший популярность среди студентов как раз благодаря тому, что хулил общепризнанные авторитеты да еще был либерален на экзаменах.— Насколько мне известно, он свои лекции заучивает наизусть, а мимику отработывает перед зеркалом.

— Помилуйте, зачем же повторять злые сплетни завистников?

— Да все это говорят, это голос народа. Vox populi, vox Dei¹.

— Зиньо...— снова вступился за своего кандидата профессор Фонсека.

Поболтать в преподавательской в перерыве между занятиями собирались все, кто читал лекции на медицинском факультете; это были люди один другого знаменитее и высокомернее, и каждый из них ревниво оберегал свою исключительность. Потягивая горячий кофе, который приносили педели, они отдыхали от занятий и от студентов за беседой на любую тему, какая подвернется, начиная с обсуждения научных проблем до сплетен друг о друге. Порой тряслись от смеха, выслушав рассказанный вполголоса анекдот. «У нас на факультете что-нибудь стоящее услышишь только в преподавательской»,— утверждал профессор Аристидес Кайрес, задавший тему разговора в то утро: кто лучше владеет французским языком.

Французский язык — необходимая вещь для всякого, кто хотел бы претендовать на интеллигентность, обязательный атрибут высшего образования. В те времена не были переведены на португальский язык основные пособия, без которых невозможно усвоить учебную программу любого факультета. Библиография, предлагаемая студентам, была у подавляющего большинства преподавателей французской, некоторые знали еще и английский, а немецким не владел почти никто. Говорить по-французски без ошибок и без акцента давно уже стало вопросом престижа и предметом тщеславной гордости.

Стали перебирать других знатоков: Бернара, преподавателя Политехнической школы, у которого отец был француз, а сам он получил образование в Гренобле; журналиста Энрике Дамазио, много раз ездившего в Европу и прошедшего полный курс в парижских кабаках,— «этот — нет, ну что вы, у него будуарный лексикон»; художника Флоренсио Валенсу, который двенадцать лет вел жизнь богемы в Латинском квартале; падре Кабрала из иезуитского коллежа — «этот тоже не в счет, мы говорим о бразильцах, а он — португалец». Кто же из всех правильнее говорит, у кого лучшее произношение? У кого самый шикарный парижский выговор с грассирующим «р» и безупречными носовыми?

¹ Глас народа — глас божий (лат.).

— Перечислив столько, коллеги, вы забыли, что и у нас на факультете есть три-четыре светила по этой части,— укорил собеседников профессор Айрес.

Все с облегчением вздохнули: становилось неловко слушать похвалы чужим, в то время как о своих, факультетских звездах — ни слова. Ведь в те времена в Баие не было титула почетнее, чем звание профессора медицинского факультета. Оно несло с собой не только пожизненное заведование кафедрой, солидный оклад, почет и уважение, но также обеспечивало доходную практику, богатых пациентов. Люди приезжали даже из сертана, из самого захолустья, прочтя в газетном объявлении: «Профессор, доктор имярек, заведующий кафедрой медицинского факультета Баиянского университета, стажировавшийся в клиниках Парижа». Звание это, подобно магическому заклинанию, открывало широкие возможности в самых различных областях деятельности, как-то: литература, политика, землевладение и скотоводство. Профессора становились членами различных академий, избирались депутатами законодательных органов штата или всей страны, покупали фазенды, тысячи голов скота, целые латифундии.

Конкурс на замещение вакантной должности заведующего кафедрой являлся событием национального масштаба: врачи Рио-де-Жанейро и Сан-Пауло спешили составить конкуренцию баианцам, оспаривая у них должность и связанные с ней привилегии. Публика валом валила на диспуты, на защиту диссертаций, на открытые лекции соискателей, внимательно слушала вопросы и ответы, шумно откликалась на остроумные фразы или грубые выпады. Мнения расходились, решение жюри вызывало споры и протесты, были случаи, когда противной стороне угрожали физической расправой и даже смертью. При таких обстоятельствах как можно было, перечисляя знатоков французского языка, забыть об аристократии медицинского факультета! Нелепость, скандал!

Особенно неловко было потому, что в преподавательской сидел и слушал коллег — несомненно, в молчаливом ожидании — профессор Нило Арголо, корифей, полиглот, «чудо о семи языках». Он не только мог произнести речь или вести беседу, но и писал на французском статьи, резюме. Только что он послал на Брюссельский конгресс важный труд: «Паранойя¹ у негров и метисов».

¹ Паранойя — душевное заболевание.

— Полностью на французском, ни одной строчки, ни одного слова по-португальски! — подчеркнул профессор Освалдо Фонтес, спеша вручить пальму первенства своему учителю и другу.

Всеми почитаемый профессор Силва Виража, светило первой величины в медицинской науке, исследователь шистозомы¹, потягивал маленькими глотками кофе и развлекался, наблюдая, как менялось лицо его коллеги Нило д'Авила Арголо де Араужо после реплик Айреса и Фонтеса: сначала хмурое, непроницаемое, тревожное, потом сразу — радостное, а через миг — исполненное напускной скромности, из-под которой выспирало самодовольство. Маститый ученый был снисходителен к глупости человеческой, но чванства не терпел.

Когда смолк дружный хор всеобщих похвал, профессор Арголо великодушно возгласил:

— Профессор Нестор Гомес тоже в совершенстве владеет языком Корнея.

Остальных он не считал достойными упоминания.

Не вытерпев столь явного зазнайства, Силва Виража поставил чашечку на стол и сказал:

— Я знаю всех, кого здесь упоминали, и слышал, как они говорят по-французски. Однако осмелюсь заметить, что есть человек, который лучше кого бы то ни было в нашем городе говорит по-французски, абсолютно правильно, без всякого акцента, и этот человек — один из педелей нашей кафедры по имени Педро Аршанжо.

Профессор Нило Арголо поднялся с места, лицо его пылало, словно коллега закатил ему пару пощечин. Если бы эти слова произнес кто-нибудь другой, то заведующий кафедрой судебной медицины схватился бы с обидчиком: сравнить его с каким-то педелем, да еще мулатом! Однако на медицинском факультете и во всей Баие никто не смел повысить голос на профессора Силву Виража.

— Уж не тот ли это темнокожий, коллега, что много лет назад опубликовал тощую книжонку о народных обычаях?

— Он самый, профессор. Этот человек работает у меня уже почти десять лет. Я пригласил его к себе сразу же, как прочел эту его тощую книжонку, как вы изволили ее охарактеризовать. Она действительно невелика

¹ Шистозома — разновидность глиста, паразитирующего в крови.

по объему, но богата наблюдениями и идеями. Сейчас он готовит к изданию еще одну книгу, уже не такую тощую и еще более содержательную; работа имеет необычайный этнологический интерес. Он дал мне прочесть несколько глав, я ими просто восхищен.

— И этот... этот... педель знает французский?

— Еще как! Слушать его — наслаждение. Изумительно говорит он и по-английски. Хорошо знает испанский, итальянский, и если бы только у меня было время с ним заняться, он обошел бы меня и в немецком. Между прочим, это мнение разделяет со мной ваша уважаемая кузина, графиня Изабел Тереза, а ее французский, кстати сказать, — восхитителен.

Упоминание о шокирующем родстве усугубило замечательство оскорбленного профессора.

— Ваша всем известная доброта, профессор Виража, заставляет вас переоценивать своих подчиненных. Наверняка этот цветной всего-навсего заучил несколько французских фраз, а у вас столь великодушное сердце, что вы уже объявляете его знатоком.

Ученый рассмеялся, смех его был звонок, как у ребенка.

— Благодарю за похвалу, я ее, право, не заслуживаю; доброты, о какой вы говорите, у меня вовсе нет. Правда, я предпочитаю переоценить человека, ибо тот, кто постоянно недооценивает других, сам немногого стоит. Но в данном случае я не преувеличиваю, коллега.

— Какой-то педель, просто не верится.

Местре Силва Виража не любил чванства, но презрительное отношение к людям бедным попросту его бесило. «Не доверяйте тем, кто льстит сильному и топчет слабого, — советовал он своим ученикам. — Это подлые люди, лживые и коварные, лишённые какого бы то ни было благородства».

— Этот педель — настоящий ученый, у него не грех и поучиться иному профессору.

Резко повернувшись, заведующий кафедрой судебной медицины покинул преподавательскую, за ним последовал профессор Освалдо Фонтес. Местре Силва Виража весело рассмеялся, точно ребенок после удачной проказы, в глазах — лукавый огонек, а в голосе — нотка ужаса:

— Что за вздор! Талант не определяется ни цветом кожи, ни социальным положением. Ну как это некоторые люди все еще не могут постичь такую очевидную истину!

Он тоже встает, пожимает плечами, «бог с ним совсем, с этим Нило д'Авила Арголо де Араужо, он раб предрассудков, мешок, набитый тщеславием, он полон одним собой, потому и пуст». Ученый идет на второй этаж, где его ждет негр Эваристо с материалом из прозекторской. «Бедняга Нило! Когда же ты поймешь, что важна только сама наука, она нетленна, на каком бы языке ни излагалась и как бы ни именовался тот, кто служит ей, кто ее творит?» В лаборатории местре Силву Виража обступают студенты: препараты уже под микроскопами.

2

Более десяти лет, с 1907 по 1918 год, от появления «Народного быта Баии» до выхода в свет «Африканских влияний на народные обычаи Баии», Педро Аршанжо учился. Учился по собственной методе, систематически, целеустремленно и упорно. Ему нужно было познать, и он познал: прочел все, что можно было прочесть по расовой проблеме. Проглотил множество трактатов, книг, диссертаций, научных сообщений, статей, проштудировал кучу подшивок журналов и газет, заделался настоящей библиотечной и архивной крысой.

При этом он продолжал жить полной жизнью в самой гуще народа, продолжал наблюдать и познавать народный быт в городе и на плантациях. Но теперь он черпал знания еще и из книг, на пути к решению главной проблемы ему пришлось пройти по многим ответвлениям древа познания — он стал эрудитом. Все, что ни делал он в эти годы, имело свою цель, смысл и входило звеном в общую цепь.

Местре Лидио Корро торопил его. Возмущался, читая в газетах злобные выпады и угрозы под жирными заголовками: «Доколе мы будем терпеть превращение Баии в огромную вонючую сензалу?»

— Похоже, кум, у тебя сломалось перо и пролились чернила. Где вторая книга? Ты все говоришь о ней, но я не вижу, чтоб ты ее писал.

— Не подгоняй меня, дружище, я еще не готов.

Чтобы подзадорить друга, Лидио вслух читал ему статьи и заметки: налеты полиции на кандомбле, реквизиция деревянных идолов, запрещение праздников, конфискация подарков Йеманже, избиение капоэйристов ножами сабель в полицейском участке.

— Те-то готовы дубасить нас с полным удовольствием. Совсе не надо читать всю эту писанину, чтобы разобратсья что к чему.— Лидио указал на брошюры, медицинские журналы и книги, которыми был завален стол Педро Аршанжо.— Раскрой газету — и увидишь: один требует запретить круговую самбу, другой — капоэйру, третий — кандомбле. Новости одна хуже другой.

— Ты прав, мой милый. С нами хотят расправиться раз и навсегда.

— А ты, такой знающий человек, что делаешь ты?

— Да ведь всему виной, дружище, профессора с их теориями. Надо бороться с первопричиной, милый мой. Писать протесты в газету — вещь полезная, но это дела не решает.

— Ладно, пусть так. Но тогда почему же ты все-таки не пишешь книгу?

— Я готовлюсь к этому. Понимаешь, кум, я был темен, как пивная бутылка. Возьми это в толк, приятель. Я думал, что много знаю, а не знал ничего.

— Ничего? Я-то думаю, наука, которую ты постиг здесь, на Табуане, в «Лавке чудес», стоит большего, чем вся твоя факультетская премудрость, кум Педро.

— Факультетская наука не моя, и народную мудрость я не отрицаю. Только я понял, что одной этой мудростью не обойтись. Сейчас я тебе, дружище, растолкую.

Тадеу, стоя к ним спиной, переплетал книги и не пропускал ни слова из того, что говорил его крестный.

— Любезный мой кум, — пояснял Аршанжо куму Лидио, — я в большом долгу перед профессором Арголо, тем самым, что хотел бы оскопить негров и мулатов, что науськивает полицию на кандомбле, я в долгу перед этим чудом-юдом, как его прозвали студенты. Чтобы унижить меня, он когда-то выставил меня полным невеждой — и унижил-таки. Поначалу я только разозлился: даже свет мне стал не мил. Потом сообразил, что так оно и есть, он прав, я полуграмотный. Я, как бы тебе сказать, видел многие вещи, но их не понимал, знал обо всем, но не знал, что такое знать.

— Ты, кум, скоро станешь говорить заумнее, чем профессор медицины. «Я не знал, что такое знать» — это шарада или загадка?

— Ребенок надкусывает плод и сразу узнает, какой он на вкус, но не знает, почему у плода такой вкус. Я вижу, как обстоят дела, и хочу докопаться до причи-

ны, чем теперь и занят. И докопаюсь, дружище, поверь моему слову.

Пока Педро Аршанжо учился, он писал письма в редакции газет, протестуя против нападков на старинные обряды и призывов усилить полицейские репрессии. Тот, кто возьмет на себя труд перечесть эти письма,— те немногие, что увидели свет под его собственным именем или под псевдонимами: Возмущенный Читатель, Потомок Зумби, Мале¹, Бразильский Мулат,— без труда сможет проследить эволюцию Педро Аршанжо на протяжении многих лет. Его аргументы, подтверждаемые ссылками на отечественных и зарубежных авторов, обретали убедительность, становились неотразимыми. В «Письмах в редакцию» местре Аршанжо отточил свое перо, язык его обрел ясность и точность, не утратив поэтического духа, присущего всем его писаниям.

Он в одиночку вступил в неравный бой почти со всей баиянской прессой того времени. Перед тем как отослать очередное письмо, он читал его друзьям в «Лавке чудес». Мануэл де Прашедес, вскипая яростью, предлагал «разбить морды этим паршивцам». Будиан встречал каждый тезис одобрительным кивком, Валделойр хлопал в ладоши, Лидио Корро улыбался. Затем Тадеу относил письмо в редакцию. Этих «Писем в редакцию» был не один десяток, но лишь немногие из них целиком или в сокращении появились на газетной полосе, большинство же было брошено в корзину, но два удостоились особого обращения.

Первое из них, большое по объему, почти целая статья, было направлено в редакцию одной из газет, самой рьяной в злобных нападках на кандомбле. В нем Педро Аршанжо спокойно и с документальной достоверностью подвергал анализу положение языческих верований в Бразилии и призывал обеспечить для них «свободу исповедания, уважение и привилегии, предоставляемые католической и протестантской церквям, ибо афро-бразильские культы — это вера, религия, духовная пища многих тысяч граждан, не менее достойных уважения, чем все остальные».

Через несколько дней газетенка разразилась статьей, автор которой не стеснялся в выражениях, дабы излить свою ярость на первой странице под заголовком, напечатанным жирными буквами: «ЧУДОВИЩНЫЕ ПРИТЯ-

¹ Мале — так называли мусульман африканского происхождения.

ЗАНИЯ». Не цитируя аргументов Педро Аршанжо и не полемизируя с ним, автор лишь упоминал о них, а цель свою видел в том, чтобы дать знать «властям, духовенству и общественности о чудовищных притязаниях идолопоклонников, которые требуют (ТРЕБУЮТ!) в своем письме в редакцию, чтобы их непристойные шаманские ритуалы пользовались таким же уважением и такими же привилегиями и в духовном плане стояли бы на таком же уровне, что и высокое католическое вероисповедание, святая наша церковь Христова, а также протестантские секты, с ересью которых мы не согласны, хотя и не отрицаем христианскую основу кальвинизма и лютеранства». В заключение диатрибы редакция заверяла граждан Баии в том, что и впредь не пожалеет сил на «беспощадную борьбу с ненавистным идолопоклонничеством, с диким грохотом барабанов макумбы, который ранит слух и эстетическое чувство баианцев».

Другим письмом воспользовалась в погоне за популярностью и тиражом только что открывшаяся газета либерального направления. Педро Аршанжо написал это письмо в ответ на филиппику профессора Освалдо Фонтеса, напечатанную на страницах некоей консервативной газеты под заголовком «Сигнал тревоги». Профессор психиатрии призывал местную элиту и власти обратить внимание на факт, который, по его мнению, заключал в себе серьезнейшую угрозу будущему всей страны: высшие учебные заведения штата подвергаются зловещему нашествию цветных. «Все больше и больше цветных занимают вакансии, которые надо бы держать только для юношей чистых кровей из хороших семейств». Пора прибегнуть к решительной мере — «просто-напросто закрыть законодательным путем доступ в высшие учебные заведения этим дегенерирующим элементам». Профессор ссылался на военно-морской флот, где для негров и метисов производство в офицеры было запрещено, рассыпался в похвалах министерству иностранных дел, которое вежливо, но твердо «оберегает чистоту своих благородных дипломатических кадров от цветных примесей».

Педро Аршанжо отозвался письмом, подписанным: «С уважением — Бразильский Мулат». Солидная аргументация, ссылки на знаменитых антропологов, подтверждавших высокие интеллектуальные способности негров и мулатов, упоминание о прославленных метисах, в том числе о послах Бразилии в разных странах, и несколько слов о том, что представляет собой профессор Фонтес.

«Профессор Фонтес ратует за чистокровных докторов. Да ведь чистокровными бывают разве что скаковые лошади. При виде одного профессора, шествующего к факультету по Террейро Иисуса, студенты шутят, что, мол, получив заботами Нило Арголо звание профессора психиатрии, доктор Фонтес уподобился коню Калигулы: Калигула некогда предоставил своему коню кресло в римском сенате — профессор Нило Арголо де Араужо предоставил Освалдо Фонтесу кресло заведующего кафедрой на медицинском факультете. Потому-то профессор и ратует за чистоту породы на факультете. Чистых и благородных кровей бывают рысаки. Чиста ли, благородна ли кровь у самого профессора?»

Представьте себе изумление Аршанжо, когда он обнаружил, что вся первая часть его письма составила передовицу молодого органа печати: аргументы, цитаты, фразы, абзацы, целые параграфы перепечатаны слово в слово. Частью, посвященной профессору Фонтесу, редактор почти не воспользовался, он опустил каламбур о чистоте крови и лошадиной генеалогии, ограничившись сухими строчками: «Видный ученый, эрудицию которого мы не собираемся подвергать сомнению, является, однако, объектом шуток в студенческой среде по поводу защищаемых им допотопных взглядов». И ни слова о Бразильском Мулате с его уважением. Весь почет достался газете, статья вызвала живой отклик.

В тот день Аршанжо не без удовольствия увидел, что студенты развесили этот номер газеты по стенам медицинского факультета. Профессор Фонтес велел педеля своей кафедры сорвать их и уничтожить. Он прямо-таки озверел, следа не осталось от его нарочитой вялости, подчеркнутой учтивости, снисходительной улыбки, которой он обычно достаивал проделки студентов.

3

По примеру профессора Силвы Виража Педро Аршанжо научился тщательно анализировать мнения, формулировки и высказывания, словно разглядывая их под микроскопом, изучая мельчайшие детали, клеточку за клеточкой, с лица и с изнанки. Он знал наизусть биографию и труды Гобино, его чудовищную теорию, он чуть ли не по минутам изучил всю его деятельность на посту посла Франции в Бразилии: лишь через полное

познание можно прийти от ярости и ненависти к холодному презрению.

Так, проследившая день за днем путь французского посла при императорском дворе, он добрался вместе с мосье Жозефом Артюром, *comte de Gobineau*¹, до дворцовых садов в Сан-Кристоване, где тот беседовал о литературе и разных науках с его величеством Педро Вторым, и беседа эта, можете себе вообразить, велась в то самое время, когда мать Педро Аршанжо, Нока из Логунедэ, почувствовала первые схватки и послала негритенка за Ритой Ослятницей, лучшей в тех краях повивальной бабкой.

В 1868 году, когда Педро Аршанжо только родился, Гобино уже исполнилось пятьдесят два года, и прошло пятнадцать лет с тех пор, как он опубликовал «*Essai sur l'inégalité des races humaines*»². Он беседовал с монархом, прогуливаясь по дорожкам парка, а Нока в это время, стелая в родовых муках, устремлялась мыслью за леса, реки и горы, в безлюдные пампасы Парагвая вслед за мужем, которому пришлось сменить ремесло каменщика на запятие, заключавшееся в том, чтобы убивать и убивать в бесконечной войне, без всякой надежды на возвращение, убивать, пока не убьют тебя самого. Он так хотел ребенка, и вот теперь не увидит новорожденного.

Нока еще не знала о гибели сержанта Антонио Аршанжо при переходе через Чако. Опытный мастер-каменщик воздвигал стены школы, когда его схватил патруль. И стал он волонтером поневоле, из-под палки, его даже не пустили домой попрощаться. Нока лишь поманила ему с причала в день отплытия. Хотя несчастный каменщик, у которого отобрали мастерок и отвес, шагнул понуро с батальоном «баианских зуавов», ей он показался бравым красавцем в солдатском мундире, с атрибутами своего нового ремесла, несущими смерть и к смерти ведущими.

Недели за три до этого она сказала ему, что беременна, и сожитель ее ошалел от счастья. Тут же предложил пожениться, не знал, чем бы ей угодить: пока носишь, не работай, я не позволю. Нока работала — стирала и гладила белье — до самых родов. «И вот ребеночек рождается, Антонио, рвет мое чрево, что же это Рита все не идет! Где ты, мой Антонио, что ж ты не

¹ Граф Гобино (*фр.*).

² «Эссе о неравенстве человеческих рас» (*фр.*).

идешь? Ах, Антонио, драгоценный мой, бросай ружье, снимай погоны, возвращайся поскорей, теперь мы вдвоем тебя ждем в нужде и тоске».

Будучи отправлен на войну силком и понимая, что назад дороги нет, рядовой Антонио храбро и умело выполнял приказ убивать и заслужил нашивки капрала. «Всегда назначался в разведывательные группы и на аванпосты подразделений, в которых служил», — прочел Педро Аршанжо в анналах Парагвайской войны, когда взвешивал кровь — белокожих, темнокожих, краснокожих, — пролитую за родину: кто отдал больше жизней, чьих смертей было больше?

Антонио Аршанжо, теперь уже смрадный труп, добыча стервятников-урубубу, так и не увидит сына, который начал жизнь с того, что вылез на свет божий сам, не дождавшись повитуху. А в тот самый час под освежающей сенью деревьев Monsieur le comte de Gobineau и его императорское величество, то бишь теоретик расизма и ярый сочинитель советов неторопливо вели глубокомысленную и утонченную беседу, вот именно: *gaffiné*¹.

Когда Рита Ослятница прибыла наконец к Ноке из Логунеда, новорожденный вовсю упражнял легкие. Повитуха, маленькая, но плотная женщина лет пятидесяти, расхохоталась, уперев руки в бока: это же Эшú, господь меня спаси и помилуй, только сыны Пса выходят на свет, не дождавшись повитухи. Этот заставит о себе говорить и дел натворит немало.

4

От каменщика, ставшего капралом, Педро Аршанжо унаследовал ум и храбрость, упомянутые в военном бюллетене. От Ноки — мягкие черты лица и упрямство. Она была упряма: вырастила сына, обеспечив ему кров, хлеб и учење в школе без чьей бы то ни было помощи, без мужской руки, ибо не захотела ни с кем сойтись, никому больше не дарила любовь, даже на час, хотя обхаживали ее многие, недостатка в кавалерах не было. Живя с матерью в скудости, мальчик привык к труду, научился не отступать, не падать духом, научился идти вперед.

Педро Аршанжо не раз вспоминал мать в многотрудные, но плодотворные десять лет усиленных штудий.

¹ Утонченный (*фр.*).

Она умерла молодой в тот год, когда семена черной оспы дали обильные всходы смерти на улицах города, особенно там, где почва для них была удобрена нищетой. Знатная получилась жатва, чертова зараза наступала свою добычу даже в богатых домах. Ноку из Логунедз унесло первой волной. Омолу не пришел ей на помощь. Силу рук ее съели язвы, ее красота сгнила в нищем квартале, где гной лился зловонными ручьями. Всякий раз, как подступало отчаяние, Педро Аршанжо вспоминал мать: с утра до ночи работала она до одурения, жила в кругу безысходной тоски, непреклонная в своем решении не снимать вдовьего наряда и самой добывать пропитание сыну трудом своих рук, таких тонких и слабых.

Остальному он научился сам, хотя недостатка в дружеской поддержке у него не было и он никогда не чувствовал себя одиноким. Его грели воспоминания о матери, с ним рядом были Тадеу, кум Лидио, Маже Бассан, его направлял профессор Силва Виража, подбодрял аббат Тимотео — настоятель францисканского монастыря, ему помогала добрейшая Забела — неоценимый и верный друг.

В те годы Тадеу был для него учеником, собратом по учению, консультантом. В Политехнической школе и поныне жива память о студенте Тадеу Каньото: помнят его знаменитое сочинение, написанное десятистопным ямбом, его одаренность в математике, сделавшую его любимым учеником профессора Бернара, врожденный талант руководителя, благодаря которому он верховодил товарищами все пять студенческих лет — и на демонстрациях в поддержку союзных держав в годы первой мировой войны, и на галерке театров «Сан-Жован» и «Политеама», откуда неслись либо дружные аплодисменты, либо оглушительный свист.

Забела помогла Аршанжо овладеть иностранными языками. В общении с нею его французский, английский, испанский и итальянский, изученные самостоятельно, стали для него живыми, близкими, своими. От природы наделенный тонким музыкальным слухом, он стал говорить по-французски как граф, по-английски — как лорд.

«Местре Педро, вы прирожденный полиглот. В жизни не встречала человека, который бы схватывал все так быстро», — хвалила его довольная экс-принцесса Реконкаво.

Ей никогда не приходилось дважды исправлять одну и ту же грамматическую или фонетическую ошибку: Педро Аршанжо всегда был внимателен и собран. Сидя в австрийском кресле-качалке, старуха слушала, полукрыв глаза, как местре Педро вслух читает ее любимых поэтов: Бодлера, Верлена, Рембо. Роскошные переплеты напоминали о минувшем величии, а стихи воскрешали былые страсти и увлечения. Забела вздыхала, машинально поправляя произношение, мягкий голос Аршанжо убаюкивал ее.

— Постоите, местре Педро, я расскажу вам одну престелную историю....

Впавшая в бедность аристократка, от которой отвернулись родичи, обрела новую родню в лице двух кумовьев и Тадеу и не осталась в полном одиночестве, когда ее кот, Арголо де Араужо, окошел от старости и был погребен в саду.

Профессор Силва Виража порекомендовал Педро Аршанжо заняться немецким языком, и аббат Тимотео, настоятель францисканского монастыря, друг Маже Бассан, изъявил готовность давать ему уроки. Много раз аббат по просьбе Педро Аршанжо переводил с немецкого выдержки из книг, статьи и, в конце концов, сам заинтересовался расовой проблемой в Бразилии, хотя у него был и собственный конек: религиозный синкретизм. Но на все нужно было время, а его было мало, одолевали неотложные дела, и до конца справиться с немецким не удалось.

Многим он был обязан профессору Силве Виража, который, прочтя «Народный быт Баии», предложил ему место педеля у себя на кафедре взамен такой же должности в секретариате, где у Педро Аршанжо совсем не оставалось свободного времени. Вполне обходясь услугами негра Эваристо, лаборанта кафедры, профессор смог выделить педелю время для работы в факультетской и публичной библиотеках, в архивах муниципалитета, для чтения и конспектирования нужной ему литературы. Кроме того, Силва Виража направлял Педро Аршанжо в его студиях, рекомендовал того или иного автора, знакомил Аршанжо с новинками в области антропологии и этнологии. Несколько книг предоставил в его распоряжение фрей¹ Тимотео, и среди них попадались такие, которые не были известны никому в Баие, в

¹ Фрей — форма обращения к духовному лицу.

том числе и профессорам, работавшим в той же области. Через фрейя Тимотео Педро Аршанжо познакомился с Францем Боасом¹ и был, вероятно, первым бразильцем, изучившим этого автора.

О Лидио Корро и говорить нечего. Кум, брат, родней родного, близнец. Частенько приходилось ему потуже затягивать пояс, чтобы ссудить — к чему околичности? — чтобы просто дать Педро денег на покупку книг в Рио-де-Жанейро и даже в Европе. Приобретение нового комплекта шрифта, капитальный ремонт печатного станка, съевший немало денег, — для чего это делалось? Для того, чтобы издавать новые книги Педро Аршанжо.

— Кум, ты хочешь узнать все на свете! Разве мало того, что ты уже знаешь? Неужели не хватит на книгу?

Педро Аршанжо посмеивался над нетерпением кума:

— Знаю я пока что мало, и мне кажется, чем больше я читаю, тем больше мне надо еще прочесть и изучить.

За эти долгие десять лет Педро Аршанжо прочел все труды и материалы по антропологии, этнографии и социологии, какие нашел в Баие и смог заказать по почте в других местах, собирая последние гроши, свои и чужие. Как-то раз Маже Бассан отперла сундук Шанго, чтобы доложить недостающую сумму для покупки «Reise in Brasilien»² Спикса и Марциуса, которую раскопал где-то книготорговец Бонфанти, итальянец, открывший незадолго до того лавку на Ларго-да-Се.

Даже неполное перечисление авторов и трудов, протудированных местре Аршанжо, явилось бы делом долгим и трудным, целесообразней отметить некоторые вехи на его пути от негодования к презрению.

Поначалу лишь стиснув зубы мог он заставить себя продолжать чтение строк, принадлежащих перу откровенных или, что еще хуже, стыдливых расистов. Сами собой сжимались кулаки: тезисы и утверждения звучали оскорбительно, жгли, как пощечины, хлестали, как удары бича. Не раз к горлу подкатывал комок, на глаза навертывались слезы от унижения при чтении трактатов Гобино, Мэдисона Гранта, Отто Амнона, Хьюстона Чемберлена. Однако, читая основоположников итальянской криминалистической антропологии — Ломброзо, Ферри, Гарофало, Педро Аршанжо уже просто хохотал, ибо про-

¹ Франц Боас (1858—1942) — американский антрополог и этнограф.

² «Путешествие по Бразилии» (нем.).

шло время, и накопленные знания придали ему спокойствие и уверенность, и теперь он мог видеть глухость там, где раньше видел лишь оскорбление и злобу.

Он прочитал друзей и врагов, французов, англичан, немцев, итальянцев, американца Боаса, открыл для себя горький смех Вольтера, от которого пришел в восторг. Читал бразильцев, в том числе баианцев, начиная с Алберто Торреса, Мануэла Бернардо Калмона до Пин-и-Алмейды и Жоана Батисты де Са Оливейры и кончая Эваристо де Морайсом и Аурелино Леалом. А кроме того, еще многих-многих других, которым несть числа.

Полюбив книги, Педро Аршанжо не разлюбил жизнь; изучая трактаты, продолжал изучать людей. Он находил время не только для чтения и раздумий, но и для веселья, праздника, любви — всего, что служило ему источником познания. Был одновременно и Педро Аршанжо, и Ожубой. Став ученым, он не перестал быть человеком из народа, не отводил каждой своей ипостаси определенного времени. Он отказался подняться чуточку выше по лестнице успеха и занять место над тем полуподвалом, где родился, над миром переулков, лавок, мастерских, террейро, где бьется сердце простого люда. Он шел не в гору, а вперед, только так и мог поступать местре Аршанжо Ожуба, единый и цельный.

До последнего дня своей жизни учился он у народа, исписав не одну тетрадь. Незадолго до смерти Педро Аршанжо договорился со студентом Оливой, одним из пайщиков типографии, о публикации своей новой книги и, шагая по Пелоуриньо, повторял слова, услышанные от некоего кузнеца: «С народом сам господь бог не совладеет». Жаль только, библиотеку свою он потерял почти целиком, это было неоценимое сокровище, скопленное понемногу ценою собственных отчаянных усилий и благодаря помощи многих людей, бедных и темных, удел которых — тяжкий труд и кашаса. Большинство книг погибло во время налета на типографию, остальные разошлись туда-сюда при переездах и передрыгах, перекочевали к книготорговцу Бонфанти в дни острого безденежья. Педро Аршанжо удалось сохранить лишь немногие, самые фундаментальные труды. Даже когда он их не читал, ему доставляло удовольствие взять книгу в руки, полистать, задержаться на какой-нибудь странице, повторить по памяти какую-нибудь мысль, фразу, слово. Среди книг, которые он хранил в железном ящике для керосина в задней комнатухе заведения Эстер, были

старое издание эссе Гобино и первая брошюра профессора Нило Арголо де Араужо. Так от ненависти Педро Аршанжо пришел к знанию.

В тысяча девятьсот восемнадцатом году Педро Аршанжо обзавелся очками и издал свою вторую книгу. Если не считать утомленного зрения, то никогда еще он не чувствовал себя так хорошо физически, никогда не ощущал такой бодрости духа и уверенности в себе и был бы совершенно счастлив, если б рядом был Тадеу. Первые экземпляры «Африканских влияний на народные обычаи Баии» были напечатаны в канун его пятидесятилетия. Праздничная суета и шум не затихали целую неделю, кашаса лилась рекой, гремели барабаны самбы, репетировались пасторилы и афоше, школа капоэйры местре Будиана вся была изукрашена флажками, ориша танцевали на террейро под стук атабаке, Розалия заливалась счастливым смехом на койке в мансарде.

5

Вот оно, чудо, любовь моя: в «Лавке чудес», на празднике в честь новоиспеченного инженера Тадеу, танцуют бабушки. Самые настоящие бабушки, просто прелесть, одна другой древней — матушка Маже Бассан и графиня Изабел Тереза Гонсалвес Мартинс де Араужо-Пиньо, для друзей — просто Забела.

Тадеу восседает в кресле с высокой спинкой, хранимом для особо почетных гостей, под картиной, где изображено несостоявшееся чудо, принимает приветствия, он — виновник торжества. На нем полосатые брюки, меланжевый пиджак, рубашка со стоячим воротничком, лаковые ботинки, на пальце — кольцо с синим сапфиром, символ Корпорации инженеров. Он готов обнять всех разом; счастье и тревога, улыбка и слезы на бронзовом лице, увенчанном черной, как смоль, шевелюрой, ни дать ни взять — романтический портрет кисти художника-ирредентиста, вот наш новоиспеченный инженер Тадеу Каньото. Сегодня у него великий праздник, который начался в актовом зале Политехнической школы, где он получил кольцо инженера и диплом доктора, и еще предстоит выпускной бал в «Красном кресте», клубе богачей. А пока что — торжество и веселье в «Лавке чудес», где его окружает тепло дружеских сердец, где танцуют бабушки.

Молодой человек в долгу у всех присутствующих. За многие годы каждый из них внес свою долю в этот его праздник. Речь идет не только о костюме, кольце, лаковых ботинках, групповой фотографии выпуска и памятном портрете, что были оплачены их деньгами, собранными по грошу. Тадеу — доктор, возвращенный помощью друзей, они шли ради него на многие жертвы, отказывали себе во всем. Никто об этом не упоминает, но молодой инженер, глядя на изборожденные морщинами лица, пожимая мозолистые руки, представляет себе, какой ценой оплачен за десять лет его ученья этот час веселья и радости. Но игра стоила свеч, сегодня все эти люди отпразднуют свою победу под грохот барабанов и звон гитар.

Начинают барабаны. Педро Аршанжо на руме, Лидио Корро — на румпí, Валделойр — на лэ. Звучит ритм батукке, и голос старой Маже Бассан молодеет в благодарственной песне богам-ориша.

Женщины становятся в круг: и старухи, и зрелые красотки, умеющие подать себя, и молоденькие иаво, неискушенные в исполнении обряда и в кокетстве. Красивей всех — не имеющая себе подобных, несравненная Роза де Ошала, время не коснулось ее красоты, лишь добавило благородства ее осанке. Ритуальную песнь подхватывают мужские голоса.

Вот Маже Бассан поднимается, и все встают. Приветствуют ее, хлопая в ладоши. Она — любимая дочь Иеманжи, владычицы морей, поэтому в ее честь повторяют здравицу, предназначенную Матери Очарованных: одо́я, Ийя оло ойон оруба́! Да здравствует Мать с влажной грудью!

Она оправляет юбки, улыбается, неспешно идет через зал под возгласы: одо́я, одо́я, Ийя! Склоняется перед Тадеу, поздравляет его. Гремят атабаке, Маже Бассан начинает танец и запекает хвалебную песнь. Славит внука словами кантиги, в такт музыке движутся ее неутомимые ноги.

— Она — Мать, Ийя, извечная, изначальная, первозданная, — только что прибыла из земель Айока, пролетев над бурями, сквозь бешеные ветры и над мертвой зыбью, над гибнущими кораблями и тонущими моряками, избранниками Иеманжи, прибыла, чтобы почтить младшенького сына, внука, правнука, праправнука, потомка, вернувшегося с битвы победителем. Да здравствует Тадеу Каньото, он восторжествовал над угрозами,

преградами, препонами, болезнями, он завоевал диплом доктора, одоюя!

Нестареющая старуха, ласковая и грозная матушка Бассан, как она точна в изящных и замысловатых фигурах танца, как легка и быстра, как молода — юная иаво! Это изначальный танец бытия, в нем — страх, неведомое, опасности, битва, победа, общение с богами. Магический танец, вселяющий бодрость: человек борется против темных сил и побеждает. Вот как танцевала для Тадеу матушка Маже Бассан в «Лавке чудес». Древняя бабушка танцевала для внука — доктора и дипломированного инженера.

Торжественно и просто, величественно и по-родственному нежно остановилась она перед Тадеу и раскрыла объятия, а все вокруг хлопали в ладоши, подняв руки над головой. На необъятную свою грудь приняла она голову юноши, укрыла на груди все его волнение, пыл, сомнения, честолюбие, гордость, горечь, любовь, добро и зло, трепет юношеского сердца, самую судьбу Тадеу: всему хватило места на бескрайней материнской груди — она потому так обширна, что вмещает всю радость и всю боль мира. Старуха, пребывающая в лоне первобытной магии, заключила в объятия юношу, ступившего на корабль познания, завоевавшего себе свободу.

Потом к нему подходили по одному все остальные, танцевали для него, причем мужчина сменял женщину, а женщина мужчину. Лидио Корро, обняв Тадеу, почувствовал, как сердце его заколотилось — «вот так я когда-нибудь и умру от радости». Тетушка Теренсия много лет бесплатно кормила Тадеу завтраками, обедами и ужинами. Дамиан получил диплом в школе жизни раньше него, стал адвокатом и теперь спасает бедняков от тюрьмы и каталажки. Розенда Батиста дос Рейс — «благослови, тетушка, благодаря твоей ворожке, твоим травам и примочкам не трясет меня лихорадка и на пальце у меня — кольцо инженера». Местре Будиан на уроках капоэйры научил его быть скромным и спокойным, презирать наглость и самонадеянность. Малютка Дэ, потупив миндалевидные глаза, обнимает его дрожащими руками, грудь ее трепещет — «что же ты не отведаешь меня, как глоток нектара за праздничным столом, что же не оборвешь лепестки с цветка?». Огромный Мануэл де Прашедес, шкипер парусника, открыл ему, что такое море и корабль. Роза де Ошала, таинственная тетушка:

она и хозяйка в «Лавке чудес», и гостя, заглянувшая туда на минутку, самая главная из тетушек.

И другие подошли: Валделойр отбил на барабанах ритм собственного сочинения, Аусса спел, Манэ Лима оглушительно расхохотался, каждый сделал одно-два танцевальных па и, заключив Тадеу в объятия, разделил радость доктора, который еще вчера был всего лишь дерзким и настырным темнокожим парнем.

Последним подошел Педро Аршанжо, и все снова встали и, приветствуя Ожуобу, захлопали протянутыми к нему руками. Лицо его было загадочным: то расцветет доброй улыбкой, то затуманится раздумьем, в душе сменяют друг друга образы и воспоминания. Доротея в последний вечер, мальчишка, склонившийся над книгой, Ожуоба, глаза и уши Шанго, впитывает тревогу и восторг, написанные на лице Тадеу. Вспоминает белокурые локоны, с трудом сдерживаемое волнение девушки.

У кого ключ к разгадке? Танцюя, Педро Аршанжо заново проживает жизнь и в какое-то мгновение слышит, как по залу разносится крик Иансан. На каждый вопрос есть много неверных ответов, а верный — один. Педро Аршанжо, пусть хоть ненадолго, удерживает Тадеу у своего сердца.

Вот и все как будто, пора молодому доктору, сдерживая слезы признательности, поблагодарить гостей, исполнить танец для богов-ориша, что ему покровительствовали, и для друзей, что подготовили час его торжества, для отцов и братьев, для тетушек и сестер, для всех членов большой семьи.

Тут-то и вышла из темноты, будто сойдя с афиши «Мулен Руж», графиня Агуа-Бруска, бабушка Забела, и ступила в круг, чтобы станцевать для Тадеу. Не ритуальный танец, нет, это не по ее части.

Придерживая юбку, показывая туфельки, чулки и кружево панталон ниже колен, она танцует в «Лавке чудес» парижский канкан, и она молода, эта потерявшая счет годам старушка, она ровесница Дэ, едва достигшей девичества. Оживает плакат Тулуз-Лотрека, Табуан заполняют темнокожие француженки: женщины в кругу пританцовывают, тут же переняв па заморского танца, и движутся в непривычном для них ритме. Стоя, мужчины приветствуют графиню Изабел Терезу движениями вздетых рук, поклонами и возгласами, предназначенными женским божествам-ориша: «Ора Йейево!», ибо по оболь-

стительному изяществу ее движений сразу видно: Забела — дочь Ошуна, соблазнительница.

Так Забела станцевала парижский канкан в «Лавке чудес» в честь внука. Потом расцеловала его в обе щеки.

Вот оно чудо, любовь моя: бабушки, две древние бабушки, танцуют для своего внука, доктора, и у каждой свой танец.

6

— Идут...— объявил Валделойр.

Аусса, Манэ Лима и Будриан принесли потешные огни, горящая сигара мастера капоэйры послужила запалом. В небо взметнулась огненная стрела, рассыпалась мириадом искр над небольшой процессией. Полдюжины мужчин в черных воскресных костюмах об руку с дамами медленно шли вниз по улице, приноравливая шаг к фигуре котильона, которую выделявала графиня Изабел Тереза. Она шла с Тадеу во главе группы: белая бабушка и темный внук.

Взлетали ракеты, шипели шутихи, в небе расцветала радуга, шел серебряный дождь — друзья, собравшиеся под вывеской «Лавки чудес», освещали путь инженеру Тадеу Каньото, только что удостоенному этого звания в актовом зале Политехнической школы. И в этот вечер чудес было светло, как днем.

Опираясь на трость, матушка Маже Бассан выходит навстречу процессии. Ей бросаются на помощь — нет, не надо, она сама.

Еще года два тому назад врачи, осмотрев матушку Бассан, сказали, что пора ей на отдых. Года уже не те, и не годится ей выступать в роли главной жрицы, надо, мол, скипетр и бритву отдать кому помоложе. Гулять — не дальше угла квартала, петь и танцевать — боже упаси, сердце изношено, расширено, не успеет она запеть — песенка ее уж будет спета. Хочет пожить — пусть сидит себе в кресле, болтает о том о сем. Ни в коем случае не горячиться, не уставать, не переутомляться. Она согласилась: хорошо, доктор, неужто я не понимаю, сделала, как велите, о чем тут разговаривать. И тут же за спиной у врачей Маже Бассан взялась за прежнее: бритва, раковины, скипетр, целый ковчег иаво, круговая самба, действия, праздники. Однако воспользовалась запре-

щением врачей, чтоб отказываться от многих приглашений, дальше своего террейро не ходила. Когда она объявила, что пойдет поздравить внука, молоденькие иаво попытались удержать ее: сердце ведь слабое, врачи не велют... Уперлась: пойду — и никаких, спою и станцую, ничего не случится. И вот она тут, его вторая бабушка, идет к нему, опираясь на палку, сама, никто ее не подерживает.

Тадеу предлагает ей руку и в обществе двух бабушек подходит к дверям типографии. С треском рвутся ракеты и хлопушки.

Лишь немногие избранные получили пригласительные билеты и присутствовали на торжественном акте присуждения степени, слушали речи, реагируя каждый по-своему. Педро Аршанжо в новом костюме, ладно сидевшем на его статной фигуре, сиял безмятежной радостью. Лидио Корро кричал «Браво!», когда ораторы (профессор и выпускник) осуждали предрассудки и отсталость. Он не спускал с Тадеу глаз и пребывал в бесконечном умилении, видя среди молодых докторов юношу, выросшего в «Лавке чудес», ученье которого, по сути, было оплачено им. Дамиан де Соуза в элегантном белом костюме — начинающий адвокат без университетского диплома: эх, дали бы ему слово, уж он-то расшевелил бы публику! Мануэл де Прашедес в вечернем костюме, слишком тесном для его огромного тела, тем более что шкипера прямо-таки распирало от восторга. Из женщин — только Забела, явление старомодного щегольства в стиле рококо: парижское платье, перчатки, драгоценности, запах духов, в глазах — лукавство. Профессора, богачи, представители власти подходили к ней, целовали руку:

— Кто-нибудь из ваших родственников получает диплом, графиня?

— Да, вон тот мальчуган, взгляните. Правда, он красивей всех?

— Что? Вон тот... смуглый?.. — в замешательстве переспрашивал собеседник. — Это ваш родственник?

— Да, притом близкий. Он — мой внук. — И графиня смеялась так задорно и весело, что вокруг нее праздник наступил задолго до окончания торжественной церемонии.

Многие ужаснулись, а некоторые вознегодовали, когда Тадеу, направляясь за дипломом, прошел через весь зал об руку с Забелой («У этой негодницы — ни стыда ни

совести!» — прохрипела доня Аугуста дос Мендес Арголо де Араужо, и, поскольку у Тадеу не было ни матери, ни невесты, старая Забела надела ему на палец кольцо с сапфиром, символ профессии.

Педро Аршанжо, по виду невозмутимый несмотря на все возрастающее волнение, проводил Тадеу глазами и увидел, как тот на ходу поднял гвоздику и сунул в петлицу. При этом юноша гордо вскинул голову и торжественно улыбнулся. Случайно выпал цветок из девичьих рук или его бросили нарочно, когда молодой доктор шел мимо? Светлые локоны, большущие глаза, других таких во всей Баие не сыщешь, опаловая кожа, белая до голубизны. Педро Аршанжо с любопытством разглядывает девушку. Поднявшись с кресла, она аплодирует, у нее длинные и тонкие пальцы, на лице смятение, губы сжаты. И вот Тадеу — доктор! Он улыбается, стоя рядом с Забелой, когда декан факультета вручает ему диплом и знаки отличия, а губернатор штата пожимает ему руку. Глазами ищет девушку, бросает ей пламенный взор, потом смотрит на друзей из «Лавки чудес».

«Господи боже! Мой мальчик так еще юн!» Педро Аршанжо, аплодируя, задумывается, радость его уже не безмятежна, к ней примешана тревога. «Во всяком случае, я тебя одобряю, Тадеу, полностью одобряю. Что бы ни было, как бы ни получилось, к чему бы это ни привело, не отступайся. Мы хорошей породы, в нашей смешанной крови хватает перца, нас не запугаешь, мы не откажемся от своих прав, без них пам жизни нет».

Немного погодя на трибуну поднимается куратор, профессор Таркинио, он желает выпускникам успехов в их деятельности и счастья в жизни. Перед ними — Бразилия, ее надо учить, ее надо строить, ее надо освободить от предрассудков и вековой отсталости, от косности и политиканства. Надо залечивать раны во всем мире, потрясенном войной. Эту великую и благородную задачу предстоит решать молодым, инженерам в особенности: мы живем в век машин, индустрии, техники, науки, инженерной мысли.

Молодой инженер Астерио Гомес от имени всех выпускников отвечает на этот благородный призыв.

— Да, на руинах, оставленных войной, мы будем строить новый мир, мы вырвем Бразилию из той многовековой отсталости, в которой она пребывает. Мы построим мир прогресса и свободы, где не останется места болезням, предрассудкам, угнетению и беззаконию. Это

будет Бразилия шоссейных дорог, заводов, машин, это будет пробужденная страна, идущая вперед. Мы построим мир с равными возможностями для всех под эгидой науки и техники. Рабочие далекой и неведомой России уже рвут бастионы самовластья!

В актовом зале Политехнической школы были встречены аплодисментами слово «социализм» и странно звучащее имя Владимир Ильич Ленин, произнесенные выпускником из богатой семьи, сыном крупного фазендейро. Октябрьская революция только что разделила мир и время на прошлое и будущее, но тогда никто еще не осознавал этой перемены, никто не испугался, Ленин был абстрактным и далеким политическим лидером, а социализм — словом, лишенным содержания. Сам оратор понятия не имел о важности события, о котором упомянул.

На мгновение Педро Аршанжо увидел их рядом, Тадеу и девушку, когда она подбежала к сошедшему с трибуны Астерио Гомесу, своему брату, и поцеловала его. Товарищи тоже подошли обнять оратора, выступавшего от их имени. Бок о бок — светлая, прозрачная красота девушки и темная, мужественная стать юноши.

В «Лавке чудес» после ритуального приветственного танца, когда смолкли барабаны, захлопали пробки бутылок. На столе, где раскладывали литеры при верстке страниц, грудями лежала еда, разнообразная и аппетитная: мокека, омлеты с креветками, шиншины, абара, акараже, ватапа и каруру, эфо из листьев. Много заботливых и умелых рук смешивали кокосовый орех с пальмовым маслом дендэ, отмеряли соль, перец, имбирь. С раннего утра на многих террейро их разноплеменные обитатели резали козлят, ягнят, петухов, черепах. Маже Бассан погадала на ракушках, трижды выпало одно и то же: хлопоты, дальняя дорога и сердечная тоска.

В небе лопались ракеты, возвещая: на Ладейра-до-Табуан отныне проживает настоящий доктор в шапочке и мантии, первый мулат, окончивший Политехническую школу. На стене типографии, между картиной, изображавшей чудо, и репродукцией Тулуз-Лотрека, Лидио Корро повесил фотографию выпуска: Тадеу в мантии среди своих однокурсников. Никогда еще не собиралось столько народу в «Лавке чудес».

Встает Дамиан де Соуза с рюмкой кашасы в руке, откашливается, просит тишины, хочет предложить тост. «Минутку!» — останавливает его графиня Изабел Тереза.

Для нее тост за что-либо стоящее на приличном празднике немислим без шампанского, вернее — французского шампанского, единственного напитка, который положено пить за здоровье настоящего друга. К Новому году профессор Силва Виража прислал ей три бутылки из своего погреба, одну из них она сберегла для праздника Тадеу.

Маже Бассан лишь пригубляет благородный напиток, ей известны правила хорошего тона. Лидио и Аршанжо делают то же самое, Забеле так и не удалось приучить их к тонким винам, они верны кашасе и пиву. Блеснув фигурами пламенного красноречия, излившегося бурной рекой, Дамиан де Соуза залпом осушил свой бокал — ну и шибает в нос! В результате почти всю бутылку шампанского выпила сама дарительница. Тадеу и Дамиан обнялись, они вместе выросли, вместе гоняли по переулку и по пляжу, а теперь расстаются, у каждого свой путь.

Педро Аршанжо смотрит на обоих глазами Ожубы, он тоже так думает: пути их различны. Дамиан — открытая душа, с ним все ясно: он не получил степени доктора в институте, его титулы и дипломы вручил ему народ. Как бы ни обошлась с ним судьба, он не переменится, останется тем же — твердо стоящим на ногах, непреклонным. Тадеу начал восхождение по общественной лестнице еще на факультете, выделившись из среды сокурсников. Решил пройти все ступеньки и отвоевать место наверху. «Мне нужно стать кем-то, крестный», — сказал он ему утром того дня: честолюбия ему не занимать. Едва ли он теперь долго пробудет в «Лавке чудес».

Лидио Корро берет флейту, передает Педро Аршанжо гитару, танцоры становятся в круг, начинается самба. Где вы, Кирси и Доротей, Ризолета и Дедэ? Сабина дос Анжос перебралась в Рио-де-Жанейро, к сыну, он у нее моряк. Ивона вышла замуж за шкипера парусника, живет в Муритибе. А здесь — лишь юные певички, которые напрасно пожирают глазами новоиспеченного доктора Тадеу.

Веселье затянулось за полночь, но хозяин праздника, виновник торжества, адресат поздравлений, доктор Тадеу Каньото, инженер по гражданскому строительству, механик, географ, архитектор, астроном, инженер по строительству мостов и каналов, железных и шоссежных дорог, инженер-политехник, — извинился перед гостями и ушел довольно рано. В гостиных «Красного креста»,

клуба местной аристократии, знаменитый и богатый профессор Таркинио дает выпускной бал для новоиспеченных инженеров.

— Мне надо идти, крестный. Бал давно начался.

— Разве уже так поздно? Может, побудешь еще немного? Тут все тебя любят, они ведь ради тебя и пришли.

Не хотел Аршанжо говорить этого, зачем все-таки сказал?

— Мне очень хотелось бы остаться, но...

Забела хлопает веером по руке Аршанжо:

— Отпустите мальчика, старый ворчун.

Эта шустрая старушенция знает, видно, секрет Тадеу. Может, она сродни и этим разжиревшим и зазнавшимся Гомесам?

— Вы, местре Педро, развратник, прелюбодей. Вы ничего не понимаете в любви, вам лишь бы была женщина.— Тут экс-принцесса Реконкаво и экс-королева канкана вздохнула.— Как и я, сколько у меня было мужчин, а знала ли я любовь?

Она помолчала, провожая глазами Тадеу, идущего к двери.

— Его звали Эрнесто Арголо де Араужо, и он приходился мне двоюродным братом, а я была совсем еще глупая девчонка, и я любила его, так любила, что стала причиной его гибели от руки одного бретера, мне, видите ли, вздумалось заставить его ревновать, захотелось проверить, насколько сильна его любовь.

Тадеу исчез в темноте, но еще слышались его шаги, стук каблуков.

— Теперь его не удержишь. И я не стану этого делать, Забела, зачем? Ему придется одолевать ступеньки лестницы, одну за другой, а времени у него мало. Прощай, Тадеу Каньото, мы отпраздновали твои проводы.

7

Судья Сантос Крус, чьи ум и порядочность, а также знание жизни и чувство юмора признавали все, был не на шутку раздосадован, когда к нему в кабинет, где он дожидался установленного часа начала заседания, вошел секретарь суда и сообщил, что защитника *ex officio*¹ не

¹ Официальный (лат.).

будет. Этот законник прислал наспех нацарапанную записку, где приносил свои извинения.

— Заболел... грипп... Скорей всего, сидит пьяный в каком-нибудь кабаке. Это его обычное занятие. Смех один. А этого беднягу сколько раз уж привозили сюда и тут же увозили обратно, даже от камеры не отдохнул...

Секретарь, стоя у стола, ждал распоряжений. Судья спросил:

— Там, в коридоре, есть кто-нибудь из адвокатов?

— Когда я проходил, никого не было. Хотя нет, видел доктора Артура Сампайю, но он шел к выходу.

— Может, студенты?

— Только Костинья, тот самый, с четвертого курса...

— Нет, этот не годится, подсудимому лучше уж остаться вовсе без защитника. Костинья засадит в тюрьму самое Пресвятую деву, коль возьмется ее защищать. Значит, некому взять на себя дело этого несчастного? Еще раз откладывать суд? Это никуда не годится.

Как раз в этот момент в кабинет судьи вошел молодой человек в белом костюме и рубашке со стоячим воротничком — Дамиан де Соуза, личность, известная всем, кто связан с судопроизводством: судьям, адвокатам, секретарям, судебным исполнителям, что-то вроде помощника всех и каждого. Не раз и не два поступал он в Коллегию защитников секретарем, но ненадолго, предпочитал разнообразные мелкие поручения во Дворце правосудия, дававшие ему верный заработок. В коридорах и канцеляриях, на судебных заседаниях, в тюрьмах и полицейских участках этот молодой человек изучил все, что связано с правонарушениями и правонарушителями, судопроизводством и судебными постановлениями, прошениями, кассациями. В свои девятнадцать лет этот юнец сделался незаменимым помощником молодых адвокатов, только что покинувших студенческую скамью, напичканной теорией и беспомощных на практике. Его буквально разрывали на части.

Дамиан вошел улыбаясь и протянул судье бумагу:

— Сеньор доктор Сантос Крус, вы не могли бы дать ход этому прошению доктора Марино?

Судье вспомнился разговор с этим юношей, когда тот был у него на приеме в канун дня святого Иоанна.

— Оставьте мне прошение, потом посмотрю. Скажите-ка, Дамиан, сколько вам лет?

— Девятнадцать исполнилось, сеньор доктор.

— Вы по-прежнему тверды в своем намерении искать звание адвоката без университетского образования?

— Тверд как скала, сеньор. Надеюсь получить его с божьей помощью.

— Как по-вашему, вы готовы к тому, чтобы взойти на трибуну и защищать обвиняемого?

— Готов ли я? При всем уважении к вам, сеньор доктор, позволю себе сказать, что могу сделать это лучше любого студента-юриста, которые только и знают, что отправлять подзащитных на отсидку. Скажу вам больше: я мог бы сделать это лучше многих адвокатов.

— Вы знакомы с делом, которое слушается на сегодняшнем заседании? Хотя бы в общих чертах?

— По правде говоря, с делом я не знаком, о составе преступления слышал краем уха. Но если вы хотите поручить мне защиту, напишите соответствующее постановление, дайте мне полчаса на ознакомление с делом, свидание с подзащитным, и тогда, клянусь вам, я добьюсь его оправдания. Хотите в этом удостовериться — рискните.

Поддавшись искушению, судья повернулся к секретарю:

— Тейшейра, заготовьте, как положено, назначение Дамиана защитником ex officio обвиняемого, за неимением других. Вручите ему дело, чтобы он ознакомился с материалами следствия, и соберите присяжных ровно через час, а я пока что займусь другими делами. Распорядитесь, чтобы мне принесли горячий кофе. Если вы выиграете дело, Дамиан, считайте, что удостоверение недипломированного адвоката у вас в кармане.

Зе да Инасия совершил тяжкое преступление и при первом слушании дела был приговорен к тридцати годам тюремного заключения за преднамеренное убийство. Апелляционный совет не нашел смягчающих вину обстоятельств и не принял во внимание безупречное поведение кассанта до совершения преступления.

Зе да Инасия таскал по улицам чемодан с товарами некоего бродячего торговца сирийского происхождения и получал за труд сущие гроши, на которые едва мог прокормить свою подругу Касулу, с которой жил много лет; по воскресеньям неизменно напивался вдрызг, так что с трудом добирался до дома. В понедельник снова брался за чемодан, шагал за сеу Ибрагимом из дома в дом,

молча, покорно, не возражая и не споря, под палящим солнцем или под дождем.

Как-то в воскресенье познакомился в кабаке с неким Афонсо Матюгальщиком, распили вдвоем бутылку беленькой. Вторую решили распить у Зе да Инасии дома, в обществе Касулы. Матюгальщик, на первый взгляд душа-человек, оказался задирой и хамом, и Зе в какой-то момент просветления понял, что тот кроет его последними словами: сукин сын, получишь в морду, так твою мать. Когда в полиции стали допытываться, из-за чего вышла ссора, Зе ничего не мог ответить. Предмет спора утонул в кашпаше, однако у Зе оказался в руке кухонный нож, сточенный и острый, а его противник замахнулся поленом: «Я тебя припечатаю, дерьмо собачье!» В одну сторону свалился Матюгальщик, убитый на месте ударом ножа, в другую — Зе, оглушенный поленом и выпитой водкой. Когда пришел в себя, был уже убийцей, схваченным на месте преступления, и в полицейском участке его для начала как следует отдубасили.

На первом судебном процессе, состоявшемся после того, как обвиняемый целый год протомился в тюрьме, прокурор говорил о врожденной порочности, ссылаясь на Ломброзо. «Обратите внимание, господа присяжные заседатели, на форму черепа обвиняемого: типичная линия убийцы. Я уже не говорю о темной коже: новейшая теория, разрабатываемая известным профессором судебной медицины нашего достославного факультета доктором Нило Арголо де Араужо, непререкаемым авторитетом, — эта теория исходит из констатации высокого процента преступности у метисов. Здесь, на скамье подсудимых, вы видите еще одно доказательство справедливости этого положения».

Убитого, Афонсо да Консейсана, он описал как бедного труженика, уважаемого соседями, неспособного причинить зло кому бы то ни было. «Афонсо зашел в дом обвиняемого на минутку поболтать о том о сем и пал жертвой этого сидящего перед вами маньяка. Взгляните на его лицо: никакого намека на раскаяние». Прокурор потребовал высшей меры наказания — тридцати лет тюремного заключения.

Нанять адвоката бедняге Зе было не на что. В тюрьме он мастерил из рога гребешки, заколки, выручал за них мелочь, только на сигареты. Касула поступила служанкой к племянницам покойного майора Пестаны, в поместье которого она родилась. Майор был для нее сим-

волом доброты и великодушия: «Пока жив был майор, я беды не знала, он такой был хороший человек!» Видно, и Зе да Инасия был не так уж плох, ведь она не бросила его, ходила по воскресеньям на свидание в тюрьму, подбадривала его, обнадеживала: «Вот будет суд, и ты, бог даст, выйдешь на волю». — «Да, но где взять денег на адвоката?» — «Судья мне сказал, что он сам тебе назначит защитника, так что можешь об этом не беспокоиться».

Защитник ех *ofício*, доктор Алберто Алвес, сидя за столом защиты, в нетерпении грыз ногти. Дела он даже не раскрыл, а все его мысли были о том, что свою жену, кокетливую Одету, он вынужден был оставить в компании Феликса Бордало, этого скота, с которым она явно флиртвала. Сейчас, видно, уже всю целуются, а он ничего не может предпринять, они ему наверняка наставят рога, пока он торчит здесь, в суде, и защищает преступника. Достаточно взглянуть на лицо подзащитного, на форму черепной коробки, чтобы согласиться с прокурором: такой зверь на свободе опасен для общества. Неужто Одета?.. Ясное дело, так оно и есть, не первый раз, вспомнить хотя бы Дилтона. Ее клятвы в верности — все равно что утверждение о невиновности этого избалованного преступника, убийцы, который сидит понурившись: ни она, ни он не в силах совладать с собственной природой. Дерьмовая жизнь!

Защита была совершенно бездоказательна и беспомощна. Доктор Алвес ничего не отрицал, ничего не оспаривал, просил только снисхождения при определении меры наказания. «Он будто помощник обвинителя», — подумал про себя судья, доктор Лобато, вынося приговор — тридцать лет тюремного заключения: присяжные потребовали высшей меры наказания.

— Разве вы не намерены подавать апелляцию? — спросил судья защитника, возмущенный безразличием последнего. — Мне кажется, это ваша обязанность.

— Апелляцию? Да, разумеется. — Если бы не замечание судьи, адвокат об этом и не вспомнил бы. — Я обжалую приговор в Верховном суде.

И вот вторичное слушание дела, трижды откладывавшееся из-за отсутствия официального защитника, началось. За столом защиты — Дамиан де Соуза.

Прокурор был другой. Бакалавр Аугусто Лейвас, подобно доктору Алберто Алвесу на первом процессе, входя на трибуну обвинения, думал о женщине, но не как

ревнивый муж-рогоносец, а как счастливый любовник. Марилия уступила наконец, и прокурор видел весь мир в розовом свете. Темная кожа Зе да Инасии не навела его на мысль о предрасположенности к преступлению, он не стал измерять череп обвиняемого по системе Ломброзо. Обязанность обвинителя он выполнил, но думал в это время совсем о другом — о прелестях Марилии: как хороша она в своем бесстыдстве, когда сидит обнаженная на кровати!

Судья, который совсем не был уверен в способностях назначенного на скорую руку официального защитника, облегченно вздохнул, услышав вялую обвинительную речь, и решил, что срок можно будет сократить до восемнадцати или даже двенадцати лет, а то, чего доброго, и до шести, какой бы слабой ни оказалась защита в лице юного Дамиана.

Однако случилось так, что дебют Дамиана де Соузы на трибуне защиты стал самой крупной сенсацией года, об этом событии еще долго толковали в юридических сферах, на следующий день о нем сообщили газеты. В дальнейшем газетные заметки неизбежно сопровождали выступления Дамиана де Соузы до конца его жизни.

Мануэл де Прашедес шел мимо Дворца правосудия, увидел толпу, спросил, в чем дело, ему сказали, что выступает новый адвокат, совсем молоденький, а на трибуне стóит всех остальных! Мануэл зашел послушать. Дамиан как раз достиг апогея своей речи. Добродушный гигант в конце концов не удержался, заплодировал, крикнул «Браво!» и был выдворен из судилища.

Впрочем, судье не раз пришлось браться за колокольчик, требовать тишины, угрожать, что прикажет очистить вал, но он и сам улыбался. Давно не было такого шумного и бурного заседания.

Что можно сказать о речи Дамиана в защиту Зе да Инасии? В ней смешалось все: любовный роман, греческая трагедия, комикс и Библия; в нужном месте защитник упомянул и одно из постановлений «достопочтенного судьи, корифея права, доктора Сантоса Круса». Содержание речи сводилось к тому, что добрейший Зе да Инасия совершил вынужденное преступление, спасая честь семьи и свою собственную жизнь от посягательств вероломного злодея, Афонсо Матюгальщика. Перед вами на скамье подсудимых — жертва несчастного стечения обстоятельств, любящий супруг, человек трудовой в подлинном смысле этого слова, несший тяжкий крест в виде

чемодана под палящим солнцем, дабы в поте лица своего — и не только лица, господа советники, но всего тела, ибо чемодан турка весит полтонны, — снискать пропитание обожаемой супруге. В один прекрасный день этот честный и благородный гражданин открыл врата своего сердца и своего дома ядовитой змее, Афонсо Матюгальщику, прозвище говорит само за себя, господа присяжные заседатели: у кого скверна на языке, у того она и в душе. Хищная гиена, отъявленный пьяница, этот развратник и насильник задумал украсть у Зе да Инасии любовь жены, запятнав позором его домашний очаг. Чем не греческая трагедия, господа, вы только вообразите себе: возвратившись домой после дня тяжелого труда — он трудился даже в воскресенье, — Зе да Инасия видит сцену, достойную пера Данте: несчастная Касула отбивается от злодея, который, схватив кухонный нож, пытается силой овладеть ею, поскольку эта достойная женщина с гневом отвергла его гнусные притязания. Зе да Инасия бросается на помощь жене. Завязывается борьба, и Зе да Инасия, защищая честь семьи и собственную жизнь, убивает ядовитую змею.

Дамиан разводит руками и вопрошает:

— Господа члены Кассационного совета, вы сами мужья и отцы, люди чести, ответьте мне: кто из вас остался бы безучастным, если бы, придя домой, увидел, что жена бьется в руках злодея? Кто? Я уверен, никто!

Тут он указал на Касулу, сидевшую в зале:

— Вот она, господа присяжные заседатели, главная жертва! У несчастной чувствительная душа, и перед тем как идти на суд, она выпила рюмку-другую кашасы, дабы найти в себе силы выслушать оскорбительные обвинения в адрес своего мужа, ведь первый процесс был для нее сплошным кошмаром. Вот она, господа присяжные заседатели, несчастная святая супруга, утопающая в слезах, она взывает к вашей справедливости. А я прошу свободы моему подзащитному, свободы!

Вот тут Мануэл Прапедес и крикнул «Браво!». Ущемленное самолюбие и боязнь утратить едва завоеванную репутацию заставили прокурора потребовать у секретаря материалы дела и выступить в прениях сторон. Ссылаясь на статьи законов, на юридические труды и материалы следствия, он взялся за обвинение всерьез, не мог же он уступить этому юнцу, который не был даже студентом юридического факультета, посыльному стряпчих, мальчику на побегушках у секретарей, бог знает

кому! Он попытался восстановить истину, опровергнув нелепую версию, но было слишком поздно. Все присяжные уже были во власти Дамиана, аптекарь Филомено Жакоб плакал навзрыд. В зале — море слез, как отметила на другой день газета «Тарде».

Кассационный совет единогласно постановил освободить обвиняемого. Судье Сантосу Крису осталось лишь сформулировать решение суда и выпустить обвиняемого на волю. «Я и сам чуть не расплакался, со мной такого еще не бывало,— сказал достопочтенный судья обескураженному прокурору.— Я выправлю ему аттестат адвоката без университетского образования, и у бедных всегда будет защитник».

Вот как Дамиан получил диплом. Не было ни кольца, ни диплома, ни групповой фотографии, ни портрета, ни мантии, ни шапочки, ни куратора, ни сокурсников — один он, и никого больше. Когда заседание суда было закрыто, многострадальная Касула, которая, как бы там ни было, любила своего мужа и уже не чаяла увидеть его на свободе, подошла к безумному защитнику и поблагодарила:

— Храни вас господь, сеу майор!

Почему «майор»? То было ведомо ей одной, но только с тех пор и остался за ним этот титул — майор Дамиан де Соуза.

8

— Можно войти, крестный?

Услышав знакомый голос, Педро Аршанжо сунул типографские гранки под книги.

— Это ты, Тадеу? Входи.

За окном сыпал дождь, мелкий, бесконечный, нагоняющий тоску.

— Какими судьбами? Случилось что-нибудь?

По окончании института Тадеу сразу же поступил на строительство железной дороги Жагуакуара — Жекие младшим инженером. Скромный оклад, работа в трудных условиях. Юноша, однако, предпочел отправиться в глушь на практическую работу, вместо того чтобы протирать штаны в Техническом управлении и дожидаться теплого местечка в муниципалитете столицы штата. Не для того он учился.

— Мне надо с вами поговорить, крестный.

С кровати доносилось похрапывание Розалии. Аршанжо встал со стула и пошел прикрыть пышную наготу молодой женщины. Она заснула с улыбкой на устах, согретая теплом нежных слов, таких желанных, таких нужных ей. Десять с лишним лет назад, когда ей едва минуло семнадцать, нахальный Роберто, сын полковника Лоуреиро, взял ее за подбородок и сказал: «Красавица, ты уже годишься в постель». После сына был отец. Полковник купил ей платье и дал немного денег. Она поселилась в Алагоиньясе, в пансионе, и пошла по рукам. В Баню приехала с каким-то коммивояжером, Педро Аршанжо встретил ее на Террейро Иисуса, где она покупала апельсины. Только сойдясь с ним, Розалия поняла, что она человек, а не вещь, не подстилка.

— Мне надо поговорить с вами, крестный, — повторил Тадеу. — Я пришел просить вашего совета.

— Пойдем погуляем. — Аршанжо ощутил тяжесть на сердце. Ему вспомнилось гаданье в день выпуска Тадеу: хлопоты, дальняя дорога и сердечная тоска.

Они медленно пошли по переулку в гору, мимо «Лавки чудес», мельком увидели Лидио Корро, занятого набором и наставлением ученика. Тадеу говорил, Аршанжо слушал понурившись. Совет? Какой тут совет, если ты все уже решил и даже заказал билет на пароход?

— Советовать тебе я не стану, да ты не за тем и пришел. Но думаю, ты правильно делаешь. Мне тебя будет не хватать. Очень. Но удерживать тебя я не могу.

Тадеу решил уйти со строительства железной дороги и ехать в Рио-де-Жанейро, где он войдет в группу инженеров, которая под руководством Пауло де Фронтиня занимается реконструкцией столицы страны, ее превращением в современный город. Приглашением туда он был обязан профессору Бернару, который дружен с Фронтиниом. Будучи в Рио, профессор рассказал, что есть у него молодой протеже, который талантлив, прилежен и честолобив и мог бы принести немалую пользу, работая в группе знаменитого инженера. «Присылайте парня, мне нужны молодые и способные работники».

— Для меня это шанс, крестный. В Рио есть где развернуться. А здесь, в конце концов, не пойдешь дальше Управления дорожного строительства. Я же не для того учился, чтобы стать чиновником, торчать за письменным столом ради мизерного жалованья да мечтать о местечке потеплее. Другое дело — юг, там можно сделать настоящую карьеру, тем более если работать с таким

человеком, как Фронтин. Не каждому выдается подобный случай. Профессор Бернар доказал, что он настоящий друг.

— И это все, Тадеу? Тебе не о чем больше рассказать, нечем поделиться? — Местре Аршанжо знал, что главное еще не сказано. Тадеу подбирал нужные слова, нужный тон.

— Говори, сынок.

Педро Аршанжо почти всегда называл Тадеу по имени, порой даже присовокупляя и фамилию: Тадеу Каньото. Не имел обыкновения в разговоре с ним употреблять свои излюбленные словечки: «мой милый», «дружище». Редко, крайне редко говорил ему «сынок».

— Крестный, я люблю сестру моего соученика. Вы его знаете, я как-то его вам представлял, это Астерио, тот, что выступал от имени выпускников, помните? Сейчас он в Соединенных Штатах, поехал на два года стажироваться при каком-то университете. Семья очень богатая.

— Белокурые локоны, прозрачная кожа и большие глаза.

— Вы знаете ее, крестный?

— А как смотрит на вашу любовь эта семья белых богатеев?

— Никто ничего пока не знает: только я да она, теперь еще и вы. То есть...

— Забела...

— Она вам сказала?

— Не беспокойся, ничего не говорила. Она им родственница?

— Нет, не родственница, но они знакомы. Ну, в общем, бабушка моей Лу — ее имя Луиза, но все зовут ее Лу — в молодости была подругой Забелы и иногда заходит к ней вспомнить прошлое. Через нее и Лу знакома с Забелой, навещает ее. Но в семье никто ничего не знает, и я не хочу, чтоб знали, по крайней мере сейчас.

— А почему ты не хочешь? Боишься, что родители не согласятся?

— Из-за того, что я мулат? От ее родичей всего можно ожидать, не знаю, что будет, когда они всё узнают. Пока они со мной хороши. А вот как будет дальше, предсказать не берусь. Мать Лу кичится благородным происхождением, бабушка, подруга Забелы, — еще того пуще. Забавно иногда получается, когда дона Эмилия, мать Лу, обзовет служанку «черномазой свиньей», и тут

же — бестактный взгляд в мою сторону, мол, это к вам не относится. Но я не потому хочу пока держать свои намерения в тайне, вы научили меня гордиться цветом моей кожи. Просто я не хочу идти с пустыми руками в дом богачей просить в жены их дочь. Если мне откажут из-за того, что я мулат, я буду знать, что мне делать. Но если они отвергнут меня под предлогом, что я не в состоянии содержать семью, какие у меня основания протестовать? Никаких, верно ведь?

— Ты прав.

— Уеду в Рио, примусь за работу. Я не тупица и сумею стать хорошим специалистом. Меня берут в группу, составленную из лучших инженеров страны. Думаю, года через два, максимум — через три у меня будет солидное положение. Вот тогда-то я и смогу постучаться в дом Лу, у меня будет что ей предложить. К тому времени и Астерио вернется из Соединенных Штатов, он может оказаться сильным союзником, поддержать в нужный момент. Вы ведь знаете, я часто ходил к нему домой, занимался с ним. Астерио говорит, что без моей помощи не осилил бы курса. Он мне друг.

— Сколько девушке лет?

— Скоро будет восемнадцать. Когда я на первом курсе познакомился с Астерио и он привел меня в их дом, Лу было всего двенадцать лет, подумать только. Мы давно уже полюбили друг друга, но только в прошлом году объяснились и поклялись.

— Поклялись?

— Да, крестный! Настанет день, когда мы поженимся. Непременно! — почти с угрозой вымолвил юноша сквозь зубы.

— Почему ты думаешь, что она станет тебя дожидаться?

— Потому, что она любит меня, а породы она упрямой. Такие люди когда чего захотят — от своего не отступятся. Лу вся в отца, никогда назад не повернет. Знаете, полковник Гомес чем-то напоминает мне вас. Во многом вы совсем разные, но в чем-то схожи. Когда-нибудь я вас с ним познакомлю.

— Чувствуешь ли ты себя готовым к тому, чтобы твердо стоять на своем, что бы ни случилось? Возможно, тебе придется трудно, Тадеу Каньото, да и опасности не миновать.

— Разве я не ваш воспитанник, ваш и дяди Лидио?

— Когда уезжаешь?

— Сегодня же. Пароход отходит вечером, билет я уже взял.

Вечером Педро Аршанжо и Лидио Корро пришли на пристань проводить Тадеу. Юноша заходил попрощаться к Гомесам, и они оставили его обедать. Потом он обещал всех друзей. Маже Бассан подарила ему ожерелье из гладких бусинок и амулет, снятый с фигурки Шанго. Забела, измученная ревматизмом, уже едва могла двигаться, но изъявила желание проводить его на пристань. Тадеу воспротивился: оставайтесь в постели, читайте себе своих поэтов. Забела состроила гримасу: вот как приходится доживать век женщине, у ног которой был весь Париж. В последнюю минуту на пристань пришли Мануэл де Прашедес и Манэ Лима, они только что узнали об отъезде Тадеу. Второй гудок поторопил отъезжающих.

Прощание было торжественным — путь такой дальний, трудный, Рио-де-Жанейро бог знает где. Аршанжо не выдерживает, открывает свой секрет:

— Я не хотел тебе говорить, хотел сделать сюрприз. Книга почти напечатана, скоро выйдет.

По взволнованному лицу юноши разливается радость, такая же, как десять лет назад, в годы ученичества, тени исчезают.

— О, крестный, вот это новость! Пришлите мне сразу же, как выйдет, несколько экземпляров, я их распространю в Рио.

Третий гудок, стюард звонит в колокольчик: провожающие — на берег, отъезжающие — на борт, пароход отходит. Минута объятий и слез, трепещущих платков. Четверо друзей спускаются на причал, стоят группкой среди гигантских кранов. Вдруг они видят, как Тадеу стремительно сбегает по трапу. Грустная девушка с белокурыми локонами пытается разглядеть кого-то на юте, но как это сделать, если большие глаза отуманены слезой, а вокруг столько народу? «Тадеу!» — жалобно зовет она, голос ее тонет в прощальных приветствиях. Он подбегает к ней запыхавшись. Бесконечную и мимолетную секунду они молча смотрят друг на друга, окруженные любопытной толпой, потом он целует ей руку и делает шаг к пароходу. «Тадеу!» — кричит она в тоске и, забыв про окружающих, принимает к нему в поцелуе. Разомкнув ее объятия, Тадеу прыгает на трап — прощай!

Пройдя песчаный бар¹, пароход выпускает белое

¹ Бар — песчаная отмель в устье реки.

облачко пара — прощальный гудок. Трепещет на ветру платок, прощай, любовь моя, не забывай!

Мало-помалу причал пустеет, в тени сгустившихся сумерек — только Аршанжо и Лу.

— Педро Аршанжо? — Девушка протягивает тонкую руку с голубыми прожилками и длинными пальцами. — Я — Лу, невеста Тадеу.

— Невеста? — улыбается Педро Аршанжо.

— Пока это тайна. Он сказал, вы знаете.

— Вы совсем еще девочка.

— Мама каждый день предлагает мне женихов, говорит, мне пора замуж. — Девушка — страстный порыв, неудержимое пламя, смех ее звенит, как ручей в горах, светлый и чистый. — Когда я представляю ей моего жениха, она упадет в обморок, самый глубокий в ее жизни.

Еще шире раскрыв свои большие глаза, девушка смотрит в глаза Педро.

— Не думайте, что я не представляю себе, как трудно нам будет. Кому это знать, как не мне, это моя семья, но все равно вы не бойтесь.

— Я никогда таких вещей не боялся.

— Я хотела сказать: за меня не бойтесь.

Аршанжо, в свою очередь, пристально смотрит ей в глаза:

— Ни за вас, ни за него, ни за обоих вместе. — Тут лицо его расплывается в улыбке. — Не буду бояться, мое золотко.

— Завтра я уезжаю в поместье, можно повидать вас, когда вернусь?

— Когда захотите. Стоит только сказать Забеле...

— Вы и про это знаете? Мне говорили, что вы чародей, колдун, это правда? Тадеу столько говорил о вас, рассказывал прямо чудеса. Прощайте, не сердитесь на меня.

Она потянулась к нему и поцеловала в щеку, на горизонте золотом и бронзой отливала полоска заката. «Тебя ожидает настоящий ад, моя девочка, готовься к этому. Ты вся — сгусток чувств, пылающий костер».

9

Проходя по Ларго-да-Се мимо витрин испанского книжного магазина, что принадлежит дону Леону Эстебану, и книжного магазина «Данте Алигиери», как пышно именует свою лавку Джузеппе Бонфанги, Педро Ар-

шанжо косится краешком глаза на переплеты «Африканские влияния на народные обычаи Баии», выставленные доном Леоном среди бразильских и иностранных новинок. Без малого двести страниц, заглавие — красивыми синими буквами посередине обложки, а выше — имя автора курсивом, имитирующим факсимиле, местре Лидио называет этот шрифт курсивом-экстра. Возникшее тщеславное чувство перебивается потоком нахлынувших воспоминаний, и местре Аршанжо в задумчивости продолжает путь: книга эта стоила ему десяти лет труда и ученья; чтобы написать ее, ему пришлось измениться самому, он теперь уже не тот, что прежде.

Дон Леон позволил себе роскошь выбросить деньги на ветер и купить по себестоимости пять экземпляров книги, два из них выставил на витрине — «Para ellos lo más importante es ver el libro en la vidreria»¹, — один экземпляр послал в Испанию другу, изучавшему антропологию. Так просто, для коллекции, а не ради ее научной ценности, откуда ей взяться, если книгу написал педель, зараженный вирусом научных изысканий. Этот вид помешательства гораздо более распространен, чем кажется на первый взгляд, в городе Баие полно поэтов и философов, у дона Леона богатый опыт общения с такого рода авторами. Они каждый день приходят к нему в магазин, бледные, воинственные, небритые, а под мышкой у них рукописи: сонеты и поэмы, рассказы и романы, философские трактаты о существовании бога и предназначении человека на земле.

Изредка случается, что тот или другой из этих гениев раздобудет денег и изыщет способ издать свое «бессмертное творение» и тогда уж тотчас приносит его дону Леону для продажи. Из носителей бациллы литераторства и жертв вируса наукомании дон Леон предпочитал поэтов, они обычно тихи и мечтательны, а вот философы — те легко возбуждаются, жаждут спасти мир и человечество своими оригинальными неопровержимыми теориями. Аршанжо потерял разум в постоянном общении с учеными мужами и помешался на антропологии и этнологии, но что-то в нем есть и от поэта, к тому же он — один из наиболее симпатичных представителей этой диковинной породы, бедняга достоин лучшей участи.

Дон Леон, будучи человеком знающим, начитанным, деликатным и любезным в обращении, нередко рекомен-

¹ Для них главное — увидеть книгу за стеклом (*исп.*).

довал нужные книги литераторам и студентам. Его стараниями в моду вошли такие авторы, как Бласко Ибаньес, Варгас Вила, аргентинец Инхеньерос, уругваец Хосе Энрике Родо. Инхеньерос и Родо — для профессоров, Варгас Вила — для студентов, среди которых он был особенно популярен, Бласко Ибаньес — для самых благородных семей. Клиентура у дона Леона была разнообразна, отсюда и эклектичность его вкуса.

Судьи, высшие чиновники, профессора различных факультетов, видные журналисты — все сливки местной интеллигенции приходили к нему за книгами и за справками: дон Леон получал каталоги из Аргентины, Соединенных Штатов, из всех европейских стран. Выступал он и посредником в приобретении книг, которых не было в Бразилии, принимая на них заказы. Педро Аршанжо тоже пользовался его услугами, чтобы получить книги из Франции, Англии, Италии, Аргентины. Не раз случалось, что заказанная книга прибывала в момент столь частых для него денежных затруднений, и испанец всегда отдавал ее, не торопя с оплатой: «*Quede con los libros, pague quando le sea más cómodo*»¹. — «Не беспокойтесь, дон Леон, до субботы заплачу». Дон Леон уважал мулата за аккуратность в платежах, опрятность в одежде, чистоплотность, вежливость в обращении — все это выгодно отличало его от большинства доморощенных философов, этих неотесанных мыслителей, шумных, плохо одетых, грязных и назойливых.

«Говорит не повышая голоса и выглядит прилично, а ведь тоже наукоман, тратит деньги, да еще какие, на зарубежные издания, которые неизвестны даже профессорам медицинского факультета», — подумал дон Леон, когда Педро Аршанжо принес ему свою книгу. «*Muy bien, mis felicitaciones*»². В порыве великодушия купил пять экземпляров, два выставил на витрину, но листать злосчастную книжицу не стал, ибо не располагал ни досугом, ни настроением, чтобы читать смеха ради подобных компендиумы бредовых идей.

В противоположность порядку, царившему в испанском книжном магазине — книги расставлены на полках сообразно с предметом и языком, авторы — по алфавиту, в глубине зала стоят плетеные кресла для почетных покупателей, продавец — в крахмальном воротничке и при

¹ Забирайте книги, заплатите, когда сможете (*исп.*).

² Прекрасно, примите мои поздравления (*исп.*).

галстук,— в лавке Бонфанти царил кавардак: груды книг на полу, ими завален прилавок, помещение слишком мало для шумных студентов, живописной литературной богемы, стариков — любителей фривольной литературы. Два нахальных, голодных на вид мулата, отпускающая товар, позволяют себе разные шуточки. За кассой — Бонфанти, одетый в заношенный до лоска синий кашемировый костюм, он продает и покупает, голос у него пронзительный:

— Десять тостанов, если вас устроит.

— Но, сеу Бонфанти, я у вас же купил эту «Геометрию» в прошлый понедельник и заплатил за нее пять мильрейсов,— напоминал студент книготорговцу.

— Вы покупали новую книгу, а продаете подержанную.

— Подержанную? Я ее даже не открыл ни разу, какую взял, такую и принес. Дайте хоть два мильрейса.

— Книга, покинувшая прилавок,— это уже подержанная книга. Десять тостанов и ни винтема¹ больше.

У Аршанжо Бонфанти не приобрел за наличные ни одного экземпляра, так далеко его дружелюбие к автору не простиралось. Он взял на комиссию двадцать книг, и пять из них разложил среди новых поступлений на своей маленькой витрине. Большую он приберегал для старых книг, основного предмета его торговли. Он подружился с Аршанжо на почве кулинарии, обмениваясь с ним рецептами блюд на воскресных обедах в «Лавке чудес» или у себя дома, в Итапажипе, где за столом царил толстая и словоохотливая дона Асунта, мастерица готовить макароны. Как только речь заходила о еде, Бонфанти преображался, становился любезным и щедрым хлебосолом. Еда была его слабостью.

Тщеславное созерцание автором своей новой книги в витринах магазинов длилось недолго: Педро Аршанжо был отвлечен от него праздничной суетой по поводу собственного пятидесятилетнего юбилея, это были непрерывные каруру («Дона Фернанда и сеу Манэ Лима приглашают Вас в воскресенье на каруру в честь сеу Аршанжо»), круговые самбы под стук барабанов, встречи, вечера, пирушки и попойки,— все хотели его чествовать. Местре Аршанжо под всеобщее ликование утопал в море кашасы среди пляшущих женщин. Казалось, он

¹ Винтем — старая португальская и бразильская медная монета.

хотел разом наверстать время, потраченное на учебу, написание книги. Ощувив прилив энергии, он жадно, с азартом окунулся в веселье, не отказывался от приглашений, появлялся там, куда не заглядывал с молодых лет, открывал заново знакомые места, шагал по проторенным когда-то тропкам. Он снова стал свободным и праздным, заразительно хохотал, не отказывался пропустить стаканчик, танцевал в кругу женщин и при этом наблюдал и делал заметки карандашом в маленькой черной книжечке. Старался впитать в себя все поспешно, жадно.

Книга значила для него не только десять с лишним лет серьезного труда и воздержания, ему пришлось заплатить и какими-то верованиями, мнениями, суждениями, правилами, он на многое теперь смотрел иначе, в том числе и на свои поступки, — словом, стал другим, не тем, каким был раньше. Когда он это заметил, он уже был как бы вывернут наизнанку, он переоценил ценности.

— Кум Педро, ты теперь похож на важного господина, — сказал как-то Лидио Корро, встретив Аршанжо, направлявшегося с книгой в руке в сторону медицинского факультета.

— Господина над кем и над чем, мое золотко? Когда это я чем-нибудь владел, дружище, а?

Слова кума, его близнеца, заставили Педро Аршанжо задуматься. Лидио Корро боялся, что он уедет от них. Не в путешествие развлечения ради или чтобы сменить обстановку. Уедет совсем, навсегда. И все они останутся без него. Пожалуй, один Лидио Корро почуял перемену в нем, увидел нового человека, проросшего изнутри прежнего Педро Аршанжо, который был бесшабашен и в чем-то безответствен, который был дерзким, но непоследовательным бунтарем, ибо ему не хватало широты кругозора. Для простого люда Табуана и Пелоуриньо, для пасторила и гафиейры, для ритуального действия, для капоэйры и кандомбле он остался прежним местре Педро, его окружали все те же почет и уважение: с ним никому не сравняться, даже книги пишет, знает побольше любого доктора с дипломом, и он — наш. «Благословите, дядюшка», — просят оганы. «Благословите, отец Ожуба, — слышатся голоса жриц. — Благословите!» Заметила ли Маже Бассан перемену в нем? Если и заметила, никто об этом не узнал, даже сам Аршанжо.

В пятьдесят лет Педро Аршанжо бросился в круговорот жизни очертя голову, словно юноша. Быть может, кроме всего прочего, ему надо было чем-то восполнить отсутствие Тадеу?

Книгой занимался Лидио Корро с полной верой и преданностью: для него книги кума были чем-то вроде новой Библии. Рисовальщик чудес догадывался о важности трудов Аршанжо, потому что познал истинность сказанного в них на своей собственной шкуре — притеснения и борьбу, ложь и правду, зло и добро. Без устали хлопотал он о распространении и продаже книги. Разослал по экземпляру критикам, профессорам, в редакции газет и журналов, в университеты юга и севера, за границу, отправил две партии в Рио-де-Жанейро, чтобы Тадеу распространил их там.

«Диарио да Баия» посвятила выходу книги в свет несколько строк, назвав Педро Аршанжо «уважаемым автором», «Тарде» квалифицировала книгу как «сокровищницу наших обычаев». Лидио пришел в восторг от такой характеристики, показывал заметку всем и каждому. Два-три критика кратко упомянули о книге, похвалив ее в осторожных выражениях. Этих любителей классики, душой пребывающих в Греции и Франции, этих интеллектуальных читателей Анатоля Франса не увлекали «забавные первобытные обряды Баии» и тем более «смелые, но не бесспорные тезисы по расовой проблеме», похвала смешению рас — скользкая тема.

Имели место, однако, и некоторые весьма знаменательные факты. Прежде всего, стали поступать — хотя, надо сказать, крайне редко — сведения из книжных магазинов о продаже одного-двух экземпляров книги, причем не только в Баие, но и в Рио. Некий молодой книготорговец из столицы мало того что заказал по рекомендации Тадеу пять экземпляров за наличный расчет, еще предложил взять на комиссию пятьдесят экземпляров для распределения их по книжным лавкам Рио-де-Жанейро, «если издатель сделает ему скидку в 50 процентов». Лидио Корро, которому польстил титул издателя, послал на радостях в два раза больше — сто экземпляров и предоставил книготорговцу исключительное право продажи книги на всем Юге. Сколько экземпляров было продано, Лидио Корро не знал, поскольку отчет не присылался. Зато молодой книготорговец стал закадычным другом Тадеу, и тот часто упоминал о нем в своих письмах крестному: «Не раз виделся с Карлосом Рибей-

ро, моим другом-книготорговцем, он распространяет вашу книгу очень успешно».

На медицинском факультете книга также не прошла незамеченной. Не говоря уже о студентах — друзьях Аршанжо, которым Лидио Корро вручал экземпляры книги, взимая плату по скользящему тарифу, в зависимости от достатка покупателя, надо же было хоть оправдать бумагу, — книга вызвала споры и в преподавательской. Арминдо, педель кафедры паразитологии, рассказал Аршанжо о горячей перепалке между профессором Арголо и злоязычным Исайасом Луной. Дело чуть не дошло до рукопашной.

Профессор Луна, состроив сочувственную мину, спросил заведующего кафедрой судебной медицины, правда ли то, о чем толкуют студенты на террейро. Студенты толкуют? О чем? Глупости какие-нибудь, вздор, разумеется. У профессора Арголо нет времени заниматься ерундой. О чем же они там болтают?

Да болтают, будто бы педель Аршанжо в своей вышедшей на днях книге доказал, что на террейро для кандомбле племени же-же существует культ змеи, бог-ориха Дань-гби, в просторечии — Дана. А профессор Арголо категорически отрицал в свое время сохранение этого культа в штате Баия: не осталось, мол, даже следа. И вот, представьте себе, этот темнокожий Аршанжо, проявив полное неуважение к авторитетам, взял да и описал этого несуществующего ориша, Змею, Змёя, Дань-гби, его алтарь, его место среди других божеств, одежды и знаки, назвал день праздника, когда целый сонм жриц танцует на Террейро Бонго в его честь. А взять вопрос о кукумб́и? Студенты говорят, он освещался еще в первой книге этого самого мулата, и тот еще тогда оспаривал мнение Арголо, а теперь поставил точку в этом споре, приведя столько фактов, что...

Нет, в расовую проблему Исайас Луна, белый баиянец, предпочитает не углубляться, лезть в пекло не станет, он не сошел с ума, но говорят, сеу Арголо, этот педель ссылается в своих рассуждениях на самые высокие авторитеты, проявляет такую эрудицию...

Профессор Нило Арголо побагровел и, хотя ратовал за старомодный высокий стиль, в бешенстве выпалил на ужасающем жаргоне: «Вы звонарь, пустобрех и к тому же бабник!» Он намекал на всем известную слабость Исайаса Луны к негритянкам — «они горячие и ласковые, они просто бесподобны, сеу Арголо!».

Скептически настроенный дон Леон в скором времени дважды был озадачен. В первый раз это случилось сразу же после того, как он выставил в витрине книгу педеля, страдающего манией величия. Один из наиболее именитых его клиентов, доктор Силва Виража, идя домой, заглянул, по обыкновению, в магазин справиться, «нет ли у любезного дона Леона чего-нибудь новенького». Увидев на полке «Влияния...», взял томик в руки и сказал:

— Вот книга, дон Леон, которой суждено стать классическим трудом по антропологии. Когда-нибудь на нее будут ссылаться, цитировать все корифеи в этой области, она получит всемирную известность.

— De qué libro habla usted, Maestro? ¹

— Об этой самой, о книге Педро Аршанжо, педеля моей кафедры, большого ученого.

— Ученого? Usted bromea? ²

— А вы послушайте, дон Леон.

Профессор раскрыл книгу и прочел: «Сформируется смешанная культура, такая полнокровная и близкая каждому бразильцу, что она станет неотъемлемой частью национального самосознания, и даже дети иммигрантов, бразильцы в первом колене, вырастут носителями афробразильской культуры».

Недели четыре спустя дон Леон получил письмо от своего соотечественника, занимавшегося антропологией. Тот благодарил за присылку книги Педро Аршанжо: «Этот великолепный труд открывает новые горизонты исследователям, разрабатывает захватывающе интересные темы фактически на пустом месте. Какой, должно быть, чудесный город эта Баия, я ощущал ее колорит и аромат на каждой странице». Просил прислать опубликованную ранее книгу того же автора, на которую имелась ссылка во «Влияниях...». О том, что одна книга уже была издана, дон Леон и не подозревал.

Будучи человеком честным, книготорговец всполошился и пошел разыскивать Педро Аршанжо. На факультете его уже не было, рабочий день кончился. Дон Леон продолжил поиски на Пелоуриньо, долго плутал по улочкам и проулкам квартала. Стал спрашивать, и повсюду ощущал незримое присутствие мулата в роли пас-тыря, патриарха. Вот тебе и бедняга, помешанный на

¹ О какой книге вы говорите, мэтр? (исп.)

² Вы шутите (исп.).

философии, подумать только, так ошибиться в человеке! Зажглись фонари, и дон Леон понял, что в первый раз опоздал на трамвай, отправлявшийся в 18.10 на Баррис, где книготорговец проживал.

Когда он нашел наконец дом Ауссы в лабиринте грязных улочек, куда прежде не отваживался заходить, наступил вечер и вышла луна над домом, где куруру¹ было в разгаре, сильно пахло кашасой, пивом и оливковым маслом. Дон Леон помедлил на пороге, оглядывая комнату, и увидел своего коллегу Бонфанти: тот усердно жевал, и усы его пожелтели от дендэ². Местре Педро Аршанжо, сидевший между Розалией и Розой де Ошала, брал пищу руками, — что может быть лучше! — лицо его сияло благодушием и безмятежностью.

— Добро пожаловать, дон Леон. Садитесь за стол.

Аусса подал кружку пива, красивая мулатка принесла на блюде каруру и мокеку из крабов.

10

Педро Аршанжо в нарядном костюме, сшитом два года тому назад, когда Тадеу окончил институт, ждал ее у входа в собор, сдерживая волнение: за эти несколько минут в памяти его промелькнули мысли и образы целой жизни. Наконец она появилась на площади и пошла к собору, провожаемая взглядами, восклицаниями, говорящими о пробужденной чувственности. «Почти двадцать лет прошло, точнее, семнадцать, — думает Педро Аршанжо, — и с каждым годом красота Розы де Ошала зрела, обретала новые черты. Когда-то — непостижимая тайна, неодолимый соблазн, властный зов. Теперь — просто Женщина, Роза де Ошала, эпитеты не нужны».

Она не надела свой обычный наряд баиянки — белую блузу и несколько пышных белых юбок одна на другую, одеяние жрицы. Когда, перейдя площадь, Роза подошла к Педро Аршанжо и взяла его под руку, она выглядела как знатная дама: платье, сшитое у лучшей портнихи, драгоценности, золотые и серебряные подвески, врожденное благородство осанки, словно у принцессы. Она оделась так, будто хотела занять место, принадлежавшее ей по праву рядом с отцом невесты, слева от священника.

¹ Куруру — круговой танец с песнями.

² Дендэ — масло пальмы дендэ, употребляемое в пищу.

— Ты давно ждешь? Миминья только сейчас управилась, я из дома ее теток, она вот-вот придет. Ох, Педро, как хороша моя дочка!

Они вошли в церковь, где еще царил полумрак, горели, мерцая, лишь две свечи. Вечерние сумерки окутывали цветы, в которых утопал алтарь: лилии, хризантемы, георгины, пальмовые ветви. От двери к алтарю вела красная ковровая дорожка, по ней пройдет об руку с отцом невеста в платье со шлейфом, в венке и под фатой, с трепетной радостью в сердце.

Идя сквозь тишину и полумрак, Роза жалуется:

— Мне-то больше по душе церковь в Бонфине, только я и рта не раскрыла, чтоб сказать об этом, не мне распоряжаться на этой свадьбе. Промолчала, лишь бы дочери было хорошо.

Пока Роза, преклонив колени, читает «Отче наш», Педро Аршанжо идет поискать Анисио — ризничего, с которым знаком уже много лет, встречались на Террейро Иисуса. Не то чтобы человек этот был его другом по куруру и самбе, как, например, Жонас из негритянской церкви Пречистой девы, но все же, когда неделю назад Педро обратился к Анисио за помощью, тот без колебаний согласился, выказав понимание и сочувствие:

— Подумать только, что за люди! Как еще она на это пошла!

Ризничий повел их к лестнице за алтарем, по которой они поднялись на хоры, и там усадил на скамью в укромном уголке, откуда можно было видеть все, что делается в церкви, не будучи замеченным. Прежде чем оставить их и пойти зажигать свечи, ризничий, светлый мулат, не удержался и заметил, слегка гнусая:

— Что мать уступила, это еще можно понять, но дочь-то как могла?

На лице Розы появилась торжествующая улыбка:

— Тут вы не угадали: мне пришлось самой ее долго уговаривать. Она-то хотела, чтоб я все время была с ней рядом, грозилась даже, что иначе не пойдет к венцу.

— Отчего же тогда вы прячетесь?

— Я одно вам скажу: отсюда, из этой тараканьей щели, я благодаря вам все-таки увижу, как будет венчаться моя дочь. Она же войдет в церковь под руку с отцом как его настоящая дочь и наследница, такая же законная, как и две другие, которых родила ему жена. Кто скажет, что за это заплачено слишком дорогой ценой, если я, мать, считаю, что оно того стоит?

— В семейных делах каждый сам себе хозяин, сеньора. Вы уж меня простите.

— Да что там, я вам очень благодарна, ведь это вы устроили, что я здесь.

Ризничий ушел. Роза прижала к губам кружевной батистовый платок, сдерживая рыдания. Педро Аршанжо стиснул зубы и смотрел прямо перед собой. Меж алтарями и фигурами святых густели тени.

— Ты, я вижу, тоже меня не понимаешь, — сказала Роза, когда вновь овладела собой. — Ты же знаешь, что мне давно пришлось сделать выбор. Он тогда сказал: «Миминья — моя любимая дочь, и я хочу, чтоб она была моей наследницей, как и две другие. Я уже сказал об этом всем моим домашним, и Марии-Амелии тоже...» Это жену его так зовут... «Я уже уладил все у нотариуса, есть только одно условие...» Я не стала спрашивать, какое условие, а спросила только, что на это сказала его жена. Он не стал мяться, ответил сразу: «Она сказала, что против Миминьи она ничего не имеет, чем виновато бедное дитя, но вот тебя она разорвала бы на части». Я посмеялась над злостью этой женщины, а он тут меня огорошил: «А условие, чтобы мы удочерили Миминью, такое: она будет жить у моих сестер, а не у тебя». — «Как, и я больше не увижу свою дочь?» — «Будешь видеться с ней, сколько захочешь, только жить она будет у них, а к тебе навещаться. Ну как, согласна, или ты не хочешь добра своей дочери?» Вот тогда мы и заключили договор, правда, на словах, но он свое слово сдержал, зачем же мне теперь его нарушать. Из того, что я негритянка, не значит, что я бесчестная и не держу слова. Понимаешь теперь, в чем дело? Я это сделала, чтоб Миминье было хорошо, только ради ее счастья. Нет, ты не понимаешь. Ты думаешь, мне надо было скандал устроить, разве не так?

Внизу ризничий зажег уже все свечи, в церковный зал, засиявший великолепием огней и цветов, входили первые гости. Педро Аршанжо сказал только:

— Как это ты можешь знать, о чем я думаю?

— Про тебя, Педро, я знаю все, знаю больше, чем даже про себя... Для кого я танцевала всю жизнь? Ну-ка скажи! Только для двоих: для отца моего Опала и для тебя, который меня не захотел.

— Ты забываешь об отце Миминьи и о куме Лидио...

— Ну зачем ты так говоришь? Что я тебе сделала? Жеронимо избавил меня от той жизни, какую я вела:

Когда он предложил мне уехать с ним, я из рук в руки переходила — катилась все ниже и ниже... Он дал мне кров и пищу, одел и приласкал. Он был добрый со мной, Педро. Все его боятся, особенно женщины, его жена тоже. Но со мной он поступал всегда честь по чести: взял с панели, обеспечил, ни разу не поднял на меня руку. Удочерил Мимињу, заявил открыто: «Она — моя дочь, такая же, как и те две».

— Только нет у нее матери...— Голос Педро Аршанжо донесся откуда-то из убегающей тени, огонь лампад гнал ее прочь.

— А на что ей такая мать, как я: на что ей родня, которой надо стыдиться, бывшая потаскуха, негритьянка, каких полно на самбе, мастерица отплясывать батуке? Когда он забрал Мимињу, я ему сказала: святого своего не брошу, когда я должна служить ему, ты на меня не рассчитывай. Разве не была я всю жизнь такой, скажи, не была?

— Была. Такой ты была на кандомбле и в «Лавке», с кумом Лидио.

— Вот то-то и оно. Он забрал мою дочку, поселил ее у своих незамужних сестер, ко мне отпускал раз в неделю. Так было лучше для Мимињи, и я на это согласилась, только на душе у меня кошки скребли: я ему разве что в постели хороша, а дочь воспитывать не го-жусь. Когда девочку увели, я будто ума лишилась, Педро, в глазах потемнело и мысли спутались. Назло всем пошла на улицу, утешения искала. Встретила Лидио...

Голос ее, тихий и надтреснутый, не разносится по церкви — он возникает и затухает в темной нише, едва достигая ушей Аршанжо.

— О, Лидио — лучший человек из всех, кого я знаю! Рядом с ним ты — нахальный бандит, Педро. Но все-таки в одном я ошиблась: в тот вечер мне надо было по-встречать не Лидио, а тебя. Для кого я плясала всю жизнь? Клянусь, только для Опала и для тебя, мой Педро. Это правда, ты знаешь, и если танцами все и кончилось, то потому только, что ты так захотел.

— Если б кто другой, а то Лидио... Ты сама сказала и причину.

Подходили новые гости, и церковь понемногу заполнялась. Женщины в изысканнейших нарядах по случаю свадьбы, самой пышной в сезоне, рассаживались по скамьям, шелестя шелком. Слышался тихий смех. Мужчины вполголоса беседовали, собравшись в глубине нефа.

Избранные гости — свидетели, родственники новобрачных, представители власти — занимали места в двух первых от главного алтаря рядах кресел, где обычно заседал капитул. Роза узнавала то одного, то другого и обращала на них внимание Педро:

— Гляди, вон родители Алтамиро! Теперь они — моя родня, у меня куча богатых белых родственников, — засмеялась Роза, но смех ее звучал печально.

Мать жениха — полная, неторопливая женщина с добродушным выражением лица. Отец — полковник, владелец какаоовых плантаций, худой, нервный и светловолосый, ему не хватало только коня и плетки. Он шел, высоко поднимая голову, губы под пшеничными усами сложились в высокомерную улыбку, ни дать ни взять — иностранец.

— Гринго? — спросил Аршанжо.

— Он-то нет, отец его был вроде бы француз, фамилия у него Лавинь. Человек он что надо, Педро. Хоть и глядит иностранцем да к тому же богатея, каких мало, а пришел ко мне с визитом и жену привел. «Дона Роза, говорит, ваша дочь будет женой моего сына, невесткой мне. Мой дом к вашим услугам, мы с вами — родня». По его праву, я была бы там, у алтаря. Да и сын его такой же.

— Жених?

— Да, Алтамиро. Они хорошие люди, Педро. Но если б я навязалась, родственники отца Мимины не пришли бы, а тетки заменяли ей отца и мать. Разве плохо я сделала, что не пошла на скандал? Я же и отсюда все увижу.

Церковь заполнялась оживленным гулом голосов, праздничным волнением. Педро Аршанжо узнал профессора Нило Арголо под руку с доной Аугустой. Улыбнулся, единственный раз за все время церемонии. Роза крепче сжала его руку:

— Вот и тетушки. Они пришли, значит, и Миминыя уже здесь.

Две седые старушки чопорно уселись в кресла у алтаря, против родителей жениха. Появился народ и на хорах, кто-то попробовал орган.

— Вон Алтамиро с посаженной матерью, женой сенатора.

Молодой человек понравился Педро: он вышел в отца цветом волос и кожи, а выражением лица, немного наивным, напоминал мать. В церкви собралось все высшее общество Салвадора, приехали гости из Ильеуса и Ита-

буны, Лавинь собирал тысячи арроб какао, а сын его, будто ему не хватало средств, занимался еще адвокатской практикой. Отец невесты выращивал и экспортировал табак, был вспыльчив, благороден, горяч, решителен, наживал, терял, снова обретал целые состояния. А его мать, шептались женщины, — негритянка, вся в золоте и драгоценностях, его подруга, колдунья, приворожила его двадцать лет тому назад, разве устоишь против волшбы! Говорят, хоть он отъявленный бабник, по-настоящему любил за всю свою жизнь одну-единственную женщину, эту самую негритянку, мать невесты. Девушка чудо как хороша, загляденье...

Орган гремит торжественной мелодией, шум в пефе усиливается, хор запекает свадебный марш. Роза де Опала сжимает руку Педро Аршанжо, грудь ее вздымается, на глазах выступают слезы. Об руку с отцом на красный ковер ступает Миминья, вся в белоснежной пене кружев, дочь самой красивой в Бае негритянки и последнего неистового властителя Реконкаво. Отец уже дважды прошел по этой самой ковровой дорожке среди огней и цветов, под звуки органа ведя к алтарю двух других дочерей. Тех он тоже любил, потому что они были кровь от крови его. Но в этой он видел не только родную кровь и плоть, в ней воплотилась, обрела зримые черты его любовь.

Не счесть женщин, принадлежавших доктору Жеронимо де Алкантаре Пашеко; были среди них и содержанки, и похищенные девственницы, и чужие жены. Женился он на девушке из благородной семьи. Но любил он только негритянку Розу. Даже когда их уже не связывало ничего, кроме дочери, и Роза, раненная насмерть разлукой с нею, уже не была на его содержании, он то и дело прибегал к ней под вечер как безумный, не помня себя, искал ее незабвенного тела и, чтобы получить его готов был на все, даже на убийство, если бы кто-то стал на его пути. Роза никогда ему не отказывала и до конца его дней признавала за ним это право.

Она закусывает платок, рвет его зубами, лишь бы не зарыдать в голос, прячет лицо на груди Педро Аршанжо: «Ах, девочка моя!» Священник читает молитву, потом с пылом провозносит проповедь, говорит о таланте жениха, о красоте невесты, о высокой чести семейств, соединяющихся ныне священными, неразрывными узами брака. И для Розы Опала наступает момент последнего выбора.

Мало-помалу церковь пустеет, ушла Миминья с мужем, ушли ее тетки, родители новобрачного, посаженные отцы и матери, гости, гордый Алкантара. Ризничий гасит огни: сначала свечи, потом лампы. Тепи густеют, вот уже лишь две свечки вырывают из ночи одинокие фигуры святых.

— Лидио сказал тебе?

— Что?

— Я не приду больше в «Лавку» ни на ночь, ни на минуту. С этим покончено, Педро. Навсегда.

Он догадывается о причине, но все же спрашивает:

— Почему?

— Я теперь мать замужней женщины, супруги доктора Алтамиро, я родственница Лавиней. Хочу иметь право видеть мою дочь, бывать в ее доме, встречаться там с людьми. Я хочу нянчить своих внуков, Педро.— В тишине голос ее звучит твердо, решительно: — Я позволила разлучить себя с дочерью, когда она была еще маленькая. Осталась одна на свете и была вольна жить той жизнью, какой хотела. Теперь этому конец, нет больше Розы де Ошала.

Она взяла руку Педро Аршанжо и задержала ее в своих ладонях.

— А как же твой бог Ошала?

— Его я перевезла к себе домой, Маже Бассан разрешила. Она сама встала с постели и сделала все, что надо.— Роза взглянула на Педро, который сидел понурив голову и глядел в темноту.— Ты так меня и не захотел, хоть я все время тебе себя предлагала. Теперь уже поздно.

На лестнице слышатся шаги, это ризничий идет за ними. Они обнимаются, один-единственный поцелуй, первый и последний. Поздно теперь, местре Педро, поздно, ничего уж не поделаешь. Роза де Ошала растаяла в полумраке церкви. Как пришла, так и ушла. Целая жизнь — одно мгновение.

11

Когда наконец пришел Педро Аршанжо, оганы и иаво в слезах выбежали ему навстречу:

— Скорей, скорей, она все вас зовет, только и спрашивает: «Где Ожуоба? Пришел Ожуоба?»

Заслышав шаги, Маже Бассан открывает глаза:

— Это ты, сын мой?

Рука, иссохшая и дрожащая, как осенний лист, слабым движением указывает на стул. Педро Аршанжо садится, берет эту руку, целует ее. Старуха, собрав последние силы, начинает говорить. Голос ее еле слышен, она путает слова, сбивается на язык йорубá, это ее последнее наставление, прощальный завет.

«Умбре опише фон ипакто то Иженан, был праздник на Террейро Иженана. Большой был праздник, праздник Огуна, и много-много людей пришли посмотреть, как Огун будет танцевать. Огун Айяка танцевал как мог лучше, чтоб порадовать свой народ, который устал от страданий. В самый разгар танца к нему подошел сарапебе-гонца и сказал, что видел солдат с ружьями и саблями, они хотят разогнать народ, который пришел на праздник, а террейро сровнять с землей. Они скачут на лошадях, чтобы скорей добраться сюда и всех побить. Огун выслушал гонца,— это Ошосси его предупредил,— пошел в заросли, что были неподалеку, и свистом позвал двух змей, одну другой длиннее и опаснее. Принес и положил обеих на середину зала, там они свернулись, подняли головы и глядели на дверь, высывая ядовитые жала. Потом он продолжал свой танец возле двери, ожидая солдат. Те скоро прискакали, слезли с лошадей и с ходу взяли за сабли и ружья, чтоб устроить побоище. Тогда Огун с порога им и говорит: «Коли пришли с миром, войдите на террейро, потанцуйте на моем празднике. Для друзей сердце мое — мед, а враги пусть остерегутся, для них оно — смертельный яд». И он показал двух змей, а те так и брызгали ядом, свернувшись в кольцо. Солдаты испугались, но приказ есть приказ, а военный или полицейский приказ — самый строгий и грозный, послушаться его нельзя. Солдаты пошли на Огуна с ружьями. Огун капé дан межí, дан пелú онибан. Огун позвал змей, и змеи поднялись против солдат. Огун сказал: кто хочет ссоры, тому будет ссора, кто хочет войны, получит войну, змеи будут кусать, убивать ядом, не оставят в живых ни одного солдата. Змеи высунули ядовитые жала, солдаты с воплями вскочили на лошадей и пустились наутек, скоро их и след простыл, потому что Огун, не переставая танцевать, позвал двух змей, Огун капé дан межí, дан пелú онибан».

Педро Аршанжо повторил: «Огун капé дан межí, дан пелú онибан». Старинное заклятье, страшная угроза, накликающая все беды на свете, ворожба, злое колдовство,

последний дар богини Ийи. Комиссар городской полиции Педрито Толстяк дал полную свободу банде карателей: врываться на террейро во время праздника, разрушать алтари-пежй, избивать старших и младших жрецов и жриц, хватать и бросать в тюрьму всякого, кто участвует в кандомбле. Я, мол, очищу Баию от этой мерзости. Он отдал строгий приказ полицейским, организовал в помощь им настоящих бандитов — вышел на священную войну.

Маже Бассан, ласковая и грозная, осторожная и мудрая, закрыла глаза. Вдали послышался крик Иансан, которая вела огунов, на террейро вошел в танце Шапго, Педро Аршанжо ощутил боль в груди и сказал:

— Наша Мать умерла.

12

Еще с порога Педрито увидел страх на лицах агентов, четырех молодцов из его знаменитого «бандитского эскорта», о котором оппозиционные газеты писали так: «Эта банда убийц, возведенных в ранг агентов полиции нынешним руководством штата, грозитя разгромить нашу редакцию».

Педро Толстяк, грозный и ненавистный всем комиссар полиции, бакалавр права, носил тройку из английского твида, панаму, закалывал галстук булавкой с жемчужиной, курил из длинного мундштука, красил ногти и всегда был выбрит до синевы — прямо-таки денди, чуточку полноватый и не такой уж молодой, но все еще легкомысленный и взбалмошный. Он выбросил окурок сигареты, продул мундштук: струсили, негодяи!

Посреди комнаты стоял Энеас Голубь, король лотереи и хозяин города, перекинувшийся в оппозицию и вваливший в немилость; сжимая револьвер, он твердил:

— Кто сделает еще один шаг, уложу на месте!

Агенты переглянулись: Кандиньо Фингал, Самуэл Коралловая Змея, Закариас да Гомейя и Мирандолино, костолом из Ленсоиса. Длинный список кровавых дел и легенд о храбрости Энеаса Голубя, меткого стрелка, щедрого поставщика клиентов для похоронного бюро, держал полицейских агентов на почтительном расстоянии.

— Паршивые трусы! — сказал Педрито и пошел вперед, вооруженный лишь камышовой тростью, тонкой и гибкой. Голубь, подняв револьвер, предупредил:

— Не подходите, доктор Педрито, а то получите пулю!

Трость свистнула в воздухе, подобно хлысту, на щеке лотерейщика появилась красная полоса, еще удар — брызнула кровь. Слепленный жгучей болью, Голубь в отчаянии пальнул наугад, комиссар оказался проворнее. И ростом он не высок, и полноват, а вот справился с головорезом. При виде крови агенты пришли в себя, снова стали бесстрашными воителями и накинулись на Голубя.

— В тюрьму его! — распорядился Педрито.

Самуэл Коралловая Змея направился к письменному столу, где лежали лотерейные билеты и деньги. Трое остальных повели лотерейщика, подбадривая его тычками и пинками. Комиссар презрительно бросил:

— Заячьи души, трусливые бабы, в штаны наклали, тьфу!

Педрито Толстяк вышел на улицу, толпа любопытных расступилась, пропуская его. Он подмигнул официантке из кафе на другой стороне улицы, сел в машину и рывком взял с места — в Бае равных ему за рулем, говорят, не было.

В кулуарах Управления полиции, где к четырем героям облавы присоединились столь же благородные собратья по профессии — Феррейра Блажной, Мамин Сосунок, Иносенсио Семь Смертей, Рикардо Огарок и Зе Широкая Душа, — обсуждался арест Голубя и конец его царствования. Во дворце идет с молотка вакантный трон. Кто даст больше?

Четырем молодцам не по себе: доктор Педрито сказал ясно, а он словами не бросается. Одной только тростью низверг с пьедестала легендарного Энеаса Голубя, не побоялся ни его револьвера, ни меткого глаза, ни славы душегуба, а молодцы в это время стояли столбом.

— Мокрые курицы! — Зе Широкая Душа в сердцах сплюнул и встал, чтобы пойти выполнить задание, переданное ему полицейским, надо было сопровождать во дворец доктора Педрито и губернатора.

Герои смолчали, ни один даже головы не поднял: лучше уж Энеас Голубь с револьвером, чем Зе Широкая Душа без всякого оружия. Зе не обсуждал приказы начальника, исполнял их без колебаний. Не нашлось еще никого, кто бы револьвером и угрозами помешал бы ему выполнить приказание Педрито. Бить, убивать стало для него делом простым, привычным. И умереть — когда

придет его час. Зе, негру ростом под потолок, доверепному лицу Педрито, неведомо было, что такое страх или хотя бы тень страха.

Четыре соратника подавлены стыдом, им не дает покой отзвон начальника, а еще их обругал свой же товарищ, и они вопрошают друг друга, что теперь делать, как вернуть расположение шефа. С Педрито Толстяком шутки плохи, ведь стоит ему потерять доверие к подчиненному — суд будет скорым и окончательным: гроб с крышкой и полтора метра земли, с бандитом можно не церемониться. Разве мало народу он уже отправил к праотцам? Жусто де Сеабру, Изалтино, Криспина да Бойю, Фулженсио Поножовщика и многих других, не таких известных. А ведь и они прежде делали в городе что хотели, во имя закона и вопреки закону, не платили за выпивку, отбирали деньги у испанцев, избивали и хватали кого надо и кого не надо, а потом вдруг сами оказались распростертыми на каменном полу покойничкой, «погибли при исполнении служебных обязанностей», как сообщалось в бюллетене Управления полиции в правительственных газетах. Чем-то не угодили они всемогущему заместителю начальника полиции.

Надо было незамедлительно показать служебное рвение, как-то восстановить свой авторитет, покачнувшийся под дулом револьвера. Хорошо бы что-нибудь эдакое... Но что?

— Давайте разгоним одно-другое кандомбле, — предложил Кандиньо Фингал.

— И верно. Доктору Педрито это будет по душе, — поддержал его Мирандолино.

— Сегодня праздник Шанго, на многих террейро будут сборища.

Сведения были вполне надежными, они исходили от Закариаса да Гомейи, который знал толк в таких делах. Этот субъект приписывал колдовству на макумбе обезобразившую его лицо болезнь, которую на самом деле он подцепил у какой-то шлюхи. Так что помимо идейных и высокопаучных обоснований комиссара полиции у Закариаса да Гомейи были, как мы видим, и свои личные причины вести беспощадную войну против кандомбле.

В кабинете Педрито Толстяка, на этажерке, теснились книги и брошюры. Некоторые из них сохранились со времен студенчества, другие он прочел уже после окончания университета, делая отметки красным карандашом. Были там и совсем недавние публикации. «Три школы

криминалистики: классическая, антропологическая и критическая» Антонио Мониза Содре де Арагона, приверженца итальянской антропологической школы; Мануэл Калмон ду Пин-и-Алмейда — «Дегенераты и преступники»; Жоан Батиста де Са Оливейра — «Сравнение краниометрических данных представителей различных рас, проживающих в Баие, с точки зрения эволюции и судебной медицины»; Аурелино Леал — «Семена преступления». Из этих книг, а также из работ Пины Родригеса и Оскара Фрейры студент Педрито Толстяк в часы, свободные от изучения домов терпимости, узнал, что негры и мулаты обладают врожденной склонностью к преступлениям, которая усугубляется такими дикарскими играми, как кандомбле, круговая самба, капоэйра, это школа усовершенствования для тех, кто рожден вором, жуликом, убийцей. Комиссар Педрито, белый баианец с белокуро-рыжеватыми волосами, считал подобные ритуалы оскорблением порядочных семейств, вызовом романской культуре и расе, принадлежностью к которым так кичились интеллигенты, политические деятели, коммерсанты, фазендейро, — словом, все избранное общество.

Из новых работ у Педрито были брошюры профессоров Нило Арголо и Освалдо Фонтеса: «Преступность среди негров», «Метисация, дегенерация и преступность», «Психическая и умственная дегенерация метисов в тропических странах», «Расовая принадлежность и уголовные преступления в Бразилии», «Метисы — патологическая антропология». Когда какие-нибудь демагоги, заискивающие перед чернью, плебсом, быдлом, принимались рассуждать о подавлении народных традиций и грубом насилии, к которому прибегает полиция в борьбе с атабаке, ганзами, беримбау, агого и кашиши, с танцами жриц, впадающих в транс, с капоэйрой, — помощник начальника полиции Педрито Толстяк блистал антропологической и юридической ученостью, взятой с полки в готовом виде: «Не я, а светила науки говорят об опасности, которую несут обществу дикие обряды негритни: не я, а сама наука объявляет им войну». К этому он добавлял, скромно потупившись: «Я же всего-навсего пытаюсь пресечь зло на корню, не дать этой заразе расползтись. Как только мы покончим со всем этим свинством, уровень преступности в Салвадоре резко упадет, и лишь тогда мы сможем сказать, что живем в цивилизованном городе».

¹⁵ Если оппозиционные газеты обвиняли комиссара по-

лиции в расовых предрассудках, в разжигании расовой ненависти, Педрито ссылался на статьи, опубликованные ранее в тех же самых газетах и призывавшие к энергичным мерам против кандомбле и афопе, капоэйры и праздника Иеманжи. А теперь, мол, оказавшись в оппозиции и нападая на руководство штата и полицию, «беспамятные писаки солидаризируются с явными или потенциальными преступниками».

В беседе с корреспондентом правительственной газеты профессор Нило Арголо по достоинству оценил кампанию полицейских репрессий, не скупясь на похвалы: «священная война, крестовый поход во спасение столпов цивилизации на нашей поруганной земле». В порыве восторга он сравнил Педрито Толстяка с Ричардом Львиное Сердце.

Священная война: в тот вечер, когда гремели барабаны в честь Шанго, паладины выступили против неверных. В рядах защитников романской цивилизации кроме неустрашимой четверки участников облавы на лотерейщика шли «благородные рыцари»: Мамин Сосунок, прозванный так за то, что поколачивал собственную мать, и Феррейра Блажной, великий мастер отвешивать удары плашмя увесистой саблей, причем доставалось и полномочным представителям той самой романской культуры, которую заместитель начальника полиции насаждал огнем и мечом.

Вышли пораньше, каждый захватил с собой крепкую дубинку, незаменимое оружие в доброй свалке, современное копые наших доблестных крестоносцев. Потрудились на славу. В первых трех «домах святого», куда они во-фвались, работа была легкая: террейро средней величины, участников мало, празднество только началось. Пошли гулять дубинки, раздались вопли и стоны женщин и стариков, которые услаждали слух воинов, любителей подобной музыки, вдохновляли на новые подвиги во исполнение цивилизаторской миссии. Когда стало некого дубасить, позабавились с атабаке, пежи и прочими предметами культа — разнесли их на куски.

Слух об усердии и рвении агентов стал упреждать их приход, умолкали барабаны, рассыпался хоровод жриц и иаво, гасли огни, прекращалось действие, праздник замирал. Понурившись, расходились по домам мужчины и женщины, боги-ориша возвращались в горы, в лес, в море, откуда они пришли на террейро, чтобы петь и танцевать.

Рыцари креста вдруг обнаружили, что колотить неко-го, и вынуждены были прервать это приятное занятие. Упоенные победами и надеждой вернуть себе расположе-ние грозного начальника, они требовали в кабачках не только бесплатной выпивки, но еще и сведений о том, где в этот вечер состоится кандомбле. «А пу-ка, выкла-дывай, да поживей! Будешь отмалчиваться — отведаешь дубинки, скажешь — за нами не пропадет». Так они узнали о большом празднестве на террейро Сабажи, рас-положенном за городом.

В зале танцевало не менее дюжины ориша в богатых одеждах. В середине круга — Шанго на могучем коне, которого изображал Фелипе Верзила. Танец был — за-гляденье. Шанго Фелипе Верзилы слыл одним из луч-ших во всей округе. Оган-распорядитель Мануэл де Прашедес, ответственный за порядок в зале и прием гостей, услышав грубую брань и взрывы хохота подхо-дивших ратоборцев, сразу понял, что нагрянула банда громил. Закариас да Гомейя, явив собравшимся свое жуткое лицо, изрытое оспой, безносое и безбровое, крик-нул с порога:

— Теперь плясать будет Закариас да Гомейя, он вам исполнит танец волшебной дубинки.

Самуэл Коралловая Змея, покачиваясь от выпитой кашасы, сунулся в дверь. Мануэл де Прашедес, помня о своих обязанностях, потребовал уважения к святому. «Катись ты к чертовой матери!» — ответил Самуэл и хо-тел войти. Мануэл де Прашедес одной оплеухой отбросил полицейского агента на руки его безносому приятелю, завладев при этом дубинкой. В руках грузчика она стала грозным оружием, завертелась вихрем. Тут и началась свалка.

Мирные люди и веселые ориша, собравшиеся на праздник, поняли, что им хотят помешать, что им угро-жают. Мужчины из тех, кто посмелее, пришли на под-могу Мануэлу де Прашедесу. Об этой потасовке до сих пор ходят легенды: Шанго поражал полицейских агентов незримиыми затрещинами, гигант Прашедес разросся до таких размеров, что походил на Ошосси, и его дубинка повергала бандитов наземь, словно копы Георгия Побе-доносца. Сбитый с ног Закариас да Гомейя вытащил ре-вольвер, хлопнул первый выстрел.

Из плеча Фелипе Верзилы, коня Шанго, потекла кровь, но он не струсил и продолжал танцевать. По при-меру Закариаса да Гомейи остальные крестоносцы тоже

взялись за оружие. Только пули помогли им войти в барак.

В опустевшем зале остались лишь окровавленный конь с Шанго, продолжавший танец, да Мануэл де Прашедес, крутивший дубинку на просторе. Агенты сгрудились и пошли на Мануэла скопом: отведем этого сукина сына в участок, а там уж он свое получит сполна. Героев возглавлял мстительный кабра¹ Коралловая Змея: «В полиции я с него шкуру спущу, он у меня потеряет охоту к драке и к макумбе, я тебя, подлюга, буду колошматить до тех пор, пока ты не станешь вот таку-сеньким, пока из великана не превратишься в карлика». Сделав невероятный прыжок — не иначе Шанго сотворил это чудо, — Мануэл де Прашедес выскочил в окно. Перед тем успел, однако, ткнуть Самуэла Коралловая Змея в лицо и лишить его трех зубов, один из которых, с золотой коронкой, был предметом гордости полицейского агента.

Шанго верхом на коне нырнул в кусты, плясал танец хлыста. Громилы бросились в погоню. Ну как поймут Фелипе Верзилу вместе с его Шанго! Ну как схватят Мануэла де Прашедеса, вот будет здорово. Молчат темные кусты, только совы ухают.

Разрушение предметов культа не смирило ярости крестовосцев, их священной ненависти. Этого им было мало. Подожгли барак, и пламя пожрало террейро Сабажи. В назидание.

Много лет шла священная война, крестовый поход во имя цивилизации в царствование Педрито Толстяка, полицейского комиссара — дедди, бакалавра права, читавшего книги и вооруженного теориями, насилие творилось ежедневно, жаловаться было некому. Доктор Педрито взял на себя миссию — покончить с самбой, колдовским шабашем, с черномазыми. «Я очищу город Баию».

13

Через несколько дней Мануэл де Прашедес, выйдя после обеда из своего дома в переулке Баронесс, получил в спину всю обойму из револьвера Самуэла Коралловая Змея. Одну за другой шесть пуль. Упал ничком, не успев и охнуть.

¹ Кабра — метис от брака негра с мулаткой или мулатой с негрятянкой.

Убийца пояснил сбежавшимся отовсюду людям:

— Не будет задиаться. Ну-ка, дайте пройти.

Но ему не дали пройти. Его окружили, послащались призывы воздать убийце по заслугам, возмущение было так велико, что самодовольство победоносного матадора сменилось смертельным страхом. А вдруг они возьмут да убьют его прямо здесь, на улице! Бросив оружие, он стал на колени, запросил пощады. Пришли полицейские, раздвинули толпу, увели задержанного. Некоторые из свидетелей пошли с ними в Управление полиции. Преступник и орудие убийства были переданы блюстителям закона, после чего свидетелей выпроводили. Один из них, администратор кинотеатра на Байша-дос-Сапатејрос, заявил комиссару:

— Он был взят на месте преступления, когда совершил убийство.

— Мы разберемся, будьте покойны.

В тот же вечер, около шести, агент вспомогательной полицейской службы Самуэл Коралловая Змея, убийца, взятый с поличным на месте преступления и отведенный в полицию, дабы его предали суду, прошел со смехом и бранью в компании Закариаса да Гомейи, Зе Широкая Душа, Иносенсио Семь Смертей, Рикардо Огарка и Мирандолино по переулку Баронесс мимо дома, где друзья и знакомые совершали бдение у тела Мануэла де Прашедеса.

Комиссар Педрито Толстяк спросил только:

— Как это случилось?

— Этот макумбейро накинулся на меня на улице, сеньор начальник, поминал вашу мать худыми словами и все к моему лицу тянулся своими ручищами. Ну я в него и выстрелил, не терпеть же побои от колдуна.

«Война есть война», — сказал себе помощник начальника полиции. Компания агентов прошла туда и обратно по переулку, завернула в какой-то кабачок, там агенты выпили и не заплатили. Война есть война, солдату на священной войне положена награда.

14

Скованную ревматизмом Забелу мучили приступы боли и возмущения:

— Тадеу — образованный юноша, а эти Гомесы — неотесанная деревенщина, бандиты из сертана. Почему они ему отказали? Потому что они богаты?

— Потому что они белые.

— Белые? Да разве в Баие кто-нибудь может всерьез утверждать, что он белый? Не смешите меня, местре Аршанжо, мне больно смеяться. Сколько раз я вам говорила, что белый в Баие — как сахар па энженьо: всегда с примесью. И в Реконкаво то же самое, а уж про сертан и говорить нечего. Эти Гомесы не заслуживают такого зятя, как Тадеу. Если бы это была не Лу, милая девочка, она навещает меня, мы с ней болтаем часами... Если бы не она, то я бы посоветовала Тадеу поискать семью получше. Гомесы, по правде говоря... Я их прекрасно знаю, бабка нашей Лу, *mon cher*¹, старая Эуфразия, что теперь не вылезает из церкви, в свое время маху не давала...

Педро Аршанжо не скрывал огорчения:

— Все они одним миром мазаны. У них что на уме, то и на языке: мол, негру да мулату место — в сепзале или в каморке для прислуги. Другие на словах — либералы, толкуют о равноправии и прочая и прочая, но куда только все девается, едва речь зайдет о свадьбе? Уж как сердечно и радушно принимали Тадеу в их доме! Пока был студентом, он каждый день к ним ходил. Обедал, ужинал, ночевал в комнате своего одноклассника, его считали чуть ли не сыном. Но вот он заговорил о женитьбе — и все пошло по-другому. Скажите откровенно, Забела, если бы у вас была дочь, вы отдали бы ее за негра, за мулата? Только правду.

Превозмогая боль («В меня будто свора собак вцепилась и грызет все мои косточки»), старуха выпрямилась в кресле:

— Педро Аршанжо, как вам не стыдно! Если б я прожила свою жизнь в Санто-Амаро, Кашоэйре или здесь, в обществе Гонсалвесов, Арголо, Авила и прочих, вы вправе были бы задать мне этот вопрос. Вы что же, забыли, что большую часть жизни я прожила в Париже? Если б у меня была дочь, местре Педро, она пошла бы за кого захотела: за белого, черного, китайца, турка-магометанина, некрещеного еврея, — ну, за кого угодно. А не захотела бы ни за кого — пусть оставалась бы в девицах. — Забела застонала от боли, откинулась на спинку кресла. — Скажу вам по секрету, местре Педро, в постели никто не сравнится с хорошим негром, это говорила еще моя бабушка Виржиния. — Забела округлила

¹ Мой дорогой (*фр.*).

глаза и лукаво подмигнула.— Виржиния Арголо, что была замужем за полковником Фортунато Араужо, Черным Араужо. Бойкая была на язык, тыкала дедушкой Фортунато в нос этим неумытым баронессам с плантаций: «Моего негра я не променяю на дюжину ваших белых мужиков!» — Тут Забела снова возмущилась: — Отказать Тадеу, такому чудному мальчику! Какая глупость!

— Я не отказала Тадеу и, если богу будет угодно, стану его женой! — откликнулась Лу из коридора.

Восторженные возгласы Забелы — *ma chérie, ma pauvre fille, mon petit*¹, улыбка на грустном лице Аршапжо.

— Так это вы, Лу?

— Здравствуйте, Забела. Благословите, отец мой.

Отец! Так девушка зовет его уже давно. Вместе с подругами она отправилась однажды на кандомбле под охраной Аршапжо, Лидио и фрейя Тимотео. Увидела, как жрицы, иаво и даже мужчины, причем иные с седой головой, целуют руку Аршапжо: «Благословите, отец!» «Почему «отец?»» — спросила она Лидио Корро. «Из уважения и доверия, которые они питают к Ожубе; все эти люди — дети Педро Аршапжо, и не только они». С тех пор Лу и стала говорить ему «отец» и просить благословения — может, в шутку, а может, и всерьез.

Еще на пристани, провожая Тадеу в первый раз, Лу сравнила черты лица своего избранника с чертами Педро Аршапжо: «Боже мой, как они похожи — отец и сын, а не крестный и крестник!»

Тадеу неохотно говорил о своей семье, держался настороженно, никогда не упоминал об отце, он не знал, кто такой таинственный Каньото, подаривший ему имя. О матери он помнил только, что она была красива. «Мой отец умер, когда я был совсем маленьким, я его не помню; мать была хороша собой; когда поняла, что я хочу учиться, отдала меня крестному. Когда она умерла, я еще только готовился поступить в школу». Вот и все, больше ни слова.

Лу из любопытства еще некоторое время обиняком заводила речь о таинственном семействе Каньото. Но скоро почувствовала, что разговоры эти ранят самолюбие Тадеу.

— Милая, ты идешь за меня или за моих предков? Лу больше *ж* этой теме не возвращалась, но как

¹ Моя дорогая, моя бедняжка, малыш (*фр.*).

знать, может, в первый раз она сказала «отец» не без намека или задней мысли. Аршанжо и бровью не повел, улыбкой утвердив такое к нему обращение. Благословил девушку и, отвечая на этот знак уважения и симпатии в таком же полусушительном тоне, сказал: «Моя маленькая дочь, ашэ», как если бы она была юной участницей каа-домбле.

Лу, опустившись на колени возле кресла Забелы, рассказывает:

— Дома у нас все еще тяжело. Сегодня отец куда-то ушел, а я скорей сюда, чтоб хоть немного прийти в себя. Теперь, когда Тадеу снова уехал в Рио, мама хоть не следит за каждым моим шагом, а то она все боялась, что я сбегу и обвенчаюсь с Тадеу тайно.

— Так и надо было поступить, вы имеете на это полное право. Он — тоже.

— Лучше все-таки подождать, ведь осталось всего восемь месяцев, не так много для тех, кто ждал годы. В тот день, когда мне исполнится двадцать один год, я стану совершеннолетней, и уж никто мне помешать не сможет.

От кого исходило решение ждать — от Тадеу или от Лу? Интересно бы узнать. Впрочем, так ли уж это важно?

— Тем временем обстановка в семье может измениться. Тадеу считает, что это вполне вероятно. Что ни говорите, лучше выйти замуж с согласия родителей и остаться с ними в хороших отношениях...

Чье это упорство — девушки или Тадеу? Ах, инженер Тадеу Каньото, хотя ты и быстро шагаешь вверх по лестнице, но все же смотришь, куда ставить ногу.

Тадеу начал свою карьеру успешно, получал хорошее жалованье, пользовался авторитетом, начальник к нему благоволил, товарищи по работе стали его друзьями. Впервые за три года он получил отпуск и отправился в Баию, заручившись письмом к полковнику Гомесу от Пауло де Фронтина: «Глубокоуважаемый сеньор Гомес! Мне стало известно о намерении доктора Тадеу Каньото просить руки Вашей уважаемой дочери, по поводу чего я прошу Вас заранее принять мои поздравления и наилучшие пожелания. Жених Вашей дочери работает со мной уже три года, он — один из наиболее одаренных и знающих инженеров, занятых преобразованием старого Рио-де-Жанейро в большой современный столичный город». Далее шли похвалы молодому человеку, упомина-

лись «безупречный моральный облик, твердый характер, яркий талант»; перед Тадеу открыты все пути, успех ему обеспечен. Затем автор письма снова поздравлял семью Гомес с предстоящим бракосочетанием и выражал уверенность, что лучшего зятя полковник и его почтеннейшая супруга не могут и желать.

Не помогло хвалебное письмо знаменитого инженера. Встретили Тадеу радостно: «Смотрите-ка, кто явился, Тадеу, совсем нас забыл, проказник!», однако настроение хозяев тут же изменилось, когда Тадеу, попросив разрешения переговорить с полковником наедине, вручил ему письмо своего начальника и попросил руки Лу.

Фазендейро поначалу так оторопел, что не только дочитал письмо до конца, но и выслушал, не прерывая, краткие пояснения молодого инженера:

— ...просить руки Вашей дочери Лу.

Только теперь улыбка сошла с губ полковника.

— Ты хочешь жениться на Лу? — Голос его был ровным, ничего не выражал, кроме изумления и смущения.

— Вот именно, полковник. Мы любим друг друга и хотим пожениться.

— Так ты...— Здесь произошла внезапная перемена, голос загредел гневными металлическими нотками.— Так вы хотите сказать, что Лу поддерживает это ваше нелепое намерение?

— Я не посмел бы обратиться к вам, полковник, не получив на то ее разрешения, и мы не считаем наше намерение нелепым.— Он сделал нажим на слове «наше».

Словно яростный вопль раненого могучего зверя, разнесся по дому крик полковника Гомеса:

— Эмилия, иди сюда, живо! Приведи Лу! Скорей!

Полковник смерил Тадеу враждебным взглядом, будто увидел его впервые. Вошла донна Эмилия, отирая руки о передник: она на кухне показывала кухарке, как приготовить любимые пирожки Тадеу, ведь он, конечно, поужинает с семьей своего друга и однокашника. Почти одновременно вошла Лу с нервной и напряженной улыбкой на лице.

Фазендейро спросил ее:

— Дочь моя, господин, которого ты здесь видишь, поразил меня невыносимой просьбой и сказал, что делает это с твоего согласия. Он солгал, не правда ли?

— Если вы хотите этим сказать, что Тадеу пришел просить моей руки, то все, что он сказал,— правда. Я люблю Тадеу и хочу быть его женой.

Полковник сделал явное усилие, чтобы сдержаться и не отхлестать дочь по щекам. Задать бы ей хорошую трепку!

— Ладно, ступай. Потом поговорим.

Лу послала жениху ободряющую улыбку и вышла. Дона Эмилия, услышав потрясающую новость, издала какой-то слабый стон: «О, господи!»

— Ты что-нибудь знала об этом, Эмилия? И мне ничего не сказала?

— Я знала столько же, сколько ты, ровным счетом ничего. Для меня это как гром среди ясного неба. Ничего не говорила, даже не намекала.

Полковник не стал спрашивать, что жена думает о создавшемся положении, то ли потому, что ее ответ был ему заранее известен, то ли потому, что считал сферой ее забот хозяйство, а не серьезные дела. Он обратился к Тадеу:

— Вы злоупотребили доверием, которое мы вам оказывали. Мы принимали вас в доме как товарища нашего сына, невзирая на цвет кожи и происхождение. Говорят, вы умный человек, как же вы не сообразили, что мы вырастили дочь не для того, чтобы отдать ее негру? Теперь идите и никогда больше не переступайте порога этого дома, не то вас спустят с лестницы.

— Хорошо еще, что вы меня обвиняете только в цвете моей кожи.

— Вон отсюда! Убирайтесь!

Тадеу не спеша пошел к выходу, а дона Эмилия в изнеможении упала в кресло. Яростные крики полковника все еще доносились до юноши, когда он вышел на улицу. Его невесте предстоит встретить поток звериной ярости. Она готова к этому, она сильная. Накануне, встретившись у Забелы, они обсудили все подробности, перебрали все возможные обороты дела, подыскивали решение каждого вопроса. Тадеу Каньото любил математический расчет, обоснованный выбор решений на основе изучения и анализа данных.

Педро Аршанжо, хотя и предполагал отказ, возмутился, вышел из себя, потерял голову, что случилось с ним крайне редко. Он сам не раз замечал: «Я теряю голову только из-за женщины».

— Лицемеры! Глупые невежды! Белое дерьмо!

Тут уж пришлось Тадеу его успокаивать:

— Да что с вами, крестный? Успокойтесь, не оскорбляйте моих родственников. Это семья богатых фазендей.

ро, они все с предрассудками. Для полковника выдать дочь за мулата — немыслимое дело, трагедия, он предпочел бы, чтобы она жила и умерла истеричной старой девой. Но это вовсе не означает, что они — дурные люди, и я думаю, этот предрассудок не укоренился в них глубоко, со временем они его изживут.

— Ты же их еще и защищаешь, оправдываешь! Ну, Тадеу Каньото, теперь моя очередь удивляться!

— Я их не защищаю и не оправдываю, крестный. Я убежден, что нет ничего отвратительней расовых предрассудков и нет ничего лучше взаиморастворения рас, вы меня в этом убедили своими книгами и собственным примером. Только я из-за этого не хочу делать из Гомесов чудовищ, они — неплохие люди. Я уверен, что Астерио нас поддержит, я ему еще не писал, хочу сделать сюрприз. В письмах он только и пишет о североамериканском расизме, который «для бразильца неприемлем», это его слова.

— «Для бразильца неприемлем». Но как дойдет до того, чтоб отдать руку дочери или сестры мулату, негру, эти люди ведут себя точь-в-точь как североамериканские расисты.

— Крестный, это вы меня удивляете. Не вы ли всегда говорили, что расовая проблема и ее решение не только различны в США и в Бразилии, но и прямо противоположны, что у нас, несмотря на трудности, имеется тенденция к смешению, слиянию рас? И что же? Стоило возникнуть одной из таких трудностей, вы уже отступаете от своей концепции?

— Я просто разозлился, Тадеу, разозлился сильнее, чем сам того ожидал. Так что же ты теперь будешь делать?

— Женюсь на Лу, разумеется.

Этих слов было достаточно, чтобы гнев Педро Аршанжо уступил место деловитости:

— Я тебе в два счета разработаю план похищения и побега.

— Похищения и побега? Это не так просто.

— Я делал вещи и потрудней.

Взору Аршанжо уже рисовалось романтическое приключение: на улице дежурят мастера капоэйры, Лу перед рассветом тайком выходит из дома, закутанная в черный бурнус, рыбацья лодка на всех парусах уносит влюбленных в какой-нибудь укромный уголок залива Режонкаво, затем — тайное венчание, Гомесы в ярости. По

всему видать: Педро Аршанжо читал не только научные трактаты, но и романы Александра Дюма, «кстати, он — мулат, сын француза и негритянки, превосходное сочетание!».

— Нет, крестный, не будет ни похищения, ни побега. Мы с Лу уже решили. Через восемь месяцев Лу достигнет совершеннолетия, станет хозяйкой своей собственной судьбы. Если к тому времени сопротивление стариков не будет сломлено — тут я надеюсь на помощь Астерио, — то в день своего рождения Лу покинет отчий дом, чтобы стать моей женой. Так будет лучше.

— Ты думаешь?

— Мы оба так думаем, Лу и я. Даже если полковник не соизволит дать свое согласие, тот факт, что мы дождалась совершеннолетия Лу, облегчит впоследствии устройство наших дел. Для меня это тоже будет в некотором отношении удобнее. Завтра я еду в Рио, через восемь месяцев вернусь.

Педро Аршанжо не сказал ни «да», ни «нет», впрочем, никто его согласия и не спрашивал. В «Лавке чудес» Лидио Корро поражал друзей, повествуя об успехах Тадеу в столице: Пауло де Фронтин, разрабатывая грандиозный план урбанизации Рио, ничего не решает даже в мелочах, не выслушав мнение молодого инженера, и назначает его на самые ответственные работы. Собственно говоря, новую столицу строит Тадеу.

И вот в доме Забелы Педро Аршанжо слышит, как девушка повторяет те же слова, что он слышал от Тадеу.

— Быть может, за эти месяцы я уговорю стариков.

— Думаете, это возможно?

— Я вам скажу, что мама уже наполовину согласилась. Вчера, например, она сказала мне, что Тадеу — славный мальчик, и если б он только не был...

— ...черным...

— Вы знаете, о Тадеу она никогда не говорит «черный»: «Если б он только не был таким жгучим брюнетом...»

Теперь Педро Аршанжо наконец рассмеялся. Что ж, он не станет навязывать свое мнение, Тадеу и Лу поступили как сочли нужным, в любом случае они могут рассчитывать на его поддержку. Их решение ждать, придерживаясь закона, было не в его духе, не в духе Александра Дюма-отца, мулата, сына Наполеона и черной красотики с Мартиники (или, может, с Гвадалупы, Педро

не помнил); если бы спросили его или Александра Дюма, тот и другой без всякого раздумья отдали бы предпочтительнее побегу.

Забела, пользуясь присутствием внимательных слушателей, пустилась в воспоминания о семье Арголо де Араужо.

— Вот вы послушайте-ка. Фортунато де Араужо, по прозвищу Черный Араужо, ставший полковником во время войн за независимость, герой битв под Кабрито и Пиражой, через спальню бабушки Виржинии Гонсалвес Арголо вошел в благородное семейство Арголо и стал его главой и руководителем. Это был красивый мулат, из всех внучек меня он любил больше всех, часто сажал перед собой в седло, и мы галопом носились по горам и долам, это он прозвал меня Принцессой Реконкаво. Местре Педро, вы мастер отгадывать загадки, скажите же мне, почему достолавный профессор Нило д'Авила Арголо де Араужо, эта инфузория, *le grand cop*¹, что так кичится знатными предками, — почему он упорно не желает пользоваться честным именем Араужо? Почему не рассказывает о подвигах полковника Фортунато в боях двадцать третьего года, почему не вспоминает, что Черный Араужо трижды был ранен в борьбе за независимость Бразилии? В нашем славном роду не было мужа достойнее Фортунато, ему мы обязаны всем добром, какое имеем, даже теми жалкими крохами, что остались у меня. Сто раз права была бабушка Виржиния, когда гордо заявляла баронессам, графиням и *toutes les autres garces*:² «Мой черный Фортунато стоит в десять раз больше, чем *toute cette bande de cocus*³, ваши мужья и любовники, *les imbécils*»⁴.

15

Воспоминания Забелы пробудили у Педро Аршанжо интерес к генеалогии знатных семейств, и скоро он знал о происхождении Гимараэнсов, Кавальканти, Авила и Арголо не меньше, чем о родственных связях тех, кто прибыл в Баию в трюме невольничьего корабля. Знал,

¹ Эта проститутка (фр.).

² Всем прочим шлюхам (фр.).

³ Вся эта банда роконосцев (фр.).

⁴ Кретины (фр.).

кто были деды аристократов и с какого колена влилась в род негритянская кровь.

Перевалив на шестой десяток, Педро Аршанжо продолжил свои штудии: учился, читая книги у себя в мансарде или в «Лавке чудес» (там, в комнате Тадеу, он хранил большую часть своей библиотеки), учился, живя полной жизнью в самой гуще народа. Жил он жадно, как молодой человек, никто не дал бы ему его пятидесяти лет. Занимался капозэйрой, проводил ночи без сна, бражничал, не знал удержу в любовных утехах. После Розалии, а может — еще при ней, он снял комнату для Келé, семнадцатилетней девчонки, и вскоре она родила сына. Мужчину, как всегда. Дочерей у Аршанжо не было ни одной, если не считать «дочерей святого» на террейро.

Женщины навещали его в «Лавке чудес», где с уходом Розы де Ошала прекратились представления и праздники. Лидио, так и не примирившийся с разлукой, невыносимо страдал. Эта боль рассасывалась у него медленно, до конца не прошла никогда. Прожив с Розой пятнадцать лет, рисовальщик чудес так и не нашел женщины, которая изгнала бы из его тоскующей души образ Розы де Ошала.

Стоящая в спальне деревянная статуэтка, вырезанная саитейро Мигелом, другом Дампана, мало похожа на Розу. Она изображена голой, у нее высокая грудь и округлые бедра. Самому Лидио, единственному, кто видел ее без одежды, не удалось запечатлеть на холсте великолепие ее тела, этого чуда из чудес, а уж попытка воплотить в дереве красоту, постигнутую лишь воображением, была со стороны ваятеля святых слишком большой дерзостью. Куда девались алчущие поцелуя губы? Где сладострастный огонь линий ее тела? В бессоннице ночей Роза отделяется от холста и дерева, танцует в лунном свете.

В «Лавке чудес» и на улице, в веселых домах и мебелированных комнатах кумовья смеялись и пели в кругу молодых женщин на танцевальных вечерах и пасторилах, на праздниках и пирушках; с ними по-прежнему были гитара и флейта, Розы — не было. Как бы ни улаживали Лидио, тоска его не исчезала: кто обладал Розой, никогда не сможет ее забыть, заменить другой. А для Педро Аршанжо любовная тоска началась много раньше. «Не знаешь ты, милый мой кум Лидио, чем я платил за то, чтоб сохранить твою дружбу».

В «Лавке чудес» многое изменилось. Типография выросла, захватила большой зал и старую пристройку. Работы прибавилось настолько, что теперь у мастера Лидио не хватает времени даже на рисование чудес. Когда он получает заказ, выполнять его приходится по воскресеньям, неделя и так коротка для типографских дел.

Но как бы там ни было, «Лавка чудес» оставалась центром народной жизни, шумным собранием, где делились мыслями, заботами, свершениями. Здесь скрывались от преследования «отцы и матери святого», здесь было хранилище ценностей, спасенных от погрома во время налетов полиции на террейро, здесь жрец Прокопио залечивал спину, исполосованную в полиции ударами хлыста. На дверях «Лавки чудес» теперь уже не висит афиша, возвещающая вечера декламации и танца, самбы и матчиша. Манэ Лима и Толстая Фернанда блистают на других площадках. И театр теней уже много лет не существует. В последний раз Толстячок и Лысый обменялись оплеухами из-за Лили Соски, когда Забела пожелала посмотреть «назидательное ауто о мнимой дружбе».

— Quelle horreur! ¹ Это же свинство, вы просто des sales cochons! ² — восклицала старуха, до колик насмеявшись бесстыдству балаганного представления.

— Мы долгое время только па этих куклах, на их бесстыдстве и держались, — пояснил Аршанжо. — Они нас кормили.

— Все же сказывается, что вы из самых низов, — заметила графиня.

— А в верхах разве не то же самое? Или там в таких делах чистота да благородство?

Забела пожала плечами: он прав, грязь — везде грязь, дружба продается за медный грош.

Сам он не то что за грош, за бесценное сокровище — любовь Розы де Ошала — друга не предал. «На том стоял и стою. Если я в чем-то изменился — а это так и есть, — тут и говорить нечего, если какие-то ценности для меня обесценились и их место заступили другие, если какая-то часть прежнего меня отмерла, — вере своей я не изменил и от того, чем я был, не отрекаюсь. В том числе от грязи и непристойностей, что показывает театр теней. В груди моей слилось и перемешалось все. Эй,

¹ Какой ужас! (фр.)

² Грязные свиньи! (фр.)

послушайте меня, Лидио, Тадеу, Забела, Будиан, Валделойр, Дамиан де Соуза, заступник народный и мой сын! Я хочу только одного: жить, понять жизнь, любить людей, всех, весь народ».

Годы идут, нет-нет да и появится седой волосок, ляжет морщинка на гладкой коже лица. Педро Аршанжо в ладно сидящем на его фигуре отглаженном костюме идет своей обычной походкой — слегка вразвалку — по Пелуриньо в направлении Террейро Иисуса. В лаборатории паразитологии медицинского факультета профессор Силва Виража изучил и описал шистозому, стал всемирно известным. Здесь, в этом зале, ученый работает, вносит свой вклад в изучение дезинтерии, тугументарного лейшманиоза, микозов, тропических болезней. Педро Аршанжо идет просить Силву Виража оказать ему честь: вместе с профессором Бернаром из Политехнической школы быть свидетелем на венчании Тадеу.

Приближается день рождения Лу, ее совершеннолетия. Несколько месяцев девушка провела в изгнании, на фазенде, вдвоем с матерью. Потом ее привезли обратно в город, надеясь, что она заинтересуется каким-нибудь достойным претендентом на ее руку. В долгих беседах с Аршанжо, Лидио, Забелой она обсудила свой план действий в целом и в мелочах.

— Раз уж они не хотят уступить, другого выхода нет. Впрочем, противится по-настоящему только папа. Если б дело было за мамой, я бы ее уговорила, но она на все смотрит глазами нашего старика, а уж полковник Гомес умеет стоять на своем.— В голосе Лу чувствовались любовь и восхищение.— Он того и гляди лишит Астерио тех денег, что посылает ему ежемесячно, только из-за того, что тот — за нас.

Астерио написал отцу, что одобряет брак, и тепло отозвался о Тадеу, которого он уважает и любит, как брата. «Кто просил твоего совета? — в сердцах вопрошал фазендейро в ответном письме.— Моя дочь выйдет за того, кого ей выберу я по своему вкусу».

Кстати, уж и выбрал, судя по частым приглашениям к обеду или ужину доктора Руя Пассариньо. Преуспевающий адвокат, представлявший крупные фирмы, человек солидный и уважаемый, Руй Пассариньо до тридцати шести лет не успел влюбиться, погрязнув со студенческого возраста в деловых бумагах и тяжбах, так что его считали безнадежным холостяком. Как-то на мессе в церкви святого Франциска увидел огромные глаза и

светлые локоны Лу, и образ этот стал тревожить его сны. Потом ему случилось увидеть девушку еще два-три раза. Рассказал о юной красавице своей матери-вдове. Дочь Гомесов? Да, она хорошенькая, но не такая уж юная, сынок, ей минуло двадцать, в самой поре девица. Семья неплохая, денег — девать некуда, огромное поместье, тысячи голов скота, целые улицы доходных домов в Канеле, Барбальо, Лапинье, — словом, если разобраться, девочка Гомесов — идеальная невеста для непристроенного сына.

Мать доктора Руя Пассариньо рассказала доне Эмили об увлечении сына, и они договорились свести молодых людей, устроив совместный ужин. Ужин, обед, еще ужин, еще обед — почтенные матроны подвели доктора Руя, чуть ли не без его участия, к порогу сватовства. А как же Лу? Вежлива, любезна, но не более. Чтобы позабавить Забелу, она изображала, как незадачливый претендент на ее руку ищет лазейку для решительного объяснения и ничего не может поделать, не знает, как подойти. Какой удар ждет беднягу!

На последней неделе перед приездом Тадеу были обговорены все возможные осложнения, подтянуты все винтики. Педро Аршанжо посетил профессора Бернара, передал приглашение. Долго совещался в крытой галерее монастыря с фреем Тимотео; у того борода поседела, но смех по-прежнему звенел молодо. Через посредничество Дамиана, майора Дамиана де Соузы, Аршанжо получил аудиенцию у судьи Сантоса Круса, который пригласил его к себе домой. Беседовали долго. Осталось только поговорить с Силвой Виража.

Педро Аршанжо ходит по канцеляриям и ризницам, добывая свидетельства о рождении, о крещении, наведывается то к одному другу, то к другому с приглашением и разговором, изучает законы о браке — готовит свадьбу. Свадьбу вопреки желанию родителей, но по закону, эх, жаль, не будет яркой романтики похищения и бегства на рассвете, не будет бурнуса, парусника, бешеной скачки, погони и схватки! Дело того стоило, это было бы и развлечение, и хороший урок самодовольным упрямым родителям. Педро Аршанжо совещается с Будианом и Валделойром, вместе они отбирают надежных людей, виртуозов капоэйры, одно имя которых бросает в дрожь даже самых храбрых полицейских агентов. На всякий случай — мало ли что может произойти.

У профессора Силвы Виража он застал какого-то худощавого мужчину лет тридцати, с рыжими усами и испаньолкой; нервные пальцы, открытое лицо, пронизательный взгляд.

— Здравствуйте, Педро Аршанжо. Позвольте представить вам доктора Фрагу Нето, который будет заведовать кафедрой после моего отъезда. Он приехал из Германии, а я туда еду, такова жизнь.— Профессор обернулся к коллеге.— Это Педро Аршанжо, мы о нем уже говорили, это человек, которого я уважаю, очень уважаю. У нас на факультете он числится педелем по кафедре паразитологии, но фактически это большой эрудит в антропологии, лучше его народные обычаи Баии не знает никто. Впрочем, вы же читали его книги.

Педро Аршанжо смущенно пробормотал:

— Профессор слишком добр ко мне, я всего-навсего любитель...

— Да, читал, и они мне очень понравились, особенно последняя книга. Наши взгляды во многом совпадают. Уверен, мы будем друзьями.

— Для меня это большая честь, доктор Фрага. А когда вы, профессор, уезжаете?

— Месяца через два. Сперва в Сан-Пауло, потом — в Германию.

— Надолго, профессор?

— Там и останусь, Аршанжо. Нет, не в Германии, туда я еду, чтобы приобрести оборудование для лаборатории, которую буду строить в Сан-Пауло, где и обоснуюсь. Условия отличные, там я смогу продолжать мои исследования. А здесь это невозможно, средств не хватает даже на самые необходимые материалы. Доктор Фрага был настолько любезен, что оставил превосходное место в Германии и из чистого патриотизма принял мое предложение участвовать в конкурсе на должность доцента и обеспечить продолжение нашей работы. Здесь он может рассчитывать на сотрудников кафедры, таких, как вы и Арлиндо, а также на студентов.

— В том случае, разумеется, если я пройду по конкурсу.

Ученый рассмеялся:

— Пройдете, голубчик, даже если придется схватиться врукопашную.

Конкурс на замещение должности приват-доцента не

предполагал диспута между претендентами и обычно не вызывал столько шума и волнений, как конкурс на заведование кафедрой. Однако на этот раз актовый зал медицинского факультета был переполнен, и получилась настоящая баталия; крики возмущения, аплодисменты, свист, ругань, толчея, неразбериха и даже драка.

Дело в том, что молва о Фраге Нето, молодом враче и ученом, к моменту его приезда из Европы разошлась уже довольно широко. Сам профессор Силва Виража, авторитет которого был непререкаем, пригласил Фрагу Нето участвовать в конкурсе и заменить его на кафедре. Будучи сыном состоятельных родителей, Фрага Нето после окончания университета уехал в Европу. Проведя по несколько месяцев в Париже и Лондоне, он обосновался в Германии и занялся исследованиями в той же области и в таком же направлении, что и Силва Виража, «я — рядовой ученик великого учителя».

На конкурсе разгорелись страсти, давно уже здесь не видели такого напористого и крамольного кандидата на должность приват-доцента. Члены конкурсной комиссии оторопели от поистине неожиданных посылок и тезисов соискателя. Не был шокирован лишь один человек — сам заведующий кафедрой паразитологии профессор Силва Виража. Он потирал руки в полном удовольствии, слушая, как воинственный соискатель громит устарелые идеи, привычные концепции и даже социальные устои. Фрага Нето стоял, гордо вздернув рыжую бородку, воздев перст, и казался торжествующим исчадием ада.

Шум и скандал были вызваны не диспутом по медицинским вопросам — речь шла о тропических болезнях, — а тезисами социологического и политического характера, один другого ужасней, которые кандидат в доценты пачками бросал в лицо членам комиссии и Корпорации медиков.

Начал он с того, что объявил себя материалистом, хуже того — материалистом-диалектиком, последователем Карла Маркса и Фридриха Энгельса — «величайших философов нашего времени, открывших новую эру в истории человечества». Ссылаясь на этих корифеев, он требовал для полного искоренения тропических болезней немедленных радикальных преобразований в экономическом, общественном и политическом строе Бразилии. «Пока мы остаемся полуфеодальной аграрной страной, экономика которой зиждется на латифундиях и монокультуре, не может быть и речи о серьезной борьбе с

тропическими болезнями. Наш главный недуг — отсталость, он-то и порождает все остальные». Многим профессорам сделалось не по себе: ведь они совмещали служение науке с землевладением, работу на кафедре — с выращиванием какао и разведением скота.

Дебаты достигли невиданного накала, дело дошло чуть ли не до оскорблений. С одним из членов конкурсной комиссии случился нервный припадок, он в истерике кричал: «Вздор! Вздор!»

Студенты, разумеется, взяли сторону соискателя, образовали шумную клаку, бурно аплодировали смелым выпадам Фраги Нето: «Отсталость нашей экономики — вот главный источник проказы, черной оспы, тропической лихорадки, всех эндемий и эпидемий в нашей многострадальной стране. Без радикального изменения строя нельзя всерьез говорить о мерах по искоренению ряда болезней, о профилактике, о систематической борьбе с заболеваниями, с недугами, терзающими наш народ, — нельзя говорить о здравоохранении вообще. Обещать, что такие меры будут приняты, — глупость, если не насмешка и издевательство. Пока мы не перестроим нашу Бразилию, наши исследования, какими бы оригинальными и глубокими они ни были, так и останутся разрозненными усилиями немногих талантливых энтузиастов, готовых на жертвы во имя науки. Все остальное — пустая схоластическая болтовня. Такова правда, нравится она нам или нет».

Но самая главная сенсация ждала публику во время защиты диссертации. Соискателю было мало шума, поднятого его дерзкими утверждениями, — он стал ссылаться на одного из факультетских педелей как на авторитетного ученого. Величал его «эрудированным антропологом с широким социологическим кругозором», процитировал целую страницу из книжонки, которую не так давно тиснул этот самый Педро Аршанжо, черномазый, лезущий в ученые: «условия жизни народа в Баие ужасны, нищета его чудовищна, медицинская помощь и санитарная гигиена отсутствуют вовсе, но ни правительство, ни местные власти не обращают на это ни малейшего внимания. Выжить в таких условиях может лишь народ, падающий необычайной силой и выносливостью. А раз это так, сохранение обычаев и традиций, организация обществ, школ, процессий, раншо, терно и афше, создание танцевальных и песенных ритмов, всего, что свидетельствует об обогащении культуры, — это настоящее чу-

до, возможное лишь благодаря метисации, ничем другим объяснить его нельзя. От смешения кровей рождается порода людей настолько талантливых, выносливых и сильных, что они побеждают нищету и отчаяние, творя повседневно красоту, утверждая жизнь». С кресел, отведенных членам Корпорации, послышалось яростное рычание: «Я протестую!» Это поднялся багровый от злости профессор Нило Арголо:

— Эта цитата — оскорбление высокому собранию, всему факультету!

Профессор Арголо не ограничился этим кратким заявлением: в прениях он произнес уничтожающую речь, полную благородного гнева. Да вот беда, никто его не слушал: студенты кричали «Браво!» Фраге Нето, профессора говорили, перебивая друг друга, каждый твердил свое, слышались ругательства, шиканье, свистки — сущий ад. Конкурс закончился полной победой кандидата — лишь два-три профессора снизили ему балл, — и студенты, ликуя, подняли его на руки.

Профессор Силва Виража без колебаний согласился быть свидетелем на гражданском бракосочетании Тадеу. Он знал молодого инженера еще мальчиком — тот не раз дожидался крестного в лаборатории паразитологии — и был осведомлен обо всех трудностях, которые Тадеу пришлось преодолеть на пути к диплому. Профессор не раз давал мальчику денег на трамвай, на мороженое, на кино. Знал он и семью Гомесов: «Неотесанные фазендейро из сертана, дикие и отсталые, по интеллекту намного ниже Тадеу. Но если юноша и девушка любят друг друга, остальное не имеет никакого значения. Пусть женятся и плодятся».

17

Славный был скандал, не одну неделю об этом событии судили-рядили в Баие все, кому не лень; только Второго июля празднества в честь столетия независимости Бразилии отвлекли от него всеобщее внимание. Велись жаркие споры, порой доходившие до ругани, будто это был первый случай, когда мулат и белая девушка сочетались браком. Невеста — белая баиянка, то есть не без капельки негритянской крови, по мнению знающей толк в этом деле графини Изабел Терезы, большого друга венчающихся — Забелы. Жених — темный мулат, «со-

всем жгучий брUNET», если воспользоваться миролюбивым выражением доны Эмилии.

Такие браки становились уже заурядным явлением. Черно-белые и бело-черные пары, вступавшие в церковь об руку с родителями, уже не вызывали иных чувств, кроме обычного умиления союзом любящих сердец. На этот раз, однако, не отец вел под руку невесту, неф и алтарь не сияли огнями. Обе церемонии — гражданская и церковная — состоялись в доме друзей при малом числе приглашенных, в атмосфере нависшей над молодыми опасности. Свадьба Тадеу и Лу разожгла споры и пересуды в Баие.

Могущественные Гомесы, владельцы крупной латифундии в сертане, видные представители баианской элиты, сочли сватовство Тадеу оскорблением, наотрез отказали черному и небогатому претенденту. Закрыли перед ним двери своего дома, ранее столь гостеприимного, запретили видеться с дочерью, не признав заслуживающим внимания капитал жениха: талант и упорство, поэтический дар, умение делать труднейшие математические расчеты, диплом с отличием, блестящую карьеру в Рио, где он стал правой рукой Пауло де Фронтина.

Браво, полковник Гомес! Давно пора главам порядочных семейств положить конец преступному смешению кровей, вырождению белой расы в Бразилии, пора дать отпор негритне! Так ликовали Нило Арголо, Освалдо Фонтес и их воинствующие приспешники, рукоплещая полковнику.

Прискорбный и бесполезный поступок, расовая ненависть не даст урожая на земле Бразилии, любая стена предрассудков рухнет под натиском жизни, — отвечали им те, кто думал как Силва Виража, Фрага Нето, профессор Бернар.

Такие споры да еще красота невесты, блистательная карьера жениха, их верность запретной любви — все это окружило свадьбу ореолом волнующей романтики. О ней говорил весь город.

Тадеу приехал заранее, но почти нигде не показывался, о том, что он в Баие, знали немногие. С невестой он встретился в доме Забелы, вместе обсудили все до последних мелочей, «в таком согласии, ну просто прелесть», как объявила местре Аршанжо старая графиня, которая все меньше могла двигаться, но зато все больше говорила.

Лу рассказала жениху о настойчивых ухаживаниях доктора Руя Пассариньо, постоянного гостя и собеседни-

ка ее отца. Адвокат держался скромно, внимание к ней проявлял деликатно, с тактом. Не навязывался, не торопился с объяснением, ограничивался намеками и долгими взглядами. Вести свое дело он доверил доне Эмилии, и та рассыпалась в похвалах претенденту. «По уши влюблен, дочь моя, ждет твоего слова, жеста, знака согласия выслушать его предложение. Тебе в конце концов вот-вот стукнет двадцать один. Все твои подружки по коллежу давно замужем, растят детей, а Марикота — та успела и мужа оставить, вот ужас-то, прости господи! Лучшего мужа, чем доктор Пассариньо, тебе не найти, он и отцу по душе, и мне, просто счастье тебе подвалило, ну, будь умницей, не упрямясь». День за днем одна и та же материнская песня, один и тот же вопрос в глазах адвоката.

Накануне дня рождения Лу доктор Пассариньо пришел после ужина и, вместо того чтобы расположиться в гостиной с полковником да побеседовать о политике и ценах, попросил девушку уделить ему минутку-другую для разговора наедине. Они вышли в сад и сели на скамью под развесистым манговым деревом. В небе — луна, окруженная звездами, внизу — воды залива, старый форт, темные силуэты кораблей. Ночь для влюбленных. Бакалавр понятия не имел, как нужно делать предложение, и чувствовал себя не в своей тарелке, но наконец, после неловкого молчания, превозмог свою робость:

— Не знаю, говорила ли вам что-нибудь дона Эмилия, у которой я просил разрешения обратиться к вам. Я уже не мальчик...

— Доктор Руй, мама мне сказала. Я польщена и питаю к вам дружескую симпатию — вы вели себя безупречно. Именно поэтому прошу вас не продолжать. Я уже дала слово, у меня есть жених, и скоро, очень скоро будет наша свадьба.

— Дали слово? Жених? Дона Эмилия мне ничего такого не говорила! — Пораженный адвокат смог наконец посмотреть в ее большие, с поволокой, глаза.

— Неужели никто не рассказал вам? Папа и мама не в счет, они об этом никогда не упоминают. Но о сватовстве было много разговоров.

— Ничего я не слышал, я живу уединенно, пересуды — не моя стихия.

— Тогда я расскажу вам все, это лишний раз подтвердит мое к вам уважение. Часть из того, что я скажу, — тайна.

— Я порядочный человек, сеньорита, и адвокат, я ношу в себе немало тайн.

— Почти год тому назад, точнее, восемь месяцев, моей руки просил доктор Тадеу Каньото, инженер того же выпуска, что мой брат Астерио. Мы любим друг друга с детства.

— Тадеу Каньото, слышал.

— Тадеу отказали, потому что он — мулат. К тому же бедный, вышел из низов, учился на деньги, что собирали его друзья. Отец ему отказал, а я люблю Тадеу и считаю себя его невестой. Не прерывайте меня, слушайте дальше. Завтра мне исполняется двадцать один год, и завтра же я выйду из дома, вот через эту дверь, и отправлюсь под венец. Думаю, что, рассказав вам всю правду, я отблагодарила вас за честь, которую вы оказали мне вашим предложением. Излишне говорить, что это должно остаться между нами.

Адвокат посмотрел на море в лунном свете. Откуда-то доносились стук барабана в ритме самбы и песня, что поют на капоэйре:

Тико-тико-ток, платок с кружевами,
Милого нет, не останусь я с вами,
Не ищи лимон в траве под ногами,
Тико-тико-ток, платок с кружевами.

— Не тот ли это Тадеу Каньото, что написал десяти-сложным стихом всю экзаменационную работу по математике?

— Тот самый.

— Я много о нем слышал. Говорят, у него огромный талант, а недавно один из моих друзей, вернувшись из Рио, рассказал, что инженер Каньото пользуется особым расположением доктора Пауло де Фронтина. — Адвокат остановился, издали донеслась песня: «Милого нет, не останусь я с вами». — Не скажу, что я рад, я надеялся иметь честь просить вашей руки, чтобы назвать вас своей женой и подругой. Вернусь к моим бумагам, книгам и консультациям, я привык к холостой жизни, не знаю, был ли бы я для вас хорошим мужем. Позвольте заранее поздравить вас с бракосочетанием и выразить восхищение вашей смелостью. Не думаю, что смогу быть вам чем-нибудь полезен, вам и доктору Тадеу. Если все же мои услуги вам понадобятся, располагайте мною.

— Большое спасибо. Другого отношения я от вас и не ожидала.

— Все в порядке, доктор? — спросила дона Эуфразия, когда адвокат, любезный и корректный, как истинный джентльмен, поцеловал ей на прощанье руку.

— В полном порядке, дона Эуфразия, все в полном порядке.

Адвокат, хотя и был обескуражен, вместе с тем чувствовал какое-то облегчение: что ж, видно, он и впрямь прирожденный холостяк.

— До завтра, доктор. Приходите ужинать с Лу.

— Спасибо. Доброй ночи.

Лу засыпала вопросами, она отвечала уклончиво, нервно улыбалась. Дона Эмилия доложила полковнику: все в порядке, завтра ждем новостей.

Дождались новостей, больших да нежеланных. С утра пораньше Лу, которая достигла совершеннолетия и стала сама себе хозяйка, ушла из дома и не вернулась. Родителям оставила убийственно лаконичную записку: «Не сердитесь на меня, я выхожу замуж за человека, которого люблю, прощайте». Полковник Гомес бросился в контору доктора Пассариньо, полный решимости любым способом не допустить бракосочетания, вернуть дочь, а Тадеу засадить за решетку.

Какое бы то ни было судебное преследование исключено, — ответил полковнику бакалавр. Лу — совершеннолетняя, по закону вправе поступать как ей заблагорассудится, в том числе выйти замуж, за кого пожелает. Жених не устраивает родителей? Жаль, конечно, но ничего сделать нельзя, лучше всего — помириться с женихом, презрев разногласия, наверняка несущественные.

Ну уж нет! Полковник зашагал из угла в угол крупными шагами. Подлый негр! Его пустили в дом как одноклассника Астерио, частенько подкармливали, а он этим воспользовался, чтобы вскружить голову девочке, ребенку. Безродный мулат, ни отца, ни матери, образование получил, можно сказать, на милостыню, ничтожество — вот что такое этот Тадеу Каньото!

— Простите, полковник, но доктор Тадеу Каньото все же ничтожество. Это крупный инженер с отличной репутацией в большом будущем. С другой стороны, Лу — не девочка, ей двадцать один год, и если уж она покидает отчий дом, чтобы повенчаться с доктором Тадеу, значит, любит его по-настоящему.

— Метиса!

— Извините меня, полковник, не далее как вчера я сам домогался руки Лу и не скрывал этого ни от вас,

ни от доны Эмилии, вы оба одобрили мою кандидатуру, чем я весьма горжусь. Меж тем, полковник, я ведь тоже метис, но это не...

— Метис? Вы?

— Вас пугает не раса, а цвет кожи. Моя бабка по отцу была мулатка, причем очень темная, полковник. Я получился белым, но мой брат, врач в Сан-Пауло, пошел в бабушку, — он очень миловидный смуглый брюнет. Кстати, женат на дочери очень богатого итальянца. В Баие, полковник, трудно сказать, кто из нас не метис.

— В моем роду...

— Полковник, если уж ваша дочь любит доктора Тадеу, откажитесь от предрассудков и благословите молодых.

— Никогда! В тот день, когда моя дочь станет женой этого черного, для меня она умрет, погибнет безвозвратно.

— Но появятся внуки...

— Доктор, не говорите мне таких ужасных вещей. Я помешаю свадьбе, чего бы мне это ни стоило. Я пришел предложить вам быть моим поверенным, чтобы вы помогли мне упрятать негодяя в тюрьму, а Лу поместить в монастырь.

— Я уже сказал вам, полковник, что ничего сделать нельзя, закон...

— Да что мне закон! Вы же адвокат, вы знаете, что законы писаны не для всех. Тот, у кого есть средства, может обойти закон. Я даю вам полномочия тратить, сколько потребуется.

— Это невозможно, полковник. Закон здесь недвусмыслен. Но главное — тут есть обстоятельство, которое вам неизвестно. С сего дня я — адвокат вашей дочери Лу, она доверила мне защиту ее прав совершеннолетней дееспособной гражданки от любых действий, направленных против ее бракосочетания с доктором Тадеу Каньо-то. Следовательно...

Полковник обратился к влиятельным друзьям, угрожал расправой, осаждал прошениями власти. Агенты получили приказ отыскать Тадеу и доставить в полицию. Они нашли его в «Лавке чудес» за беседой с адвокатом Пассариньо, который обегал полгорода, чтобы сообщить ему о намерениях фазендейро.

— Вы, кажется, мой соперник? — улыбнулся Тадеу, пожимая руку адвокату.

— Думаю, теперь я ваш защитник. Не так-то просто вас найти, доктор.

Во время разговора появились полицейские агенты. Тадеу отказался идти с ними:

— Я не совершил никакого преступления, в полиции мне делать нечего.

— Добром не пойдете — поведем силой.

Адвокату удалось разрядить обстановку, он изъявил готовность самому пойти к начальнику полиции: «Я с ним хорошо знаком, вместе учились и сейчас поддерживаем дружеские отношения».

Явившись в кабинет начальника полиции, доктор Руй осведомился, какова функция полицейского аппарата: обеспечивать выполнение закона или нарушать его, содействуя актам беззакония и произвола?

— Не горячитесь, дорогой мой. Я получил десяток прошений, полковник Гомес требует засадить своего обидчика в каталажку и как следует проучить, я же велел привести этого субъекта сюда лишь затем, чтобы он дал объяснения. В конце концов речь идет о похищении несовершеннолетней, девушки из весьма уважаемой семьи.

— Похищение! Несовершеннолетней! Лу сегодня исполнился двадцать один год, юридически она такая же совершеннолетняя, как вы или я. Из дома ушла сама, оставила записку. С этим ясно, а теперь я хочу спросить, вы знаете, кто этот «субъект»? Нет? Так я вам скажу. Это инженер Тадеу Каньото из группы Пауло де Фронтинна, его правая рука. У профессора Бернара из Политехнической школы лежит в кармане поручение Пауло де Фронтинна представлять его как посаженного отца на свадьбе доктора Тадеу Каньото с дочерью полковника Гомеса.

— Да что вы говорите! Я-то думал, это заурядный соблазнитель.

Адвокат продолжал сыпать вопросы: вы знаете, где сейчас девушка? В доме профессора Силвы Виража. Вы пошлете забрать ее оттуда? Начальнику полиции мало неприятностей и нареканий в связи с произволом комиссара Педрито Толстяка? Надо еще какой-нибудь мороки? Он, Пассариньо, адвокат инженера, отсоветовал доверителю посылать телеграмму Пауло де Фронтину, чтобы сообщить об угрозах полиции.

— Я вовсе не угрожал. Послал пригласить его сюда...

— Послали двух головорезов, приказав привести его в полицию. Не окажись там меня, они притащили бы к вам доктора Тадеу Каньото волоком. Представляете себе последствия? Стоит ли рисковать должностью, потакая капризам полковника из сертана? Стоит Пауло де Фронтину шевельнуть пальцем — сам губернатор вам не поможет. Бросьте это дело, дружище.

Начальник полиции велел сообщить полковнику, что жалеет, но он бессилен, дело не подлежит компетенции полицейских органов. Отозвал агентов. Должностью он дорожил — на проценты от лотереи уже успел приобрести дом в Грасе.

В отчаянии полковник грозился, что будет действовать сам, что вместо свадьбы будут похороны, что он «исполосует хлыстом черную рожу». Но не сделал ничего, уехал на фазенду, когда о предстоящем бракосочетании объявили муниципалитет и церковь святого Франциска. До плантаций и пастбищ не доносилось пересудов, сплетен, хихиканья и аханья кумушек. Дело получило огласку, в Баие ни о чем другом не говорили. Бабка невесты, мать доны Эмилии, старая Эуфразия, уже сильно одряхлевшая, отказалась ехать с дочерью и зятем в добровольное изгнание, в сельскую глушь. Она не переносит усадебную жизнь, ее последнее и единственное удовольствие — потолковать с людьми. Так и осталась в городском доме с прислугой и шофером, в поместье ее силком не затащишь.

Бракосочетание совершилось через несколько дней в самом тесном кругу. Не в доме Забелы, как было намечено раньше. Приютив Лу по просьбе Педро Аршанжо, супруги Виража предложили также свой особняк и винный погреб для свадебного торжества. Лу боялась обидеть старую графиню, но Тадеу ее убедил: «Дорогая, так будет лучше во всех отношениях». А Забела зато уж разоделась по высшему классу и казалась картинкой из журнала мод конца XIX века. Венчал молодых фрей Тимотео, а доктор Сантос Крус, как раз в то время ведавший регистрацией браков, узаконил их союз. Оба выступили с краткими речами.

Аббат, твердо выговаривая португальские слова, — словно тесал камни, — восхвалил союз любящих сердец, благословенное единение рас, различных по крови и культуре. Не отстал от него и судья, блестящий оратор, автор советов, опубликованных в журналах: в высоких лирических тонах воспел он любовь, ломающую расовые

и социальные барьеры, чтобы создать мир красоты и гармонии. Прослезившаяся Забела сказала, что речь судьи — это «гимн любви, поэма, une merveille»¹.

На подступах к дому Силвы Виража, в дверных нишах и на углах, внимательно и пастороженно несли дежурство лучшие в Баие мастера капоэйры. Оба корифея, Будиан и Валделойр, охраняли вход в дом. Хоть полковник и отбыл в сертан, Педро Аршанжо принял необходимые меры предосторожности. Не хотел рисковать.

Из сплетниц на свадьбе была только бабка невесты. Горя желанием посудачить о безумстве внучки — «глупая девчонка, оставить семью из-за черненького голодранца», — дона Эуфразия направилась к Забеле, подруге юных лет, да еще какой подруге!

— Ах, дона Эуфразия, мадама уехала на свадьбу. Вот хоть одним глазком бы глянуть! — Служанка приплясывала от возбуждения.

— На свадьбу? На свадьбу Лу, моей внучки? Так она сегодня? А где? В доме Силвы Виража? Быстрее, шофер, может, успею хоть что-нибудь увидеть!

Когда она вошла, фрей Тимотео благословлял молодых, после чего они обменялись поцелуем.

Забела увидела в дверях знакомую фигуру:

— Nom de Dieu², никак это Эуфразия!

— Послушайте, chers amis³, пришла родственница, la grande-mère⁴ желает благословить внучку. Entrez⁵, Эуфразия, entrez!

Какую-то долю секунды старуха колебалась. Потом улыбнулась хозяйке дома, шагнула в гостиную и взглянула на внучку: чудо как хороша в подвенечном платье, с фатой и вепком на белокурых локонах, улыбаются ее губы, улыбаются огромные глаза, а молодой муж такой представительный в отлично сшитом фраке, лицом серьезный, темноват немного, ну так что ж! Пошла к новобрачным — «А, прах его побери, этого зануду зятя! В конце концов Тадеу — не первый мулат в постели у женщины нашего рода. Кому это знать, как не мне, верно, Забела?»

¹ Чудо (фр.).

² Черт побери (фр.).

³ Дорогие друзья (фр.).

⁴ Бабушка (фр.).

⁵ Входите (фр.).

Из-за спин гостей Педро Аршанжо и Лидио Корро увидели, как Тадеу исчез в объятиях бабушки Эуфразии Марии Леал да Пайва Мендес.

Священная война велась комиссаром Педрито Толстяком из года в год, и понемногу упорное сопротивление жрецов и жриц стало слабеть.

Преследование получило свое отражение в хронике народной жизни Баии: в куплетах круговой самбы, в песнях капоэйры:

Не пойду на кандомбле,
Колдовство не в моде,
Кому нужен заговór,
Тот пускай и ходит.

Многие бабалориша и иалориша переправили аше и фигурки богов куда-нибудь за город, в труднодоступные места, подальше от центра и прилегающих к нему кварталов. Другие собрали ориша, инструменты, одеяния, батикумы¹, ритмы, песни, танцы и отбыли в Рио-де-Жанейро, так вот самба и попала в бывшую столицу — в потоке беженцев из Баии. Террейро поменьше, не выдержав преследований, прекратили свое существование.

Лишь немногие из них продолжали борьбу не на жизнь, а на смерть. На этих крупных террейро, хранивших верность традициям с незапамятных времен, устраивались десятки праздников в году. В дни радений гремели атабаке, призывая богов-ориша, но участникам торжества грозили налет полиции, тюрьма, побои:

Кончайте танец,
Педрито идет,
Вот он споеет вам,
Он вам споеет,

Полицейские агенты, иногда под предводительством самого Педрито, рыскали всю ночь в поисках кандомбле и батукке, дубинка трудилась вовсю:

Тряси погремушку,
В барабан бей,
Быстрой —
Педрито
У дверей.

¹ Б а т и к у м — разновидность барабана.

С 1920 по 1926 год, в царствование всемогущего комиссара, все без исключения африканские обряды и обычаи, от продажи баианских яств до поклонения богам-ориша, подвергались постоянному и все более грубому насилию. Комиссар желал покончить с народными традициями с помощью дубинки, сабли, а то и пули. Круговую самбу оттеснили неизвестно куда, в глухие переулки, в царство жалких лачуг. Почти все школы капозэйры закрылись. Будиан какое-то время скрывался, Валделойр попался в лапы гнусной шайке и был избит. С капозэйристами обычно обходились по-особому, агенты не смели нападать на них в открытую, попробуй-ка. Всего верней — издали, выстрелами в спину. По утрам то и дело находили на улицах трупы капозэйристов, изрешеченные пулями, — дело рук шайки головорезов. Так окончили жизнь Неко Дендэ, Свиная Щетина, Жоан Секач, Кассиано Колпак.

Жертвой террора в ту жестокую пору оказался наряду с другими жрец Прокопио Шавьер де Соуза, бабалориша одного из самых крупных террейро в Баие. Он не покорялся Педрито, а тот преследовал и наказывал его без передышки. Много раз Прокопио бросали в тюрьму, спина его была исполосована багровыми рубцами — следами хлыста из сыромятной кожи. Ничто не могло сломить его, он так и не сдался. Народ пел на улицах:

Прокопью плясал на террейро,
Ждал, чтоб пришел святой,
Пришел комиссар Педрито:
«А ну-ка, пойдём со мной!»
Шпорой петух уколёт,
А мул лягнет копытом,
В танце — сила Прокопью,
В дубинке — сила Педрито.

Прокопио не спрятал атабаке, не бежал в лес или в Рио-де-Жанейро. Круг праздников сузился, из широкого стал крошечным, оганы попрятались в ожидании лучших времен. Прокопио упорствовал:

— Никто не запретит мне славить моего святого.

Стоя перед Педрито Толстяком в полицейском комисариате, весь в крови, едва прикрытый изорванной в лоскутья одеждой, он дерзко заявляет:

— Я — бабалориша, славлю моего святого, бога Ошосси.

— Ну что ты упрямышья, дуралей? Не видишь разве, боги твои ничего не стоят. Хочешь так и умереть под хлыстом?

— Я должен почитать моих ориша, в день их праздника бить в атабаке, это мой долг. Даже если вы меня за это убьете.

— Слушай, скотина безмозглая, я тебя отпускаю, но имей в виду: если заведешь свое кандомбле еще раз, это будет твое последнее шаманство, последнее!

— Раньше, чем назначено мне богом, я не умру. Ошосси защитит.

— Не умрешь? Всем вашим святым — грош цена, иначе они меня давно бы убили. Я их всех секу хлыстом, а вот живой, не умер. Что же это меня не убило твое колдовство?

— Мое колдовство доброе, я никогда не колдовал во зло.

— Слушай, мерзавец: святой, что в церкви, творит чудеса, на то он и святой. А ваши святые только устраивают безобразия, не святые — дерьмо. В тот день, когда я увижу чудо, сотворенное каким-нибудь из ваших ублюдков ориша, сразу же подам в отставку.— Педрито захохотал, ткнул рукояткой хлыста в истерзанную грудь негра.— На днях исполнится шесть лет, как я начал громить кандомбле, уничтожил почти все, остатки прикончу в два счета. И за все это время не видел, чтобы ориша сотворил чудо. Одна пустая болтовня.

Агенты подхватили его смех, «чудной этот доктор, наш доктор ничего не боится». Напоследок Педрито сказал:

— Слушай мой совет: закрывай террейро, выбрось барабаны, пошли в задницу своего святого — и я возьму тебя в полицию. У нас житье — что надо, спроси вот их. Если застучишь в барабан, тебе крышка. Я слов на ветер не бросаю.

— Никто не запретит мне славить моего святого.

— Попробуй — увидишь. Я тебя предупредил.

Дурной пример упрямства и непослушания, опасный и коварный огонь в ночи. Прокопио непреклонен, такое дерево не согнешь. Педрито обвел взглядом своих людей, «банду головорезов, убийц на службе у комиссара полиции». Командуя ими седьмой год, он знал, чего стоят доблесть и верность каждого из этих воинов славной когорты, паладинов священной войны. Настоящим бойцом, бесстрашным, надежным, как скала, карающей десницей комиссара, его послушным верным псом был только один из них — Зе Широкая Душа.

От пышных празднеств, которыми славилось когда-то террейро Иле Огунжа, остались каких-нибудь полдюжины старых жриц, до конца преданных своим богам, да десяток оганов. На празднике Ошосси даже не было алабэ¹. Если бы не Ожуоба и Прокопио, некому было бы управлять оркестром. Поговаривали, будто бы комиссар Педрито грозил, если Прокопио откроет праздник, явится на террейро собственной персоной, и тогда берегись каждый, кого он там найдет. Он-де предупредил жреца: «Как застучишь в барабан, так ты и достукался».

В предместных кварталах все считали, что Прокопио пропал. Агенты на этот раз не удовольствуются взбучкой, арестами и разгромом капища. Им приказано покончить с бабалориша. Вопреки советам и предостережениям упрямый Прокопио решил открыть террейро в день праздника тела Христова, день Ошосси, и почтить своего ориша. «Как же это я не отпраздную день своего святого? — сказал он Педро Аршанжо в «Лавке чудес». — Даже если меня убьют, я обязан это сделать, иначе зачем было принимать скипетр бабалориша?»

Педро Аршанжо предложил организовать охрану террейро силами капоэйристов, которые заступили бы путь сбирам полицейского комиссара. За годы беспощадной войны агенты полиции убили многих смельчаков, одной из первых жертв был Мануэл де Прашедес. Кое-кто пал духом, бежал, некоторые притихли, бросили капойэру. Но осталось еще немало бесстрашных, и Педро Аршанжо знал, где их найти. Прокопио от охраны отказался. Если уж придет комиссар, то пусть он найдет на террейро только бабалориша, «дочерей святого» и алабэ. Чем меньше народа, тем лучше.

Публики на празднике и в самом деле было мало, но действие получилось на славу. Святые не заставили себя ждать, пришли скопом: Шанго и Иансан, Ошала и Нанан Буроко, Эуа и Роко, Иеманжа — царица морей, Ошумаре в виде огромной змеи. В центре площадки — Ошосси, повелитель Кету, охотник за дикими зверями с луком и стрелами в правой руке, со скипетром — в левой. Окэ арб! — приветствовал его Ожуоба Педро Аршанжо. Ошосси — Прокопио протанцевал к двери и там испустил свой воинственный клич. Ожуоба и девушки

¹ Алабэ — руководитель оркестра на кандомбле.

пели в такт движениям танцующего, все шло как надо, тихо-мирно. Окэ арб, Ошосси!

Близкий рокот автомобильного мотора возвестил танцующему Прокопио его смертный час. Выполнение заданий определенного рода комиссар полиции Педрито Толстяк доверял только Зе Широкая Душа: в его огромном теле не было места для страха и сомнения, а уста не утруждали себя вопросами. Когда нужно было заставить навеки умолкнуть какого-нибудь смутьяна, Зе Широкая Душа не знал себе равных.

Как правило, Педрито не использовал Зе для расправы с безоружными людьми в несложных операциях, таких как разгон кандомбле, круговой самбы, раншо и батуке. Комиссар берегал своего верного помощника, сторожевого пса, карающую десницу, для самых опасных дел. Всякий раз, как предстояло встретиться лицом к лицу заклятого врага, отъявленного убийцу либо политического противника, у которого меткий глаз и твердая рука, без Зе дело не обходилось. Так было, когда брали Зигобара: Зе Широкая Душа свалил бандита одной оплеухой. Когда в Коммерческом клубе журналист Америко Монтейро стрелял в комиссара полиции почти в упор, пистолет из руки стрелявшего выбил не кто иной, как Зе Широкая Душа, и он не задушил журналиста только потому, что Педрито пожелал расправиться с противником собственной тростью. «Отпусти-ка его, Зе, пусть он покажет свою храбрость без оружия!»

Зе поручалось также дежурство у подъезда дома свиданий Висензы в Амаралине: в свободные вечера Педрито выступал в роли соблазнителя замужних женщин, а рогиносцы порой бывают свирепы, доказательством тому служил шрам от удара ножом на животе комиссара полиции.

Сверх того, Зе Широкая Душа выполнял еще тайные приказы, ответственные задания, за которые хорошо платили. В придорожной канаве утром находили труп с разможенной головой или следами пальцев на шее. Когда Зе Широкая Душа поднимал могучую руку, у любого храбреца душа уходила в пятки. Гуга Марото был отчаянная голова, боец, лев. Но когда он ощутил на шее железные пальцы Зе, пал на колени, запросил пощады.

На операцию по разгону кандомбле Педрито взял его впервые. На случай сопротивления, впрочем маловероятного, прихватил еще Самуэла Коралловая Змея и Зака-

риа са да Гомейю, у которых были особые счеты с кан-домбле и ориша.

Педрито — в безупречном английском костюме, в па-наме, с неизбежной тростью, держа в зубах длинный мундштук с дымящейся сигаретой, настоящий денди, — крикнул с порога:

— Прокопио, я тебя предупреждал!

В тоне комиссара Педро Аршанжо услышал смерт-ный приговор своему другу. Среди агентов, ставших за спиной бакалавра, местре Педро узнал Зе Огуна, кото-рого не видел много лет, с тех пор как Маже Бассан лишила Зе права петь и танцевать на празднике, запрети-ла ему даже появляться на террейро за святотатство: убийство иаво. Когда в Зе вселялся святой, силы его удваивались. Как-то раз, на террейро Консейсан-да-Прайя, разъярившись из-за упрямства одной девчонки, он вошел в транс и положил конец празднику, обратив в бегство целое отделение солдат муниципальной гвар-дии. Взяли его лишь на другой день, когда он беззаботно спал на откосе у рынка. Тогда-то комиссар Педрито и взял его в телохранители, вызволив из тюрьмы. Агенты прозвали его Широкая Душа за простоту в обращении и легкость, с какой он отправлял людей на тот свет. Ожу-оба, узнав Зе Огуна, понял: можно ожидать всего.

— Прекрати, Прокопио, кончай это безобразие! — приказал комиссар. — Сдавайся, и я отпущу всех остальных.

— Я — Ошосси, меня никто не прикончит!

— Я тебя прикончу сию минуту, сучий святой! — И Педрито указал Зе на Прокопио: — Возьми его! Жи-вым или мертвым!

Черная громадина двинулась вперед, но Ожуоба гла-зами Шанго приметил, что, ступая в магический круг, душегуб словно застрял. Самуэл Коралловая Змея и Закариас да Гомейя стали по обе стороны площадки, го-товые накинуться на всякого, кто вздумал бы оказать сопротивление. Прокопио продолжал танец, ведь он был Ошосси, бог охоты, хозяин сельвы, повелитель Кету.

Говорят, что тут-то и появился Эшу, вернувшись из-за горизонта. Ожуоба сказал: «Ларойé, Эшу!» Дальше все произошло очень быстро. Когда Зе Широкая Душа сделал еще один шаг к Ошосси, он увидел перед собой Педро Аршанжо. Ожуобу Педро Аршанжо, но многие говорят, что это был сам Эшу. Властным голосом вы-крикнул он магические слова страшного проклятия:

— Огун капé дан межí, дан пелу́ онибан!

Услышав колдовской заговор, Зе Широкая Душа, негр ростом под потолок, с руками гориллы и холодными глазами убийцы, остановился, замер. Зе Огун издал вопль, подпрыгнул, далеко отшвырнул ботинки, завертелся волчком и обернулся ориша, сила его удвоилась. «Огунье!» — крикнул он, и все присутствующие откликнулись: «Огунье, отец наш Огун!»

— Огун капé дан межí, дан пелу́ онибан! — повторил Педро Аршанжо. — Огун позвал двух змей, и они поднялись и зашипели на солдат!

Взметнулись руки ориша, согнутые в кисти, словно поднявшие головы змей: Зе Широкая Душа, разъяренный Огун, пошел на Педрито.

— Ты спятил, Зе?!

Самуэлу Коралловая Змея и Закариасу да Гомейя волей-неволей пришлось стать меж гневным божеством и полицейским комиссаром. Зе Широкая Душа правой рукой схватил Самуэла, которым некогда был подло убит Мануэл де Прашедес, добродушный гигант, шкипер и грузчик. Зе поднял убийцу на воздух, перевернул, словно котенка, и бросил оземь головой вниз. Хрустнули шейные позвонки, голова ушла в плечи, агент тотчас испустил дух у ног комиссара. Закариас да Гомейя выхватил револьвер, но выстрелить не успел: получив пинок в пах, взвыл и рухнул без сознания, вышел из строя навсегда.

Педрито Толстяк за всю жизнь испытал страх всего дважды, и об этих случаях никто не знал.

Впервые это произошло в дни его юности, когда Педрито, студент первого курса факультета права, стажировался у опытных проституток. Однажды, после оргии, заснул в постели одной из этих несчастных, худой и чахоточной, и проснулся среди ночи от прикосновения ножа к горлу. Нож разрезал кожу, полилась кровь, у Педрито на память остался шрам. Однако женщина была слишком пьяна, и юный Педрито, в ту же секунду опомнившись от ужаса, схватил ее за руку и тем же ножом исполосовал ей лицо. Свидетелей его испуга, когда он проснулся, почувствовав у горла нож, разумеется, не было.

Второй раз он испугался, когда уже был взрослым и гостил в фазенде отца после окончания университета. Там он крутил любовь с женой одного из батраков, и вот однажды днем, когда все были на работе, а Педри-

то вкушал блаженство в объятиях распутницы, он вдруг ощутил острое ножа между лопаток и услышал яростный крик: «Убью сукина сына!» Вот тут он еще раз замер от страха. Спас его чей-то крик под окном, кто-то позвал батрака. Тот на мгновение растерялся, и этого было достаточно, чтобы Педрито пришел в себя, выхватил нож у несчастного рогоносца и всыпал ему как следует. И об этом испуге никто не узнал, разве что женщина почувствовала, как заколотилось сердце у ее любовника. Когда сбежался народ, Педрито вел себя как мужчина: колошматил батрака, уча его уму-разуму.

Но вот теперь, в третий раз, он испугался на людях, это был дикий, панический страх при всем честном народе. Когда Зе Широкая Душа, цепной пес, убивавший по одному его слову, его правая рука, обернулся вдруг Огуном и пошел на своего господина, Педрито понадобилось все его самолюбие, чтобы поднять трость в последней попытке вернуть к повиновению своего агента. Не помогло. Трость хрустнула в железных пальцах — в зубах змей, нацеливших головы на предводителя благословенного крестового похода, полководца священной войны. Пришлось Педрито Толстяку бежать самым постыдным образом, в панике взывая о помощи, к своему автомобилю, который умчал бы его подальше от этого ада, где ориша принялись за чудеса. Но, увы, кто-то из макумбейро проткнул все четыре шины.

И вот по людным улицам всем на удивленье бежит со всех ног комиссар полиции Педрито Толстяк, жестокосердный зверь, предводитель зловещей банды головорезов, паладин священной войны, не ведающий жалости, гроза нищих кварталов, а за ним вдогонку — ориша из кандомбле, воитель Огун, несущий двух взъяренных змей.

Весь город смеялся, оппозиционные газеты потешались всюю, Лулу Парола написал стишок в ритме народного куплета:

Местре Аршавжо сбил
Разом всю спесь с Педрито.

20

Начальник полиции принял от Педрито Толстяка прошение об отставке с нескрываемым удовлетворением. Малоприятное наследие старой администрации штата,

неуправляемый исполнитель, поступавший как ему заблагорассудится, не ожидая приказа и не представляя отчета, его, начальника полиции, заместитель, окруженный эскортом бандитов, громил и убийц, Педрито давно уже стал у него бельмом в глазу, и только страх мешал ему уволить ретивого комиссара на благо общественного порядка.

Педрито исчез из Баии на много месяцев, отправился в Европу «для пополнения образования». Что касается Зе Широкая Душа, то полиция обшарила весь город, банда головорезов вышла на последнее задание. Его нашли в зарослях за фазендой Кабула и без всяких разговоров изрешетили пулями. Перед смертью Зе Широкая Душа все же дотянулся до горла Иносенцио Семь Смертей и захватил его с собой туда, где на том свете уготовано место для убийц.

Должность комиссара — заместителя начальника полиции, который был номинально вторым лицом после начальника полиции, но на практике руководил всеми делами, ибо на него возлагались исполнительные функции, упразднили и ввели должность комиссара — помощника начальника полиции. Бакалавр Фернандо Гоис, первым заступивший на эту должность, остановил крестовый поход, снял запрет со смеха и праздников. Насилие было не по душе бакалавру, любезному и изнеженному молодому человеку, готовившему себя к деятельности банкира.

Двери террейро опять открылись для участников кандобле, вновь вышли на улицу афоше, самба проникла на карнавал, заново создавались раншо и терно, бумба-меу-бой и пасторил. Капоэйристы снова взялись за беримбау и снова запели свои песни:

Змея берегись, ужалит,
Сеньор Сан-Бенто,
Пружиной змея взлетает,
Сеньор Сан-Бенто,
Гляди, куманек!

«А ведь как долго ведем мы с ними спор, кум Аршанжо!» — подумал Лидио Корро в «Лавке чудес», прочтя заметку об отставке комиссара Педрито. Эту борьбу с полицией, с правительством, борьбу с ненавистью они начали более четверти века назад, в конце прошлого столетия, когда впервые задумали, организовали и вывели на улицу первое карнавальное афоше «Африкан-

ское посольство». Местом действия был двор Ошала, Послом выступал Лидио, Танцовщиком — Валделойр.

На том начальном этапе они одержали победу, добившись отставки возглавлявшего полицию доктора Франсиско Антонио де Кастро Сороменьо, который запретил раншо и афоше, батуче и самбу. «Хорошие были времена, а, кум? Как мы шли, молодые и отчаянные, в афоше «Дети Баии», показывая кукиш полиции: да здравствует народ и его праздник! Помнишь, кум? Долгий это спор, и конца ему не видно. Майор Дамиан де Соуза, тогда еще мальчишка, стащил фуражку с головы солдата, покойный Мануэл де Прашедес играл роль Зумби. Наша драка с ними не утихала, кум, шла она на улице и на террейро, в книгах и в газетах, велась пером и булыжником, на празднике и в потасовке. Долгая борьба, схватка без конца. Да кончится ли она когда-нибудь, а, кум?»

«Когда-нибудь кончится, мой милый, хоть мы этого и не увидим. Мы умрем в драке, как теперь дракой утешаемся. Разве не потеха, кум: бежит по улице Педрито, за ним Огун, руки что змеи, смех, да и только. В драке и умрем. Мы были молоды и дерзки. Кукиш полиции, да здравствует народ Баии!»

21

Как-то вечером, через много недель после событий на кандомбле Прокопио, несколько человек возвращались на автомобиле с праздника в «Белом доме» на Старом Заводе, где террейро было восстановлено во всем его прежнем великолепии. За рулем сидел владелец автомобиля, профессор Фрага Нето, исполняющий обязанности заведующего кафедрой паразитологии, а с ним ехали фрей Тимотео — с длинной бородой и розовыми, как у голландских статуэток, щеками, в мирской одежде аббат походил на бродячего торговца, сантейро Мигел и Педро Аршанжо. Остановились у монастыря, простились с аббатом, потом отвезли Мигела, который жил в каморке при своем магазине на улице Лисеу.

В Германии профессор Фрага Нето стал полуночником и пристрастился к пиву:

— Как насчет того, чтобы промочить горло, местре Педро? Во рту пересохло, это кушанье с оливковым маслом было очень вкусное, но после него так хочется пить.

— Пивка неплохо бы.

Зашли в бар Переса на углу террейро, чуть подальше Собора, как раз напротив медицинского факультета. Сделав несколько глотков, профессор Фрага Нето заговорил:

— Сейчас мы с вами не профессор и педель кафедры паразитологии, а двое ученых, двое друзей. Давайте говорить откровенно и, если хотите, зовите меня «дружище», как вы называете всех на свете. Мне хочется, чтобы вы сегодня кое-что мне разъяснили.

«Друзья?» — подумал Аршанжо. Профессор и педель питали друг к другу явную симпатию. Фрага Нето, порывистый и щедрый душой, пылкий энтузиаст, человек кипучего, взрывного темперамента, ценил в Аршанжо зрелость суждений, опыт, уверенность в себе, упорство, скрытое за мягкостью манер, жизнелюбие. Может ли педель стать другом профессора? Аршанжо считал себя другом Силвы Виража. Более пятнадцати лет — срок немалый — ощущал он тепло отеческого расположения ученого, хотя разница в их возрасте была не так уж велика. Все эти годы ученый направлял его усилия, защищал, поддерживал, постоянно оказывал ненавязчивую помощь. Дружеские чувства питал Аршанжо и к Фраге Нето, который как только появился на факультете, тут же процитировал на защите диссертации кусок из его «Африканских влияний на народные обычаи Баии» и с тех пор всегда искал его общества, охотно с ним беседовал. Не раз и не два заходил он и в «Лавку чудес», но там уже не было шумных богемных сборищ с танцами и песнями — теперь это было серьезное и процветающее полиграфическое предприятие, где вечерами собирались хозяева и почетные гости обсудить тот или иной вопрос. Да, конечно, он друг Силве Виража и Фраге Нето, но это особая дружба, не та, что связывает его с Лидио, Будианом, Валделойром, Ауссой, Манэ Лимой и Мигелом: эти ему ровня, а те — ступенькой выше. Местре Аршанжо не хотел подыматься по лестнице, хотя бы ему и протягивали дружескую руку. Это майор Дамиан де Соуза умеет сохранить равновесие, стоя одной ногой на нижней, другой — на верхней ступеньке. А Тадеу? Что-то долго нет от него вестей. Местре Педро пьет пиво. Профессор Фрага Нето разглядывает своего подчиненного: что таится в этом взгляде за этими мягкими чертами бронзового лица? О чем думает этот человек, как он понимает жизнь?

Фрага Нето ходил в «Лавку чудес», чтобы, по его выражению, общаться с народом, «с трудящимися массами». Слушая, как Фрага Нето рассказывает о жизни в Европе, о научных исследованиях, о политических течениях, о рабочем движении, Педро Аршанжо порой вдруг ощущал себя стариком, человеком прошлого, который слышит пророческие слова на новом для него языке о мире, где не будет места даже тем ничтожным различиям, что отделяют его от Фраги Нето.

— Так вот, друг мой, — вновь заговорил профессор, прерывая ход мыслей Аршанжо. — Я не в силах уяснить одной вещи, и это не дает мне покоя. Об этом-то мне и хотелось вас спросить.

— Что же это за вещь? Спрашивайте, если смогу — отвечу.

— Я хотел бы знать, как это вы, ученый, да-да, ученый, не важно, что у вас нет диплома... Так вот, оставим околичности и будем называть все своими именами. Я хотел бы знать, как это вы верите в кандомбле?

Фрага Нето осушил свой стакан, снова налил.

— Ведь вы верите, не так ли? Если б вы не верили, как бы вы могли проделывать все, что там требуется: петь, танцевать, выполнять всякие штучки, давать целовать руку, все это очень мило, не спорю, наш аббат сегодня прямо-таки слюни пускал от удовольствия, но согласитесь, местре Педро, это же все от первобытного человека — предрассудки, варварство, идолопоклонство, ранний этап цивилизации. Ну как это возможно?

Педро Аршанжо немного помолчал, отодвинул пустой стакан, попросил испанца подать кашасы: «Моей, вы знаете какой».

— Я мог бы сказать, что люблю петь и танцевать. Фрею Тимотео нравится, мол, смотреть, а мне — делать самому. Этого было бы достаточно.

— Нет, вы сами понимаете, что меня интересует другое. Я хочу знать, как вы можете примирить ваше научное сознание с участием в кандомбле. Вот что мне нужно. Как вам известно, я — материалист и порой становлюсь в тупик противоречиями человеческой природы. Вот перед этим вашим противоречием, например. В вас будто два человека: один пишет книги, другой — пляшет на террейро.

Испанец подал рюмку кашасы, Педро Аршанжо залпом выпил: этот настырный парень доискивается ответа

на самую трудную загадку, раскрытия его сокровенной тайны.

— Педро Аршанжо Ожуба, тот, что читает книги и любит поговорить, что сейчас толкует и рассуждает с профессором Фрагой Нето, и тот, что целует руку Пулкери-иалориша,— это два разных человека, и вы, возможно, думаете, что один из них белый, а другой черный? Нет, профессор, тут вы ошиблись — один-единственный. Смесь того и другого, мулат, но один.

Голос его, исполненный непривычной торжественности, звучит сурово и размеренно, каждое слово идет из глубины, от сердца.

— Но как можно, местре Педро, сочетать непримиримое, быть одновременно и тем, и другим?

— Я метис, что-то во мне от белого, что-то — от черного, я белый и черный одновременно. Я родился на кандомбле, вырос среди ориша и еще юношей получил высокую должность на террейро. Знаете, что такое Ожуба? Я — глаза Шанго, дорогой профессор. У меня высокие обязанности, высокая ответственность.

Постучал по столу, призывая официанта:

— Пива сеньору профессору, рюмку кашасы — мне. Верю я или нет? Скажу вам то, чего никому не говорил, кроме себя самого, и если вы кому-нибудь об этом скажете, мне придется отказаться от своих слов.

— Не беспокойтесь.

— Долгие годы я верил в моих ориша, как фрей Тимотео — в своих святых, Христа и богоматерь. В те времена все познания я получал на улице. Потом стал искать другие источники, обрел новые ценности и веру мою потерял. Вы — материалист, профессор. Я не читал авторов, которых вы цитируете, но я в такой же мере материалист, как и вы. Может, даже еще больше, как знать.

— Еще больше? Почему же?

— Потому что я, как и вы, знаю: все сущее — материя, но я при всем том еще знаю, что порой меня охватывает страх, и я места себе не нахожу. Мои знания меня от него не ограждают.

— Ну и что же?

— Все, что составляло для меня основу, землю под ногами, оказалось вдруг нехитрой загадкой. Чудо сошествия святых — всего-навсего состояние транса, доступное для анализа и объяснения первокурснику медицинского факультета. Для меня, профессор, существует

только материя. Но из-за этого я не отказываюсь от кандомбле, не слагаю с себя сап Ожуобы, держу свой обет. В отличие от вас я не боюсь, что мой материализм от этого пострадает, что я уроню себя в мнении окружающих.

— Просто я последователен, а вы — нет! — вскипел Фрага Нето.— Раз вы больше не верите, какого черта ломать всю эту комедию? В чем тут смысл?

— А вот в чем. Во-первых, как я уже говорил, я люблю танцевать и петь, люблю праздники, особенно кандомбле, а главное — мы ведем борьбу, упорную и жестокую. Разве вы не видите, как яростно обрушиваются на то единственное, что у нас, негров и мулатов, свое, что от нас неотъемлемо, что определяет наше лицо? Со всем еще недавно, при комиссаре Педрито, свободный гражданин Баии, идя на кандомбле, подвергал себя опасности, рисковал свободой, а то и жизнью. Вам это известно, я рассказывал. А знаете вы, сколько людей погибло? И знаете, почему эта война с нами затихла? Не кончилась, нет,— затихла? Знаете, из-за чего комиссару Педрито пришлось убраться восвояси?

— Я слышал эту историю не раз, дикость какая-то, а вы там главный герой.

— Вы думаете, если бы я стал приводить свои резоны Педрито Толстяку, как я привожу их вам, это к чему-нибудь привело бы? Если бы я провозгласил мой материализм, бросил ходить на кандомбле, заявив, что все это — детские игрушки, порождение первобытного страха, невежества и нищеты, кому бы я этим помог? Я помог бы, сеньор профессор, комиссару Педрито и его банде головорезов, помог бы лишить народ его праздника. Вот почему я предпочитаю ходить на кандомбле, к тому же я люблю петь и танцевать под перестук атабаке.

— Но, поступая так, местре Педро, вы же не помогаете строить новое общество, не участвуете в преобразовании мира?

— Разве не участвую? Я уверен, что ориша — достоинство народа, капоэйра, самба, афоше, атабаке, беримбау — это все принадлежит народу. А вы, профессор, с вашей узкой ортодоксальностью хотите уничтожить это народное достоинство, ни дать ни взять — комиссар Педрито, простите на слове. Мне же материализм не помеха. Что до перестройки мира, так я в нее верю, профессор, и, думаю, кое-что для нее сделал,

Педро Аршанжо обвел взглядом площадь Террейро Иисуса.

— Вот — Террейро Иисуса, в Баие все перемешано, сеньор профессор. Тут вам и церковь Иисуса, и террейро Ошала, и террейро Иисуса. Я сам — плод смешения народов и рас, я — мулат, я — бразилец. Завтра будет так, как вы говорите, как вы требуете, непременно будет, мы на месте не стоим. Придет день, когда все перемешается окончательно: все, что сегодня — магический обряд и выражение борьбы бедного люда, праздник в кругу негров и метисов, запрещенная музыка, недозволенные танцы, кандомбле, самба, капоэйра — все это сольется в единый праздник бразильского народа, это будет наша национальная музыка, наши танцы, наша смуглая кожа, наш смех. Вы понимаете меня?

— Не знаю, может, вы и правы, мне надо обдумать вашу позицию.

— Скажу вам больше, профессор. Из научной литературы я знаю, что сверхъестественное — фикция, плод эмоций, а не разума, порождение страха. И все же, когда мой крестник Тадеу сообщил мне, что хочет жениться на белой девушке, я невольно вспомнил гадание старшей жрицы на празднике в честь его выпуска. Это у меня в крови, профессор. Во мне жив еще древний человек, хочу я этого или нет, — слишком долго я им был. А теперь, профессор, скажите, как по-вашему, трудно или нет сочетать науку с жизнью, то, что узнаешь из книг, с тем, чем живешь каждый день и час?

— Если пробуешь проводить идею в жизнь огнем и мечом, она начинает жечь и казнить тебя самого, не так ли? Вы это хотели сказать?

— Если бы я провозгласил свою истину во всеуслышание и заявил, что, мол, все это детские игрушки, я помог бы полиции и, как говорят, пошел бы в гору. Помните мое слово, дружище, настанет день, когда ориша будут танцевать на сцене театра. А в гору я не хочу, я иду вперед, мой милый!

22

— Ну, уж здесь он сам себя перещеголял, этот Нило Арголо, чертова скотина. Только вообразите: свой опус он предназначает не больше не меньше как парламенту, чтобы тот издал соответствующий закон. Даже не закон, а свод законов, на меньшее он не согласен! — Профессор

Фрага Нето в негодовании размахивал брошюрой.— В Соединенных Штатах и то не додумались до такого бесчеловечного законопроекта. Этот монстр переплюнул самые поганые законы южных штатов, цитадели расизма. Прямо-таки шедевр, вы только почитайте!

Фрага Нето отличался пылкостью нрава, постоянно собирал вокруг себя микромитинги в коридоре факультета или под деревьями на террейро, загораясь энтузиазмом или вспыхивая негодованием по тому или иному поводу. За пять с лишним лет он снискал широкую популярность среди студентов, которые обращались к нему с любым вопросом, он стал для них чем-то вроде главного куратора.

— Этот Арголо — опасный маньяк, давно пора его одернуть!

Педро Аршанжо прочел брошюру, в которой профессор судебной медицины систематизировал и собрал воедино свои пресловутые идеи о расовой проблеме в Бразилии. Превосходство арийской расы, неполноценность всех остальных, особенно черной, которая пребывает в первобытном, полуживотном состоянии. Метисация — опасность номер один, язва, злая чума, грозящая породить в Бразилии, в тропическом климате, расовую группу недочеловеков, тупых и наглых дегенератов, отмеченных печатью преступности. Вся наша отсталость происходит не от чего иного, как от смешения рас. Негров еще можно было бы использовать для грубой работы, они сильны, как тягловый скот. Мулаты же, ленивые и развращенные, и на это не пригодны. Они портят социальную картину Бразилии, разлагают дух народа, встают помехой на пути любого серьезного начинания в духе прогресса, «поступательного движения нации». Пересыпанная цитатами напыщенное и витиеватое, в стиле XVI века изложение, профессор ставил диагноз, освещал ход болезни, степень ее запущенности, выписывал рецепт, вкладывал в руки законодателей скальпель, щипцы и план операции. Только свод законов, издание которого — патристический долг законодателей, свод законов, устанавливающих абсолютную расовую сегрегацию, может еще удержать родину на краю бездны, куда увлекает ее «ведущее к деградации и дегенерации» смешение рас.

Такой свод законов, регламентирующий статус негров и метисов, может иметь в своей основе два вида мероприятий.

Первое — изоляция негров и метисов в специально отведенных для этого географических районах; профессор Нило Арголо назвал эти районы: Амазония, Мато-Гроссо и Гойас. Прилагаемые к брошюре карты не оставляли никаких сомнений относительно того, что за места он отвел бы «цветным». Правда, выбор района не носил окончательного характера, задача состояла пока лишь в том, чтобы содержать «низшую расу», «загрязняющий этнический компонент» отдельно от населения страны, пока не будет подобрана постоянная резервация. Профессор не исключал возможности приобретения правительством каких-то земель в Африке, где можно было бы разместить черное и смешанное население Бразилии. Что-нибудь вроде Либерии, не повторяя, разумеется, ошибок Соединенных Штатов Америки. Из Бразилии негры и метисы должны быть высланы, по возможности все сразу и на веки веков.

Второй законопроект, проведение которого в жизнь не терпит никаких отлагательств, — запрещение браков между белыми и черными, причем под «черными» имеются в виду все, в ком есть хоть капля африканской крови. Только полный и категорический запрет может положить конец пагубному смешению рас.

В общем, проекты и тезисы, написанные «незаслуженно забытым» пронафталиненным слогом, казались на первый взгляд заведомой чужью. Тем не менее нашлись газетчики и даже парламентарии, которые их приняли всерьез, и в 1934 году, по случаю созыва Учредительного собрания, кое-кто извлек на свет божий писания профессора Арголо, изданные под заголовком «Введение в изучение Кодекса национального спасения».

Давно уж Педро Аршанжо не давал воли гневу. После того как полковник Гомес отказал его крестнику Тадеу, ни одно событие не дало повода местре Аршанжо для таких сильных эмоций. В борьбе с произволом комиссара Педрито он болел душой, видя погромы, аресты, убийства, но оставался сдержанным и мягким в обращении — эти черты были спутниками его зрелости и предшественниками старости. Вежливый, обстоятельный, напористый и точный в действиях, когда приходилось действовать, мягкий и покладистый в быту, веселый со-трапезник, отзывчивый и добрый — таков был в ту пору Педро Аршанжо. Но брошюра Нило Арголо вывела его из себя, ему пришлось облегчить душу руганью: «Старый педераст, идиот, безмозглая скотина, сволочь!»

Все еще кипя негодованием, он направился к Забеле, которая к тому времени совсем обезножела, передвигалась в кресле на колесах и сильно одряхла. Педро Аршанжо так никогда и не знал, сколько ей лет. Когда он познакомился с ней четверть века назад, она уже выглядела достаточно немощной и старой, видно было, что за плечами у нее долгая жизнь, прожитая бурно, без удержу, без оглядки... И еще лет десять Забела оставалась такой, какой он впервые ее увидел в «Лавке чудес» — любопытной, вечно суетящейся, неутомимой. Временами она казалась чуть ли не девчонкой, столь жизнерадостной была экс-принцесса Реконкаво и экс-королева Парижа.

Ревматизм в конце концов утихомирил ее, положил конец ее живости. Боль грызла Забелу, только уколы и спасали. Больная поносила врачей, ругалась порой до иступления. Упорно не сдавалась, продолжая ковылять по улице из конца в конец для мочиона, пока ноги совсем не отказали. Что поделаешь, пришлось сесть в кресло-каталку, присланное из Сан-Пауло профессором Силвой Виража, который узнал о ее беде из писем Педро Аршанжо. Но все равно желчной старухой графиня не стала. Воркотня ее носила печать кокетства, а не нытья — чем еще старухе покрасоваться? До последнего дня сохранила она ясность ума и присутствие духа. Жить хотела, но боялась старческого маразма — как бы не превратиться в «полоумную дурочку, над которой все потешаются». «Если я свихнусь,— говорила она Педро Аршанжо,— разбудьте на факультете яд, что убивает сразу, и дайте мне так, чтоб я не догадалась». Сколько же ей лет? Девяносто, если не больше.

Приход любого гостя был для нее праздником, приход такого гостя, как Педро Аршанжо,— вдвойне, с ним она могла говорить часами, спрашивала, как там дела у Тадеу и Лу — «эти бесстыдники совсем ничего не пишут». Правда, что Гомесы с ними помирились? Пока жива была Эуфразия, обо всем можно было узнать. Но та отдала богу душу, и теперь самые сногсшибательные новости узнаешь от случая к случаю: вот тут как-то дальний родственник, житель Рио, был проездом в Баие, зашел навестить, награди его господи за доброе дело! Этот самый родственник, кузен Жувенцио де Араужо, страховой агент, видел в столице семейство Гомесов в полном сборе: Эмилия, полковник, Лу и Тадеу. Прогуливались по Копакабана в самом что ни на есть добром

согласии. Непреклонный полковник сам представил Тадеу страховому агенту: «Мой зять, доктор Тадеу Каньото, инженер группы, занятой урбанизацией Рио-де-Жанейро». Полковник явно гордился зятем, шел с ним об руку. Аршанжо подтвердил известие о примирении. Узнал он о нем, правда, не от Тадеу и Лу, от них давно не было известий. Он повстречал Астерио, брата Лу, вернувшегося из Соединенных Штатов. Тот охотно рассказал все, что ему было известно о молодой чете, в том числе и про капитуляцию полковника. Тот, как узнал о беременности дочери, помчался в Рио. К сожалению, ребенка сохранить не удалось — преждевременные роды. А в остальном — полное благополучие, радужные надежды. «Тадеу — вы, конечно, в курсе событий — делает блестящую карьеру, оказался первоклассным градостроителем, куда до него полковнику Гомесу». Тут молодой человек подмигнул и расхохотался; симпатичный малый, живет в свое удовольствие, о работе и не думает.

А не кажется ли Педро, что Тадеу проявляет неблагодарность? — спросила Забела. Неблагодарность? Тем, что не пишет? У него работа, важные дела, времени не хватает. Да и сам он, Педро Аршанжо, писать не любител. Забела глянула ему в глаза: «Ну и хитрец этот мулат — нипочем не узнаешь, что у него на душе».

Педро Аршанжо читал ей вслух, она вспоминала стихи, спрашивала о новостях, за компанию вытягивала рюмочку ликера. Старуха плевала на строжайший запрет врачей, что сделается от такой капли!

На сей раз он пришел к Забеле просить разрешения на обнародование в книге, которую он готовил к печати, полученных от нее за двадцать лет сведений о баианских знатных семействах, что так кичились своими предками, в жилах которых якобы не текло ни капли негриянской крови. Показал ей брошюру профессора Нило Арголо: негров и метисов — в Амазонию, в селву, к москитам и болотной лихорадке, в сплетение рек и речушек, в топи Мато-Гроссо.

— И не оставить ни одного, чтоб рассказал, как все это было... — смеялась Забела, морщась, — ей больно было смеяться.

Педро Аршанжо тоже рассмеялся, старуха развеяла его дурное настроение.

— Нило Арголо — червяк, инфузория, un sale individu¹, скотина скотиной. Пишите книгу, сын мой, выкладывайте всю подноготную, да поскорей, чтоб я перед смертью вволю посмеялась de ces emmerdeurs².

Педро Аршанжо вернулся к жесткому рабочему режиму, он спешил выполнить просьбу Забелы: «Хочу поддержать эту книгу в руках и послать один экземпляр Нило д'Авила Арголо де Араужо avec une dédicace»³.

Не дождалась, умерла. Умерла в здравом рассудке, а накануне смерти еще злорадствовала и смеялась до колик, — «un fou rigé, mon cher»⁴, когда Аршанжо рассказал ей о своем последнем открытии: некий негр по имени Бомбоше оказался его, Педро Аршанжо, прадедом «и еще чьим, знаете? Профессора Нило Арголо де Араужо. О-ла-ла!»

На другое утро служанка нашла ее мертвой в кровати под балдахинном в стиле рококо. Она умерла во сне, и это был единственный тихий поступок за всю ее шумную, яркую и праздничную жизнь, полную бурных страстей. Хмурым утром, серым и сырым, вокруг иссохшего тела собрались немногочисленные участники похорон, половина — из особняков Витории, другая — из проулков Пелоруиньо и Табуана. Гроб к фамильному склепу Араужо-и-Пиньо несли Педро Аршанжо и Лидио Корро вместе с Гонсалвесами, Авила, Арголо, Мартинсами и Араужо.

Вернувшись с похорон, Педро Аршанжо не отходил от письменного стола, спешил исполнить волю Забелы. Примерно через год после публикации законодательных предложений профессора Нило Арголо куму Лидио удалось отпечатать на самой дешевой бумаге и кое-как переплести сто сорок два экземпляра «Заметок о смешанных браках в баианских семьях». Денег не хватало, ремонт типографского станка сожрал все ресурсы, пришлось обойтись отходами бумаги, выпрошенными у газетных издательств, но и за них нужно было платить.

В своей третьей книге Педро Аршанжо проследил истоки смешения рас и получил результаты, которые превзошли все его ожидания: без примеси негритянской крови не было в Баие ни одного семейства, если не говорить о дюжине иммигрантов, которые, разумеется, в

¹ Грязный тип (фр.).

² Над этим дерьмом (фр.).

³ С посвящением (фр.).

⁴ Безумно смешно, дорогой мой (фр.).

счет не шли. Такой вещи, как чистота белой расы, в Баие не существовало, в любом роду была либо индейская, либо негритянская кровь, а то и обе вместе. Смешение рас, начавшись с кораблекрушения Карамуру¹, никогда не прекращалось, а сейчас происходит повсеместно и все в более широких масштабах, являясь основой нации.

В главе, посвященной доказательству высоких интеллектуальных способностей метисов, приводился внушительный список политических деятелей, писателей, художников, инженеров, журналистов, даже баронов империи, дипломатов, епископов, — оказывается, мулаты — цвет бразильской интеллигенции.

Завершалась книга большим списком, который вызвал целую бурю и навлек гонения на автора. Педро Аршанжо раскопал генеалогию знатных баианских семейств, на основании неопровержимых доказательств дополнил их родословные деревья, восстановив ветви, о которых умалчивалось, а именно — смешанные браки, внебрачные связи и внебрачных детей. И вот в стволах и ветвях родословных древ заняли свои места белые, негры, индейцы, колонисты, рабы, вольноотпущенники, воины и книжники, священники и колдуны — вся эта смесь, образовавшая нацию. Список открывали фамилии Авила, Араужо, Арголо, предки профессора судебной медицины, чистокровного арийца, ратующего за дискриминацию и выдворение негров и метисов, прирожденных преступников.

Кстати, ему и была посвящена книга: «Высокородному профессору и литератору, доктору Нило д'Авила Оубитико Арголю де Араужо в дополнение к его трудам по расовой проблеме в Бразилии посвящает нижеследующие скромные строки его троюродный брат Педро Аршанжо Оубитико Ожуба». Аршанжо не ожидал, не мог даже представить себе всех последствий.

Он величал профессора судебной медицины родичем и братцем на протяжении всех ста восьмидесяти страниц книги. Мой родственник, мой брат, именитый представитель нашего рода. У них оказался общий прадед — Бомбоше Оубитико, чья кровь текла и в жилах профессора, и в жилах педеля. Доказательств — хоть отбавляй: даты,

¹ Карамуру (морская рыба) — так, согласно легенде, прозвали индейцы португальца Диего Алвареса, который высадился в районе Баи, спасшись после кораблекрушения.

имена, копии свидетельств, любовные письма и прочая и прочая. Темнокожий красавец Оубитико участвовал в первых крупных кандобле в Баие, пленил белую девушку по имени Айя Авила, «от них-то и пошли мулаточки с зелеными глазами, дорогой братец».

Что же до фамилии Араужо, то автор книги повторил вопрос Забелы: почему профессор все говорит о роде Арголо, умалчивая об Араужо? Как можно оставлять в тени Черного Араужо блистательного полковника Фортунато де Араужо, героя войны за независимость, мулата из Реконкаво,— несомненно, самого благородного из сахарных фазендейро, отличавшегося умом, доблестью, образованностью?

В «Заметках...» местре Аршанжо выложил всю подноготную, и знатные семейства смогли наконец узнать, откуда ведут они свою родословную, смогли увидеть не только фасад, но и задворки, не только светлую пшеницу, но и черный уголь, удостовериться, кто с кем спал.

Наступил конец света.

23

Студенты устроили митинг в поддержку Педро Аршанжо, на Террейро Иисуса прозвучали пылкие речи против дискриминации и расизма. Объединившись с будущими юристами и инженерами, студенты-медики организовали символические похороны профессора Нило д'Авила Арголо де Араужо, Нило Оубитико. Добыли настоящий гроб, и процессия двинулась по улицам города, неся лозунги и транспаранты в защиту Педро Аршанжо, устраивая летучие митинги на каждом углу, всюду вызывая шум, смех и оживленные пересуды. На площади Кампо-Гранде полиция разогнала процессию, гроб был брошен и не достиг места назначения, а предполагалось его сжечь посреди Террейро Иисуса на символическом костре, созданном «звериной ненавистью самого бесноватого профессора Арголо», как выразился дипломат Пауло Таварес, с детства передвигавшийся в инвалидном кресле, жертва полиомиелита, но шумный оратор и первый заводила на факультете.

Педро Аршанжо встретили овацией, окружили шумной толпой, когда он ступил за порог медицинского факультета, покидая его навсегда: в тот день совет

университета постановил освободить его от скромной должности педеля, в которой он верой и правдой прослужил чуть ли не тридцать лет, и запретить ему вход на территорию этого храма науки.

Когда по окончании совета на улицу вышел профессор Нило Арголо, он был встречен оглушительным свистом. Пока он шел по площади, вослед ему неслись крики: «Готтентот!», «Нило Оубитико!», «Людоед!» Ему ничего не оставалось, как обратиться за поддержкой в полицию. Освалдо Фонтес, Монтенегро и прочие лица, так или иначе причастные к конфликту идей, получили свою порцию неодобрения. Зато Фрага Нето был встречен восторженными возгласами и водружен на импровизированную трибуну, с которой еще раз выразил «решительный протест против несправедливого и позорного акта мести в отношении примерного работника, научные заслуги которого несомненны; я выразил этот протест в зале заседания совета, с гневом и возмущением повторяю его здесь!».

Стали известны некоторые подробности обсуждения вопроса на совете. Профессор Исаяс Луна обратился к профессору Арголо с вопросом: «Вы хотите, господин профессор, чтобы вся Баия убедилась в правоте того студента, который как-то на лекции назвал вас Савонаролой? Ведь вы, по сути дела, учредили суд инквизиции на медицинском факультете Баиянского университета». Профессор Арголо, не помня себя от ярости, чуть было не накинулся на коллегу с кулаками. В конце обсуждения, перед голосованием, было зачитано письмо из Сан-Пауло от Силвы Виража, до которого дошли вести о предполагаемых мерах «по защите репутации факультета в связи с афронтом, нанесенным профессору Нило Арголо педелем Педро Аршанжо». Силва Виража писал: «В вашей власти несправедливо уволить педеля, воспользовавшись правом сильного. Однако никогда вам не удастся вычеркнуть из анналов медицинского факультета имя скромного и талантливого ученого, создавшего труд, который возродит славу нашего университета, втоптанную в грязь лжеучеными, ничтожными пигмеями, проповедующими расовую ненависть».

Меж тем изгнанник, он же — триумфатор, спустился по улице Пелоуриньо к «Лавке чудес». Там его поджидали Лидию Корро и два агента в штатском.

— Вы арестованы! — возгласил один из агентов.

— Арестован? За что, милые мои?

— Тут сказано: хулиганство, оскорбление личности, нарушение общественного порядка. Ну, шагай, шагай.

— Никак не мог предупредить, кум, они меня отсюда не выпускали.

И Педро Аршанжо под конвоем сыщиков отправился в Управление полиции, где его посадили в камеру. По дороге, на углу Пелоуриньо, навстречу им попался ряд полицейских.

Как только агенты увели Педро Аршанжо, Лидио Корро бросился на поиски адвоката Пассариньо, но не нашел его ни в конторе, ни во Дворце правосудия, ни дома. Побежал к доктору Фраге Нето, рассказал о случившемся, снова вернулся в дом адвоката и на этот раз застал его за обедом. Доктор Пассариньо обещал пойти в полицию тотчас после обеда: «Что за нелепый арест, не беспокойтесь, я его вызволю в два счета». Обещание он сдержал, правда, не полностью. В полиции адвокат встретил профессора Фрагу Нето. Однако приказ насчет Аршанжо был строгим, «этого черномазого надо проучить как следует. Взгляните — целый список обвинений».

Слух пошел по городу, и вот, не стовариваясь, со всех сторон на площадь перед Управлением полиции потянулся народ. Мужчины, женщины, мулаты, белые, негры, старики, молодежь, Теренсия, Будиан, местре Мигел, Валделойр, Манэ Лима и Толстая Фернанда, Аусса. Шел бедный люд из всех предместий, все гуще и гуще, настоящее паломничество. Шли в одиночку, парами, по трое, а то и семьями, иные даже с грудными младенцами — все направлялись на площадь.

Перед Управлением собралось сначала несколько десятков человек, потом — сотня, другая, еще и еще. Люди отправлялись в путь оттуда, где их застала весть: из лабиринта улочек и проулков, из мастерских, лавок, таверн и веселых домов — отовсюду стекался народ на площадь. Перед толпой то и дело появлялся майор Дамиан де Соуза в белом костюме — как и положено сыну Ошала, — в рубашке со стоячим воротничком и сигарой в зубах, говорил что-то гневно и горячо.

Стоя на ящике, он поднимал руку, требуя тишины, и разражался бесконечной пламенной речью. Спрыгивал с импровизированной трибуны, подходил к двери Управления, исчезал в коридоре, опять появлялся. В возбуждении снова вскакивал на ящик и снова говорил. Эту

свою речь он начал, когда лишь чуть смеркалось, и продолжал ее, когда уже наступила ночь: «Какое преступление совершил Ожуоба, в чем обвиняют Педро Аршанжо, кого он убил, кого ограбил, в чем преступил закон?»

— Какое преступление он совершил? — вопрошал народ.

В Управлении адвокат Пассариньо и профессор Фрага Нето вели спор с комиссарами, с начальником полиции. «Без распоряжения губернатора ничего сделать нельзя, — твердил шеф полиции, — он отдал приказ об аресте, только он может его отменить. А где губернатор, никто не знает, после обеда вышел из дома, куда — не сказал».

Лидио Корро еще до ночи узнал о беде, бегом бросился в «Лавку чудес», но полицейских, учинивших после ареста Педро Аршанжо настоящий погром, он в лавке уже не застал.

Подняв голос против насилия, майор Дамиан де Соуза с высоты ящика сыпал гневные слова, начинал и кончал каждую из своих речей одним требованием: «Свободу человеку, который ни разу в жизни не солгал, никогда не использовал свою мудрость во зло кому бы то ни было, свободу человеку, который учит всех добру! Свободу!»

Давно уже ночь, а людской поток все течет и течет, запруживая площадь. Идут издалека заброшенными тропками, с фонарями и лампами. Неяркие огни блуждают по всей площади, занятой народом. Кто-то занел. Песню подхватили, она переходит из уст в уста, вздымается к небу, проникает сквозь тюремные стены. Сотни голосов, как один, греющая душу песня друзей. Аршанжо улыбается, он доволен, забавный был день. Он устал, день был нелегкий. Сотни голосов — как один, сладкая песнь любви. Убаюканный песнью, Педро Аршанжо засыпает.

Фаусто Пена философствует о таланте и успехе, после чего прощается с читателем — да уже и пора

Всякому ясно, что талант и знания сами по себе еще не обеспечивают удачи, триумфа в изящной словесности, искусстве либо науке. Тяжка борьба молодого человека за известность, тернист его путь. Избитая фраза? Разу-

меется. У меня на сердце тоска, и я пекусь единственно о том, чтобы ясно изложить свою мысль, нимало не забывая о пышности и изысканности слога.

За малую толику оваций, за свое имя на страницах газет, журналов, книг, за все эти жалкие крупички успеха приходится расплачиваться сделками с совестью, лицемерием, недомолвками, умолчаниями — скажем прямо: подлостью. И платят, как тут не заплатишь. Среди моих коллег, социологов и поэтов, антропологов и литераторов, этнологов и критиков, я не знаю ни одного, который в таком деле постоял бы за ценой. При этом самые отъявленные негодяи громче всех кричат, требуя честности и порядочности — от других, разумеется. Корчат из себя непогрешимых, провозглашают себя столпами добродетели, слова «совесть» и «чувство собственного достоинства» не сходят у них с уст, они — грозные и беспощадные судьи своих ближних. Очаровательная наглость! И она себя оправдывает: находятся люди, которые принимают их всерьез.

В наш век промышленной революции, электроники, полетов к звездам и каменных джунглей, если ты не изворачиваешься, а распускаешь слюни, если тебе недостает беспардонности и нахальства, тебя сомнут. Затопчут насмерть. Не выкарабкаешься.

Меж тем я выслушал на днях горькое признание старого маститого литератора, заключавшее в себе сумасбродную мысль о том, что, мол, у нынешней молодежи масса блестящих возможностей, только выбирай, весь мир — наш, и подтверждением тому — «Молодая сила», движение молодежи.

Она действительно существует, эта сила, не мне это отрицать, я ощущаю себя частицей могучего течения. Где-то в глубинах моего «я» дремлет бунтарь, отверженный, радикал, мятежник, и, когда надо, я извлекаю его на свет божий (нынче это рискованно, опасно по причинам, которые излагать нет нужды, они, как говорится, лежат на поверхности). Молодые люди провозглашают свою революцию, им принадлежит мир, это все так, но молодость проходит, и надо как-то зарабатывать свой хлеб. Вы утверждаете, что тут возможностей хоть отбавляй, что триумф ждет каждого? Как бы не так! За место под солнцем, малюсенькое местечко, чего я только не делал, упрямо лез изо всех сил, гнул спину. Кувыркался, как мог платил, не торгуясь, и к чему пришел? Чего достиг? Радоваться нечему. Упоминания достойно

лишь исследование о Педро Аршанжо, выполненное по заказу гениального Левенсона, моя визитная карточка. Остальное — безделица, жалкие крохи. Столбец под рубрикой «Поэзия молодых», несколько похвал моему поэтическому дару, между прочим взаимных, ты — мне, я — тебе; может быть, получу несколько минут в вечерней телепередаче, вне основной программы, как приложение — «Молодая босса»¹. Что еще? Три стихотворения в антологии «Молодые поэты Баии», составленной Илдазио Тавейрой и издаваемой государственным издательством в Рио. Я там представлен тремя стихотворениями, Ана Мерседес — пятью, кошмар!

Вот и все, что я завоевал усердным трудом в жестокой конкурентной борьбе. Довелось мне совратить двух-трех начинающих поэтесс, да и у тех не нашел ни искренности, ни целомудрия. Собственно, я влачу жалкое существование, меня не печатают. Из великого и прекрасного жизнь даровала мне только любовь к Ане Мерседес, монету чистого золота, но я извел ее на ревность.

В мой актив, однако, надо записать и договор, подписанный наконец сеньором Дмевалом Шавесом, владельцем книжного магазина и издательства, торговым и промышленным тузом. Он обязался издать тиражом две тысячи экземпляров мой труд о Педро Аршанжо и выплачивать мне авторский гонорар — десять процентов от продажной цены, представляя отчет и производя расчет ежеквартально. Это неплохо, если он будет пунктуален.

В исторический день подписания договора, которое состоялось в кабинете издателя, расположенном над его книжным магазином на улице Ажуда, мой меценат, окруженный телефонами и секретаршами, был со мной весьма любезен, так что я уверовал в его щедрость. Он при мне купил гравюру Эмануэла Араужо и не торгуясь выложил наличными ту сумму, которую запросил этот удачливый зазнайка, один из тех, кого зовут баловнями судьбы. Издатель пояснил мне, что коллекционирует картины, эстампы, гравюры, рисунки и намеревается украсить ими стены своего особняка, расположенного на Морро-до-Ипиранга, Холме Миллионеров, и только что перестроенного из двухэтажного в трехэтажный: у мецената восемь детей и, если бог даст сил и бодрости духа,

¹ Босса — бразильский танцевальный и песенный ритм.

он намерен довести их число до пятнадцати. Подобное расточительство придало мне смелости, и я обратился к нему с двумя просьбами.

Прежде всего я попросил небольшой аванс под мои авторские десять процентов. В жизни не видал такой мгновенной метаморфозы: сияющее любезностью и воодушевлением, открытое в широкой улыбке лицо издателя скрылось под маской разочарования и огорчения, как только я произнес слово «аванс». Тут все дело в принципах,— пояснил он мне. Мы подписали договор, где пункт за пунктом четко определены обязанности и права сторон. Как же мы можем нарушать его, действуя вопреки положениям, сформулированным в специальных параграфах? Если нарушить хотя бы один пункт, договор утратит свою сущность, свой смысл. Все дело в принципах. В каких именно, я так и не понял. Должно быть, очень твердых, ибо никакие мои резоны не поколебали издателя, отказ был категорическим. Все, что хотите, только не пренебрежение к принципам.

Когда инцидент был исчерпан, лицо издателя вновь засияло любезной улыбкой, он сердечно принял знаменитого художника-гравера Калазанса Нето и его супругу Ауту-Розу, показал мне принесенные ими гравюры, попросил совета. Ему нравились три из них, и он никак не мог сделать выбор. Видно, этот день он посвятил гравюрам. После долгих колебаний выбор был сделан, расчет произведен — эта братия получает деньги на месте, впрочем, это делают их жены, которые и назначают цену, их не проведешь,— и чета откланялась, а я предпринял вторую атаку, вы же знаете, я упрям.

Я ему признался, как на духу, что моя заветная мечта — увидеть на витрине и на полках книжного магазина небольшую книжицу избранных стихотворений, на обложке которой стояло бы имя многострадального поэта, вашего покорного слуги. А стихи стоят того, чтоб их издать, торжественно отметить их выход в свет, устроить вечер встречи с читателями, желающими получить мой автограф. Это не я так думаю, это говорят ведущие молодые критики Рио-де-Жанейро и Сан-Пауло. У меня целая подборка высказываний, из них три-четыре напечатаны под рубрикой «Литературная жизнь», остальные — нацарапаны от руки за столиком ресторана или у стойки бара в дни моей поездки в Рио с Анной Мерседес. Как я тоскую по тем дням, это был праздник, восторг! С такими положительными отзывами я мог бы об-

ратиться к любому издателю на Юге, но поскольку он, Дмевал Шавес, взял на себя издание книги о Педро Аршанжо, то я решил в знак дружеского расположения доверить ему публикацию и этих «стихотворений супер-социального звучания», как их охарактеризовал Энрикиньо Перейра, неоспоримый авторитет в литературных кругах столицы. Книгу ждет верный успех как у критиков, так и у покупателей. Но сеньор Дмевал Шавес оказался скептиком. Он усомнился в успехе у покупателей. Не только верном, но и вероятном. Однако поблагодарил меня за оказанную ему честь, сказал, что тронут дружеским вниманием. Странное дело: все поэты почему-то испытывают к нему особую симпатию — как только наберется стихов на полсотни страниц, сразу же бегут к нему и дарят ему право первого издания.

Махнув рукой на гонорар, я предложил ему мои стихи бесплатно. Не взял. Какую-то лазейку все же оставил. Он готов вернуться к этому вопросу, если я, раз уж у меня такие связи в Рио, принесу ему заявку, вернее, обязательство Национального института книгопечатания купить пятьсот или, как минимум, триста экземпляров моего сборника. Тогда тираж мог бы составить восемьсот или шестьсот экземпляров соответственно.

Мысль недурна, надо будет попробовать, не зря же я заводил знакомства в Рио, тратил доллары на обеды, ужины, виски и коктейли. Как знать, может, я скоро вновь предстану перед читателями, но уже не как сухарь-социолог, а как мятежный певец нового времени, законодатель «Молодой поэзии». Не исключено, что Ана Мерседес проявит благосклонность к победоносному литератору, который публикует книгу за книгой, и ее горячее сердце снова полыхнет пламенем любви. Не важно, если мне придется делить мою возлюбленную с эстрадными певцами и композиторами, другими молодыми поэтами, в конце концов пусть наставляет мне рога со всей вселенной, все равно она мне желанна, без ее тела муза моя хандрит.

А с местре Аршанжо я расстаюсь, оставляя его в тюрьме, дальше за ним не последую, это ни к чему. Что положительного дали последние пятнадцать лет его жизни, если не считать книгу по кулинарии? Забастовка, рабочие комитеты, нужда, нищета. Доктор Зезиньо Пинто убедил меня в необходимости блюсти моральную чистоту великих людей, не показывать их промахи, слабости, заскоки и прочие недостатки, хотя бы они на самом деле

и существовали. Зачем вспоминать трудное время и печальные обстоятельства жизни баиянского корифея теперь, когда образ его наконец осиян славой? Но каков он, этот образ? По совести говоря, я и сам не знаю. В пышных торжествах по случаю столетнего юбилея Педро Аршанжо столько шума и треска, официальный фейерверк славословия так ослепителен, что становится почти невозможно различить подлинные черты его образа. Образа или истукана?

Не далее как вчера энергичный префект назвал именем Аршанжо новую улицу города, и вот некий довольно безграмотный депутат муниципального совета в своей речи произвел автора «Народного быта Баии» в апостолы предпринимательства. Префект, при всей своей власти, не смог поставить всё на свои места, не сумел вернуть образу Аршанжо реальность его жизни, прожитой в труде и бедности. Вот что поражает: никто не говорит о трудах Аршанжо, о его борьбе. Авторы статей и докладов, рекламных объявлений и плакатов используют его имя лишь для того, чтобы восхвалять тех, кто не имеет к нему никакого отношения: политических деятелей, промышленных тузов, военачальников.

Я слышал даже, что на одной из церемоний, призванных увековечить память великого баиянца, — на открытии коллеги имени Педро Аршанжо в предместье Либердаде, где присутствовали представители муниципалитета, гарнизона и церкви, официальный докладчик, доктор Саул Новаис, чиновник по вопросам культуры, будучи предупрежден о нежелательности самого упоминания таких подрывных тем, как равенство рас, их смешение, слияние и тому подобное, то есть всего, что составляло суть жизни и творчества юбиляра, не думая долго, вышел из положения самым неожиданным образом: он исключил из доклада местре Педро Аршанжо. Блестящее выступление доктора Новаиса прозвучало гимном самым благородным патриотическим чувствам бразильцев и было обращено к другому Аршанжо, «старшему, который покинул Баию и взялся за оружие, чтобы на чужбине, в Парагвае, отстоять честь и величие родины». Оратор говорил о героизме, доблести, о слепом повиновении приказам командиров — высоких добродетелях, принесших Антонио Аршанжо лычки капрала и упоминание в военном бюллетене о его смерти на поле боя: Антонио Аршанжо остался достойным примером для сына и

грядущих поколений. И тут искусный докладчик упомянул мимоходом Педро Аршанжо, отпрыска славного героя. Ловко выкрутился, шельмец, ничего не скажешь.

Так какой же мне смысл лезть на рожон? И для чего расписывать, как старый и немощный Педро Аршанжо плетется по Пелоуринью, направляясь в свою жалкую конуру в публичном доме? Ведь в официальных дифирамбах вырисовывается монументальный образ: почти чистокровный белый, научный сотрудник медицинского факультета, смирный и безгласный, одетый в солдатский мундир — Педро Аршанжо, слава Бразилии!

Я прощаюсь с вами, дорогие читатели, оставляя Педро Аршанжо в тюрьме.

О вопросе и ответе

1

— Начнем с начала,— сказал местре Лидио Корро,— откроем парикмахерскую.

Да сможет ли он побрить клиента, если дойдет до того? Рука уже не та, нет былой ловкости и сноровки. А вот в рисовании чудес она по-прежнему тверда и искусна. Видно, рисовать чудеса — его подлинное призвание; пусть он и предпочел ему более доходное типографское дело, но никогда не забывал о своем изначальном призвании и ремесле. За недостатком времени отказывался от большинства заказов, но не выдерживал искушения, когда чудо волновало его воображение своей необычностью или величием, например: «Чудо, сотворенное спасителем Бонфинским во избавление шестисот пассажиров английского трансатлантического лайнера, загоревшегося при выходе из бухты Баии». Их было шестьсот, все — протестанты, и среди них лишь один баиянец, который в страшный час обратил взор к Святому Холму: «Спаси нас и помилуй, господь наш!» Обещал заказать для церкви картину, заклать агнца и козленка в жертву Ошала, и тут же огромная волна накрыла судно, погасив невиданный пожар.

В день увольнения и ареста Педро Аршанжо («Негра посадили, сеньор!») — сообщил профессору Нило Арголо сыщик, выполняя указание начальника полиции), после визита полицейского наряда в «Лавку чудес», от типографии ничего не осталось. Подручный наборщика при-

мчался в Управление полиции с вытаращенными от ужаса глазами: полицейские ворвались в типографию, поломали машины, стеллажи, уничтожили бумагу, приобретенную в кредит для «Заметок...» — «нам надо по меньшей мере еще пятьсот экземпляров, все хотят приобрести и прочесть книгу». Шрифты и книги побросали в мешки. Приказано было реквизировать весь тираж «Заметок...», заодно унесли и библиотеку Педро Аршанжо, сохранились лишь те книги, что он держал в мансарде для ежевечернего чтения. Исчезли Овелак, Оливейра Мартинс, Фрейзер, Эллис, Александр Дюма, Коуто де Магальянс, Франц Боас, Пина Родригес, Ницше, Ломброзо, Кастро Алвес и многие, многие другие, не один десяток томов, философы, публицисты, романисты, поэты, «Капитал» в сокращенном переводе на испанский и «Книга о святом Киприане».

Книги растаскивались полицейскими всех рангов и одна за другой попадали в книжные лавки. Аршанжо удалось некоторые из них заполучить обратно, выкупив у Бонфанти: «Продаю вам за ту же цену, за какую купил, *figlio mio*¹, не наживаю ни гроша». «Заметок...» было изъято сорок девять экземпляров, остальные местре Корро успел разослать по университетам, библиотекам, редакциям, а также профессорам и критикам — через книжные магазины или непосредственно, так что не все они «сгорели на костре инквизиции, разожженном в Управлении полиции по ходатайству Савонаролы Арголо де Араужо», как писал профессор Фрага Нето в своем письме Силве Виража. Несколько экземпляров было продано из-под полы, втридорога, агентами полиции, и каждый полицейский чин по примеру самого начальника полиции взял экземпляр для себя, дабы на досуге изучить знаменитый список цветных предков. «И не забудьте оставить один экземпляр для господина губернатора».

Оказавшись по уши в долгах и не видя никакой возможности восстановить типографию, местре Лидио продал машины и остатки шрифта по цене чуть ли не металлолома, чтобы добыть хоть сколько-нибудь денег, в которых была такая нужда. Когда же он умиротворил самых лютых кредиторов, в душе его не осталось горьких сожалений по поводу происшедшего, ведь зато кум Аршанжо сорвал павлиньи перья и маски с чванливых и

¹ Сын мой (ит.).

ничтожных профессоров, с этого учебного дерьма, с этих самохвалов, скотов вислоухих, пугал огородных! Он их выставил голенькими на обозрение, вот им и пришлось спрятаться за спину комиссаров, сыщиков и полицейских громил. Но город вдоволь над ними посмеялся.

Два крепких мулата, веселые кумовья. Местре Лидио Корро рисует чудеса, местре Педро Аршанжо учит детей грамматике и арифметике, а четырех из них — французскому.

Правда, Лидио чувствует себя неважно, ему уже стукнуло шестьдесят девять. Как побольше походит, пухнут ноги, сердце не справляется. Доктор Давид Араужо рекомендовал покой, строгую диету, никаких дендэ, кокосов, перца и ни капли спиртного. Оставалось только запретить и женщин. Доктор, наверное, подумал, что Лидио уже погасил свечу и женщинами не интересуется. Как можно, доктор, запретить дендэ и кашасу человеку, который лишился всего своего скудного имущества, разбитого прикладами карабинов, истоптанного сапогами солдат, и начинает все с начала! Что до женщин, то они предпочитают его иным молодым людям. Если не верите, поспрашивайте в округе.

Педро Аршанжо на восемь лет моложе, на здоровье не жалуется. Плотно сбитый крепыш, любитель поесть и выпить, женщин предпочитает молодых и одной возлюбленной не ограничивается. Правда, уроки давать ему не больно по душе, терпение уже не то, да и жаль тратить драгоценное быстролетящее время на грамматику.

По-прежнему больше всего любит Педро Аршанжо говорить с людьми. От дома к дому, от лавки к лавке, от пирушки к пирушке. Любит сидеть в лавке ваятеля святых Мигела, куда стекаются страждующие и обиженные искать майора Дамиана де Соузу. Просиживает там до обеда, записывает что-то в черную книжечку, его принимают за секретаря майора.

Любит он слушать разные истории про ориша, про времена рабства из уст Пулкерии и Аиньи, которые слышали их от дедов, убеленных сединами, любит присутствовать на репетициях афоше «Африканские весельчаки», руководить которым получил приглашение от матушки Аиньи, когда Бибиано Купим, старший жрец кандомбле Гантоис, поднял флаг прославленного представления и вновь вывел его на улицу; любит сидеть на скамье музыкантов в школе капоэйры местре Будниана или Валделойра, играть на беримбау и подпевать:

Как живешь-поживаешь,
Камунжере?
Здоров, не хвораешь,
Камунжере?
Рад тебя повидать,
Камунжере,
Чтоб еще раз узнать,
Как живешь-поживаешь,
Камунжере.

Любит он петь и на террейро, сидя рядом с «матерью святого» и раздавая благословения жрицам и иаво:

Кукуру, кукуру,
Тибитирé ла води ла тибитирé.

Хорошо ли, худо ли, а поет человек — и жив. Так ведь, отец Ожуба? Благословите, мне пора, кто идет последним, тому и двери запирают.

Местре Лидио ищет заказчиков, объявляет, что снова взялся за чудеса, другого такого мастера не было и не будет, а вот местре Аршанжо уменьшает число учеников и уроков, все свое время проводит на улице, с одним поговорит, с другим, посмеется, закидает вопросами, «да ну же, дружище, не держи язык за зубами, расскажи что-нибудь, загадай загадку». Слушает и рассказывает, рассказчик он отменный, столько знает разных историй, так умело закручивает нить — до самого конца развязку не угадаешь.

Так жадно и нетерпеливо он не жил даже в юности, когда по возвращении из Рио с головой окунулся в баианскую жизнь. Времени стало меньше, дни мелькают быстрее, недели и месяцы скачут галопом. И так этого времени не хватает, а тут еще трать его на уроки. Когда Бонфанти заказал книгу по кулинарии, Педро Аршанжо воспользовался этим предлогом и отказался от последних учеников. Ощутил себя совсем свободным, никакого расписания, никакого распорядка. Он сам себе хозяин, его время принадлежит улице, людям.

Педро Аршанжо наблюдает, как местре Лидио делает набросок чуда, подбирает краски для выразительной массовой сцены. Дона Виолета, толстая сорокалетняя женщина, лежит на рельсах перед бампером трамвая, нога ее сломана, платье разорвано, по бедру струится кровь, а взор с мольбой устремлен на образ спасителя Бонфинского. Само трагическое происшествие — неудачное падение, несущий смерть трамвай, молящий взгляд — занимает немного места на картине. Остальная часть, при-

мерно две трети,— нарядный салон трамвая, где пассажиры, вагоновожатый, кондуктор и полицейский обсуждают случившееся, тут же вертится щенок. Художник выписывает каждую фигуру: вот мужчина с огромными усами, вот старый негр держит за руку белого мальчика, вот женщина в желтом платье, вот ярко-рыжий щенок.

Вдруг местре Лидио поднимает глаза на Аршанжо:

— Ты слышал, кум? Тадеу приехал, он здесь, в Баие.

— Приехал Тадеу? Когда?

— Когда — не знаю, видать, на днях. Но узнал-то я только сегодня утром в лавке Теренсии. Дамиан повстречал его на улице, он сказал, что едет в Европу. Остановился в доме родителей Лу...

— У своего тестя, мой милый. Разве он не зять полковнику?

— Сюда-то не зашел даже...

— Зайдет, никуда не денется. Ведь только приехал, тут всякие дела, визиты, родственники.

— Родственники? А мы?

— Да с какой стороны ты ему родственник? Может, потому, что он звал тебя дядей? Но так к тебе обращается любой ученик, дружище.

— И ты ему не родня?

— Я родня всем и никому. Если я и делал детей, при себе их не держал, милый мой. Не горячись, выберет время Тадеу, зайдет. Попрощаться.

Лидио вновь устремил взгляд на картину. Голос Аршанжо звучал спокойно, почти бесстрастно. Где же родительская любовь, самое глубокое чувство на свете?

— Черта помяни, и он тут как тут! — смеется Педро Аршанжо. Лидио Корро оборачивается.

В дверях лавки стоит Тадеу: строгий элегантный костюм, ухоженные усы, соломенная шляпа, стоячий воротничок, гетры, маникюр, трость с перламутровым пабалдашником — ни дать ни взять барон.

— Я только сегодня узнал, что с вами случилось. Я и так собирался зайти проведать вас обоих, а уж тут тем более поспешил. Так это правда? И не смогли даже закончить тираж?

— Зато на славу повеселились,— пояснил Аршанжо.— Мы с кумом Лидио считаем, что игра стоила свеч.

Тадеу подошел, поцеловал руку крестному. Растроганный Лидио заключил его в объятия:

— Ты — прямо лорд!

— В моем положении надо одеваться как следует. Педро Аршанжо добрым взглядом окинул стоящего перед ним важного господина. Тадеу уже исполнилось тридцать пять, а было всего четырнадцать, когда Доротея привела его на террейро и передала Аршанжо: «Только и толкует, что о грамоте да о счете, мне-то это ни к чему, но не могу я мешать судьбе, пусть мальчонка идет своей дорогой». «Вот и я не могу мешать судьбе, изменить его путь, остановить время, не пустить его наверх, вот так-то, кум Лидио, милый мой. Тадеу Каньото идет своим путем, дойдет до верхней ступеньки, раз уж он туда нацелился, а мы, дружище, ему в этом помогли. Гляди, Доротея, твой мальчик идет в гору, далеко пойдет».

— Скажите, я могу чем-нибудь помочь? У меня есть свои собственные сбережения, накопил, чтобы Лу в Европе могла попробовать новое средство... Вы ведь знаете, да? Я получил от правительства стипендию для прохождения курса градостроительства во Франции. Лу едет со мной. Вся поездка займет около года. По возвращении заступлю на место шефа, он уходит в отставку. Это, можно сказать, уже решенное дело.

— Откуда нам знать, ты же не писал,— поцепял Лидио.

— А где взять время? Все дни в бегах, у меня в подчинении две группы инженеров, а по вечерам — визиты, приемы, мы с Лу то тут, то там, сущий ад.— По тону его, однако, нетрудно было понять, как он доволен этим адом.— Так вот, у меня есть деньги. Я хотел потратить их на лечение, чтобы Лу смогла доносить ребенка. У нее уже было три выкидыша.

— Прибереги свои денежки, Тадеу, подлечи Лу, нам ничего не нужно. Мы решили ликвидировать типографию, хлопот много, прибыли никакой, Лидио только гробил свое здоровье. Так нам лучше: кум опять чудеса рисует, гляди, какая красота. Я даю уроки, когда есть время, всю жизнь этим занимался, а теперь итальянец заказал мне книгу, пишу понемногу. Деньги нам не нужны, тебе нужнее, поездка в Европу — дело нештучное.

Тадеу стоял, тыкая тростью в гнилые доски пола. Всем троим как-то сразу стало не о чем говорить. Наконец Тадеу сказал:

— Мне очень жаль было Забелу. Полковник Гомес рассказал, что она очень мучилась.

— Нет, это не так. Ее действительно мучили боли, и она была прикована к креслу, порой ворчала и бранилась, но была бодрой и стойкой до последнего часа.

— Ну, хорошо, если так. Однако мне пора. Вы не можете себе представить, сколько еще прощальных визитов! Лу велела извиниться перед вами, что не пришла. Мы с ней разделились, она — туда, я — сюда, иначе не управиться. Просила передать вам привет.

Когда Тадеу после объятий и пожеланий доброго пути отправился восвояси, Аршанжо пошел за ним, нагнал уже на улице:

— Скажи, пожалуйста, вы там не будете проездом в Финляндии?

— В Финляндии? Нет, не будем. Там мне нечего делать. Девять месяцев во Франции, курс градостроительства. Потом короткое знакомство с Англией, Италией, Германией, Испанией, Португалней *à vol d'oiseau*¹, как сказала бы Забела.— Тадеу улыбнулся, помедлил, прежде чем продолжить путь.— Почему вы спросили именно о Финляндии?

— Так, ничего.

— Тогда до свидания.

— Прощай, Тадеу Каньото.

Стоя в дверях, Аршанжо и Лидио видели, как Тадеу шел вверх по улице, твердо ступая, помахивая тростью, этаким господин с перстнем на пальце, элегантный, важный и далекий, доктор Тадеу Каньото. На этот раз они распрощались с ним навсегда. Лидио в смущении вернулся к работе:

— Он стал совсем другим.

«А за что мы боремся, кум Лидио, дружище, милый мой? Почему мы, два старика, сидим тут с тобой без гроша в кармане? Почему меня арестовали, а твою типографию разгромили? Почему? Потому что мы говорили: все имеют право учиться, идти вперед. Помнишь, кум, профессора Освалдо Фонтеса, его статью в газете? Негритосы да мулатишки заполонили факультеты, лезут и лезут, надо их остановить, обуздать, прекратить это безобразие. Помнишь, какое письмо мы послали в редакцию? Из него сделали передовицу, и потом газету развешивали на стенах домов на террейро. Тадеу отсюда ушел, его место теперь не здесь, а на улице Витория, в семье Гомесов, он — доктор Тадеу Каньото».

¹ С птичьего полета (*фр.*).

В школе Будиаца капоэйристы пели песню времев рабства:

Когда деньжата водились,
Я сидел за столом с сеньором,
А с сеньорой лежал в кровати,
Вот так-то, друг мой,
Дружище.

«Доктор Фрага Нето говорит, что нет белых и черных, есть богатые и бедные. Чем же ты недоволен, кум? Не хочешь ли ты, чтоб мулат, выучившись, оставался здесь, на Табуане, в нищем квартале? Разве для этого он учился? Доктор Тадеу Каньото, зять полковника, наследник угодий и доходных домов, государственный стипендиат, путешественник по Европе. Нет белых и черных, на улице Витория деньги обеляют, здесь нищета — чернит.

Всякому свое, милый мой. У мулатов с этой улицы разная судьба, у каждого своя дорога. Одни наденут ботинки, повяжут галстук, получают диплом. Другие остаются здесь, у молота и наковальни. Деление на белых и черных, дружище, кончается там, где все перемешано, вот как у нас с тобой, кум. У нас дело проще: кто идет последним, тому и двери запирают.

Прощай, Тадеу Каньото, шагай в гору. Коль случится тебе побывать в Финляндии, разыщи короля Скапди-павии Ожу Кекконена, он твой брат, передай ему от меня привет. Скажи, что отец его, Педро Аршанжо Ожуба, живет себе да поживает, ни в чем у него недостатка нет».

— Доктор Тадеу Каньото, дорогой кум, — теперь человек важный и богатый. Жизнь на месте не стоит, колесо вспять не повернется. Пошли прогуляемся, дружище. Где сегодня праздник?

2

Не прошло и недели, как Педро Аршанжо, вернувшись под вечер из лавки Бонфанти с гранками книги по кулинарии, увидел, что Лидио Корро, кум, друг, брат, близнец, — мертв. Он сидел, уронив голову на незавершенное чудо, по нарисованным рельсам текла настоящая кровь.

Маляр закрашивает буквы на фасаде, «Лавки чудес» более не существует. Вниз по улице медленно идет одинокий старик.

Забастовка, начатая вагоновожатыми, кондукторами, контролерами и другими служащими байанской Транспортной компании, распространилась затем на ее дочерние организации: Электрическую и Телефонную компании. Местре Педро Аршанжо шагал в это время вверх и вниз по улицам Пелоуриньо, Кармо, Пассо, Табуан, по кварталу Байша-дос-Сапатеiros — разносил счета за электроэнергию. Должность эту он получил по рекомендации адвоката Пассариньо, юрисконсульта компании. Работа утомительная и низкооплачиваемая, но он предпочел ее репетиторству. Разносит счета, идет от дома к дому, от магазина к магазину, от лавки к лавке. Поболтает, услышит какую-нибудь историю, сам что-нибудь расскажет, обсудит новости, пропустит глоток кашасы. В помещении «Лавки чудес» какой-то турок открыл магазинчик, мелочную лавку.

Хотя служащие Электрической не сразу присоединились к забастовке, Педро Аршанжо не пропускал ни одного собрания профсоюза бастующих вагоновожатых и кондукторов, заражая всех вокруг деловитостью и задором, ни один молодой служащий не мог потягаться с этим стариком в проворстве и смекалке, ибо он все делал не по приказу, не по обязанности, не потому, что выполнял чье-то задание. Он делал то, что считал справедливым, к тому же это его развлекало.

Впервые за шесть лет после изгнания ступил он на порог медицинского факультета. Прежние студенты уже окончили курс, новых он не знал, и они его не знали. Кое-кто из преподавателей, однако, замедлял шаг. Некоторые здоровались с ним. Педро Аршанжо ждал Фрагу Нето. Тот появился в окружении студентов, с которыми оживленно о чем-то беседовал.

— Профессор...

— Аршанжо! Сколько лет... Я вам нужен? — Обернулся к студентам: — Вы знаете, кто это?

Молодые люди посмотрели на незнакомца: мулат, бедняк в старомодном, но чистом костюме, в начищенных до блеска ботинках. Привычка к опрятности не поддавалась натиску бедности и старости.

— Это знаменитый Педро Аршанжо. Тридцать лет проработал на факультете педелем, отличный знаток бай-

янских обычаев и фольклора, антрополог, автор очень серьезных книг. Был уволен за то, что написал книгу в ответ на расистскую брошюру профессора Нило Арголо. В своей книге Аршанжо доказал, что мы, баиянцы,— сплошь мулаты. Грандиозный был скандал...

— Мы слышали. Не потому ли этот монстр Арголо подал в отставку?

— Совершенно верно. Студенты не простили ему расистских бредней. Они стали пазывать его... Как это, Аршанжо?

— Оубитико.

— Почему?

— Это одно из имен профессора, о котором он никогда не упоминал. Оно досталось ему от прапрадеда, негра Бомбоше, по случайности оказавшегося и моим прапрадедом...

— Да-да, «братец профессор Арголо»,— вспомнил Фрага Нето.— Простите, господа, я вас покину, мы с Аршанжо давно не виделись, нам надо поговорить.

Профессор и бывший педель зашли к Пересу, уселись за стойку бара, где сживали и прежде.

— Что будете пить? — спросил Фрага Нето.

— Не откажусь от глотка тростниковой. Если вы, конечно, тоже...

— О нет-нет, не могу. Ничего спиртного, даже, к сожалению, пива. Печень, знаете ли... Выпью тоника.

Профессор украдкой разглядывал Аршанжо: сдал заметно. Постарел, утратил былую солидность. Насколько еще хватит у него сил, чтобы содержать в порядке одежду и наводить глянец на ботинки? Профессор не видел Аршанжо почти шесть лет, с похорон фрея Тимотео. Они вместе совершали бдение у тела аббата в монастыре. Потом Фрага Нето заходил в «Лавку чудес» узнать, не осталось ли еще экземпляра «Заметок...», но «Лавки» уже не было. Там обосновался турок. «Педро Аршанжо? У него нет постоянного адреса. В эти края иногда заглядывает, если хотите, оставьте записку...» Фрага Нето не стал его разыскивать. Теперь за стойкой бара, отметил про себя: сильно сдал старик Аршанжо.

— Профессор, я пришел к вам насчет забастовки в городской Транспортной.

— Забастовки? Неужто всеобщей? Неужели весь транспорт остановился? И трамваи, и катера, и фуникулеры — все замерло? Вот здорово, черт побери!

— Конечно, здорово! Все по справедливости, профессор, разве на такой заработок проживешь? Если Электрическая и Телефонная поддержат, наша возьмет наверняка.

— Наша? Вы-то здесь при чем?

— Ах да, вы не знаете. Я служащий...

— Городской Транспортной?

— Электрической, но какая разница? Это же трест, вы сами рассказывали, профессор.

— Ну, разумеется, тресты и корпорации, — рассмеялся Фрага Нето.

— Так вот, я член комитета солидарности с бастующими и пришел к вам...

— Нужны деньги?

— Нет, сеньор. То есть и деньги тоже нужны, но этим занимается другой комитет, фипансовый. Коли хотите помочь деньгами, я скажу кому-нибудь из финансового комитета, они к вам обратятся. Но я-то думал про другое, не зайдете ли вы к нам в комитет? У нас там круглосуточное дежурство, заседаем днем и ночью, многие приходят выразить солидарность и поддержку, пишут о нас в газетах, это очень важно. Заходили профессора факультета права, депутаты муниципалитета, журналисты, писатели, много добрых людей перебывало, а студенты — те валом валят. Я и подумал, что вы, профессор, при ваших-то идеях...

— При моих идеях... Что ж, вы правильно сделали, вспомнив обо мне, я все тот же. Для трудящихся забастовка — правое дело, оно — их оружие. Только пойти я не могу. Вы не слышали? Я буду участвовать в конкурсе на должность заведующего кафедрой...

— А как же профессор Виража? Ведь он жив, я недавно читал о нем в газете.

— Профессор Силва Виража вышел в отставку, но считал нужным возвращаться на должность, замещенную другим, тем более что лекций он давно уже не читал. Я, как мог, убеждал его вернуться, ничего не вышло. У меня два конкурента, Аршанжо. Один из них, довольно сильный, — приват-доцент такой же кафедры в Ресифе. Второй — местный, пробивной, ловкач, у него со всех сторон — протекции. Драка будет что надо, местре Аршанжо. Я рассчитываю пройти, но сейчас против меня развернули настоящую кампанию, в которой мне ставится в вину все, что только можно, особенно эти самые идеи, о которых вы говорите. Если я пойду в ваш коми-

тет, кафедры мне не видать, дорогой мой друг... Вы понимаете, в чем тут штука?

Аршанжо утвердительно кивнул, профессор продолжал:

— Я ведь не политик. У меня есть свои убеждения, по политической борьбы я не веду. Возможно, мне бы следовало это делать, наверняка следовало бы, но, милый мой Аршанжо, не у всякого хватит духу пожертвовать должностью и званием ради своих идей. Не судите меня строго.

— Да, конечно, должность педеля — это не то что должность заведующего кафедрой. Всему своя цена. Так что не мне судить вас, профессор. Я скажу товарищам из финансового комитета, чтоб зашли к вам.

— Лучше всего вечером ко мне домой.

Аршанжо встал, Фрага Нето тоже поднялся и вытащил бумажник, чтобы расплатиться.

— Какая же у вас должность в Электрической?

— Разношу счета за электроэнергию.

Слегка смущенный, профессор спросил, понизив голос:

— Может, я могу вам помочь, Аршанжо? Не откажитесь принять от меня... — и потянул из бумажника крупную ассигнацию.

— Не обижайте меня, профессор. Присовокупите эти деньги к тем, что вы отдадите на забастовку. Желаю победы на конкурсе. Если б мне не было запрещено появляться на факультете, обязательно пришел бы вас подержать.

Фрага Нето проводил его взглядом: неугомонный старик, прах его побери. В каком-то волнении нерешительно двинулся к автомобилю. «Чертов упрямец, пошел в разносчики счетов. А конкурс — это конкурс, кафедра — это кафедра. Молодой претендент на звание доцента, только что вернувшийся из Европы, может объявить себя марксистом, и это сойдет ему с рук. А профессор медицинского факультета, оспаривающий кафедру у двух других претендентов, один из которых эрудит, а у другого — рука в министерстве, не может пойти в стачечный комитет, если не хочет провалиться на конкурсе и перечеркнуть свою карьеру. Это все равно что бросить кафедру псу под хвост, любезный Аршанжо. Вы сами сказали, звание профессора — не то что звание педеля. Педель беден, но горд. Профессор богат, а где его гордость, порядочность? Неужели только педель может оставаться

порядочным и гордым?» Фрага Нето ускоряет шаг, почти бежит.

— Аршанжо, Аршанжо! Погодите!

— Да, профессор...

— Этот ваш комитет... В котором часу, вы говорите, мне надо туда пойти?

— Да хоть сейчас... Вместе и пойдем, милый мой.

Профессор Фрага Нето не потерял кафедру, победил на конкурсе, с блеском побив и эрудита, и ловкача. А вот Педро Аршанжо потерял-таки должность, этот чертов старик не ограничился привлечением сочувствующих к работе комитета. Стал агитатором: убеждал, доказывал, был одним из тех, чьими усилиями забастовка охватила Электрическую компанию, а за ней и Телефонную. Бастовали дружно, победили, и администрация никого сразу не уволила. Чистка началась примерно через месяц. Одним из первых был уволен Педро Аршанжо.

Он шел по Пелоруиньо и смеялся. Безработный. Да-да, Забела, chômage¹!

4

Длинная и грустная вереница жалких должностей, что все быстрее сменяли друг друга и все хуже оплачивались. Найти работу в таком возрасте — само по себе дело не простое, а тут еще этот невозможный старик не соблюдает распорядка дня, бросает работу недоделанной, приходит поздно, уходит рано, совсем не приходит, заговорившись с кем-нибудь по дороге. При самом добром к нему расположении держать его невозможно.

Работал он внештатным корректором в редакции одной из утренних газет: сегодня один работник не явится, завтра другой, а у старика рука набита, в грамматике да в орфографии он силен. Утром, еще до выхода газет, за сарапателом и рюмкой кашасы рассказывал о последних событиях в стране и во всем мире кому-нибудь из друзей: Мигеля, майору, Будриану или Манэ Лиме. В мире неладно, то в одном месте заваруха, то в другом. Фашисты убивают негров в Абиссинии, опрокинув трон царицы Савской, ах, Сабина дос Анжос, твоего короля бросили в концентрационный лагерь! Продолжаются еврейские по-

¹ Безработный (фр.).

громы, теория превосходства арийской расы объявлена государственной доктриной, грохочут барабаны, мировая война не за горами. В Бразилии тоже хорошего мало: Новое государство, рта не раскрыть, тюрьмы набиты до отказа.

Прошло немного времени, и старик не только был уволен, но и попал в черный список газетных издательств. Есть основания полагать, что старый Педро Аршанжо нарочно искажил статью, в которой один из политических заправил, полковник Карвальо, обожествлял Гитлера. В тексте статьи, разосланной в газеты департаментом печати и пропаганды со строжайшим требованием особо выделить ее при публикации, не было живого места от ляпсусов и искажений. Еще можно поверить, — говорил государственный цензор издателю газеты, который к тому же был его приятелем, — вполне можно поверить, что «Гитлер — это гадость» вместо «Гитлер — это радость» получилось случайно, линотипист нажал не ту клавишу. Но уже трудней поверить в случайность, когда видишь, что вместо «избавитель человечества» напечатано «избиватель человечества». И совсем уж никак не объяснишь, откуда взялось слово *chibungó*¹, дважды присовокупленное к имени фюрера. Слава богу, в Рио никто не знает этого слова, оно понятно только баиянцу. Но все равно из столицы пришел грозный приказ, и он, главный цензор, смог ограничиться арестом номера и закрытием газеты на восемь дней лишь на свой страх и риск, чтобы избежать чего-нибудь похуже, и, разумеется, цензорам издательства отдано распоряжение произвести дознание, выяснить обстоятельства дела и наказать виновных.

Цензоры развели руками — попробуй отыщи теперь, кто в тот вечер правил какую статью, так ничего и не выяснили. Все поголовно отпирались, никто ничего не знает, не видал и не слышал. Старик, работавший на подмене от случая к случаю, не был даже опрошен. Владелец газеты, который, хотя и злился по поводу временного закрытия газеты и связанных с ним убытков, но еще больше был зол на диктатуру, сам вычеркнул сумасшедшего старика из списка опрашиваемых, зато внес его имя в черный список: «Если он будет продолжать править гранки, он в конце концов засадит нас всех в тюрьму!» «Ай да старик!» — говорили линотиписты. Злопо-

¹ Нецензурное ругательство, обозначающее гомосексуалиста.

лучный номер газеты продавался из-под полы по неслыханной цене.

«Если бы он просто не работал, это бы еще полбеды,— пояснял майору Дамиану де Соузе нотариус Казуза Пивиде, принявший Педро Аршанжо на должность переписчика копий в канцелярию Дворца правосудия.— Беда в том, что он другим не дает работать: как придет — все бросают дело и слушают, раскрыв рты, этот старикан набит всякими историями, одна другой занятней да заковыристей, сеу майор. Я и сам — работу побоку и слушаю».

Надзирателем в гимназии Педро Аршанжо проработал одни сутки: ему показалось, что воспитанники интерната — узники, оторванные от семьи и лишённые улицы, жертвы строгой дисциплины, вечно голодные и тоскующие по свободе. В свое первое и последнее дежурство он организовал с мальчишками импровизированный литературно-музыкальный вечер: стихи и кавакиньо. Они пропели бы до утра, если бы директор гимназии, срочно вызванный из дома, не положил конец «этому невысказанному безобразию». Работая швейцаром в гостинице, Педро Аршанжо отлучался со своего поста по первому приглашению. Когда служил билетером в кинотеатре «Олимпия», пропускал без билета на утренние сеансы в воскресенье всех негрятят. В должности учетчика на стройке болтал с рабочими, снижая производительность труда, не был он создан подгонялой, не получился из него ни бригадир, ни надсмотрщик. Да и стоит ли рабочим за такую мизерную плату надрываться ради хозяйских барышей? Старик никогда не соблюдал строго распорядка дня, даже в своих исследованиях подчинялся только внутренней дисциплине, не глядел на часы, не был рабом календаря.

Костюм потерт, рубашки расплываются, ботинки стоптаны. Один-единственный костюм, три рубашки, двое трусов, две пары носков — как тут сохранишь приличный вид? И все же грязи он не выносил, сам стирал остатки своего гардероба, а Кардеал, чистильщик с террейро, мимо которого Педро Аршанжо ходил уже лет двадцать, бесплатно наводил блеск на его ботинки:

— Идите сюда, отец, почистим...

Однако Педро Аршанжо не унывал, бродил повсюду. Вот он в лавке «Данте Алигьери» ругается с Бонфанги: «Где же мои денежки за кулишарную книгу, бандит ты

калабрийский?» — «Ладно, пусть я бандит, но какой я тебе калабриец, io sono toscano, Dio merda!»¹ За разговорами проходит утро, проходит день то в лавке Мигела, то в какой-нибудь мастерской на Пелоруиньо, то в киоске на Золотом Рынке или на Меркадо Модело, то у церкви святой Варвары. Всюду приглашают поесть, со-трапезник он веселый. Аршанжо — постоянный гость за столом Теренсии, которую теперь сменила на кухне ее племянница Наир, двадцатипятилетняя красотка, мать шестерых детей. Старший — внук Теренсии, Наир прижила его с двоюродным братом, Дамианом, который не был настолько глуп, чтобы оставлять посторонним эту семейную жемчужину. Остальные пять — от разных отцов, какого угодно цвета кожи, от белого до черного: Наир не страдала расовыми предрассудками и времени зря не теряла.

— Виданное ли это дело!.. Сама не своя до мужиков... — жаловалась убеленная сединами Теренсия, устремив взор на собеседника. — Нет у нее твоей гордости, кум.

— Моей гордости, кума? О чем это ты?

Ответ Педро Аршанжо прочел в горестном взгляде: столько лет ждала она от него словечка, намек, просьбы. «Нет, кума, не гордость тому виной, а уважение. Разве мало ты говорила о Союзе Кривом? В голосе был гнев, а в сердце — надежда. Я ел твой хлеб, обучал мальчишку грамоте, уважал твое одинокое ложе, думал, что...» — «Ты такой умный, кум, ты же — глаза Шанго, как это ты не разглядел? Теперь уж поздно, старые мы». — «Так-таки старые, кума? А от кого у Наир предпоследний, вон тот карапуз? Ему и двух лет не исполнилось, а отец его, кума, чтоб ты знала, сидит перед тобой...»

Педро Аршанжо заглядывал в школы капоэйры, толковал с Будианом и Валделойром, бывал на репетициях афопе «Африканские весельчаки», на кандомбле, в ночных кабаках «Семь дверей» и «Розовая во-дица».

С одним поговорит, с другим, запишет что-то в книжечку, заставит своими историями посмеяться или заплакать и поспешит дальше — вот так прожил Педро Аршанжо последние годы своей жизни. Вечно в спешке, вечно с народом, вечно одинокий.

¹ Я — тосканец, черт побери! (ит.)

Одиноким он стал со смертью Лидио Корро. Оправился не сразу, ему понадобилась вся его энергия, вся любовь к жизни. Постепенно стал воскрешать память о куме, делая его излюбленным героем своих историй. Все, что Педро Аршанжо совершил, чего добился, было сделано при помощи и поддержке кума Лидио. Они были братьями, близнецами, сросшимися воедино. «Как-то раз, много лет тому назад, пошли мы с кумом Лидио на праздник Иансан, путь был немалый, мы шли в Гомейю, в те времена по приказу комиссара Педрито дубинка вовсю гуляла по спинам слуг святого. Кум Лидио...»

Мать Пулкерия, видя бедность и нужду Педро Аршанжо и помня, как много помогал он ей во всех делах террейро, предложила ему взять на себя часть ее забот, на этот раз за вознаграждение. Ей нужно было, чтобы кто-то собирал ежемесячные взносы с членов секты и квартирную плату за лачуги, построенные на землях участка, где жили родственники и домочадцы «дочерей святого». Нужен надежный человек, который вел бы все расчеты, самой ей некогда. Плата за это небольшая, но будет хотя бы мелочь на трамвай. За трамвай он не платит со времени забастовки. Еды ему хватает, все зовут, только выбирай. «Я буду выполнять твое поручение, мать Пулкерия, как Ожуоба и твой друг, но с одним условием: никакой платы мне не надо, не обижай меня, мать». Про себя он подумал: «Если б я еще верил в чудеса, если бы не открыл тайну, то, пожалуй, мог бы из этой самой веры принять деньги от святого. А так — нет, мать Пулкерия, я это сделаю как преданный друг. Можно заплатить брату по вере, но не другу, за дружбу платят не деньгами, тут счет иной, сама знаешь!» И вот до конца своих дней Педро Аршанжо ежемесячно собирал взносы с членов секты, детей террейро Пулкерии, взимал арендную плату с постояльцев и жильцов, безусловно вел счета, и все же, когда у него в кармане заводился грош-другой, он клал их в куйю, копилку ориша, на поднос Шанго, на алтарь Эшу.

Как-то исчез чуть не на неделю, друзья всполошились. Искали, искали — нет старика, да где же он живет? Как съехал из мансарды с видом на море, где прожил тридцать лет, так не заводил постоянного жилья, менял кров и ночлег каждый месяц, жил словно птица божья. Наконец его нашла Эстер, содержательница публичного дома в Верхнем Масиеле, уважаемая матрона и бывшая

иваво Ожубы Аршанжо. Когда-то, совсем еще девчушкой, служила она официанткой в кафе и участвовала в кандомбле. Старая Маже Бассан уже едва ходила, и Ожуба помогал ей вести ковчег иваво в надежную гавань. Когда наступил день обряда посвящения Эстер, Маже Бассан, не уверенная в твердости своей руки, вручила бритву Ожубе.

Вонючая каморка, ни кровати, ни матраца, одно лишь ветхое одеяло, все в дырах, да ящик с книгами — такой жуткой нищеты Эстер еще не видывала, — Аршанжо лежит в жару, но говорит, что это пустяки, простудился немного и все. Врач нашел у него воспаление легких, прописал таблетки и уколы, предложил немедленно отправить в больницу. «В больницу — ни за что!» — воспротивился Аршанжо, ноги его там не будет. Для бедняка больница — это верная смерть. Врач пожал плечами: «Ну, куда-нибудь, где условия более или менее человеческие, нельзя же оставаться в этой сырой конуре, тут и крысы не выживут».

В заведении Эстер была небольшая комната, отведенная буфетчику, который подавал гостям пиво, вермут и коньяк, следил за порядком, заступался за девушек. Эти важные и разнообразные функции выполнял некий Марио Муравей. Будучи образцовым отцом семейства, этот мулат ночевал дома, с женой и детьми, комнатуха пустовала. Публичный дом, конечно, не очень-то подходящее место для отца Ожубы, но другого выхода у Эстер не было, упрямый старик и слышать не хотел о больнице.

В этой тесной каморке он и провел остаток своих дней, вполне довольный жизнью. Переходя с одной работы на другую — собственно, работой это уже и не назовешь, — Педро Аршанжо достиг семидесяти лет, празднеств по этому поводу не было; на семьдесят первом году его жизни началась война, она-то и стала его главной заботой, ей он посвящал все свои дни, часы, минуты.

Где он ни бывал — в любой части города, в домах, на рынках и ярмарках, в лавках и мастерских, на террейро и на улице, — всюду спорил и горячился. Над всем, что он выносил в себе и воплотил в делах, нависла тень, угроза, страшная угроза, смертельная.

Он был и солдатом, и генералом, он — гражданин своей страны, был тактиком и стратегом, завязывал и вел бои. Когда все уже пали духом и признали себя побеж-

денными, он стал во главе войска мулатов, евреев, негров, арабов и китайцев, заступил путь фашистским ордам. Вперед, ребята, дави разгулявшуюся смерть, подлую заразу!

5

Педро Аршанжо, смолоду неутомимый ходок, прошел с процессией от Кампо-Гранде, пункта отправления, до Праса-да-Се, где манифестация по случаю четвертой годовщины второй мировой войны завершилась грандиозным митингом. Чтобы не стереть ноги, подложил картонные стельки в ботинки с дырявыми подошвами, теперь он уже и не пытался скрыть пятна на пиджаке, дыры на брюках.

Антифашистам удалось собрать на площади тысячи демонстрантов. В одной газете называлась цифра двадцать пять тысяч, в другой — тридцать тысяч. Студенты, рабочие, служащие, представители всех сословий и профессий. При свете факелов из пакли, пропитанной мазутом из подпольной бразильской нефти — существование таковой официально не было признано, и многие из тех, кто это оспаривал, заплатились свободой, — огромная людская масса волновалась, шумела, хором выкрикивая лозунги, тысячи голосов подхватывали возгласы «Да здравствует!» и «Долой!».

Флаги союзных держав, плакаты и транспаранты, огромные портреты глав государств, ведущих борьбу против фашизма.

Во главе колонны руководители Корпорации медиков несли портрет Франклина Делано Рузвельта. Педро Аршанжо в одном из демонстрантов узнал профессора Фрагу Нето, тот шел, откинув назад голову и вызывающе выставив клин рыжей бородки. Он одним из первых презрел полицейский запрет и публично потребовал отправки бразильских войск на войну с фашизмом.

Следом несли портреты Черчилля, Сталина — под громкие приветственные крики, — де Голля, Варгаса¹. Два лозунга главенствовали над колоннами. Первый содержал требование немедленного создания экспедиционного корпуса, так чтобы война, объявленная Бразилией странам оси, утратила свой чисто символический харак-

¹ Жетулио Варгас — президент Бразильской республики (1951—1956).

тер и получила материальное воплощение. Другой лозунг призывал правительство принять меры по разведке и эксплуатации бразильской нефти, открытие которой в Реконкаво не вызывало уже никаких сомнений. Впервые было выставлено также требование амнистии политическим заключенным. Что касается свобод, то народ завоевывал их действием, выходя на демонстрации и митинги. Аршанжо, нищий праздный старик, не пропускал ни одной демонстрации, до тонкостей разбирался в ораторах, мог определить политическую линию любого из них, хоть они и выступали единым фронтом за победу в этой войне.

В районе Сан-Педро, перед зданием Политехнической школы, процессия ненадолго остановилась, и из окна второго этажа кто-то произнес пламенную речь; оратор клеймил преступления тоталитарного фашистского режима, основанного на расовой ненависти, восхвалял демократию и социализм. Каждую фразу сопровождал взрыв аплодисментов. Старый Аршанжо с трудом взобрался на скамью и увидел оратора. Это был один из его любимцев, Фернандо де Сант-Ана, студент Политехнической школы, признанный студенческий вожак, обладавший звучным голосом и даром красноречия. Худой и смуглый, вроде Тадеу. Много лет тому назад, когда началась первая мировая война, студент Тадеу Каньото из этого самого окна произнес речь, призывая к участию Бразилии в войне против германского милитаризма. Его, Педро Аршанжо, та война не очень-то трогала, хотя он не жалел слов, выступая за Францию и Англию. Зато в речах Тадеу его по-настоящему трогали светлый ум юноши, хороший слог, четкость доводов. На днях Аршанжо прочел в газете заметку, в которой расточались похвалы «таланту видного баианского градостроителя» и сообщалось о его назначении секретарем по общественным работам префектуры федеральной территории. Гомесы переехали в Рио-де-Жанейро, желая принять участие в воспитании детей, которые наконец стали появляться на свет. То ли помогло лечение Лу во Франции, то ли обет, данный ее матерью, доной Эмилией, спасителю Бонфинскому в Баие.

Теперь — другое дело: старик, будто ребенок, жадно ловит каждое слово оратора, юного метиса, пылко обличающего расизм, — эта напористая молодежь видит уже очертания своего будущего. Педро Аршанжо слезает со скамьи, в этой войне он ветеран, ведет ее много

лет, на передовой линии этого фронта прошла вся его жизнь.

На площади Кастро Алвеса — снова остановка, толпа не успевает вливаться в улицы Баррокинья, Монтанья, хвост колонны остался на улице Сан-Бенто. Оттуда, почти с середины подъема, старик, чьи ноги уже гудели от усталости, разглядел майора: тот что-то говорил, взобравшись на пьедестал памятника Кастро Алвесу и воздев руку с поднятым перстом. Педро Аршанжо слышал только аплодисменты, слова оратора до него не долетали. Да и не было в том нужды, он хорошо знал, какие слова и фразы тот произносит, знал красочные эпитеты, восклицания: «О народ! О народ Баии!» Ходатай за весь город, правосудие бедняков, надежда узников, заступник тех, кто в беде, учитель неграмотных, народный адвокат, — вот он, его мальчик Дамиан, стоит на ступеньке пьедестала. В этот час он уже, должно быть, на взводе, пропустил не один стаканчик кашасы, но мысль его ясна, речь зажигательна, никто и никогда не видел его пьяным. Каждый из прочих ораторов представлял ту или иную организацию, фронт, профсоюз, класс, объединение, преследуемую нелегальную партию. Майор выступал от имени всего народа, почти не выделялся из толпы, стоя на невысоком пьедестале.

Процессия гигантской змеей изогнулась на улице Чили, с балкона дворца толпе помахал рукой представитель президента республики. Из окна здания префектуры к демонстрантам обратился профессор Луис Рожерио: «Мы победим!» Старик помнит его студентом, помнит, как он участвовал в шутейных символических похоронах профессора-расиста, как выступал на террейро, протестуя против увольнения Педро Аршанжо.

На Праса-да-Се, где была сооружена расцвеченная флагами трибуна, состоялся заключительный митинг. Старик протискивается сквозь густую толпу, просит разрешения пройти, тот, кто узнает его, уступает дорогу. Вот он пробрался к трибуне. От имени Антифашистского фронта медиков выступает юноша-мулат с островов Зеленого Мыса, высокий и красивый, говорит густым басом; это — доктор Дивалдо Миранда. Он закончил университет недавно, старик его не знает, но в этот сентябрьский день тысяча девятьсот сорок третьего года молодой оратор вспоминает о давно забытых делах, воскрешает тени, призраки прошлого. Упоминает брошюру, сохранившую законопроект профессора медицинского фа-

культета, некоего Арголо де Араужо; проект предусматривал изоляцию негров и метисов в самых диких районах страны с последующим перемещением в Африку тех, кто выдержит тропическую жару и болотную лихорадку. Проект этот поддержан не был, вызвал смех и возмущение. Когда Гитлер пришел к власти и провозгласил начало тысячелетней эры расизма, профессор был еще жив, откликнулся на это событие бредовой статьей под заголовком «Посланец божий». Божий посланец, миссия которого — истребить негров и евреев, арабов и метисов, грязных мулатов, возвести в закон некогда предложенный профессором геноцид.

Любуясь на площади молодым оратором, таким красивым и темпераментным, старик вспомнил разговор более чем тридцатипятилетней давности. Педро Аршанжо только что опубликовал свою первую книгу, и профессор Арголо остановил его в коридоре факультета. «Это злокачественная опухоль,— заявил профессор, имея в виду метисацию,— ее нужно вырезать. Хирургическое вмешательство лишь кажется жестокой мерой, на самом деле оно неизбежно и благотворно». Аршанжо, в то время такой же прямой и решительный, как этот оратор, рассмеялся и спросил: «Убить нас всех до одного, профессор?» В глазах заведующего кафедрой судебной медицины вспыхнул желтый огонь фанатизма. Он вынес свой безжалостный, бесчеловечный приговор: «Уничтожить всех, мир принадлежит арийцам, высшим существам, оставить лишь рабов для черной работы». Гением, вождем, божьим посланцем будет тот, кто претворит эту страшную идею в жизнь, кто поведет войну во имя высокой цели: очистить мир от евреев, арабов и желтых, выместить из Бразилии «африканскую мразь, что грязнит нашу нацию».

Все, чего профессор требовал, что рекомендовал, стало реальностью. Над всем, что проповедовал, за что боролся старый Аршанжо, нависла угроза. Опять борьба тех же идей, тех же принципов. Но уже не в дискуссии, а в бою с оружием в руках. Льется кровь, павших — легионы.

А что, если бы Гитлер победил? Гитлер или другой фанатик расизма? Смог бы он обречь нас всех на смерть и на рабство? Профессор утверждал, что смог бы, что нужен только вождь, который пожелал бы взять на себя эту задачу, и из туманных далей, из Германии, Гитлер ответил: «Есть!» Так вот, если бы он победил, смог бы он

на самом деле покончить с народом: одним смерть, другим — рабство? Ответа на этот вопрос старик и ищет в речах ораторов.

Жокондо Диас, испытанный в битвах революционер, шлет привет от бразильских трудящихся солдатам свободного мира и бросает в толпу слово «амнистия», которое подхватывают тысячи голосов, и этот хор звучит беспрерывно, он смолкнет лишь в канун победы, когда распахнутся ворота тюрем. Нестор Дуарте, профессор права, писатель, хриплым голосом произносит пламенные слова, обрушивается на зажавшие свободу оковы диктатуры, требует демократии, «во имя демократии идут в бой борцы против нацизма». Профессор Цалие Юхт говорит от имени евреев, на его выразительном лице — печать ужасов гетто, в его голосе — отзвуки погромов. Эдгард Мата, превосходный оратор, широко известный и всеми почитаемый трибун, закрывает митинг прорицанием в гонгористском¹ стиле: «Гитлер, апокалипсический зверь, убудок сатаны, будет повержен и захлебнется в дерьме!»

Толпа отвечает криками, аплодисментами, овацией, ликует и приходит в движение. Человеческое море густеет по краям и начинает вливаться в улицы. Старик пробирается к выходу, работая локтями, он так и не получил ответа на свой вопрос: сможет кто бы то ни было покончить с ними со всеми, Гитлер или кто другой, сегодня или завтра? Старика совсем затолкали, он пристраивается за дюжим моряком, выходит из толпы, тяжело дыша, идет по направлению Террейро Иисуса, и тут внезапная боль сжимает ему грудь. Это уже не в первый раз. Он протягивает руку, пытаюсь опереться о стену Епископского дворца, не достает, и упал бы, если бы его не поддержала какая-то вовремя подбежавшая девушка. Старик приходит в себя, боль отступает, теперь она — тонкое жало в глубине груди.

— Спасибо.

— Что с вами? Скажите, где болит, я студентка медицинского факультета. Хотите, доведу вас до больницы?

Больницы он боялся, бедняку больница — верный гроб.

¹ Луис де Гонгора (1561—1627) — испанский поэт XVII в. Вычурный, витиеватый стиль Гонгоры вошел в историю литературы как гонгористский.

— Нет, ничего, обычный приступ, не хватило воздуха. Пройдет, большое спасибо.

Выцветшими глазами смотрит Педро Аршапжо на поддерживающую его смуглянку. Какая знакомая красота, близкая, родная. Да это наверняка впучка Розы! Те же нежность, страстность, обаяние, волнующая красота — вся она тут.

— Вы — внучка Розы, дочь Мимины? — В усталом голосе радостные нотки.

— Откуда вы знаете?

Такая похожая — и совсем другая, сколько рас и народов смешало свою кровь, чтобы возникло такое совершенство? Длинные шелковистые волосы, нежная кожа, голубые глаза, непостижимая тайна упругого тела, стройного и пышного.

— Я дружил с вашей бабушкой, был на свадьбе вашей матери. Как вас зовут?

— Роза, как и бабушку. Роза Алкантара Лавинь.

— Изучаете медицину?

— Я на третьем курсе.

— Думал, никогда уж не увижу такую красавицу, как ваша бабушка. Роза Алкантара Лавинь... — Он заглянул в голубые глаза, внимательные и любопытные, унаследованные от Лавиней. А может, от Алкантара? Кожа смуглая, глаза голубые. — Роза де Ошала Алкантара Лавинь...

— Де Ошала? Чье это имя?

— Вашей бабушки.

— Роза де Ошала... Прелесть, я, пожалуй, так и буду называть себя...

Из группы студентов зовут:

— Роза! Роза! Идем, Роза!

— Иду, иду! — откликается Роза, впучка Розы, такая похожая и совсем другая.

Манифестанты расходятся, штурмуют трамваи, на столбы с потухшими фонарями опускается ночь. Старик устал, но на лице его радостная улыбка. Девушка каким-то чутьем смутно догадывается, что этот хромой и, наверно, больной старик в ветхом пиджаке, залатанных штанах, дырявых ботинках и с изношенным сердцем чем-то ей близок, а может, даже родственник, как знать. О бабкиной родне ей старались не говорить, след рода Ошала терялся в таинственной мгле, о нем умалчивали.

— Прощайте, дочь моя. Я будто снова повидал Розу.

Внезапно девушка, подчиняясь какой-то непонятной для нее самой силе, взяла худую темную руку старика и поцеловала. Потом побежала к своим друзьям, и шумная компания с песнями двинулась по темной улице.

Старик медленно побрел по Террейро Иисуса по направлению к Верхнему Масиелу, наступал час ужина в заведении Эстер. Да разве сможет кто-нибудь, какое бы войско он ни набрал, обречь на смерть и рабство народ, убить Розу и ее внучку, убить Красоту?

— Благословите, отец мой,— просит девушка, совсем еще молоденькая, вышедшая на поиски первого в этот вечер клиента.

Старик, ковыляя, тонет в сумерках. Трудный вопрос, где взять на него ответ?

6

В конце программы «Последние новости» — военные сводки, ну и молодцы эти русские. Малуф поднес рюмочку кашасы, обсудили демонстрацию и митинг, доблесть надменных англичан, рейд американцев по затерянным островкам у берегов Азии, подвиги советских войск. Атаулфо, зануда-пессимист, не верил, что победа неизбежна. «Как знать! У Гитлера кое-что припрятано на крайний случай, тайное оружие, которым весь мир можно разрушить».

— Разрушить весь мир? Значит, Гитлер может, выиграв войну, истребить или обратить в рабство всех, кто не белый, в ком не течет чистая арийская кровь? Задушить жизнь и свободу, прикончить или, хуже того, поработить всех нас без исключения?

Спор разгорелся вовсю: «Может, не может, почему это не может? Еще как может!» Кузнец поставил точку:

— Даже бог, который сотворил людей, не может убить всех разом, он убивает нас по одному, и чем больше он убивает, тем больше народу рождается, подрастает. Мы будем рождаться, расти и перемешиваться, и никакой сукин сын нам в этом не помешает!

Он так хватил по стойке буфета кулачищем — под стать кулаку шкипера Мануэла или Зе Широкая Душа, — что опрокинул свою рюмку с остатками кашасы,

Турок Малуф, человек отзывчивый и понимающий, налил еще по одной.

Старый Аршанжо повторил полученный наконец ответ на свой вопрос:

— ...будем рождаться, расти и перемешиваться, и никто этому не воспрепятствует. Ты прав, дружище, так оно и есть, никому и никогда нас не уничтожить. Никому, мой милый.

Наступил вечер, затекшая рука Педро Аршанжо еще не отошла, боль затаилась где-то в груди. Бодро попрощался: до завтра, милые мои, хорошо жить на свете, когда есть друзья, глоток кашасы и такая вот вера, верней которой не бывает. Я пошел. Кто уходит последним, тому и двери запирают.

Педро Аршанжо пускается в путь по темной улочке, из последних сил идет вперед. Боль разрывает ему грудь. Он хватается за стену, падает. О, Роза де Ошала!

О СЛАВЕ РОДИНЫ

Высокоцитимый доктор Зезиньо Пинто сделал удачный выбор, рассчитал все до тонкостей: актовый зал баиянского Института истории и географии, уютный и в меру роскошный, заполнен до отказа. Окинув взглядом столь представительное, высокое собрание, декан медицинского факультета сказал его превосходительству губернатору: «Если бы сейчас на здание института упала бомба, Баия разом потеряла бы цвет своей интеллигенции, весь без остатка». И в самом деле, на празднование столетия со дня рождения Педро Аршанжо собралась вся аристократия, сливки баиянского общества. Всех привело сюда единодушное стремление выполнить отрядный гражданский долг: поднять еще выше славу родины.

Открывая торжественное заседание, президент Института в своем кратком, но весьма изысканном вступительном слове, прежде чем обратиться к губернатору с просьбой занять председательское кресло, позволил себе невинное удовольствие кинуть камешек в огород зазнавшихся аристократов: «Мы собрались здесь, чтобы торжественно отметить величественные столетние эфемериды того, кто познакомил нас с полным списком имен наших предков». Несмотря на свой почтенный возраст и занятость важными историческими изысканиями президент

Магальянс Нето любил острое словцо, писал эпиграммы в духе лучших традиций баиянского фольклора.

Когда члены президиума заняли свои места, губернатор предоставил слово устройтелю праздника, владельцу газеты «Жорнал да Сидаде» Зезиньо Пинто.

— Организуя нынешние торжества, наша газета выполняет один из важнейших пунктов своей программы, который предусматривает прославление и популяризацию имен выдающихся сограждан, указавших путь грядущим поколениям. И вот, откликнувшись на призывный сигнал боевых труб «Жорнал да Сидаде», вся Баия, объятая вихрем стремительного движения по рельсам прогресса и индустриализации, отдает долг благодарности великому Педро Аршанжо, который умножил славу нашей родины, снискав признание всей мировой общности.

Затем профессор Калазанс, сам удивляясь тому, что после многотрудного марафона он остался жив и не сидит в тюрьме, зачитал перевод письма самого Джеймса Д. Левенсона Юбилейной комиссии. Лауреат Нобелевской премии, одоблив идею организации торжеств, сообщал о триумфе сочинений баиянского корифея, которые в переводе стали достоянием всех культурных стран.

— Популяризация трудов Педро Аршанжо привела к тому, что важный и самобытный вклад Бразилии в решение расовой проблемы, никому дотоле не известное проявление самого высокого гуманизма, стал теперь предметом обширнейших исследований в самых различных авторитетных научно-исследовательских центрах.

Доктор Бенито Марис, выступивший от Литературного общества медиков, говорил о Педро Аршанжо в первую очередь как о мастере слова, борце за чистоту языка, «изящного и непринужденного», который он усвоил «в общении с корифеями медицины, преуспевшими как в науке, так и в изящной словесности». Декан медицинского факультета защищал уже многим знакомый тезис о том, что «Педро Аршанжо — детище медицинского факультета, ученик этой великой школы, там он трудился и творил, именно факультет создал ему атмосферу и условия для творчества».

От философского факультета не выступил никто: профессор Азеведо, еще не оправившийся от удара, нанесенного запрещением семинара по проблемам метисации и апартеида, отклонил приглашение, мотивируя свой отказ тем, что его книга, которая вот-вот выйдет, и есть

его дань памяти Аршанжо. Калазансу же он объяснил:

— Еще, чего доброго, потребуют для проверки и цензуры текст моего выступления.

— Кто потребует? — спросила Эделвейс Виейра, секретарь Центра фольклорных исследований: она не разбиралась в нюансах выражений, неизбежных во времена, когда политика — дело темное, а вторжение в культурную жизнь — дело ясное.

— Чье вторжение?

— Ради бога, доня Эделвейс, не надо больше вопросов, вам дали слово, идите выступать.

Взойдя на трибуну, Эделвейс Виейра, круглолицая светлая мулатка, в проникновенной речи поблагодарила «отца баианской фольклористики» за то, что в своих книгах он спас от забвения и сохранил для потомства несметные богатства народных традиций. Голос ее звучал мягко, на губах играла застенчивая улыбка — само обаяние, а закончила она свое слово благодарности и любви обращением к покойному юбиляру: «Благословите, отец Аршанжо!» Исследовательница фольклора, возделывающая поле, на котором межи и тропки проложил автор «Народного быта Баии», после официальных ораторов с их выпрежанными и пустыми речами показалась вдруг старательной и аво, преклонившей колени на террейро перед жрецом. В этот момент в зале четко обрисовалась фигура Педро Аршанжо. Но всего лишь на минуту, ибо тут же на трибуну поднялся высокочтимый академик Батиста, главный оратор вечера, раз уж профессор Рамос из Рио-де-Жанейро не приехал (по тем же причинам, что и профессор Азеведо). «Кисейные барышни!» — отозвался о том и другом доктор Зезиньо Пинто. Ему, собаку съевшему в политике, подобные соображения казались ребячеством.

Пока что все доклады были не слишком затянутыми, каждый не более получаса, ораторы придерживались рекомендаций Калазанса: по полчаса каждый — это уже три часа, а больше публика не выдержит. Но вот на трибуне появился всем известный Батиста, и участники торжества приуныли, они потянулись бы к выходу, если бы не уважение к «Журнал да Сиададе» и доктору Зезиньо да не присутствие губернатора, а если уж говорить начистоту, то и чувство страха. Профессор Батиста — из тех, кто умеет держать нос по ветру, и поговаривали, что по его доносам не один человек был осужден

за подрывную деятельность. При таких обстоятельствах надеяться было не на что: этот оратор волен был нарушать регламент и заниматься словоблудием сколько заблагорассудится.

Часть доклада была написана им давно, когда в Баию заезжал Левенсон. Это был спич, подготовленный к обеду в честь гостя, но эксцентричный лауреат Нобелевской премии от обеда отказался, его больше влекли народные обряды и прелести Аны Мерседес, чем общение с выдающимися людьми. К старому введению плодови́тый Батиста добавил несколько глав о Педро Аршанжо и о некоторых общих насущных проблемах. В результате получилось «монументальное произведение, исполненное учености и патриотизма», как характеризовал доклад редактор «Жорнал да Сиаде». Монументальное и нескончаемое.

И уж конечно не без полемики. Для начала Батиста возразил Джеймсу Д. Левенсону, показав тем самым, что не один этот гринго силен в науке и культуре: сам оратор хотя и признает заслуги американца, но может с ним и поспорить. Он с похвалой отозвался о титулах Джеймса Д. Левенсона, о его кафедре, о его высокой репутации, о его достойной уважения национальности. Осудил постоянный бунт, непочтение к признанным авторитетам, легкость, с которой он нарушает табу и порой именуется почтенных корифеев «злостными шарлатанами». Потом поспорил и с Аршанжо. По его мнению, чествование юбиляра, так горячо поддержанное всеми присутствующими, не должно было выходить за рамки исследований Аршанжо в области фольклора, ибо они, «хотя и содержат многочисленные погрешности, представляют в перспективе определенный интерес и могут быть введены в научный обиход». Однако, пытаясь анализировать труды таких крупных ученых, как Нило Арголо и Освалдо Фонтес, Аршанжо допускает эксцентричные утверждения, лишённые каких бы то ни было оснований. Много говорить о Педро Аршанжо оратор не стал. Большая часть его выступления ушла на дифирамбы «истинной традиции, той единственной, которая должна всячески культивироваться,— традиции бразильской семьи в рамках христианства». Профессор Батиста недавно стал председателем Ассоциации по охране традиции, семьи и собственности и потому считал себя ответственным за национальную безопасность. Зорким полицейским оком повсюду высматривал он врагов отечества и режима.

Даже некоторых членов федерального правительства подзревал в тайном сговоре с подрывными элементами и, говорят, кое-кто по его доносу угодил... — ради бога, дона Эделвейс, не спрашивайте, кто именно и куда.

Всему на свете приходит конец, кончилась около половины двенадцатого и речь грозного Батисты, в зале — гробовая тишина, публика утомилась. У всех ощущение, что, появившись в этот момент Педро Аршанжо, оратор послал бы за полицией.

С облегчением вздохнув, губернатор поднялся, чтобы закрыть собрание:

— Поскольку никто больше слова не просил...

— Прошу слова!

Майор Дамиан де Соуза. Он, как всегда, опоздал, глаза у него уже изрядно покраснели, ибо майор принял внутрь немалую долю от всей выпитой в Баие за день кашасы к тому моменту, когда вошел в зал в самом начале занудливой проповеди правоверного Батисты. С ним пришла бедно одетая мулатка на последнем месяце беременности, которая явно робела в таком блестящем обществе.

Майор без церемонии обратился к поэту и социологу Фаусто Пене:

— Послушайте, бард! Уступите место бедняжке, она ждет ребенка и не может стоять.

Поэт встал, из солидарности поднялась и глядевшая на него влюбленными глазами худенькая девица, последняя протееже Фаусто Пены, недавно выступившая под рубрикой «Поэзия молодых».

— Садись, девочка, — сказал майор мулатке.

Уселся на второе освободившееся место, устремил взор на оратора и тут же заснул. Разбудили его хлопки по окончании речи, как раз вовремя, чтобы взять слово.

Ступив на трибуну, Дамиан де Соуза бросил грустный взгляд на стакан газированной воды — «Ну когда же оратору будут ставить хотя бы пиво?» — и обратился к властям и «созвездию талантов», собравшимся, чтобы почтить память Педро Аршанжо, учителя народных масс, в том числе самого майора, которого в свое время обучил грамоте, ученого, достигшего величия своим собственным упорством, гражданина, чье имя, вкупе с именами таких гениев, как Руй Барбоза и Кастро Алвес, символизирует «триединую славу Баии». После тупых и мрачных разглагольствований Батисты, сдобренных тем-

ными намеками и угрозами, речь майора, патетическая и красочная, в чисто баиянском вкусе, разрядила удушливую атмосферу и вызвала новый взрыв аплодисментов. Майор драматическим жестом вскинул руки:

— Все это очень хорошо, дамы и господа! Все эти торжества в честь местре Аршанжо, проведенные в декабре месяце и собравшие цвет баиянской интеллигенции,— все это правильно, чудесно, но...

— Если сейчас поднести к его рту зажженную спичку, воздух около рта вспыхнет...— шепнул президент Института губернатору, но по лицу его было видно, что он испытывает к оратору огромную симпатию: сильный голос майора Дамиана де Соузы и крепкий водочный перегар, которым он дышит, в тысячу раз приятнее, чем лицемерная речь и злоеший взгляд трезвенника Батисты.

Простерев руки, майор перешел к заключительной части своего выступления, в голосе его послышалось рыдание:

— Столько собраний, речей, столько похвал Педро Аршанжо, который их заслужил, он заслужил и большего,— но есть и обратная сторона медали! Члены семьи, потомки Педро Аршанжо, плоть от плоти его, прозябают в крайней нищете, погибают от голода и холода. Как раз здесь, добросердечные дамы и господа, в этом пышном праздничном зале страдает близкая родственница Аршанжо, мать семи детей, ожидающая восьмого, вдова, оплакивающая горячо любимого мужа, ей нужны врач, больница, лекарства, деньги, чтоб прокормить детей... Здесь, в этом зале, где воздавалось столько хвалы Педро Аршанжо, здесь...— Он указал на мулатку, сидевшую в зале: — Встаньте, дочь моя, поднимитесь, пусть все видят, в каком состоянии находится близкая родственница бессмертного Педро Аршанжо, нашей славы и гордости, славы Баии, Бразилии, славы родины!

Мулатка поднялась с кресла и стояла потупившись, не зная, куда девать руки: огромный живот, стоптанные панталоны, каблучки, ветхое платье — образ крайней нужды. Чтобы разглядеть ее, многие вставали.

— Дамы и господа, я прошу у вас не хвалебных эпитетов, прошу пожертвовать обол этой бедной женщине, в чьих жилах течет кровь Аршанжо!

Сойдя с трибуны, Дамиан стал обходить зал со шляпой в руке. Начал с президиума и дошел до последнего ряда, не пропустив никого.

— Этим примерным актом христианского милосердия мы заканчиваем наше собрание,— объявил губернатор, а майор высыпал в подол смущенной мулатки содержимое шляпы, целый ворох ассигнаций разного достоинства. Покончив с этим, взял под руку Арно Мело:

— Послушай, друг любезный, не угостишь ли пивом, горло пересохло, сил нет, а я без гроша.

Они направились в бар «Мужской разговор». С ними — Ана Мерседес. Она наконец бросила якорь в бухте популяризации и рекламы и шла об руку с Арно Мело. Оказалась неоценимым сотрудником по налаживанию контактов, перед ее аргументами не мог устоять ни один клиент. На улице Арно обратился к майору:

— Разрешите, я ее поцелую, а то я битых три часа не ощущал вкуса ее губ и, выслушав столько вздора, стражду и пропадаю.

— На здоровье, милый мой, отведи душу, но побыстрее и не забудь про пиво. А потом, если хочешь, я укажу вам очень приличный дом, где бывал сам Аршанжо.

Зал понемногу пустел. Профессор Фрага Нето, усы и бородка которого поседели, но нрав оставался задиристым и боевым, подошел к несчастной близкой родственнице Педро Аршанжо.

— Я дружил с Аршанжо, дитя мое, но не знал, что у него была семья, дети. Чья вы дочь и кем ему приходится?

Еще не оправившись от смущения, крепко сжимая в руках простенькую сумку, куда она запихала деньги — первый раз в жизни видела столько денег сразу! — мулатка подняла глаза на подошедшего к ней любопытного старика:

— Сеньор, я не знаю. И с этим самым сеу Аршанжо я не знакома, не ведаю, кто он такой, вот здесь только о нем и слышала. А насчет остального не сомневайтесь, все верно: нужда, малые дети, ну, не семь, а четверо то есть, вот что, да и муж мой не помер, а ушел и оставил меня без гроша... Что ж мне было делать? Я пошла к майору просить помощи, нашла его в баре «Триумф», а он говорит, нет, мол, у меня денег, но пойдем, я знаю, где тебе помогут. Вот и привел меня сюда...

Женщина улыбнулась и пошла к выходу, качая бедрами, хоть ей и мешал живот; покойный Аршанжо тоже ходил вразвалку, в походке у нее было сходство с ним,

Профессор Фрага Нето улыбнулся ей в ответ, покачал головой. От первоначальной идеи Зезиньо Пинто до речи Батисты об охране Традиции и Собственности — «ну и скотина, с ним поосторожней!», — все в юбилейных торжествах было лицемерием и фарсом, букетом нелепиц. Пожалуй, единственной правдой и оказалась выдумка майора с этой голодной беременной мулаткой, бедной и честной, мнимой, нет — подлинной родственницей Аршанжо, это его народ, его мир. В памяти всплыли строки: «Народный вымысел есть единственная настоящая правда, и никакая власть не сможет ни похерить её, ни растлить».

«ИЗ СТРАНЫ ВОЛШЕБНОЙ И РЕАЛЬНОЙ...»

На карнавал 1969 года школа самбы «Дети Торорó» представила композицию «Педро Аршанжо в четырех картинах», которая имела шумный успех и была удостоена различных премий. Под музыку композитора Валдира Лимы, победившего на конкурсе восьмерых своих соотечественников, школа прошла по городу, распевая:

Писатель вдохновенный,
Такого не бывало —
Великий Педро Аршанжо;
Его слава звездой воссияла,
Жизнь его в четырех картинах
Мы покажем в час карнавала.

Наконец-то Ана Мерседес стала Розой де Ошала и не уступила ей в красоте и соблазнительности. Без пояса и лифчика, в кружевной батистовой юбке, бросая вокруг томные, многообещающие взгляды, — «коль совладаешь со мной...», — Ана свела с ума весь город. Кто не мечтал о пышных бедрах, гибкой талии и прочих прелестях! Когда она танцевала, пьяные в масках падали к ее ногам.

В свите Аны Мерседес выступали лучшие танцоры, и каждый изображал какое-нибудь действующее лицо: вот Лидио Корро, Будиан, Валделойр, Мануэл де Прашедес, Аусса и Пако Муньос. На специально оборудованной повозке — аллегорическая группа, афоше «Дети Баии»: Посол, Танцор, Зумби и Домингос Жоржи Вельо, негры из Палмареса, солдаты империи — начало борьбы. Группа надсаживалась в песне:

Из страны волшебной и реальной
Нам принес мыслитель гениальный
Им добытый там, среди народа,
Мир поэзии и красоты.

Кирси, снег и лён, красавица из Скандинавии, одетая Утренней Звездой, возглавляла пасторил. Не один десяток женщин, составлявших добрую часть женской секции школы, куда принимают красавиц, звезд, принцесс, матрон из светского общества, возлежали в соблазнительных позах на гигантском ложе, занимавшем всю повозку. Впереди, на небольшом помосте, церемониймейстер держал плакат с объяснением аллегории, для которой собрали на одном гигантском ложе столько женщин: «Сладкое ремесло Педро Аршанжо». Женщины болтали и смеялись: содержанки, кумушки, девицы, замужние, проститутки; негритянки, белые, мулатки, Сабина дос Анжос, Розенда, Розалия, Ризолета, задумчивая Теренсия, Келе, Деде. Каждая в свой черед, прямо с ложа, полураздетая, выходила в круг плясать самбу:

Слава, слава
Бразильскому мулату,
Современнику нашему
Слава, слава!

С барабанами, погремушками и бубенцами проходит кандомбле, идут жрицы, иаво и ориша. Прокопио корчится от ударов хлыста в зловещем хороводе полицейских агентов, Огун, огромный негр ростом под крышу, гонит по улице комиссара полиции Педрито Толстяка, намочившего со страху штаны. Непобедимый танец продолжается.

Мастера капоэйры обмениваются невероятными ударами, Манэ Лима и Толстуха танцуют матчиш и танго. В ритме канкана проходит старуха с раскрытым зонтом, в кружевной юбке, это — графиня Изабел Тереза Мартинс де Араужо-и-Пиньо, для друзей — Забела, принцесса Реконкаво, дама парижского полусвета.

С рогами дьяволицы, в трепещущем пламени из красных бумажных лент, Доротея объявляет конец шествия, исчезает в серном дыму.

Так воспоем его великие свершенья
Во имя человечества,
Высокий идеал,

Все, что мы вам сегодня показали,
Он пережил
И в книгах описал,

Капоэйристы, «дочери святого», иаво, пастушки, ориша, участники терно и афоше поют, танцуют и расходятся по сторонам, открывая путь самому местре Педро Аршанжо Ожубе:

Слава, слава,
Слава, слава!

Педро Аршанжо Ожуба проходит в танце, он не один, он разный, он многолик: старик, зрелый мужчина, юноша, подросток, гуляка, танцор, говорун, выпивоха, бунтарь, мятежник, забастовщик, демонстрант, гитарист, влюбленный, нылкий любовник, писатель, ученый, колдун.

Все они бразильцы, все баиянцы, все бедняки.

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ
ПОЛОСАТОГО КОТА
И СЕНЬОРИТЫ
ЛАСТОЧКИ

СКАЗКА

Перевод
ЛИЛИАНЫ БРЕВЕРН

И радостный день придет,
Обещает вам да Кунья,
Когда однажды Кот
Ласточку замуж возьмет
И бродяга и щебетунья
Отправятся в полет.
Отправятся в полет
Дона Ласточка и дон Кот.

*(Лирические и философские куплеты
Эстевана да Кунья, народного поэта,
живущего в Баие на рынке Семи Ворот)*

Утро занимается медленно. Ленивица Заря потягивается, с трудом приоткрывает заспанные глаза, поглядывает на землю — никак не приступит к своим обязанностям. «Поспать бы влать!» Случись ей выйти замуж за богатого, раньше одиннадцати вставать не станет, не ждите. Окна занавесит и кофе будет пить в постели. «Вот это жизнь! — Мечты девицы на выданье. — Не то что у служащей с твердым распорядком дня, которая вынуждена подниматься чуть свет, чтобы гасить зажженные Ночью звезды. Ночь боится темноты. Она же трусиха».

И вот идет по горизонту полусонная, зевающая Заря и гасит звезду за звездой поцелуем. Случается, какие и пропустит. И те горят себе при свете дня безо всякой радости — тусклые-претусклые. Невеселое зрелище. Потом Заря будит Солнце. Работа не из легких, скажем прямо, и не для такой хрупкой девицы: сначала нужно раздуть огонь, пусть слабенький, в остывших за ночь угольях, потом поддерживать дрожащее пламя, пока не запылает костер. Одна бы она возилась целую вечность, но ей помогает могучий Ветер. Какому глупцу придет в голову, что Ветер налетел случайно? Всем известна тайная страсть Ветра к Заре. Тайная? Теперь она уже явная и у всех на устах.

О самом Ветре судачат разное: говорят, что он плут и мошенник, каких поискать. Что только он не выкидывает: гасит лампы, фонари, светильники. И все это — чтобы напугать Ночь. А то и вовсе — сбрасывает нарядную одежду деревьев, оставляя их нагими. Шутки дурного тона! Меж тем, как это ни невероятно, Ночь ждет его прихода, а деревья — бесстыжие! — так просто в ножки кланяются, когда он приходит.

Одно из любимейших его запятий — поднимать женские юбки, выставляя напоказ все, что под ними скрыто. Эффектный трюк в старое доброе время! Тогда он вызывал жадные взгляды, двусмысленные восклицания, восторженные «ахи» и «охи». Но... только тогда, потому что сейчас никого этим не удивишь: все и так напоказ выставлено. Смотреть противно. Однако кто знает... Может, будущие поколения объявят войну всему, что вот так выставлено напоказ и легкодоступно, и на митингах и демонстрациях будут требовать того, что скрыто и труднодостижимо?

Но пока — пока так, как есть. Так что не будем скрывать пороки Ветра, но и не будем замалчивать достоинств, причем явных: веселый, живой, подвижный, легко вальсирующий, ласковый и всегда готовый помочь другим, особенно женщинам.

Как бы рано он ни поднялся, каким бы холодным ни был, где бы ни находился, сколько бы трудных и дальних дорог ни прошел, на рассвете он у дома Солнца, чтобы помочь Заре. И вот он дует и дует своим огромным ртищем. Но едва затеплится пламя — предоставляет его заботам Зари: она помахивает веером бризов, а он принимается вспоминать и рассказывать все любопытные истории, что довелось ему увидеть и услышать в его бесконечных странствиях. Он говорит о заснеженных вершинах, что скрыты тяжелыми тучами, о головокружительных пропастях, которые вряд ли когда-нибудь доведется увидеть Заре.

Отчаянная голова, ходок, каких мало, любитель поинтриговать, Ветер берет любые преграды, подчиняет себе жизненные пространства, проникает в святая святых, заполняя свою переметную суму историями для тех, кто пожелает их послушать.

И вот Заря, слушая то смешные, то печальные истории Ветра, некоторые из них очень длинные и с продолжением, совсем запаздывает и, принявшись было за дело, забывает о нем, вся во власти рассказчика. Она грустно улыбается, от особо трогательных историй ее глаза увлажняются, и она замедляет ход времени, которое в свою очередь замедляет ритм маятников и часовых стрелок, что бы в тот момент, когда Заря наконец займет, они показали нужное время. От такого многие часы с ума посходили: спешат или отстают, перепутав день с ночью и ночь с днем, и вряд ли когда-нибудь покажут верное время. Кое-какие даже встали, встали

навсегда. А всемирно известные точные часы, что пахотятся на башне всемирно известной фабрики всемирно известных часов (самые точные в мире), — олимпийские чемпионы времени, — покончили жизнь самоубийством, повесившись на собственных стрелках. Они не в силах были вынести медлительность Зари и отставания производства. Ведь то были швейцарские часы с чувством ответственности и патриотическим долгом.

Да что там часы! Петухи и те потеряли голову: запели, возвещая восход Солнца, когда Заря еще только его будила, слушая Ветер. От такого утратишь оптимизм и повесишь гребешок. Однако петухи вместе с часами направили своему общему начальству — Времени — протест из восьми параграфов и двадцати шести бесспорных пунктов. Но Время — бесконечная величина — не придало этому посланию большого значения: часом раньше, часом позже. Стоит ли волноваться из-за такой мелочи. Да и что такое час в сравнении с вечностью? А кроме того, во всем есть положительный момент — нарушена монотонность. К тому же Время тоже равнодушно к Заре. Молодая, румяная, радостная, легкомысленная, не придерживающаяся буквы закона. Хоть рядом с ней оно забывало свою вечную скуку и свой хронический бронхит.

Однако на этот раз Заря уж слишком припозднилась. Ветер и тот пытался прервать свой рассказ, обещая досказать его завтра, но она не согласилась и настояла на своем, требуя подробностей. Ну и расстались они с Ветром, когда уже Солнцу пора было принекать.

И вот, одетая в светлый шелк, с голубыми и красными радужными переливами, появилась Заря на горизонте. Она задумчива, как видно, все еще во власти рассказанной Ветром истории, вызвавшей явное смятение чувств.

До чего же ей наскучили ее обязанности Зари, наскучило алеть во всю ширь горизонта. И как бы хотелось понять намерения Ветра. Почему он рассказал именно эту историю? Какая в ней мораль? А может, никакой? Может, это просто любовь к искусству рассказывать? Очень хочется Заре разгадать умысел собеседника по его глазам, по его неожиданному вздоху в конце рассказа.

Уж не по ней ли, в самом деле, как толкуют кумушки, вздыхает Ветер? Может, решил просить ее руки? Выйти замуж за Ветер? Неплохая идея! Тем более он богатый. Да и во всем ей помогает: гасит звезды, разжигает Солнце, сушит росу, раскрывает цветок, имя ко-

того Одинадцать Часов, но Заря, только чтобы всем досадить, заставляет Ветер делать это между девятью и половиной десятого или даже в десять. Если она станет супругой Ветра, то будет выше всего этого: полетит с ним над горами, заскользит по вечным снегам, побежит зыбью по зеленому хребту моря, запрыгает на его волнах, а если устанет — отдохнет в пещере, куда днем прячется темнота, чтобы там отоспаться.

Очень даже может быть, что этот старый холостяк, такой независимый и переменчивый, решил наконец избрать себе спутницу жизни. Но сколько же рассказывают о нем скандальных историй! Сколько у него любовных приключений! То он кого-то похитил, то он кого-то преследует. На него гnevаются мужья и клянутся отомстить. Нет, качает головой Заря, Ветру даже мысль о женитьбе не приходит. У него, как говорили в старое доброе время, нет серьезных намерений.

Так что и мечтать нечего. Занятая этими размышлениями, идет себе Заря, забыв о Времени. В ожидании ее остановились часы, охрипли петухи, что возвещали восход Солнца. Где же оно? Где? «Неужели еще нет пяти? — изумляются проснувшиеся люди, глядя на часы. — И почему до сих пор не встает солнце?» Но на небе только тусклый рассвет. Он мешается с пепельным светом уходящей ночи. Уж не свет ли преставление? Спаси и помилуй. Такого еще не видывали.

И тут всеобщие нарекания вынуждают Время, спрятав общинческую улыбку в усы, побранить Зарю за опоздание, призвав ее к порядку и пригрозив наказанием. Заря, оправдываясь, щебечет, подобно птице:

— Я слушала рассказ Ветра. Ну и опоздала на час.

— Рассказ Ветра? — заинтересовалось Время, всегда искавшее лекарство скоротать вечность. — Ну-ка, ну-ка, расскажи мне, и если я найду, что он интересен, прощу тебя. И не только прощу, но и награжу Голубой Розой, которая выросла, дочь моя, много веков назад. Теперь такие не растут, потому что в мире все меняется к худшему, конечно.

Ох уж это скучающее Время!

Заря усаживается подле старика, оправляет складки своего платья и начинает рассказывать. Где-то посередине истории Время задремывает, но Заря не прерывает свой рассказ, потому что ей в этом рассказе слышится голос Ветра. Где он сейчас, этот проказник, раздевающий деревья, пагоняющий облака, преследующий Дожде-

вую Тучу? Дождевая Туча и Ветер близкие задушевные друзья. Только ли друзья? Заря озабоченно хмурится.

(Историю, которую рассказывает Заря, чтобы получить Голубую Розу, она слышала от Ветра. Я же перескажу ее со слов всем известной жабы Куруру, что живет на поросшем мхом камне на берегу гнилого болота, среди тоскливого и негостеприимного пейзажа. Старый товарищ Ветра, выдающаяся жаба Куруру рассказала мне эту историю, чтоб упрекнуть Ветер в безответственности. Надо же! Ударился в фантазию, вместо того чтобы в своих далеких странствиях посвятить себя изучению чего-либо достойного: санскрита, например, или иглоукалывания. Жаба Куруру — доктор философии, профессор лингвистики, специалист по рок-н-роллу, член-корреспондент права национальной и иностранных академий, знаток всех мертвых языков. Если рассказ вам покажется не столь прекрасным, то вина в том ни Ветра, ни Зари, ни тем более жабы Куруру — почетного доктора (онорис кауза), а человека. В его устах истории не всегда сохраняют свое очарование. Музыкальность и поэтичность Ветра утрачивается.)

ВЕСНА

Когда пришла светлая, веселая Весна, благоухающая тончайшими ароматами зацветших лугов, полей и лесов, Полосатый Кот с удовольствием потянулся и открыл свои темные, злые и некрасивые глаза. Злые и некрасивые, согласно общему мнению, как, согласно общему мнению, злым и некрасивым считали и его желто-черное полосатое существо, сильное и подвижное. Это сильное и подвижное полосатое существо было уже не молодо и, по всему видно, давно забыло свою первую весну, когда резво бегало среди деревьев, гуляло по крышам, пело любовные серенады, без сомнения нагловатые и плутоватые. Разве может подобное чудовище петь чувствительные романсы? Да такое эгоистичное и независимое существо во всей округе поискать надо! Ни с кем Полосатый не был в дружеских отношениях, ни с кем не раскланивался, хотя кое-кто, из страха конечно, и приветствовал его при встрече. Вечно он что-то ворчал себе под нос и прикрывал глаза, точно ему наскучило все происходящее вокруг.

А между тем все происходящее вокруг, вся жизнь во всех ее проявлениях была прекрасна: распускались

благоухающие бутоны, перепархивали с ветки на ветку птицы, пуская переливчатые трели, ворковали голуби, резвились на газоне щенята, только что появившийся на свет выводок цыплят следовал за гордо квохтающей наседкой, в чистых водах озера большой Черный Селезень охаживал изящную Белую Уточку.

Но к Полосатому никто не приближался, а если к кому-нибудь приближался он сам, то... Цветы закрывались. Поговаривали, что однажды он смял своими лапами Белую Лилию, в которую были влюблены все Пионы двора. Так ли это? Никто не знал. Но сомнению не подвергал. Ходили слухи, что он, этот злодей, похитил крошку Соловья. Соловьяха-мать, не найдя сына в гнезде, покончила жизнь самоубийством: она воткнула себе в сердце шип дерева мандакару. Ее похороны были печальны, а сколько проклятий адресовали этому разбойнику! Он ли это? Никто не знал. Но должно быть — он. Посмотрите на его усатую рожу. Ну и страшен! Убийца, ясно.

Вот и голуби ворковали подальше от Кота, ведь они были уверены, что красоткой горлинкой, по которой до сих пор грустит Почтовый Голубок, полакомился именно он. Конечно, лучше бы проверить. Но как сказал его преподобие Попугай: кому же быть, как не этому типу? Ни бога, ни черта не признает. Он это, он!

В курином семействе первой заботой было обучить золотистых цыплят искусству спасаться от когтей Полосатого, — ведь все утверждали, что именно в них погибли их старшие братья и сестры. (Не говоря уже о яйцах, которые тот таскал, чтобы насытить свою гнусную утробу.) Черный Селезень и слышать ничего не хотел об этом звере, который терпеть не мог воду, столь любимую его семейством. Вот щенки — те поначалу пытались завязать с ним дружбу: вместе прыгать и вместе бегать. Но Полосатый зашипел, поднял шерсть дыбом и поцарапал им морды, тем самым надсмеявшись над ними, их родителями, их предками, далекими и близкими, и всем их собачьим родом.

Отвратительный субъект. Разбойник, эгоист. С утра, греясь на солнышке, он полеживал на травке, но как только оно достигало зенита, шел в тень. Неблагодарный! А история Гуабейры, кора которой была изедена шашелем? В каком заблуждении она пребывала! Ведь она питала иллюзии, что Кот в нее влюблен, и даже похвалялась этим перед другими деревьями. А все потому, что он вечерами точил когти о ее сучковатый ствол,

А она-то, она-то заважничала, решила, что оригинальна, раз ей отдает предпочтение такое сложное и всеми отвергнутое существо, и, сделав сложную пластическую операцию — удалила все сучки и задоринки, что портили ее стройный ствол, — ждала его прихода, чистая и гладкая. А Кот, увидев, что не во что вонзить когти, повернулся к ней спиной и никогда больше в ее сторону не глядел. С тех пор Гуабейра стала объектом злых шуток. Даже старая Сова, что жила на высокой Жакейре, и та разухалась от смеха, услышав эту историю.

Но, чтобы быть точным, надо сказать, что Полосатый Кот никакого внимания на ходившие о нем слухи не обращал. Может, конечно, он о них вообще не знал: ведь он ни с кем не разговаривал, разве иногда со старой Совой. А Сова, с мнением которой все считались, как правило, говорила, что не так уж он плох и все это от простого непонимания друг друга. Все слушали Сову, уважая ее возраст, кивали головами, но Полосатого продолжали избегать.

Вот так и жил он, этот Полосатый Кот, когда во всем многоцветии и разнообразии ароматов и мелодий во двор пришла Весна. Краски ее были веселые, ароматы — дурмящие, мелодии — певучие. Когда она внезапно и по-хозяйски объявилась во дворе, Полосатый спал, но ее настойчивое и осязаемое присутствие разбудило его. Он открыл свои темные глаза и потянулся. Случайно взглянувший на него Черный Селезень так и обмер от страха: ему показалось, что Кот улыбается.

— Тебе не кажется, что он смеется? — спросил Селезень, подозвав к себе Белую Утку.

— Святой боже! Действительно смеется...

Смеющимся Кота еще никто не видел. Белая Утка даже за сердце схватилась. Кот смеялся. Смеялся его рот, но что уж совсем было невероятным — смеялись его темные глаза.

И вдруг он развалился на газоне и стал кататься по траве. Потом мяукнул. Мяукнул — словно простонал. Это произвело особенно сильное впечатление на всех окружающих. Проходившая мимо со своим выводком наседка Карижо, крикнув «ко-ко-ко», упала в обморок. Хорошо, цыплята ее поддержали.

Тут подлетел петух Дон Жуан Роде Исландский. Из всех кур его гарема Карижо была самой любимой. Он помог ей подняться и испустил воинственный крик, повторив его чуть позже, когда Полосатый опять стал ка-

таться по траве и опять мяукнул. Бог мой, это было романтическое мяуканье!

Дон Жуан Роде Исландский смутился, во дворе воцарилась тишина. Даже воркования голубей не было слышно — так всех перепугало поведение Полосатого.

— Он сошел с ума,— поставил диагноз известный в округе медик Индюк.

— Готовится к новой подлости,— шепнула Карижо, придя в себя и увлекая за собой цыплят и Дона Жуана Роде Исландского.

Тем временем Кот поднялся, выгнув спину дугой, потянулся, чтобы лучше ощутить неожиданное тепло, задвигал ноздрями, ловя новые, до сих пор неизвестные запахи, расцвел в сердечной улыбке ко всему окружающему и двинулся вперед.

Это-то и обратило всех в бегство: Черный Селезень потащил Белую Утку на озеро и, переплыв его, укрыл свою подружку в безопасном месте. Голуби спрятались на голубятне. Собаки принялись раскапывать зарытые от Кота кости. Цветы перестали распускаться. А совсем было раскрывшаяся Роза от страха уронила лепестки, испутив дух, который долго еще носил легкий ветерок.

И тут это всеобщее бегство привлекло внимание Кота. Он даже испугался. Почему все убежали, если вокруг такая благодать, если пришла Весна? Грозы вроде бы не предвиделось, не дул холодный ветер, не срывал листья, и дождь не шел, нигде на крышах не было видно ни капельки. Почему же все попрятались, когда пришла Весна и так прекрасно жить на свете? Должно быть, где-то поблизости Гремучая Змея? Кот зорко посмотрел вокруг. Если это она, то он ее снова проучит, чтоб не таскала яиц, не крала птенцов, не ела цыплят и голубей! Но никакой Гремучей Змеи не было. Это заставило Кота призадуматься. И тогда его осенило: да это же от него все убежали, убежали, потому что давно не слышали его мяуканья. Вот и перепугались.

Очень грустное открытие. Он даже перестал улыбаться, но потом решил не обращать внимания. В общем-то он был гордым Котом, какое ему дело, что о нем думают и говорят. И он, правда сделав над собой усилие, подмигнул Солнцу. Это уже было настолько неожиданно, что огромный, много лет недвижно лежавший на одном и том же месте Камень покатился в кусты.

А Полосатый Кот, вдохнув пришедшую Весну всей грудью и почувствовав себя легко и свободно, подумал,

что было бы неплохо с кем-нибудь поболтать. Однако, оглядевшись, он никого не нашел. Все сбежали.

Все? Нет, не все. На ветке сидела сеньорита Ласточка и, глядя на Полосатого, улыбалась. Только она и не сбежала. Ее родители волновались и то и дело звали дочь домой, но она сидела на ветке и улыбалась. А вокруг была Весна — мечта поэта.

НОВЫЕ СКОБКИ, В КОТОРЫХ Я ХОЧУ ПРЕДСТАВИТЬ ЧИТАТЕЛЮ СЕНЬОРИТУ ЛАСТОЧКУ

(Где бы ни появлялась улыбающаяся и хлопотливая Ласточка, равнодушных, из тех, кто достиг совершеннолетия, не оказывалось. Совсем еще юная, она была окружена вниманием своих многочисленных поклонников. Одни ей объяснялись в любви устно, другие писали поэмы, а всем известный мастер серенад Соловей пел под ее гнездом, как только всходила Луна. Будучи со всеми в дружбе, Ласточка весело смеялась: сердце ее еще не знало любви. Легко перепархивала она с ветки на ветку, ко всему любопытная, со всеми разговорчивая, но сердцем свободная. Нет, нигде в округе не было такой милой и такой красивой Ласточки.)

ПРОДОЛЖЕНИЕ ВЕСНЫ

А вокруг была Весна — мечта поэта. И Полосатый тоже решил выразить свое весеннее отношение к Ласточке — этому прелестному крылатому созданию. Он сел, погладил лапой усы и сказал:

— А ты не сбежала?

— Я? Да ведь те, кто сбежал, трусы, а я нет. Я тебя не боюсь. Ты меня и достать-то не сможешь: у тебя нет крыльев. А ты, Котище, не только уродлив, но и глуп. Ну как же ты уродлив!

— Я уродлив? — Полосатый рассмеялся так, что задрожало дерево-гигант Пау Бразил.

«Она его оскорбила, он съест ее», — решил старый Датский Пес. Преподобный Попугай — преподобный, потому что какое-то время он провел в семинарии, где научился молиться и произносить латинские изречения, что создало ему репутацию эрудита, — закрыл глаза, чтобы не быть свидетелем трагедии.

На этот счет у него были свои резоны: во-первых, он не выносил крови, а во-вторых, не хотел давать свиде-

тельские показания, если дело дойдет до суда. Нудное это занятие. Да и нужно будет выбрать между правдой — тем, что она принесет: крепкими затрещинами, расцарапанным клювом и бог весть чем еще, если Кот рассвирепеет, — и ложью, которая составит ему, Попугаю, славу коварного соучастника убийства. Ситуация не из легких. Лучше ничего не видеть. И он решил помолиться за душу Ласточки, пребывая в мире со своей «докучливой» совестью.

Ласточка тоже почувствовала, что переборщила. Испытав неловкость, она взлетела на ветку повыше и принялась со всем вниманием чистить перышки. А Полосатый, вместо того чтобы рассвирепеть, рассмеялся. И не на то, что она сказала, что он глуп, а на то, что уродлив. Он ведь считал себя красивым, даже неотразимым.

— Ты действительно находишь меня уродливым?

— Уродливым из уродливых, — подтвердила Ласточка.

— Не верю. Только слепой не видит моей красоты.

— Уродливым и самонадеянным.

На этом разговор прервался, так как встревоженные родители в страхе прилетели за Ласточкой и, выговаривая ей за неосмотрительность, увлекли за собой. Но Ласточка успела крикнуть:

— До скорого, уродина...

Вот так, именно так — несколько глуповато — началась история любви Ласточки и Полосатого Кота. А поскольку для Ласточки она началась несколько раньше, то следовало бы сказать об этом в первой главе. Но дело сделано: правила классического повествования нарушены, и теперь ничего не остается, как прервать наш рассказ и вернуться к началу. Однако это старый, вернее, устаревший прием в литературе. Но... Всеми виной Весна. Она околдовала не только Кота, но и рассказчиков этой истории. Как видите, допущенную ошибку можно оправдать подобным заявлением, а можно и утверждать — и это солиднее, — что мы революционизировали форму и структуру рассказа, и даже постараться получить похвалу у критиков и знатоков литературы.

ГЛАВА ПЕРВАЯ, НЕСКОЛЬКО ЗАПОЗДАВШАЯ, КОТОРОЙ УЖЕ НЕТ МЕСТА

Сеньорита Ласточка была не только красива, но и безрассудна, точнее сказать — взбалмошна. Несмотря на то что она еще училась в школе, где Попугай преподавал

закон божий, и родители не разрешали ей вечерами гулять одной, какая-то независимость у нее была. Она дружила со всеми, кто жил во дворе, — с деревьями и цветами, утками и курами, собаками и камнями, голубями и озером — и разговаривала просто и откровенно, не задумываясь о рождавшихся к ней чувствах.

Тот же Попугай, который перед учениками развивал добродетельные идеи и считался представителем уходящего прошлого, посматривал на нее хмельным глазом.

Однако, несмотря на всеобщую дружбу и знаки внимания, жизнь Ласточки нет-нет да омрачалась. И повинен в том был не кто иной, как Полосатый Кот. (Вот почему эта глава хоть с опозданием, но должна быть написана.) Вернее, не Кот, а тот факт, что за все прожитое во дворе время она ни разу не сумела с ним поговорить. Это замкнутое, гордое, независимое существо не давало ей покоя. Частенько она следила за ним, когда тот спал на газоне или грелся на солнышке. Спрятавшись в листве дерева, она часами, раздумывая, смотрела на него. И почему этот уродец ни с кем не общается? Она знала все, все, что о нем говорили, но оторвать глаз от его розового носа и пышных усов была не в силах и начинала сомневаться в правдивости всех ходивших о нем слухов. Таковы ласточки, что тут поделать? Убедить их, когда они сомневаются, невозможно. Они упрямы и слушают только свое сердце.

Так вот, Полосатый был тучей, которая омрачала ясную и безмятежную Ласточкину жизнь. Иногда она даже переставала петь — уроки вокала она брала у Соловья, — когда внизу под деревом видела идущего к своему излюбленному месту Кота. Она оставляла ветку и летела вслед за ним. А однажды даже принялась развлекаться, бросая на его спину сухие желтые листья. Кот продолжал спать, а Ласточка, скрытая ветвями, посмеивалась над ним, видя, как он лениво, когда листок ложился на его спину, приоткрывал один глаз и тут же, не видя никого рядом, закрывал его. Кот считал это шуткой Ветра. А поскольку еще в детстве он усвоил, что бежать за ветром, чтобы поцарапать его когтями, бессмысленно, то ждал, когда тот сам уймется. Надоест же Ветру собственная шутка! Но на этот раз Ветер не унимался, и Кот счел разумным уйти, и ушел. Ласточка же, довольная тем, что обратила Кота в бегство, улетела.

Вот в этот-то день и произошел между Ласточкой и Комолой Коровой заслуживающий внимания разговор.

О Корове, как об одной из персон двора, я упомянул еще в начале истории. Престиж у нее был не меньший, чем у старой Совы. Величаво-спокойная, торжественно-важная, осмотрительная и вместе с тем переменчивая в настроении и мстительная, она была потомком Аргентинского Быка и звалась Рапель Пусио. С теми, кого любила, — с семейством уток, например, — она была очень добрая, а с теми, кого не любила: с назойливой Мухой, собаками и особенно Полосатым Котом, — грубая и злая.

Кот ей не нравился потому, что она, такая уважаемая и благородных кровей, может быть задета таким ничтожным плюгавым созданием. Надо сказать, что природная осторожность уживалась в ней с ироничностью. Как-то, повстречав Полосатого на скотном дворе, куда тот явно забрел на промысел — слизнуть сливки, — она на смешанном испано-португальском наречии язвительно заметила:

— Такой сопливый, а с усами.

Однако это непростительно презрительное замечание Кот парировал, и очень удачно:

— Такая гранд-дама, а без бюстгальтера!

Обиженная Корова решила проучить его копытом, но Кот смылся. Весь двор принял сторону Коровы, и вечером все его обитатели пришли выразить свою солидарность. Корова безутешно и не переставая редела. Среди пришедших был и Попугай. Чуть клюкнувший, он развлекал собравшихся услышанными еще на семинарской кухне анекдотами. Все, и даже Корова, очень смеялись, только потом Корова опять принялась реветь.

Когда Ласточка рассказала Комолой о своем сегодняшнем развлечении, та посожалела, заметив, что лучше бы она сбросила камень на голову Кота, чтобы разом с ним покончить. Это привело Ласточку в ужас, ведь она кидала листочки, чтобы привлечь его внимание и поговорить с ним.

— Поговорить с Котом? Сумасшедшая, ты действительно хочешь поговорить с ним? Бога ради, не будь глупой, — сказала Корова по-испански. Но испанский утомлял ее, и она перешла на португальский: — Ты что, не знаешь, что это плохой Кот и что, наконец, никакая Ласточка никогда не должна, если она не хочет компрометировать своих родителей, не только разговаривать, но и здороваться с Котом? Коты — враги ласточек. Твои

родственники только в их лапах и гибли. Не важно, были то полосатые коты или нет.

Она продолжала свои наставления, понимая, что безумная собирается преступить давно существующий неписанный закон.

— Но он мне ничего не сделал плохого.

— Да, но он Кот, да еще Полосатый!

— Так что из того, что он Кот, и Полосатый? Ведь и у Полосатого Кота есть сердце, как у каждого из нас...

— Сердце? — возмутилась Корова. — Кто это тебе сказал, что у него есть сердце? Кто? Мы-ы-ы?

— Я так думаю...

— Ты видела это его сердце? Ну говори, видела?

— Нет, видеть я не видела...

— Тогда что же?

И опять она долго говорила. Говорила об оскорбительном разговоре Кота с ней и снова ревела. Давала советы, предупреждала. Надо сказать, что давать советы было ее любимым занятием. Она извлекала из бабушкиных сундуков траченные молью правила хорошего тона, наставления относительно поведения молодой Ласточки на выданье, говорила о том, что Ласточка может делать, а что она делать не должна. Как, например, не должна разговаривать с котами и, уж само собой, с этим, Полосатым.

Ласточка слушала ее, как и подобает хорошо воспитанной девушке, но с грустью. Как же грустно, что она не должна разговаривать с Котом. Возможно, Корова и права, у нее ведь жизненный опыт. Только что тут плохого, если она все-таки заговорит с ним? Правда, она обещала никогда больше не бросать листьев на его спину, не привлекать его внимания и не разговаривать.

Но... чего стоят обещания порхающих Ласточек, и особенно молодых, с горячей кровью и жаждущим приключений характером. Так что не надо придавать им большого значения. Что касается меня, то я почти уверен, что, давая обещания, она и не думала, что сдержит их, потому что тут же последовала за Котом. И если она больше не бросала листьев на его спину, то совсем не из-за данного обещания, а из боязни, что он опять уйдет.

На этом наша вставная глава кончается, а история, прерванная ломкой структуры произведения или же литературно-изошренным приемом, продолжается.

Родители Ласточки побрапили ее, но не очень: они были ошеломлены собственным героизмом, так как ради спасения дочери рисковали лицом к лицу встретиться с Полосатым. Отец сказал:

— Мы любим нашу дочь, и мы ее спасли.

Мать ответила:

— Мы хорошие родители и защитили ее.

И, с восхищением поглядывая друг на друга, тут же окопчательно и бесповоротно запретили ей приближаться к злему недругу. Но грубый запрет только разжег ее любопытство. Нет, сеньорита Ласточка не была из тех, кто после того, как скажут «не делай этого», как раз и делают это самое. Наоборот, ласковая и послушная, она любила родителей, была хорошо воспитана, добра, приветлива и всегда прислушивалась к разумным доводам. Однако никто разумного довода по этому вопросу так и не привел. Поэтому вечером, приклонив голову на лепесток розы, служивший ей подушкой, она решила, что завтра же продолжит разговор с Котом.

— Он уродлив, но мил...— прошептала она, засыпая.

Что же касается Кота, то этой ночью он тоже думал о Ласточке. О Ласточке и подушке. Ведь Полосатый, кроме того что был зол и уродлив, был, как Иов, беден: он клал голову на свои собственные лапы. И, частенько мечтая о любви, ласке и сосисках, забывал о такой роскоши, как подушка.

Лег он поздно, потому что до полуночи гулял по двору, точил когти о кору деревьев, мяукал безо всякой видимой причины и чуть было не полез на крышу, где прошла вся его юность. Ароматы весны щекотали ему ноздри, а его большие пушистые усы все время беспокойно дергались. Он как-то по-особому себя чувствовал, его тянуло поиграть со щенятами, и он бы поиграл, если бы те не разбежались, заподозрив неладное, и не спрятались кто где. И вот, понимая, что с ним что-то происходит, что его одолевают какие-то неясные желания, он усомнился относительно своего здоровья.

— Уж не болен ли я? — И, приложив лапу ко лбу, отметил: — Вроде бы и температура...

Когда же он устроился на своей старой бархатной подстилке, то его глазам предстал цветок, а на цветке внимательные, широко поставленные глаза Ласточки,

Разволновавшись, он решил пойти на озеро и выпить воды, но и с озерной глади на него смотрели глаза Ласточки. Теперь он видел Ласточку в каждом листе, в каждой капле росы, в каждом луче заходящего солнца, в каждой идущей на смену дня ночной тени. Потом он увидел ее и на Луне в красивом серебряном одеянии и душераздирающе мякнул. Уснул он далеко за полночь. И ему приснилась Ласточка. За последние годы это было его первое сновидение.

Похоже, Полосатый влюбился? И теперь, когда все спят и не спит только старая Сова, я позволю себе пофилософствовать. Тем более что право философствовать имеет каждый рассказчик, и мне грех им не воспользоваться. Как известно, в любовь с первого взгляда верят не все, но кое-кто не только верит, но и утверждает, что именно она — единственно подлинное чувство. Следует заметить, что и те и другие правы по-своему: ведь любовь живет в сердце каждого постоянно, но ярким пламенем вспыхивает только с приходом весны. Реже зимой. Но, как правило, весной. Однако это уже совсем иная тема, и лучше не путать разные вещи.

Так вот, любовь вспыхивает внезапно при виде другого существа, как знакомого, так и впервые увиденного. В этом последнем случае мы называем ее любовью с первого взгляда. Именно такой была любовь Полосатого Кота к Ласточке. Что же касается любви Ласточки к Полосатому Коту и того, что происходило в ее маленьком, хотя и смелом сердце, то тут я ответить не берусь. Не так я глуп, чтобы считать себя способным понять женское сердце, тем более сердце Ласточки.

Однако совсем не эти соображения тревожили Кота в ту злополучную ночь. Он даже не думал, что влюблен. Подобная идея ему в голову не приходила. Когда он был молод, то влюблялся каждую неделю, вернее, со вторника по пятницу, оставляя субботу, воскресенье и понедельник для отдыха. Влюблялся, разбивал сердца кошек самых разных расцветок и даже одной серой крольчихи и одной молодой рыжей лисицы. Но это было так давно, что ни имен, ни событий он не помнил. Жил, как уже говорилось, тихо, спокойно, в своем углу грелся на солнышке, подставлял ласковому ветерку свою шкуру, дышал свежестью летних ночей и приятной прохладой зимних дней. А тут пришла Веспа и все изменила.

На следующий день, как только Кот проснулся и умылся, на ум ему пришла Ласточка: сон не шел у него

из головы. Во сне он спорил с Ласточкой о красоте и уродстве.

— Вчера ты был болен,— сказал он себе.— Выкинь все это из башки! — И пошел во двор.

И вот Полосатый во дворе. Лежит себе на травке, вытянувшись во всю длину, впитывает всем своим существом весеннее тепло, но закрыть глаза, как он делал раньше, не может. А ведь он знает по опыту: с закрытыми глазами и тепло и ветерок приятнее. Но не может. Они сами смотрят на то дерево, где вчера сидела Ласточка. Когда же именно это доходит до его сознания, он злится, отводит глаза в сторону и, тихонько ворча себе под нос, ищет другие пейзажи. Он смотрит на щенков, что носятся взад и вперед (вот идиоты, не знают, чем заняться!), на одевшиеся листвою деревья, на готового приступить к утренней молитве Попугая. Крыло Попугая прижато к сердцу, глаза устремлены в небо. Видя это елейное существо, Кот, зевая, показывает ему язык. Попугай прерывает молитву и приветствует Кота:

— Добрый день, дражайший доктор Полосатый Кот. Как здоровьице, в порядке?

Кот даже ухом не ведет. Его глаза прикованы к дереву, на котором сидела Ласточка. И пока Кот ждет Ласточку, я объясню его отношение к Попугаю. Если вы решили, что, показав ему язык, Кот тем самым выразил свое отношение к религии, то это глубокое заблуждение. Все значительно проще: Кот не любит ханжества. А Попугай — всем известный ханжа.

Как-то старая Сова, которая прекрасно знала всех обитателей двора, сказала Полосатому, что под маской религиозности Попугай скрывает свое распутство. Ведь он делал недостойные предложения и Белой Уточке, и курице Карижо, и Горлинке, которой сам же преподавал катехизис, а ей, Сове, несмотря на ее преклонный возраст, нашептывал сомнительные комплименты. А случай с Попугаеголубем? О-о-о! Это стоит рассказать. Так вот, в семье Почтового Голубя на свет появился очень странный сын: голубь, говорящий по-человечьи. Надо сказать, что, кроме врожденной глупости, Почтовый Голубь имел еще одно несчастье: жизнь его проходила в постоянных разъездах, он развозил корреспонденцию во все концы света белого. Официально этот странный сын считался его сыном, по Сове говорила, что здесь не все чисто. Кто в нашем дворе, кроме Попугая, знал человеческий язык? Собаки? Да, знали, вернее, понимали, но говорить

не говорили. А тут в доме Почтового Голубя, как раз в дни его отсутствия, дневал и ночевал Попугай, конечно же, под предлогом духовного общения с Голубкой. Счастье его, что Почтовый Голубь — существо бесхарактерное.

Полосатый никогда не был блюстителем нравственности. И всегда сторонился сплетен, что ходили вокруг закоренелого многоженца мусульманина Петуха, который что ни день пополнял свой разнообразный гарем, и вокруг многобрачных по убеждению голубей, и однолюба Черного Селезня, однолюба по обстоятельствам: во дворе была одна-единственная уточка. А вот голуби и Черный Селезень осуждали Петуха. К ним присоединялась и Корова. Она всегда укоризненно покачивала головой. Кота же все это не волновало. Он был за свободу в вопросах любви, но не выносил таких ханжей, как Попугай.

Рассказывая все это, я надеялся, что на дереве появится Ласточка, но она не появилась. И Полосатого Кота мы видим совсем не в том хорошем расположении духа, в каком его оставили. Игривое настроение, с которым он вчера проснулся и почувствовал необычайную легкость, исчезло. Глаза погрузтели. Пышные огромные усы повисли. А это был знак, не предвещающий ничего хорошего, ведь кошачьи усы — показатель жизненного тонуса.

Полосатый опять взглянул на дерево. Сколько раз он уже это делал? Ласточки не было. Глаза его затаились пленкой. Что так сжимается сердце? Весна!

Вдруг он поднялся. Почему? Он не мог этого объяснить. Возможно, потянуло на солнце. Поднялся и пошел. И тут заметил, что не властен над своими лапами; они несли его прямо к дереву, на котором жило семейство Ласточек. Оно росло по другую сторону двора.

Родителей Ласточки дома не было: они отправились за пропитанием. А сама она, еще издали завидев Кота, с улыбкой поджидала его. Под деревом Кот остановился и, оглядевшись, понял, куда пришел. Понял и разозлился. Что я здесь делаю? Он было повернул обратно. Вот черт! Лапы точно свинцом налились! И тут он услышал ласковый голос:

— Где же ваше здарсьте, невоспитанный?

— Добрый день...— хрипло мяукнул Кот.— Сеньорита Ласточка, будьте добры...

И потому, что глаза его были печальны (он особенно был некрасив, когда печален), она снизошла.

— Говорите, говорите... Можете звать меня просто сеньорита, если вам это приятно... А я буду звать вас — урод.

— Но я же не урод.

— Вот тебе на! Какая самоуверенность! Да вы самый уродливый из всех уродливых. Рядом с вами Сова просто красавица...

«В конце концов,— подумал Кот,— что я тут делаю? Эта молодая Ласточка лишена всякого уважения ко мне! (Неужели я хочу, чтобы она меня уважала?) Нападает, оскорбляет, называет уродом. Это ведь явное попустительство с моей стороны. Кто, собственно, она такая? Ученица Попугая! Студенточка! Что у нее может быть в голове? Да и о чем с ней может разговаривать серьезный, много повидавший и образованный, образованнее многих, во всяком случае в этом и соседних дворах, красавец Кот?» И он решил уйти и никогда больше рта не раскрывать в ее присутствии. (Однако свинец в лапах! Тонны свинца...) Но он решил быть вежливым:

— Всего хорошего...

— Вы обиделись... Тогда у вас, пожалуй, больше самомнения, чем уродства.

«С чего это она так запела?» Но теперь ему не подчинялись не только лапы, но и рот, он расплывался в улыбке. Явный заговор, заговор собственного тела. А Ласточка — красавица полей, юность которой никто не мог оспорить,— не умолкала:

— Не надо уходить. Я же не называю вас больше уродом. И иначе как «красавец» и называть не буду.

— И этого не надо...

— Тогда как же вас называть?

— Кот.

— Кот — не могу.

— Почему?

Похоже, тут опечалилась Ласточка. Теперь в ее глазах не было искорок смеха. И Кот спросил:

— Почему же не можете?

— Потому что с Котом я не могу разговаривать. Коты — враги ласточек.

— Кто это вам сказал?

— Я сама знаю, что это так.

Кот стал мрачнее тучи. Но Ласточка, которая не любила печальных лиц, продолжала:

— Но мы... мы ведь друзья, так?

— Конечно.

— Тогда мы можем разговаривать.— И тут же добавила: — Только сейчас уходите, возвращаются мои родители, встретимся позже у сливы. Уродище...

Кот засмеялся и скрылся в густой траве. Он снова был весел и, пока шел, все время перебирал в уме свой разговор с Ласточкой. Ее мелодичный голос звучал в его ушах: она не может разговаривать с Котом. Коты плохие: они едят ласточек. Доля правды, конечно же, в этом была. Действительно, нехорошо есть таких хрупких и красивых созданий, как сеньорита Ласточка.

И вот он прилег под пышно цветущей сливой. Вскоре появилась Ласточка. Описывая круги, она кружится в веселом весеннем танце. Провожая ее глазами, Соловей издает любовную трель, заполняющую все закоулки двора. Петух бьет крыльями. А Ласточка села на ветку, и разговор возобновился.

Я не буду приводить их диалоги, потому что в общем они все очень похожи, особенно любовные, хотя не зарекаюсь, может, по ходу дела какой и приведу. Пока скажу только, что всю весну они провели в разговорах. И говорили даже тогда, когда вроде бы и говорить было не о чем. И не только говорили, но и гуляли по двору: он бегал по земле, она летала по небу, открывая все новые и новые укромные уголки, любясь многоцветием распускающихся бутонов, наслаждаясь бризом и радостью, наполнявшей их самих и все окружающие предметы. А может, во всех окружающих предметах радость была и раньше, а они ее не замечали? Ведь наши глаза — поверьте мне — могут видеть, а могут и не видеть. Все зависит от сердечного настроения.

Теперь они уже были на «ты». И Кот каждое утро ее спрашивал:

— Что это ты сделала с собой за ночь? Сегодня ты еще красивее! Красивее, чем вчера, и гораздо красивее, чем в моих снах.

— Расскажи, пожалуйста, свой сон. К сожалению, мне снился страшный урод — ты...

Тут они оба принимались смеяться: он глухим смехом, она — серебристым, переливчатым смехом юной Ласточки. Вот то, что случилось Весной.

ЛЕТО

Эта глава очень короткая, потому что жаркое Лето со звездными ночами пролетело мгновенно. Счастливого время всегда пролетает мгновенно. Ох, какая же слож-

ная вещь Время. Стоит только пожелать, чтобы оно шло помедленнее, не торопилось, — оно летит так, что часа не заметишь, а пожелаешь, чтобы неслось быстрее мысли, потому что тебе плохо, — тянется, что и минута вечностью кажется.

Вот для Кота и Ласточки это Лето было коротким. Оно пролетело за прогулками по двору, разговорами в тени деревьев, улыбками, выразительными взглядами, доверительным шепотом и даже... размолвками.

Не знаю, стоит ли говорить о размолвках? Но объяснить их причину — а она была всегда одна и та же — надо. Кот часто встречал Ласточку в обществе Соловья — Соловей учил ее пению, он был ее учителем — и расстраивался. Усы у него повисали, глаза темнели. Внезапные приступы меланхолии выливались в тяжелое молчание. Ласточка не могла понять поведение Кота, ведь о любви между ними речи не было, а Соловья она считала за брата.

И вот в один из дней, когда урок продлился дольше обычного и усы Кота стали мести пол, Ласточка не выдержала и попросила объяснения. И Кот сказал:

— Если бы я не был Котом, то попросил бы твоей руки...

Ласточка умолкла, точно онемела. Неожиданность? Не думаю. Она уже догадывалась, что происходит в сердце Полосатого. Рассердилась? Тоже нет. Такие слова скорее радуют сердце. Испугалась. Ведь он — Кот, а коты — враги ласточек.

Пролетая совсем низко, она коснулась его своим левым крылом, и он услышал, как стучит Ласточкино сердце. Потом она поднялась в небо и взглянула на него с высоты. Это был последний день Лета.

ОПЯТЬ СКОБКИ, А В СКОБКАХ ПЕРЕСУДЫ

(«Где это видано, — говорила Корова Попугаю, — чтобы представительница пернатых завела любовь с отпрыском семейства кошачьих? Где, где такое видано?» — «Да, действительно, — вторил ей Попугай, — где видано, чтобы Ласточка и Кот искали встреч в укромных углах двора? Святая Мария! Все только о том и говорят. Но я не хочу, не хочу в это верить. Отец святой, возможно ли? Кот хочет жениться на Ласточке! Спаси и помилуй, царица небесная! Аминь!» — «Где это видано, — говорил

Голубь Голубке,— где видано, чтобы Ласточка гуляла с Котом? Ведь испокон века: голубь с голубем, гусь с гусыней, кот с кошкой, курица с петухом. А тут Ласточка и Кот!» — «Да, ну и времена, ну и нравы! Утрачено уважение к законам. Конец света!» — отвечала Голубка. «Подумай только,— скулил Суке на ухо старый Пес,— гуляя с Котом, бедняжка Ласточка даже не подозревает, что Полосатый лишь случая ждет, чтобы ее слопать». — «Негодяй,— сокрушалась Сука,— что можно ждать другого? Слопает, обязательно слопает». — «Что за неосмотрительность, ай-ай-ай,— кричал Селезень.— Глупая Ласточка. Это же опасно и а-мо-раль-но! Она болтает с Котом, словно он и не Кот вовсе. А он — Кот и даже хуже: Полосатый. Преступник, по одежке видно, что преступник». — «Да уж, да уж, да уж. Ведь утка с селезнем, кот с кошкой, курица с петухом...» — поддакивала Утка. Перешептывались и деревья, особенно когда их трепал ветер: «Где это видано? Где это видано? Где это видано?» И цветы. Каждый порознь они убеждали Землю: «Ласточка не может, не может, не может быть женой Кота!» И все хором: «Это смертный грех!» Дошли все эти пересуды до отца и до матери Ласточки. «Наша дочь,— сказал рассерженный отец,— ведет себя недостойно. Она гуляет с Полосатым Котом». — «Нашу дочь пора выдать замуж», — ответила мать. «Но за кого?» — «За Соловья. Он уже просил ее руки». Этот брак двор одобрил: «Вот это партия! Соловей красив, мил, прекрасно поет и из пернатых! Да и где это видано, чтобы Ласточка и Кот женихались, где?» И Попугай: «Аминь, аминь, аминь!»)

ОСЕНЬ

И вот пришла Осень. Полетели с деревьев листья. Загулял, стараясь согреться, по двору холодный, свистящий Ветер, нагнал облака. Небо посерело, нахмурилось. Сменилось время года, сменилось и отношение обитателей двора к Полосатому Коту. Нет, его не перестали ненавидеть, не перестали помнить его преступное прошлое. Нет. Но бояться перестали. И жалкие сплетни и пересуды переросли в молву. Раньше, если вы помните, Кот одним-единственным приоткрытым глазом наводил трепет на окружающих. А теперь? Теперь никто его не боялся, и каждый громко осуждал его прогулки с Ласточкой. Почему? Да потому, что Кот всю весну был доволен и

весел. Никому не угрожал, не мял цветов, не поднимал шерсть дыбом, не шипел, не топорщил усы. Он стал мягок и любезен. Первым приветствовал встречающих, не то что в былые времена, когда даже ухом не вел в ответ на обращенное к нему «добрый день».

Пожалуй, даже отмечу, что он стал добр и великодушен, и постараюсь подкрепить свои слова наиболее разительным фактом из его жизни: Кот изгнал Гремучую Змею, когда та вновь изволила пожаловать во двор. Все, кто там был, попрытались, даже храбро лаявший щенок-датчанин.

А Кот... атаковал Змею, предупредив ее прыжок ударом своей когтистой лапы. И она убралась восвояси и больше не появлялась.

Но поступок Кота оценила только Ласточка. Все же остальные сочли происшедшее за желание Кота выглядеть героем. Корова, так та просто сожалела, что поражение потерпела Змея. А Попугай расценил случай как «заурядное бахвальство».

Так что дурная слава Кота так дурной и осталась. Разве что все теперь считали, что хоть Кот и плох, но не опасен. Во всяком случае теперь. Должно быть, стареет и уже не те силы, а потому и старается восстановить со всеми добрые отношения. Попугай так даже стал питать иллюзии, что войдет в дружбу с Полосатым и сможет использовать его против своих врагов. Ну хотя бы против Селезня, что за спиной плетет о нем всякие гнусности. Сближение с Попугаем Кот вынес терпеливо (все-таки он преподает закон божий Ласточке), но от дружеских отношений ушел. На что тут же разобиженный Попугай ответил новой инсинуацией: Кот так любезен потому, что безнадежно болен. Он на пороге смерти и готов искупить свои грехи.

Но ни в коем случае не принимайте все выше сказанное за злобность мира. Ведь дурная слава Кота родилась не сегодня, она стара и закоренела. Поэтому как могли окружающие понять, что вошедшая в жизнь Кота Ласточка все сразу изменила? Как могли они за сумрачной, угрюмой внешностью и под вставшей дыбом шерстью углядеть нежное сердце?

А оно было такое нежное, что изливалось в стихах в то первое осеннее утро. Полосатый писал сонет. Кутаясь в свое меховое манто, Кот (он был чувствителен к холоду) считал, загибая когти, слоги и искал рифму в толстом словаре, авторство которого принадлежало из-

вестному грамматiku Муравьеду — филологу, академику, получившему национальную литературную премию. Да, Кот писал сонет. Я получил копию этого единственного литературного произведения Кота от очень серьезного лица, живущего в стороне от всех передряг двора, — от жабы Куруру, которая в свободное от ловли мух время занялась критическим разбором этих ужасающе плохих, согласно ее мнению, стихов. Кроме того, Жаба обнаружила плагиат, чудовищный плагиат.

Но чтобы читатель мог составить собственное мнение о сонете и брошенных жабой Куруру обвинениях в адрес его автора, я приведу на отдельной странице это лирическое произведение. Именно на отдельной странице, так как здесь ему не место, — это же не альбом для душещипательных стихов, тем более плохих, а возможно, и плагиата. Ведь я пересказываю историю, которую рассказал Ветер Заре, а Заря Времени, чтобы получить Голубую Розу. Вот почему я снова открою скобки, но на этот раз для поэзии.

К тебе же, читатель, у меня просьба: не будь поспешен в суждении о поэтичности написанного сонета. Знай, что в меховое манто Кот кутался, чтобы спрятаться не только от холода, но и от любви. И поэзия не всегда в стихах, подчас она в сердце, и такая огромная, что не вмещается в рифмованные строки.

ПОЭТИЧЕСКИЕ СКОБКИ СОНЕТ О НЕВОЗМОЖНОЙ ЛЮБВИ

Посвящается сеньорите Ласточке

Ласточка сеньора,
Ласточка сеньор,
Ласточка хлоп-хлоп крыльями
И улетела.

Печальна жизнь моя, печальна,
Ни петь не умею, ни летать,
Нет крыльев у меня и перьев,
Не знаю, как сонет писать.

Безумно Ласточку люблю я,
Хочу жениться я на ней,
Но Ласточка — нет, нет, не может,

Не может быть она моей,
Потому что я Полосатый Кот.
Вот!

Полосатый Кот

Постскрипtum.

Чтобы читатель по достоинству и без колебаний смог оценить эти стихи, я открываю новые — критические — скобки, тем самым давая ему основательную базу для суждений. Очень может быть, что читатель удивляется: что же это за история? Она все время прерывается разными скобками, которые позволяют автору пребывать в безделье, а может, и спать — что станет ясно позднее, — вместо того чтобы распутывать клубок событий и познакомить с глубокой критической статьей известной жабы Куруру, критика, профессора, академика. Но слово автору.

КРИТИЧЕСКИЕ СКОБКИ.

НАПИСАНО ПО ПРОСЬБЕ АВТОРА ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
ЧЛЕНОМ АКАДЕМИИ ЖАБОЙ КУРУРУ

Анализируемое стихотворное произведение страдает не только отсутствием глубины мысли, но и многочисленными погрешностями в области формы. Язык его несовершенен. Грамматические конструкции не соответствуют классическим канонам, запечатленным в творчестве прославленных поэтов; метрика стиха, кою необходимо строго соблюдать, хромает; рифма, которую всякий поэт должен стремиться обогатить, обеднена настолько, что вызывает улыбку сострадания.

Однако самый непростительный факт — факт плагиата: первый катрен вышеупомянутого сонета — чистойшей воды плагиат непристойной карнавальной песенки, цитату из коей мы позволим себе привести:

Тараканчик сеньор,
Тараканчик сеньора,
Тараканчик хлоп-хлоп крыльями
И улетел.

Плагиатор, которого я схватила за ушко, чтобы, как вора — а он таковым и является, — предать суду общественного мнения, — один из самых злейших в своем роде: он заимствует самые низкопробные стихи. И у кого? У простонародья! Ведь если его интеллект слаб и не способен создать собственное совершенное творение, то ему следовало бы подражать перу таких великих мастеров, как Гомер, Данте, Вергилий, Мильтон или Базилио де Магальяэнс.

Обсудив и осудив сонет Полосатого Кота, вернемся к нашей истории, считая, что никакого сонета не было и в помине, ведь он, этот сонет, в нашей истории должен появиться значительно позже.

А история развивалась следующим образом: в последний день Лета, после той встречи Ласточки и Кота, Кот имел беседу с Совой. Старая Сова, как уже сказано, была единственной из всех живущих во дворе, кто уважал Полосатого Кота. И Кот, тоскуя по Ласточке — она, выслушав объяснение, улетела и не возвращалась — и понимая противоречивые чувства, трепетавшие в ее груди, решил поговорить с Совой. Сова, очнувшись от своего стариковского сна, открыла глаза.

Кот влез на дерево, сел рядом с ней и заговорил. Вначале он говорил на отвлеченные темы. Но Сова, будучи прозорливой, тут же поняла, что привело к ней Полосатого, и решила не скрытничать. Она рассказала Коту не только все дворовые сплетни (Кот от сплетен просто обезумел), но и высказала свое мнение:

— Ну что тут, друг, поделаешь! И как тебе такое пришло в голову? Жениться на Ласточке! Да подобного свет не видывал. Ведь если бы даже она тебя и поллюбила, — но кто тебе такое сказал? — то все равно это невозможно. С сотворения мира никто не припомнит, чтобы ласточки в брак с котами вступали. И это сильнее любого закона. Ты говоришь: «Она меня любит, и все зависит от нее...» Может быть, любит, очень даже верю... Но брак невозможен. И то, что брак невозможен, ей известно лучше, чем кому-либо другому. Ведь и ее бабка, и ее прабабка, и все, все ласточки на свете придерживались этого негласного закона. Чтобы его отменить, нужна революция... — И, покачав головой, добавила: — Конечно, было бы неплохо, чтобы произошла эта революция. Мы все в ней нуждаемся, прямо надо сказать.

Кот молчал, он даже не заикнулся о том, что мечтает видеть Ласточку рядом с собой на старой бархатной тряпке, — как видно, бедняга забыл, что ласточки спят в гнездах на деревьях. Попрощавшись с Совой, он и написал сонет. На это трудное для Кота дело ушла вся ночь и часть утра, а что из того получилось, уже известно. Труд оценен.

И все же в первый осенний день Кот Ласточку увидел. Она была серьезной: не улыбалась, не радовалась

и не выказывала своего к нему расположения, что бывало особенно приятно Коту. Надо сказать, что и Кот не мог скрыть своей печали: слова Совы тяжело легли ему на сердце. Молча обошли они те места, где так часто бывали Весной и Летом. Перекинулись несколькими словами, явно стараясь не касаться волнующего обоих вопроса.

Наконец Ласточка стала прощаться. Кот преподнес ей сонет. Она поднялась в воздух, покружилась несколько раз над его головой; в глазах ее стояли слезы.

Следующий день был самым долгим осенним днем, потому что Ласточка не появилась. Напрасно Кот ходил вокруг да около дерева, на котором было гнездо, — ее в гнезде не было. Вечером Кот всем припомнил их сплетни: вспугнул Черного Селезня, навел смертельный ужас на возносящего вечернюю молитву Попугая, разодрал морду Датского Пса, украл в курятнике яйца, но не для того, чтобы их съесть, а чтобы бросить в поле, — верх безобразия! И опять двор затрепетал перед Полосатым Котом. Открыто сплетничать прекратили. Начали перешептываться.

На третий день Осени Почтовый Голубь бросил Коту (кто же решится приблизиться к этому чудовищу?) весточку, которую тот читал и перечитывал до тех пор, пока не выучил наизусть. Это было печальное, все ставящее на свои места письмо от Ласточки. «Ласточка, — писала она, — не может выйти замуж за кота, и поэтому мы не должны больше видеться». И тут же добавляла, что никогда не была так счастлива, как этой Весной и Летом. И заканчивала: «Всегда твоя сеньорита Ласточка».

Она поклялась с ним не встречаться, но, как уже было сказано, чего стоит клятва порхающей Ласточки. И снова они бродили по двору, по их любимым уголкам, только разделенные стеной молчания.

Так прошла Осень — скучное, серое время, когда деревья теряют свою листву, а небо — голубизну. Поскольку Полосатый опять держал в страхе обитателей двора и опять жил в полном одиночестве, ни с кем не общаясь, он не знал, что в доме Ласточки трудились три Ткачихи-Паучихи, готовя невесте приданое. В начале Зимы должна была состояться свадьба Ласточки и Соловья.

В последний день Осени, сырой и мрачный, появилась подгоняемая стонущим от холода Ветром Ласточка. Она горела желанием обойти все те места, где Весной и Летом пришла к ней любовь, была шумна и разговорчива, пежна и кокетлива, как будто вдруг пала установившая-

ся между ними стена молчания: То была прежняя весенне-летняя Ласточка, чуть-чуть взбалмошная, и Кот в волнении следил за ней.

До глубокой ночи бродили они по двору. Наконец она сказала, что это их последний день. Завтра она выходит замуж за Соловья. Ведь Ласточка не может выйти замуж за Кота. И, как уже было однажды, пролетев над ним, коснулась его левым крылом. Это был своеобразный поцелуй. Но на этот раз Кот не услышал биения ее сердца — его удары были слабы. Ласточка не обернулась.

ЗИМА

Эта глава должна быть очень длинной, потому что начало Зимы — время мучительное. Но зачем говорить о грустных вещах, зачем рассказывать о ставших снова такими злыми глазах Кота? О них говорилось в письмах, разносимых Почтовым Голубем во все соседние дворы. Получила это известие и Гремучая Змея и задрожала. Ведь в письмах говорилось о злобе Кота и его одиночестве. Оно было таким безграничным, что потрясло Чайную Розу, и она доверительно шепнула своему возлюбленному, Жасмину:

— Бедняжка Кот! Он так одинок, у него нет никого и ничего в целом мире.

Как же обманывалась Чайная Роза, говоря, что у Кота никого и ничего нет в целом мире! Как раз наоборот. У него был целый мир! Мир сладостных воспоминаний. Не скажу, конечно, что Кот был счастлив и не страдал. Страдал, но в отчаяние не приходил, так как питался воспоминаниями. Но, как известно, счастье питается не только воспоминаниями, но и мечтами о будущем...

И вот в один из зимних дней состоялось бракосочетание Ласточки и Соловья. Праздник был на славу. Стол ломился от сластей и шампанского. Петух, шафер жениха на свадьбе, держал речь. Он говорил о добродетелях и обязанностях хорошей супруги. И о верности супругу... умолчав, конечно, о верности супруга (он не ханжа), зачем говорить об этом? Всем же известно, что у него, мусульманина, — гарем. Венчание состоялось на апельсиновом дереве — чудесный уголок двора! Чтобы совершить обряд венчания, из далекого монастыря прилетел преподобный Урубубу. Его проповедь тронула сердца присутствовавших. Мать Ласточки рыдала.

И вот в тот самый момент, когда свадебный кортеж покидал апельсиновое дерево, Ласточка увидела Кота.

Он, как и прежде, сидел на своем обычном месте. Улучив момент, чтобы никто не видел, она бросила ему из своего невестинного букета лепесток красной розы. Лепесток упал Полосатому на сердце и заалел каплей крови.

Но, чтобы история моя закончилась весело, я должен описать праздник, который имел место в доме родителей Ласточки, рассказать один-другой анекдот, которым Попугай развлекал приглашенных. А приглашены были все — все, кроме Кота. Но обо всем том во всех подробностях Времени рассказала Заря. И о нарядах, и об убранстве дома, и об угощении. Думаю, читатель без труда, если ему захочется, в соответствии со своей фантазией может вообразить все это. Скажу только, что птичий оркестр, звуки которого долетали до кошачьего слуха, был необычайно слаженным. Сердце Кота сжималось. Теперь ему не о чем было мечтать, нечем питать мечту о невозможной любви и будущем. У него просто не было будущего. Светлый день свадьбы Ласточки стал для Кота темной ночью. Ночью без звезд. Сердце его кровоточило, о чем свидетельствовал алевший на его груди лепесток красной розы.

НОЧЬ БЕЗ ЗВЕЗД

Музыка разрывала сердце. Свадебные песнопения казались нескончаемым похоронным маршем. Прижимая к сердцу лепесток красной розы, Кот в последний раз окинул взглядом зимний двор и медленно пошел прочь. Где-то далеко-далеко за пределами двора жила всеми отвергнутая Гремучая Змея. Туда, на край света, туда, где сходятся все дороги жизни, и отправился наш Полосатый. Около дома молодоженов он задержался и увидел их. Они его тоже увидели, вернее, Ласточка услышала его неслышные шаги. И тут с неба, прямо на лепесток красной розы, что-то упало и засверкало. То была Ласточкина слеза, вернее, искрящаяся любовью звезда, которой суждено было осветить одинокий путь Полосатого в ночь без звезд.

На этом история, которую Ветер рассказал Заре, а Заря — Времени, чтобы получить Голубую Розу, заканчивается.

В первые весенние дни Заря приколет эту заслуженную награду к своему светлому платью, и займется удивительно голубой день.

«Аминь», — заключил Попугай.

ВОЕННЫЙ МУНДИР,
МУНДИР
АКАДЕМИЧЕСКИЙ
И НОЧНАЯ РУБАШКА

РОМАН

Перевод
АЛЕКСАНДРА БОГДАНОВСКОГО

I

ГИБЕЛЬ ПОЭТА АНТОНИО БРУНО, ПРИКЛЮЧИВШАЯСЯ
С НИМ ВСЛЕДСТВИЕ ПАДЕНИЯ ПАРИЖА ВО ВРЕМЯ
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

«...это честь, которая возносит,
венчает, прославляет и радует».

*Машадо де Ассиз*¹ о Бразильской
Академии

«Querre sonnerie, la queerre!» —
«Война — это такая подлость!»

Жак Превер «Барбара»

«Heil Hitler!» — «Хайль Гит-
лер!» — приветствие, которое было
очень распространено когда-то.

«No pasarán!» — «Они не прой-
дут!» — девиз Пасионарии, выбран-
ный престарелым академиком Эван-
дро Нунесом дос Сантосом.

Это история о том, как два старых вольнодумца, два писателя-академика, объявили войну нацизму и насилию. Всякое совпадение с реально существовавшими учреждениями, академиями, корпорациями, классами и группами общества, а также с событиями, имевшими место в действительности, а также с отдельными лицами, носит совершенно случайный характер, поскольку все, что будет рассказано здесь, — плод воображения и размышления автора. Реальны только диктатура Нового государства²,

¹ Жоакин Мария Машадо де Ассиз (1839—1908) — бразильский писатель, зачинатель критического реализма в бразильской литературе. Основатель и первый президент Бразильской Академии. (*Здесь и далее примеч. переводчика.*)

² В ноябре 1937 г. президент Бразилии Жетулио Варгас (1883—1954) разогнал конгресс и обнародовал корпоративную конституцию, провозгласившую страну Новым государством. Были распущены все политические партии, а prerogatives президентской власти значительно расширены.

закон о национальной безопасности, переполненные тюрьмы, камеры пыток, мракобесие. Реальная развязанная нацизмом вторая мировая война на самом страшном ее этапе, когда казалось, что все обречено на гибель и все надежды рухнули.

НЕНАПИСАННЫЙ СОНЕТ

Поэт Антонио Бруно скоропостижно скончался от второго инфаркта 25 сентября 1940 года. Сияющее утро, теплый и чистый воздух, напоенный солнцем, напомнили ему другое утро, когда ясный свет, лившийся в окно его парижской мансарды, окутывал, точно прозрачный шелк рубашки, нагое тело спящей на кровати женщины. Об этом можно написать сонет, подумал он тогда, но сонета написать не успел, потому что женщина проснулась и протянула к нему руки.

Припомнив это, Антонио Бруно взял бумагу и перо и своим красивым почерком, словно вырисовывая каждую букву, написал вверху листа слова, которые, без сомнения, должны были стать заглавием любовного стихотворения: «Рубашка». Радостное воспоминание стало мучительным, светлая грусть сменилась острой болью — «никогда, никогда больше!». Поэт не сочинил ни единой строки: схватился за сердце, уронил голову на заваленную бумагами столешницу. Открылась вакансия в Академию.

Первый инфаркт настиг его ровно три месяца назад, когда Бруно услышал по радио весть о падении Парижа.

ТРУДНАЯ И КРОВОПРОЛИТНАЯ БИТВА

«Да, это была настоящая битва», — заявлял много лет спустя Аффранио Портела, который с годами приобрел привычку выражаться с категорической уверенностью. Говоря об этих событиях, он всякий раз повторял, что война шла мировая: «Мы все участвуем в ней: поле битвы не знает географических границ и демаркационных линий; любое оружие сгодится и понадобится; даже самая скромная победа пробудит надежду».

Шло время, и в речах восьмидесятилетнего писателя, автора пленительных и чарующих книг, остролова и

несравненного рассказчика, все отчетливей проявлялась склонность к некоторому преувеличению самого события и его последствий: академик не то шутя, не то всерьез называл себя активным участником французского Сопротивления, макиаром, командиром партизанского отряда — именно так, судя по всему, он себя и вел.

Так действовал и безрассудный профессор Эвандро Нунес, второй участник заговора, — тот, кто, по словам Аффранио, проявил столь непреклонную решительность при проведении второго этапа операции.

— Мы добились своего, и я уж был готов остановиться на достигнутом, но Эвандро не согласился. Он требовал «все или ничего!».

Академик Аффранио Портела никогда не забывал добавлять, что битва, в которой были разгромлены силы международного фашизма и бразильской реакции, была не только трудной, но и кровопролитной.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБСТАНОВКА

С каких это пор выборы в Бразильскую Академию приравниваются к битве?! Тем более что борьба была ограничена рамками этой корпорации и малым числом участников — их было только тридцать девять человек, тридцать девять живых академиков. Отнюдь не желая принизить значение выборов нового члена Академии (выборы, учитывая бесспорный, хотя и оспариваемый престиж звания «бессмертного», широко обсуждаются в печати и в интеллектуальных кругах), мы все-таки хотим подчеркнуть, что речь шла о не очень значительном событии, которое совпало по времени с грандиозными и трагическими мировыми катаклизмами, поскольку произошло в самом разгаре второй мировой войны, в 1940 году, когда победно шествовавшие германские войска поставили на колени Францию, а самолеты Люфтваффе обращали в прах и пепел города и деревни Англии. Для многих, — может быть, почти для всех — поражение демократии было предрешено, близился миг всеобщего смертельного осуждения: это был вопрос нескольких месяцев или даже недель. Гитлер провозгласил тысячелетний рейх — мы станем его частью. Настало время страха и отчаяния.

Сколько же поколений будет обращено в рабов за тысячу лет господства нацистов? В небе над Лондоном было темно от германских бомбардировщиков, танки за-

хватчиков ворвались на территории европейских держав, Польша исчезла с карты мира, смолкли венские вальсы, и не произносилось больше гордое имя Австрии, на древних башнях Праги развевалось знамя со свастикой, и незаживающей раной горела на груди иудеев желтая звезда Давида. Кровь и грязь, террор и жестокость, аншлюсы и протектораты, гестапо, СА, СС, концлагеря, газовые камеры, позор и смерть. Настало время страха и отчаяния. Время безнадежности.

А в Бразилии под эгидой тиранической Конституции Нового государства и после введения военного положения — отблеска побед Гитлера и Муссолини — репрессии достигли пика своей жестокости. Идиллические отношения с Германией определяли политику правительства: была учреждена цензура, принят пресловутый закон о национальной безопасности и создан трибунал. Никакой неприкосновенности личности, никаких свобод, никаких прав: полиция приобрела неслыханную, ничем не ограниченную власть. В тюрьмах, в колониях, в подвалах полицейских комиссариатов пытали политических заключенных.

В тот самый миг, когда взволнованный академик Лизандро Лейте сообщал по телефону полковнику Агналдо Сампайо Перейре печальное и вместе с тем приятное известие о кончине поэта Бруно — известие, давшее сигнал к выдвижению сил и средств на исходные позиции, — железнодорожник Элиас, известный также под кличкой Пророк, висел под потолком в застенке Управления специальной полиции, а атлетически сложенные сотрудники этой ударной организации, этой твердыни режима пытались выбить из него имена, пароли и явки. Любопытно, что хранить упорное молчание и выдерживать зверский допрос помогали Элиасу строки недавно прочитанной им поэмы, напечатанной на mimeографе на грязном листке бумаги. А вот поэту Антонио Бруно, который эти строки сочинил, они ничем не помогли — не уберегли его ни от уныния, ни от отчаяния.

И можно ли после того, как мы окинули взглядом эту величественную панораму, серьезно относиться к выборам в Академию словесности? Можно ли увидеть в этой процедуре что-либо, кроме обычных интриг и пустоportunей болтовни? Разумеется, громкие имена членов Академии, значительный вклад, внесенный ими в развитие отечественной культуры, «бессмертие», расшитый золотыми пальмовыми ветвями мундир — все это служит

причиной острой борьбы за обладание вакантным местом и жестокого соперничества претендентов, но можно ли утверждать, что борьба эта превратилась в беспощадную войну между торжествующим нацизмом и разрозненными силами демократии?

Можно. Академик Афранио Портела не лгал и не преувеличивал, когда говорил о битве и упоминал о пробуждении надежды. Что же касается Эвандро Нунеса дос Сантоса, автора фундаментальных исследований о современной бразильской действительности и людях Бразилии — исследований весьма замечательных по превосходному знакомству с вопросом, по оригинальности мышления, по дерзости неожиданных выводов, — то этот писатель, будучи крайним индивидуалистом, борьбу довел до победного конца. Он ненавидел все и всяческие проявления власти и чиновничества до такой степени, что никогда не надевал свой мундир академика, появляясь на торжественных собраниях в обыкновенном пиджаке. Пиджак, кстати сказать, гораздо лучше подходил и к должности — Эвандро Нунес был профессором гражданского права — и к наружности этого высокого, тощего семидесятилетнего старика.

ГЕРОЙ-ПОЛКОВНИК. ЭСКИЗ ПОРТРЕТА

Да, неприятно было, когда полковник, перелистав гранки, внезапно рассвирепел и потерял весь свой лоск. До этой минуты беседа проходила в атмосфере хотя и напряженной, но все же пристойной: разумеется, нечего было и ждать, что шеф службы безопасности Нового государства и ничтожный журналист, тайный смутьян, подозреваемый в принадлежности к коммунистической партии и к тому же еще еврей, будут обмениваться любезностями, улыбками и сердечными пожеланиями.

Лицо полковника исказилось от ярости, глаза вспыхнули желтым фанатическим огнем: теперь он стал по-настоящему опасен, и ждать от него можно было всего. Он тряс зажатými в кулаке гранками перед носом своего тощего и перепуганного собеседника, сидевшего, как в траншею под обстрелом, по другую сторону стола — по ту сторону линии фронта, поскольку кабинет полковника стал полем сражения.

Срываясь на фальцет, полковник визгливо орал:

— Негодяй! Вы еще смеее утверждать, что это не коммунистический пасквиль? Вы что, дураком меня счи-

таете?! Дураком?! — Последние слова сопровождалось ударом кулака о стол: словно разорвалась фугаска или мина.

Обычно голос полковника — хорошо поставленный, звучный, поистине «командный» голос — бархатисто рокочет при любых обстоятельствах: и когда полковник изрекает неоспоримые, по его мнению, истины, и когда в пылу спора хлещет словами, как пощечинами, по лицу оппонента. Интонации его продуманны, жесты размеренны, осанка и позы величественны. Но случается порой, что полковник теряет над собой власть — ищи-свищи тогда невозмутимого и мужественного, непреклонного и сдержанного военачальника, следа не остается от неколебимого героя, от знаменитого и прославленного Агналдо Сампайо Перейры.

Этот человек умеет и размышлять, и действовать; он закален борьбой (не борьбой, поправляет он, а войной, беспощадной войной с врагами отчизны); он написал больше десяти книг, высоко оцененных прессой. Он прекрасно сохранился для своих пятидесяти лет, на смугловатом лице почти нет морщин. Когда несколько минут назад он говорил о превосходстве арийской расы — «нам, арийцам, суждено взнуздать и укротить человечество...», — журналист Самуэл Ледерман при всей затруднительности своего положения не стал восхищаться силой и энергией этого высказывания, а неожиданно предался неосторожным и непочтительным размышлениям: интересно, сколько негритянской крови струится в жилах благородного наездника, укротителя человечества? А разве хорошо вылепленный, но крючковатый нос шефа безопасности и фамилия Перейра не выдают его семитские корни, не свидетельствуют о том, что в роду полковника были «новые христиане», крещеные иудеи, огнем и железом обращенные некогда святой инквизицией? («Ей-богу, Сэм, ты прямо какой-то ненормальный!» — скажет Да, свернувшись в клубочек у ног журналиста.) Это бессовестная клевета, ибо никому не придет в голову усомниться в том, что полковник наделен духом истинного арийца.

Да, арийца, потому что полковник, хоть и был несомненным бразильцем в пятом колене, хоть в его жилах и текла кровь многих рас, отстаивал свои арийские воззрения упорно и убежденно. В былые годы он создал вдохновенный труд — книгу «За арийскую цивилизацию в тропиках. Очерк развития бразильской расы», — поднятый

на щит правой прессой, рекомендованный в качестве учебного пособия для государственных гимназий и некоторых факультетов,— это гарантировало ее автору большие тиражи переизданий и высокие гонорары.

Многие дамы считали, что полковник очень хорош собой: им нравились его широкие плечи, уверенная походка, черные, аккуратно приглаженные волосы, блестящие от бриллиантина, его энергичное лицо над воротом безупречного мундира. Он напоминал одного из американских киноактеров, страсть к которым, подобно какой-то неопасной, но прилипчивой болезни, вроде кори, охватывала некогда целые континенты. И впрямь, во всем облике железного полковника, не обиженного ни умом, ни пронизательностью, непреклонного и даже бесчеловечно жестокого, когда дело касалось защиты священных принципов, было что-то актерское, чувствовалась некоторая нарочитость — и в том, каким поставленным голосом и с какими ораторскими приемами произносил он самые обыденные фразы, и в том, каким пронизывающим инквизиторским взором, способным, казалось, читать в душах, смотрел на злоумышленников. Этот взор, кстати, давался полковнику нелегко и требовал от него постоянной сосредоточенности, потому что глаза ему от природы достались круглые, невыразительные, совсем не злые и даже наивные.

Газеты, писавшие о полковнике, предворяли его имя весьма лестными и воинственными эпитетами — «бесстрашный, отважный, мужественный». Похвалы эти усилились с того дня, когда на улицах Рио-де-Жанейро, столицы нашей республики, Сампайо Перейра — в то время еще подполковник — во главе подразделений специальной полиции и ударных отрядов из Управления по охране политического и общественного порядка разогнал орущую толпу опасных смутьянов, до зубов вооруженных подрывными лозунгами, криками, поднятыми вверх кулаками, — этот сброд устроил демонстрацию протеста после Мюнхенского пакта и падения Праги, когда Итамарати¹ выдало служащих посольства Чехословакии германским властям. В тот день враги законности и порядка потерпели жестокое поражение, надолго отбившее у них охоту устраивать манифестации.

¹ Итамарати — квартал в Рио-де-Жанейро, где располагались правительственные здания; здесь — министерство иностранных дел.

Полковник был человеком действия, по вместе с тем и мыслителем: его многочисленные теоретические труды снискали ему похвалы собратьев по перу — «один из самых плодовитых и активных писателей нашего времени», «разносторонний политический публицист», «очеркист высокого полета» и тому подобные. Книги полковника Перейры прославляли «твердый порядок», бичевали гнилость и деградацию демократических режимов, раскрывали перед читателями чудовищную коммунистическую опасность.

Первые статьи он написал еще в бытность свою членом «Палаты сорока» и яростным активистом общества «Интегралистское действие». Когда после переворота 1937 года политические партии были запрещены, он отошел от своих взглядов, заявив в одной из статей: «Ныне принципы интегрализма воплощаются в жизнь Новым государством, которое не допускает существования многопартийной системы — явления ненужного и, если вдуматься, даже вредного, двусмысленного и провокационного». Во время неудавшейся попытки мятежа 1938 года полковник оставался верен правительству и без малейших колебаний хватал и сажал былых сподвижников. Последние труды Перейры идеологически обосновывали необходимость Нового государства, тоталитарные принципы и железная дисциплина которого страдали от многократно доказанной неспособности бразильского народа понимать великие идеи и отдавать должное великим людям. Именно так полковник и заявил журналисту Ледерману в начале беседы:

— ...распущенность, равнодушие, слабохарактерность — все это результаты губительного воздействия метисации! — Полковник метисацию ненавидел.

Когда-то Перейра — в ту пору лейтенант, недавний выпускник военного училища, — кропал романтические стишки и даже издал худосочный сборничек. Поскольку автор был тогда молод и никакой властью не обладал, одни критики разнесли его творения в пух и прах, другие же вовсе промолчали. Сам Жоан Рибейро, известный благожелательным отношением к начинающим талантам, не смог найти в этом сборнике ничего интересного и обозвал его в своем еженедельном обозрении «набором кое-как зарифмованных слюнявых восторгов». Нужно отметить, что, когда через несколько лет Перейра оставил поэзию и занялся политической публицистикой, старый критик пожалел об этом: «...если раньше он ковер-

кал метр и истязал ритм, то теперь его истерическая проза угрожает нации и народу, свободе и будущности Бразилии».

Все это доказывает, что, кроме восторженных и преданных почитателей, находились у полковника и хулители, которые не прощали ему ни политической деятельности, ни литературного творчества. Они называли его могильщиком демократии и гражданских прав, они говорили, что он опозорил свой военный мундир, пойдя на службу к полицейской реакции, что он возглавляет в Бразилии «пятую колонну», что он организует репрессии, санкционирует пытки и приглашает для обмена опытом специалистов из гестапо и что лучшего гауляйтера Бразилии Гитлеру не найти.

Полковник гордился этими нападками не меньше, чем похвалами. Лаврами и розами увенчивали его «испытанные патриоты, соль земли, строители новой Бразилии», ругань же и оскорбления исходили от «гнилых либералов и коммунистических подонков».

РАСПОРЯЖЕНИЕ СВЫШЕ

— Ничего не могу поделать, это от меня не зависит, распоряжение свыше...

Когда начальник Департамента печати и пропаганды, сообщив Ледерману, что журнал запрещен и он ничем не сможет ему помочь, выразительно развел руками, тот не захотел признать себя побежденным и решил обратиться непосредственно к полковнику Сампайо Перейре. Приказ исходил от него, только он может его отменить. («У тебя не все дома, Сэм, ты до смерти будешь верить в чудеса», — скажет Да, качая кудрявой каштановой головой.)

«Наш доморощенный Геббельс — настоящая скотина, — так отозвался начальник ДПП о полковнике, а потом, отдавая ему должное и обнаруживая некоторый страх, добавил: — Но скотина кровожадная. Будь осторожен, смотри, как бы он тебя не засадил», Ледерман вспомнил дни, проведенные в подвале политической полиции, куда попал в прошлом году во время облавы. По случаю вторжения немецких войск в Прагу были арестованы сотни людей. В камеру, рассчитанную на двадцать человек, набили больше пятидесяти; они спали вповалку на голом и мокром цементном полу, раз в день

получали отвратительное пойло, ни разу не умывались и задыхались от смрада: вместо всех благ комфорта им был предоставлен жестяной бак из-под керосина. Кроме того, им были отлично слышны крики тех, кого пытали в соседних камерах... Однако неприятное воспоминание не охладило пыл Ледермана: как-никак он — политический репортер крупной еженедельной газеты, поддерживает связи с влиятельными людьми... Он пробьется к полковнику.

— Пожалуйста, имей в виду, что по нынешним временам освободить тебя из каталажки будет очень непросто,— сказал ему на прощанье начальник ДПП.

Поразительный все-таки тип этот начальник Департамента: верой и правдой служит правительству на таком важном посту, а сам питает тайные, но очевидные симпатии к Англии и Франции, заступает за скомпрометированных журналистов вроде Ледермана, который был редактором ежемесячника «Перспектива», последнего из органов левой печати, зарегистрированных в Департаменте, и в конце концов запрещенного как и все остальные.

ПОЛКОВНИК ВЕДЕТ ТОТАЛЬНУЮ ВОЙНУ И КРИТИКУЕТ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЖИВОПИСИ

Двуличие начальника Департамента печати и пропаганды доказывает, что Новое государство, основанное на принципах нацизма, вовсе не так монолитно, как хотелось бы полковнику Перейре: кое-где в государственном аппарате еще гнездятся недобитые либералы. Но ничего, уже близок день, когда в органах власти останутся лишь пламенные патриоты, горячие приверженцы сурового режима, ничем не запятанные арийцы. Близок великий день полной победы, когда полетят головы и прольется искупительная кровь... Полковник стоит возле карты Европы и вдохновенно декламирует:

— Мы уничтожим всех врагов — всех до единого! Нам чужда жалость! — Глаза-буравчики впились в Ледермана. — Жалость присуща слабым. Жалость — признак упадка. — Чуждый жалости полковник передвигает флажки на карте: теперь они воткнуты вплотную к франко-испанской границе. — Первый этап войны завершается блестящей победой. Нам принадлежит вся Европа. Под гениальным предводительством фюрера мы водрузим наши знамена на вершинах Пиренеев. В Испании нас

ждет славный генералиссимус Франко, в Португалии — мудрый доктор Салазар.

Эта сводка читалась в начале беседы, и Ледерман не унывал. Прежде чем просмотреть гранки — «материал совершенно нейтральный», уверял журналист, — полковник решил доказать ему, что какая-либо оппозиция к нацизму бессмысленна, и повел речь о тотальной и молниеносной войне. Но несмотря на танки и пушки, истребители и бомбардировщики, несмотря на число убитых и пленных, несмотря на концлагеря и лагеря уничтожения, несмотря на знамена со свастикой, журналист не терял надежды на благоприятный исход своего дела: неужели этой махине может хоть в чем-то помешать маленький журнальчик, где будут печататься репортажи, осторожные обозрения на международные темы — например, об американском «Новом курсе», — стихи и рассказы?.. Журналист внимательно слушает и не противоречит полковнику, который с воодушевлением рисует картины грядущих триумфов, неминуемого разгрома Великобритании, потом... Короткая пауза подчеркивает важность сообщения, полученного, быть может, из первых рук — из ставки фюрера.

— А потом придет черед Советской России. У наших бронированных дивизий, — «наших» прозвучало очень непринужденно: разве не является Бразилия естественным союзником третьего рейха в Латинской Америке? — прогулка по степям займет не больше одной-двух недель... Россия исчезнет, и коммунизм будет выкорчеван с нашей планеты!

Покорив Советский Союз и освободив мир от коммунизма, воинственный и довольный собой полковник сел в свое кресло. Он бросил победительный взгляд через стол — через линию фронта, — чтобы насладиться зрелищем поверженного в прах врага, и с удивлением отметил, что жалкий иудей вовсе в прах не повержен. Издевательская улыбка змеилась по его гнусным губам, в голосе звучала насмешка:

— Неужели, господин полковник, вам хватит недели? Учите, территория России довольно обширна... Наполеон...

— Молчать!

Сверлящий взгляд стал недоверчивым и недоброжелательным, полковник сдвинул брови. Самуэл спохватился, но было уже поздно. («Ах, Сэм, наживешь ты себе беду с твоим характером», — скажет Да, целуя его глаза.)

После тягостного молчания полковник придвинул к себе гранки и, едва перелистав их, взорвался:

— Какой цинизм! Каждая строка источает яд.— Он просмотрел заголовки статей, фотографии, бегло прочел на выборку несколько заметок.— Латифундии, наследие феодализма, разбой — старая марксистская песня, вы посмеете это отрицать? Фотоснимки фавел и негров... В Рио больше нечего снимать? В городе перевелись белые люди?

— Это репортаж о самбе,— попытался объяснить Самуэл.

— Молчать, я сказал! Та-ак... «Современное искусство»! Набор непристойностей, утеха вырожденцев! Фюрер с присущей ему гениальностью запретил эту мерзкую мазню. Она способна лишить нацию мужественности — недаром опозоренная Франция превратилась в страну женоподобных существ.

Эти «ню», исполненные мощи и яростной энергии, оскорбляют тонкий вкус пылкого полковника — отвращение его неподдельно, негодование искренне. Полковник Перейра ценит изображения обнаженной натуры, «но лишь когда они по-настоящему художественны, написаны с вдохновением и чувством».

Самуэл, воспользовавшись неожиданной атакой на живопись, оправился от испуга и решил возобновить диалог. Но не тут-то было: полковник совсем взбесился, даже зарычал от ярости, увидев напечатанный на всю полосу портрет президента Соединенных Штатов Америки Франклина Делано Рузвельта.

— Это еще что такое?

— Это, господин полковник, президент...

— Президент? Еврей на жалованье у международного коммунизма! Делано — это еврейское имя, разве вы не знаете? Нет? А мы вот знаем!

Он с негодованием оттолкнул от себя лист, с которого улыбался ненавистный политикан, и придвинул последнюю пачку корректуры. Однако возмутиться стихотворением Антонио Бруно «Песнь любви покоренному городу» полковник не успел, потому что зазвонил телефон — особый, секретный, предназначенный для самых важных и спешных сообщений, телефон, номер которого известен лишь очень немногим. Полковник отложил гранки и снял трубку; он еще не пришел в себя: глаза горели, голос срывался. Очень скоро, впрочем, он успокоился и принял свой обычный вид; голос опять стал

звучным, уверенным, а кроме того, вежливым, почтительным, чуть ли не льстивым. «Наверно, звонит кто-нибудь не меньше военного министра», — подумал журналист.

**АКАДЕМИК ЛИЗАНДРО ЛЕЙТЕ, ВЫДАЮЩИЙСЯ ЮРИСТ
И ВЕРНЫЙ ДРУГ**

Он ошибался. Это был не военный министр, и вообще не министр, и даже просто не военный. На другом конце провода потел и задыхался тучный человек с львиной гривой волос — академик, дезембаргадор¹ и профессор коммерческого права Лизандро Лейте. Обладателю всех этих титулов и званий стоило большого труда раздобыть секретный номер телефона.

— Полковник, сегодня утром умер Антонио Бруно. Я был в суде, поэтому узнал об этом только что.

Полковник, услышав эту скорбную весть, открывающую перед ним широчайшие горизонты, не смог удержаться от восклицания и подавить улыбку. Но тут же спохватился, собрался, притушил улыбку, несовместимую с выражением скорби, которого требовало печальное (во все даже не печальное!) известие.

— Антонио Бруно? Умер?

— У нас появилось вакантное место, полковник!

— Какая потеря для нашей словесности!.. Какая невосполнимая утрата! Выдающийся талант...

— Да, да, поэт божьей милостью... — прервал Лизандро Лейте эту напыщенную надгробную речь. Он не для того терпел грубости неведомых сержантов и капралов, которые отказывались соединить его с кабинетом полковника, не для того выворачивался наизнанку, доставая номер его личного и секретного телефона, чтобы теперь выслушивать банальности. — Мы не на заседании Академии, поберегите эти красоты для своей речи, полковник.

— Какой речи?

— Открылась вакансия! — Академик произнес эти слова с пафосом, словно дарил полковнику нечто редкое и бесценное. Нет, он предпринял все эти усилия не только для того, чтобы сообщить полковнику о смерти своего коллеги по Академии, поэта Антонио Бруно. Лизандро Лейте давал своему прославленному собрату и

¹ Дезембаргадор — высший судебский чиновник в Бразилии.

другу возможность стать одним из «бессмертных», членом Бразильской Академии. — Но действовать надо немедленно, нельзя терять ни минуты. Ни минуты! — повторил он.

Лизандро Лейте, «просвещеннейший корифей юридической литературы», состоял членом Академии уже больше десяти лет и считался крупным специалистом по выборам: как свои пять пальцев знал он все хитрости и тонкости, все тактические маневры и стратегические удары, которые неизменно приводили его протеже к победе. Прозорливый покровитель кандидатов в Академию умудрялся получать немалые барыши с каждого выборов. Злые языки — а они есть повсюду, даже и в Академии, — утверждали, что своей стремительной судейской карьерой Лейте в немалой степени обязан этим вожделенным для многих вакансиям — «он преуспевает в жизни за счет смерти». Если подобные высказывания касались его слуха, он не обращал на них внимания, невозмутимо следуя своей стезей. А сейчас он ласково, но властно наставлял нового кандидата, растолковывал, что тому надлежит предпринять:

— Нужно, чтобы члены Академии немедленно узнали о том, что вы выставляете свою кандидатуру, что освободившееся место принадлежит вам, мой славный друг...

Бестрепетного и отважного полковника, возглавляющего силы безопасности, ни разу не дрогнувшего перед лицом коварного и подлого внутреннего врага, сейчас, когда должна начаться борьба за бессмертие, внезапно охватывает странное смятение. Запинаясь, он бормочет:

— Выдвигать мою кандидатуру?.. Прямо сейчас? А тело Бруно уже перевезли туда?.. Неудобно... Может быть, дожидаться похорон? Так, наверно, будет лучше?..

Круглые, растерянные глаза полковника натываются на журналиста — он совсем забыл про этого ненужного свидетеля. Прикрыв ладонью, полковник говорит:

— Вон отсюда!

Самука — как называют Самуэла Ледермана друзья, или Сэм, как зовет его жена Да, — попытался было спорить; надежды нет, но долг требует довести дело до конца:

— Так как же с журналом, господин полковник? Вы разрешаете? («Эх, Сэм, до чего ж ты невезучий...» — чудится ему усталый голосок Да.)

Глаза-буравчики вспыхивают опасным огоньком.

— Что? Как вы смеете?.. Немедленно вон отсюда, пока я не передумал и не велел вас арестовать!

Журналист, смирившийся с поражением, собрал гранки. Личное свидание с шефом службы безопасности ожидаемых результатов не принесло; «Перспектива» запрещена окончательно и бесповоротно, а ее редактор избежал тюрьмы по счастливой случайности, и никогда отныне он не позволит в своем присутствии дурно отзываться об Академии, об этой достойнейшей корпорации.

Сунув ненужные теперь гранки в карман, маленький журналист Самуэл Ледерман идет по сумрачным коридорам и горько скорбит о смерти поэта Антонио Бруно, с которым говорил всего один раз. Ода Парижу, занятому немцами, песнь борьбы и надежды, так и останется ненапечатанной в настоящей типографии. Самуэл, как и многие другие, знает некоторые строфы наизусть и сейчас произносит их про себя. Поражение уже не так печалит его, мечта сильнее действительности: рано или поздно, не сейчас, так завтра, его полуподпольный, затравленный, обреченный журнальчик превратится в крупную ежедневную газету, чуткую, живую, актуальную — большие репортажи, именитые авторы, наши и иностранные, свободный обмен мнениями, публикации, не снившиеся другим газетам. Так будет, когда Париж станет свободным, а в Бразилии воцарится демократия. («Эх, Сэм, ты неисправим...»)

РАДУЖНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ И ЛАТИНСКОЕ ИЗРЕЧЕНИЕ

— Повторите, пожалуйста, сеньор Лейте, я не расслышал. Вы сказали, что...

Теперь, когда перед глазами не торчит проклятый соглядатай, когда можно не следить за выражением лица, полковник дал себе волю: он взволнованно слушает собеседника и кивает в знак согласия с мудрыми установками многоопытного академика.

— Сейчас, друг мой, настало время атак, а не соблюдения формальностей. Самое главное — не упустить момент. Атаковать, занять выгодную позицию, не дать другим упредить себя! Кандидатов будет много, прошу учесть... — Разумеется, академик разглагольствует для того, чтобы подчеркнуть значение своих советов и своего участия в этой бескровной, но ожесточенной битве, чтобы выделить свою роль: выступить как можно раньше —

вот залог и основа блестящей победы, вот наилучшее тактическое решение.— *Alea jacta est!*¹

Полковник покорно повторяет:

— *Alea jacta est!* Я всецело доверяю вам и признаю вашу правоту, друг мой. Я поступлю так, как вы мне советуете, и полностью предаюсь вашему опыту и знаниям.

Только того — если не считать избрания полковника в члены Академии — и надо было сеньору Лизандро. Впрочем, задача не из самых сложных. Нет претендента, который мог бы сравниться с полковником Перейрой: он занимает важный пост, он может рассчитывать на поддержку самых могущественных людей государства, он вхож на самый верх... Конечно, найдутся такие, кто будет возражать, брезгливо морщиться, говоря о политических симпатиях кандидата в академики, но дальше кукиша в кармане дело не пойдет — поворчат-поворчат да и проглотят пилюлю, проголосуют за полковника. Выборы пройдут как по маслу. Итак, Лейте обеспечит избрание, наденет на полковника шитый золотом мундир, произнесет речь о его заслугах на церемонии приема. А если полковник попросит произнести эту речь кого-нибудь другого, то уж это будет с его стороны беспримерным свинством... Зал будет полон генералами, министрами, может быть, явится сам Глава Государства... Дипломатический корпус, великосветские дамы... изысканные наряды... декольте... брильянты, кружева, ордена, блеск и роскошь (не говоря уж о фотографиях в прессе), а потом...

Ах, а потом придет время заслуженной награды: при первой же возможности Лейте станет членом Верховного федерального суда, ибо, как известно, долг платежом красен, рука руку моет. Получаешь, полковник, Академию, давай сюда Верховный суд.

Идеи и предложения так и сыплются из него, пот течет по лицу «гносного стряпчего» — так называют его за глаза коллеги. Медовый голос, завораживающая убедительность — намечаются перспективы, расширяются горизонты. Полковник слушает как зачарованный.

— Разумеется. Ваша кандидатура будет поддержана всеми вооруженными силами. Всеми! Министр? Министр сделает все, что будет нужно. Что? Да-да, вы совершеп-

¹ Жребий брошен! (лат.) — слова, приписываемые Юлию Цезарю.

по правы: вашу кандидатуру выдвигает армия — ведь до сих пор она никем не представлена в Академии. Согласитесь, что это абсурд. Вы очень правильно выразились: это послужит признанием заслуг нашей армии.

Академик говорит и говорит, приводя неотразимые аргументы из истории Академии. Какой глубокий ум! Полковник чувствует себя уже избранным.

— Именно так, сеньор Лизандро, именно так. Об этом я не подумал...

— Напрасно, напрасно, мой благородный друг. Это место в Академии принадлежит вооруженным силам. Принадлежит и принадлежало искони. Ваше избрание восстановит славный обычай, нарушенный Антонио Бруно.

Слова эти ласкают слух полковника. Он весел и возбужден. Лизандро Лейте кончает свой монолог решительным и оптимистическим предсказанием.

— Вы в самом деле уверены, сеньор Лизандро, что других претендентов не будет? Вы думаете, это возможно?

«Полковник, не будьте наивны. Кто в Бразилии, учитывая обстановку в стране и в мире, осмелится состязаться со всемогущим начальником службы безопасности? Есть предел всякому безумству», — думает Лизандро Лейте, вытирая пот со лба и улыбаясь.

— Я со своей стороны сделаю все возможное и невозможное для того, чтобы вы, мой благородный друг, остались единственным кандидатом. Единственный кандидат, избранный единогласно, — вот как будет!

СОВЕРШЕННО НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

Есть ли в душе человеческой чувство сильнее тщеславия? Нет, отвечал Афранио Портела, и в ходе выборов мнение его подтвердилось.

Для того чтобы стать одним из сорока «бессмертных», чтобы надеть на себя расшитый золотыми пальмовыми ветвями мундир, положить руку на эфес шпаги, а под мышку сунуть треуголку, чтобы покоить тощее или мясистое — у кого как — седалище на бархате академических кресел, самые могущественные люди, самые славные наши сограждане пойдут на все: грубиян станет тихоней, нахал — подлизой, скупец превратится в трапжир, разбрасывающего деньги на букеты и подарки. Не

поверишь, пока не увидишь собственными глазами. Обо всем этом можно пофилософствовать всласть и рассказать немало забавного, но у нас, к сожалению, нет ни времени, ни места...

Вот, к примеру, полковник Агналдо Сампайо Перейра. Этот человек, повелевающий армией и полицией, наделенный беспредельной властью, человек, перед которым трепещут министры, все-таки не считает, что исполнил свое предназначение: ему не хватает членства в Академии. Еще не исполнилась заветная мечта, сопровождающая полковника всю жизнь с того дня, когда он выпустил первую (и охаянную) книгу — сборник стихов.

Однажды он излил душу своему деятельному земляку Лизандро Лейте. «Нужно выждать удобный момент», — сказал тот и пустился в рассуждения о трудностях, связанных с избранием. Время от времени в беседе они затрагивали тему, так волновавшую полковника. «Зреет, зреет», — говорил академик, имея в виду благоприятную ситуацию. Шесть месяцев назад он сообщил: «Все в порядке, лучше времени не найти, у нас на руках все козыри. Не хватает только вакансии». Полковник и Лейте принялись подводить баланс возраста и состояния здоровья академиков, и сальдо оказалось в их пользу: было ясно, что некоторым «бессмертным» уже недолго оставаться таковыми. Например, великий Персио Мезес заболел раком.

Членство в Академии! Окаменевшая химера! Свидетельство того, что даже непреклонный арийский военачальник, ведущий борьбу за мировое господство, способен мечтать так же пылко, как какой-нибудь ничтожный и неблагонадежный еврей-журналист.

ВЕСЕЛАЯ ПАНИХИДА

Хор женских голосов оживленно звенит у гроба. Ах, Антонио Бруно, ты неисправим! Во что превратил ты важную печаль, суровую сдержанность, молчаливую скорбь, приличествующую панихиде?

Хотя академики, выйдя из автомобилей, и постарались принять надлежащий вид, но кто сможет сохранить сдержанность и серьезность, проходя вдоль фронта очаровательных дам, целуя им ручки, двусмысленно пошучивая, выслушивая и рассказывая вольные анекдоты, припоминая пылкие строки покойного поэта?!

Разве это бдение над покойником? Разумеется, усопший в гробу, установленном в зале Академии, был налицо, но красавец Бруно, которому даже академический мундир не прибавил солидности, плохо справлялся со своей скорбной ролью и был главным виновником того, что на бдении у его гроба так остро чувствовался недостаток траурной торжественности. Да-да, во всем был виноват сам Бруно: это столпотворение было провидчески воспето им в «Завещании бродяги трубадура Антонио Бруно, трижды умиравшего от избытка любви» — в этих давних, но сегодня весьма актуальных стихах поэт издевался над смертью и предлагал устроить праздник вместо панихиды.

Именно так и произошло. На бдении лились слезы и звучал смех, но смех, как он и просил, заглушал всхлипывания. «Ваш хрустальный хохоток я хочу услышать...» — говорил поэт — и у гроба стояли шалые, сумасбродные красавицы. «...и почувствовать опять жар грудей упругих...» — желал Бруно — и дамы явились на траурную церемонию в нарядных открытых платьях. Присутствующие дамы знали эту поэму, некоторые даже помнили ее наизусть — всю, каждую строфу. «Жду вас всех — тебя, что так мучила поэта, и тебя, что мельком мне улыбнулась где-то...» Он ждал их всех, и все пришли, и в рыданиях слышался порочный отзвук стонов любви — «нежный лепет предрассветный...». Все было так, как завещал Бруно.

Зал был полон: члены Академии, писатели, кое-кто из правительства, актеры, дипломаты, художники, никому не известные простые люди — его читатели. Академик Лизандро Лейте сфотографировался у изголовья гроба, произнес несколько весьма лаконичных фраз в микрофон радиорепортера и, увлекая за собой президента, исчез в дверях приемной. Присутствующие зашумукались.

Женская прелесть уничтожила притворную скорбь, смысла с лиц фальшивую значительность. Неприкосновенными остались только искренние чувства: любовь красавиц, строем проходивших мимо гроба, уважение коллег, среди которых были его верные друзья, восхищение читателей — многочисленных и в большинстве своем молодых. Даже запах цветов, увядших и сломанных — неизбежный на каждой панихиде предвестник скорого распада и тлена, — заглушен был пьянящим ароматом тонких духов.

Творчество Антонио Бруно критики удостаивали самыми разнообразными определениями. Но один титул сопровождал поэта всю жизнь — с выхода его первой книги, — повторялся газетами и читающей публикой и был ему дорог. Титул этот — «поэт влюбленных». «Все влюбленные знают Бруно, каждый из нас в восемнадцать лет читает его стихи, а женщины не расстаются с ними до самой смерти», — писал один критик в пространной и сочувственной статье, посвященной выходу «Избранных стихотворений». Литературоведы, не склонные высоко ставить читательское признание, говорили, что его стихи лишены глубины, что в них слишком много от анекдота, но читателей пленяла подлинная и в то же время волшебю преобразенная действительность: ничем не примечательные черты повседневности, заурядные на первый взгляд события, предметы и краски — кривой переулочек и синее небо, кот на подоконнике и цветок кактуса — обретали под пером Бруно новое измерение, окутывались дыханием тайны.

Улица, утренняя роса, облака, сумерки, незнающая рассвета ночь, пейзажи, предметы, чувства — все в этих стихах становилось неожиданным и радостным открытием. В них были жаждущие уста и прерывистое дыхание страсти, бесстыдная прелесть нагих тел, томление, яростное желание и нежность любви. Поэзия Бруно была пронизана ощущением женщины — и Бразилии: он воспевал деревья и птиц, зверей и старинные обычаи своей родины. Любовь была главной темой его творчества, и для ненависти в сердце поэта места не оставалось.

Антонио Бруно, чиновник мипистерства юстиции и журналист, никогда не был богат, за всю жизнь ничего не скопил, ибо тратил все, что получал, и даже больше, чем получал. В неполные девятнадцать лет он вместе с товарищами по факультету впервые попал на каникулах в Европу. Ему показалось нелепым пробыть в Париже неделю, и потому он остался там на три года. Чтобы заставить его вернуться, отец перестал высылать ему деньги, но жизнерадостный Бруно, жадный до всех тех удовольствий, которые так щедро предлагает Париж, выдержал это испытание. Друзьям он рассказывал по секрету, что, помимо прочих занятий, зарабатывал себе на жизнь почтенным и выгодным ремеслом жиголо: был платным

партнером по танцам — и не только по танцам — престарелых миллионерш, «восхитительных старушек». Завсегдатай литературных кафе и книжных развалов на набережной Сены, он в совершенстве научился разбираться в букетах вин и сортах сыра, а вернувшись в Бразилию, привез в чемодане несколько экземпляров своей первой книги, «Танцор и цветок», которая имела оглушительный успех.

При первой же возможности Бруно вернулся в Париж. Когда ему было уже за сорок, он снова провел там два года — благодаря тому, что тогдашний министр иностранных дел пристроил его в посольство, где он получил какую-то должность с весьма неопределенным кругом обязанностей. Опыание Парижем не проходило. Бруно считал этот несравненный город высочайшим достижением человеческого гения, колыбелью гуманизма, красоты, свободы. Вскоре он посвятил Парижу целый сборник стихов, озаглавленный «Париж-любовь-Париж», и предпослал ему в качестве эпитафии строку из стихотворения Жака Превера, с которым когда-то свел знакомство и подружился: «*Tant pis pour ceux qui n'aiment pas ni les chiens, ni la boue*»¹.

Один просвещенный критик назвал Бруно «бразильским Превером» — это суждение было довольно надуманным, потому что в отличие от французского поэта наш герой был начисто лишен интереса к социальной стороне действительности и к политике. Бруно политикой не интересовался вовсе, и даже когда губернатор его штата, желая использовать в своих целях известность поэта, предложил ему место в палате депутатов, отказался. Он ничем не желал себя связывать. Диктатура Нового государства Бруно не нравилась, но своего отношения к ней он никак не высказывал. В то время он готовил свою «тронную» речь для вступления в Академию. Бруно был избран за несколько месяцев до событий 1937 года. Наголову разгромив своих соперников — красноречивого парламентского депутата и знаменитого врача, грешившего литературой, — он занял место, освободившееся после смерти одного старого генерала, пламенного автора сухих и серьезных исследований о наречиях и обычаях бразильских индейцев.

Интеллигенты левого толка не раз упрекали Антонио Бруно за то, что в нашем несправедливом и тревожном,

¹ Тем хуже для тех, кто не любит ни собак, ни грязи (фр.).

надвое расколотом мире он умудряется жить без четких политических убеждений, тогда как другие поэты поплавились за них изгнанием или жизнью.

ПОЭТ ПОКИДАЕТ СВОЮ ХРУСТАЛЬНУЮ БАШНЮ И
ГИБНЕТ В ОККУПИРОВАННОМ ПАРИЖЕ

Но когда нацисты начали войну, Бруно покинул свой кокон. Он чувствовал — его миру, его цивилизации, его свободе, всему, что он любит, угрожает опасность. «Я покинул мою хрустальную башню, потому что хрусталь сделался мутным и тусклым, и сквозь него я ничего не видел» — такую самокритичную речь произнес он в Академии. С этой минуты поэт со все возрастающей страстностью следил за развитием событий, всей душой сочувствуя борьбе с нацистами.

Ни одной минуты не сомневался он в победе союзных войск. Даже в тот день, когда немцы вступили на территорию Франции, он продолжал утверждать, что французские солдаты непобедимы. Капитуляция поразила его как гром среди ясного неба. Все рухнуло. Бруно увидел, что его прежний мир лежит в руинах. Надежда сменилась отчаянием. Бруно полностью — и уже навсегда — утратил уверенность в себе и вкус к жизни. После падения Парижа он свалился с инфарктом.

Он создал свою поэму еще на больничной койке, впервые в жизни изменив привычным любовным стихам: в строфах его новой поэмы громыхало железо и лилась кровь, осмеивался, поносился и проклинал Гитлер вместе со своими приспешниками. Антонио Бруно, раздавленный унижением, которое выпало на долю его любимого города, родины цивилизации и гуманизма, погибших под немецким сапогом, нашел в себе силы восстать с одра болезни, побороть безнадежность и отвращение к жизни, провозгласив пришествие скорого и неизбежного часа освобождения, — часа, когда Париж, радость и любовь воскреснут из небытия.

«Песнь любви покоренному городу» оканчивалась пламенным призывом к борьбе и победе. Невозможно представить, что эти строки создал человек, изверившийся в жизни.

Нужно добавить, что финал поэмы был полностью переделан Бруно. В первом варианте герой прощался с Парижем и кончал жизнь самоубийством, потому что не мог жить в этом чудовищном мире. Но когда Антонио

Бруно увидел слезы на глазах у той, кто тайно, пренебрегая добрым именем и безопасностью, приходила навещать его, озаряла окружавшую его тьму, отгоняла прочь страдание и смерть, он понял, что готов сделать для этой женщины все, притворился, что разделяет ее воинственную и непреклонную уверенность в победе, и перечеркнул жестокие строки, проникнутые ощущением безнадежного разочарования. На их место пришли другие слова — слова сопротивления и победы. Да, эти свободно льющиеся, наполненные горячим чувством, героические строки создал Антонио Бруно, но вдохновляла поэта его хрупкая и бесстрашная гостья, словно именно она впервые произнесла их своим нежным голосом с заморским акцентом. Бруно доверил ей экземпляр поэмы, и она тайно сделала несколько первых машинописных копий.

Поэму собирались опубликовать в литературном приложении к одной из крупных газет Рио-де-Жанейро, но цензура запретила ее как «оскорбительную по отношению к главе дружественного государства». Несмотря на это, поэма получила широчайшее распространение — ее передавали из рук в руки, печатали на mimeографе, разбрасывали как листовки. В кратчайшие сроки поэма стала известна в самых отдаленных уголках страны.

Но даже успех «Песни любви покоренному городу» не смог поднять дух ее создателя. Строки поэмы, которые вселяли надежду в сердца тысяч бразильцев, в его усталом сердце отзвука не находили. Когда редактор «Перспективы» — о существовании этого журнальчика Бруно до той поры даже не подозревал — попросил разрешения напечатать это проклятое властями творение «завербованного» поэта, тот только пожал плечами:

— Публикуйте, если хотите и если вам разрешат. Что могут стихи против пушек и зверств? В мире нет больше места для поэзии. Нет и не будет.

Через десять дней, когда солнечный утренний свет озарил потерянную навеки парижскую мансарду, поэт Антонио Бруно погиб.

ВЗДОХ, РОЗА, ПОЦЕЛУЙ, ДАМА В ЧЕРНОМ, ПОЛКОВНИК И ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ СМЕРТЬ АНТОНИО БРУНО

— Жалко, музыки нет, а то бы потанцевали... — чуть заметно улыбнувшись, сказал местре Аффранио.

Его собеседница — дама со следами былой красоты на увядающем лице — вздохнула, припомнив бал-маскарад.

Знаменитый и ядовитый Эвандро Нунес дос Сантос добавил хриплым голосом старого курильщика:

— Я нисколько не удивлюсь, если Антонио сейчас восстанет с одра и закажет шампанского для всех. Такие штуки он частенько проделывал в Париже.

Оба старых писателя были взволнованны. Вокруг гроба, в котором суждено навеки упокоиться поэту Антонио Бруно вместе со своей славой неутраченного прожигателя жизни и неотразимого соблазнителя, вихрем вились женщины. Сколько же их набежало?! Белокурые, черноволосые, а вон одна рыжая и с веснушками... Элегантные сорокалетние дамы и едва расцветшие девушки, девочки в форменных школьных платьицах, записывавшие стихи покойного в тетрадки по математике, великая актриса и швея с розой в руке.

Робко приблизившись, она положила на золотое шитье академического мундира розу — медную розу, медовую розу, юную розу-бутон. Глаза великой артистки увлажнились, она нагнулась и поцеловала покойника в холодный лоб, потом, прощаясь, долгим взглядом посмотрела на романтический профиль — «романтический профиль бедуина», как писал сам Бруно, выводя свою родословную от арабских шейхов. В его жилах действительно текла кровь мавров. Его дед по матери, Фуад Малуф, в один прекрасный день отрекся от ножниц и сантиметра и стал сочинять стихи по-арабски. Это от воспоминаний о прошлом, о другом прощании стала так бурно вздыматься грудь дивы, и актриса отошла от гроба, охваченная страстью — той давней, первой, той единственной, быть может, страстью, которая навсегда оставила свой след в ее жизни, столь богатой любовными приключениями.

Вокруг двоих друзей столпились люди. Эвандро Нунес дос Сантос достал платок, протер стекла пенсне, вытер воспаленные глаза. Хотя истории, которые он рассказывал, произошли сравнительно недавно, всего несколько лет назад, воспринимались они как мифы какой-то исчезнувшей цивилизации:

— Жалованье в посольстве он получал ничтожное: ведь Бруно даже не состоял в штате, но все относились к нему, как если бы он был послом. В то время я провел в Париже три месяца, и мы виделись с Бруно ежедневно. Не знаю, любил ли кто-нибудь этот город сильнее. Париж принадлежал ему. Каким удивительным другом был этот человек!..

Великая актриса, еще не оправившись от волнения, присоединилась к их кружку.

— Моей сценической карьерой я обязана ему. Это он вывел меня на сцену... Не знаю человека благородней...— Она была обязана Бруно значительно большим и с радостью, если бы только было можно, рассказала во всех подробностях, чем именно.

Афранио подтвердил:

— Он всегда был верным другом...— Улыбка погасла на его дрожащих губах.— Его убила война, его погубил Гитлер. Не далее как в четверг он получил письмо от своих французских друзей — мужа и жены. Они были безутешны: их единственного сына, двадцатилетнего мальчика, арестовали как заложника, а потом расстреляли... Бруно сказал мне тогда: «Больше не могу...»

Он умолк и задумался над тем, какой горькой вдруг сделалась жизнь, как сузились ее горизонты. Глаза его обежали присутствующих и вдруг заметили... Да, вопреки его советам она все-таки явилась на бдение и сейчас шла к гробу — вся в черном, под траурной вуалью, наполовину скрывавшей ее лицо... Никогда еще не была эта женщина так хороша. Стараясь не привлекать к себе внимания, она приблизилась к гробу. Афранио наблюдал за ней. Выпрямившись, судорожно прижав к груди длинные белые пальцы, она постояла у изголовья и скрылась за спасительный занавес балдахина. «Это настоящая богиня, друг мой Афранио, небожительница, я ее не стою... Кто я рядом с нею? Жалкий фигляр...»

Взмокший от пота, взволнованный академик Лизандро Лейте появился в дверях, пересек зал, выглянул на улицу. Президент Академии Эрмано де Кармо подошел к кружку Афранио и присоединился к восхвалениям покойного. И вдруг, перекрывая гул разговоров, отчетливо и ясно раздался звучный, гибкий голос великой актрисы, негромко читавшей стихи Бруно, быть может, ей и посвященные. Лизандро Лейте прислушался было к чтению, но вдруг на полуслове нырнул в дверь.

Он издали узпал этот твердый, размеренный, строевой шаг — эту поступь не спутаешь ни с какой другой, штатские так не ходят. Полковник Агналдо Сампайо Перейра, весь траурно-парадный, промаршировал к возвышению, звонко щелкнул каблуками, стал навытяжку перед мертвым академиком, отдал ему честь (он несколько затянул эту процедуру, чтобы репортеры успели его сфотографировать).

— Ах ты черт...— простонал Афранио Портела.

Внезапно воцарилось молчание — ледяное молчание. Замолк голос актрисы, оборвалась строчка стиха. Полковник, вытянувшись в струнку, простоял так целую минуту, показавшуюся всем бесконечной, потом сделал полуоборот налево, поздоровался с президентом, сказал академикам что-то насчет «невосполнимой потери для нашей словесности», поклонился кое-кому из важных лиц. Рядом с ним тотчас оказался его торжествующий покровитель, знаменитый юрист Лизандро Лейте.

Президент наконец заметил настойчивые знаки, которые подавал ему Лейте, и скрипя сердце пригласил полковника подняться на второй этаж. Они направились к лифту. Лейте удалось увлечь за собой двоих почтенных академиков. Остальные колебались, не зная, идти им или нет.

— У нас появился претендент,— сказал один из «бесмертных».

— И еще какой! — добавил другой.

— Ах ты черт...— повторил Афранио.

Эвандро Нунес дос Сантос снова надел пенсне.

— Это невозможно.— В голосе его слышался не только протест, но и ярость.

Дама в черном покинула свое убежище за балдахинном и, потеряв всякое представление о благоразумии, направилась к друзьям. Она была растерянна и разгневана: что означает приход этого господина на бдение? Может быть, у него есть какие-нибудь виды?! Та оживленная, почти праздничная атмосфера, о которой писал Антонио Бруно в своем завещании, исчезла. Искренняя боль и непритворная скорбь сменились фальшивым соболезнованием, маской благопристойного траура. Затих оживленный говор, оборвался смех, смолкли звонкие голоса, не слышно стало прорвавшегося вдруг рыдания, произнесенной шепотом строчки любовного стихотворения. Сумасбродный фиговьяр исчез из гроба — его место занял готовый к погребению труп академика. Настало время отрепетированных фраз, торжественных речей, нахмуренных лиц, погребального запаха свечей и венков. Пришел час холодной тишины. Церемониал панихиды наконец-то вступил в свои права.

БИТВА ПРИ МАЛОМ ТРИАНОНЕ
УЖИН С ЛЕГКИМ ВИНОГРАДНЫМ ВИНОМ

В выборе блюд полковник всецело положился на знаменитого юриста и литератора Лизандро Лейте — тот был признанным гурманом, ресторанным завсегдатаем, любил поесть вкусно и обильно, особенно если расплачиваться по счету предстояло не ему, — однако вино заказал сам, красное вино из Рио-Гранде-до-Сул.

— Это просто чудо, живой виноград.

По причинам идеологическим и географическим Лизандро тяготел к другим сортам: он надеялся осушить несколько бутылок рейнвейна — благородного напитка воинственных германцев, — но пришлось смириться и пригубить кисловатого чуда.

— За успех ваших начинаний!

— Спасибо. Как вам вино?

— Нектар! («Что за гадость! Неперебродивший сок!»)

Казалось, в штатском полковник стал ниже ростом и утратил толику своей значительности, однако Лизандро Лейте знал, что видимость обманчива: власть, которой обладает его сотрапезник, не зависит от того, в каком он костюме. Стоит лишь взглянуть на соседний столик, за которым занимают выгодную стратегическую позицию дюжие молодцы — тела полковника хранители. И несколько часов назад, наблюдая на кладбищенских аллеях за реакцией академиков на известие о выдвижении кандидатуры полковника, Лейте мог убедиться, как велика его власть. Ни один из «бессмертных» не осмелился прямо возразить против намерения Перейры баллотироваться, хотя многие из них не смогли скрыть своего отвращения. Поморщились, а все же скушали, либералы проклятые! Необходимо будет принять меры, чтобы при голосовании не оказалось воздержавшихся — чистые бюллетени омрачат радость победы.

— Вы — единственный претендент, теперь это уже ясно. Ну а что касается единогласного избрания, то я предприиму необходимые шаги: уговорю самых артачливых, всех этих Би-би-ситиков.

— Кого?

— Так мы называем тех, кто не отлипает от приемника, слушая передачи Би-би-си из Лондона. Не стану скрывать, что наша Академия сильно заражена проанг-

льскими настроениями. Но ваш вес, дорогой полковник, и мой опыт...

За едой он сообщает о первых итогах — и итоги эти обнадеживают: полковник даже отодвинул прибор, чтобы в полной мере насладиться похвалами в свой адрес и оптимистичными прогнозами, которых послушался Лейте на кладбище.

— А президент? Мне показалось сегодня, что он чего-то не договаривает...

— Поймите, друг мой, что президент Академии не имеет права кричать на всех углах, кому он отдает предпочтение. Положение, как известно, обязывает. Перед вашим приходом я с ним разговаривал, и довольно долго. «Да,— сказал он, когда я сообщил ему о вашем намерении,— Академии нужен представитель вооруженных сил». Раз он пригласил вас на второй этаж вместе с академиками, значит, ваша кандидатура официально принята и находится под покровительством президента. Скажите мне за это спасибо. Не знаю, заметили ли вы, что на бдении было еще не меньше трех возможных претендентов, но ни один не удостоился такой чести. Даже Раул Лимейра...

— Ректор университета?

— Вот именно. Его уже давно прочат в академики. Серьезных претендентов на место в Академии хватает... Впрочем, это не ваша печаль — предоставьте мне заниматься Лимейрой: я его заверю, что следующее свободное место будет принадлежать ему. Бедняга Персио долго не протянет... — он понизил голос, — рак легких. — Лизандро принялся перечислять возможные вакансии, и в этом бюллетене о состоянии здоровья академиков было нечто могильное. Обзор завершился следующим сообщением: — Даже Афранио Портела согласился со мной, что ваши позиции неуязвимы, а ведь он известен как непримиримый враг режима и, между нами говоря, терпеть вас не может.

— Чем я отплачу вам, сеньор Лейте, за все ваши хлопоты? Поверьте, неблагодарность не входит в число моих пороков, а чувство нежной дружбы, которое я к вам питаю, послужит залогом... — и так далее.

Поскольку на «этом великолепном и изысканном ужине» (выражение принадлежит юристу, а он в таких делах разбирается) зашла речь о дружбе, то кандидат в Академию и его покровитель сменили церемонное «вы» на братское «ты», оставили чины и титулы и стали

называть друг друга по имени. Когда же речь зашла о грядущей благодарности полковника, академик еще раз заявил, что действует совершенно бескорыстно, движимый чистыми чувствами искреннего восхищения литературным творчеством Перейры, полного понимания и одобрения его политической деятельности.

Академик прекрасно знал, что возделенное место в Высшем федеральном суде он сможет занять лишь в середине будущего года — такова воля министра юстиции Пайвы, который, впрочем, — член Академии и испытанный друг. Это произойдет примерно в то же время, когда он, Лейте, на торжественной церемонии представит «бессмертным» нового собрата и обратится к нему с похвальным словом. Потому сеньор Лизандро и не торопился.

И на панихиде, и во время похорон он чувствовал, что упоминание имени полковника вызывает у многих глухую злобу, тщательно скрываемое недовольство: так что выборы потребуют больше хлопот, чем предполагалось вначале. Главная задача — не допустить выдвижения других кандидатур. Чтобы заслужить благодарность полковника — именно ту благодарность, какая требуется Лейте, — надо, чтобы он прошел в Академию «на ура», а не с ничтожным перевесом в сколько-то там голосов.

— В следующий четверг состоится торжественное заседание, посвященное памяти Бруно, мы будем распинаться о его заслугах, а потом президент объявит о вакансии. Уже завтра ты должен будешь прислать письмо, в котором официально уведомишь президента о намерении баллотироваться. Я хочу, милый Агналдо, чтобы твое избрание прошло триумфально.

Друзья еще раз сдвинули бокалы с красным вином из Рио-Гранде-до-Сул.

— Живой виноград!

— Нектар!

За соседним столиком восстанавливали силы ражие молодцы — личная охрана полковника. Их обед будет оплачен из сумм, отпущенных на борьбу с коммунизмом. Лизандро отводит взгляд — даже ему зрелище этих мускулистых обжор не доставляет удовольствия. Позже надо будет тактично намекнуть полковнику, чтобы он приказал своим телохранителям вести себя чуточку потише... Пусть оставляет их у подъезда, когда будет приезжать с визитом к академикам или в Малый Трианон на заседания. А то вчера на панихиде эти головорезы

при входе в лифт чуть не задавили президента, а один из них так отпихнул посла Франселино Алмейду, старейшего члена Академии, единственного ныне здравствующего из сорока основателей, хилую, высохшую мумию, что тот после этого слег в постель. Ну а когда он оправится, подумал Лизандро Лейте, то, разумеется, проголодает за полковника.

ДЕДУШКА И ВНУКИ

Эвандро Нунес дос Сантос, опираясь на трость, пересек обсаженную фруктовыми деревьями аллею маленького парка и присел на скамейку под манговым деревом. Высоко над холмом Санта-Терезы горели в бескрайнем ясном небе звезды, но и кроткая красота ночи не могла вселить мир в душу старого писателя. Не разогнали его уныния и внуки.

— Сегодня я впервые в жизни пожалел, что так долго живу на свете.

«Он сильно сдал за это время: просто-напросто хромоногий старичок», — встревоженно думает Педро, отходя поглубже в тень. Изабел берет руку деда и подносит ее к губам, потом садится на траву у его ног, кладет голову на острые стариковские колени, пытается улыбнуться. «Что тут говорить?» Педро из темноты смотрит на сутуленные плечи, опущенную седую голову; печальные слова деда болью отзываются в его сердце: юноша привык к тому, что Эвандро крепок, как утес, и стареть не желает. Внуки понимают, почему так печален их дед: поэт Антонио Бруно был дорог и им. Во время похорон Изабел, его крестница, схватилась за руку брата, чтобы не упасть.

Педро помнит тот день (ему тогда было семь лет, а сестре — пять), когда дед привез их попрощаться с родителями, нелепо погибшими в автомобильной катастрофе. Увидев в то утро тела единственного сына и любимой невестки, Анита, жена Эвандро («жена, сестра, мать и любовница»), навсегда разучилась улыбаться и протянула еще несколько лет только потому, что муж неустанно ей повторял: «Мы должны вырастить детей». И она их вырастила. Педро было шестнадцать, Изабел — четырнадцать, когда она, словно почувствовав, что внуки уже могут обойтись без нее, что трудное ее дело сделано, сдалась под натиском жестокой болезни. «Знаешь,

миленький, я скоро умру», — сказала Анита своему спутнику жизни.

Эвандро знал, что жена неизлечимо больна, что дни ее сочтены, но все-таки просил ее: «Не уходи раньше меня, я не хочу быть никому не нужным стариком...» Что на свете печальней бездомного пса, мыкающегося по улицам в ожидании ласкового слова или приветливого жеста? А что тогда сказать о неприкаянном старике? Анита напоминала ему о внуках, которые уже не нуждались в ней, но еще очень и очень зависели от деда. «Ты никогда не будешь одинок: у тебя есть внуки, у тебя есть друзья».

Анита была права: Эвандро не стал печальным и бесполезным старцем, одряхлевшим бесхозяйным псом. У него были внуки, были друзья, была работа. Страницу за страницей исписывал он своим мелким почерком (пишущих машинок Эвандро не признавал), изучая и анализируя становление и развитие бразильской нации. За эти годы он выпустил в свет три книги — они венчали его многолетний труд, труд исключительного значения. Эвандро Нунес дос Сантос вдребезги разбивал солидные концепции, уничтожал предвзятость и предрассудки, выдвигая смелые идеи, потрясая основы социологии и исторической науки. Он не был приверженцем ни одной идеологии, оставаясь либералом и вольнодумцем с каким-то анархическим взглядом на мир. Грубоватый и рассудительный старик обладал неотразимым даром убеждения и умел повелевать. Им восхищались, его любили, а кто не восхищался и не любил, тот боялся. «Неизвестно, какой фортель он выкинет через минуту», — говорили про него.

В тишине ночного сада, под звездным небом, спустя несколько часов после похорон поэта Антонио Бруно внуки старого Эвандро пытаются развеселить и ободрить деда.

— Ох, не понравился бы ты сейчас Бруно... — с беспокойством замечает Педро.

— Правда, дедушка, миленький... — После смерти Аниты Изабел тоже стала называть его «миленький», словно получила от бабушки в наследство.

— Да я не из-за Бруно... К его смерти я готовил себя еще с того дня, когда с ним случился первый инфаркт. Я из-за другого не нахожу себе места...

— Из-за чего же?

— Вы ведь знаете, как его мучила эта война, как его ужасал нацизм. Он и умер-то, когда потерял надежду... Ну так вот, известно вам, кто станет его преемником в Академии?

— Уже появился кандидат?

— Полковник Сампайо Перейра, нацист из нацистов!

— Кто? Полковник Перейра? Вождь «пятой колонны»? Какой ужас! Этого не может быть!

— Он займет место Бруно. Зачем я дожил до такого позора?!

По небу покати́лась звезда. Раздался голос Изабел:

— Мало ли чего хочет полковник Перейра... Ты ведь не согласишься на это? Ведь не согласишься, дедушка, миленький? Ты не допустишь, чтобы так обошлись с моим крестным?

Педро улыбнулся. На душе у него стало легче.

— Конечно, дед не допустит. Что-нибудь придумает, но не допустит.

Нет, Эвандро Нунес дос Сантос не стал неприкаянным одиноким стариком, никому не нужной развалиной, ожидающей смерти. Он поднял голову, когда Изабел повторила:

— Нужно что-то сделать, миленький!

«Ничего мы не можем сделать: этот человек — один из тех, кто нами правит, — сказал Эвандро на кладбище президент Академии, — разве осмелится кто-нибудь стать у него на пути, вступить с ним в бой?» С похорон старый Эвандро вернулся разбитым и несчастным.

— Ты прежде никогда не уклонялся от драки, дед, — услышал он звонкий голос Педро.

Да, он не уклонялся от драк — он сам их затевал. Ничего нельзя сделать? Не найдется человека, который станет у полковника на пути? Ах, как вы ошибаетесь, сеньор президент: есть кому выступить против гнусной кандидатуры и вступить за поруганную честь Академии, защитить оскверненную память Бруно! Забыв про свою трость, старик поднялся — высокий, худой, величественный.

— Вы правы, дети мои! Нужно что-то сделать. Пойду позвоню Афранио.

Изабел вскочила на ноги, чтобы помочь ему, но дед отстранил ее. Педро смотрел, как он идет меж темных деревьев. Вот тебе и хромой старичок... Внук подобрал его отброшенную трость.

...Хрустальные люстры, фарфоровые безделушки, фаянсовые сервизы, опаловые чаши, картины мастеров Школы изящных искусств, развешанные по стенам, — все в этой богато убранной комнате свидетельствовало об изысканном и несколько старомодном вкусе ее хозяина. Ужин был накрыт при свечах. Горничная унесла тарелки: Афранио Портела, молчаливый, уставившийся неподвижным взглядом в окно (по стеклам скользили отблески фар пронесившихся по Прайа-до-Фламенго машин), едва притронулся к еде. Встревоженная Розаринья — она же дона Мария до Розарио Синтра де Магальяэнс Портела — хотела предложить ему какое-нибудь лекарство, но не решалась. За сорок лет их супружества она редко видела мужа таким подавленным и угрюмым.

Антонио Бруно был им больше чем другом. Когда-то грезящий о литературе юнец приехал в Рио поступать на юридический факультет и в один прекрасный день без зова явился к своему земляку — Афранио к тому времени уже был известным писателем, — чтобы показать ему свои стихи и рассказы. «Стихи хороши, рассказы отвратительны». Такой приговор произнес Афранио, покуда дона Розаринья ставила на стол еще один прибор. С того дня на целых тридцать лет появилось у Бруно свое постоянное место за этим столом. Бездетная чета Портела полюбила дерзкого школяра-поэта как родного сына. Дона Розаринья не была на панихиде, не пошла и на погребение... Уж лучше закрыть глаза, представить, что Бруно сидит за столом, говорит о Париже, рассказывает, что опять влюбился, — на этот раз окончательно и бесповоротно...

— Ты бы выпил, Афранио...

— ...коньяку. Это как раз то, что мне нужно. Распорядись, пожалуйста.

Афранио начал неторопливо и подробно повествовать о панихиде и похоронах. По общему мнению, не было в Рио-де-Жанейро более увлекательного рассказчика. «Если бы он писал так же искусно и изящно, как говорит, то стал бы первым прозаиком мира», — съязвил один острый на язык собрат по перу. Вот и неправда: творчество Афранио Портелы, хоть и было в последние годы немного оттеснено на задний план шумными манифестами модернистов и предшественниками «поколения тридцатых», вызы-

вало восхищение критиков, которые видели в авторе «Аделии» смелого и проникательного летописца столичного общества двадцатых годов. На унылом фоне литературы того времени он выделялся острым психологизмом, великолепным стилем, увлекательно повествуя о нравах так называемой элиты. Первым в Бразилии он применил психоанализ, описывая чувства своих героев, вернее сказать, героинь, мечущихся между влечением и предрассудком.

Только в одной книге — в первом романе — описал он прииски и рудники своей родины. Противоборство могучих и естественных чувств, первобытная любовь, дикая девственная природа — все это так и осталось островком в море его элегантных и легковесных «городских» романов, но небольшой по объему том оказался главным в его литературной судьбе. Бесстыдная и невинная Малукинья, едва прикрытая лохмотьями, — героиня его первого романа — все больше завладевала сердцами читателей, покуда утонченные, боязливые, замученные комплексами персонажи девяти других его книг бессильно барахтались в альковах адюльтера.

Последний его роман, «Женщина в зеркале», вышел в свет в 1928 году одновременно со «Свалкой» никому не известного тогда Жозе Америко де Алмейды, появившейся в каком-то бедном провинциальном издательстве штата Параиба. Не это ли событие побудило Афранио оставить романы и заняться публицистикой и историей литературы? Пожалуй, дотошный критик сделал слишком смелый вывод: скорее всего, это просто совпадение, потому что писатели Северо-Востока, пошедшие по следу Алмейды, получили полную поддержку и горячее одобрение Афранио Портелы. Книга о Кастро Алвесе, исследование о Грегорио Матосе¹ и Томасе Антонио Гонзаге² не позволили читателям забыть громкое имя Афранио Портелы — месте Афранио, как называли его коллеги и читатели.

Дона Розаринья слушает красочный рассказ — он становится все выразительней, живей и злей. Уж она-то знает, что этот рафинированный интеллигент так и остался в душе упрямым и стойким жителем сертанов. Афранио делает короткую паузу и произносит:

¹ Грегорио Матос да Герра (1633—1696) — бразильский поэт, известный своими сатирическими стихами.

² Томас Антонио Гонзага (1744—1810) — бразильский поэт и общественный деятель.

— Приготовься, сейчас я расскажу тебе о неслыханной подлости.

Дона Розаринья удивлена: в мягком голосе мужа зазвучало вдруг неприкрытое отвращение. Очевидно, случилось кое-что пострашнее смерти Бруно. Местре Афранио продолжает рассказ, и утонченная сеньора Розаринья воочию видит, как печатает шаг полковник Перейра, как он отдает честь и навытяжку стоит у гроба лишнюю минуту, чтобы фотографы успели сделать снимок. Все это въяве предстает перед нею: она в курсе всех академических интриг и следит за перипетиями каждого избрания, а в иных даже принимает участие.

— Ты думаешь, он осмелится баллотироваться?

— Можешь считать, что он уже избран. «Свалить его невозможно»,— сказал мне Лизандро Лейте на кладбище, и он прав. Ты только представь себе: похвальное слово Антонио Бруно, автору «Песни любви покоренному городу», произнесет полковник Перейра?! Мороз по коже...

— Какой ужас! Этот...— дона Розаринья замаялась, подыскивая нужное слово, но так и не нашла,— ...считает, наверно, что его сапожищи вполне подходят к мундиру академика.— Ее задумчивый взгляд скользнул по обиженному лицу мужа.— Ну а ты что собираешься делать, Афранио?

— Разумеется, я проголосую «против». Таких, как я, наберется человека три-четыре. На церемонию приема я не пойду, да и вообще после этих выборов в Академии мне делать нечего. Хватит с меня!..

Дона Розаринья своего мнения высказать не успела — появившаяся в дверях горничная сообщила, что сеньора Мария Мануэла спрашивает, сможет ли академик Портела принять ее.

— Ты выйдешь?

— Нет. Без меня она будет чувствовать себя свободней. Ты, наверно, забыл, Афранио: ведь я делаю вид, что мне ничего не известно?

НЕОБЫЧНАЯ ГОСТЬЯ

Посреди просторного кабинета, от пола до потолка заставленного книгами, стояла бледная и прямая Мария Мануэла. Отказавшись присесть, она горящими глазами пристально взглянула на Афранио Портелу — старого друга, единомышленника, поверенного всех тайн покойного

Бруно. Услышав утром по телефону, как отчаянно она рыдает, Афранио не стал ее успокаивать — не нашел слов утешения, если такие слова вообще существуют. Он подождал, пока она сама справится со своим отчаянием, и лишь тогда воззвал к ее благоразумию: теперь, когда риск лишен всякого смысла, необходимо быть особенно осторожной. Он пообещал, что вскорости разыщет ее и они вместе вспомнят ушедшего друга, вспомнят его смех, шутки, стихи.

— Я умоляю вас, Афранио... Пообещайте мне, что не допустите этого... Я не смогла уберечь его от смерти, но от позора вы должны его спасти...— Она говорит отрывисто, с заметным лиссабонским акцентом, голос ее дрожит от волнения.— Я иностранка, я помню об этом, но границ больше нет... Война для всех одна...— Женщина в полном расцвете красоты, «тридцатилетняя богиня, спустившаяся с Олимпа», гордо вскинула голову: теперь она не умоляла, а требовала.— Фашист не имеет права наследовать Бруно. Я хочу услышать от вас, что этого не будет! Если палач, если нацист станет преемником Антонио,— она усилием воли подавила рыдание,— это все равно что убить его во второй раз!

Подумать только — в десяти своих романах Афранио описывал чувство женщины...

— Откуда вам все это известно?

— Я заподозрила недоброе еще на панихиде и тогда же хотела вам сказать... А только что по радио передали сообщение... Я ведь ничего-ничего не могу сделать, а вы можете!

После ужина, как известно, местре Портела сказал жене, что, если полковника изберут — а сомневаться в этом не приходится,— ноги его больше не будет в Академии. Ему казалось тогда, что так он выразит свой яростный протест, но теперь он понимает вдруг, что этот решительный поступок — не больше, чем удобная позиция, пассивное сопротивление, которое ничем не грозит. Ему становится стыдно. Неужели он предаст друга, оставив память о нем на поругание врагам?

— Не знаю, удастся ли мне хоть что-нибудь, но я сделаю все возможное...

— И невозможное!

— Хорошо: возможное и невозможное.

Молодая женщина по имени Мария Мануэла подошла к писателю, поцеловала его в щеку и направилась к дверям. Афранио проводил ее... Что за мир! Кому придет в

голову, что супруга советника португальского посольства, дочь салазаровского министра, наследница богатого и могущественного рода — непримиримый враг режима, сторонница социализма, что ей грозит тюрьма или концлагерь?! «Боюсь, что она почти коммунистка, — сказал Бруно своему другу, познакомившись с ней. — Впрочем, коммунистка или нет, но она совершенно обворожительна и не боится ничего на свете. Я еле-еле уговорил ее не бросать мужа. Она хотела уйти ко мне! Представляете, сеу Афранио, какой бы вышел скандал? Вот как я влип!»

Вернувшись в столовую, местре Афранио Портела сказал доне Розаринье, сидевшей перед приемником в ожидании передачи Би-би-си:

— Она приходила просить...

— ...о том, о чем и я. О том, чтобы ты не допустил избрания этого мясника в Академию. Кстати, мне вовсе не хочется отказываться от вечеров в Малом Трианоне, я очень люблю ваши академические празднества. А сейчас позвони Эвандро: он хочет поговорить с тобой как раз об этом деле.

Она улыбнулась мужу той заговорщицкой улыбкой, какой улыбалась, бывало, во времена своей юности, когда ее миллионеры-родители ни за что не хотели выдать дочку за нищего и безвестного писателя.

СТАРИК ИДЕТ ПО УЛИЦЕ

«Угомонись, безрассудный старик, — твердил сам себе Афранио Портела, направляясь на встречу с другим сумасбродом, Эвандро Нунесом дос Сантосом. — Кто осмелится воевать со всеми явными и тайными полициями, со спецслужбами, с победоносным воином, всемогущим шефом Национальной безопасности, которого выдвигают в Академию «живые силы страны», за которым стоит непоколебимый режим Нового государства?»

Несмотря на эти мысли, безрассудный старик, расправив плечи, продолжает шагать по улице — на губах его играет лукавая улыбка, усталые глаза блестят. «Старичок, видно, доволен жизнью», — говорит прохожий.

КОЗЫРИ И БЛАГОРАЗУМИЕ

Покуда Афранио Портела ждет часа условленной встречи, Эвандро Нунес дос Сантос произносит в кабинете президента Академии длинную и язвительную речь

против кандидатуры полковника Сампайо Перейры, приводя неотразимые аргументы политического и морального характера:

— Это оскорбление для Академии, это вызов всем нам!

— Можно подумать, что его кандидатуру выдвинул я, что его избрание сулит мне какую-то выгоду, что мне вообще приятна вся эта история?! — Эрмано де Кармо вспоминает злосчастный вчерашний инцидент, когда двое телохранителей полковника вломились в лифт, но предпочитает не говорить об этом, чтобы не подливать масла в огонь. — Что я могу сделать?

Вопрос остается без ответа. Эвандро Нунес дос Сантос бормочет, что нужно обязательно что-нибудь предпринять... Президент продолжает:

— По уставу Академии у кандидата должна быть опубликована по крайней мере одна книга — у полковника их больше десяти, в том числе сборник стихов. Вам это известно? Я намекнул Лизандро, что некоторые академики подумывают о Фелисиано, считают, что преемником Бруно должен стать крупный поэт. А он тут же мне сообщил об этой книжке стихов и поклялся, что как поэт его протеже ничем не хуже Фелисиано или Бруно. Какие-то юношеские романтические стишки... Даже это они предусмотрели! У них все козыри!

— Ранние стишки — не такой уж козырь...

— Зато остальные каковы! Вы бы видели, как Лизандро выкладывал их передо мной один за другим: «Представитель вооруженных сил» — раз! «Занимает один из важнейших постов в государстве» — два! «Влияние его огромно, а время сейчас сами знаете какое»... — три! И самый главный довод: это место со времен основания Академии до предшественника Бруно включительно всегда занимал военный. Нужно восстановить традицию и прочая, и прочая... Ей-богу, я не вижу выхода. Если придумаете что-нибудь, дайте мне знать. Я ничего не могу!..

— Как это так? Вы же сами сказали: выдвинуть Фелисиано. Вот и выход.

— Неужели вы верите, что он осмелится стать на пути у Перейры? Я не верю. Скажу вам прямо: довод насчет того, что это место принадлежало и должно принадлежать армии, — весьма серьезен. В принципе я поддерживаю эту инициативу: в Академии должны быть представлены все слои общества и социальные группы.

— Что касается армии как социальной группы...

— ...то на этот счет существуют разные точки зрения, не правда ли? — закончил за него президент, который не хочет брать на себя никаких обязательств.

Эвандро Нунес дос Сантос допил кофе, поставил на стол пустую чашку. Аффранио задерживается, и он не знает, как развязать этот узел. В отличие от президента Эвандро обязательств не боится:

— Во всяком случае, на мой голос этот мерзавец может не рассчитывать.

ЗАГОВОР НА ФАЙФ-О-КЛОКЕ

Аффранио Портела и Лизандро Лейте, подошедшие с разных сторон, встретились у подъезда Малого Трианона. Щекастое лицо юриста сияет.

— О том, что Агналдо выдвинул свою кандидатуру на выборы, будет сообщено в газетах и по радио.

Ликующий Лейте называет всемогущего полковника запросто, по имени,— знай наших! Он не говорит, откуда эти сведения, но Аффранио без труда догадывается: так же, как и он сам, Лизандро времени зря не теряет.

Они вместе входят к президенту, Лейте валится в кресло, Аффранио торопится увести из кабинета костлявого гуманитария, пока тот со свойственной ему откровенностью не успел высказать все, что «он думает об этой пухлой подлизе».

— Пойдем-ка, старина, в «Коломбо», выпьем чаю, посекретничаем на свободе. Подальше от Лизандро, поближе к красивым женщинам! Пусть глаз порадуется!

Аффранио частенько захаживал в «Коломбо» вместе с покойным Бруно, и сейчас он рассказывает Эвандро о пристрастиях и вкусах покойного. Роман поэта с хорошенькой портнихой, сидевшей у окна своей мастерской на втором этаже в доме напротив, вдохновил его на создание забавного и трогательного рассказа «Пятичасовой чай» — за те десять лет, что прошли после выхода «Женщины в зеркале», Портела только однажды вернулся к беллетристике.

Усевшись за столик в кондитерской, Эвандро, все еще пребывающий в отвратительном настроении, последними словами поносит президента, который «даже не скрывает своего благожелательного отношения к проискам Перейры».

— Благожелательного, ты сказал? И это после пинка, который он вчера получил?

— Какого пинка?

— Потом, потом... Сейчас расскажи-ка мне поподробнее, что тебе говорил Эрмано.

— Говорил, что нужно восстановить традиции, и потому он будет за представителя армии.

— Он имел в виду представителя армии вообще или назвал конкретное имя — полковник Перейра? Агналдо, как именует его теперь, захлебываясь от восторга, Лизандро.

— Вообще.

— Тут есть некоторая разница, куманек. — Афранио и Розаринья крестили Алваро, сына Эвандро. — Открою тебе страшную тайну: я тоже за представителя армии. — Он хитро улыбнулся.

Иногда Эвандро раздражает его друг и кум — особенно если дело идет о вакансиях в Академию. Оба они всегда поддерживают одного кандидата, но во время предвыборной борьбы ведут себя совершенно по-разному. Эвандро трубно и гласно воздаёт хвалу своему протекже, превозносит его достоинства, спорит, доказывает, горячится, а Афранио действует тайно, скрытно, незаметно, интригует в кулуарах Академии и считается самым опасным противником. Даже сейчас, когда возникла реальная угроза избрания Агналдо Геббельса Перейры (сам полковник печатно заявлял, что гордится прозвищем «бразильский Геббельс», — прозвищем, которым враги народа думали унижить и оскорбить его), Афранио выглядит на удивление невозмутимо. Он вовсе не рассержен — напротив: его как будто забавляет все происходящее — и он даже потирает руки от удовольствия. Эвандро нетерпеливо требует:

— Да объясни же наконец, что ты задумал, а то от ярости я совсем поглупел.

Местре Афранио во всех подробностях рассказывает о своей кипучей деятельности. Время от времени он прерывает повествование: то раскланяется со знакомым, то обратит внимание Эвандро на проходящую мимо женщину, если, конечно, она достойна этого внимания. Он не теряет времени даром (впрочем, Лизандро тоже). Вчера, переговорив с Эвандро по телефону, он позвонил нескольким академикам и обменялся с ними впечатлениями. Он всегда встает спозаранку и утром успел навестись по крайней мере к четверым коллегам и позавтракать

с пятым — Родриго Инасио Фильо. На встречу же с Эвандро он опоздал потому, что заходил к бедному Франселино, так жестоко пострадавшему (вкуче с президентом Академии) от энергичного пинка охранника. В результате всех этих визитов и телефонных переговоров у него сложилось некоторое представление о выборах:

— Упоминание имени полковника встречает протест...

— Да о нем слышать не хотят! — Эвандро тоже успел кое с кем повидаться.

— Не надо преувеличивать, мой дорогой, останемся реалистами. Разумеется, полковника не любят, некоторые просто терпеть не могут, и немудрено: у него дурная слава. Он готов заподозрить в крамоле самого господа бога Иисуса Христа. Родриго мне рассказал, что на пасху цензура запретила печатать в «Ревиста дос Сабадос» Нагорную проповедь. Редактор Жиль Костело обратился в ДПП — он думал, что запрет касается только иллюстрации: они дали модернистский рисунок Портинари, — и чуть с ума не сошел, когда выяснилось, что запрет наложен на евангельский текст. Какой-то чиновник для очистки совести сообщил ему, откуда исходил приказ о запрещении — от полковника Перейры. Родриго своими ушами слышал эту историю от самого Жилия.

— Кто же станет голосовать за такого негодяя?

— Не обольщайся. Несмотря на все это, он будет избран. Если, конечно, мы с тобой не примем мер. Сморщатся от омерзения, как сказал мне Алкантара, но проголосуют. Лизандро далеко не глуп, и сейчас он не блефует. Едва я услышал о происшествии с Франселино, как тут же помчался к нему. Первое, что я увидел, войдя, была невероятных размеров корзина с фруктами: яблоки, груши, виноград и — визитная карточка полковника Перейры с приписанным от руки извинением. Почерк, впрочем, был нашего дорогого Лизандро. — Он снова улыбнулся. — От нас потребуется дьявольская ловкость, Эвандро! Дьявольская! — повторил он уже серьезно. — Нужно отыскать другого кандидата.

— Ну так у нас есть Фелисиано, чего ж лучше? Признанный поэт, все его любят — и стар и млад. К тому же превосходный человек.

— Этого мало, куманек. Нам нужен кандидат, за которого академики не побоялись бы проголосовать. Нам

нужен кандидат, которому полковник Перейра, человек действительно могущественный и в средствах не стесняющийся, никак не сможет навредить. А навредить он может... Так что о штатском нечего и думать. Надо найти военного, Эвандро, и притом чином выше Перейры. Он кто — полковник? Значит, нам нужен генерал.

Эвандро, сам человек сугубо штатский и к тому же автор прогремевшей на всю Латинскую Америку книги о пагубном воздействии милитаризма на страны континента, возмутился:

— А-а, теперь и ты заводишь эту песню о поруганной традиции?

— Да не в традиции дело! — Аффранио стал серьезен. — Нужно воспрепятствовать тому, чтобы человек, запятнавший себя нацизмом, опозоривший себя пытками политических заключенных, травлей писателей и журналистов, человек, во всем противоположный нашему Бруно, который и умер-то потому, что не мог вынести всех этих ужасов, занял его место в Академии, сидел на заседаниях рядом с нами, стал нашим коллегой...

Минуту стояла тишина. Эвандро раздумывал. Потом кивнул.

— Да. Ты прав.

— Конечно, прав! За штатского проголосуют четверть человек: ты да я, да Родриго, да, может быть, еще... — Он назвал два имени. — А вот если мы пойдем и протащим генерала, если мы как следует побегаем и пошевелим мозгами, то вполне можем сорвать банк! Итак, срочно требуется генерал, издавший хотя бы одну книжку, противник нацизма и Нового государства. Генерал, который сможет выстоять против полковника Перейры. Ты согласен со мной?

— Согласен-то согласен... Но где же взять генерала, который отвечал бы всем этим требованиям? Нет такого генерала.

— Найдем. Ты, друг мой, склонен к преувеличениям. По-твоему, кто в мундире, тот, значит, уж и не человек. Среди военных много людей порядочных и честных, настоящих демократов. Может быть, их даже большинство. Ну а теперь слушай историю о том, как телохранители полковника... — И он заливается смехом, еще не начав рассказывать. Академик Аффранио Портела если веселится, так уж веселится; он умеет брать от жизни все, что она может дать.

Генерал Валдомиро Морейра нетерпеливо отбрасывает газету, смотрит на часы, встает с кресла, пересекает сад, входит в комнату. Непорядок! Так он и знал: Сесилия висит на телефоне, ведет бесконечный разговор с возлюбленным. Проклятый зубодер! И без него голова кругом!..

— Да ну тебя, перестань! — кокетливо хохочет в телефон Сесилия.

— Сесилия! Прекрати!

От раскатов генеральского голоса кокетливый смех стихает. Зажав трубку ладонью, непослушная дочь просит:

— Сейчас, сейчас, папа, подожди минуточку!

— Клади трубку!

— Сию секундочку, папа!

Услужливый Сабенса обещал позвонить после того, как он поговорит с доктором Феликсом Линьяресом и добьется столь необходимого генералу соглашения. Их встреча должна была произойти перед обедом, в клинике Линьяреса, где плодовитый автор романов на библейские темы принимает пациентов и решает вопросы, связанные с Академией словесности Рио-де-Жанейро, президентом которой его единогласно избирают уже в пятый раз. За завтраком генерал строго-настрого запретил жене и дочери занимать телефон после десяти утра: обе способны болтать часами — дона Консейсан жалуется на рост цен, Сесилия клянется в любви.

Клодинор Сабенса, составитель «Антологии португалобразильской литературы», сборника «Писатели Рио-де-Жанейро», а также автор нескольких учебников грамматики для младших классов, был горячим поклонником литературного творчества генерала — и особенно его статей в защиту чистоты родного языка, — а потому успешно и плодотворно вел агитацию в его пользу среди академиков. Сложилась благоприятная для генерала ситуация, потому что второй кандидат в столичную Академию, Франсиско Ладейра, своей славой был обязан не столько сомнительных достоинств сонетам в духе «парнасцев», сколько ядовитым и хлестким эпиграммам. Безжалостно высмеивая собратьев по перу, нападая на них в темных окололитературных закоулках, он тем не менее вознамерился попасть в члены столичной Академии и усердно вербовал сторонников, прикидываясь безгрешным, как ангел. Исход борьбы зависел от мнения президента.

Доктор Феликс Линьярес считался светилом в медицинском мире, среди его многочисленных пациентов было немало людей богатых и влиятельных, и это обстоятельство гарантировало возглавляемой им ассоциации разного рода льготы, пожертвования и субсидии, а ему самому — офис (собственность государства), возможность издавать (бесплатно, хоть и не всегда вовремя) свой журнал, а также статьи и даже книги академиков (упомянутый выше сборник «Писатели Рио-де-Жанейро» печатался на государственный счет). Кроме того, в распоряжении президента находились двое служащих: курьер и секретарша — молодая, бойкая и миловидная. Все вышеперечисленные выгоды делали членство в Академии весьма заманчивым, и, хотя «бессмертие» академиков не простиралось дальше границ штата Рио-де-Жанейро, борьба каждый раз велась не менее ожесточенная, чем при выборах в «Большую Академию».

Генерал был встревожен и раздражен из-за того двусмысленного положения, в котором находился уже довольно давно. Франсиско Ладейра был не только ядовитый насмешник и бездарный поэт, но и редкостный ловкач. Поливая помоями весь свет, он, однако, ухитрялся ни разу ничем не задеть почтенных героев библейских романов, сочиненных доктором Линьяресом, и эта необычная сдержанность растопила лед в сердце президента. Все эти интриги и заговоры весьма беспокоили генерала.

Отгнав дочь от телефона, он снова уселся в качалку. В начале 1937 года генерал Морейра собирался баллотироваться в Академию Рио-де-Жанейро: все тот же верный Сабенса уже начал зондировать почву, но тут важнейшие военно-политические проблемы целиком заняли и время, и мысли генерала. Он активно включился в избирательную кампанию Армандо Салеса де Оливейры, который выдвинул свою кандидатуру на пост президента Бразилии, и помогал ему так рьяно и усердно, что газеты единодушно прочили генералу пост военного министра в новом кабинете, если, конечно, оппозиция одержит на выборах победу. Дона Консейсан, весьма склонная к мечтательности, несколько месяцев наслаждалась сказочными перспективами, которые открывались перед ее мужем. Да, всего несколько месяцев, потому что в ноябре произошел государственный переворот, объявивший Бразилию Новым государством, разогнавший парламент, запротививший политические партии, уничтоживший

соперников президента. Генерал Морейра вместо портфеля военного министра получил отставку с пенсией, облачился в пижаму — классическое одеяние отставников — и, поскольку времени у него теперь было в избытке, вернулся к мирным и усердным трудам на литературной ниве.

В газете «Коррейо до Рио» он возобновил еженедельное обозрение «В защиту родного языка», прерванное на время избирательной кампании, закончил редактуру третьего тома своих действительных и вымышленных «Историй из бразильской истории» — выход этой книги в свет совпал по времени с вакансией в Академии Рио-де-Жанейро и подвигнул верного Сабенсу возобновить усилия. Все сулило удачу. Ах, если бы дело было только в академиках... Встреча Сабенсы с президентом должна была решить судьбу честолюбивого генерала и определить его дальнейшие действия: надеяться ли ему на победу или снять свою кандидатуру?

Звон церковного колокола возвестил полдень. Почему же Сабенса не дает о себе знать? Свидание отсрочилось или предусмотрительный президент решил поддержать Ладейру, чтобы уберечься от его шуточек и эпиграмм? Генералу велено избегать волнений — сердце пошаливает...

Заслышав телефонный звонок, он едва сдерживается, чтобы бегом не броситься в комнаты. Дона Консейсан кричит:

— Это тебя, Морейра... — Она всегда зовет мужа по фамилии, выказывая тем самым преданность и уважение. — Из Академии.

— Сабенса! — Генерал уже на ногах.

— Нет, это не Сабенса.

— А кто ж тогда?

— Доктор Родриго Инасио Фильо, член Бразильской Академии. Просит, чтобы ты назначил удобное тебе время для приема делегации академиков.

Генерал колеблется. Похоже на розыгрыш, подстроенный негодяем Ладейрой: такие шутки дурного тона вполне в его вкусе.

— Он ждет у телефона.

Конечно, розыгрыш. Нахмурившись, генерал следует к телефону... Ну, если только это проделки мерзавца Ладейры, он дорого за них заплатит. Над генералом бразильской армии, пусть даже в отставке, никому еще не удавалось издеваться безнаказанно.

Имя генерала Валдомиро Морейры назвал Родриго Инасио Фильо, который был посвящен в замысел академиков и принял самое горячее участие в его осуществлении. Имя генерала было названо в тот самый момент, когда местре Аффранио уже почти согласился признать правоту своего друга и кума Эвандро: ему оказалось не под силу найти генерала, притом напечатанного хотя бы одну книгу, притом убежденного антинациста, который не опорочил свое имя сделками с Новым государством и не побоялся бы вступить в схватку с полковником Перрейрой. Антинацистов полно, чуть ли не все подряд; противников диктатуры значительно меньше, и они предпочитают не высказывать своих убеждений вслух; напечатанная книга имеется у очень немногих, да и те вряд ли решатся испытать на себе могущество и злобный нрав полковника... В кабинете Аффранио двое друзей попивали коньяк (знаменитый «финь-шампань», названный в честь великого француза и воителя) и отбрасывали одну кандидатуру за другой.

— Не спорь, Аффранио, он автор учебника математики... Не пойдет.

— Этот никогда не осмелится выступить против Перрейры.

— Этот подошел бы по всем статьям, будь он не майор, а генерал.

В дверях, посмеиваясь, появился Родриго Инасио Фильо, приглашенный принять участие в отборе кандидатов. В петлице у этого самого миролюбивого на свете человека друзья увидели розетку ордена Почетного легиона — это значило, что Родриго твердо решил принять участие в сопротивлении. Академик подошел к аристократической ручке доны Розариньи.

— Ваше превосходительство, рядовой необученный Инасио Фильо явился по приказанию вашего мужа. Все это, разумеется, абсурд, но Бруно остался бы нами доволен.

— Почему же абсурд? Не абсурдней войны, — ответствовал Эвандро.

Дона Розаринья налила вновь прибывшему рюмку коньяку и сказала:

— Ну-ка, Родриго, поднатужьтесь, достаньте нам генерала. Вы ведь знаете, каким требованиям он должен отвечать.

— Слушаюсь! Предлагается генерал Валдомиро Морейра.

— Валдомиро Морейра... Откуда я знаю это имя?..— Местре Афранио напряг память.— Ну, откуда же?..

Несколько дней назад Родриго получил новую книгу генерала Морейры, автора полудюжины объемистых томов. Генерал был человек заметный: имя его было хорошо известно и в военных кругах, и в политических, не говоря уж о литературных, и часто упоминалось в газетах во время избирательной кампании Армандо Салеса, когда кто-то и познакомил Родриго с Морейрой. Дважды или трижды они встречались в обществе: на каком-то банкете сидели рядом, разговаривали о политике и литературе. Генерал, правда, не одобрял нынешних писателей, упрекал их в забвении или незнании норм португальского языка, но зато был настоящим, закаленным в битвах демократом, почему и оказался в отставке. Ярый антинацист, сторонник союзных держав — чтобы убедиться в этом, достаточно прочесть его комментарии к ходу военных действий в «Коррейо до Рио», где он называет Гитлера «слабоумным вырожденком».

— Он до того пристрастен, что вопреки всякой очевидности не желает верить в победы нацистов.

— Что ж, остается только узнать, согласится ли он баллотироваться.

Местре Афранио было поручено собрать дополнительные сведения, и через двадцать четыре часа он с ликованием объявил:

— Сомнений нет: он наш!

В том же самом кабинете, потягивая все тот же виновный напиток галлов, он изложил основные вехи жизненного пути Валдомиро Морейры: принимал участие в конституционалистской революции¹, поддерживал Армандо Салеса, уволен в отставку лидерами Нового государства. Напечатал пять книг: три тома исторических рассказов, лингвистическое исследование и брошюру (раскуплена полностью) о боевых действиях в штате Минас-Жерайс в 1932 году. Честен. Порядочен. Несколько самонадеян и упрям. Не боится ничего.

¹ Имеются в виду события 1930—1932 гг. — борьба между буржуазно-помещичьей олигархией штатов Сан-Пауло и Минас-Жерайс и т. н. Либеральным альянсом во главе с Ж.-Д. Варгасом. Это борьба вылилась в буржуазную революцию, подорвавшую господство консервативной аграрной олигархии и закончившаяся победой Варгаса.

— Вот это его качество нам сейчас пригодится.

— Ты думаешь, он ползет в драку? — спросил Эвандро.

— Я в этом уверен...— Местре Аффранио окинул заговорщиков веселым и лукавым взглядом.— Бьюсь об заклад, вам не угадать, чего именно добивается сейчас наш генерал.— Секундная пауза, глоток коньяку.— Он желает выдвинуть свою кандидатуру в Академию Рио-де-Жанейро!

— Быть не может! Ты шутишь!

— Я говорю чистейшую правду. Представь, что с ним будет, когда мы предложим ему место в Бразильской Академии. Он с ума сойдет! Кроме того, Сампайо Перейра ему не опасен: генералу и так нагадили, где только могли, и терять ему нечего. Он — наш! Родриго попал в яблочко.

— А книги? — Эвандро, задавая этот вопрос, даже понизил голос.— Книги-то у него каковы?

Родриго, не щадя себя для общего дела, прочитал последнее творение генерала.

— Очень самодовольно и категорично, но читать можно. Пишет без ошибок, чего вам еще? Грамматика — его божество. Гладко.

— Вот как? Вылизанный стиль?

— Вылизанный. Конечно, самое место генералу — в Академии Рио-де-Жанейро, но, кроме него, у нас никого нет.

— Нет,— подтвердил местре Аффранио.— Остаток дня буду читать его книги: четыре я достал, а Карлос Рибейро припас для меня эту брошюрку. От Карлоса-то я и получил эти сведения про генерала.

Он говорил о знаменитом столичном книготорговце, старом букинисте Рибейро. В его лавку на улице Сан-Жозе приходили и греки, и троянцы: академики и модернисты, маститые и начинающие, писатели всех школ, направлений, убеждений и уровней. Лучше Карлоса никто не знал литературную жизнь.

— Признаться,— местре Аффранио улыбнулся широко и доброжелательно,— я купил по два экземпляра каждой книги, чтобы и ты, куманек, мог почитать. Мы должны в совершенстве знать творчество нашего кандидата: ведь придется расхваливать.

Старый Эвандро мигом нашелся:

— Расхвалить-то я расхвалю. На войне не до тонкостей: можно иногда и покривить душой. А вот читать...

Пожалуй, ты слишком многого от меня хочешь. Категорично, гладко... Эти штуки мы знаем. Чем меньше такого читаешь, тем лучше хвалится.

ИЗЯЩНАЯ СЛОВЕСНОСТЬ, БАЛЬЗАМ НА РАНЫ

После того как рассеялся министерский мираж и была получена отставка с правом ношения формы, генерал Валдомиро Морейра решил полностью отдаться литературе, которая должна была увенчать его скромной, но льстящей самолюбию славой. Впрочем, генерал допустил рецидив и поплатился за это.

Еженедельная газетная колонка, посвященная борьбе против порчи языка, вызвала потоки писем от пламенных ревнителей чистоты португальской речи, озабоченных и возмущенных вопиющим попранием элементарных норм грамматики в современной литературе, «написанной, очевидно, на кабинда, кимбунду или наго»¹. Генерал с увлечением редактировал третий том «Истории из бразильской истории», когда в Европе грянула война. Тут-то и случился рецидив воинственных настроений.

Генерал обрел себя в новом качестве. «Крупный специалист в вопросах лингвистики» (просвещенное мнение Ривадавии Понтеса) вспомнил, что обладает не менее весомым авторитетом в области военного искусства, что был любим профессорами Французской Военной Академии и непобедим на маневрах. Поэтому в той же самой «Коррейо до Рио», где по воскресеньям генерал наставлял юношество, он взялся вести ежедневное военное обозрение, кратко и веско комментируя ход военных действий. «Вторая мировая — день за днем; анализ и прогнозы» — так назывался этот раздел, подписанный «ген. В. М.».

Однако Морейре-стратегу далеко оказалось до Морейры-филолога. Танковые дивизии Гитлера, преодолев непреодолимую линию Мажино, в прах развеяли авторитетные суждения «ген. В. М.». Попирая все законы военной науки, они ежевечерне опровергали утренние прогнозы мудрого комментатора. Он терял плацдармы вместе с Гамеленом, отступал с Вейганом², терпел одно пора-

¹ Кабинда, кимбунду, наго — языки народов Африки.

² Морис Гостав Гамелен (1872—1958) — французский генерал. Один из главных виновников поражения Франции. Максимум Вейган (1867—1965) — французский генерал, главнокомандующий вооруженными силами (1940).

жение за другим. Дело кончилось полным разгромом. Обескураженный генерал под тем предлогом, что цензура постоянно вымарывает его уничижительные отзывы о фюрере (он отыгрывался ими за поражение), отказался — к вящему облегчению редактора — продолжать свою работу в газете.

Он вновь обратился к литературе, и она вознаградила его за военные неудачи: «Истории из бразильской истории» встретили в высшей степени благожелательные отзывы критиков. Верный Сабенса написал пространную хвалебную статью, а знаменитый академик Алтино Алкантара прислал генералу письмо, в котором уведомлял «своего уважаемого собрата о получении его новой книги, написанной безупречным языком и проникнутой духом законной гордости за героические деяния нашего народа».

Гораздо труднее было смириться с неблагоприятием в семье: легкомысленная Сесилия бросила мужа, почтительного и усердного служаку-капитана, и перебралась в Рио, на простор. Генерал Мореира был человек верный и честный: поступок дочери возмутил его, хотя и не удивил.

Возможность попасть в число членов Академии Рио-де-Жанейро бальзамом пролилась на раны генерала. Последние отголоски неприятностей, связанных с его военными комментариями и время от времени болезненно напоминавших о себе («...умереть можно со смеху», — говорили в кабинете полковника Перейры, вслух читая генеральские прогнозы, и действительно хохотали до упаду), теперь затихнут навсегда. Ну а что касается увлечений Сесилии — «ничего себе увлечения!», но генерал предпочитает в этом вопросе иносказания, — то пусть ими занимается донна Консейсан до Прадо Мореира, дама крепкая и выносливая, на которой генерал, оставшись в тридцать лет бездетным вдовцом, женился, когда служил в Мато-Гроссо и не мог больше вынести одиночества.

Донна Консейсан тоже происходила из семьи военного и потому легко привыкла к тираническому нраву супруга. Прежде чем подчиниться власти генерала, она кротко сносила выходки брата, в доме которого жила до благословенной встречи с Мореирой. Замужество позволило ей покинуть захолустье и избавило от придирок злонравной невестки. А Сесилия пошла в отца: такая же упрямая, твердолобая, глухая и к угрозам, и к уговорам. Но генерал при всем том был цельной натурой, донна

Консейсан — скромна и послушна. От кого же достался Сесилии бешеный темперамент, необузданный и переменчивый нрав, неумеренность во всем? Бог знает.

Если бы сегодня, как было условлено, генералу позвонил Сабенса, сообщил бы ему об отрядных итогах своего свидания с президентом, генерал бы спокойно отобедал и с легким сердцем предался сиесте, растянувшись в качалке. Он пригласил бы друга отужинать, и они обсудили бы подробности избрания в ряды «бессмертных». И вот все пошло кувырком. Вместо скромного Сабенсы, составителя антологий и автора учебников грамматики, позвонил знаменитый Родриго Инасио Фильо, член Бразильской Академии, создатель прославленного романа «Записки постороннего».

Сердце генерала ноет, жалуясь на все эти неожиданные события. Дона Консейсан приносит мужу таблетку и стакан воды:

— Прилег бы ты, Морейра, отдохнул перед обедом.

Обед в их доме неизменно подается в половине первого, но сегодня нарушено и это правило.

НЕМНОГОЧИСЛЕННЫЕ И НЕЛЕПЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ

Делегация членов Бразильской Академии! В телефонном разговоре Родриго Инасио Фильо ограничился кратким сообщением и попросил достоуважаемого генерала Морейру в ближайшее время назначить день и час для приема делегации. Слова эти были произнесены после того, как собеседники вспомнили памятный обоим банкет и свои беседы за столом, так что всякая возможность розыгрыша отпала, а подозрения с коварного Ладейры были сняты. Однако цель прихода академиков яснее не стала, спросить же напрямик генерал постеснялся. Он отвечал, что в любой день и час готов принять академиков, и поблагодарил за неожиданную честь.

— Делегация Бразильской Академии! Как ты думаешь, Консейсан, за каким дьяволом их несет сюда?

Дона Консейсан велела ему принять лекарство и попыталась успокоить:

— Ты бы все-таки прилег, пока будет готов обед.

«Прилег!» Тут приляжешь! Генералу не сиделось и не лежалось. Наверняка это какая-то ошибка, недоразумение. Но какая же тут может быть ошибка? А если нет? А вдруг они решили присудить ему премию Маша-

до де Ассиза — самую почетную премию, ежегодно присуждаемую Бразильской Академией за цикл произведений? Бывали же случаи, когда академики, не зная, кого из двух известных писателей предпочесть, отдавали премию третьему, имя которого до этого даже не упоминалось. Генерал, хорошо осведомленный о правилах твердыни словесности, о нравах и обычаях членов Академии, знал, что, перед тем как присудить премию Машадо де Ассиза, кто-нибудь из академиков ведет тайные предварительные переговоры, но ему еще никогда не приходилось слышать, чтобы целая делегация являлась к писателю в дом и спрашивала, согласен ли он принять желанную награду, которая, кроме высокой чести, означала и солидную сумму. Нет, это не то... А что же тогда? Тут просто с ума сойдешь... Больше суток предстояло провести генералу в волнении и беспокойстве — Родриго сообщил, что делегация придет завтра в шесть вечера. Двадцать девять часов — если быть точным — придется провести ему в муках ожидания.

Большой, дородный, краснолицый, взлохмаченный, генерал размеренным шагом ходит из угла в угол. Он и в пижаме никогда не будет похож на штатского — военная косточка, это сразу заметно и по лицу, и по движениям, и по той привычке командовать, которая стала частью его натуры... Так какого же черта все-таки идут к нему академики?

Он знает о смерти поэта Антонио Бруно и об освободившейся вакансии, но не решается и подумать о той связи, которая может существовать между визитом академиков и печальным событием с такими неожиданными и радостными последствиями. Беспочвенные фантазии никогда не посещают генеральскую голову, но сейчас против воли он принимается размышлять об этом невероятном предположении. Сесилия, узнав о разговоре с Родриго и о назначенной встрече, кричит ему из другой комнаты:

— Они хотят посадить тебя на место того академика, что недавно умер!

Ох, бедное сердце генерала Морейры...

— Не говори глупостей!

— Ну так, значит, придут с подписным листом, будут просить денег на чей-нибудь бюст. Они там, в Академии, только и делают, что воздвигают друг другу бюсты.

— Бюст, бюст!.. Сама не знаешь, что мелешь!

Дона Консейсан зовет к столу — обед опоздал на

полчаса: господи боже мой, ну и денек! Генерал Морейра с омерзением разглядывает тарелку с прописанной ему доктором диетической едой. Appetit пропал на чисто...

Звонит телефон, и генерал откладывает вилку. Это Сабенса, который просит извинить его за опоздание и сообщает, что свидание с доктором Линьяресом переносится на завтра. Президент находится у постели тяжелобольного и не может увидеться с Сабенсой. Но пусть дорогой генерал не беспокоится: через двадцать четыре часа его кандидатура с соблюдением всех формальностей будет утверждена президентом. Генерал, пытаясь скрыть беспокойство, с притворной радостью благодарит за хорошие новости.

За обедом дон Консейсан обсуждает с дочерью, что подать к приходу важных господ из Академии: ведь это настоящие «бессмертные», имеющие право носить расшитый золотыми пальмовыми ветвями мундир и получать жетон. В начале незабываемого 1937 года его превосходительство генерал Валдомиро Морейра с супругой получили приглашение на торжественную церемонию приема в члены Академии доктора Алкантары, политического деятеля из Сан-Пауло, и побывали в Малом Трианоне:

— Это великолепное зрелище! Кажется, что ты при дворе короля!

Да, вот Бразильская Академия — это дело! Из-за нее стоит тратить время и силы, стоит бороться за вакансии, но генерал, занятый выклянчиванием поддержки для вступления в другую академию — жалкую, маленькую столичную Академию словесности, расположенную в Нитерое, не дающую ни мундира, ни жетона, ни портретов в газетах, — даже не думает об этом. Зато эта мысль осеняет дону Консейсан, но она молчит: Морейра сегодня в отвратительном настроении, а у Сесилии ветер в голове. А вдруг дочь права, и академики придут с подписным листом, чтобы воздвигнуть бюст этому только что скончавшемуся поэту?.. Юбочник, говорят, был, каких мало. За гробом на кладбище шла целая толпа плачущих женщин. Еще счастье, что Сесилия его не знала...

— Так что же подать? Пиво, лимонад? Может быть, пирожки или холодную курицу?

— Вообще ничего не надо. Пиво не подают, — режет в ответ генерал.

— Ну тогда хотя бы фруктовый ликер? Или чай? Они ведь у себя в Академии пьют чай?

— Лучше всего просто кофе, мама.

Генерал согласен с дочерью: и с тем, что следует по-
дать только кофе, и — страшась и надеясь — с предполо-
жением, которое она высказала только что: «Они хотят
посадить тебя на место того академика, что недавно
умер!»

Двадцать девять часов ожидания и наверняка бессон-
ная ночь! Если сердце выдержит, то, значит, врач, поль-
зующий генерала, ни черта не смыслит в медицине.

МАНЕВР КАНДИДАТА

На следующий день в одиннадцать утра генерал Вал-
домиро Морейра официально известил, что выдвигает
свою кандидатуру в Академию Рио-де-Жанейро. Пись-
мо с этим сообщением было вручено верному Сабенсе, а
тот, получив подтверждение президента, сел на трамвай
и привез эту замечательную новость в Гражау, где жил
генерал.

Через восемь часов — в семь вечера — генерал стал
кандидатом в Бразильскую Академию, приняв предложе-
ние представительной делегации академиков и вручив
письмо Аффранио Портела. Генерал никогда и не подо-
зревал, что местре Портела читал его книги, что знаме-
нитый автор «Женщины в зеркале» обнаружит такое
глубокое знание образов, запечатленных в трехтомных
«Историях из бразильской истории», и проблем, всесто-
ронне рассмотренных в «Языковых пролегоменах».

Искушенный читатель, Аффранио Портела, как он сам
говорит, «проследил пядь за пядью, книга за книгой весь
блистательный путь интеллектуального творчества гене-
рала». Кажется, что академик только что прочел труды
Морейры: он без запинки приводит по памяти длинные
отрывки, наизусть цитирует целые сцены и диалоги.

— У вас необыкновенная память, местре! — Генерал
польщен.

— Ваши книги я перечитываю по много раз, — за-
стенчиво улыбается в ответ академик.

Эвандро Нунес дос Сантос, хоть и знает, что на вой-
не все средства хороши, старается не смотреть на кума.
Сам он припечатывает восторженные излияния Портела
выразительными определениями: «Замечательно!», «Мас-
терски!», «Великолепно!» — и лаконичные похвалы ста-
рого ученого, которого все побаиваются, значат очень

много, они попросту драгоценны. Трое остальных академиком подпевают этому хвалебному хору. Смущенный генерал не знает, что сказать: ему кажется, что он недооценивал собственное творчество.

Через некоторое время он зовет жену и дочь: пусть послушают, какие почести воздает ему представительная делегация, выражающая мнение едва ли не всей Академии. Пусть услышат, как высоко ценят книги их мужа и отца академики. Дона Консейсан взволнованна, Сесилия потрясена.

Через сорок минут после того как академики разместились по двум большим автомобилям и отбыли, генерал позвонил Сабенсе: сообщил, что отказывается баллотироваться, потребовал назад свое письменное заявление и пообещал рассказать ошеломляющие новости. «Приходите ужинать, и я вам все расскажу. Вы ахнете!»

— Так что же, не считать вас больше кандидатом? — спрашивает измученный Сабенса: после стольких хлопот, после того, как он заручился наконец поддержкой президента, это известие для него как снег на голову.

— Отчего же не считать?.. Считайте, считайте, только смотря какой Академии...

— Я ничего не понимаю!

— Вы все поймете, когда я вам объясню. Скажите Линьяресу, что я благодарен ему за предложение, но вынужден его отклонить. Он может считать это место вакантным.

Предложение? Какое предложение? Сабенса ли не знать, что предложением и не пахло, что потребовались титанические усилия для того, чтобы уговорить доктора Линьяреса. Не будь его собеседник генералом — Сабенса уважает чины, — он послал бы его подальше. Однако он сдерживается и меланхолически кладет трубку. Хлопоты по выдвижению генерала в Академию открывали перед ним двери гостеприимного дома Морейры, а в этом доме... «бабочкою сновиденной там Сесилия порхает, там Сесилия порхает и желанье пробуждает...». Клодинор Сабенса время от времени тоже грешит стишками.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПОДСЧЕТ СИЛ

Неделю назад, на похоронах Бруно, их было двое: Афранио Портела и Эвандро Нунес дос Сантос. Потом к ним примкнул Родриго Инасио Фильо. В доме генерала

присутствовало уже пятеро: три вышепоименованных академика, Энрике Андраде, биограф Руя Барбозы, Рио Бранко и Набуко¹ и драматург Фигейредо Жуниор, пьесы которого раньше широко шли по всей стране, а после провозглашения Нового государства исчезли с театральных афиш. Они затрагивали социальные проблемы, а герои их — будь то эллины или жители штата Сеара — защищали свободу и гражданские права.

Предварительные переговоры с академиками позволили Афранио Портеле рассчитывать на восемь голосов. Эвандро Нунес ручался за двенадцать, но к прогнозам старого ученого, известного своим необоснованным оптимизмом, следовало относиться с большой осторожностью.

Полковник Перейра мог надеяться, что за него будет подано приблизительно пятнадцать голосов. Приняв решительные и скорые меры, он сможет увеличить эту цифру и упрочить победу. Но если инициативу перехватят приверженцы генерала, если они проявят твердость духа и — самое главное! — смекалку, то Перейра не только не получит новых сторонников, но может даже потерять прежних.

Портела прибавил восемь к пятнадцати и получил двадцать три. Затем вычел из тридцати девяти (количество членов Академии) двадцать три (суммарное число приверженцев полковника и Морейры) и получил шестнадцать голосов, которые еще предстояло завоевать в ходе избирательной кампании. Когда действительность станет легендой, эта кампания будет называться «Битва при Малом Трианоне».

Действовать спешно и интриговать не жалея сил! — такова была задача дня, продиктованная местре Портелой после предварительного подсчета голосов.

Во время приема делегации Афранио был чрезвычайно удивлен тем, с какой готовностью генерал согласился вступить в борьбу с полковником Агналдо Сампайо Перейрой — он словно ничего другого и не желал. Очевидно, у генерала были с Перейрой старые и личные счеты. Афранио из чистого любопытства решил доискаться до причин этого воинственного пыла. Он возлагал большие

¹ Барон де Рио Бранко — псевдоним бразильского дипломата и писателя Жозе Мариа да Силва Параньоса (1845—1912), Жоакин Набуко (1849—1910) — бразильский писатель, политический деятель и дипломат.

надежды на ужин — вино должно было растопить лед официальности.

Для того чтобы выработать диспозицию сражения и выполнить приказ доны Розариньи — «позови его с женой, я хочу знать, что они из себя представляют», — супруги Морейра, а также Эвандро Нунес и Родриго были приглашены на ужин к академику Портеле. Приглашение не распространялось на Сесилию, но она не могла пренебречь возможностью увидеть «изысканную виллу на Прайа-до-Фламенго», о которой столько писали вездесущие светские хроникеры.

Нечего и говорить, что седые виски, холеные руки и английский блейзер академика Родриго Инасио Фильо, так похожего на испанского гранда, уже давно и прочно обосновались в свидениях Сесилии, являлись ей ночами, мучая и утешая. Сны Сесилии! Если бы можно было их пересказать, скромная история из жизни академиком стала бы сенсационным бестселлером.

СВЕДЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ СУТИ
ПРОИСХОДЯЩЕГО И МОГУЩИЕ ПРИГОДИТЬСЯ ВСЯ-
КОМУ, КТО ЖЕЛАЕТ БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ
В АКАДЕМИЮ

Теперь, когда на освободившееся в Академии место официально претендуют два кандидата, необходимо внести некоторые разъяснения — без них читателям будет трудно следить за ходом событий и оценить роль рассказываемой нами истории. Разумеется, мы нарушаем правила повествования, но надеемся, что приведенный выше довод послужит нам извинением: может быть, эта краткая справка пригодится будущему кандидату в академики, введя его в курс дела и ознакомив с правилами и обычаями этой почтенной корпорации.

На первом после похорон «бессмертного» заседания его место официально объявляется вакантным. Заседание это называется «поминальным». Через четыре месяца происходят выборы преемника.

В первые два месяца из тех четырех, что отделяют «поминальное заседание» от выборов, сообщить о своем желании баллотироваться в Академию может любой бразильский гражданин мужского пола (лишь через тридцать шесть лет после описываемых событий в ряды «бессмертных» были допущены женщины), опубликовавший

по крайней мере одну книгу. По истечении двух месяцев прием заявлений прекращается. В оставшееся время претендентам надлежит завоевывать голоса академиков, а академикам — размышлять о том, кому именно окажут они честь своей поддержкой.

Кандидат считается избранным, если он получил абсолютное большинство голосов — то есть на один голос больше половины академиков, принимающих участие в выборах. Голосование тайное: академики опускают бюллетени в опечатанную урну. «Бессмертный», по какой-либо причине не имеющий возможности лично присутствовать на выборах, присылает в запечатанном конверте бюллетень и письмо, объясняющее причины отсутствия.

Академик может вообще воздержаться от голосования, а также имеет право вычеркнуть фамилию кандидата. В первом случае он показывает, что ничего не имеет против претендента, но считает, что его интеллектуальные качества не дают ему права вступить в Академию. Вычеркнутая фамилия — средство более радикальное: тем самым академик заявляет, что активно протестует против того, чтобы кандидат стал его собратом. В первом случае претендент (если все остальные академики проголосовали за него) считается избранным единогласно. Во втором случае — нет.

После выборов академики в полном составе отправляются домой к своему новому собрату, где их ждет обильный и изысканный стол (обычай этот заслуживает всяческого поощрения). В доме свежее испеченного «бессмертного» собирается, как правило, очень много народу: политические деятели, кое-кто из правительства, интеллектуальная элита, земляки, друзья и поклонники. Шампанское и виски текут рекой, и празднество продолжается до утра.

На долю двух или трех академиков выпадает при-скорбная обязанность: прежде чем заключить нового собрата в объятия, они отправляются к забаллотированному кандидату, дают ему объяснения, пытаются ободрить в эту горькую минуту и обещают скорый реванш. «Уж следующий раз...» По мнению Родриго Инасио Фильо, знатока и ревнителя протокола, приличия требуют, чтобы члены-утешители, разделяя горе семьи, не смели притрагиваться ни к яствам, ни к питьям, если таковые еще не убраны со стола, который был накрыт для того, чтобы отпраздновать победу — победу, которая не состоялась.

Сражение при Малом Трианоне длилось немногим более двух месяцев и закончилось — довольно неожиданно — через десять дней после того, как истек срок подачи заявлений на место в Бразильской Академии, освободившейся после смерти поэта Антонио Бруно. Баллотировались двое: полковник Агналдо Сампайо Перейра и генерал Валдомиро Морейра (кандидаты перечислены в порядке подачи ими заявлений). Ни один штатский литератор не осмелился претендовать на это место, поскольку утвердилось общее мнение, что оно по праву и традиции принадлежит вооруженным силам, а вертопрах и штафирка Антонио Бруно занял его по необъяснимой случайности: недоглядели, прохлопали, плохо несли караульную службу.

То, что творилось в промежутке между окончанием битвы и началом выборов, не имеет ничего общего с крестовым походом, провозглашенным и возглавленным Афранио Портелой. Военные действия, которые велись по высшим законам стратегии и оперативного искусства, сменились самой настоящей партизанской войной, а сам местре Портела сдал верховное командование над объединенными силами сопротивления своему куму Эвандро Нунесу. Почтенный ученый желал доказать, что в Бразильской Академии нет — и не будет! — мест, закрепленных за той или иной — какой угодно! — организацией.

Сражение прошло три этапа. В первые двадцать дней инициативой владели сторонники генерала Морейры. Смятение, вызванное намерением генерала баллотироваться — многие академики были приятно или неприятно поражены, узнав о том, что у полковника Перейры, считавшегося единственным претендентом, объявился соперник, — и стремительные действия, которыми руководил Афранио Портела, позволили генералу занять выгодные позиции и приобрести новых сторонников — среди них были и перебежчики из стана врага. Сам же этот враг был настолько уверен в победе, что отнеся к предвыборной борьбе без должного внимания и даже отложил обязательные визиты будущим коллегам до своего возвращения из инспекционной поездки по югу страны — по штату Санта-Катарина, — где произошли события, потребовавшие немедленного вмешательства, и по беспокойному штату Рио-Гранде-до-Сул. Афранио Пор-

тела воспользовался его отсутствием и двинул свои войска на приступ.

Верные полковнику Перейре части поднялись в контратаку, ответив на эту вылазку не менее яростным ударом. Лизандро Лейте оправился от удивления — теперь нечего было и думать, что полковник останется единственным претендентом, — и поспешил заручиться поддержкой могущественных союзников, которые могли бы переломить ход сражения и принудить генерала к позорной капитуляции. На тех академиков, которые еще колебались, не зная, к кому примкнуть, было оказано давление настолько мощное, что генерал отныне мог рассчитывать лишь на полдюжины ничего не значащих голосов.

Чем же ответить на действия разъяренного Лейте, который применил подкуп и шантаж, прибегнул к вмешательству грозных сил, не имеющих никакого отношения к Академии? Местре Портела долго не раздумывал. Интрига против интриги, заговор против заговора, «не брезговать ничем!» — таковы были его приказы и таков был второй этап борьбы.

В последние двадцать дней перед выборами установилось относительное равновесие сил, зато смущение умов достигло своего апогея. Оперативные карты противоборствующих сторон — имеется в виду испещренный кабалистическими знаками список академиков с их адресами и телефонами — зафиксировали паритет. Не менее десяти имен значилось в обоих списках одновременно: по мнению Лизандро, это были испытанные приверженцы полковника; по убеждению Афранио — надежные сторонники генерала. На этом этапе сражения противники широко применяли военную — и невоенную — хитрость, клевету, сплетни. В ход пошли все способы воздействия на колеблющихся: от запугивания до грубой лести.

Битва при Малом Трианоне окончилась неожиданно для ее участников, когда боевые действия были в самом разгаре. Вздых облегчения заглушил даже ликующие клики в стане победителей.

ПРОИСШЕСТВИЯ В ШТАТЕ САНТА-КАТАРИНА

Политическая обстановка в стране и за границей постоянно складывалась в самом благоприятном для полковника Перейры смысле. Однако случилось так, что эта благоприятная обстановка сыграла на руку и генералу

Морейре: безнаказанная свобода действий, которой он не преминул воспользоваться на первом этапе кампании, объясняется происшествиями в штате Санта-Катарина. Последствия этого случайного совпадения были очень значительны. Полковник Перейра был вынужден отвлечься от своих академических забот и заняться делами, за которые нес прямую и полную ответственность, поскольку являлся столпом режима и горячим сторонником союза между третьим рейхом и Новым государством. Союз этот, хоть и не был подписан, тем не менее уже вступил в силу и переживал в ту пору свой медовый месяц.

Тут на сцену выходит капитан Жоакин Гравата, который в это самое время прибыл для прохождения дальнейшей службы в Санта-Катарину с родимого Северо-Востока и принял, сам того не зная, участие в битве при Малом Трианоне на стороне генерала Морейры и его покровителей.

После того как Бразилия была провозглашена Новым государством, любые политические манифестации были запрещены, а все без исключения партии, кроме одной, — распущены. Капитан Жоакин Гравата, воспитанный в духе высокого патриотизма, с особой чувствительностью относился ко всему, что могло бы нанести ущерб территориальной целостности страны или ущемить ее национальное достоинство. Раньше он служил в амазонской сельве, зорко охранял границу и был готов отразить любую попытку вторжения со стороны злонамеренных соседей. Там, на севере, капитан проявил себя истинным патриотом, на юге он доказал, что ляжет костями, но не допустит попрания законов.

В ходе следствия, учиненного по поводу событий в Санта-Катарине, кое-кто пытался объяснить приверженность капитана неукоснительному соблюдению буквы закона его недвусмысленными политическими антипатиями. Однако доказательств не нашлось, дело прекратили, когда же после Пёрл-Харбора и Сталинграда отношение к войне резко изменилось и постыдные союзы были разорваны, капитана отправили в Италию, где на полях сражений он добыл себе и новые чины, и награды.

Но все это произошло уже потом, а в тот миг, когда капитан, расставшись с амазонскими индейцами и метисами-кабокло, приехал в Блюменау, столицу штата Санта-Катарина, ему показалось, что он попал за границу. И не в том было дело, что вокруг ходили белокурые и

голубоглазые арийцы, а германская речь, неприятно поражая ухо, звучала не в пример чаще португальской. Капитан обнаружил, что жители Блюменау нарушают — прямо-таки попирают! — законы, изданные правительством страны. Хорошее это правительство или дурное — другой вопрос, но никому не позволено забывать, что это правительство суверенной страны, которая расположена в Южной Америке и называется Бразилия, и никак иначе.

Блюменау, еще несколько лет назад мирный бразильский городок, ныне стал центром воинственной германской колонии. Капитан Гравата, уроженец штата Сержипе, не имел ничего против смешения рас, но болезненно относился к любым попыткам подорвать престиж своей страны и был ошеломлен тем, что увидел. В клубах, школах, церквях, на улицах и площадях Блюменау постоянно устраивались шумные и многолюдные манифестации. Демонстранты, отмечая победы нацистских войск, ходили по городу с флагами, транспарантами, изображениями свастики и портретами фюрера. Молодые люди в черных и коричневых рубашках маршировали гусиным шагом, вскидывали руку в нацистском приветствии и кричали: «Хайль Гитлер!» С трибун, воздвигнутых в парках и скверах, произносились яростные подстрекательские речи — на баварском диалекте они звучали особенно гнусно.

Разве не запретило правительство политические речи как в частных собраниях, так и в общественных местах? Запретило. Разве не объявлены вне закона все политические партии? Объявлены. Так почему же национал-социалистская партия, с центром в Берлине, открыто действует в Блюменау — в городе, который, по мнению капитана Граваты и его подчиненных, был и остается бразильской территорией? Желая внушить горожанам уважение к закону, капитан призвал к себе местного префекта и попытался выработать план совместных действий. Прежний префект был снят со своего поста в начале войны, а его преемник совмещал охрану общественного порядка с обязанностями руководителя местного отделения нацистской партии. Выслушав капитана, он усмехнулся наивности этого скромного и смуглого мулата: запрещение политических собраний не распространяется на те празднества, которыми немецкая колония в Бразилии отмечает победы вермахта. Что же касается партии, то она, будучи нацистской, во-первых, и немецкой, во-вто-

рых, юрисдикции бразильских властей не подлежит. Отговорив, префект снова усмехнулся и посчитал, что инцидент исчерпан. Капитан был другого мнения: ему не понравились ни объяснения префекта, ни его усмешки. Он начал действовать.

Он конфисковал знамена со свастикой и плакаты с лозунгами, разнообразные нацистские эмблемы и обширную литературу на немецком языке, бесчисленные портреты фюрера и значительное количество оружия. Он запер на замок дом, в котором помещалось местное отделение партии, и спрятал ключ в карман. Он разогнал демонстрацию протеста, которую попытался было устроить префект, и посадил за решетку самых ретивых ее участников.

Газеты почти никак не отозвались на все эти события — лишь в двух или трех появились короткие заметки, но цензура немедленно запретила какие бы то ни было комментарии к самим этим происшествиям и к тому, что за ними последовало. А последовало вот что: полковник Перейра спешно выехал в Санта-Катарину, капитан Гравата был не менее спешно снят с должности и предан военному суду; под звуки фанфар свастика вернулась на старое место; вновь взметнулись в нацистском приветствии руки, снова глотки гаркнули: «Хайль Гитлер!»

А покуда полковник наводил порядок, восстанавливал законную власть в Блюменау и инспектировал города Рио-Гранде-до-Сул во избежание подобных инцидентов и для укрепления тевтоно-бразильских уз, генерал Морейра ездил с визитами к членам Бразильской Академии и произносил на зубок затверженную речь: он, представитель высшего офицерства, писатель и военный, историк и филолог, желает занять среди «бессмертных» место, по традиции принадлежащее армии, и потому просит, чтобы академик оказал ему честь, проголосовав за него.

Иные академики радовались появлению новой кандидатуры: не будь генерала, им пришлось бы голосовать за мерзкого нациста. Иные чувствовали беспокойство: не будь генерала, полковник остался бы единственным претендентом и они со спокойной совестью, не опасаясь ни осуждения, ни укоризненных намеков, избрали бы в Академию могущественного шефа службы безопасности.

В заключение необходимо сообщить, что, хотя капитан Жоакин Гравата вмешался в ход предвыборной борьбы, не имея о ней ни малейшего понятия, имя Антонио

Бруно все же было ему известно. Он читал замусоленный, от руки переписанный экземпляр «Песни любви покоренному городу» и находил в этих стихах призыв к борьбе и приказ не сдаваться. Он прибыл в покоренный город Блюменау и решил освободить его.

ПОРТУГАЛЬСКИЙ ПОРТВЕЙН И АНГЛИЙСКИЕ БИСКВИТЫ

Никто не знал, куда именно выехал из Рио полковник Перейра, где именно крепит он государственную безопасность: все это хранилось в тайне, и потому академику Лизандро Лейте не удалось заблаговременно подготовить своего подопечного к скверным новостям. Тщетно пытался он узнать, где находится полковник и как с ним можно связаться. Перед своим внезапным отъездом Перейра позвонил ему:

— Я уезжаю на несколько дней по срочному делу... Отложим визит к послу до моего возвращения.

— Поезжай, ни о чем не тревожься, я все объясню Франселино. А когда вернешься, составим расписание визитов. Видишь, как хорошо быть единственным кандидатом: можно никуда не торопиться. Поезжай спокойно, я на страже,— необдуманно добавил Лейте.

Немедленно после «поминального заседания» он отнес заявление полковника в секретариат Академии. Лизандро видел, что вся страна объята ужасом: никто не посмел баллотироваться, бросив вызов всемогущему полковнику, за которым стояло правительство. Сначала Лейте регулярно навещался в Малый Трианон, обменивался любезностями с президентом и с удовлетворением отмечал, что все тихо. Потом он совсем успокоился, счел подобную бдительность излишней и обременительной и стал появляться в Академии только изредка, ограничиваясь телефонными разговорами с коллегами по «бессмертию». Лейте предрекал, что после избрания полковника для Академии начнется эра благоденствия, золотой век.

Выполняя свое обещание, в тот вечер, когда его любезный друг Агналдо отбыл в командировку, Лизандро Лейте отправился к послу Франселино Алмейде, который жил один, если не считать старой служанки, носившей титул домоправительницы. Лейте собирался от имени полковника принести извинения и назначить дату нового визита, в ходе которого Перейра лично засвидетельствует академику свое почтение и заручится его поддержкой.

Все кандидаты в Академию непременно наносили первый визит послу Франселино Алмейде, старейшине Академии, единственному из членов-учредителей этой почтенной корпорации, кто еще был жив.

Домоправительница провела Лейте в комнату и попросила подождать. Тут Лизандро бросилась в глаза великолепная корзина с заморскими фруктами, жестяными коробками английских бисквитов, плитками швейцарского шоколада, бутылками португальских портвейнов и хинных настоек. Рядом, на столе, лежал конверт, помеченный фирменным знаком лучшей и самой дорогой кондитерской в Рио, «Рамос и Рамос», и записка следующего содержания: «Выдающемуся дипломату и прославленному писателю Франселино Алмейде в знак глубокого уважения от генерала Валдомиро Морейры». Лизандро было небезызвестно имя генерала и почерк, которым была написана записка,— такие каракули могла вывести только коварная рука второго Макиавелли — академика Афранио Портелы. Лейте был ошарашен: что означает эта колоссальная корзина, это по-королевски щедрое подношение? Он и сам не так давно послал Франселино корзину фруктов — правда, не такую роскошную и не из такой дорогой кондитерской,— прикрепив к ней визитную карточку полковника Перейры. Проклятый Портела, бессовестный плагиатор!

Франселино Алмейда, льстец, любезник, приятнейший светский говорун, далеко продвинулся по лестнице дипломатических рангов: он был послом в Бельгии, Швеции, Японии, состоял в должности генерального секретаря министерства иностранных дел, и «бессмертие» было ему просто необходимо. В возрасте двадцати восьми лет Алмейда, сочинив тощий сборничек рассказов и восторженное исследование о творчестве Машадо де Ассиза — как видим, создать он успел не очень много,— стал одним из сорока писателей, основавших Бразильскую Академию. В те далекие времена это не вызвало ни удивления, ни зависти, потому что новорожденная Академия была учреждением бедным, никому решительно не известным, не имела даже своего помещения и не выдавала жетонов. Через тридцать лет Франселино пополнил свою скудную библиографию еще одним сочинением — книгой путевых заметок «Страна восходящего солнца». Алмейда был не женат и в тех странах, где протекала его деятельность, пользовался славой неутомимого обожателя прекрасной половины человечества.

Сэр Энтони Локк, посол ее величества королевы Великобритании при дворе микадо, выйдя в отставку, опубликовал скандальнейшие «Мемуары», в которых не раз поминает мистера Алмейду — вместе с ним они изучали ночную жизнь и эротические ритуалы Востока. В течение всего срока своего пребывания в Японии они достойно представляли дипломатический корпус в значных местах Токио, стяжав там себе громкую славу. Так продолжалось до тех пор, пока «mister Almeida, the geisha's king»¹ не перевели к новому месту службы, что глубоко опечалило английского посла. Книга Франселижо, посвященная японским обычаям, умалчивает о сэре Энтони Локке, равно как и о ночной жизни Токио, несмотря на то, что сам Алмейда с возрастом вовсе не стал нечувствительным к женским прелестям — скорее, наоборот.

Узнав о приходе коллеги, он вышел к нему, предшествуемый домоправительницей, — она несла на подносе две рюмки, бутылку портвейна и тарелочку с бисквитами. Старейшина Академии выслушал и принял извинения полковника, переданные ему Лизандро.

— Не беда, условимся о новой встрече в удобное ему время. Только не завтра — завтра я принимаю генерала Валдомиро Морейру. Скажу вам по секрету, милый мой Лизандро: самое лучшее в нашей Академии — это выборы. Кандидаты так любезны, так... обходительны. Кому бы понадобился я, дряхлый старик, отставной посол, получающий от Итамарати жамскую пенсию — только-только с голоду не умереть, — если бы не выборы? Никому. Но стоит лишь появиться вакансии, и вот, полюбуйтесь: за десять дней это уже вторая корзина с фруктами, винами и сладостями — все заграничное и высшего качества... — С этими словами он обмакнул кусочек английского бисквита в португальский портвейн.

— Вы хотите сказать, что генерал Морейра тоже намерен баллотироваться?

— Разве вы не знаете? Он только что подал заявление. Это опасный соперник, друг мой.

Посол ни словом не обмолвился о хореппешкой секретарше генерала, которая появилась вслед за рассыльным с корзиной, чтобы уточнить день и час предполагаемого визита. Привлекательная эта девица не отличалась, судя по всему, чрезмерной строгостью нрава: она довольно

¹ «Мистера Алмейду, короля гейш» (англ.).

долго и оживленно беседовала с Франселино, дав ему понять, что юнцы ее не интересуют — все они такие неотесанные и легкомысленные. Очевидно, она имела в виду, что дипломат Франселино Алмейда, напротив, на редкость утончен и изыскан.

Лизандро, договорившись о том, что позвонит Франселино немедленно по возвращении полковника, во всю прыть понесся в Академию. Вот тебе и единственный кандидат!..

СОБЛАЗНИТЕЛЬНИЦА

— Разве есть что-нибудь, чего я не сделала бы для него?

«Медная роза, медовая роза, юная роза-бутон», — вспоминает местре Аффранио, и нежная улыбка трогает губы старого академика, сидящего за столиком маленького молочного кафе. Девушка краснеет. Волосы у нее длинные и гладкие, как у индианки, губы пухлые, как у негритянки, глаза зеленые, как у белой...

— Знаете, он ведь присылал мне розы, даже когда все уже кончилось... Другого такого нет на свете... И не будет.

Аффранио Портела объяснил ей ситуацию, рассказал, как важно сохранить память о Бруно и какое значение имеет голос члена-учредителя, единственного оставшегося в живых основателя Академии. Всю свою жизнь Франселино Алмейда угождал только сильным мира сего — и женщинам. Полковник Агналдо Сампайо Перейра — сильнейший из сильных.

— Соблазнить древнего старца? — переспрашивает удивленная Роза. — А он еще смотрит на женщин?

— Еще как смотрит! Я сам свидетель.

Несколько месяцев назад в дверях Малого Трианона они с Бруно заметили, как жадно вспыхнули глаза дряхлого академика, устремленные на смуглые ноги проходившей мимо девушки. Портела отпустил какое-то ироническое замечание, но Бруно заступился за Алмейду и сказал, что когда сам он больше ничего не сможет брать от жизни, превратится в никому не нужную рухлядь, то будет греться на солнышке где-нибудь в сквере, провожать женщин долгим взглядом, и будет ему хорошо.

Местре Аффранио и Роза замолчали, погрузились в воспоминания: он думал о друге, она — о возлюбленном.

Роза допила свое молоко. Когда-то она, восемнадцатилетняя девушка, соблазнила зрелого мужчину, который был на тридцать лет ее старше. Она влюбилась в него в тот самый миг, когда увидела из окна ателье, где важные и богатые дамы шили себе туалеты.

ПОРТНИХА

Роза читала «Пятичасовой чай» — трогательный и забавный рассказ, который Аффранио Портела написал про нее и про Бруно. Рассказ этот показался ей милым, романтическим и выдуманным от первого до последнего слова. Все вроде бы так, как было по правде — предложение руки и сердца, например, — и все наоборот. Аффранио описал опытного соблазнителя, бессовестного доджуана, который свел с ума неопытную девушку, наигрался ею и бросил. Все не так, все наоборот! Но кто поверит Розе, если она и расскажет все без утайки?! Даже Аффранио Портела, великий знаток женской души, не поверит, что бедная юная швейка вела себя так, как она себя вела. Да и Роза не смогла бы объяснить, почему она решилась тогда... Одно только Роза знает твердо: никакое это было не безумие и уж вовсе не «упоение сладострастья». Просто любовь, полдневное солнце и полночная луна. Налетел какой-то ненасытный и неожиданный ураган, ливень затопил землю, молнии распоролы небо. Кто бы мог подумать, что Роза решится на безрассудное, безоглядное, безграничное безумие?

...Невозмутимо и серьезно проходила она под градом комплиментов, предложений, приглашений по своей улице в пригороде Рио. Сам Зекап, полузащитник «Мадурейра-Атлетико», которого уже переманивали в знаменитый клуб «Ботафого», напрасно терял время, вращая в землю при появлении Розы. «Вот гордячка — видно, принца ждет...» — судачили соседи, когда она, отрешенная и занятая своими мыслями, шла мимо. А мысли ее витали далеко: Роза думала о незнакомце за столиком кафе «Коломбо». Он был красивей любого киноактера — нечего и сравнивать. Роза не знала, что он поэт, и поэт знаменитый. Она полюбила его самого, а уж потом открылись ей его стихи. Неизреченна щедрость господня.

«...Я все смотрела на него да смотрела, и вот наконец он поднял голову и в окне на втором этаже увидел меня».

Свершилось: поэт поднял голову и в окне на втором этаже увидел девушку, которая смотрела на него и улыбалась. Он помедлил мгновение, всмотрелся повнимательней, словно отгадывал какую-то загадку, поставил на стол, не донеся до губ, рюмку смородинового ликера. Потом снова повернулся к соседу, стал слушать, что тот ему говорит. «Хорошенькая...» — отметил про себя Бруно.

Он приходил в «Коломбо» не каждый день — то он тут, то нет его. Роза ждала. Роза теряла терпение, Роза колола себе пальцы иголкой. Однажды Бруно перед уходом снова взглянул в ее окно — быть может, его рассеянный взгляд по чистой случайности встретился с взглядом Розы. Она помахала ему на прощание, и он с улыбкой ответил. На следующий день Роза расхрабрилась и послала ему воздушный поцелуй. Она была скромна и застенчива, она почти никогда не прихорашивалась и не подкрашивалась, ей исполнилось восемнадцать лет, и у нее еще не было возлюбленного. Снедавнее ее пламя зажег Бруно — так упавшая с небес молния зажигает лес.

...После этого он не появлялся целую неделю. Тогда Роза на сбереженные деньги — она брала работу на дом — купила его книгу. Модистка мадам Пик, заметив, на кого так часто смотрит ее помощница, сказала ей: «Un poète célèbre, ma petite, toutes les femmes veulent coucher avec lui»¹. В витрине книжной лавки Роза увидела его книгу — это было очередное издание сборника «Танцовщик и цветок», — спросила, сколько она стоит, и стала работать сверхурочно. В школе Роза училась не хуже других и сейчас без особого труда перевела фразу мадам Пик. Ах, Роза и сама не могла думать ни о чем другом. Когда же она прочла стихи, то поняла, что красивый сеньор из «Коломбо» — это переменчивый трубадур, неисправимый бонвиван, несравненный любовник. Что ж, честная девушка из пригорода решила стать достойной его, превратилась в доступную и неистовую хищницу, «женщину-вамп».

Когда Бруно снова появился в «Коломбо» и рассеянно поднял глаза, Роза сделала ему знак и, схватив книгу, слетела вниз по ступенькам. Она запыхалась от бега, и поэт, увидев ее перед собой, обомлел: он и не думал,

¹ Это знаменитый поэт, моя милая, все женщины мечтают спать с ним (фр.).

что она так хороша. Бруно радовался всякий раз, когда узнавал, что его стихи знают и любят не только объевшиеся поэзией снобы, но и простые люди из народа — вот такие, как эта очаровательная швея. Ангел небесный, а не швея.

Бруно сидел за столиком в одиночестве: приятель его еще не пришел. Он попросил Розу сесть, предложил ей выпить чаю или ликера: сам он по привычке, приобретенной в бистро Сен-Жермен-де-Пре, потягивал свой неизменный черносмородиновый ликер. Не сводя глаз с поэта, девушка покачала головой.

— Меня зовут Роза Мейрелес да Энкарнасан, можно просто Роза.

Бруно достал карандаш и стал писать на титульном листе, вырисовывая каждую букву:

— «Розе — от автора с...» Так с чем же? — спросил он шутя.

— С поцелуем.

Позабавленный Бруно улыбнулся. Роза смотрела, как движется его коленая рука, выводя на белой бумаге безупречно ровные строчки. Все в этом человеке было безупречно...

— Что же ты стоишь? Садись, — мягко и ласково сказал он.

— Тут я с вами сидеть не хочу, — ответила Роза, прежде чем успела подумать, что говорит.

— А где хочешь? — не то удивленно, не то насмешливо прозвучали его слова.

— Где угодно.

— А когда? — Бруно еще посмеивался, но уже явно был заинтересован.

— Хоть сегодня. Я кончаю работу в шесть часов.

Бруно взглянул на нее: совсем девочка, в простеньком, но изящном платье, которое она скроила и сшила своими руками. Она годилась поэту в дочери. Без сомнения, бедна. Она понравилась поэту, но он вовсе не собирался злоупотреблять теми чувствами, которые пробудили в душе девушки его стихи. Будь она постарше, будь она барышней из общества — одной из тех, кому не терпится все испробовать, — Бруно колебаться бы не стал. А тут в его власти оказалась потерявшая голову девочка из предместья, швейка из ателье, сама зарабатывающая себе на пропитание. Прелестная девушка, кровь скольких рас смешалась в ней?! Жаль, но таких он не трогает. Ну да не беда: в красивых женщинах —

богатых и праздных — недостатка нет. Он пошел на пятную:

— Сегодня я никак не могу. Приглашен на ужин, извини.

— Тогда завтра. В любое время. Я кончаю в шесть, но могу уйти пораньше. Завтра?..— Зеленые глаза сверкают, рот полуоткрыт. Вся она — воплощенное требование, назначь ей свидание — да и только.

Ситуация уже не казалась Бруно забавной. Еще никогда не видел он женщины, так откровенно и бесхитростно требовавшей любви. Он сдался. Почему бы и нет, в конце концов, раз она так настаивает?! Сбежать всегда можно...

— Завтра так завтра. В шесть я буду ждать у книжной лавки.

Он протянул ей надписанную книгу, но Розе одной книги было мало.

— А поцелуй? — Пухлые негритянские губы жаром опажули смуглую, как у араба, щеку поэта. Бруно и Роза были похожи: оба с востока, из Африки.

Вспоминая потом эту сцену, она часто спрашивала себя: так кто же истинная Роза — эта не знающая запретов женщина, рожденная для страсти, или та, строгих правил, скромная и серьезная девушка из предместья, которую изобразил в своем рассказе местре Аффранио?

Это она первая произнесла слово «любовь», это ей пришлось соблазнить Бруно, потому что непостоянный и ветреный волокита, давно потерявший счет своим победам, думал, что перед ним наивная, без памяти влюбившаяся девчонка, которая запуталась и сама не знает, где стихи, а где реальность, и был в большом затруднении: как поступить, чтобы не разочаровать ее, не причинить ей боли, и, с другой стороны, как вести себя, чтобы не сбить ее с пути, не сломать ей судьбу непоправимым шагом, не сделать несчастной на всю жизнь?.. Бруно гулял с Розой по улицам, угощал в ресторанчиках, где бывало мало посетителей, неведомыми ей кушаньями, показывал самые очаровательные уголки Рио, приносил ей книги — свои и чужие, — дарил ей розы, шептал строки стихов, сидя рядом с нею в Ботаническом саду — на скамейке они выглядели точь-в-точь как влюбленные со слащавой открытки, — целовал ей исколотые иглой пальцы, смуглую щеку, зеленые глаза и сообщал по секрету Аффранио, что этот его роман — совсем особенный, забав-

ный и необычный: связь платоническая и поэтическая, на удивление целомудренная.

Но пламя страсти бушевало в Розе все сильнее, и, как ни нравились ей каждое слово, каждое прикосновение Бруно, каждая его мимолетная ласка — гладил ли он ее по волосам или целовал в затылок, — удовлетвориться такой малостью она вовсе не собиралась. Она подставляла ему губы, и однажды Бруно пришлось ее поцеловать. Впрочем, может быть, это она его поцеловала — редкий случай с Бруно: раньше в подобных ситуациях игру вел он. Роза хотела стать не только возлюбленной, но и любовницей.

Она была не в силах больше вынести тех ограничений, на которые обрек ее и себя чересчур осторожный и деликатный Бруно, и попросила, чтобы он показал ей свой дом в Санта-Александрине. В последнем номере «Ревиста дос Сабадос» о нем был помещен репортаж с фотографиями: увешанные картинами стены, вывезенные из дальних странствий диковины, мраморный купидон под потолком, увитое плющом крыльцо и на ступеньке — сам хозяин в небрежной позе.

— А ты не боишься?

— Нисколько. Мне очень хочется...

Взявшись за руки, они пересекли сад. Бруно на ходу сочинял стихи: «Подсолнухи и ящерики приветствуют тебя», а потом, в гостиной, хотел объяснить ей смысл сюрреалистического полотна, но полная решимости Роза направилась в спальню — с сюрреализмом успеется.

«Разумеется, — думал Бруно, когда она потянула его за руку и они упали на кровать, — разумеется — ух ты! — разумеется, она уже спала до меня с десятком мужчин, а я-то, старый дурак, считал, что она воплощенная невинность и добродетель...» Бруно ошибся и на этот раз. Роза на самом деле была воплощением многих добродетелей, и среди прочих — отваги и цельности.

Через некоторое время Бруно — соблазненный и до- нельзя удивленный фавн — вышел в сад, окружавший дом, и оборвал с кустов все розы. Получилась целая охапка. Роза, распростертая на белоснежной простыне, являвшей следы ее недавнего прощания с девичеством, казалась, возносила хвалу господу. Лепестками роз осыпал Бруно это из бронзы отлитое тело, эту пробужденную плоть.

...Но все же до конца понять Розу, безраздельно принять ее в свою душу Бруно не удалось. Та жадная и

нежная любовь — нет на свете женщины нежнее, сказал местре Афранио, — которую питала к нему Роза и на которую он отвечал как мог, любовь, лишенная даже тени расчета или корысти, приносила поэту смутное ощущение вины. Роза ничего не требовала, но это ничего не меняло: она продолжала оставаться бедной швейкой, навивной девушкой, сбившейся с уготованного ей пути; не будет ни замужества, ни детей, ни семейного очага, ни безмятежного, пристойного существования. Сделав ее своей любовницей, Бруно круто повернул ее судьбу и теперь испытывал чувство вины за то неопределенное будущее, которое ждало обесчещенную девушку.

Прошло несколько месяцев, и вот наконец настал день, когда Бруно с интересом и вожделением взглянул на другую женщину. В этот же день он счел себя обязанным жениться на Розе, чтобы не оставлять ее без защиты.

Роза ответила на его предложением отказом. Бруно, человек кристальной честности, не способный ни к коварству, ни к уверткам, ничего не смог от нее скрыть. Не задавая вопросов, Роза прекрасно поняла истинные причины его предложения. Она сказала «нет». «Я была твоей женщиной, больше мне ничего не надо. Ты не создан для семейной жизни, ты будешь плохим мужем». Прежде чем едва заметное пресыщение сменилось пренебрежением, прежде чем началась ложь, Роза ушла. Она исчезла из жизни Бруно так же, как и вошла в нее, — без объяснений.

Но и после того, как все было кончено, он продолжал посылать ей розы — в годовщины их первой встречи, первого обладания на усыпанной лепестками постели и в память их последней, горькой и сладостной ночи, ночи любви и неожиданного разрыва. Розе были посвящены самые таинственные и странные стихи — цикл «Амазонская мавританка»: «Вся ты темною тайной была».

БЫВШИЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ КАНДИДАТ

Итак, нет больше единственного кандидата, плакало единогласное избрание. Лизандро Лейте, запустив пальцы в свою львиную гриву, чешет в затылке: то-то порадуется полковник, когда узнает, что обе грандиозные перспективы, которые посулил ему жизнерадостный

юрист, накрылись. Лейте хотел быть главным и единственным благодетелем могущественного полковника, он ни с кем не желал делить ответственность за избрание Перейры, всецело посвятив себя предвыборной борьбе. А теперь ему одному предстоит расхлебывать все неприятности — последствия того, что его первоначальные оптимистические прогнозы не сбылись. Проклятый Портела! Покуда Лизандро обрабатывал ректора Раула Лимейру, убеждая его не лезть на рожон и дожидаться следующей вакансии — «Персио уже не выходит из дому, врачи отказались делать операцию: опухоль в легком дала метастазы...», этот дьявол Портела выкопал откуда-то генерала, обладателя нескольких напечатанных книг и атлетической фигуры. Теперь он ходит от одного «бессмертного» к другому и, судя по всему, намеревается покончить с предвыборными визитами как можно скорее.

«Гнусный стряпчий» вполне оправдывал свое прозвище: он искал доказательство того, что в появлении второго претендента есть и несомненная выгода, и он это доказательство нашел. Когда полковник Перейра, сокрушив врагов народа, или, лучше сказать, диктатуры и Гитлера, вернулся из командировки, Лейте изложил ему свои соображения.

Фронт борьбы ширится. Изменники и предатели просочились даже в Бразильскую Академию и выставили кандидатом генерала Валдомиро Морейру, чтобы у «бессмертных» появилась возможность выбирать, — тем самым эти негодяи желали сорвать единодушное избрание Перейры. Они просчитались: им не удалось даже хоть сколько-нибудь поколебать твердую позицию полковника. Кто другому яму роет, сам в нее попадет: Аффранио Портела, Эвандро Нунес, Фигейредо Жуниор и иже с ними теперь не смогут оставить бюллетени незаполненными. Проголосовав за одного из кандидатов, академик просто-напросто отдает ему предпочтение, в то время как незаполненный бюллетень со всей оскорбительностью свидетельствует о протесте, об отвращении. Таким образом, эта угроза нас миновала!

— Угрозой, исходящей от врага, можно только гордиться! — Последние события огорчили полковника, а доводы Лейте не убедили.

— Разумеется, если ты, друг мой, надавишь на генерала — вы ведь с ним, так сказать, товарищи по оружию — и убедишь его отказаться от борьбы, то я постараюсь уговорить наших франкофилов проголосовать за

тебя. Ну, а от самых артачливых можно будет добиться обещания воздержаться...

— Даже не подумаю! Генерал меня на дух не переносит: считает, что я приложил руку к его отставке, и, в общем, недалек от истины. Да кто же станет поддерживать это ничтожество, которого за полную бездарность выгнали из «Коррейо до Рио» вместе с его военными комментариями?! Жалкий злопахатель! Что у него за душой, кроме спеси?

— Конечно, конечно. Больше семи-восьми голосов ему не набрать. И уж никак больше десятка.

— Десятка? — Полковник строго нахмурил брови.

— Двух или трех его возможных союзников надо будет постараться переманить на нашу сторону. Я уже предпринимаю необходимые шаги в этом направлении.

— Это совершенно необходимо. Восемь голосов за Морейру, спятившего на «линии Мажино»? Немыслимо! Я рассчитываю на вас, сеньор Лейте.

Обескураженный полковник не назвал его по имени, как обычно. Академик понял, что в замене нежного «Лизандро» сурово-официальным «сеньором Лейте» таится упрек, но попытался вновь завоевать доверие и восстановить прежние дружески-фамильярные отношения:

— Положись на меня. Я не пожалею сил. У меня большой опыт: я знаю, что кому сказать. Ну а теперь, если ты не против, давай-ка составим график визитов. Мы потеряли драгоценное время из-за твоей командировки: теперь надо наверстывать упущенное. Не правда ли, милый Агналдо?

— Истинная правда, любезный Лизандро.

Лейте вздыхает с облегчением, достает из папки два списка академиков, один протягивает бывшему единственному кандидату:

— За дело, полковник! С богом, ура!

ЗАДАЧА ДНЯ

Раздражение полковника Агналдо Сампайо Перейры, и без того раздосадованного намерением генерала баллотироваться, еще увеличилось после того, как он занес первые пять визитов. Ему — человеку, начавшему избирательную кампанию при отсутствии соперника и в предвкушении единогласного избрания, — исход битвы ныне представлялся туманным и неопределенным. Поражения

он не боялся и верил в победу, но было ясно, что триумфального шествия к креслу академика под аплодисменты «бессмертных» не будет. Злопамятный Морейра-«Мажино» сумеет, судя по всему, набрать больше десяти голосов — двенадцать, а то и все пятнадцать. Нужно серьезно поговорить с Лизандро, выработать новую диспозицию и начать наступление, которое низвергнет в прах тщеславного генерала. По сведениям из достоверных источников, этот фанфарон и наглец не сомневался в победе.

Полковник посетил пятерых академиков: двое из них обещали ему безоговорочное содействие, один из этих двоих, сверх того, снабдил ценнейшей информацией.

По совету Лизандро, оставляя в машине своих тяжелых на руку молодцов из личной охраны (молодцы эти были с особой тщательностью отобраны им самим среди личного состава специальной полиции), полковник Перейра (в военной форме, чтобы сразу стало ясно, кто именно намерен баллотироваться) после первых приветствий и обмена любезностями произносил свою речь, очень похожую на речь генерала Морейры. Впрочем, похожи эти речи были только по содержанию, но не по форме, ибо над одной трудился Аффранио Портела, а над другой — Лизандро Лейте. Оба кандидата выказали равную доблесть и литературное дарование, оба, являясь писателями и в то же время представителями высшего офицерства, претендовали на место в Академии, спокон века занимаемое вооруженными силами. Сампайо Перейра еще добавлял, что решил на этот шаг, лишь уступив настояниям товарищей по оружию, во главе с самим военным министром, которому он, кадровый офицер на ответственной должности, подчинился. Под конец он прибегал одну подробность — незначительную на первый взгляд, но весьма ценную для тех, кто ждал от него похвального слова об Антонио Бруно на церемонии вступления. Он не только политический публицист, литературное наследие которого составляет двенадцать томов и позволяет по праву претендовать на место в Академии, освободившееся после смерти Антонио Бруно, но и поэт: автор книги романтических стихов и, по собственным его словам, «старательный ученик покойного мастера, — ученик, желающий стать наследником».

Один из академиков, обещавший ему полную поддержку, выказал себя горячим почитателем полковника и незаурядным интриганом. Он поблагодарил за присылку двенадцати книг (они были разсланы всем

«бессмертным» с витиеватыми дарственными надписями), большая часть которых ему, усердному читателю и единомышленнику мудрого Перейры, уже была известна. Затем он сообщил полковнику, что, по его мнению, избирательная кампания ведется не совсем так, как надо. Разумеется, активная и плодотворная деятельность высокочтимого Лизандро Лейте заслуживает живейшего восхищения, но, с другой стороны, нельзя не отметить, что почтенный юрист допустил целый ряд серьезных ошибок, оставив без внимания несколько важных факторов. Устремив все усилия на Раула Лимейру, который, кстати, и не думает баллотироваться, Лейте упустил из вида военные круги, откуда исходит ныне основная угроза. Кому сейчас принадлежит власть в нашей стране? Благодарение господу, военным: они спасают нас от анархии, они оберегают порядок и нравственность. Поэтому и опасаться полковник Перейра должен только военного. Конечно, генерал Морейра никогда не победит на выборах в Академию, но он может завоевать голоса нескольких академиков,— голоса, которые должны и могли бы принадлежать полковнику, если бы Лейте не возглавил избирательную кампанию единолично, воспрепятствовав тому, чтобы остальные друзья полковника содействовали его победе...

Перейра полон внимания: он высоко ценит доносчиков и интриганов, он опирается на них в своей повседневной борьбе со смутой и беспорядками.

— Моему избранию могут оказать содействие все мои друзья, не только академик Лейте,— я ему, конечно, очень благодарен за все, что он сделал, но в его способностях, скажу вам честно, стал последнее время сомневаться... Что вы мне посоветуете?

— Пусть военный министр направит письма членам Академии. Тем, с кем он знаком лично, можно позвонить по телефону. Кто устоит перед просьбой самого министра?

Двое «бессмертных» обещали подать свой голос за полковника Перейру; двое других отказались — причем по одинаковой причине и даже в одинаковых выражениях: «...к величайшему сожалению, господин полковник опоздал, они уже связали себя обещанием проголосовать за другого выдающегося писателя и представителя вооруженных сил, генерала Валдомиро Морейру». Полковник чувствовал себя так, словно его отхлестали по щекам: он был взбешен и едва сдерживался, чтобы при прощании

не выказать неудовольствия и сохранить светские приличия. Однако Лизандро Лейте было недвусмысленно дано понять, что он проштрафился: имена этих двух академиков не значились в числе восьми приверженцев генерала Морейры.

Тоном гораздо менее сердечным и любезным, чем хотелось бы Лейте, полковник сформулировал задачу дня: ввести в действие силы внешних союзников — военного министра, начальника Генерального штаба, всех власть имущих. Сторонникам посулить золотые горы, отступников — застращать!

ДИПЛОМАТ

Итак, два голоса «за», два — «против», а посол Франселино Алмейда — по обычаю, полковник Перейра нанес традиционный визит ему первому — от прямого ответа ловко ушел.

Старый дипломат принимал полковника очень любезно: угощал бисквитами и хересом, благодарил за корзину с фруктами (хорошо хоть, Лизандро успел предупредить Перейру о своей инициативе после того прискорбного случая на панихиде, когда не в меру бдительные телохранители полковника едва насмерть не пришибли дряхлого старичка), рассыпался в похвалах его дарованию, но твердого обещания голосовать за него так и не дал. Он не сказал прямо «нет» — что правда, то правда, — он не сослался на то, что генерал Морейра уже успел заручиться его поддержкой. Но когда полковник, устав от обиняков и недомолвок, поставил вопрос ребром и сказал:

— Я надеюсь, что вы окажете мне честь, проголосовав за меня, — дипломат, вправляя турецкую сигарету в длинный мраморный мундштук, ответил:

— Вы вправе претендовать на большее. Не беспокойтесь, можете считать себя уже избранным, мой голос вам и не понадобится. — И полковнику очень не понравилась изысканная уклончивость этого ответа.

Поди разбери, что он хочет этим сказать! Школа Итамарати!.. Полковник привык называть вещи своими именами и постоянно становился в тупик, не зная, как держать себя с этим сморщенным шустрим человечком, который обволакивал его паутиной словес. Хотя генерал Морейра уже побывал у дипломата, тот ни словом о нем не

обмолвился, ни разу не назвал его имени. Что бы это могло значить? А черт его знает! Разговор был для полковника сущей пыткой: собеседник ускользал от него, под любым предлогом переводил беседу на другую тему — то хвалил бисквиты, то превозносил херес, то демонстрировал свой окаянный мундштук. Куда легче разговаривать с подрывными элементами — на каждую их увертку полковник может ответить вескими доводами, да еще какими вескими... Любезный до последней степени Франселино проводил полковника до дверей:

— Смело можете заняться своей речью на церемонии вступления. Книги Бруно у вас есть? Вот это был поэт! До чего же он любил женщин!

По всей видимости, дипломат собирался проголосовать за полковника, но почему же в таком случае он не сказал: «рассчитывайте на мой голос»? Лизандро успокаивал оскорбленного полковника как мог; клялся, что Алмейда не подведет: просто у него такая манера выражаться — дипломатическая служба учит не говорить все как есть, а подразумевать и намекать, надеясь на сообразительность собеседника. Однако нет сомнения, что Франселино Алмейда проголосует за полковника — за кандидата, выдвинутого правительством страны. На что ему генерал Морейра, что тот может предложить Алмейде, кроме очередной корзины, да и та будет куплена на деньги Афранио Портелы. Корзина великолепная, спору нет, но, чтобы завоевать голос прожженного дипломата, ее явно недостаточно.

Тем не менее Лейте все же посоветовал полковнику срочно послать Алмейде дюжину шампанского (расходы, само собой, провести по статье «борьба с коммунизмом»).

— Есть прекрасное шампанское из штата Сан-Пауло. Называется...

С отвращением вспомнив вкус красного вина из Рио-Гранде-до-Сул («живой виноград! нектар!»), Лейте сказал:

— Лучше не надо... Не забудь, что Франселино лет тридцать провел за границей...

— Ну и что?

— А то, что надо послать французского.

Полковник Агналдо Сампайо Перейра пожал плечами: какая, мол, разница (деньги на «борьбу с коммунизмом» отпускались в те времена без счета).

— Тогда сам выбери сорт. Вот эти-то изыски и разлагают нацию, и ведут страну к упадку.

Тревогу поднял Энрике Андраде. Этот просвещенный и тонкий знаток литературы, автор книги о бароне Рио-Бранко, страсть к политической деятельности и либеральные взгляды получил от природы и унаследовал от отца — некогда губернатора штата, потом сенатора, потом министра. Андраде был депутатом парламента, распущенного после переворота на бессрочные каникулы, и принадлежал к числу тех академиков, которые ни за что на свете не стали бы голосовать за полковника Перейру. Он входил в делегацию «бессмертных», явившуюся к генералу, чтобы уговорить его баллотироваться, и с мудрой сдержанностью, столь свойственной ему, способствовал по мере сил успеху этого предприятия: он был настойчив в уговорах, сдержан в комплиментах. Андраде обладал широким кругом знакомств — среди тех, с кем он поддерживал связи, были и сторонники режима — и пользовался славой самого осведомленного человека в стране, славой человека, который умеет отличать истину от крылатой сплетни. Иные утверждают, что Андраде уже в те времена в союзе с консерваторами, либералами и левыми организовывал заговор против Нового государства.

Именно этот человек позвонил своему земляку и другу Афранио Портеле (который в свое время много сделал для того, чтобы Андраде, одолев двух опасных соперников, стал академиком) и предложил немедленно созвать заседание военного совета и сообща обсудить опасную ситуацию. Дона Розаринья желала знать намерения мужа и его друзей во всех подробностях, а потому устроила воскресный обед — в честь автора «Жизнеописания Руя Барбозы» были поданы блюда баиянской кухни, — на который академиков пригласили без жен, ибо в противном случае доне Розаринье пришлось бы занимать их разговором и, таким образом, пропустить самое интересное.

...Даже всем известный оптимист Эвандро Нунес дос Сантос был в тот день мрачен и встревожен. Было отчего: Лизандро Лейте перед протокольными визитами полковника успел обегать всех академиков и вручить каждому письмо от военного министра и прочих могущественных — военных и гражданских — лиц. Лица эти настоятельно рекомендовали поддержать полковника Сампайо Перейру. Кроме Лизандро, две другие сволочи, — говоря о своих недругах, старый Эвандро частенько выходил за рамки академической сдержанности — занялись

тем же самым. Кое-каких успехов они достигли: Маркондес, который обещал Эвандро голосовать за генерала, переменял свое решение. Министр сельского хозяйства, в ведении и на содержании которого состояла возглавляемая Маркондесом фольклорная комиссия с непостоянным штатом и неопределенными функциями, обратился к нему с просьбой. Хороша просьба! Это было требование, приказ, ультиматум. Министр без обиняков уведомил Маркондеса, что если Маркондес, его добрый друг и полезнейший сотрудник, будет по-прежнему поддерживать генерала Мореяру, заклятого врага нашего правительства, то поддержку эту нельзя будет расценить иначе как недружественный по отношению к правительству акт, и он, министр, не сможет найти оснований для того, чтобы и впредь оказывать фольклорной комиссии, успешной и плодотворной деятельности которой он, министр, так способствовал, необходимую финансовую помощь. Маркондес, припертый к стенке, капитулировал: не мог же он, в самом деле, терять такую чудную министерскую кормушку! У него хватило порядочности явиться к Эвандро и сообщить о причинах своего отступничества.

— Правительство решило любой ценой провести Перейру в академики,— сказал Энрике Андраде.— Новое государство желает контролировать все сферы и не может допустить оппозиции. Наша Академия — учреждение весьма престижное, выборы каждого нового ее члена вызывают большой общественный резонанс, именно поэтому она должна разделить общую участь. Знаете, сколько писем в поддержку Перейры получил президент меньше чем за неделю? Пять!

Полковник и его приспешники поставили под ружье всех, кого было можно. Накануне вечером кардинал-примас рассказал Андраде, что Лизандро Лейте пытался уговорить его воздействовать на тех академиков, которые больше других были связаны с церковью. Примас отказался. Он не мог, разумеется, не знать, что полковник Перейра несет прямую ответственность за пытки политзаключенных, за налеты на спящие дома в глухие предзакатные часы, за погромы в общественных и частных библиотеках, за публичные сожжения книг, за весь этот бесконечный список преступлений (только вчера архиепископ Ресифе и Олинды сообщил кардиналу о новых, весьма прискорбных происшествиях в Пернамбуко), и потому решил держаться от спора академиков подальше и церковь в него не впутывать. По сведениям Андраде,

министр иностранных дел также отказался выступить на стороне полковника, потому что не раз печатно и публично осуждал слишком крутые методы службы безопасности, начальника же ее попросту терпеть не мог: тот велел подслушивать телефонные разговоры, которые вел из своего министерского и домашнего кабинетов бразильский канцлер,— впрочем, ходили слухи, что долго он на этом посту не останется: уж слишком неодобрительно относится к сближению своей страны с державами «оси».

— Слава богу, что генерал Морейра не из пугливых... Но зато и писателя же вы нам откопали, Родриго! — заключил Андраде.

— Сами поищите — может быть, найдете кого-нибудь получше. Генерал, конечно, не семи пядей во лбу, но человек твердый и смелый. У него немало достоинств.

— Главное достоинство нашего храброго воина — это его дочь. Да простит меня донна Розаринья, но я думаю, она могла бы быть нам весьма и весьма полезна... Если бы захотела... Очень миленькая и непохожа на недоτροгу...

— Перестаньте, Фигейредо,— прервала его хозяйка,— оставьте ее в покое. Гений генерал или бездарность, он наш кандидат, и я позвала вас не для того, чтобы выслушивать про него гадости. Скажите мне лучше, как вы собираетесь бороться с этим... — Не желая пользоваться излюбленными выражениями своего кума Эвандро, донна Розаринья никак не могла отыскать точного определения для полковника Перейры.

— Как мы собираемся бороться?

Афранио Портела, воочию представив себе страшную картину разгрома вверенных ему войск, понял, что теперь, когда битва при Малом Трианоне вступила во вторую фазу и военное счастье улыбнулось неприятелю, нужно двинуть в бой все силы, все — от обоснованных обвинений до совращений и обольщений. Насчет дочери Морейры Фигейредо прав: он, Портела, уже сам... э-э... видел ее. Впрочем, можно будет отыскать девиц более ловких, опытных и свободных, чем генеральская дочь, которая сейчас, кстати, влюблена по уши...

— Боже мой, Афранио, откуда тебе известны такие подробности? — поразилась донна Розаринья.

— Агентурные сведения, моя дорогая. Я должен быть в полном курсе всего, что происходит с нашим кандидатом и его близкими. Ты и представить себе не можешь, что мне известно!..

Да, теперь пришло время забыть про стыд и про честь, потому что нет большего бесчестья и бесстыдства, чем сидеть на заседаниях Бразильской Академии рядом с нацистом — соучастником, если не организатором всех преступлений режима: это полковник Перейра устраивал костры из запрещенных книг, это он приглашал специалистов из гестапо, чтобы они поучили бразильских полицейских пытать политических заключенных. Полковника нужно провалить, чего бы это ни стоило! Нужно доказать, что в Бразилии есть еще честные люди, что Академия останется независимой и благородной. Шутки в сторону: на карту поставлены свобода и жизнь.

Эвандро Нунес собирался в Ресифе читать лекции на юридическом факультете и желал знать, что же это за прискорбные происшествия в Пернамбуко, о которых рассказывал Андраде кардинал.

— Я слышал краем уха, что там пересажали много народу, запретили какой-то спектакль, но подробностей не знаю и не могу сказать, имеет ли полковник Перейра отношение к этим событиям. Эвандро удостоверится in loco¹ и все нам расскажет.

Заседание военного совета происходило до обеда. Невозможно высказывать мнения и принимать решения после ватапы, каруру, мокеки и эфо². Штаб сопротивления набросился на еду, как целое семейство удавов.

ПРОИСШЕСТВИЯ В ПЕРНАМБУКО

Если не считать выступления драматурга Аристеу Арабойи по радио и протеста, опубликованного в конфискованном номере журнала «Вестник Каруару», то можно сказать, что происшествия в Пернамбуко не были освещены средствами массовой информации вовсе. Несмотря на то что протест был подписан виднейшими деятелями культуры — а может быть, именно поэтому, — цензура запретила печатать не только сам протест, но и любое упоминание о событиях, ответом на которые он явился. Однако «Вестник Каруару» отличался таким ничтожным объемом и выходил таким крошечным тиражом, что дежурный цензор Департамента печати и пропаганды просто-напросто забыл о его существовании, благодаря чему журнальчик этот получил возможность и по сей день

¹ На месте (лат.).

² Эфо — блюдо из моллюсков с травами.

бахвалиться, что опубликовал протест представителей бразильской интеллигенции, причем на первой странице. Объясняется это просто: в числе подписавших протест был и главный редактор «Вестника Каруару» фольклорист Жоан Конде. Номер конфисковали, цензору ввели выговор. При повторном недосмотре журнал бы закрыли, а цензора на благо отчизны и в соответствии с неумолимой сто семьдесят седьмой статьей новой конституции выгнали бы с государственной службы.

События в Пернамбуко начались в ту минуту, когда лейтенант военной полиции Алирио Бастос, известный также под кличкой Цепной, со своими бесстрашными солдатами по бревнышку разнес балаган, в котором происходило представление кукольного театра. Дело было на окраине Ресифе, в бедном квартале, где попеременно живут рабочие и мелкие крестьяне-арендаторы. Коротенькая пьеска рассказывала о злключениях одной семьи, страдающей от домогательств буйного и распутного богача фабриканта. Осуществить его гнусные намерения фабриканту помогают полицейские и сам дьявол. Покуда полицейские заставляют главу семьи Жоанзиньо ночь напролет рубить сахарный тростник, сатана толкает его хорошенькую жену Шикю в объятия сластолюбивого богача. У солдат волчий аппетит, луженые желудки, а брюхо набито брюквой — пощады не жди. Жоанзиньо, Шике и ребятишкам остается уповать только на покровительство девицы Марии и на собственное хитроумие.

Неграмотный автор пьесы с простодушной ловкостью так закрутил интригу, что победу в конце концов одерживает Жоанзиньо, несмотря на то что враги во много раз сильнее и богаче его. Он обводит полицейских вокруг пальца, а Пречистая дева творит великое чудо: насылает на неумного богача неизлечимое бессилие. Бравые молодцы-полицейские теряют мужскую статью, пищат тоненькими голосами, и Вельзевул, на которого, как известно, полагаться нельзя, уволакивает недавних союзников в преисподнюю. Публика, сплошь состоявшая из бедняков, хохотала и аплодировала — грубый фарс пробудил в них надежду, топорные куклы напомнили об искусстве. В Ресифе и окрестных городках, на плантациях и фабриках появились десятки балаганов, наскоро сколоченных из старых ящиков, и на этих немудрящих подмостках артисты почти задаром показывали чудеса и правду, забавляли и поучали.

Неизвестно, кто донес на них. Лейтенант Алирио Цепной, угрюмый сутенер — много женщин в округе выходили на панель, отдавая ему выручку, — с четырьмя солдатами разломали балаганчик, отдубасили хозяина вместе с помощником. Досталось и зрителям. Кукольники были препровождены в комиссариат и там примерно наказаны: дабы внушить уважение к мундиру, их избili до полусмерти. Помощнику — сыну хозяина — еще не исполнилось пятнадцати.

Через несколько дней их выпустили, и они пошли искать заступничества у драматурга Аристеу Арабойи, который брал за основу своих пьес, с успехом шедших в Бразилии и за границей, народные «ауто» Северо-Востока страны и дружил с уличными певцами, жонглерами, художниками. Кукольники рассказали ему, как было дело, и показали следы от побоев. Драматург, ни минуты не колеблясь, выступил по радио, в самой популярной программе, покрыв позором действия военной полиции и Цепного лейтенанта.

Возмущенное выступление Арабойи не прошло незамеченным: ДПП строго предупредил «Радио-Олинду», прервал на неопределенный срок выход программы в эфир, а военная полиция пошла войной против кукольных балаганов: во всем штате Пернамбуко, а больше всего в Ресифе, Олинде и их пригородах, ломали театрики, конфисковывали кукол, изгоняли кукольников.

Однако Аристеу Арабойя был родом из сертанов, а значит, упрям как черт и отважен. Он решил не сдаваться и, прямоком отправившись к председателю «Общества любителей театра» Валдемару Оливейре, человеку весьма уважаемому в самых различных кругах, предложил ему перенести на благородные подмостки театра «Санта-Изабел» забавные и печальные истории одноактного кукольного спектакля под названием «Господня кукла», текст для которого он сочинит сам. Весь сбор поступит в пользу пострадавших от полиции.

Валдемар Оливейра и Аристеу Арабойя были людьми настолько известными, что местная цензура заколебалась, не зная, запретить спектакль или все-таки разрешить. Так и не решив этой проблемы, она оставила ее на усмотрение федерального начальства, а то в свою очередь поставило в известность верховное руководство службы государственной безопасности. Вопрос был серьезным: в спектакле затрагивались вооруженные силы. Наконец дело попало в руки полковника Перейры; тут

все и кончилось: полковник моментально квалифицировал кукольный спектакль как подрывную акцию, льющую воду на мельницу международного коммунизма. Он приказал цензуре запретить представление, а ДПП — проследить, чтобы ни в печати, ни по радио не появилось о нем никаких упоминаний.

Покуда продолжалась бюрократическая волокита, организаторы спектакля времени даром не теряли: все билеты были распроданы, день и час представления назначен. Все было готово. Если Рио молчит, значит в высоких сферах не находят в этой затее ничего предосудительного. Пернамбуканский цензор думал-думал, да и разрешил. Поставил свою визу.

Театр «Санта-Изабел» был переполнен. Вот-вот должен был подняться занавес, но в эту минуту солдаты, прижнув штыки, оцепили здание. Зрительный зал очистили, актеров прогнали взащей. Арабойя и Оливейра оказались в Управлении безопасности штата, и там им дали понять, что начальник полиции выполнял приказ из Рио, отданный лично полковником Перейрой. В случае сопротивления местные власти получили указание действовать на основании закона о национальной безопасности: так что Арабойя и Оливейра должны были радоваться, что дешево отделались и не попали под суд. Впрочем, в картотеку их внести успели: сфотографировали анфас и в профиль с номером на груди, сняли отпечатки пальцев.

Но эти интеллигенты из Пернамбуко оказались людьми на редкость упрямыми. Арабойя не только не успокоился, а, напротив, сочинил протест-обращение, который подписали литераторы, музыканты, художники, актеры, университетские профессора — словом, люди самых различных положений и убеждений, начиная со всемирно известного социолога, «нашей национальной гордости», и кончая автором книги о творчестве Эса де Кейроша — несомненным коммунистом. В протесте сообщалось о бесчинствах властей, преследующих кукольников и вступивших за них деятелей театра, и назывались лишь два гонителя: лейтенант Алирио Бастос, всем известный сводник и сутенер, и полковник Перейра, его высокопоставленный соучастник.

Как известно, этот протест был напечатан только на страницах «Вестника Каруару», но в тысячах подпольных копий он разошелся по стране. Некоторых его авторов посадили: Впрочем, исследователя творчества Эса де

Кейроша арестовывали так часто, что у него всегда стоял наготове чемоданчик, а в нем — пижама и зубная щетка. Начались повальные обыски, изъятия книг, допросы. Стены особнячка, где жил великий социолог, имя которого знали ученые всего мира, были исписаны грязными ругательствами — брань адресовалась тому, кто для многих являлся наиболее совершенным воплощением бразильской культуры. Он да еще гениальный физик Персио Менезес — оба были гордостью отечественной науки.

Эвандро Нунес дос Сантос, прочитав лекцию на юридическом факультете, был приглашен к социологу на обед, там он и узнал во всех подробностях о происшествиях в Пернамбуко. Эвандро вознегодовал на ругательства, получил напечатанную на мимеографе копию протеста, где встретил имя Сампайо Перейры, кандидата в Бразильскую Академию. Вернувшись в Рио, он немедленно размножил протест и в четверг, когда «бессмертные» пьют чай и заседают, роздал его коллегам.

МАРКИТАНКА

Мария-Жоан накладывает грим перед тем, как начать одеваться для выхода на сцену.

— Я была настоящей ведьмой, дьяволицей во плоти...

— Была?.. — Нежно-лукавая усмешка скользит по губам местре Портелы.

— Однажды, помню, я совершенно извела его, заставила ревновать... На что-то намекала, кого-то вспоминала... Сыпала именами и наконец добилась своего. Он влил мне пощечину...

— Чтобы Антонио Бруно поднял руку на женщину, надо было постараться всерьез.

— Я, пожалуй, перестаралась. Он стукнул меня, когда я сказала, что он прирожденный рогоносец. Тогда я стала оскорблять его: козел, рогач и так далее. Бедняжке Антонио было стыдно за то, что он меня ударил, и потому он изо всех сил сдерживался. Но когда я закричала по-французски: «Cocul Roi des cocus!»¹, Бруно кинулся на меня и начал колотить. Мы повалились на пол, и под градом ударов я притянула Бруно к себе. Не помню точно тот миг, когда удары сменились ласками. Это была удивительная ночь. Восход солнца застал нас за

¹ Рогоносец! Король рогоносцев! (фр.)

клятвами в вечной любви. Наутро я была вся в синяках — от побоев и поцелуев моего поэта.

Актриса встает. Распахнутый халат не скрывает ее прекрасную упругую грудь — Мария-Жоан бюстгальтеров не признает. Она начинает надевать на себя костюм Гедды Габлер. Премьера пьесы Ибсена, переведенной Родриго Фигейредо, состоялась две недели назад.

— Да, местре Аффранио, для Бруно я отдалась бы самому дьяволу! Или Вонючке Баррето, что гораздо хуже.

Старый Стенио Баррето — богатейший коммерсант, — по прозвищу Вонючка, коллекционировал актрис, цenia их в буквальном смысле на вес золота. Несколько португалок и бразильянок сумели сколотить себе состояние, но Мария-Жоан отказывалась от всех предложений — то ли из духа противоречия, то ли дожидаясь момента, когда посулы дойдут до невысказанных степеней. В настоящее время Баррето предлагает ей за «уик-энд» в Петрополисе пятикомнатную квартиру на Копакабана.

Местре Аффранио протягивает актрисе список академиков:

— Те, что помечены крестиком, — это, безусловно, наши. Буквой «п» обозначены такие же убежденные противники. А колеблющиеся еще никак не отмечены. Ну-ка, взгляни, скольких из них большими обещаниями и маленькими потачками сможешь ты склонить на сторону генерала Морейры?

Полуголая Гедда Габлер — окинув ее тело взглядом знатока, Портела приходит к выводу, что пятикомнатная квартира на Копакабана — это вовсе недорого, — изучает список.

— Вот эти двое... Нет, трое. Жалко, что и Родриго за генерала. Я бы не прочь снова упасть в его объятия. Наш первый роман был так непродолжителен...

— Разумеется, Родриго — наш. Наш до такой степени, что посвящает все свое время полоумной дочке Морейры и не дает ей потрудиться на благо отца. Ты ведь знаешь этих дворян, Мария, — все они такие ужасные эгоисты... Так кто же эти трое?

В дверь уборной стучат — «через пять минут, сеньора Мария-Жоан, ваш выход». Актриса уже одета, и трагическим жестом Гедды Габлер она указывает фамилии в списке.

— Этот, этот, этот... Пайва значит среди противников, но если я его попрошу... Вам не нужен его голос?

— Еще как нужен, но я, хоть и знаю, что против тебя устоять нет возможности, все-таки не верю в успех.

— Пари хочешь? — Она в задумчивости кусает поглоток. — Старичок меня обожает, он делается совершенно ручным и ни в чем не сможет отказать мне.

— Ты и вправду дьяволица!

— Это будет удивительно забавно! Умрешь со смеху!

Великая артистка смеется как девчонка — ну разве дашь ей сорок лет? — и величественной поступью Гедды Габлер выходит из уборной. Нет тонизирующего лучше, чем любовь, думает местре Афранио, глядя ей вслед, любовь сохраняет фигуру, а главное — сообщает жизни радость.

ВЕЛИКАЯ АКТРИСА

Выборы королевы карнавала происходили в театре «Сан-Жозе». Кроме поэта Антонио Бруно, в жюри входили: президент карнавального общества «Наместники черта» импресарио Сегрето, журналист, специализировавшийся на празднествах Момуса, на карнавальных группах и клубах — он подписывался инициалами Ж. Ф. Г. — и крупнейшая бразильская актриса того времени Италия Фауста, находившаяся в зените славы.

В зените славы был и тридцатичетырехлетний Антонио Бруно. Успех его упрочился после выхода в свет трех новых книг: сборников стихов «Сонеты» и «Баркарола Антонио» и прозаических очерков, ранее опубликованных в журналах, а ныне собранных в одном томе под названием «Довольно чистая правда». Большинство критиков с воодушевлением превозносили поэта — «выдающееся дарование... новая звезда на небосводе бразильской поэзии... автор непревзойденных сонетов... поэт-лирик, радикально изменивший само понятие лирической поэзии... человек, чей своеобразный и вольный талант заново открыл нам птиц и деревья, женщину и любовь... поэт, который обладает даром преобразовать повседневность в поэзию», и прочая и прочая. Не было недостатка и в отзывах совершенно противоположного свойства: «слащавые перепевы одной и той же темы», «пренебрежение к новым путям развития поэзии», «слезливый провинциализм» — так определяли его творчество недоброжелатели и завистники, оскорбленные до глубины души невиданным успехом Бруно. Книжки его не только расхваливались, но и мгновенно раскупались. Их любили, их

читали, и — самое обидное! — их переиздавали. Его стихи звучали и со сцен театров на благотворительных концертах, и на литературных студенческих вечерах, и на скромных семейных праздниках.

Жалованья мелкого чиновника министерства юстиции на житье не хватало, и Бруно подрабатывал где и как только мог: читал лекции в клубах и кружках, писал статьи в газеты и журналы, сочинял скетчи для эстрады и даже тексты песен. Эккел Таварес, никому в ту пору не известный двадцатилетний композитор, положил на музыку его стихотворение — так появилась на свет знаменитая «Пичужка», которой была суждена столь долгая жизнь. Леополдо Фроэс сообщил, что собирается поставить пьесу Бруно — комедию из жизни обитателей нашей столицы, — как только тот ее напишет. Успех у читателей соперничал с успехом у женщин — «романтический профиль бедуина» мелькал на фотографиях, картинах, рисунках и шаржах: разглядывая портрет Бруно на страницах журнала «Фонфон» (отсутствующий взгляд, подпертая ладонью щека, прическа а-ля Масканы¹), вздыхали девицы и верные супруги, школьницы и дамы бальзаковского возраста. Шел 1921 год. Первая мировая война осталась в прошлом, Бразилия готовилась торжественно отпраздновать столетие независимости.

Нет на свете титула желаннее, чем титул королевы карнавала. Кроме жемчужной позолоченной короны, бархатной мантии и кольца с аквамаринем (дар ювелирной фирмы «Оувидор»), королева могла рассчитывать на страшный ажиотаж в печати — интервью, репортажи, фотографии — и на лютую ненависть побежденных соперниц. А в соперницах недостатка не было, и борьбу за королевскую корону можно сравнить лишь с выборами в Бразильскую Академию. Победу оспаривали актрисы драматических театров, звезды и фигурантки ревю, никому не известные, но рьяные любительницы, желавшие использовать титул для того, чтобы вступить на ослепительное, хотя и плохо оплачиваемое поприще театрального искусства. Не беда, что в театре мало платят: слава и популярность с лихвой компенсируют бедность, а для возмещения скудного жалованья есть на свете Стецио Баррето и другие Вонючки — блудливые старики миллионеры...

¹ Пьетро Масканы (1863—1945) — итальянский композитор.

Импресарио Сегрето не пожалел усилий — трое из четверых членов жюри решили отдать пальму первенства веселой и лукавой Маргарите Вилар, обладательнице безупречно стройных ног, рыжей гривы и чарующего голоса. Она исполняла главную роль в ревю «Мисс, Матчиш и Ватапа», выдержавшем больше сотни представлений. Однако на параде конкурентов Бруно внезапно увидел одну из тех неистовых и никому не известных любительниц, о которых мы упоминали выше, и сердце поэта дрогнуло. Такого с ним еще не было: такая мгновенная, сумасшедшая, жестокая страсть еще никогда не охватывала его. Где он мог видеть эту высокую, гибкую девушку с ослепительно белой кожей и золотыми кудрями? Только на картине, но на чьей именно и в каком музее? Какой неведомый мастер Возрождения много веков назад предугадал и воссоздал на полотне ее черты? Зов и призыв исходили от ее темных как ночь глаз, от чувственных губ, от дерзкого колебания бедер и ничем не стесненных грудей. У Бруно пересохло во рту и похолодело под ложечкой. Перед ним во плоти предстала самая настоящая роковая женщина.

Отказ поэта голосовать за Маргариту Вилар мог бы серьезно осложнить ситуацию, но члены жюри все были люди светские и добрые друзья: порешили единогласно присудить титул королевы Маргарите, а для ее безвестной соперницы учредить специальное звание «Принцесса Карнавала».

Бруно не был с ней знаком, если он и видел ее раньше, то только на картине или во сне. Он не знал, как ее зовут, сколько ей лет, чем она занимается, — он ничего про нее не знал. Принцесса назвалась Лючией Бертини — соотечественницей и дальней родственницей великой Франчески Бертини — она родом из одной деревни со знаменитой кинозвездой; ей двадцать один год (претендентки моложе этого возраста ни к конкурсу, ни к участию в коронации не допускались); у нее есть некоторый театралный опыт: живя в городе Кампосе, она играла в любительском театре «Феникс». На конкурс она явилась в сопровождении двоюродного брата, мрачного субъекта, сидевшего в последнем ряду.

Интерес, проявленный Бруно, и титул, который по поручению жюри он ей преподнес, привели ее в состояние, близкое к умопомешательству. Она немедленно узнала поднявшегося на сцену поэта по фотографиям и карикатурам — на одной из них поэт выводит затейливыми бук-

вами название своей книги. Как это? Барка?.. Какая барка? А-а, «Баркарола Антонио»! Вот-вот! Какое забавное слово, что оно означает?

Когда все волнения были позади, а тяжкие труды жюри благополучно завершились, когда были оглашены и встречены аплодисментами имена победительниц, Бруно захотел проводить принцессу до дому, надеясь той же ночью утолить с недавнее его желание, но ее высочество, исполненная целомудренного достоинства, отказалась от его предложения. Ей надлежало вернуться домой вместе с кузеном.

— У моего отца — невозможный характер. Он разрешает мне выходить из дому только вместе с братом и даже не знает, что я принимала участие в конкурсе. Если же, не дай бог, он об этом проведает, то вполне может отколотить меня и посадить под замок.

Они условились встретиться на следующий день в кафе-мороженом на площади Кариока. Несколько бокалов шампанского (принцесса оказалась большой любительницей этого напитка), нежные слова, прошептанные на ушко, экспромт, родившийся у Бруно в предчувствии их знакомства, красота бедуина и слава поэта сделали свое дело: принцесса была покорена и сражена. Тут выяснились некоторые подробности ее биографии: она никогда не жила в Кампосе, ни разу в жизни не выходила на сцену, ее не звали Лючия Бертини и она не была итальянкой — имя, фамилия и происхождение были украдены у соседей. Принцессу звали Мария-Жоан — так захотел ее покойный отец-португалец. Ужасное имя, правда? Нет имени прелестней, я стану звать тебя Жоаночкой, хочешь ты этого или нет. Но принцесса уже потеряла собственную волю и хотела только того, чего хотел Бруно: ей и не снилось, что она познакомится с ним, что в темном зале кинотеатра «Ирис» он будет целовать ее бесконечными — как в кино! — поцелуями и гладить ее груди под блузкой. Так начался этот безумный роман — яростное желание и ревность, бесконечная ложь, скандалы на людях и даже драки. Их связь продолжалась почти два года, и за все это время Бруно так и не удалось отличить правду от вымысла, узнать, когда его возлюбленная притворяется, а когда искренна.

Кузен был никакой не кузен, а просто приказчик в лавке, которая по наследству от отца перешла во владение его брату. Мария-Жоан, ее мать и младший брат жили бедно: дядя делил доходы, сообразуясь с собственными

правилами арифметики. Возраст принцессы постепенно уменьшался, пока наконец она не призналась, что ей только-только исполнилось семнадцать. Лже-кузен был вторым мужчиной в ее жизни — а первым стал кузен истинный, пятнадцатилетний мальчишка. Когда это случилось, он хотел даже жениться на ней, можешь себе представить? Мария-Жоан повествовала обо всем этом без тени смущения и во всех подробностях и к тому же не замолкала ни на минутку. Когда истощался запас действительных происшествий, она прибегала к помощи воображения.

Первый скандал разразился на балу в честь новой королевы карнавала, в клубе «Наместники черта». После того как Мария-Жоан была провозглашена принцессой и осыпана дарами (корона меньше, чем у королевы, мантия из атласа, а не из тяжелого благородного бархата, вместо перстня с аквамаринном — маленькое колечко с бирюзой — все из той же ювелирной лавки «Оувидор»), она об руку с Антонио Бруно пересекла зал, и в ее честь раздались рукоплескания не менее бурные, чем в честь королевы. Бруно чувствовал, как трепещет грудь его спутницы — Мария-Жоан была рождена для аплодисментов, для того, чтобы выставлять себя напоказ.

— Я тоже приготовил тебе подарок, о моя царица Савская, но вручу его тебе не сейчас и не здесь.

К толстой цепочке был прикреплен медальон в форме сердца — старинная португальская безделушка из чистого золота, которую Бруно откопал в лавке почтенного — «мы никогда не обманываем клиента» — и бессовестного антиквара: для покупки пришлось занять денег у Аффранио Портелы.

Поэт открыл коробочку и показал принцессе подарок. Несмотря на то что Мария-Жоан еще плохо разбиралась в драгоценностях, она обладала врожденным вкусом и поняла, что перед ней подлинное произведение искусства, которое стоит, наверное, кучу денег.

— Это мне? Не может быть!

Она хотела немедленно примерить медальон, но Бруно не дал:

— Не сейчас. Дома. Когда будешь раздета. Я сам хочу надеть тебе на грудь мой свадебный подарок.

— Но ведь дома никто его не увидит...

— А меня ты не считаешь? В первый раз ты наденешь его для меня одного. Потом надевай куда хочешь.

В сладком предвкушении она улыбнулась, прикусила

губу, закрыла глаза, и они пошли танцевать один танец за другим.

— Я хочу носить там твой портрет.

Антонио Бруно, в парижских кабаре овладевший всеми тонкостями этого искусства, нашел в своей партнерше способную ученицу: она легко выполняла самые невероятные па. Принцесса с яростным презрением перехватывала взгляды, которые бросали на ее кавалера присутствующие дамы — самые бесстыдные осмеливались даже улыбаться ему.

Наконец музыканты пошли передохнуть и выпить холодного пива, а принцесса отправилась в дамскую комнату. Когда она вернулась, танцы опять были в разгаре, а Бруно, обняв блистательную королеву Маргариту, вертелся с нею в фокстроте. Тут уж ярость возобладала над презрением, почтительная принцесса вмиг стала ведьмой и ринулась на королеву. Прежде чем ее величество успела сообразить, что происходит, с нее слетела корона, а бархатная мантия оказалась на полу. Мария-Жоан бросилась на звезду бразильского легкого жанра и вцепилась ей в прическу — Маргарита Вилар всегда гордилась своими рыжими локонами, под светом софитов отливавшими медью. На этом балу они были особенно хороши.

— Не смей к нему лезть, старая кляча! Он мой, и больше ничей!

Бал прекратился. Для того чтобы оторвать принцессу от королевы и выволочь ее из зала, Бруно пришлось применить силу. Мария-Жоан сопротивлялась как могла и до крови прокусила ему руку. При этом она кричала:

— Отпусти меня! Я знать тебя не желаю! Отправляйся к своей потаскухе, дари ей свои медальоны, а я иду домой!

Тем не менее пошла она к Бруно и оказалась в его постели, хранившей память о многих безрассудствах, о страсти и упоении. Тяжелая цепочка обвилась вокруг шеи принцессы, филигранное сердечко разделило ее груди... Прозрачная опаловая кожа, живот, словно ворох пшеницы. Мария-Жоан сама была точно отлита из золота.

До самого рассвета не выпускали друг друга из объятий изголодавшиеся любовники. Когда же наступило утро, Мария-Жоан сказала:

— Прости меня, милый: такой уж я уродилась на свет... Что мое, то мое, и делиться я не собираюсь ни с кем. Теперь можешь меня прогнать, — при этих словах

она улыбнулась и сладко потянулась,— да только я все равно никуда не уйду.

Бруно умел оьяняться страстью и умел внушать страсть, но более опустошающего и бурного романа не было в его жизни. Их связь продолжалась почти два года, и порой Антонио казалось, что он сходит с ума. Мария-Жоан была единственной женщиной, которую он бил — причем с неподдельной злобой. Ревность главенствовала в этом романе, ревность отравляла безмятежность любви. Ревность, которую ослепленная Мария-Жоан могла выказать где угодно и когда угодно. Ревность, которую она пыталась вызвать у Бруно, чтобы убедиться в его любви. Ссоры повторялись так часто, что почти приелись, сцены ревности неизменно завершались неистовой любовной схваткой.

Мария-Жоан не могла видеть, как Бруно разговаривает с другой женщиной или улыбается ей: она немедленно устраивала ему сцену — и какую! В то же время она словно невзначай упоминала имена каких-то мужчин, намекала на чьи-то предложения, прятала чистые клочки бумаги — пусть Бруно думает, что это компрометирующие письма, любовная записочка, назначающая свидание. И сколько еще раз суждено было повториться сцене на балу!

Постепенно ревность вытеснила страсть в душе Бруно. Две женщины непостижимо уживались в теле его подруги: одну, нежную и кроткую, как голубица, звали Мария-Жоан, другой — неукротимой, бешеной дьяволице — он дал имя Мери-Джон. Обе в постели не знали себе равных.

«Мери-Джон» — так называлась пьеса в стихах, которую Бруно наконец написал и отдал режиссеру Леополдо Фроэсу с условием, что заглавную роль будет играть Мария-Жоан. До этого она под именем Лючия Бертини принимала участие в нескольких ревю, пела и танцевала. Благородная Маргарита Вилар зла на нее не держала: она потеснилась, и вскоре они стали подругами. Однако, хотя Мария-Жоан была в избытке наделена и красотой, и изяществом, и шармом, чего-то для этого рода искусства ей не хватало. Однажды, когда она уже была готова отчаяться, Бруно осенило:

— Ты же прирожденная комедиантка! Я сочиню для тебя пьесу и назову ее «Мери-Джон».

Но Бруно родился не драматургом, а поэтом. Его пьесу спасали только стихи и редкий талант исполни-

тельницы главной роли — роли очаровательной бразильской девушки, слегка спятившей на американском кино, слепо подражавшей манерам и позам голливудских кинозвезд. Никогда больше не писал Антонио Бруно для драматического театра, никогда больше Лючия Бертини не выходила в реву на площади Тирадентеса. На небосводе бразильского театра зажглась новая звезда, родилась великая актриса, вторая Италия Фауста.

Бруно и Мария-Жоан остались друзьями. Дважды возобновлялись их прежние отношения, но оба раза ненадолго.

ПОЛКОВНИК ИЗМУЧЕН

Первый этап этой унижительной, тяжелой, мучительной избирательной кампании близился к концу: прошли два месяца, в течение которых можно было подать заявление о намерении баллотироваться в Бразильскую Академию. Битва при Малом Трианоне разгоралась все жарче, однако никто не мог предугадать, чем она кончится.

Полковник Перейра, привыкший только отдавать приказы и проверять исполнение, пришел в ярость, обнаружив, что его намерение стать «бессмертным» встречает открытое или тайное противодействие. Вместо обещанного Лизандро Лейте триумфального шествия выборы все больше напоминали скачку с препятствиями. Изматывающую скачку.

Всходя на голгофу неизбежных предвыборных визитов, полковник, обязанный держаться почтительно и льстиво, десять раз подряд должен был выслушать одну и ту же оскорбительную песню:

— Я очень сожалею, полковник, но уже обещал голосовать за другого кандидата. Кстати, какое совпадение: он ваш брат по оружию, еще один выдающийся представитель нашей армии — генерал Валдомиро Морейра.

Менялись слова, неизменным оставался смысл: негодяй Морейра успел опередить полковника. Выяснилось, впрочем, что два академика солгали: генерал у них еще не был. Это ли не доказательство того, что существует оппозиция полковнику Перейре и силам, которые он представляет? Пощечина была нанесена десять раз — заслуживает внимания и сама цифра, и то, что за нею кроется: враги отчизны протянули свои щупальца и к Бразильской Академии.

· Это почтенное учреждение объединяет в своих стенах людей, известных не только в области литературы, но и во всех прочих сферах бразильской жизни: от юриспруденции до политики, от церкви до армии, от дипломатии до медицины, от естествознания до журналистики, а потому полковник Перейра, будучи немного консерватором, не мог себе представить, что Академия испытывает такое могучее воздействие со стороны разобщенных и находящихся в упадке сил, противостоящих победоносным, славным и животворным идеям, которые воплотили в себе фюрер и дуче. Оказывается, и Бразильская Академия заражена гнилым духом либерализма, и в эту святыню просочились — а просочившись, угнездились — коммунисты. Полковника обвиняют в создании «пятой колонны». Хорошо же: как только его изберут, он немедленно примет необходимые меры — в жилы больной Академии будет перелита чистая и здоровая кровь. Отныне «бессмертных» будут отбирать с особой тщательностью.

Впрочем, справедливости ради надо сказать, что пятнадцать академиков пообещали отдать свои голоса за полковника, а двое или трое из этих пятнадцати приняли активно помогать Лизандро Лейте. Два академика, находившиеся вне Рио (один безвыездно жил в Минас-Жерайс, другой состоял послом в Мексике), прислали ему письма, к которым на выборах он должен будет присовокупить запечатанные конверты с их голосами. Четыре счетчика вскрыют эти конверты в момент подсчета голосов. С величайшим наслаждением полковник лично напечатал на листках свое имя и воинское звание. Не зря, не зря сносил он обиды.

Итак, двадцать пять голосов определились: пятнадцать «за», десять «против». Остается четырнадцать сомневающихся. Нет, не четырнадцать, а тринадцать: среди них был Афранио Портела — враг номер один, — тот, кто выдвинул кандидатуру генерала. Прослушивание его телефонных разговоров выявило, что Портела ведет активнейшую пропаганду среди «бессмертных», призывая «не допустить гестаповца в Малый Трианон», — так прямо, гад, и говорит. Вместе с Лизандро полковник до одури вчитывался в эти тринадцать фамилий, пытался угадать, кому академики отдадут свои голоса. По просвещенному мнению Лейте, все они без исключения проголосуют «за тебя, милый Агналдо». Но «милый Агналдо» перестал слепо доверять просвещенному мнению и прогнозам «любезного Лизандро»: он был так обескуражен,

что поместил в список «сомнительных» даже старика Франселино Алмейду, несмотря на посланные тому фрукты и шампанское (французское).

Полковнику оставалось нанести три визита. Тридцать шесть академиков он уже посетил, и нельзя сказать, что это всегда было ему легко и приятно. Для того чтобы завоевать голос Марио Буэно, создателя «Книги псалмов», пришлось ехать в Сан-Пауло, а за поддержкой бывшего директора Бразильского банка, отставного профессора, автора тоненьких сборничков рассказов, полупарализованного старика, отправляться в Бело-Оризонте. Полковник привез его письмо в кармане кителя. Визит к поэту был очень краток: Марио Буэно, неизменно и утонченно вежливый со всеми кандидатами, заверил полковника, что ни в коем случае не воздержится от голосования, но сообщит о своем выборе в Академию в установленном порядке. Узнать, кому же он отдаст свой голос, не удалось. На всякий случай полковник, как ни разубеждал его Лизандро, причислил поэта к «сомнительным». С послом Бразилии в Мехико, Ренато Мюллером Виейрой, состоялся продолжительный и душевный разговор по телефону («борьба с коммунизмом» оплачивала эти маленькие траты: переписку, разъезды, гостиницы и по-королевски щедрый свадебный подарок дочери одного из «сомнительных»). Полковник получил от посла любезнейший ответ и письмо в Академию — то и другое было прислано с дипломатической почтой. Ренато Мюллер Виейра, поэт и романист — полковник не был с ним знаком лично и не удосужился прочесть ни одного из его заумных творений, — идол высоколобых литературоведов, провозгласил себя безусловным сторонником и горячим поклонником Сампайо Перейры: «Непреодоляющая ценность Ваших книг и Ваша деятельность на благо отчизны вдохновят молодежь Бразилии, которой суждено воплотить в жизнь мечту Шопенгауэра о новом мире». Эта горячая поддержка отчасти смягчила неприятное чувство, вызванное явным отвращением, с каким принимали полковника иные подлецы академики, симпатизирующие Москве.

Два визита были особенно неприятны и лишены даже тени любезности. Грубый старик, Эвандро Нунес дос Сантос, не пожелав впустить полковника в дом, назначил ему встречу в конторе книгоиздательства Жозе Олимпью. Хмурясь, он молча выслушал кандидата в Академию, сообщил ему, что намерен поддерживать генерала Морейру, и протянул на прощанье кончики пальцев. А у

драматурга Фигейредо Жуниора хватило наглости осведомиться о причинах, побуждающих полковника баллотироваться в члены Бразильской Академии. Зная его политические убеждения и функции возглавляемой им организации, он, Фигейредо, решительно не понимает, что могло понадобиться полковнику в Бразильской Академии. От этого единственного прямого намека на то, что будущий «бессмертный» — фашист и шеф службы безопасности, от этого притворного недоумения Фигейредо у полковника осталось ощущение, словно он проглотил омерзительную жабу.

Ему нужно было посетить еще троих: президента Академии Кармо, умирающего гения Персио Менезеса и романиста Афранио Портелу.

Полковник Перейра ни за что на свете не пошел бы с визитом к мерзкому либералу, который откопал где-то генерала-соперника, если бы не настояния Лейте: «Нельзя, академики чрезвычайно щепетильны, они сочтут твой отказ посетить Портелу недопустимым нарушением устава, которое задевает их всех. Милый Агналдо, твое избрание предрешено, но не стоит отпугивать возможных сторонников: у нас каждый голос на счету! А кроме того, Портела, великосветский бездельник, социальный трутень, будет, не в пример Эвандро и Фигейредо, вежлив и даже любезен...»

В церкви Канделарии во время мессы седьмого дня полковник встретился с Эрмано де Кармо, который так и не назначил день визита. Президент был необыкновенно предупредителен, но Перейра по-прежнему казалось, что он чего-то не договаривает. «Должность такая, — объяснял полковнику Лизандро, — президент обязан свято блюсти устав Академии, в соответствии с которым ему до выборов нельзя поддерживать того или иного кандидата. Не смотри, что он так сдержан и молчалив, — президент в очень любопытной форме всегда дает понять, кому будет отдан его голос. Всех претендентов он приглашает на утро и угощает чашечкой кофе, а того, за кого проголосует, зовет на ужин».

Персио Менезес, ученый с мировым именем, ученик Мари и Пьера Кюри, сотрудник Эйнштейна по Принстону, профессор астрономии и теоретической механики, член Института Радия, почетный доктор Сорбонны, в свободное время пишущий сюрреалистические стихи, тоже еще не назначил даты визита. «Это зависит от того, как он себя чувствует», — не растерялся Лизандро. Мене-

вес, неизлечимо больной раком, живет только на болеутоляющих; дозы морфия все увеличиваются. Он уже несколько месяцев не появлялся в Академии и принимает только самых близких друзей. Почему же тогда он принял генерала? «Потому,— растолковывал полковнику Лизандро,— что Морейра выше чином и первым попросил принять его, а знаменитый ученый очень щепетилен в вопросах этикета. Он примет тебя, милый Агналдо, как только ему полегчает, это его собственные слова: вчера я наконец дозвонился к нему, прося назначить день и час. Еще он прибавил одну фразу, которая ясно указывает, что Персио уже сделал выбор: «Я во что бы то ни стало приму полковника».

Полковник Перейра не сомневался в победе, но чувствовал себя так, словно его вывернули наизнанку. Подвохи, ловушки, обманы, двусмысленности, разочарования, неудачи безмерно утомили его. Если бы он не жаждал так страстно — а теперь, когда выборы превратились в настоящее сражение, эта страсть стала еще сильнее — звания академика, шитого золотом мундира, бессмертия, то сдался бы. Плюнул на это дело. Полковник потерял душевное равновесие, полковник смертельно устал, нервы полковника натянуты как струны.

...Арестованным и задержанным солоно приходилось в эти дни. Полковник Перейра отыгрывался на них за гнусное поведение тех академиков, что предпочли ему это ничтожество, за их иронию, насмешки, ледяной тон и едва скрываемое отвращение. Он вымещал на арестованных и задержанных свою ненависть к тем, кто лицемерно поздравлял его с очевидной победой, а сам затаивался и выжидал, заставляя полковника мучиться неизвестностью, теряться в догадках, шалеть от нескончаемого пустопорожного красноречия... Полковник стучит кулаком по столу, кричит, бранится, угрожает, отдает беспощадные приказы своим подручным — небо с овчинку кажется в эти дни арестованным и задержанным.

СУПРУГИ ЛЕЙТЕ (И ИХ ДОЧЬ)

— Чем ты так озабочен, Лизандро? Что с тобой? — В мягком, ласкающем слух голосе доны Мариусии слышится нежное недоумение.

Познакомившись с супругой академика Лейте, многие удивленно задают себе вопрос: как? неужели эта

стройная, все еще привлекательная женщина, всегда веселая и приветливая, красиво причесанная и в меру подкрашенная — жена толстого, потного, небрежно одетого, суетливого и преувеличенно любезного, пронырливого и расчетливого Лизандро? Да, жена. Жена и мать его пятерых детей; четверо сыновей — два адвоката, инженер и врач — давно обзавелись семьями, а пятая, студентка юридического факультета Пру (уменьшительное от ненавистного ей имени Пруденсия), красотой пошедшая в мать, а живым умом и энергией — в отца, пока еще живет в отчем доме. У доны Мариусии семеро внуков, но, глядя на эту величаво-кроткую красавицу, никогда не скажешь, что ей скоро пятьдесят.

С мужем она ладит. Она всегда согласна с ним, даже если порой в разговорах с Пру и осуждает его взгляды или поступки. Мариусия и Лизандро рука об руку прошли долгий путь, и, ох, как нелегок был он вначале. Лизандро не щадил себя, чтобы его дети и жена не были лишены по крайней мере самого необходимого. Образцовый супруг и любящий отец работал как вол, отважно и дерзко брался за любое дело, был неразборчив в средствах и не страдал излишней щепетильностью — лишь бы дом его был полной чашей, лишь бы дети встали на ноги. Что ж, он добился своего — сыновья, слава богу (хотя бог тут ни при чем — славить следовало бы усердие и упорство Лизандро), устроились в жизни неплохо. Пру пока еще только на четвертом курсе и зависит от родителей, хотя зависимость эта проявляется лишь в том, что ее кормят, обувают и одевают — ни малейшего вмешательства в свои дела своенравная и самостоятельная девушка не терпит. Ей бы очень хотелось жить отдельно, быть хозяйкой самой себе, да пока не выходит. Она уже работает в адвокатской конторе — денег не получает, зато набирается опыта и выполняет свой гражданский долг: владелец конторы специализируется на защите политических преступников перед Особым трибуналом.

...Лизандро уселся рядом с женой:

— Да все эти проклятые выборы... Я думал, проташить Агналдо в Академию будет нетрудно. И ошибся.

Он испытывал к жене неуывающее чувство благодарности, начавшееся еще в далекую пору ухаживанья. Лизандро и в юности был одышлив и тучен, длинноволос и плохо выбрит, не любил спорт и не умел танцевать; девушки обращали на него мало внимания... До сих пор он не понимает, почему Мариусия на выпускном вечере

согласилась стать его женой. Он долго не мог поверить в искренность ее чувств, хотя о браке по расчету и речи быть не могло: Лизандро был еще бедней, чем она — школьная учительница, — и, пока не получил стипендии, подрабатывал в магазине готового платья — умудрялся выколотить деньги за отпущенные в кредит товары из самых безнадежных должников. Всю жизнь он чувствовал себя обязанным жене.

— Многие возражают против его кандидатуры?

Дона Мариусия обычно не интересовалась борьбой вокруг вакансий в Академию, — борьбой, которой ее муж отдавал столько времени и сил. Как подобает супруге академика Лейте, она принимала у себя кандидатов, наносивших положенные визиты, появлялась в Малом Трианоне на торжественных заседаниях и традиционных рождественских чаепитиях, где и виделась с женами «бессмертных», но круг ее приятельниц состоял главным образом из жен сослуживцев Лизандро и родственниц.

— Да есть кое-кто... Больше, чем я предполагал. И такие, что ухо с ними держи остро. Помнишь этого денди Афранио Портелу?

— Помню. Я читала его романы — «Аделия» мне понравилась... Очень милый человек.

— Милый? Макиавелли перед ним — щенок. Знаешь, до чего он додумался?

— Нет, не знаю. Расскажи. — Она ласково взяла его влажную от пота руку.

— Мало того что они выкопали откуда-то генерала, который стал соперником Агналдо, так еще подрядили Марию-Жоан отбивать у нас голоса академиков.

— Правда? Ну и как?

— А так, что наш милый министр Пайва, в котором я не сомневался ни минуты, теперь пошел на попятный. Это что-то неслыханное! Это вопиющее неуважение к Академии!

Дона Мариусия засмеялась:

— Я уверена, что ты тоже не сидишь сложа руки. Неужели твой кандидат может потерпеть поражение?

— Нет. Он победит.

— Чем же в таком случае ты встревожен?

— Я хотел, чтобы это была чистая победа, единогласное избрание. Так и случилось бы, не появившись в последний момент этот чертов Афранио со своим генералом. Они нам испортят всю обедню.

— Каждый раз одно и то же, Настоящая война...

— Думаю, Мариусия, что нет у нас в стране ничего более возжеленного, чем мундир академика. Академия — это вершина, Олимп, с ней ничто не сравнится. Нас, «бессмертных», избранников богов, всего сорок.

— И один из них ты, Лизандро. Я очень гордилась твоим избранием. А скажи, пожалуйста, это было трудно? Я не помню.

— Момент был очень подходящий: компромисс между враждующими группировками. И то пришлось побегать. Пайва тогда оказал мне большую услугу...

Лейте помолчал, воскрешая в памяти сражение десятилетней давности: из трех претендентов у него были наименьшие шансы на успех, никто не верил, что он пройдет в академики... Ох, сколько крови испортила ему Бразильская Академия, сколько было пролито пота, чтобы попасть туда!.. Но пальмовые ветви золотого шитья залечат любые раны, компенсируют любые тяготы... Лизандро нежно взглянул на жену:

— Ты жена члена Бразильской Академии!

— Мне многие откровенно завидуют. «Ваш муж академик? Как это замечательно...» Мне есть чем похвастаться.

— Ты бы посмотрела, как Агналдо — полковник Перейра, имя которого наводит на всех ужас, один из первых людей в государстве, — ящиками шлет французское шампанское старику Франселино, давным-давно уволенному в отставку послу...

— А почему ты помогаешь этому полковнику, Лизандро? Я читала про него такие ужасные вещи — просто мороз по коже... Пру дала мне прочесть: она приносит эти бумаги из своей конторы.

— Пру якшается с коммунистами, я уже говорил тебе! Когда-нибудь это обнаружится. Страшно подумать: моя дочь — в тюрьме! Вот расплата за все грехи. — Протест интеллигентов из Пернамбуко, экземпляр которого он обнаружил в ящике своего стола в Академии, появился и дома — на конторке, заваленной папками с делами. Его положила туда Пру, чтобы пристыдить отца. Она же принесла домой поэму Антонио Бруно, написав на полях: «Нацист не имеет права наследовать певцу свободы». Дерзкая девчонка осуждает отца... А кто будет хлопотать за нее, если в один прекрасный день... А если полковник не поверит в его непричастность — что тогда?

— Не вмешивайся в дела Пру — я ведь в твои не вмешиваюсь. Объясни мне лучше, почему ты так огор-

чаешься из-за этого полковника, почему ты ему покровительствуешь, раз он тебе даже не приятель?

— Потому что у него власть, Мариусия. Над ним только два человека — военный министр и Сам. Агналдо отбирает и назначает людей. Я многим, очень многим тебе обязан, дорогая моя Мариусия. Ты жена академика. Теперь я хочу, чтобы ты стала женой председателя Верховного федерального суда.

Дона Мариусия, высокая, изящная, еще очень красивая женщина, склонила голову на плечо мужа.

— Теперь я все поняла: ты стараешься для меня, — и подставила ему губы для поцелуя.

ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР

— У меня отличные новости, дорогой Лизандро.

— Я весь внимание, милый Агналдо.

— Мне только что позвонили от президента. Визит назначен на завтра.

— Вот как? Это превосходно!

— Он пригласил нас с женой на ужин. Просил, чтобы я не очень распространялся об этом.

— А что я говорил! Приглашение к президенту на ужин — это гарантия того, что он будет голосовать за тебя.

— Судя по всему, так оно и есть. Я поспешил сообщить тебе.

— Тронут. Ты помнишь, какой завтра день?

— Завтра? Погоди... Четверг.

— Не в том дело, что четверг! Завтра истекает срок подачи заявлений. С пятницы уже никто не будет иметь права баллотироваться в Бразильскую Академию.

— А генерала Морейру-Мажино президент уже принял?

— Нет, генерал Валдомиро Морейра еще не был у него — мне это точно известно. — Лизандро даже в разговоре со своим сподвижником не осмеливается опустить высокий чин соперника, а уж повторить вслед за полковником презрительное прозвище — боже сохрани. — Я в полном курсе всех его шагов. Генералу придется удовольствоваться чашечкой утреннего кофе.

— Я хотел бы завтра увидеться с тобой, рассказать про ужин у президента...

— Конечно, конечно! Назначь время. Я весь к вашим услугам, господин полковник. Я ведь твой ординарец, дорогой Агналдо.

— Ты верховный главнокомандующий, милый Ливандро.

«Быть мне председателем Федерального суда».

ИНФОРМАЦИЯ

В четверг, спустя ровно два месяца со дня заседания, посвященного памяти Антонио Бруно, президент сообщил присутствующим академикам (и уведомил по почте отсутствующих), что срок подачи заявлений на место, освободившееся в связи с кончиной «нашего коллеги и друга Антонио Бруно», истек. Баллотироваться в Академию с соблюдением всех формальностей и правил желают два писателя: полковник Агналдо Сампайо Перейра и генерал Валдомиро Морейра; у обоих имеется необходимое количество напечатанных книг. Выборы состоятся через два месяца, в последний четверг января 1941 года,— по стечению обстоятельств, это будет последнее заседание Академии перед каникулами.

УЖИН

Вечером того же дня президент Академии с супругой принимали в своем новом доме полковника Агналдо Сампайо Перейру и его жену дону Эрминию. Она выглядела старше своего мужа; была молчалива, односложно отвечала на любезные вопросы президентши, пытавшейся «разговорить» гостью. Однако в конце ужина она все же разверзла уста и отдала должное искусству повара. «Очень вкусно»,—сообщила она.

Вначале ужин проходил мирно и даже оживленно. Эрмано де Кармо рассказывал историю своей журналистской карьеры. Он начинал когда-то с самого низа: был курьером, носил корректуры из типографии в редакцию «Коммерческого вестника» — той самой газеты, редактором и владельцем которой он являлся ныне. До того как стать президентом Академии, Кармо возглавлял Бразильскую Ассоциацию журналистов.

Как ни старался президент избежать острых тем, разговор вскоре перешел на войну. Когда хозяйка восхити-

лась мужеством англичан, стойко переносящих варварские бомбежки нацистов, и упомянула Черчилля, полковник не выдержал. Между рыбой под маринадом и ростбифом с овощами он успел сронять Лондон с землей, занять Британские острова и посадить Черчилля в тюрьму.

За десертом беседа вновь вернулась в мирное русло: сдавленным голосом донна Эрминия похвалила рыбу, мясо и сладкое, к которому она питает особую склонность, хотя злоупотреблять им не может: и без того «видите, какая я толстая. Впрочем, моему Сампайо нравятся полные женщины». Полковник подтвердил: «Кости хороши только для собак».

Когда гости откланялись, президентша спросила мужа:

— Что же, его изберут?

— Изберут, к сожалению. Впрочем, к тому времени я уже сложу свои полномочия. Ну-ка отвечай, ты ведь специально завела речь о Черчилле? Ах ты, провокаторша! — полшутя упрекнул он свою седую надменную жену.

— А зачем же ты пригласил его ужинать, если не будешь голосовать за него?

— С чего ты взяла, что не буду?

Даже супруга президента узнавала о том, что выбор сделан лишь в ту минуту, когда президент называл ей имя очередного гостя, приглашенного на ужин.

— С чего я взяла? Очень просто: порядочный человек не будет голосовать за этого гитлеровского ублюдка. Видел, какая у него жена? Женщина, по мнению твоего полковника, — существо низшего порядка. Ее дело толстеть и ублажать своего повелителя.

— Проголосую я за Перейру или нет, он все равно будет избран, с перевесом в восемь-десять голосов. — Президент обнял жену за талию. — Да, кстати: во вторник к нам на ужин придет генерал Валдомиро Морейра с супругой...

— Как? Это что-то новое...

— Из кожи вон лезть не стоит: французские вина дороги, и достать их нелегко. Можно подать то же чилийское шабли, что и сегодня.

Улыбка осветила лицо президентши.

— Все понятно! Если ты приглашаешь к ужину и того, и другого кандидата, значит, голосовать ты не будешь ни за того, ни за другого.

— Какая ты у меня догадливая!

Взявшись за руки, они спустились в маленький сад, где, пропитывая ночной воздух одуряющим ароматом, цвел жасмин.

ЛЕКЦИИ, ЛЕКТОРЫ И МАРКИТАНКИ

В 1940 году члены Бразильской Академии читали цикл лекций на тему: «Поэзия в борьбе за установление республики и отмену рабства». Публика состояла в основном из студенческой молодежи, а также из почитателей и друзей лекторов. Однако самым именитым удавалось заполнить зал до отказа и изменить состав аудитории за счет университетских профессоров, издателей, писателей, книготорговцев и светских дам.

С тех пор как генерал Валдомиро Морейра стал кандидатом в Бразильскую Академию, он аккуратно посещал все лекции, не пропуская ни одной. В сопровождении не знающего усталости Клодинора Сабенсы он неизменно усаживался в первом ряду, держа на виду блокнот и авторучку. Сабенса сумел преодолеть горькое недоумение, вызванное тем телефонным разговором, когда генерал послал подальше Академию словесности Рио-де-Жанейро. Он принял самое деятельное участие в предвыборной кампании автора «Языковых пролегоменов», сделавшись его бесплатным и очень исполнительным секретарем, а взамен получил возможность по-прежнему посещать гостеприимный дом супругов Морейра и продолжать корректное ухаживание за их дочерью. Раз уж речь зашла о прелестной Сесилии, упомянем, что она почтила своим присутствием лекцию о Луисе Гама и так бурно рукоплескала лектору — Родриго Инасио Фильо, — что ревнивые подозрения вкрались в душу Сабенсы. Впрочем, Сесилия вовсе не дала ему отставку, а просто перевела в запас первой очереди. Поклонниками Сесилия не бросалась и сейчас — даже после того, как в изысканной гарсоньерке Родриго приобщилась к бессмертию. Ей ли не знать, как непродолжительны милости судьбы?! Сесилия умела пробудить к себе интерес и влечение, но вскоре ее банальности и капризы гасили первоначальный пыл возлюбленного, он разочаровывался и удирал, любовь — утеха быстротечной жизни — чахла и гасла, а Сесилия, не в силах перенести одиночество, призывала из запаса своих резервистов. Впрочем, последний по сче-

ту — хирург-стоматолог — был уже потерян безвозвратно: он застучал ее, когда она целовалась с Родриго в машине. Хирург оказался мещанином и ханжой. Заканчивая свой прощальный телефонный разговор и желая оскорбить Сесилию («не оскорбить, а всего лишь назвать вещи своими именами» — утверждал стоматолог), он обозвал ее нехорошим словом.

Глядя, как генерал исписывает страничку за страничкой в своем блокноте, как он рукоплещет какому-нибудь изысканному перлу красноречия, как срывается с места, чтобы первым поздравить лектора, поблагодарить за доставленное удовольствие, похвалить его эрудицию и стиль, старый Франселино Алмейда, окруженный коллегами, среди которых были Энрике Андраде и Афранио Портела, вспоминает забавный случай, происшедший с ним самим и с Лизандро Лейте, который был в ту пору кандидатом в Бразильскую Академию с сомнительными шансами на успех.

Дипломат читал по пятницам в Пен-клубе лекции о классическом японском искусстве. Тема никого не интересовала, и немногочисленная аудитория редела от лекции к лекции. Вот тогда-то Лизандро ухитрился набить зал Пен-клуба до отказа. Он собрал у себя на кафедре коммерческого права самых нерадивых студентов, которым грозили серьезные неприятности, и, посулив им высокие баллы на следующих экзаменах, привел не менее дюжины слушателей в зал, где Алмейда излагал сведения о кодзики, манъёсю, о моногатари, никке¹ и тому подобных прелестях. На предпоследней лекции, не считая Лизандро с его запуганными студентами, присутствовали только президент Пен-клуба и курьер — оба по долгу службы. Слушатели уместились в двух первых рядах маленького зала. Накануне последней лекции состоялись выборы в Академию, и Лизандро, ко всеобщему удивлению, вышел победителем. Среди тех, кто голосовал за него, был Франселино, который, не зная, кому из трех одинаково невлиятельных кандидатов отдать предпочтение, склонился к прилежному и любезному слушателю... Надо ли говорить, что на последней лекции аудитория состояла из президента, вышеупомянутого курьера и четверых служащих Пен-клуба — швейцаров и сторожей. Едва сделавшись академиком, Лизандро счел себя

¹ Кодзики, манъёсю, моногатари, никке — произведения древнеяпонской классической литературы.

свободным от всех обязательств и освободил от них своих студентов.

— Сейчас-то что... Я желал бы увидеть тут генерала после избрания. Боюсь, что, если он пройдет в Академию, мы лишимся слушателя. А генерал, в сущности, неплохой человек, но вожжи-то в руках у Перейры. Как тут быть — ума не приложу...

Публика стала расходиться. Франселино Алмейда попрощался с академиками:

— Благодарю вас, Энрике, но сегодня я не воспользуюсь вашей любезностью и пойду пешком. У меня назначено свидание.

— С дамой? — ехидно спросил Андраде.

Старик пропустил вопрос мимо ушей.

— Этот генерал внушает мне симпатию.

А причина этой неожиданной симпатии — швея по профессии, секретарша по легенде, разработанной академиком Портелой, — в этот самый момент направлялась в «Синеландию», где у нее было назначено свидание с бывшим послом Бразилии в Японии и Швеции, увлекательным рассказчиком, который мог поведать интереснейшие истории о жизни на Востоке и в Скандинавии. Руки у посла, правда, тряслись, но все еще были проворны и ловки.

— Мои маркитантки разлагают вражескую армию, — заметил Афранио Портела, садясь в машину.

В этот вечер академики с женами — доной Розариньей и доной Жулией Андраде — собирались поужинать в казино, где выступал знаменитый оркестр Карлоса Машадо «Бразильская серенада» и пел юный гений Гранде Оте-ло — настоящий гений, клянусь честью!

ПРИГЛАШЕНИЕ

Полковник Перейра снова сидит в своем кабинете, где бессонными ночами принимались ответственные решения — только не за письменным столом (враг, гнездившийся в траншее по ту сторону линии фронта, разбит), а в углу комнаты, на глубоком кожаном диване. Рядом с ним его покровитель, академик Лейте. На стене висят карты Европы и Африки: булавки с черными головками надвигаются через Ла-Манш на Британские острова, штурмуют пустыню Сахару. Дыхание войны чувствуется на этом передовом КП.

— Подожди, милый Агналдо! Не рассказывай об ужине у президента. У меня для тебя еще одна хорошая новость: мне звонила секретарша Персио Менезеса и просила передать, что в понедельник он ждет тебя к шести вечера.

— Где?

— У себя. Раньше он принимал в Институте Физики, но сейчас уже не выходит. Он живет на улице Косме-Вельо.

— Да, я знаю. Адрес есть в нашем списке.

— Он хочет лично вручить тебе свой голос — важнейший, самый желанный из всех голосов. Я слышал однажды, как провалившийся на выборах претендент говорил, что поражение ничего не значит, если академик Менезес голосовал «за». Ты, дорогой Агналдо, будешь последним, кого удостоит этой чести один из величайших умов современности, гениальный ученый Персио Менезес. Будущие историки вспомнят об этом.— Он помедлил мгновение, чтобы полковник в полной мере оценил значение голоса умирающего ученого и этого исторического визита, который состоится благодаря его, Лизандро, стараниям.— Ну рассказывай, как прошел ужин.

— Нет уж, теперь ты подожди. У меня тоже есть для тебя новость.— Полковник, исполненный торжественной воинственности, поднялся; вслед за ним встал и взволнованный Лизандро, радостное предчувствие охватило его — неужели сейчас последует вождеденное приглашение? Актерский голос полковника зазвучал в его ушах небесной музыкой.— Я хочу, чтобы ты, мой верный друг, произнес речь на церемонии моего вступления в ряды «бессмертных». Отказа я не приму.

— Произнести речь? Мне? Ты не подозреваешь, с каким наслаждением исполню я этот почетнейший долг. Позволь мне обнять тебя, милый Агналдо! — Лейте пустил слезу. Вот так он и воспитывал сыновей, торил им дорогу, поднимаясь ступенька за ступенькой до самых высот. В эту минуту перед его провидческим взором возникла та вершина, на которую благодаря избранию полковника он совсем скоро взберется. Да, Антонио Бруно умер вовремя.

После поцелуя, которым была скреплена дружба на жизнь и на смерть, полковник и академик снова опустились на диван.

— Подумать только, какое совпадение: я и не смел надеяться на такое доказательство твоего уважения и до-

верия ко мне, однако просто так, для собственного удовольствия, начал перечитывать твои замечательные книги. Захотелось мне, знаешь ли, написать о них статью. Что ж, эти заметки, в которых я хотел поставить тебя на принадлежащее тебе по праву место в нашей литературе, пригодятся мне для выступления. У меня нет только сборника твоих стихов — даже в лавке Карлоса Рибейро я их не нашел.

— Грехи молодости, романтические бредни... Упомяни о них мимоходом, можно ограничиться заглавием. Впрочем, посмотрим, может быть, у меня где-то завалялся экземпляр.— Полковник и не думал выполнять обещание: возвышенно-романтические стишки не вяжутся с руководителем такого масштаба, как он.

Лизандро наконец удается совладать со своим волнением.

— Да, как прошла трапеза? Знаю, что о выборах вы не говорили, это запретная тема, но приглашение на ужин равносильно обещанию голосовать за тебя.

— О выборах речи не было: я в точности следовал твоим наставлениям. Президент рассказывал, как он был мальчиком на побегушках в той самой газете, которой теперь владеет. Потом его жена принялась расхваливать — никогда не угадаешь кого... проклятого британского пса, что отзывается на кличку «Черчилль»! — Полковник самодовольно улыбнулся.— Ну, тут я им вправил мозги...

— Вы спорили о войне? — встревожился Лизандро.— Ведь мы же с тобой договорились: этой темы не касаться!

— Не волнуйся. Мы не спорили. Она вмиг заткнулась и не возражала. И учти, Лизандро, что она начала первая, я только отвечал. А вообще-то давно пора вразумить эту публику.

Лизандро замолкает: что толку теперь порицать полковника за неосторожный шаг? Сделанного не исправишь, сказанного не воротить. Черчилль, де Голль, французские партизаны, мужественные лондонцы — все они играют на руку генералу Морейре, все они противники полковника Перейры. Но пусть даже и так — все равно Лизандро Лейте в конце разговора предрекает полковнику победу с перевесом в семнадцать голосов: двадцать восемь против одиннадцати. Если б можно было, он бы еще увеличил этот разрыв, чтобы поблагодарить за долгожданное приглашение. Честно говоря, речь — вдохно-

венный образец беззастенчивой лести — давно готова и отредактирована.

— Не страшно, если будет и двадцать семь к двенадцати. Главное — набрать вдвое больше голосов, чем «Линия Мажино». Иначе я буду считать, что мы потерпели поражение.

ПРИВИЛЕГИЯ

В воскресенье, когда Лизандро шлифовал свою речь, его позвали к телефону. Звонил полковник Перейра. Лизандро уже по первым звукам его голоса понял, что неприятнейшее известие достигло ушей полковника. Он не ошибся.

— Я только что узнал, что президент пригласил на ужин Морейру. Что означает этот фарс? Я не потерплю этого!

— Все Черчилль виноват...

— Что? При чем тут Черчилль? Жена президента сама заговорила о нем... Поведение Кармо неслыханно. Это издевательство, глумление, низость!

Вот какую жабу преподнес президент Кармо полковнику Перейре. Это уже не жаба, а гремучая змея с ядовитым жалом.

— Не волнуйся, Агналдо. Возьми себя в руки. Давай поговорим спокойно. Пусть Кармо голосует за Морейру: двадцать семь голосов против двенадцати; это на три голоса больше двойного превосходства. Не забудь, что голос Персио стоит пяти.

Лизандро знал о странном поступке президента еще позавчера и пришел к выводу, что на его решение повлиял спор о войне. Любезный друг Агналдо никак не хотел понять, что кандидат в академики ни в коем случае не должен высказывать собственное мнение, если даже такое у него имеется. Вот и поплатился. Дело кандидата — слушать и кивать. Если же он не согласен, все равно обязан молчать и улыбаться. Упаси бог спорить и доказывать. Всегда прав тот, кому принадлежит право выбора. Это привилегия «бессмертных».

ТРАУРНЫЙ МАРШ

Миловидная строгая девушка — горничная? секретарша? родственница? — с удивлением смотрит на суету агентов охраны, которые выпрыгивают из автомобилей.

и занимают позицию у подъезда. Потом она молча приглашает полковника Агналдо Сампайо Перейру в парадном мундире со всеми орденами и медалями следовать за собой и через полутемный коридор ведет его в комнаты.

Они оказываются в библиотеке. Стены до потолка уставлены стеллажами с книгами: книги повсюду — они громоздятся на полу, на стульях, ими завален массивный письменный стол. В простенках висят три картины и изображение Богоматери, кормящей грудью младенца Иисуса. В углу стоит подрамник с холстом — это выполненный в современной манере портрет хозяина дома работы Флавио де Каральо: теплые тона, широкие, смелые мазки. Солнце и звезды запутались в густой бороде, всклокоченных волосах; глаза полыхают огнем: Зевс-громовержец, Гефест, выковывающий преисподнюю. На столе в хрустальной вазе — яркие, веселые цветы.

Полковник смущен и несколько взволнован внезапно возникшим ощущением собственной ничтожности. Пытаясь прогнать это неприятное чувство, он вслушивается в звуки рояля, доносящиеся из другой комнаты. Что-то знакомое... Где он мог слышать эту вещь?.. Во время его пребывания в Санта-Катарине единомышленники несколько раз устраивали концерты немецкой музыки. Полковник знает о пристрастии фюрера к Рихарду Вагнеру. Может быть, и эти воинственные аккорды, возвещающие окончательную победу, созданы германским гением?

— Садитесь, пожалуйста. Профессор сейчас выйдет.

— Скажите, что это играют? Вагнера, не правда ли?

Девушка, похоже, удивлена этим вопросом, она отвечает не сразу. Взгляд ее прикован к сверкающим орденам на груди полковника. Какая странная девушка...

— Нет, это не Вагнер. Это Третья симфония Бетховена, «Героическая». Очень известное произведение... — И она добавляет, словно желая предварить новые вопросы: — Играет донна Антониета. Услышать ее — большая честь. Простите... — Девушка выскальзывает из комнаты.

Кто она — секретарша, родственница, прислуга? Какой менторский тон — словно с неграмотным говорит... Полковник остается один, смотрит на свои ордена и чувствует себя совсем уничтоженным. «...очень известное произведение... большая честь...», Антониета Новаис давным-давно не выступает, но предусмотрительный Ли-

зандро успел шепнуть, что когда-то она пользовалась славой выдающейся пианистки.

Что уж, право, так смущаться и ежиться в этой странной полутемной комнате, где все свидетельствует об остром уме и тонком вкусе ее хозяина, где все величественно, но не пышно, строго, но не уныло? Знаменитая пианистка в честь гостя села за рояль. Он пришел сюда по приглашению академика Менезеса — тот дал понять Лейте, что хочет лично сообщить полковнику, за кого намерен голосовать. По такому случаю Перейра надел парадный мундир со всеми орденами — великому ученому будет приятно. Голос Персио Менезеса равноценен пяти другим голосам. Но до чего же не вяжутся его мундир и ордена с этой заваленной книгами комнатой, с этими картинами с изображением Пречистой, совсем не похожим на обычное, церковное! Может быть, Лизандро был прав, когда советовал полковнику идти в штатском, — он чувствовал бы себя вольготнее, не был бы так растерян и скован?..

Бетховен, конечно, великий композитор, но фюрер все-таки больше любит Вагнера, а фюрер всегда прав, фюрер разбирается и в стратегии, и в искусстве. А разве стратегия — не искусство? Аккорды замирают. Полковник с отвращением разглядывает холст на подрамнике — мазня! Он отводит взгляд, но огненные глаза неотступно следуют за ним, беспощадно пронзают насквозь.

За стеной снова раздаются звуки рояля: теперь звучит траурный марш. Отводя глаза от портрета, подавленный могущественной музыкой, полковник поднимает голову и видит, что в дверях, как в портретной раме, стоит, впившись в него огненным взором, сама Смерть. Полковник вздрагивает.

Призрак приближается тихими шагами, так медленно, что кажется — время остановилось. До своей болезни Персио был могучим великаном — теперь это живой скелет, обтянутый высохшей кожей. Длинная борода свалилась, костлявые руки висят как плети, просторная одежда не скрывает, а только подчеркивает страшное разрушение тела. Мертвенно-бледное восковое лицо — лицо трупа.

Персио Менезес уже совсем рядом. Испуганный полковник встает, звякают на груди медали. В отдалении отчетливо слышатся аккорды похоронного марша.

— Садитесь, — слышит полковник глухой, как будто из-под земли исходящий голос.

Он не протягивает гостю руку, обезображенную болезнью до такой степени, что она кажется уродливой птичьей лапой. «Не хочет, чтобы я прикасался к его иссохшим пальцам»,— благодарно соображает полковник. Академик садится напротив полковника в кресло черного дерева, скупым жестом показывает, что гость может говорить. Усилием воли подавив растерянность, полковник Агналдо Сампайо Перейра, кандидат в члены Бразильской Академии, начинает свою льстивую затверженную речь, воздавая хвалу «бессмертному», который так близок к смерти, что уже неотличим от нее.

Профессор небесной механики слушает его молча, полуприкрыв пылающие глаза. Волнами накатывают звуки рояля, взмывают вверх и падают наземь. Музыка сбивает полковника. Почему пианистка не играет Вагнера, если уж решила почтить гостя? Перейра сбивчиво излагает свою просьбу: он хочет верить, что выдающийся ученый окажет ему честь и проголосует за него, он надеется, что сеньор Менезес еще не связал себя обещанием с другим претендентом...

— Я уже давно все решил,— раздается глухой медленный голос: каждое слово дается говорящему с трудом,— я не стану поддерживать генерала Морейру, который посетил меня несколько дней назад. Лично против него я ничего не имею, но его сочинения из рук вон плохи. Поэтому я не буду голосовать за него,— теперь слова звучат более вятно, хоть он и не повышал голоса.— Жить мне осталось недолго, но перед смертью я хотел вас видеть. Я знаю о вас все, полковник Перейра.

В первый раз с тех пор, как он переступил порог этого дома, полковник вздыхает полной грудью. Настал торжественный и волнующий миг: сейчас он заручится поддержкой Персио; письмо в Академию, должно быть, уже перепечатано и лежит на столе. Нервы полковника напряжены, он ждет, стараясь не слышать звуков похоронного марша. Странная честь, воля ваша!

Персио Менезес протягивает иссохшую руку и кончиками пальцев дотрагивается до иконостаса на груди полковника.

— А где Железный крест? — И, не давая тому ответить, поднимает руку к лицу ошеломленного визитера.— Это единственный орден, который вы имеете право носить. Но только не на мундире офицера бразильской армии, а на черном мундире гестаповца.

— Что? — лепечет полковник, остолбенев.

Опершись о подлокотники, Персио Менезес приподнимается с кресла — сама Смерть встает вместе с ним.

— Как вы смели просить у меня мой голос? Вы — нацист! Вы — враг культуры Бразилии и бразильского народа!

Звучит похоронный марш. Замогильный голос, в котором слышится отвращение, исходит, кажется, из самых глубин истерзанного болезнью тела. Долгие паузы отделяют слово от слова:

— В каждом из нас добро борется со злом. Но вы хуже чем робот, вы получеловек, вы палач. Неужели у вас есть жена, дети, любимое существо? Не верю. Неужели кто-то любит вас? Не может быть. Те, кто служит вам, куплены или запуганы. Вы когда-нибудь любили? Испытывали нежность к женщине? Улыбнулись ребенку? Неужели вы всегда были жалким существом — таким, как сейчас? Вы гниете заживо, от вас разит падалью. Вы хотели, чтобы я голосовал за вас? Как вы смели подумать, что я проголосую за гестаповца?

Протяжный, глухой голос окреп.

— Вон отсюда, или я вас ударю!

Он замахивается, и совершенно потерявшемуся полковнику кажется, что сама Смерть занесла над его головой костлявую руку. Полковник Перейра пятится к выходу. Могучие звуки похоронного марша заполняют комнату. Смерть наступает на полковника, и он выбегает в коридор, выскакивает в распахнутую секретаршей дверь; у подъезда его подхватывают громилы-охранники. Забившись в машину, он закрывает лицо руками.

МЛАДШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ

Пробудившись, дона Эрминия встала с кровати и удивилась, что ее муж еще крепко спит. К этому часу ему уже давно полагается сделать гимнастику, принять холодный душ, одеться, залпом выпить кофе и сидеть в своем кабинете в Военном министерстве: он никогда не опаздывает. Дона Эрминия, если не случается чего-то из ряда вон выходящего, видит своего мужа только поздно вечером или на рассвете. Полковник любит с пафосом повторять, что себе не принадлежит — его время, его заботы, его жизнь отданы делу. Дона Эрминия привыкла.

Что-то уж больно крепко он спит... Дона Эрминия тронула лицо мужа кончиками пальцев. Полковник Перейра был мертв.

Выражение какой-то наивной растерянности застыло в его круглых глазах, полуприкрытых веками. Нет, никто не поверил бы, что это герой, павший на поле брани; нацист, который для многих был воплощением мракобесия и зла; начальник бразильского гестапо, кнутобоец и палач. На кровати лежал маленький мертвый человек в пижаме, и был он точно такой же, как и все мертвецы, — не лучше и не хуже.

Он кого-то напоминал доне Эрминии. Она стала вспоминать: лицо покойного было похоже на лицо того юного, робкого и пылкого лейтенанта, которого она так давно знала и так давно не видела... Он читал ей стихи и вымаливал поцелуи. Дона Эрминия вспомнила и тихонько заплакала.

III

ПАРТИЗАНСКАЯ ВОЙНА НА ПЛОЩАДИ КАСТЕЛО СВЕДЕНИЯ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИЕ ОГЛАСКЕ

— Мы похороним полковника пышно и спешно и избавимся от него раз и навсегда, — говорил начальник Департамента печати и пропаганды, о политическом двуличии которого речь у нас уже шла.

Он только что кончил сочинять правительственное сообщение о смерти полковника Агналдо Сампайо Перейры — «отважного защитника родины, безупречного офицера, чья беззаветная преданность Новому государству являлась важным фактором в деле укрепления правопорядка и отражения коммунистической опасности».

Редактор из Национального агентства печати осведомился:

— А Хозяин будет на похоронах? Или придет только на бдение?

— Кто? Президент? Ты с ума сошел! Не будет его ни на похоронах, ни на панихиде. Он признавал, что новопреставленный Геббельс Перейра — человек полезный, но терпеть его не мог. «От него несет средневековьем» — так он мне сказал однажды.

Беседа приняла доверительный характер, и редактор решил подольститься:

— Какие интереснейшие воспоминания напишете вы когда-нибудь!

— Для того чтобы писать воспоминания, надо многое помнить, а тот, кто многое помнит, на моей должности

не задерживается. Понял? И потому я слеп, глух и беспомощен. Только что еще не импотент. Пока.

«Вот ведь сволочь какая,— думает редактор,— а все же симпатичный. Разве так бывает?» Вслух он сказал то, о чем гудели все редакции.

— Подумать только: полковника Перейру все дружно ненавидели, а умер он своей смертью, в своей постели. Можно считать, ему повезло... Случись в один прекрасный день какая-нибудь заварушка, он бы живым не ушел. Его бы растерзали.

— Насчет постели я не спорю. Но разве это называется «своей смертью»? Его травили цикутой. Малыми порциями.

Сенсационное сообщение, полученное, можно сказать, из первых рук! То-то будет шуму, когда редактор расскажет об этом товарищам. Недаром говорят, что лидеры Нового государства отчаянно борются за власть и за кулисами творятся страшные дела.

— Отравили цикутой? Кто? Как?

— Старички академики. Травили ядом, изо дня в день увеличивая дозу. Последнюю чашу поднес ему Персио Менезес.

Начальник ДПП вдруг скопил взгляд куда-то за окно, на железобетонные громады новых кварталов.

— Великий человек этот Персио Менезес... Гениальный человек. Ты слышал, что когда он работал в Принстоне, то вычислил местонахождение и открыл две неизвестные звезды? Он заселяет небеса...— начальник вдруг улыбнулся,— ...и преисподнюю.

ЕДИНСТВЕННЫЙ ПРЕТЕНДЕНТ

Сразу после смерти Антонио Бруно академик Лейте пообещал всемогущему полковнику Перейре почетное одиночество на выборах. Однако через восемь дней после того, как истек срок подачи заявлений в Академию, умер сам полковник Перейра. Его похоронили с большой помпой: ползли танки, гремели трубы военного оркестра, чеканили шаг солдаты, звучали надгробные речи и залпы салюта. А единственным кандидатом остался генерал Валдомиро Морейра, в успех которого на выборах мало кто верил. Однако генерал, как видно, родился в сорочке.

Он узнал о смерти врага от верного Клодинора Сабенсы, который пять часов в день трудился в редакции

«Диарио да тарде», приводя безграмотные репортажи и хронику в соответствие с нормами португальского языка.

— С вас причитается, ваше превосходительство! Я хочу первым поздравить нового «бессмертного»!

Ох, бедное сердце генерала Валдомиро Морейры, сработавшийся механизм!.. Оно то и дело дает перебой; надо беречься, надо избегать волнений... Попробуй-ка уберечься тут, в самый разгар предвыборной схватки. Что же случилось? Помнится, Афранио Портела допускал возможность того, что негодяй Перейра снимет свою кандидатуру.

— Он снял свою кандидатуру? — «Он», а не «Гебельс» или иное обидное прозвище: генерал знал, что его телефон прослушивается с тех самых пор, как он решил баллотироваться в Академию. Один из надежных друзей предупредил его, посоветовав ему и ветренице Сесилии сохранять сдержанность.

— Он сыграл в ящик. Умер.

— У! Когда?!

Сердцебиение усиливается. Куда там запропастились Консейсан и Сесилия? Ему надо принять таблетку и запить водой.

— Уснул и не проснулся. Похороны сегодня в пять часов. Будет на что посмотреть: министр скажет надгробное слово, выведут танки, будет салют. Прием заявлений прекращен, конкурент в могиле. Вы стали академиком досрочно.

К счастью, в эту минуту в комнату вошла донна Консейсан и, оценив ситуацию, бегом бросилась за лекарством. Узнав о своем избрании, генерал чуть не умер.

Когда опасность миновала, генерал раскинулся в кресле и с ликованием объявил о великом событии жене и Сесилии, густо намазанной кремом (она обстоятельно наводила красоту перед свиданием с Родриго):

— Вы видите перед собой генерала Валдомиро Морейру, члена Бразильской Академии, «бессмертного»!

Уже потом, много времени спустя, донна Консейсан горько недоумевала: почему человек не может сам выбрать себе час смерти?

ВОИТЕЛЬНИЦА

Узнав о смерти полковника Перейры, Мария Мануэла позвонила Афранио Портеле и спросила, не смогут ли они встретиться в тот же день. После похорон Антонио

Бруно они часто и подолгу разговаривали по телефону, и романист сообщал ей все подробности военных действий. Теперь она требовала свидания, чтобы лучше разузнать об этом невероятном происшествии и предупредить, что вскоре они с мужем уезжают из Бразилии: уже сидят на чемоданах.

Маленький бар на крыше небоскреба возле Прайа-до-Фламенго, откуда открывался вид на залив, в эти утренние часы пустовал: лишь кое-где в уголках шептались влюбленные парочки, зато вечером, когда начиналась программа варьете с участием звезд, там было не протолкнуться. Аффранио и португалка сели так, чтобы видеть похоронную процессию на площади Рассел. Военный оркестр играл траурный марш. На орудийном лафете был установлен гроб, покрытый бразильским флагом. Подразделение Специальной полиции — на новых немецких машинах и мощных мотоциклах. Кавалерийское оцепление. Черные автомобили с высоким начальством. Замыкали кортеж два танка. Полковник Сампайо Перейра и после смерти не сдал командования.

Мария Мануэла не отрываясь смотрела на все это. Потом потребовала объяснений:

— Скоростижно, да? А от чего?

— Не столько скоростижно, сколько неожиданно. Отчего он умер, вы спрашиваете? Разве не ясно? Он пал от руки врага. Впрочем, этого мы не добивались — у нас были другие планы. Отдадим полковнику должное: он погиб в бою.

— Подождите, местре, не так быстро: ваши ребусы вконец меня запутали. Он погиб в бою? Как это понимать? А смерти его вы не хотели? Чего же вы добились?

— Мы добивались капитуляции. — Портела отвел взгляд от похоронной процессии: куда лучше глядеть в прелестные печальные глаза последней возлюбленной Бруно. — Сампайо Перейра был самовлюбленный дурак: он считал себя всемогущим и был уверен, что никто на свете не осмелится препятствовать его воле. Наша стратегия преследовала только одну цель — вынудить полковника к капитуляции, то есть к откazu от баллотирования. Тактические же удары имели целью деморализовать и измотать противника. Полковник не привык ни к разочарованиям, ни к неудачам, он все больше и больше приходил в ярость, он был измучен и опустошен. Он надеялся стать единственным претендентом — вместо этого

нежданно-негаданно обрел соперника. Он мечтал о единоголосном избрании — мечта так мечтой и осталась. Потом он начал один за другим терять обещанные голоса, почувствовал, что встречает активное сопротивление. Фигейредо его оскорбил, Эвандро унизил. И тогда полковник утратил уверенность в себе, растерялся.

— Он признал себя побежденным?

Похоронная процессия, сопровождающая «героя к его последней траншее, траншее бессмертия» (так выразится военный министр в своей надгробной речи), медленно и торжественно следует дальше. Движение на улицах перекрыто. На тротуарах толпятся зеваки.

— О, нет! Не знаю, победили бы мы его, если б дело дошло до выборов. Очень сомневаюсь. Весь расчет строился на том, что обескураженный, оскорбленный полковник Перейра, боясь поражения, добровольно откажется от борьбы. Ужин у президента нанес ему тяжкий удар: он испугался. Мы хотели, фигурально выражаясь, накормить его жабами и змеями так, чтобы он изbleвал свое намерение стать академиком. А он подавился и задохнулся.

Звуки музыки отдаляются. Кортёж доходит до проспекта Лигасан и постепенно исчезает за поворотом.

— Полковник внушал Персио такое отвращение, что я с большим трудом уговорил его принять кандидата. Он любил Бруно и потому согласился на это. Его жена тоже любила Бруно и потому села за рояль и сыграла траурный марш из «Героической» Бетховена. Я разговаривал с Персио по телефону: он боится, не переусердствовал ли вчера. Когда Перейра выразил надежду получить голос Персио, тот разъярился до такой степени, что едва не дал ему пощечину. Полковник в беспорядке отступил. Доза оказалась смертельной: ко мне он уже не придет. Ну вот, красавица моя, память Бруно очищена от скверны. Я выполнил свое обещание. Мы сделали все возможное и невозможное. И старались не зря.

Мария Мануэла склонилась и поцеловала руку местре Афранио.

— Я хотела бы поцеловать руку и профессору Менезесу. Как он себя чувствует? Неужели нет никакой надежды?

— К сожалению, ни малейшей. Боюсь, что, прогнав полковника, он внес свой последний вклад в дело бразильской культуры.

— Что ж, тогда меня здесь больше ничто не держит. Афонсо назначен послом в Венесуэлу. Отец выхлопотал нам разрешение не заезжать в Лиссабон — морские путешествия сейчас небезопасны. Мы отправимся в начале следующего месяца из Манауса.

В молчании собеседники созерцали ослепительную панораму, раскинувшуюся перед ними: залив Гуанабара, острова, пляжи, легкие домики Нитероя.

— А знаете, где я познакомилась с Бруно? Там, в Нитерое. Невероятная история... Я могу рассказать, если вы не спешите.

— Я совершенно свободен. Со дня смерти Бруно я впервые могу позволить себе роскошь никуда не спешить. К тому же я обожаю невероятные истории.— Печальное лицо Марии Мануэлы осветилось озорной улыбкой.

— Это старая сказка на новый лад, глупая сказка про политику и супружескую неверность.— Она помолчала, а потом спросила: — Вам известно, что я принимаю участие в борьбе с салазаровским режимом?

— Бруно читал мне стихотворение о богине с Олимпа, у которой в руках меч. Превосходные стихи.

— «Богиня и фигляр» — это одно из первых стихотворений, мне посвященных. Ну так вот: в Нитерое у меня была назначена встреча с португальским эмигрантом, который обещал принести мне кое-какие документы. Их следовало переправить в Португалию, а у меня были возможности для этого...

Да, у дочери салазаровского министра, у невестки крупнейшего банкира, у жены советника португальского посольства были особые возможности для борьбы с фашизмом: она находилась в самом логове врага, имела доступ к секретной информации, знала в лицо агентов ПИДЕ, действующих в Бразилии, и могла использовать дипломатическую почту для своих личных нужд... С удивлением смотрит Афранио Портела на сидящую перед ним женщину — светские хроникеры обожествляют ее, неустанно восхищаясь ее красотой, элегантностью, вкусом и тактом. Кто бы мог подумать, что королева дипломатического корпуса и светских салонов — подпольщица, которая занимается нелегальной деятельностью и связана с «подрывными элементами»? Вот это тема для

романа! Размышляя об этом, Аффранио Портела чувствует сильнейшее искушение вновь вернуться к беллетристике.

— Встреча была назначена в баре бухты Святого Франциска. Как мы и условились, я пришла первой, купила в табачном киоске сигареты, и тут появился мой товарищ — почти бегом. Он был явно напуган. Сунул мне конверт и успел шепнуть, что за ним хвост. «Тебя филеры видеть не должны», — сказал он и исчез. Я спрятала конверт в карман. Куда мне было деваться? Представьте, что было бы, если бы агент меня опознал?

Аффранио Портела наслаждается рассказом. Ах, какая глава романа могла бы из этого получиться!..

— Тут я заметила за столиком Антонио Бруно. Он что-то потягивал из рюмки — наверняка ждал даму. Я узнала его по фотографиям: я читала его книги и зачитывалась его стихами в студенческие годы. Ни минуты не колеблясь, я подсела к нему и сказала, что субъект, который топчется перед дверью кафе, заглядывая внутрь, ни в коем случае не должен меня узнать. Бруно ни о чем не спросил. Агент мог заподозрить кого угодно — только не меня, тем более что Антонио заслонил от него мое лицо. Поцелуй был бесконечен... Потом он посадил меня в такси, так и не задав ни единого вопроса.

Аффранио Портела уже думает, как построить повествование. Может быть, завтра он вставит в машинку чистый лист бумаги, отложит заметки о поэтах-инкофидентах¹ и опишет политические интриги в посольстве Португалии, мытарства политэмигрантов, последнюю страсть Антонио Бруно, тайну Марии Мануэлы!

— На следующий день я получила книгу с дарственной — очень церемонной — надписью и корзину великолепных орхидей. А потом он позвонил по телефону... Раньше я умела только сражаться — Антонио пробудил во мне любовь, открыл во мне женщину.

Где-то в отдалении гремит салют. Первая горсть земли падает на гроб с телом полковника Агналдо Сампайо Перейры.

¹ Бразильские поэты Т.-А. Ганзага и К.-М. да Коста были участниками заговора «инкофидентов», ставивших своей целью провозглашение независимости страны, отмену рабства, отмену сословного деления. В мае 1789 г. заговор был раскрыт, а его участники приговорены к ссылке и изгнанию.

Вначале она сопротивлялась. Вовсе не потому, что любила мужа или считала свой брачный союз священным и нерушимым, — нет, даже тени нежности не было в ее отношениях с ленивым, легкомысленным, ничтожным человеком, мечтавшим лишь о наградах и отличиях. Больше всего на свете он хотел, чтобы дворянский титул облагородил те огромные деньги, которые его отец нажил в колониях, нещадно эксплуатируя негров, и приумножил в метрополии по милости правительства Португалии. Афонсо Кастиэл хотел стать аристократом — потому он и избрал благородную дипломатическую стезю, предоставив братьям плебейскую возможность управлять банками, вкладывать деньги в промышленность и сельское хозяйство. Потому он и женился на Марии Мануэле Ково Силварес д'Эса — наследнице старинного дворянского рода; девиз на его гербе гласил: «Королю вверяю я и жизнь свою и честь». Афонсо, если бы было можно, охотно заменил бы славной фамилией жены свою собственную, ибо она недвусмысленно намекала на его происхождение. Прочнейшие узы — узы денег и дружбы — связывали миллионера Соломона Кастиэла и влиятельного политика Силвареса, министра иностранных дел Португалии: оба пользовались доверием и уважением диктатора, а заслужить у него то и другое было, видит бог, нелегко. Нет, тайнству брака Мария Мануэла не придавала ни малейшего значения, а был этот брак ее заданием, самым трудным заданием из всех, какие она когда-либо получала. Так почему же она боролась со своей любовью? По идейным соображениям.

Впервые Антонио Бруно увидел ее в баре в Нитерое. Он понимал, что страх разоблачения, толкнувший ее в тот день в его объятия, касательства к делам любовным не имел. Тут пахло политикой, а то и шпионажем. Он видел, как у табачного ларька какой-то субъект сунул ей конверт. Красота этой женщины и окутывавшая ее тайна мгновенно свели Бруно с ума: он влюбился. Ее надо покорить — иначе и жить не стоит. Он должен во что бы то ни стало обладать этой женщиной — у нее губы цвета граната и лебединая шея...

Он начал правильную осаду, применив весь набор средств, проверенных долгим опытом в делах такого

рода: цветы и книги, ласкающий голос и медовые речи, блеск ума и жар желания. Мария Мануэла была вежлива и неприступна. Крепость не сдавалась.

Изящная словесность помогла Бруно пробить первую брешь. В благодарность за его книги, которые он дарил ей со все более нежными надписями, она однажды послала ему по почте тот единственный томик стихов, что вышел при жизни Фернандо Пессоа¹. На титульном листе было написано: «Замечательному бразильскому поэту Антонио Бруно «Послание» крупнейшего португальского поэта современности преподносит с глубоким уважением его читательница Мария Мануэла Силварес-Кастизэл». Бруно понаслышке был знаком с творчеством своего лиссабонского собрата, которому было суждено прославиться в Бразилии лишь после войны: наш интеллигент, возросший на французской культуре, пренебрегал португальской словесностью. Разумеется, он читал книги великого Эсы де Кейроша и его современников: Рамальо, Антеро, Феррейры де Кастро. Знал имя Акилино Рибейры и отвергал меланхолическую поэзию Антонио Нобре, хотя любил стихи Сезарио Верде. Столь вопиющее невежество оскорбляло патриотические чувства прекрасной выпускницы филологического факультета Коимбры.

И вот благодаря Фернандо Пессоа и его гетеронимам телефонные разговоры Бруно и Марии Мануэлы стали более продолжительными, а за ними последовало первое свидание. Произошло оно в Португальском литературном лицее, куда прекрасная Мария Мануэла принесла уйму совершенно неведомых Бруно книг, но пришла она не только ради португальских поэтов: она уступила мольбам влюбленного Бруно потому, что его первый поцелуй до сих пор жег ей уста, лишал ее воли и воспламенял глубоко затаенные желания.

Выглядело все это очень забавно: Бруно говорил о любви, а эрудитка Мария Мануэла отвечала на его пылкие речи платоническими рассуждениями о поэтах, группировавшихся вокруг журналов «Орфей» и «Презенса», предлагала ему почитать выпуски «Сеара нова». Что ж, Бруно применил против Марии Мануэлы ее же оружие: он двинул в бой Превера и Бретона, Арагона, Элюара и Тцара — от поэта к поэту, от стихотворения к стихотво-

¹ Фернандо Пессоа (1888—1935) — португальский поэт, писавший под своим именем, а также создавший трех «двойников»-гетеронимов — Алберто Казейро, Рикардо Рейса и Алваро де Кампоса.

рению они становились все ближе друг к другу, и нежные слова все чаще перебивали поэтические строфы. Литературные споры сгорели в пламени страсти. «Цыганское романсеро» Лорки оказалось той «ничейной землей», на которой и выросла их любовь. Сидя на скамейке под деревьями в парке Силвестре, они читали «Двадцать стихотворений о любви и одна песня отчаяния» Пабло Неруды и целовались.

Когда же Антонио Бруно скорбным, тихим голосом прочел вдохновенные ею сонеты в духе Камоэнса, Мария Мануэла сложила оружие. Она никогда не могла понять, что такое «быть порядочной женщиной». Может, это означает, что следует хранить верность Афонсо, хотя свет не видывал мужа более равнодушного к судьбе жены? «Делай со мной что хочешь!» — сказала Бруно побежденная и счастливая Мария Мануэла.

Для него эта связь была последним приключением, наваждением, безумством. Для Марии Мануэлы — первой любовью, которая открыла ей жизнь с неведомой стороны и новым светом озарила дело, занимавшее все ее помыслы. Ее товарищ Фернандо Кастро объяснил ей, что значит сострадать угнетенным, поэт Антонио Бруно научил ее любви. «Без него я бы не стала тем, что я есть», — призналась она местре Аффранио в день похорон полковника.

Первая любовь пришла к ней поздно: ей было уже двадцать восемь. Тогда-то и познала она полное, безграничное счастье — нежность и страсть, освобождение от всех оков. Неожиданная встреча в Нитерое произошла незадолго до рождества 1939 года; Бруно умер в сентябре 1940-го. Десять месяцев продолжался этот роман — десять прекрасных месяцев, не омраченных ни единой размолвкой, ни единой минутой унылого душевного спокойствия.

II

В нарушение патриархальных обычаев семьи Мария Мануэла, окончив лицей, не захотела оставаться просто девицей на выданье. Она поступила на юридический факультет Коимбрского университета, вольнослушательницей посещала лекции по филологии. Общительная, умная, веселая девушка окунулась в самую гущу студенческой жизни. Романтические свидания на берегу Мондего быстро ей наскучили — она сблизилась с левыми

студенческими группами, которые привлекли Марию Мануэлу своим интересом к серьезным проблемам. Фернандо Кастро, хриплоголосый аскетического вида студент-юрист, взял на себя труд просветить ее. Покуда остальные наперебой ухаживали за ней, попусту теряя время на чувствительные объяснения, только смешившие ее, Кастро говорил о политике, о том, что народ задыхается от нищеты, о гнете салазаровского режима, о преступности колониальной политики Португалии, об алчности империализма, высасывавшего из страны все соки. Он давал ей запрещенные книги и с восторгом рассказывал о новом обществе, в котором не будет ни классов, ни частной собственности, где все получают хлеб, свободу и право пользоваться благами культуры. Мария Мануэла была потрясена. Она подала заявление и после испытательного срока и нескольких проверок, неизбежных для человека ее происхождения, была принята в партию, получив партийную кличку Берта.

Возвращаясь на рассвете с тайного собрания, она чувствовала безмерное счастье и в укромном углу возле древней университетской стены отдалась Фернандо, который отрекся от своей суровой морали и применил на практике презираемую им раньше теорию свободной любви. Его нельзя винить и можно понять: только каменное изваяние смогло бы остаться равнодушным к прелести Марии Мануэлы. Кастро же, проводивший с нею дни и ночи, был не из камня, а из плоти — хотя и довольно тощей.

Фанатик по душевному складу и убеждениям, Фернандо Кастро в том же духе воспитал Марию Мануэлу: она не признавала ничего, что хоть немного напоминало бы о роскоши, эlegantности, блеске, — ни дорогих платьев и туфель, ни кремов и пудры, ясно свидетельствовавших, по ее мнению, о загнивании капиталистической морали. Мария Мануэла не прибегала ни к каким ухищрениям, чтобы подчеркнуть сияющую красоту лица и божественное изящество фигуры, но и так сводила с ума студентов и профессоров. Она вдохновляла своих поклонников на создание ужасающих сонетов, чудовищных новелл, отвратительных стансов и канцон, однако все эти проявления буржуазного упадничества нимало ее не трогали. Скупые ласки Кастро вполне удовлетворяли ее неразбуженную чувственность. Главное — революция, все остальное — второстепенно. Раз и навсегда переборола она в себе и нежность, и вождение.

Кастро был схвачен полицией во время одного из тайных собраний в Серра-да-Эстреле. Мария Мануэла хотела добиться с ним свидания, но ей не разрешили, и она, не допытываясь до причин строгого запрета, подчинилась. Она училась, получила диплом, все больше втягивалась в нелегальную работу. Замену политическим урокам своего наставника, мысли которого хотя и были прямолинейно суровы, но освещались огнем благородного вдохновения, она нашла в поэзии. Ни сокурсники, ни члены ее организации не смогли заинтересовать ее, а Фернандо Кастро, приговоренный к длительному сроку заключения, срока своего не отбыл: через несколько месяцев после ареста он умер в лагере Таррафал. Мария Мануэла оплакивала не гибель возлюбленного — она скорбела о смерти единомышленника.

Вернувшись в Лиссабон по окончании университета, она собиралась порвать с семьей и вызвалась работать в подполье. Ей этого не позволили. Больше того: когда Афонсо Кастиэл сделал Марии Мануэле предложение, ей посоветовали принять его.

«Посоветовали» сказано не совсем точно: она получила не совет, а приказ выйти замуж за дипломата. После того как она со смехом рассказала руководителю своей группы о сватовстве Кастиэла и добавила, что никогда не выйдет за этого скудоумного вертопраха, ее через два дня вызвали на чрезвычайно важную и секретную встречу. С завязанными глазами Марию Мануэлу долго куда-то везли; в машине был только незнакомый шофер, не проронивший за время пути ни слова. Впервые в жизни ей предстояло увидеть одного из своих главных руководителей.

Машина остановилась, шофер взял Марию Мануэлу за руку и, как слепую, ввел в дом, потом произнес: «Подождите здесь», — и исчез. Через некоторое время раздался вежливый и безразличный голос: «Можете снять повязку». Она увидела перед собой человека средних лет, худого, со впалыми щеками. Глаза его горели, во всем облике было что-то от апостола. «Очень рад с вами познакомиться, Берта, — сказал этот человек и протянул руку. — Садитесь, нам с вами о многом нужно поговорить. Меня зовут Невес». Сердце девушки заколотилось. Так вот каков этот легендарный Невес, герой, про которого рассказывали невероятные истории, главный теоретик их партии. Какая-то внутренняя сила, невольно

внушавшая уважение и заставлявшая повиноваться, чувствовалась в этом человеке.

На минуту Невес показался Марии Мануэле близким и добрым. Это было в начале беседы, когда он почти с нежностью заговорил о погибшем в лагере Кастро, которого жестоко пытали на допросах и который вел себя как герой, не рассказав ничего из того, что знал — а знал он немало — о подпольных студенческих кружках в Коимбре, и бросив проклятие в лицо палачам. «Это пример для нас всех», — закончил Невес. Потом голос его вновь зазвучал повелительно-бесстрастно: «Ну а теперь поговорим о вас».

Он обращался к ней уважительно, но без всякого тепла, говорил только о деле — одна лишь революция служила им связующим звеном, и больше ничего общего между ними не было. Руководитель сообщал рядовому бойцу решение, а ей надлежало выполнить полученный приказ. Невес знал о ее работе в Коимбре и Лиссабоне, за что-то он суховаты похвалил ее, за что-то поругал. Наставительно и веско Невес заявил, что до сих пор Марию Мануэлу использовали не по назначению. Учитывая пост, который занимает ее отец, и престиж ее семьи в обществе, Берте отныне будут поручены особые задания — и без нее найдется кому распространять листовки и писать на стенах лозунги.

В отношении Берты принято соответствующее решение. Она будет поддерживать постоянный контакт лишь со специальным уполномоченным, который поможет ей в ее новой работе. Война в Испании в самом разгаре, и Берта, дочь министра иностранных дел, входящая в правительственные круги, окажет партии неоценимые услуги. Ее задача — собирать и передавать информацию, а для расширения сферы деятельности Берте необходимо принять предложение дипломата Афонсо Кастиэла и стать его женой.

Ошеломленная Берта не скрывала своего разочарования и попыталась было возражать: она готовила себя совсем к другому, ей хотелось стать не шпионкой, а революционеркой. Тут голос Невеса, холодный и режущий, словно стальной клинок, произнес, положив конец спорам и обидам:

— Из ваших слов, Берта, я заключаю, что вы еще не освободились от мелкобуржуазной психологии, еще не стали настоящим борцом. Мы поручаем вам ответственнейший участок борьбы, считая, что вы справитесь с

возложенным на вас поручением, а вы, вместо того чтобы гордиться таким доверием, пытаетесь оспаривать решения руководства. Вам не терпится проявить свой героизм? Чего вы хотите? Малевать лозунги на стенах? Выступать на летучих митингах? Разбрасывать листовки на ярмарках? Мы даем вам задание. Вы обязаны выполнить его.

Мария Мануэла, еще не осознав бессмысленность спора, поняла, что совершила ошибку: она действительно все еще не изжила глупых и романтических представлений о революционной борьбе. А вот Невес — настоящий борец, которым можно лишь восхищаться.

— Вы правы, Невес. Я постараюсь преодолеть мою классовую ограниченность и стать достойной вашего доверия,— сказала она, а про себя произнесла свой девиз: «Вам вверяю я жизнь свою и честь».

Бракосочетание Марии Мануэлы Ково Силварес д'Эса и Афонсо Кастиэла стало самым ярким событием года, и о нем долго еще вспоминали лиссабонцы. Платье, фата, букет бледной и обворожительной невесты были выписаны из Парижа... «Свадебный марш» исполнен знаменитым органистом Клаусом Бергманом, специально для этого случая приехавшим из Вены... Венчал их в кафедральном соборе святого Иеронима сам кардинал, который во имя господа благословил союз двух знатных и могущественных семей, представители которых связаны отныне священными узами брака... Свадебное торжество прошло с беспрецедентной пышностью и блеском.

Утонченный и надушенный Афонсо интересовал Марию Мануэлу в постели еще меньше, чем застенчивый и грязноватый Фернандо. Сняв фрак, идиот молодожен собрался изобразить бурную страсть и заверил супругу, что бояться нечего — он будет так нежен и осторожен, что она ничего даже не почувствует... Афонсо всерьез полагал, что лишил ее девственности. Свои ласки он по ровну делил между женой и певичкой из Алфамы, которую содержал вместе с веселой оравой ее бездельников кузенов.

Невес оказался прав. Мария Мануэла передавала бесценные сведения, важнейшую и секретнейшую информацию, полученную в кабинете отца, в доме свекра, в супружеской спальне. Афонсо очень любил рассказывать ей последние слухи, сплетни, новости, которые собирал в коридорах министерства, в приемных правительства...

Он получил назначение в Бразилию, на должность советника посольства, и Мария Мануэла по решению своего руководства последовала за ним. При ее помощи был налажен надежный и быстрый канал связи между эмигрантами и руководителями партии. Лишь один верный человек, который помогал ей в работе, знал, кто она на самом деле.

Она жила в Рио уже год, когда однажды вечером встретила в Нитерое Антонио Бруно.

III

В объятиях поэта Мария Мануэла расцвела. Если в Коимбре она открыла для себя необходимость перестройки мира, то в Рио познала жизнь во всей ее полноте. Та ночь, когда после долгой борьбы она оказалась наконец в постели Бруно, стала для нее ошеломляющим откровением. Очень скоро Мария Мануэла превратилась в настоящую женщину — жаждущую и ненасытную. Она жадно наверстывала упущенное и была счастлива.

Но Берта не покидала поле своей нелегальной деятельности и так же тщательно выполняла все задания, к которым сама прибавила еще одно — личное. Мария Мануэла мечтала, чтобы лирический поэт Антонио Бруно отдал свой талант угнетенным массам, борющимся за преобразование мира. Она приводила ему в пример великого чилийца Пабло Неруду, чьи «Двадцать стихотворений о любви» вдохновили их на первый поцелуй.

Во время одного из их бесконечных споров Бруно показал ей статью, где критик, высоко оценив «ощущение Бразилии» в стихах поэта, все же осуждал его за то, что он уклоняется от решения социальных проблем и не желает в этом «содрогающемся от конвульсий мире» выбрать четкую позицию. Статья была напечатана в последнем номере «Журнала для всех», тут же запрещенного цензурой, хотя редактор-издатель Алфаре Морейра был человек весьма влиятельный и со связями. Мария Мануэла полностью согласилась с автором статьи: Антонио Бруно не выполняет своего долга. Может быть, именно она, прекрасная португальская мятежница, заставила его произнести в Академии ту памятную речь о «хрустальной башне, в которой немислимо оставаться во время войны».

Смеясь, Бруно пообещал написать целую книжку стихов на социальные темы, но обещания своего, разуме-

ется, не выполнил. Совсем другие стихи вышли из-под его пера—стихи о любви, о не знающей границ страсти, о безумном менестреле, склонившемся к ногам прекрасной дамы, которая ради него рискует и состоянием, и добрым именем.

«Ничем я не рискую,—повторяла Мария Мануэла,—наш брак давно уже стал фикцией». Афонсо продолжал брать на содержание певичек: теперь пришел черед хорошенькой мулатки — исполнительницы самб в театрике на площади Тирадентеса. Мария Мануэла не завела себе любовника только потому, что ни один из поклонников, добивавшихся ее внимания в гостиных и на посольских приемах, ей не нравился. Она была готова бросить мужа и навсегда связать свою жизнь с Бруно — променять богатство и положение на бедность и поэзию. Чтобы отговорить ее от этого безумного шага, Бруно пришлось прибегнуть к политическим доводам: что скажут ее руководители? Этот аргумент подействовал.

В пятьдесят четыре года Бруно был в расцвете сил, но уже предчувствовал скорую старость и понимал, что судьба сделала ему прощальный подарок, одарив любовью этой красивой и молодой, образованной и бесстрашной женщины. Тайком он пробовал писать те стихи, которых требовала от него Мария Мануэла, но ничего не получалось: гражданственность и пафос звучали натянуто и фальшиво. Единственным его произведением, в котором чувствовалась искренняя ненависть и ярость, отчаяние и надежда, тяжесть сжатого кулака и боль кровоточащего сердца, была «Песнь любви покоренному городу» — поэма, написанная как реквием оккупированному Парижу, звучащая как призыв ко всем народам мира на борьбу с фашизмом, как освобождение всех покоренных городов, поэма Марии Мануэлы и Бруно. Мария Мануэла первая перепечатала ее на машинке. Подпольщица под траурной вуалью, дама в черном сохранила «Песнь любви», и в миг величайшего уныния она в тысячах копий разошлась по Бразилии и Португалии, по Анголе, Мозамбику, Гвинее-Бисау, где уже разгорались первые костры партизанской войны.

БЕСЕДА АКАДЕМИКОВ ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОЖКУ

Старейшина Бразильской Академии Франселино Алмейда был весьма наблюдателен и потому немедленно заметил происшедшую с генералом Валдомиро Морейрой

перемену. Сидя на диване рядышком с министром юстиции и председателем Верховного федерального суда Пайвой, он посматривал на стол, за которым академики перед началом еженедельного заседания (первого после смерти полковника Перейры) пили чай, кофе или фруктовый сок, ели пирожные и пирожки. Дипломат вполголоса делился с министром своими наблюдениями.

— Обрати внимание, он стал совсем другим. Что-то в нем изменилось. Он по-другому здороваётся, по-другому прощается, по-другому говорит с нами. Раньше был этакий пришибленный почитатель — приятно вспомнить... А теперь вон как распрямился, даже напыжился. Прямо скажем, полковник подгадал умереть к сроку, заявления больше не принимают: генерал остался единственным претендентом. Путь ему расчищен, дорожка укатана.

— А если бы Перейра не умер, за кого бы ты стал голосовать?

— Ей-богу, не знаю. С полковником шутки были плохи... А у генерала тоже заручка... Может быть, я и совершил бы оплошность...

Маленький, худенький министр, прищурившись как бы от яркого света, спросил:

— Признавайся, Франселино, может быть, дело тут не в заручке, а просто в ручке?..

— Ты угадал. Божественные ручки! — многозначительно щёлкнул языком дипломат.

— Может быть, мы с тобой имеем в виду одни и те же ручки?

— Как? И ты туда же? Ты, на которого покойник возлагал такие надежды? И ты дрогнул перед секретаршей?

— Какой еще секретаршей?

— У генерала Морейры есть секретарша — очень скромная, робкая, застенчивая. Я уверен, что она девица...

— Про секретаршу я ничего не знаю. Неужели, чтобы завоевать твой голос, генерал пустил в ход чары своей секретарши? Меня поражает его успех у женщин. Что в нем такого уж особенного?

— Ну а тебя кто пленил?

— Кому ж меня пленить, как не этому милому демону по имени Мария-Жоан.

— Актриса?

— Да. Она очень быстро покончила с моими сомнениями: я тут же сообразил, за кого мне голосовать. Ты меня понимаешь?

Оба старичка добродушно и весело рассмеялись. Министр добавил:

— Да, заручки у генерала Морейры — дай бог!

— Смерть полковника решила все проблемы. Но ты взгляни только — каков Морейра! Теперь он совсем не похож на того бедного просителя, который наносил мне визит. Впрочем, если судить по корзине с портвейнами и бисквитами, он далеко не беден.

— Нет, нет, он живет на одну пенсию. Кроме дома, купленного ценой жесточайшей экономии, у него ничего нет. Думаю, что на твою корзину он истратил многомесячные сбережения.

— Откуда это ты все про него знаешь?

— От Марии-Жоан, разумеется. Эта бесовка прожужжала мне все уши о достоинствах и добродетелях бедного, но честного генерала.

— Что-то плохо верится. Наши вояки, как правило, — люди бережливые, довольствуются законной супругой, много не тратят, копят да откладывают на черный день. Корзина, которую он мне прислал, стоит немалых денег.

— Он, кстати, уже бывал на наших чаепитиях? На лекциях в актовом зале я его видел постоянно, а здесь он мне что-то не попадался.

— Как-то раз Родриго его приводил. Он был сам не свой от смущения: едва притронулся к кофе. А сегодня явился по собственной инициативе — видишь, какой у него отменный аппетит?

О чем-то громогласно рассуждая, за столом сидел генерал Валдомиро Морейра, пил чашку за чашкой кофе с молоком, наносил изрядный ущерб пирожкам. Несведущий человек никогда бы не подумал, что это не член Бразильской Академии, а всего лишь претендент... Бонвиван Пайва вновь заговорил на приятную тему — о женщинах:

— Между нами, этот Родриго — большой молодец. Дочка генерала Морейры просто восхитительна. Ку-колка...

— Ты секретаршу его не видал! Мулатка!.. Нечто божественное.

— Мулатка? — Томные глаза министра широко раскрылись. — Тебе повезло.

Эта беседа происходила перед началом заседания, на котором президент Академии должен был сообщить о кончине полковника Перейры: теперь на место среди «бессмертных» претендовал только один человек — генерал Валдомиро Морейра. Лизандро Лейте произнес речь памяти полковника, которая была занесена в протокол.

А сам генерал, после начала заседания оставшись за столом в одиночестве, проглотил последний пирожок и задумался над тем, как много на свете дурацких правил и установлений: ведь он — несомненный академик, и место его — в зале заседаний, вместе с другими «бессмертными»... В подобных случаях незачем слепо повиноваться тому параграфу академического устава — в основе своей, конечно, верного, — который запрещает посторонним присутствовать на заседаниях. Не должно быть правил без исключений.

ПОБЕЖДЕННЫЙ

Лизандро Лейте был единственным из членов Академии и одним из немногих штатских, кто проводил в последний путь полковника Перейру. Возвращаясь с похорон любезного друга Агналдо, наводившего на всех такой ужас, он ясно сознавал, что проиграл. Хуже, чем проиграл, — он вообще остался без кандидата. Выборы в Академию, сулившие ему так много, кончились катастрофой. Дома он обнаружил у себя на столе газету с пространном сообщением о «кончине видного представителя вооруженных сил и прославленного писателя, собиравшегося баллотироваться в Бразильскую Академию». На полях было приписано красным карандашом: «Поздно спохватился!» Несносная Пру!

Несколько дней Лизандро был хмур, озабочен и молчалив. После заседания в Академии он рассказал жене:

— Мой долг перед покойным исполнен. Я произнес речь о его заслугах. Портела, Эвандро, Фигейредо и прочие хихикают по углам — рады, что я споткнулся. Торжествуют. Генерал просто сияет от счастья. Явился на чаепитие. Что ж, одним — пироги да пышки, другим — синяки да шишки. Все пропало. Столько труда — и впусую! А тут еще Пру...

— Оставь ты Пру в покое и не горюй так...

— Я рассчитывал на пост председателя Верховного суда...

— Ты его займешь, я совершенно уверена!

— В наше время, Мариусия, никто ничего задаром не делает. Придется все начинать сначала.

— Ты добьешься своего, Лизандро, я ни минуты не сомневаюсь. Не вешай носа! Я тебя не узнаю!

— Нужно дождаться, когда Персио все же решит умереть. Он словно железный — врачи давно уж его похоронили, а он все живет. Как только освободится вакансия, я выдвину кандидатуру Раула Лимейры — он близкий друг Самого... — Лизандро имел в виду главу правительства. — Если и Пайва примет участие в этом деле — может, и выгорит.

— Ну вот видишь?! Надо только уметь ждать: все придет в свое время.

Мысли Лизандро приняли другое направление:

— Очень бы мне хотелось знать...

— Что, милый?

— Что все-таки произошло, когда Агналдо явился к Менезесу с визитом? Мы договорились, что он сразу же мне позвонит и все расскажет. А он не позвонил... Я, как ни старался, не смог с ним связаться. Дона Эрминия сказала, что письмо Персио в Академию среди бумаг покойного не обнаружено.

— Что теперь толковать! Забудь об этом. А я тебе скажу, что убеждена: рано или поздно мой муж станет председателем Верховного федерального суда.

— А я убежден только в одном: я тебя не стою!

— Дурачок!

Так откуда же это честолюбие, снедающее Лизандро? Не от доны Мариусии ли, такой безмятежно спокойной и счастливой?

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Партизанская война на площади Кастело, где размещалась Бразильская Академия, началась в тот самый миг, когда возмущенный Эвандро Нунес дос Сантос, сняв пенсне, обменялся тревожно-многозначительным взглядом с пораженным Афранио Портелой. Это было в четверг — спустя неделю после заседания, на котором президент Эрмано де Кармо сообщил академикам о кончине полковника Перейры. До выборов оставалось полтора месяца.

Нет! Напрасно недобросовестные и небрежные историки стараются уверить нас в том, что второй этап военных действий начался прямо на похоронах полковника

Перейры. Между драматическим окончанием битвы при Малом Трианоне и вербовкой новых волонтеров был перерыв. Он продолжался чуть больше недели — и многие подумали тогда, что вот и воцарилась тишь да гладь да божья благодать. Тот, кто поспешил поверить в это, не учел переменчивости человеческой природы.

За короткое время (от того заседания, на котором наблюдательный Франселино Алмейда заметил первые изменения в генерале Морејре, оставшемся единственным претендентом, и до следующего четверга) эти неопределенные признаки превратились в несомненную и грозную реальность — «отвратительную реальность», добавлял Эвандро, — заставившую двух франкофилов устроить тайное собрание. Оно имело место сразу же после очередного заседания, на котором академики со свойственной им любезностью к оппоненту обсуждали проект новых правил правописания, внесенный на их рассмотрение Лиссабонской Академией наук.

БЫВШИЙ БУДУЩИЙ МИНИСТР

Едва войдя в комнату, где происходило традиционное чаепитие, каждый мог убедиться своими глазами, что генерал Валдомиро Морејра, хоть и не расстался еще с генеральскими погонами, уже надел расшитый золотыми пальмовыми ветвями мундир академика. Всего две недели назад он, маломощный соперник грозного претендента, сорвал со своих погон генеральские звезды, превратившись в рядового и заурядного солдата-новобранца: он вытягивал руки по швам, повстречав кого-либо из «бессмертных», он смотрел им в рот, боясь пропустить хоть слово, он с одинаковым жаром восторгался самыми популярными концепциями, хоть они зачастую противоречили его собственным взглядам. Во время протокольных визитов и ему пришлось покушать жаб со змеями. В приготовлении этого блюда отличился старый Эвандро — он подарил кандидату свою нашумевшую книгу «Милитаризм в Латинской Америке», где утверждал, что во всех бедах этого континента — в отсталости, нестабильности и зависимости от Англии, Соединенных Штатов, Германии — виноваты военные. Принимая кандидата, бестактный старик повторил свои обвинения вооруженным силам, — обвинения на грани оскорбления. Генерал слушал его молча и возражать не осмелился.

И вдруг все изменилось. Две недели назад, после того как Афрадио Портела и Родриго Инасио подсчитали голоса, он лег спать побежденным, а наутро проснулся победителем — единственным претендентом. Соперник приказал долго жить. Кончилась эра унижения и змей с жабами.

Валдомиро Морейра вернулся в свое прежнее качество, но теперь вместе с многозвездными погонами, пуговицами и орденами его генеральского мундира сияли нестерпимым блеском и пальмовые ветви мундира академического (этому несколько не мешало то обстоятельство, что он по-прежнему носил дурно сшитую тройку из синего кашемира). В преддверии бессмертия генерал появлялся на традиционных академических чаепитиях, фамильярничал с будущими коллегами, изрекал истины, оспаривал авторитеты. Суровая диета, на которую по совету врача посадила его донна Консейсан, весьма способствовала волчьему аппетиту, и генерал, ускользнув от недреманного ока жены, набрасывался за обильным и изысканным академическим столом на разнообразную снедь. Он наконец-то смог наесться досыта.

Итак, генерал Морейра, обуреваемый тщеславием, во второй раз в жизни пошел в атаку: захватывал позиции и отдавал приказания, но только слишком рано сбросил он тягостную маску смирения, представ перед всеми таким, каким сотворили его господь бог и военная служба, — надменным и властным.

В те времена, когда Армандо Салес де Оливейра выставил свою кандидатуру на пост президента Бразилии, генералу прочили место в его кабинете: в случае победы Морейра получил бы портфель военного министра.

Генерал в победе Оливейры не сомневался ни минуты: всему свету известно, что его соперник, писатель Жозе Америко де Алмейда, хоть и кичится званием «официального кандидата», рассчитывать на поддержку режима не может: правительство оставило его на произвол судьбы. Смешно и думать, что неотесанный сертанец, представитель замученных трудом, голодных, малограмотных жителей штата Параиба одолеет Оливейру, за которым стоят кофейные плантаторы и неизвестно откуда вынырнувшие промышленники с итальянскими фамилиями, кандидатуру которого выдвинул самый богатый, цивилизованный и передовой штат — Сан-Пауло. На митингах ораторы любили уподоблять этот штат мощному ло-

комотиву, везущему пустые вагоны — остальные штаты страны.

Да, генерал был уверен в победе и в том, что его ждет пост министра — и не какого-нибудь там министра просвещения или общественных работ, а почетный, ответственный пост военного министра, второго человека в государстве, который подчиняется одному президенту.

Генерала с набитым документами портфелем часто видели в те дни в министерстве. Он появлялся там и перед самым переворотом, провозгласившим Бразилию Новым государством. Генерал ходил по управлениям, отделам и штабам, собирая материалы, которые должны были пригодиться ему на его новом посту. Он формировал и укомплектовывал, назначал, смещал, производил и представлял — пока только на бумаге. С невероятной шумихой гражданам сообщалось о намеченном к выполнению и подлежащем реорганизации. Дело дошло до того, что генерал предложил нескольким офицерам весьма ответственные должности.

Армандо Салес де Оливейра остро нуждался в поддержке вооруженных сил, и очень может быть, что вначале он и вправду подумывал о назначении генерала Морейры, в преданности которого не сомневался, на этот высокий пост. Но даже если бы ему чудом и представилась возможность ввести генерала в состав своего кабинета, он бы этого не сделал, потому что разочаровался в нем еще до того, как ноябрьский переворот 1937 года развеял в прах мечты и надежды всех тех, кто всерьез принимал участие в предвыборной борьбе Оливейры и Алмейды. Разумеется, преданность генерала без награды бы не осталась: ему подыскали бы какую-нибудь синекуру, вроде должности военного атташе в Париже — самое подходящее место для человека, с отличием окончившего французскую военную академию: во-первых, почетно, во-вторых, не связано с командованием, и, в-третьих, находится за океаном. Генерал Морейра страдал не только самомнением и отсутствием гибкости, но был еще и невероятным занудой.

...Послушав за чашкой чая, как Энрике Андраде жалуются президенту, что секретариат Академии пересылает ему корреспонденцию с большим опозданием, генерал Морейра вдруг заявил звучно и громогласно:

— Да, нашу Академию надо бы немножко подтянуть! В секретариат придется принять на службу хотя бы од-

ного военного — пусть наведет железный воинский порядок!

Порядок? Последовало долгое молчание, а старый Эвандро Нунес дос Сантос обменялся с Афранио Портелой взглядом тревожным и многозначительным.

ЗАГОВОРЩИКИ

Не вызывает удивления, что историки неправильно датируют начало партизанской войны, которую повел Эвандро Нунес дос Сантос, — все решения принимались в обстановке строжайшей секретности, все заговорщики действовали с чрезвычайной осторожностью. Если бы на месте престарелых либералов-литераторов были подпольщики с многолетним опытом нелегальной борьбы, им не удалось бы работать более эффективно и скрытно.

Для тайных бесед не было места лучше, чем в автомобиле Портелы. Шофер Аурелио Содре служил у местре Афранио и доны Розариньи больше двадцати пяти лет, он заслуживал полного доверия и, сидя за рулем, молчал как рыба.

В тот день Портела отвозил Эвандро домой. Старик всю дорогу возмущенно ворчал себе под нос, и местре Афранио наконец не выдержал:

— Чего бы ты хотел? Чтобы в Академию избрали Сампайо Перейру? Генерал — просто-напросто бездарность, а полковник был нацистом.

— Если бы твой Морейра был просто бездарностью, я бы слова не сказал: мало ли их у нас. Но он самодур! Помнишь, что я тебе говорил: твои игры с военными плохо кончатся. — Эвандро рассвирепел еще больше. — Место Бруно в Академии может наследовать только Фелисиано.

— Я согласен. Вспомни, однако, в каком тупике мы оказались. Генерал был для нас единственным выходом. А теперь надо смириться и запастись терпением.

— Вот сам и смирайся. А мое терпение лопнуло!

— Что ты можешь сделать? Морейра — единственный кандидат.

— Эка важность — «единственный кандидат»!.. До выборов еще больше месяца.

— Ты... ты хочешь? — Местре Афранио в крайнем удивлении воззрился на разъяренного кума: все это начинало его забавлять.

— Да, хочу! Я не стану голосовать за него!

— Но вспомни, Эвандро, мы явились к нему домой, мы его пригласили, мы настаивали, чтобы он баллотировался. Мы читали и расхваливали его книги. А теперь вдруг... Так порядочные люди не поступают...

— Во-первых, к нему домой ты меня притащил силой. Во-вторых, я не прочел ни единой строчки, сочиненной этим господином,— бог упас! — Эвандро стал загибать пальцы.— В-третьих, я его хвалил, только чтобы не подводить тебя. А в-четвертых, я не порядочный человек.— Он снял пенсне и протер стекла.— И ты тоже! Если бы ты мог видеть свою физиономию в тот момент, когда до небес превозносил генеральский бред!

Местре Портела тихонько хихикал. Эвандро продолжал:

— Мне тут попалась изданная в США книга о гражданской войне в Испании... Так вот, во время битвы за Мадрид хрупкая женщина с распущенными волосами— ее звали Пасионария: это имя все объясняет — не знаю точно, коммунистка или анархистка,— провозгласила лозунг, с которым республиканцы шли навстречу войскам фалангистов: «Они не пройдут!» Этот лозунг мне подходит. А ты волен поступать как знаешь! Можешь оставаться порядочным человеком, считать меня негодяем, говорить, что это я позвал «Линию Мажино»...

— Эвандро, опомнись! Эту кличку придумал полковник Перейра.

— Мне нет дела, кто ее придумал! Я ее услышал от Жозе Ливио, и она мне понравилась! Впрочем, Ливио идиот... Неважно... Главное то, что я профессор гражданского права по специальности и демократ по убеждениям, а потому с солдафонами дела иметь не желаю! Я в армии никогда не служил — и вообще призыву не подлежу!

Глаза местре Афранио лукаво сверкнули:

— Не забудь, кум Эвандро, что ты можешь не только оставить чистый бюллетень, но и попросту воздержаться от голосования.— Он хлопнул друга по костлявому колену.— Маленькая партизанская диверсия никому не повредит...

— То есть?

— Я прирожденный партизан и поступаю в твоё распоряжение.— Он на минуту задумался.— Сейчас самое главное — секретность. Враг ничего не должен подозревать: пусть генерал считает себя уже избранным.

Чем уверенней будет он себя чувствовать, тем больше глупостей натворит.

Машина затормозила у сада, окружавшего дом Эвандро. Аурелио вылез и распахнул перед академиком дверцу. Увидев их, Изабел закричала, зовя брата:

— Педро! Педро! Дедушка приехал! И дядя Афранио!

После смерти полковника внуки Эвандро еще не делились со старым другом семьи, крестным их отца, покойного Алваро. Изабел расцеловала стариков.

— Я говорила, я говорила, что все кончится хорошо.

— Ничего еще не кончилось, красавица ты моя. Мы снова решили препоясать чресла.

Подбежавший Педро спросил:

— Что это значит?

— Позвольте представиться: этот старый упрямец Дон-Кихот, а я — его верный оруженосец Санчо Панса. Мы отправляемся в новый поход.

— А кто же Дульсинья? Кого вы будете защищать?

Старый Эвандро Нунес дос Сантос привлек внуков к себе — это они заставили его решиться на борьбу с нацистом Перейрой. Прокуренный голос дрогнул от волнения:

— Мы будем защищать ту же даму, что и рыцарь из Ла-Манчи: свободу!

Звезды зажглись над домом. Наступил вечер.

СЕКРЕТАРША УВОЛЕНА

Афранио послал Розе букет и записку, в которой извещал, что будет ждать ее в кафе. И вот подъехал автомобиль. За рулем сидел шофер в форменном кепи и тужурке.

— Ты все хорошеешь... — Афранио сумел удержаться от вопроса, кому принадлежит автомобиль. — Я решил освободить тебя от секретарских обязанностей.

— Я как узнала о смерти полковника, сразу подумала, что больше не понадоблюсь. Никогда ничьей смерти не радовалась, а Перейру не жалею. Я места не находила, когда думала о том, что этот гад будет расхваливать Бруно на все лады, поганить своим языком имя моего любимого...

— От полковника бог нас избавил, теперь надо избавиться от генерала.

— От генерала? Но ведь вы ему помогали! Для чего ж тогда вся эта история с секретаршей? Я добилась у Линдиньо обещания голосовать за него...

— У кого?

— У Франселино Алмейды: он хочет, чтобы я называла его Линдиньо.

Местре Портела рассказал Розе о случившихся с генералом превращениях, о том, как происходят выборы в Академию, о том, что можно воздержаться при голосовании или оставить бюллетень незаполненным.

— Так что же, я уволена? Это очень кстати. Линдиньо с ножом к горлу пристаёт ко мне, чтобы я выпила бокал шампанского у него дома. Про пощипыванья и поглаживанья я уж не говорю. Хорошо, у меня кожа смуглая и синяки незаметны. А то...

Местре Афранио оценил класс автомобиля, ожидавшего Розу: женщины, любившие Антонио Бруно, созданы, чтобы поражать и сбивать с толку. Тут он не выдержал:

— А то что?

Перехватив устремлённый на дорогую машину взгляд академика, Роза улыбнулась:

— А то плохо бы мне было. Вы его знаете: это ваш приятель...— Она назвала имя богатого текстильного фабриканта, португальца по происхождению. — Он хочет открыть мне мастерскую на улице Розарио: буду хозяйкой.

— А куда денется его аргентинка?

— Она вернулась в Буэнос-Айрес. Когда мой португалец овдовел, она во что бы то ни стало хотела его окрутить. А он — ни в какую.

— Она хороша собой, спору нет, но голос ее действует на меня, как касторка. Señora Delia Pilar, cantante de tangos¹, — передразнил он аргентинский акцент. — Не слыхал певицы хуже.

— Моя бывшая хозяйка, мадам Пик, послала меня к ней примерить платья. Вот там я и познакомилась с моим нынешним... покровителем.

— Его можно только поздравить, что я и сделаю при встрече. Избавился от такой злыдни, а взамен сорвал самую прекрасную розу в Рио. Я и тебя поздравляю. Он человек добрый и порядочный.

¹ Сеньора Делия Пилар, исполнительница танго (исп.).

— Знаю. Ему нужно только немножко нежности. Думаю, что нам будет хорошо вместе. На нежность и на уважение он вправе рассчитывать.— Ее пухлые губы тронула легкая усмешка; в голосе послышалась горделивая печаль.— В моей жизни уже была любовь — теперь мне стоит только вспомнить о ней, и я счастлива... Итак, местре Портела, я могу считать себя свободной?

— Да. Я хочу лишь кое-что уточнить. Скажи, Франселино знает твой адрес? Как вы уславливаетесь о встрече? По телефону?

— Он думает, что я живу в пансионе при женском монастыре и к девяти вечера должна возвращаться туда. Приехала я из провинции — генерал опекает меня в память моего отца, который был у него ординарцем. Я много чего ему наврала: дала телефон моего ателье; мадам Пик в курсе дела, сказала, что все это очень забавно, и вызвалась помогать. Линдиньо всегда звонит во время обеда и думает, что разговаривает с монахиней-француженкой. Он представляется как мой дядя. Обхохочешься. Для него я Беатрис, Биа. Милый старичок, только очень щиплется.

— Вот что надо будет сделать. Пусть мадам Пик скажет Франселино, что ты больше не хочешь с ним видеться и чтобы он тебя не искал. Она должна дать ему понять, что это отнюдь не пансион для девиц, а нечто совсем-совсем другое. Пусть намекнет, что бесплатные удовольствия кончились...

— И что он при этом должен вообразить?

— Да ничего конкретного. Надо создать атмосферу сомнительного заведения...

— А-а, тогда он разозлится на моего бывшего патрона!

— И не станет за него голосовать.

— Беденький Линдиньо. До чего ж неугомонный старичок! Чуть зазеваешься, он тут же задирает тебе юбку или лезет за пазуху. Могу себе представить, каков он был в молодости...

— Слава о нем до сих пор гремит по всей Японии и Скандинавии.

— Он очень милый, правда? Ужасно любит рассказывать неприличные анекдоты...

— Помнишь, Роза, когда-то я написал про тебя рассказ. Теперь, пожалуй, ты можешь стать героиней целого романа. Раньше я знал, что ты удивительно кроткое

и нежное существо, теперь, помимо кроткости и нежности, я вижу твою отвагу, мужество, храбрость.

— Это Антонио сделал меня такой. Он создал меня заново.

Афранио Портела вспомнил стихи: «Медная роза, медовая роза, юная роза-бутон» — и поцеловал ей руку:

— Роза Антонио Бруно.

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ РАСПРИ

— Читали? — Фигейредо Жуниор протянул президенту экземпляр «Коррейо до Рио». — Я специально приехал сюда, чтобы показать. — Он ткнул пальцем в колонку под рубрикой «В защиту португальского языка», в которой генерал Валдомиро Морейра просвещал невежд насчет того, как писать на безупречном и чистом лузитанском наречии.

— Нет, еще не читал. Поскольку автор не является членом Академии (хоть он и убежден в обратном), я его статьи читать не обязан. Могу целый месяц спать спокойно, а потом уж придется взваливать на себя и эту ношу, как будто у меня мало других забот...

— Нет, вы просто обязаны прочесть эту статью, и как раз потому, что ее автор еще не избран в Академию. Эрмано де Кармо взял протянутую ему газету.

— Раз уж вы так настаиваете, милый Фигейредо... — Он начал читать, но тут же поднял голову. — Н-да, нечего сказать, удружили вы нам с кандидатом. Хотели противопоставить его тому, кого так вовремя прибрал господь... Это была единственная любезность со стороны полковника... — Он продолжил чтение. — Боже мой, сколько пафоса!

Президент, чья вошедшая в поговорку вежливость еще усилилась от пребывания на посту, требующем такта и обходительности, крайне редко позволял себе неуважительные отзывы о собрате-академике или о простом смертном. Но бесцеремонность генерала Морейры, не считавшего нужным дожидаться своего избрания для того, чтобы поучать и публично критиковать Академию, сильнейшим образом раздражала его. Генерал во всеулышание порицал позицию большой группы бразильских академиков, входивших совместно с учеными из Лиссабонской Академии наук в Смешанную Комиссию по вопросам орфографии. Бразильские представители сами

еще не пришли к общему решению, что сильно осложняло работу.

— Это что-то невероятное!.. Раньше не было человека более скромного и предупредительного, даже подобострастного. И вдруг — поворот на сто восемьдесят градусов. Стал единственным претендентом и задрал нос. Не пропускает ни одного чаепития, говорит много и громко, рассуждает, поучает, критикует. На днях взял меня под руку и прочел целую лекцию о живописи. Сообщил мне, что мы, видите ли, не те картины развешиваем в Академии: пренебрегаем, дескать, полотнами первоклассных художников и отдаем предпочтение, как он выразился, пачкунам. Какая наглость, Фигейредо! — Президент дочитал наконец статью и добавил: — Ему бы баллотироваться не к нам, а в Лиссабонскую Академию наук.

Члены Бразильской Академии, входившие в состав Смешанной Комиссии — среди них был и Фигейредо, — утверждали, что необходимо принимать в расчет воздействие живой народной речи на литературную норму языка. Они возражали своим лиссабонским коллегам, которые защищали незыблемые каноны, годные, быть может, для португальцев, но неприемлемые для бразильцев. Португальцы призывали к выработке единых и жестких грамматических норм — Фигейредо же говорил, что единая языковая норма для двух совершенно различных стран — это культурный колониализм. Впрочем, дебаты по этому острому и жгучему вопросу вели между собой и члены каждой делегации.

А вот генерал Морейра в своей очередной статье безоговорочно стал на сторону самых ортодоксальных португальцев и категорически заявил, что Бразильская Академия должна согласиться с ними, и не просто согласиться, а «огнем и железом пресекать всякую попытку модифицировать язык Камознса». Отвечая на вопрос мифического читателя, генерал подверг суровой критике тех, кто своими уступками негодьям, профанирующим португальский язык, позволил Академии забыть важнейший и священный долг — «сохранение последнего цветка латинской цивилизации во всей его неприкосновенности». В конце статьи он сообщал, что в ближайшее время примет самое непосредственное участие в дискуссии и грудью станет против вредных компромиссов. Генерал был нетерпелив: когда-то он раньше срока объявил себя военным министром — теперь же еще до выборов говорил от лица «бессмертных».

— Замечательно! — сказал Фигейредо. — Вот повезло! Мало нам было пуриста Алкантары, который не дает делегации выработать единую точку зрения...

— Ваш генерал слишком ретив. Прежде чем печатно ругать Академию, хорошо бы сначала стать ее членом.

— Почему этот негодяй полковник так не вовремя отдал богу душу? Прием заявлений прекращен. Что теперь делать?

— Вы эту кашу заварили, вам и расхлебывать. Если сможете, конечно, — сказал президент и добавил словно бы невзначай, просто для сведения собеседника: — У Эвандро, судя по всему, имеются какие-то мысли на этот счет. Поговорите с ним.

КОМИССИЯ РАСПУЩЕНА

Фигейредо последовал совету президента. Он не только отыскал Эвандро Нунеса, но и пригласил к себе всех членов той делегации, которая три месяца назад посетила генерала Валдомиро Морейру и предложила ему баллотироваться в члены Бразильской Академии.

Выставив на стол напитки и кое-какие закуски, Фигейредо прочел присутствующим оскорбительную генеральскую статью и попросил высказаться по этому поводу.

Эвандро уже ознакомился со статьей. Больше того — он перепечатал ее в нескольких экземплярах и роздал тем академикам, которые в дискуссии о языковых нормах занимали ортодоксально-бразильскую позицию. Затем он изложил решение, принятое им и Аффранио Портелой по поводу кандидатуры генерала. «Мы пригрели на груди змею», — в свойственной ему энергической манере завершил он свое выступление.

— Что ж, воевать нам не впервой, — сказал Портела. — Начнем, уподобившись французским макиерам, партизанские действия. Мы с Эвандро уже кое-что предприняли, но еще не успели вам сообщить. Действуем не зарываясь и в обстановке строжайшей секретности.

— Я ничего не знал! — сказал Родриго.

— Что ж вы сразу не сказали? — обиделся Фигейредо.

— А я, несмотря на всю вашу секретность, что-то учуял, — признался Энрике Андраде. — Пайва совершенно сбит с толку. Наша божественная Мария-Жоан целый

месяц уговаривала его проголосовать за генерала, а потом вдруг стала просить, чтобы он оставил чистый бюллетень. Я сразу понял, что к этому делу приложил руку местре Портела.

Обсудили ситуацию. Поскольку генерал Морейра единогласно признан присутствующими надменным, нетерпимым и занудливым солдафоном, который намерен превратить Бразильскую Академию в казарму, а академиков — в вымуштрованных рядовых, то предложение начать партизанскую войну принято единогласно. «Комитет пяти» самораспустился.

Энрике Андраде попросил извинить его. В других обстоятельствах он с большим удовольствием примкнул бы к тем, кто желает воспрепятствовать проникновению беспалаанного генерала в Академию. Но страной правит диктатура Нового государства, и в этой политической ситуации демократы, по его мнению, просто обязаны объединиться со всеми, кто так или иначе способен эту ситуацию изменить. Генерал Морейра хоть и в отставке и не у дел, однако не перестал быть фигурой заметной и значительной. Во время предвыборной борьбы уважаемые собраты беседовали, обменивались мнениями, разрабатывали планы. Он, Энрике, своего мнения никому не навязывал, но именно поэтому не желает его переменить. Ему решительно плевать на то, победит ли генерал на выборах в Академию или провалится, но способствовать последнему он не собирается, поскольку связан с кандидатом политическим договором. Каков бы ни был результат выборов, он не хочет портить с генералом отношения. Короче говоря, в день выборов он будет в Баие, а перед отъездом вручит претенденту письмо и свой голос.

Родриго Инасио Фильо тоже пошел на попятный. Ему бы очень-очень хотелось принять участие в партизанской войне — битва при Малом Трианоне произвела на него неизгладимое впечатление: когда-нибудь он подробно опишет эти события в очередном томе своих «Записок постороннего». Но по ряду причин ему придется отказаться от новых сражений... Причины эти несколько иного свойства, чем у Энрике, они... э-э... носят, скорее, личный характер, но все равно заслуживают уважения.

— Все ясно: дела постельные... — понимающе и лукаво захохотал местре Портела. — Все вы, дворяне, одинаковы! Вольно! Разойдись!

Ну а Фигейредо Жуниор желал как можно скорее ринуться в бой. Узнав о том, что именно уже предприняли заговорщики, он возликовал.

НЕДОСТОЙНЫЕ ДЕЯНИЯ КАНДИДАТА В ИЗЛОЖЕНИИ АФРАНИО ПОРТЕЛЫ

На следующее утро местре Аффранио специально пришел в Академию пораньше. У казначея он встретил Франселино Алмейду. Расписавшись в ведомости и получив тощий конвертик с платой за присутствие на заседаниях — так называемый «жетон», — академики направились к шкафу, в ящиках которого хранилась корреспонденция, предназначенная для сорока «бессмертных».

— Вы чем-то удручены, Франселино? Нездоровится? В наши годы надо беречься.

— Я прекрасно себя чувствую.

— Тогда в чем же дело? — наседал Аффранио, обеспокоенный понурым видом коллеги и друга.

— Да так... неприятности.

Они забрали письма и снова спустились в приемную. Там романист увлек дипломата к окну и стал расспрашивать:

— Что же вас заботит?

— Да вот хоть этот генерал... Он сильно изменился за последнее время, вы не находите?

Ожидаемое слово было произнесено, и Аффранио приступил к делу:

— Я нахожу, что он слишком сильно изменился. Должен вам признаться, Франселино, что я разочаровался в нем. — Портела понизил голос. — Вы, должно быть, поняли, что сначала я решил поддержать его кандидатуру, переговорил с друзьями...

— Да, наслышан...

— Но потом узнал о некоторых его... э-э... неблагоприятных, скажем так, поступках. И полностью изменил свое мнение. Скажу вам по секрету, Франселино, я решил голосовать «против». Тс-с, только бы до него не дошло...

Старейшина Академии выказал к этому сообщению живейший интерес:

— Неблаговидные поступки? В чем же они выразились?

— Сейчас расскажу. У меня есть одна старая знакомая — еще со времен моей бурной молодости. Францу-

женка. Она содержит заведение, ну, вы понимаете... Девушки у нее — одна к одной, никогда не угадаешь, чем они занимаются на самом деле. И вот на днях я ее повстречал, и она рассказала мне совершенно невероятную историю. Представьте себе, генерал Морейра, ее давний и постоянный клиент, напаял одну из девушек — свою любимицу, — чтобы она вербовала для него сторонников из числа членов нашей Академии. Она изображала его секретаршу и втерлась в доверие к кому-то из наших с вами коллег.

Франселино сделался бледен:

— Невероятно! Каков негодяй!

— Можете себе вообразить, как веселилась мадам Пик, отвечая на телефонные звонки наших собратьев, которые разыскивали эту девушку. Она наплела им с три короба, сказала, что живет в пансионе при женском монастыре, а к телефону подходит сестра Пик, монахиня-француженка. Совершенное забвение морали!

— Заведение, вы сказали?.. Ага, ага... А генерал — постоянный клиент? Ах, негодяй! А Пайва еще говорил, что он беден... Бедный, а прислал мне корзину от Рамоса...

— И мне тоже. И Эвандро, и Фигейредо.

— Где же он берет деньги? Из каких средств оплачивает услуги этой... авантюристки? Откуда у него деньги на баснословно дорогие корзины — представляете, сколько они стоят?

Местре Афранио совсем понизил голос и зашептал на ухо дипломату, который как огня боялся оппозиции и славился своей лояльностью к режиму — каким бы этот режим ни был:

— Так вы не знаете, что генерал Морейра ближайший сподвижник и друг Армандо Салеса, один из тех, кто вкупе с интегралистами замыслил переворот тридцать восьмого? Генерал не примкнул к этому сброду лишь потому, что его в то время не было в Рио.

— Я слышал, что он был сторонником Армандо Салеса де Оливейры...

— Был и есть. Он один из самых упорных врагов нашего строя. Он для того и рвется в Академию, чтобы обеспечить себе неприкосновенность. За ним стоят люди Армандо Салеса — они снабжают его деньгами на предвыборные расходы. Друг мой: бисквиты, которые вы ели, пахнут мятежом!

— Генерал в Академии — это смертельная опасность!

— Сейчас он стал единственным кандидатом, а потому услугами этой девицы больше не пользуется и корзи́н не присылает. На мой взгляд, самое гнусное во всей этой истории — попытка использовать Бразильскую Академию в политических целях. Вы знаете, я сам не в восторге от нашего правительства, но в стенах Академии политикой не занимаются! Академия превыше всех заговоров и смут и должна оставаться таковой! Вот поэтому-то я и не стану голосовать за генерала.

— А я никогда и не собирался за него голосовать, — солгал Франселино с непринужденностью прожженного дипломата. — Я обещал поддержку полковнику Перейре. Ах, как вы правы, Афранио, — голосовать за генерала было бы полнейшим безрассудством... Хорошо, впрочем, что вы меня предупредили.

Один вопрос еще оставался невыясненным:

— Но почему же Мария-Жоан так хлопотала за него?

— А-а, это совсем другое дело! Мария-Жоан приходится жене генерала Морейры двоюродной сестрой — вот и старается по-родственному.

— Я очень благодарен вам, Афранио. Очень.

— Остерегайтесь генерала, друг мой! Он ни перед чем не остановится, если поймет, что вы раскусили его. Берите пример с меня: делайте вид, что всецело его поддерживаете. Будьте с ним приветливы и любезны. А уж когда придет время опустить бюллетень в урну... Пусть попробует отгадать, кто именно проголосовал против!

ПРОТИВОЕСТЕСТВЕННЫЙ СОЮЗ

Ровно две недели после похорон полковника Перейры Лизандро Лейте ходил мрачный как туча. Однако после очередного заседания «бессмертных» он явился домой в превосходном настроении — уныние его исчезло бесследно. Дона Мариусия мгновенно заметила эту перемену:

— Что случилось? Почему ты так сияешь?

— Случилось нечто невероятно! Рассказали бы — не поверил! Но не верить нельзя, у меня есть доказательства. Те самые ловкачи — Портела и иже с ним, — которые выдвинули кандидатуру Морейры, теперь изо всех сил стараются свалить его. Я узнал удивительные вещи! На этот раз самый ретивый — старик Эвандро. Иначе

как «Линия Мажино» он генерала не называет, а ведь этой кличкой наградил его покойник Перейра.

Лизандро сообщил жене подробности — двусмысленные фразы, умело вырванные признания, неосторожные обмолвки, подслушанный разговор.

— Ну и что ж ты намерен делать? Голосовать за генерала?

Толстошее лицо Лизандро осветилось широкой улыбкой.

— Зачем же мне голосовать за генерала? Я примкну к компании Портелы. Не исключено, что после этих выборов я все-таки окажусь в кресле председателя Верховного суда! Если генерала не выберут, если он не наберет нужного числа голосов...

И он стал объяснять жене: если генерал не пройдет, он, Лизандро, получит полное право претендовать на место председателя, которое освобождается после выхода Пайвы на пенсию.

С одной стороны, могущественные и влиятельные сторонники покойного будут рады, если академики не примут в свои ряды известного оппозиционера и врага Нового государства. Разумеется, они не станут приписывать поражение генерала усилиям Аффранио и Эвандро, а тут же с благодарностью подумают о нем, о Лизандро, а уж Лизандро постарается, чтобы все высокопоставленные лица, принимавшие участие в битве на стороне полковника, и прежде всего военный министр, узнали о его титанической деятельности, воспрепятствовавшей появлению заклятого врага режима в стенах Академии. Он, Лизандро, не допустил этого, он взял на себя труд охранить светлую память своего выдающегося друга, который ушел от нас именно тогда, когда родина так нуждалась в нем.

С другой стороны, снова откроется вакансия, и можно будет попытаться провести в академики Раула Лимейру, ректора университета и ближайшего друга главы правительства. По образованию он врач и на высшие судебские должности не претендует. В этой тройной игре Лизандро может сорвать крупный куш. Получаешь, Раул, пальмовые ветви академического мундира — помоги мне надеть мантию председателя Верховного суда.

Дона Мариусия запустила свои тонкие холеные пальцы в неопрятную, всклокоченную гриву Лизандро:

— Помнишь, я говорила, чтобы ты не унывал?

Так был заключен странный союз между войсками

Эвандро и силами Лизандро: новые добровольцы приняли участие в партизанской войне. Союз этот был, конечно, негласный, но обещал многое.

МАКИ

Спасаясь от войны, французские интеллигенты всех направлений и убеждений нашли приют в Бразилии. Среди них были писатели, издатели, актеры и режиссеры, художники и журналисты. Самый известный — Жорж Бернанос — обосновался в Минас-Жерайс, остальные поселились в Рио или в Сан-Пауло. Они присоединились к знаменитым профессорам, которые в 1937 году возглавили кафедры в только что открытых университетах. Видное место среди этих профессоров занимал писатель и ученый Роже Бастид.

С помощью своих бразильских единомышленников они начали активно помогать силам французского сопротивления — «Свободной Франции», де Голлю и маки. Их деятельность не встречала одобрения со стороны правящих кругов, которые проводили политику сближения с третьим рейхом; ходили слухи, что Бразилия примкнет к антикоминтерновскому пакту; глава правительства в отсутствие своего министра иностранных дел вел переговоры с германским послом, обсуждая пути укрепления идеологических и экономических связей, которые могли бы послужить основой для подписания договора. Несмотря на все это, французские эмигранты, используя противоречия в кабинете министров и традиционную любовь бразильцев к Франции и французской культуре, сумели развернуть активную деятельность — она не была официально разрешена правительством, но и не подверглась прямому запрету. Полиция не спускала с французов глаз, однако до поры до времени не трогала их. Виднейшие представители политических, военных и литературных кругов — уже упомянутый министр иностранных дел Освалдо де Аранья, генерал Лейтан де Карвальо и, по слухам, даже дочь диктатора Алзира Варгас — всеми силами противились сближению с Гитлером и помогали немногочисленной, но энергичной группе патриотов, которые, живя вдали от своей покоренной родины, сражались за ее свободу.

Ближе всех к ним стояли академики Эвандро Нунес дос Сантос, Алсеу де Аморозо Лима, Афрацио Портела,

Фигейредо Жуниор, поэты Мурило Мендес и Аугусто Фредерико Шмидт, артисты Прокопио Феррейра и Мария-Жоан, писатели Алваро Машадо и редактор литературного журнала «Дон Казмурро» Бриссио де Абреу, проживший в Париже больше десяти лет.

Эти и другие антифашисты собрались у Эвандро по случаю приезда в Рио Роже Бастида — он намеревался читать лекции в столичном университете и завести новые знакомства. Двух ученых связывала крепкая дружба, основанная на взаимном восхищении. Эвандро собрал у себя друзей, чтобы сообща обсудить, как лучше помочь голлистским организациям и партизанам. Гостей принимала вместе с братом юная хозяйка дома Изабел, которая не в силах была скрыть гордость: ведь крестил ее не кто иной, как Антонио Бруно.

Среди принятых решений одно заслуживает особого внимания, поскольку сулило несомненную выгоду и общественный резонанс. Мария-Жоан предложила возобновить спектакль по пьесе Бруно «Мери-Джон», премьера которого состоялась в 1922 году в театре Леополдо Фроэса. Сбор поступит в пользу «Свободной Франции». Единственное представление состоится в понедельник, когда все театры закрыты, и будет посвящено двадцатилетнему юбилею сценической деятельности Марии-Жоан. Предложение было принято с восторгом. Общее руководство и рекламу взяла на себя редакция «Дона Казмурро»; Алваро Морейра согласился обновить мизансцены, а Санта-Роза — декорации; Фигейредо Жуниор сочинит текст программы, Прокопио сыграет роль мнимой голливудской кинозвезды, — роль, которую в первой постановке исполнял сам Леополдо Фроэс. Кроме того, всем — и в первую очередь дамам — надлежит заняться распространением билетов по самой высокой цене.

Вечер удался: стол был роскошен, вина — высшего качества, собеседники блистали остроумием, Педро и Изабел радовали гостей по-детски непринужденным весельем. После серьезных разговоров приглашенные разбрелись по саду, наслаждаясь в раскаленной декабрьской ночи прохладным дуновением бриза. Местре Афранио, дон Розаринья и Мария-Жоан уселись на скамье под жакейрой.

— Как ты хорошо придумала, Мария-Жоан. — Дона Розаринья нежно гладит руку актрисы.

— Я очень многому научилась от Бруно. И любви к Франции — тоже. Ну а потом мне самой давно хотелось

снова сыграть роль в пьесе, которую он написал специально для меня. Сегодня она может показаться наивной, но ведь стихи по-прежнему великолепны, правда? Вся беда в том, что я играла Мери-Джон, когда мне еще не было двадцати, а сейчас мне скоро тридцать девять...

— Перестань. Больше тридцати тебе не дашь... — галантно замечает местре Афранио, и он недалеко от истины.

— Я подумывала, не пригласить ли на эту роль кого-нибудь помоложе; но, признаюсь вам, мне ужасно, просто ужасно хочется сыграть ее самой, заново прожить те дни. Мери-Джон — это я в девятнадцать лет. Вот только сойду ли я за девятнадцатилетнюю?

— Запросто! — отвечает дона Розаринья. — Я бы не стала тебя обманывать, если бы ты рисковала оказаться в смешном положении. Чуть больше грима, чем обычно, — и все... — Она дружила с актрисой еще со времен первой постановки «Мери-Джон».

Местре Афранио меняет тему разговора.

— Ну-с, как поживают наши избиратели? Как они отнеслись к *tournaets de'histoire*?¹

Под деревьями звенит смех Марии-Жоан.

— Ничего смешней в жизни своей не видела! Я до была для этого генерала четыре голоса, не считая Пайву, а теперь все надо порушить и повернуть в обратную сторону! Вы не представляете, как вытянулись лица у моих поклонников!..

— А как ты им объясняла свои хлопоты за генерала?

— Очень просто: голос крови — я двоюродная сестра и ближайшая подруга его жены.

— А задний ход?

— Пришлось сочинить целую историю, от которой поклонничков бросило в дрожь. Я чуть не плакала от возмущения, когда живописала гнусное поведение генерала. Он якобы собирался презреть узы брака, оставить на поругание семейный очаг и дружбу, заманить к себе и овладеть мною на супружеском ложе. Эта сцена делала бы честь лучшему итальянскому драматургу: генерал пытается меня изнасиловать — я героически отбиваюсь. Еле-еле высвободившись, вся в синяках, запахивая разорванное платье, я убегаю, а генерал вслед кроет

¹ Поворотам истории (*фр.*).

меня последними словами. Сцена имела потрясающий успех: у поклонников волосы встали дыбом. Все знают, что я ни разу в жизни не согласилась переспать с мужем подруги, какой бы он ни был.

Афранио Портела поднимает голову и ни с того ни с сего начинает любоваться звездным небом. Уж кто-кто, а он осведомлен о немногих, но суровых принципах Марии-Жоан. Однажды, через много лет после окончания ее романа с Бруно, Афранио предложил взамен свою кандидатуру, но актриса поцеловала его и сказала как отрезала:

— Это невозможно, милый мой. Ты ведь знаешь, как я тебя люблю, но мы подруги с Розариньей. Это невозможно. И не настаивай, а то я вконец огорчусь.

...Налетевший с моря ветерок перебирает волосы великой актрисы.

— Поклоннички возмутились. Кто станет голосовать за такое чудовище? Бедный Морейра... Чем вдруг стал плох этот генерал?

— Он ничем не плох. Он генерал.

Приближается Фигейредо. В глазах у него алчный огонек.

— Мария, мы тут посоветовались с Алвиньо (имеется в виду Алваро Морейра), кое-что придумали насчет спектакля...

Мария-Жоан встает и протягивает руку драматургу, который перевел пьесу Ибсена только для того, чтобы она сыграла Гедду Габлер:

— Пойдем, расскажешь...

Афранио долгим взглядом провожает их исчезающие во тьме силуэты. Очевидно, жена Фигейредо не принадлежит к числу подруг Марии-Жоан... Сколько жизненной силы в этой женщине, родившейся в бедном предместье, ставшей Принцессой Карнавала, а потом великой актрисой, — она без устали пожинает лавры и коллекционирует любовников, она с каждым годом приумножает свою славу, свое богатство.

Местре Портела ничего не рассказал жене о своем намерении, потому что и сам не знал, хватит ли у него храбрости снова оказаться наедине с чистым листом бумаги. Но видение будущего романа все больше обретает плоть в эту ночь — ночь заговорщиков, когда маки стали лагерем на холме Санта-Тереза в городе Рио-де-Жанейро.

«Ох, ветер в голове! А все-таки сердце у него доброе и справедливое», — подумал генерал Валдомиро Морейра, когда его дочь Сесилия оторвалась на минутку от радиоприемника, передававшего блюзы в исполнении Стелы Марис, и изрекла:

— Папа, когда ты будешь заправлять у себя в Академии, дай какую-нибудь премию Клодинору. Он заслужил.

— Ты права, он действительно достоин поощрения: предан, почтителен со старшими — даже не скажешь, что штатский.

Клодинор Сабенса и вправду служил генералу как исправный ординарец: ходил за ним по пятам, слушал лекции академиков и рассказы генерала о том, как прошли предвыборные визиты к академикам, считал и пересчитывал голоса — слава богу, теперь, после столь своевременной смерти полковника, это уже ни к чему.

Впрочем, и автор «Курса португальской грамматики» (1-й, 2-й и 3-й год обучения) несет долю ответственности за то, что генерал избавился от грозного недруга. Клодинор увлекался спиритизмом и время от времени посещал макумбу, на которой полновластно царила тучная Матушка Гразиэла до Буноко, принимавшая среди других, менее значительных божеств могущественного демона, известного под именем Эшу-Семь-Прыжков, Эшу, творящего неопишутельные злодеяния. Если по просьбе Матушки Буноко он вмешивается в какое-нибудь дело — пиши пропало. Если речь идет о деньгах или о любви, о том, чтобы приворожить кого-нибудь или, наоборот, отвести, о зависти или о сглазе, жрица обращается к демонам рангом пониже — к метису Курибоке, помогающему от всех недугов, или к Царице вод Иеманже, специальность которой — любовные дела, или к старому негру Ритасинио — он лучше всех разбирается в лотерее государственной и подпольной и вообще во всем, что касается денег. Эшу-Семь-Прыжков Матушка Гразиэла приберегает для неожиданных просьб, для трудных задач, которые требуют особо тщательной волшбы и самых надежных амулетов.

Сабенса попросил, чтобы Семь-Прыжков закрыл полковнику Перейре путь в Академию — работа предстояла трудная и стоила недешево. Проситель имел в виду лишь поражение на выборах: кровь жертвенных петухов и

воск свечей должны были всего-навсего запереть перед полковником двери в Дом Машадо де Ассиза. Но рука у Эшу, как предупреждала Гразиэла и убедился Сабенса, была тяжелая, и полумерами он не ограничился. Полковник получил полной мерой и скончался.

Генерал Валдомиро Морейра, добрый католик, не поверил в этот вздор. Однако дона Консейсан и Сесилия не сомневались в могуществе Эшу ни минуты и выделили какую-то сумму на покупку кашасы и сигар для демона-благодетеля. Вздор или не вздор, но Сабенса заслужил благодарность.

— В будущем году я похлопочу о премии для него. За опубликованный сборник он сможет получить премию Жозе Вериссимо.— Генерал превосходно осведомлен о всех премиях Бразильской Академии.

— Лучше бы в этом году, папа. Это был бы чудный подарок Кло-кло к рождеству.

— Академическая премия — не рождественский подарок, глупая. Пусть не беспокоится, я позабочусь о нем. И чтоб я больше не слышал этого «Кло-кло»! Дурацкое прозвище! Клодиноп Сабенса — молодой, но многообещающий ученый.

— Папа, а когда ты пройдешь в академики, то станешь важной персоной, да? Там ведь все тузы и шишки?

Воспользовавшись тем, что Сесилия наконец-то проявила хоть какой-то интерес к его академическим делам, генерал разоткровенничался: Бразильская Академия нуждается в обновлении; дело это долгое, потому что звание академика дается пожизненно. Последние выборы показали, что принципы, некогда определявшие отбор «бессмертных», нарушены. Раньше предпочтение отдавалось представителям высших слоев общества, а теперь — писателям, даже если они ничем, кроме литературного дарования, себя не проявили. Дошло до того, что в Академии не представлены вооруженные силы страны. Чудовищная нелепость! Нет, он вовсе не против того, чтобы писателей принимали в Академию, но надо же уметь отбирать достойных, а среди нынешних академикомов есть такие, что не знают элементарных правил грамматики и губят португальский язык. А иные вообще не понимают, какие требования предъявляет мундир «бессмертного» к нравственности. Говоря без ложной скромности, пример правильного отбора в академики — это он, генерал Морейра: писатель, но не просто писатель, а представитель высшего офицерства. Генерал посмотрел на дочь, которая

делила свое внимание между монологом отца и божественным пением Стелы Марис.

— Только не вздумай повторять то, что я тебе рассказал. Никому ни слова, поняла? И особенно академикам!

А вдруг она возьмет и передаст все это Родриго, когда они... Ох, ветреница! А все-таки у него хорошая дочь: золотое сердце, справедливая душа!

САЛАТ-ЛАТУК

Что ж, Морейра прав: сердце у Сесилии золотое. А как она щедра и великодушна к тем, кому вверяется безоглядно, всякий раз тщетно надеясь, что уж этому избраннику она не надоест!

Почему всегда происходит одно и то же? Знакомятся, загораются, влюбляются, ухаживают, соблазняют... Готовы бросить к ее ногам все сокровища царств земных... Сначала все так хорошо: Сесилия изящна и пикантна, она любит, ничего не тая и ничего не оставляя «на потом», — ее возлюбленные проходят с ней полный курс...

Почему же интерес, который она пробуждает, так скоро слабеет, а потом и вовсе гаснет? Один из ее поклонников — самый красивый и глупый — бросил ей жестокий упрек: «Ты слишком обыкновенная!» Другой — не такой красивый, но грубый, — вспоминая кульминационный момент их романа, прибегнул к такому оскорбительному сравнению: «Ты — никакая! Ты похожа на лист салата: он и пышный, и сочный, но без соли и уксуса в горло не лезет! Ты — пресная!»

Сесилия сначала плакала, потом призывала кого-нибудь из своих резервистов. Без возлюбленного она жить не могла. «В кого она такая уродилась?» — ломая голову над этим вопросом, доня Консейсан не находила ответа.

В настоящее время в списке резервистов значится только одно имя, ибо красивый стоматолог, вылитый Хосе Мухика, выбыл из игры, застукан Сесилию с Родриго, — и скоро уже долготерпение и преданность Клодинора Сабенсы будут вознаграждены. Сердце не камень: Сесилия уже позволяет взять себя под руку и украдкой поглядывает на него, поспешно отводя взгляд, если вдруг встретится с ним глазами, и слушает его стихи, вздыхает, когда он кончает читать: «Это мне посвяще-

но?.. Дивные стихи... Я не достойна...» Час торжества близится.

Роман с Родриго был высшим взлетом Сесилии. Аристократ, богач, имя — в газетах, портреты — в журналах в сопровождении самых лестных отзывов. А какой изысканный кавалер! Даже чересчур изысканный... Уж он бы никогда не позволил себе уподобить женщину салату. Родриго — воплощенная воспитанность. Но Сесилия безошибочно чувствует, что уже приелась ему: их встречи становятся все реже. Сначала они виделись ежедневно, потом через день, потом раз в три дня, а сейчас уже — раз в неделю, и что дальше будет — одному богу известно... В последний раз Родриго сказал, что уезжает в Петрополис, там будет встречать и рождество, и Новый год, а вернется лишь в двадцатых числах января, чтобы проголосовать за генерала.

Сесилия вызвалась сопровождать его: она могла бы остановиться в какой-нибудь маленькой гостинице... Однако Родриго с деликатностью, столь ему свойственной, отклонил это предложение: краткая разлука лишь усилит радость новой встречи. Но Сесилия знает, что новой встречи не будет.

Он, впрочем, еще не завтра уезжает. Родриго будет присутствовать на представлении пьесы Антонио Бруно, главную роль в которой играет Мария-Жоан. На следующей неделе — «сейчас буквально ни минуты свободной» — он завезет билеты ей, генералу и доне Консейсан. В своей вступительной речи генерал обязательно должен упомянуть об этой комедии в стихах. Вот что значит воспитание: какой замечательно благовидный предлог для того, чтобы пригласить ее родственников на премьеру! «На будущей неделе...» — сказал он. «В последний раз...» — догадывается Сесилия. Обидно до слез: такой изысканный, утонченный и элегантный... А уж какой любовник!..

Вот тогда-то в первый раз Сесилия и назвала Клодинора Сабенсу нежно — Кло-кло, и в порыве страсти он ответил: Сиса, любимая моя Сиса!

НЕОБХОДИМЫЙ ВИЗИТ

— Визит совершенно обязателен! Ни один кандидат ни под каким видом не смеет уклониться от посещения того или иного академика. А вот академик имеет право

отложить прием кандидата или вовсе отказать ему. Дело кандидата — почтительно испросить разрешения навес- тить члена Академии в удобном тому месте и в удобное для того время.

Старый Франселино, развалившись в кресле в библио- теке Академии, излагает свою точку зрения коллегам, обсуждавшим этот вопрос перед его приходом. Коллеги безмолвно внимают старейшине Академии, одному из ее основателей, «бессмертному» с сорокатрехлетним стажем, непререкаемому авторитету в области устава, правил и традиций этого учреждения.

— Да, я знаю, что в уставе ни слова не сказано о предвыборном визите. Тем не менее этот неписанный за- кон значит больше, чем любой параграф устава Акаде- мии. Это *conditio sine qua non*¹ для того, чтобы кан- дидат прошел на выборах. И боже упаси кандидата ска- зать, что кто-то из академиков ему не нравится или не вызывает у него уважения. В этих степях нет места ан- типатии или вражде: здесь все равноуважаемы.

Он может распространяться об этом часами, посколь- ку главная его задача защитить незыблемость иерархии и авторитет Академии.

— Если академик публично заявил о своем намере- нии поддержать того или иного претендента, это не ос- вобождаст остальных претендентов от необходимости на- носить ему визит. Напротив, в этом случае визит дела- ется еще более обязательным.

Франселино с наслаждением затягивается сигаретой — он выкуривает в день только пять штук, чтобы уберечь- ся от катара и бронхита,— и продолжает:

— Наша Академия — учреждение единственное в сво- ем роде и не имеющее себе равных. К ней должно отно- ситься с восхищением и трепетом. А поскольку Акаде- мия состоит из академиков, логично предположить, что и мы вправе претендовать на восхищение и трепет. Что стало бы с нами без предвыборных визитов?!

Одобрительные восклицания коллег встречают ритори- ческий вопрос престарелого дипломата. А он сурово вы- носит приговор:

— Заявив, что не пойдет к Лизандро с визитом, ге- перал совершил серьезную и непростительную ошибку. На каком основании он позволил себе такое пренебреже- ние? Лизандро поддерживал кандидатуру полковника

¹ Необходимое условие (лат.).

Перейры? Ну и что? Он имел на это право и этим правом воспользовался. А вот генералу права нарушать одну из самых чтимых традиций нашей Академии никто не давал. Он поступил дурно.

Вывод Франселино находит единодушную поддержку среди коллег. Один из них добавляет:

— Этот Мажино не только самодур, но и утомительный болтун. Не знаю, что хуже.

Можно было бы сказать, что генерал Морейра не только самодур и болтун, но еще и сущий младенец в академических делах: он доверительно рассказал двум-трем «бессмертным», что не станет наносить визит Лизадро Лейте, который был так любезен с ним во все время предвыборной кампании и который до сих пор не сложил оружия, подговаривая бывших сторонников Перейры не голосовать за генерала. Генерал считал, что его генеральское достоинство ущемлено, и стал в позу: единственный претендент, по его мнению, может рассчитывать на некоторые вольности и поблажки.

Доверительный разговор перед выборами в Академию смело уподоблю шилу в мешке, особенно если разговор этот обнаружил, что кандидат непочтителен и забывает свое место. Никто ему таких вольностей не позволял и поблажек не давал.

Дом Лизадро Лейте был единственным местом, которое не посетил генерал во время своего предвыборного паломничества. Он трясся в вагоне на пути в Минас-Жерайс, но зато получил обещание полупарализованного новеллиста. В Сан-Пауло генерал отправился самолетом и был самым сердечным образом принят автором «Романсеро бандейрантов»¹. Они вспомнили эпизоды революции 1932 года — поэт в ту пору состоял при штабе полковника Эуклидеса де Фигейредо. Вместо положенных двадцати минут визит продолжался чуть ли не весь вечер. Свой голос творец «Книги псалмов» по укоренившейся привычке обещал отправить прямо в Академию. Путешествие обошлось недешево, но в Рио генерал Морейра вернулся как на крыльях. Не вызывало сомнений, что этот маститый писатель проголосовал бы за генерала, даже если бы тот был не единственным претендентом на место в Академии, а оставался соперником подлеца полковника. Поэт Марио Буэно был генералу собратом по оружию и по лире.

¹ Бандейранты — завоеватели внутренних районов Бразилии в XVI—XVIII вв.

Однако выяснилось, что братство по лире этому человеку дороже. За несколько дней до генерала у него побывал «неистовый партизан» Эвандро Нунес дос Сантос (так стал называть его Аффранио Портела). Он прибыл с единственной целью: обнять Буэно и обсудить с ним предстоящие выборы. Они дружили с незапамятных времен и даже были дальними родственниками: жена поэта приходилась покойной Аните двоюродной сестрой. В свои нечастые наезды в Рио Буэно всегда останавливался в гостеприимном доме на Санта-Терезе.

Вакансия в Академию заставила Эвандро дважды навестить потомка бандейрантов: в первый раз, чтобы уговорить его проголосовать за генерала. Это было нетрудно. Сампайо Перейра — тогда еще майор — после поражения революции 1932 года возглавлял армейскую контрразведку и попортил побежденным много крови, обвиняя их в сепаратизме.

— Да это же форменный «лесной капитан»¹. Как ты мог подумать, что я проголосую за него? Забыл, кто я? Он приезжал ко мне, я принял его любезно и обещал поддержку — я всем обещаю поддержку, потому что хорошо воспитан. Но ясно, что голосовать я буду за генерала: он по крайней мере участник эпопеи тридцать второго года.

Когда же Эвандро приехал к Марио во второй раз и стал просить его не голосовать за Морейру, эта же эпопея 32-го года оказалась серьезным препятствием.

— Может быть, он самодур, бездарность и зануда. Может быть. Не спорю. Но я так редко бываю в Академии, что мне нет никакого дела до его надоедливости!

Это возражение было предусмотрено Эвандро, который знал: все, что имеет отношение к событиям 32-го года, священно для Марио, написавшего героическую песнь «Вперед, за Сан-Пауло!» — единственное по-настоящему скверное произведение из всего его необозримого творческого наследия. Поэтому он выложил свой верный козырь:

— А я-то думал, ты хочешь, чтобы Жозе Фелисиано стал академиком... — Он снял пенсне, тщательно протер его и снова надел. — Помнишь, когда я сообщил тебе о

¹ «Лесной капитан» — в колониальной Бразилии — прозвище охотника за беглыми неграми.

смерти Бруно, мы с тобой в один голос сказали, что только Фелисиано может стать его достойным преемником. Ведь это ты первым назвал его имя. Большой поэт, славный человек и, кроме того, уроженец Сан-Пауло, твой земляк...

— Да разве я спорю! Фелисиано подходит, как никто другой... Но тут вмешались эти вояки...

— Я сразу хотел выдвинуть его кандидатуру, но Аффранио убедил меня, что с полковником Перейрой может сладить только генерал. Он был совершенно прав, хотя, скажу тебе по секрету, никакой генерал не свалил бы этого фашистика. К счастью, Перейра не выдержал битвы и походных передряг и приказал долго жить. Так на черта нам теперь генерал? Ты когда-нибудь слышал, чтобы места в Академии занимали по традиции?! Одно место принадлежит армии! Другое — флоту! Третье — авиации, так, что ли? Завтра явятся полицейские, а за ними пожарники и тоже потребуют себе место в Бразильской Академии! Вот что, Марио: надо провалить на выборах этого зануду, а когда освободится вакансия, выдвинем Фелисиано.

— А... это возможно?

— По моим расчетам, все зависит от тебя.

Марио Буэно любил Жозе Фелисиано как родного брата. Они дружили с юности: вместе околачивались в редакциях, веселились с одними и теми же уличными девчонками, ухаживали за барышнями из хороших семейств, вместе устраивали разгульные празднества в залах, расписанных Лазарем Сегаллом, вместе принимали участие в «Неделе современного искусства» и вместе писали яростные манифесты против Бразильской Академии. В 1932 году Жозе Фелисиано находился в туберкулезном санатории, где ему делали пневмоторакс. Не колеблясь ни минуты, он добровольцем пошел на войну: его чуть ли не силой прогнали продолжать лечение.

— Ладно, старый анархист, твоя взяла! Против генерала я голосовать не буду — он в тридцать втором сражался за нас. Я воздержусь. Результат один, а разница есть.

— Знаю.

— Свой голос приберегу для Жозе. Если он не был тогда вместе с нами, то не по своей вине: врачи вытащили его из окопа. Какой он замечательный поэт, Эвандро! — Буэно обладал редким даром: умел восхищаться другими. — Первый поэт Сан-Пауло!

— Он талантлив, не спору, но первый поэт Сан-Пауло — это ты.

Буэно умел восхищаться другими, но при этом обладал еще одним даром, не столь редким вообще, а среди литераторов распространенным особенно, он умел восхищаться и самим собой.

— Нет, старина. Тут ты не прав. Я не первый поэт Сан-Пауло. Я первый поэт Бразилии.

СОБЫТИЯ, ПРЕДШЕСТВОВАВШИЕ СПЕКТАКЛЮ

За неделю до рождества на сцене театра «Феникс» Мария-Жоан представила на суд нетерпеливой и благосклонной публики комедию в стихах «Мери-Джон», которая была написана Антонио Бруно и снова увидела свет рампы через восемнадцать лет после премьеры. Несмотря на бешеные цены, в зале не было ни одного свободного места: люди стояли вдоль стен и сидели на полу в проходах. Пока не поднялся занавес, жаждавшие продолжали осаждать кассу, объявление над которой извещало: «Все билеты проданы».

В зале был «весь Рио-де-Жанейро», все сколько-нибудь заметные люди бразильской столицы, начиная с министра иностранных дел Араньи — своим присутствием он бросал вызов лицемерию правителей Нового государства — и кончая Стенио Баррето, которому Мария-Жоан послала три билета в ложу, содрав с него за это чудовищную сумму.

Интерес к спектаклю усиленно подогревался в газетах и по радио. Гала-представление, посвященное двадцатилетию сценической деятельности Марии-Жоан — отчет вели с ее первых маленьких ролей в тех ревю, где блистала Маргарита Вилар, — должно было стать гвоздем сезона, крупнейшим событием в театральной жизни столицы.

В течение нескольких дней газеты сообщали, что весь сбор поступит в пользу «Свободной Франции». Об этом проговорился журнал «Дон Казмурро», заранее напечатавший программу, сочиненную Фигейредо Жуниором: «Свой двадцатилетний сценический юбилей Мария-Жоан решила посвятить непокоренной Франции, которую сегодня топчет нацистский сапог, и ее гражданам, борющимся с кровавым захватчиком. Выручка от спектакля будет передана борцам Сопротивления. Все, кто причастен и

этому спектаклю, — от владельцев театра «Феникс» — до машинистов и плотников — будут в этот вечер работать безвозмездно в знак солидарности с первой актрисой бразильского театра, героической борьбой французского народа, потому что это и наша борьба. Комедия Антонио Бруно «Мери-Джон», написанная специально для дебюта Марии-Жоан в драматическом театре и поставленная Леополдо Фроэсом, как нельзя лучше подходит к этому празднику в честь выдающейся актрисы и непокоренной Франции. Автор пьесы — великий, незабвенный Антонио Бруно — считал Францию своей второй родиной. Он долго жил там и воспринял все достижения французской культуры. Сердце его не выдержало зрелища униженной, поработанной Франции. Антонио Бруно стал одной из первых жертв падения Парижа».

Номер еженедельника «Дон Казмурро» не был ни запрещен, ни задержан цензурой, и в пробитую им брешь устремилась вся остальная пресса. Газеты превозносили благородное начинание Марии-Жоан. Высокопарные эпитеты и замысловатые сравнения потоком низвергались на читателей. Стало известно, что начальник ДПП — личность весьма загадочная — собственноручно поставил жирную разрешающую закорючку на корректуре статьи Фигейредо. Впрочем, в этой либеральной позе он пробыл недолго: из того самого кабинета в министерстве обороны, где раньше сидел полковник Перейра, последовал начальственный окрик. Статью объявили крамольной, и ДПП тут же запретил любое упоминание в печати о спектакле, о Франции — оккупированной или сражающейся, все равно, — о нацистах и о маки. Кроме того, запретили перепечатывать программу спектакля.

Но принятые меры не достигли цели. В Рио говорили только о программе Фигейредо и о спектакле «Мери-Джон», билеты добывались чуть ли не в рукопашной. Цена за билет достигла нескольких тысяч, за программу предлагали еще больше.

Стало известно, что в правительстве разыгралась схватка куда более ожесточенная, чем у театральных касс. Наиболее радикальные министры Нового государства требовали запретить спектакль; сторонники сближения с союзниками отстаивали его. Ходили слухи, высказывались предположения, росла напряженность. Рассказывали, будто владельцев «Феникса» Гинлесов пытались запугать и вынудить к расторжению контракта — ничего из этого не вышло. Устроители поклялись сыграть спек-

такль, даже если цензура его запретит: в назначенный час двери «Феникса» откроются для зрителей и поднимется занавес. Актеры будут играть, рискуя попасть в тюрьму и под суд. Передавали, что дочь диктатора Алзира пообещала отцу, что, если спектакль запретят, она явится в театр и будет рукоплескать артистам.

В конце концов спектакль был разрешен с одним непременным условием: нигде — а уж на сцене и подавно — не должно прозвучать и намека на какую-то его связь с антинацистскими организациями Франции. Юбилейный вечер Марии-Жоан «Двадцать лет на сцене» — и все.

Можно сказать, что постановка «Мери-Джоп» переросла рамки своего первоначального замысла и привела к столкновению между бразильскими нацистами и интеллигенцией, решившей еще раз отстаивать свободу. Так уж повелось в нашей стране еще со времен колоний и стихов баиянского мулата Грегорио Матоса.

МАРИЯ-ЖОАН, МЕРИ-ДЖОН, МАРИАННА

Первый шквал рукоплесканий потряс стены театра «Феникс», как только поднялся занавес и зрители увидели декорации Санта-Розы. Это была революция в истории бразильской сценографии, новая эра. Появление каждого актера встречалось аплодисментами, которые перешли в овацию, когда на сцену вышел Прокопио Феррейра. Он играл роль мошенника, выдающего себя за американского киноактера. Преодолевая волнение, Прокопио произнес первые слова еще до того, как стихли рукоплескания. Когда же на сцену вышла Мария-Жоан — мисс Мери-Джон, шалая восемнадцатилетняя сумасбродка, помешавшаяся на американских фильмах, — спектакль пришлось приостановить — овация продолжалась не меньше минуты.

После такого бурного начала публика мало-помалу успокоилась, и первые два акта этой пьесы — драматургически рыхловатой, но написанной великолепными звучными стихами, на которые вдохновила Антонио Бруно красота и бешеный нрав Марии-Жоан — были встречены с веселым одобрением — впрочем, к нему примешивалась легкая тревога: никто не удивился бы, если бы в дверях появились полицейские и потребовали очистить зал.

Когда же начался третий и последний акт, пораженные зрители увидели на сцене, у задника, не только всех

занятых в спектакле актеров, но и всех рабочих сцены, электриков, машинистов, суфлера, Фигейредо Жуниора, режиссера Алваро Морейру — словом, всех, кто принимал участие в постановке. Не хватало лишь Марии-Жоан.

В центре стояла неимоверных размеров корзина с синими, белыми и красными — как французский флаг — цветами. Зрители снова захлопали, и волна аплодисментов достигла своей высшей точки, когда из-за кулис вышла Мария-Жоан в костюме Марианны: трехцветная юбка и блузка, фригийский колпак. Прижав ладонь к груди, она постояла, ожидая, когда стихнет овация. Потом ее хрипловатый голос, в котором всегда чудился отзвук какой-то тайны, голос, который не забудешь, если слышал хоть раз, произнес:

— «Песнь любви покоренному городу». Стихотворение Антонио Бруно. Написано после падения Парижа, незадолго до смерти поэта.

Я не берусь описать состояние зрителей. Никто не думал, что со сцены театра «Феникс» прозвучат строфы преданного анафеме стихотворения. Словно электрический разряд ударил в зал: кто-то вскочил, за ним поднялись еще несколько человек, и вот уже все были на ногах и рукошлესкали. Пока она читала, никто не сел. Воцарилась такая мертвая тишина, что на миг показалось, будто огненные, окровавленные, горькие от слез и прерывающиеся от ярости слова, в которых бились унижение, гнев, ненависть и любовь, всплыли откуда-то из глубин времени, прилетели, проломив стены театра, со всех четырех сторон света.

Первые четверостишия оплакивали город, преданный огню и мечу: напевный голос великой актрисы говорил о грязной реке, бывшей некогда Сеной, о трупах мучеников, о грохоте солдатских сапог, о скорби и безмолвии, об отчаянии и смерти. А потом, будто звонкий зов боевой трубы, зазвучали слова, поднимающие людей на борьбу за освобождение, возвещавшие пришествие нового, светлого дня, воскрешение жизни и любви. Каждую строфу зрители встречали неистовыми рукоплесканиями — такого никто еще не видал.

...Португалка Мария Мануэла, сидя в партере между доной Розариной и местре Афранио, улыбаясь сквозь слезы, шепотом повторяет стихи Бруно — это и ее стихи. На следующий день она уезжает в Каракас и, быть может, никогда больше не увидит Рио, но след ее пребывания остался тут: это ради нее Бруно призвал людей

на борьбу за свободу. Что ж, возможно, Мария Мануэла снимет теперь траур, утешится в своем вдовстве, думает местре Аффранио. Это сделали стихи Бруно.

Слезы текут и по щекам Марии-Жоан, но голос ее по-прежнему звучен и тверд. Финал стихотворения обращен к убийцам и палачам народов: каждое слово — как разрыв гранаты. Над Парижем занимается рассвет, эту зарю зажгла Мария-Жоан, девчонка из предместья Рио, ставшая теперь Марианной — символом свободной Франции.

Париж, Париж, Париж! Твой факел негасим! Весь зал стоит, и Марианна все громче повторяет имя города, которое Бруно написал на бумаге кровью сердца... Те, кто был в тот вечер в театре, поняли раз и навсегда, что угнетение, насилие, смерть не могут победить человека, свободу, жизнь.

Париж! — в последний раз повторила Мария-Жоан, и зал точно взорвался рукоплесканиями: шквал аплодисментов накатывал волна за волной, сотрясал своды театра «Феникс».

В конце третьего действия, когда зрители проводили овацией Мери-Джон, ее партнеров и режиссера, еще раз поставившего комедию Бруно, какая-то женщина в партере — многие узнали поэтессу Беатрис Рейналь — запела «Марсельезу».

Мария-Жоан стала вторить ей со сцены, публика подхватила. Да, это был не просто парадный спектакль в честь юбилея: праздник Марии-Жоан стал победоносной операцией французских партизан.

ПОСЛЕДСТВИЯ

В отместку за этот вечер правительство лишило антрепризу Марии-Жоан обычной дотации. В сезон 1941 года возглавляемая ею труппа собиралась поставить «Кровавую свадьбу» Лорки, новую комедию Жораси Камарго и пьесу под названием «Рио» — первое творение молодого, но стремительно приобретающего известность автора, сотрудника недавно запрещенного журнала «Перспектива», автора хлестких политических статей и памфлетов, несомненного и опасного коммуниста. Звали его Карлос Ласерда.

Когда Марию-Жоан вызвали в ДПП, с начальником которого она была в приятельских отношениях, актриса

немедленно догадалась, о чем пойдет речь. Они сели рядом на черный кожаный диван. Косоватый взгляд ее собеседника был устремлен на высившиеся за окном унылые бетонные громады, на узкий клин залива.

— Мне порой хочется бросить все к черту. Вы вправе спросить, почему же я этого не делаю? Хотите верьте, хотите нет, но я остаюсь на этой должности потому, что могу чему-то помешать, а чему-то помочь. Если бы не я, эту отдушину давно бы уже захлопнули. Теперь вы можете спросить, почему же меня не увольняют? Думаю, что Хозяину нужны такие люди, как я. Он нуждается в противниках, потому до сих пор не подписал отставку Освалдо де Араньи... Чаще всего я терплю поражение, но нельзя же всегда побеждать, правда?

Мария-Жоан улыбнулась ему приветливо и почти сочувственно:

— Не тяпите, я готова ко всему.

— Я очень старался отстоять вашу дотацию. Даю вам честное слово — лез из кожи вон. Но стихи Бруно и «Марсельеза» вызвали грандиозный скандал: наши фюреры чуть с ума не сошли. Им бы очень хотелось посадить за решетку всех участников спектакля, и, разумеется, вас в первую очередь.

Он внимательно посмотрел на сидящую рядом актрису. Как она красива, изящна и вызывающе дерзка!

— Ну, а потом я ознакомился с вашим репертуаром на следующий сезон, и у меня от ужаса волосы встали дыбом. Для начала — Гарсия Лорка, он мой любимый поэт, но наверху его ненавидят: испанский республиканец, все одно что коммунист, расстрелян генералом Франсиско Франко, нашим лучшим другом и союзником. Репутация Жораси Камарго после его пьесы «Да вознаградит вас бог» тоже изрядно подмочена. А этот новый драматург, мальчишка Ласерда! Вы знаете, что его полицейское досье — одно из самых объемистых? Короче говоря, как я ни ораторствовал, ничего не добился, только охрип. — Он помолчал. Косоватый взгляд снова обратился к окну. — Что же вы намерены предпринять?

Мария-Жоан посмотрела туда, куда был устремлен взгляд начальника ДПП: сперва она не видела ничего, кроме бетонных кубов, но потом взгляделась и различила вдалеке полосу моря.

— Буду ставить то, что намечено, пока цензура не запретила.

— А на какие деньги? Мне отлично известно, что «Гедда Габлер» не вызывает нареканий, но и сборов не делает!

— Я достану денег. Это уж моя забота.— Она поднялась.— Как бы там ни было, спасибо вам за старания и за сочувствие. Я вам верю и благодарю вас.

Мария-Жоан протянула ему руку, начальник ДПП поцеловал кончики ее пальцев и проводил актрису до дверей. Проклятая должность: каждый день — проигранное сражение. А он так привык к своей службе, ему трудно будет расстаться с этой строго отмеренной порцией власти и самостоятельности... Он родился в нищете, в захолустье Северо-Востока: ему бы весь век работать на чужой земле, как отец, мать и старшие братья. Но его природный ум и жажда знаний растрогали приходского священника и самого епископа — мальчишку приняли в духовную семинарию на казенный кошт. А уж когда он надел сутану, взялся за книги, то решил добиться власти, чего бы это ни стоило. На поверку оказалось, что стоит это очень дорого — может быть, слишком дорого...

Выйдя на улицу, Мария-Жоан гневно прикусила губу. Никто на свете не заставит ее отступить!.. Вот так и завоевала она себе имя в бразильском театре. Она не свернет с дороги, даже если для постановки этих пьес ей придется провести уик-энд с Вонючкой Баррето. Спектакль «Мери-Джон» вознес ее так высоко над расхожими понятиями добра и зла, что отныне никакая грязь к ней не пристанет.

КАКИМ БЫТЬ РОЖДЕСТВЕНСКОМУ ВЕЧЕРУ?

Седой официант принес кофе. Президент Бразильской Академии Эрмано де Кармо слушает доводы двух корифеев юстиции — председателя Верховного федерального суда Пайвы и председателя апелляционного суда Лейте. Они обсуждают подробности рождественского чаепития, которое служит укреплению дружеских связей между «бессмертными», а также мелкие организационные вопросы.

Это чаепитие происходит в последний четверг перед рождеством — только раз в году допускаются на интимный праздник академиков их жены. Стол еще роскошнее, чем на еженедельных приемах. Президент с супругой

принимает гостей, преподносит дамам цветы и рождественские подарки, а для них нет ничего более соблазнительного и интересного, чем этот праздник: они могут обойти весь Малый Трианон — и библиотеку, и архив, и гостиные, куда обычно им путь заказан. Журналист Аустрежезило де Атайде в своем пространном и беспристрастном репортаже назвал Бразильскую Академию «самым закрытым мужским клубом».

На церемонии вступления нового члена в ряды «бессмертных» дамы в вечерних туалетах от лучших портных, блистающие драгоценностями, тщательно причесанные, парадно-величественные, сидят в актовом зале. А рождественское чаепитие проходит просто и весело: никто не изнемогает от долгих речей. Супруги академиков непринужденно беседуют на разнообразнейшие темы, показывают фотографии внуков, обсуждают домашние дела, жалуются на то, как трудно теперь найти хорошую прислугу, и сетуют на рост цен. Они разговаривают и смеются, а «бессмертные» тем временем проводят быстрое заседание — только чтобы отработать жетон, который по традиции в этот день отдается служащим Академии. В то время каникулы продолжались с первого февраля до конца марта, и, таким образом, рождественский чай не завершал академический год, а был всего лишь поводом к сердечной встрече накануне величайшего христианского праздника.

— ...Он является сюда каждый четверг с таким видом, словно избран до выборов. Еще, пожалуй, притащит на наше чаепитие жену! С него станется! Неужели мы допустим! — горячится Пайва.

Лизандро Лейте, который, с тех пор как узнал, что претендент решил не наносить ему обязательный визит, особенно яростно сопротивлялся попытке генерала стать его собратом, требует формального вето:

— Необходимо разъяснить генералу, что на наши празднества допускаются из посторонних только жены академиков и служащие Академии. Мы никого не зовем и не допускаем незваных.

Эти мелкие сложности протокольного ритуала могут свести с ума! Каждый шаг в Академии регламентирован, и «бессмертные» ревниво следят за неукоснительным соблюдением правил. Президент воздевает руки к небу:

— Я ли ему не намекал! Я ли не давал понять! Если он все-таки придет, я тут ни при чем!

— Намеками и иносказаниями с Мажино не сладишь — потому он и получил это прозвище, — торжественно заявляет Пайва.

— Да я знаю! Я одними намеками не ограничивался. В прошлый четверг я под каким-то нелепым предлогом прямо и открыто уведомил его, что на рождественское чаепитие допускаются только академики, их жены и служащие секретариата. Попробуй пронять такого толстокожего.

— Если он придет, я заберу Мариусию и немедленно уйду, — пригрозил Лизандро.

— Нет, Лизандро, вы этого не сделаете...

— Еще как сделаю! Генерал объявил, что не станет наносить мне визит!

— Именно поэтому вы и не уйдете! Это глупое заявление сослужило генералу дурную службу и многих настроило против него. Но если вы ответите грубостью на грубость и в рождественский вечер покинете своих собратьев, то поставите себя с генералом на одну доску. Тогда он будет вроде бы не так уж не прав. А ведь вы этого не хотите, Лизандро?

— Разумеется, нет. Лизандро сказал не подумав, в нем говорила обида, его можно понять. Лизандро не уйдет. Я ручаюсь.

Лейте не хочется спорить с Пайвой, место которого он собирается занять через несколько месяцев, когда тот выйдет на пенсию.

— Генерал нанес мне оскорбление. Но я постараюсь остаться в рамках приличия.

— Думаю, он не придет. Я говорил с ним, пожалуй, слишком прямо. Боюсь, что в отличие от вас, дорогой Лизандро, мне остаться в рамках приличия не удалось. А если, несмотря ни на что, он все-таки явится? Что тогда?

Служители правосудия дождались, пока президент сам ответит на свой вопрос:

— Во-первых, мы стерпим это, не показав виду. А во-вторых, генерал снова вызовет нарекания. Из всего можно извлечь пользу!

— Конечно! Вы совершенно правы! — восклицает Пайва, которого природа не обделила ни хитростью, ни проницательностью.

СЧАСТЛИВОЕ СЕМЕЙСТВО

Слишком ли толстокожим оказался генерал, считал ли он, что от полноправного членства в Академии его отделяет лишь пустая формальность — церемония приема, после которой он сможет наконец подтянуть разболтавшуюся обитель «бессмертных», — но на рождественское чаепитие он все-таки пришел. В парадном генеральском мундире. С доной Консейсан под руку. Мало того: ему сопутствовали дочь Сесилия и верный друг Сабенса.

Верный друг Сабенса, пылкий претендент на вакантное место в постели Сесилии... Он был счастлив, он шел как под венец.

ПРОИСШЕСТВИЯ В САН-ПАУЛО И РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

Многие академики восприняли смерть полковника Сампайо Перейры с облегчением — теперь их совесть была спокойна. В деятельности же разнообразных карательных органов — столичных и провинциальных, армейских или относящихся к ведомству одной из бесчисленных полиций, — органов, которые занимались борьбой с подрывными идеями и действиями, с либералами, антифашистами, левыми всех разновидностей, ибо все разновидности левых считались коммунистическими, — смерть полковника ничего не изменила, а уж облегчения никому не принесла и подавно.

Не приходится сомневаться, что смерть полковника Перейры, выделявшегося среди коллег особой идеологической твердостью, а также литературным дарованием, была серьезной потерей для службы государственной безопасности, но все же залатали эту дыру очень быстро, и преемника Перейре отыскивали без промедления, что лишний раз подтверждает правоту начальника ДПП, заявлявшего, будто в Бразилии острая нехватка толковых людей во всех без исключения административных сферах кроме полиции. На всех ступенях ее иерархической лестницы имеются хорошо знающие и любящие свое дело специалисты, среди которых особенно выделяется группа заплочных дел мастеров. Приглашенные из гестапо инструкторы не смогли обучить их ничему новому: они

превосходили своих учеников лишь в нескольких, особо замысловатых приемах дознания.

Сразу после Нового года Управление специальной полиции штата Сан-Пауло известило о событии чрезвычайной важности, с которого и началась захлестнувшая всю страну волна полицейского террора. Был совершен налет на тайное собрание, на котором в полном составе присутствовал Центральный Комитет коммунистической партии. Подрывной организации, как сообщалось далее, был нанесен смертельный удар, подготовленный всесторонним расследованием, глубоким изучением обстановки, кропотливым розыском — словом, всем тем, что вызывает законную гордость за систему национальной безопасности, стоящую на страже порядка и общественного спокойствия.

Операция выявила не только выдающиеся организаторские способности тех, кто ею руководил, но и героизм ее рядовых участников, — истинный героизм, поскольку коммунисты, обнаружив, что их центр в Серрадо-Мар блокирован со всех сторон, открыли огонь. В результате перестрелки ранены два агента и убиты шесть коммунистов, среди которых находился усиленно разыскиваемый Рябой. Захвачено пятнадцать партийных руководителей высокого ранга, большое количество оружия и запрещенной литературы. Без сомнения, последуют новые аресты: расследование продолжается, идут допросы. Об участии в этой операции армейских подразделений хвастливое заявление умалчивало.

Через несколько дней начальник полиции Сан-Пауло устроил пресс-конференцию для аккредитованных при его кабинете журналистов и сообщил о новых успехах своего ведомства. В ходе розыска и на основании полученных на допросах данных удалось установить местонахождение тайной типографии, где печаталась газета «А класе операриа» и большая часть партийной литературы. Пять опасных преступников обезврежены.

Репортеры получили возможность осмотреть и сфотографировать трофеи двух грандиозных операций: жалкое вооружение — несколько револьверов, два ружья, искорверканный пулемет, патроны — и множество печатной продукции. Кроме пачки экземпляров последнего номера газеты, там были манифесты, прокламации, памфлеты, в которых содержался анализ международного положения, не опубликованные в печати заявления о начале забасто-

вок, призывы к рабочим и крестьянам оказать финансовую помощь нелегальным организациям, воззвания в защиту политзаключенных. Портреты Маркса, Ленина, Сталина, Димитрова и Престеса. «Песнь любви покоренному городу», напечатанная в виде листовки на оранжевой бумаге.

На этой пресс-конференции начальник полиции представил журналистам товарища Асо¹ — такова была партийная кличка Феликса Браги, известного в своем кругу грубостью и резкостью, а также фанатизмом и нетерпимостью. Недоучившийся студент-медик, Феликс скрывал свое буржуазное происхождение и говорил, что его отец был рабочим на текстильной фабрике. Асо не кончил курса в университете, всецело посвятив себя нелегальной деятельности, и быстро сделал карьеру из-за того, что жестокие удары режима нанесли серьезный урон руководству партии. Он стал членом ЦК и кандидатом в члены Политбюро.

Начальник полиции не забыл упомянуть про важный пост, который занимал Асо, и про то, какую опасность для существующего порядка представлял он, а потом сообщил, что арестованный желает сделать заявление.

Слегка дрожащим голосом Асо прочел документ, составленный и подписанный им накануне — по доброй воле, без всякого принуждения, как особо отметил начальник полиции. Оказавшись в одиночке и получив возможность поразмыслить над своей судьбой, Асо пришел к выводу, что принес свою молодость в жертву недостойному делу: стал активным членом партии, объединяющей в своих рядах предателей и убийц, служащих интересам России. Партия обманывает рабочих и студентов, призывая их на борьбу за ниспровержение устоев общества, против религии, семьи, отчизны. Осознав свою ошибку, он, Феликс Брага, решил публично отречься от своих коммунистических заблуждений и порвать с этой преступной организацией, о чем и свидетельствует настоящее заявление, скрепленное его подписью.

Он читал плохо: путался в словах, запинаясь, повторял уже прочитанное. Журналистам сразу стало ясно, что текст заявления сочинил не он: никогда коммунист, пусть даже отрекшийся, не назовет Советский Союз Россией. Но под документом стояла собственноручная

¹ Асо (аço) — сталь (португ.).

подпись Асо — журналистам позволили сличить ее с подписями на копиях, розданных присутствующим.

После того как унижительная процедура чтения окончилась, начальник полиции снова попросил подтвердить, что заявление сделано Асо по собственной воле, без всякого насилия или угроз. Не поднимая глаз, Феликс сказал, что он раскаялся в своем преступном прошлом и решил лично предостеречь бразильскую молодежь от глетворного воздействия коммунистов. Начальник полиции задал ему еще один вопрос: слышал ли он, чтобы кого-либо из арестованных подвергали пыткам? Нет, отвечал Асо, ни у кого из арестованных он не видел следов истязаний и не слышал, чтобы кто-нибудь жаловался на побои... Вспыхнули блицы, и агенты увели Асо — журналисты расспросить его не смогли. В самом деле, к чему расспросы, если подлежащий публикации материал не может быть ни урезан, ни расширен, ни оспорен, ни подтвержден?!

И вот на первых страницах газет появились жирные заголовки и фотографии на целый разворот; редакционные статьи восхваляли мудрость полиции и обращали внимание юношества на волнующее, искреннее и полное драматизма заявление Феликса Браги, наивного студента, увлеченного в пучину сладкими голосами коммунистических сирен. Целую неделю продолжались похвалы Новому государству и оскорбления по адресу Советского Союза.

Тем не менее ходили упорные слухи о том, что на самом деле события развивались совсем не так: все было менее героично, зато более правдоподобно. Дотошные журналисты выяснили, что эта история началась со случайного ареста молодого активиста, который имел при себе пачку экземпляров газеты «А класе операриа». Он ехал в переполненном автобусе. Чтобы избежать столкновения с неожиданно вынырнувшим из-за поворота грузовиком, водитель резко вывернул руль, и автобус врезался в столб. Юноша потерял равновесие, упал, выронил пакет, из которого посыпались номера запрещенной газеты. Полицейский агент, оказавшийся рядом, задержал юношу и вместе с вещественными доказательствами его вины доставил в Управление.

Там его допросил знаменитый инспектор Аполонио Серафим. На второй день арестованный, уже мало похожий на человека, назвал адреса партийного центра в Серра-до-Мар, подпольной типографии в Браса и сообщил

о тайном заседании ЦК. Сам не свой от радости, Аполонио Серафим кинулся к начальнику полиции, а начальник полиции доложил вышестоящему начальству — командованию военного округа. Тайное заседание ЦК? Военные взяли руководство операцией на себя.

...Когда Асо привели на допрос и он увидел агентов с резиновыми дубинками, дымящуюся сигарету во рту одного из них, плети с узлами на концах, почти приветливую улыбку на лице Аполонио Серафима (Феликс знал его по фотографиям и понаслышке), он покрылся восковой бледностью и почувствовал холод в низу живота. Когда же он заметил у стены двух совершенно голых, избитых, окровавленных людей и узнал в них Бангу и Мартинса, то побелел и похолодел еще сильнее. На полу в луже крови лежал товарищ Гато — лицо его было изуродовано, а сам он то ли потерял сознание, то ли уже умер.

Мартинс и Бангу были рабочими, Гато — известным журналистом. Феликс Брага почувствовал, что сейчас обмочится. Аполонио подошел ближе:

— Ну, сейчас посмотрим, стальной ты или нет...

Он ткнул Асо кулаком в грудь, и тот на миг задохнулся. Аполонио Серафим был не лишен юмора. «Мои руки надо ценить на вес золота», — говорил он, демонстрируя слонопьеи толшины лапы, железные кулачищи. Асохватило одного удара.

— Не бейте меня, ради бога, я все скажу.

И он сказал все, что знал, и подписал заявление, которое потом прочел журналистам. Он лично указывал полицейским группам известные ему конспиративные квартиры и явки. Его признания вызвали новую волну арестов. Чтобы избежать суда и не сидеть с бывшими своими товарищами в одной камере, Асо попросил полковника, который в течение недели вел ежедневные допросы, отправить его в Рио — там он сможет принести больше пользы. Когда через несколько месяцев он был освобожден, от его партийного прошлого не осталось даже ключики, теперь и агентам было известно, что он не из стали.

Такие гнусные и грустные превращения время от времени случаются. Чем непреклонней и решительней держится человек, чем нетерпимей он к недостаткам других, тем слабее он оказывается в час испытания — перед палачом. Тот, кто принимал участие в борьбе, хорошо знает эту истину.

На самом деле Гато, который был распротерт на полу в кабинете следователя, звали Жоакин да Камара Феррейра, и был он журналистом, редактором одной из крупных газет Сан-Пауло. Он вел двойную жизнь: утром писал для своей газеты, вечером — для запрещенного подпольного журнала. Он был веселый, смешливый, дружелюбный человек. Он не требовал, чтобы его товарищи были сделаны из стали, и не обвинял их в мелкобуржуазных пережитках. Две недели беспрестанных пыток не вырвали у него ничего — ничего, кроме ногтей на руках. Однажды утром, когда его доставили из камеры на новые муки, он бросился к окну, разбил стекло и осколками перерезал себе вены. Его бегом отнесли в лазарет и стали выхаживать. Но известие о том, что он арестован и подвергается пыткам, распространилось по редакциям. Его коллеги, профсоюз журналистов, Ассоциация работников печати Сан-Пауло, владельцы газеты, в которой он работал, забеспокоились и предприняли кое-какие шаги. Он не умер, но был судим и осужден, сидел в тюрьме и вышел оттуда по амнистии 1945 года. Гато был полной противоположностью Асо: после освобождения он продолжал борьбу, пока не погиб уже при новом диктаторе.

В Рио-де-Жанейро хватали и сажали не только тех, кого выдал Асо, еще носивший наручники. Многие врачи, инженеры, чиновники, банковские служащие и даже банкиры были арестованы и попали под суд. Их имена значились в списках тех, кто давал деньги для коммунистической партии, а списки обнаружили на проваленных явках.

Полиция ворвалась и в контору неподалеку от «Синеландии», принадлежавшую одному из самых ловких и умелых адвокатов, очень симпатичному человеку, который имел доступ в самые различные сферы и пользовался уважением даже судей Особого трибунала, где он вел дела политических преступников. Ему и его коллегам часто удавалось смягчить приговор, а иногда и добиться оправдания. Этого адвоката звали Летелба Родригес де Брито. Вместе с ним арестовали одного из его коллег и троих его помощников — студентов юридического факультета.

Среди них была и Пруденсия дос Сантос Лейте, больше известная под именем Пру. Хотя она училась только на четвертом курсе, но знаниями и хваткой мог-

ла бы потягаться со многими бакалаврами права. От отца Пру унаследовала упорство, живой ум, добродушие, от матери — красоту и рассудительность.

ОТЕЦ И МАТЬ

Узнав об аресте дочери, Лизандро Лейте едва не сошел с ума. Он без памяти любил жену, детей и внуков, а младшую дочь — неблагодарную, неосторожную девчонку, опрометчиво связавшуюся с коммунистами и не упускавшую случая осудить взгляды и поступки академика, — просто обожал. Занимаясь предвыборной кампанией полковника Перейры, он постоянно находил у себя на столе гневные записки. Лизандро кричал на дочь, грозил и стыдил, но любить не переставал: он был на седьмом небе, когда его коллеги с юридического факультета хвалили способности и усердие Пру — «вся в папу!» — и ее благородную (по их мнению) деятельность в сомнительной (по мнению Лизандро) юридической конторе Летелбы де Брито, который защищал политзаключенных в Особом трибунале.

Чтобы выволить Пру из тюрьмы, он поднял на ноги весь город: бросался к высокопоставленным судебским чиновникам, просил заступничества у военных, с которыми свел знакомство через полковника Перейру, требовал, чтобы президент Эрмано де Кармо действовал от имени Бразильской Академии.

Дни шли за днями, и Лизандро становился все мрачнее и угрюмее. Он начисто утратил свой оптимизм, энергию и доброе расположение духа — неудивительно: ему не только не удалось добиться свидания с дочерью, но и хотя бы узнать, где она находится. Один из военных пообещал заняться этим делом, однако через двое суток сказал, что ничем не сможет помочь: сотрудникам конторы грозят слишком серьезные обвинения — «все они, включая вашу дочь, вляпались по уши».

Однажды ночью, когда Лизандро без сна ворочался на супружеском ложе, донна Мариусия обняла мужа и привлекла его к себе.

— Постарайся уснуть, Лизандро.

— Не получается. Как подумаю об этой безмозглой девчонке, готов, кажется, задуть ее собственными руками, когда вернется.

— Понимаю... Ты боишься, что арест Пру помешает твоему назначению?

— Ничего ты не понимаешь! — взревел Лизандро. — Плевать я хотел на свое назначение! Я боюсь за Пру, вот и все! — Он понизил голос, в котором зазвучали боль и страх: — Там ведь пытаются, ты знаешь об этом?

— Да, Пру говорила... И я читала в тех ее бумажках...

— Это не выдумка коммунистов. Это правда. Они прижигают арестованных горящими сигаретами, вырывают ногти, избивают... Насилуют женщин вшестером, всемером... Стоит мне подумать, что Пру в их власти, а я сижу сложа руки... Где уж тут спать...

Дона Мариусия стала целовать Лизандро глаза, щеки, губы:

— Успокойся! С ней ничего не случится — она твоя дочь, а ты член Бразильской Академии.

Она придвинулась ближе. Лизандро почувствовал прикосновение ее груди и пробормотал:

— Не хочу, не могу, ничего не могу...

— Не стоит так огорчаться — вот увидишь, Пру скоро вернется.

Так и случилось. По ходатайству адвокатов, работающих в Особом трибунале, судьи этой грозной организации заинтересовались судьбой доктора Летелбы и его коллег.

Пру выпустили из тюрьмы глубокой ночью, и, когда она, целая и невредимая, ликуя оттого, что побывала за решеткой, и оттого, что вышла на свободу, появилась в отчем доме, Лизандро встретил ее криками:

— Сама во всем виновата! Хочешь погубить и себя, и нас всех?!

— Не беспокойся, папа, я больше не буду жить у вас. Скоро перееду.

Дона Мариусия разжала объятия:

— Не верь ни единому его слову! Он чуть не умер, пока тебя не было. Глаз не смыкал, совсем потерял аппетит и даже отказался выполнять свои супружеские обязанности, впервые за все годы нашего брака... — с улыбкой прибавила она. — Твой отец тебя обожает.

Пру подошла к Лизандро.

— Разве я не знаю? Этот старый реакционер в глупине души страшно чадолюбив.

Пухлой, мокрой от пота ладонью Лизандро погладил дочь по голове.

— Ты ведь не уедешь? Нет?

— Только если мой бесчеловечный отец выставит меня из дому.

— Совсем ты у меня дурочка...

Пру, как когда-то в детстве, села к отцу на колени.

— Не беспокойся, папа. Я ни чуточки не боялась.

— Конечно, конечно. Ты предоставила это нам: мы тут едва с ума не сошли,— ответила за мужа донна Мариусия.

Она подошла к мужу и дочери. Что ж, из Лизандро можно веревки вить: она под его защитой, он под ее опекой. Пру — отрезанный ломоть, нечего и пытаться вновь командовать ею.

— Отправляйся в ванную, ты грязная, от тебя плохо пахнет. А мы с отцом пошли спать.

— Неужели? — игриво осведомилась мятежная дочь.

Лизандро улыбнулся. Он вновь испытывал голод, жажду, вожделение — он вновь вернулся к жизни.

БРАЗИЛЬСКАЯ АКАДЕМИЯ И ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ

С середины января в Малом Трианоне ежевечерне можно было встретить генерала Валдомиро Морейру. Академики, приходившие забрать адресованную им корреспонденцию, встретиться с читателем или приятелем, перемолвиться словом с президентом, неизменно видели генерала в библиотеке за столом, заваленным книгами,— он что-то читал и выписывал, поражая «бессмертных» своей усидчивостью. Они подходили, заговаривали с ним, желая узнать, чем он занят. Генерал не сердился, когда его отрывали от дела,— напротив, он с удовольствием посвящал любопытных в подробности своей работы. Некоторые академики были уж и не рады, что вызвали громогласного и словоохотливого кандидата на разговор.

Следует уточнить: «единственного кандидата». Именно в этом качестве генерал принялся за сочинение своей речи на вступительной церемонии. Он собирался стать причисленным к лику «бессмертных» сразу по окончании академических каникул. Правда, еще не было мундира с пальмовыми ветвями, но Алтино Алкантара, друг и единомышленник, польщенный таким доказательством уважения и доверия, как просьба генерала произнести речь от лица новых коллег, обещал помочь в том случае, если правительство штата Пернамбуко, отчизны выдающегося

военачальника и литератора, нарушит славный обычай и не пришлет новому академику мундир и шпагу в знак того, что гордится своим земляком, завоевавшим «бессмертие». Если же пернамбуканцы все-таки совершат подобную низость и поспеют, то влиятельный Алтино брался добыть в Сан-Пауло сумму, которой с лихвой хватит на мундир, шпагу, треуголку и вдобавок на шампанское, чтобы отпраздновать великое событие. В память о 32-м годе генерал вправе рассчитывать на благодарность жителей Сан-Пауло — граждане этого штата никогда не забудут тех, кто в трудную минуту был с ними рядом.

В те дни, когда у Клодинора Сабенсы не было вечерних занятий — он совмещал работу в газете с преподаванием португальского языка в одной из муниципальных гимназий, — он сопровождал своего знаменитого друга, отца Сесилии, исполняя при нем обязанности секретаря: приносил и уносил книги, делал выписки. Если же Клодинор был занят, то генерал сочинял и отшлифовывал свою речь.

Место, на которое претендовал генерал Морейра, последовательно принадлежало трем генералам и Антонио Бруно. Но в истории бразильской словесности имелся еще один генерал-литератор — первый покровитель союза меча и лиры. Итого, для вступительной речи следовало изучить творчество пяти писателей.

Генералу Морейре нравился этот классик XVIII века, автор пространной эпической поэмы в двенадцати песнях, названной «Амазонки» и написанной по образу и подобию «Лузиад» Камоэнса. Нынешние читатели не знали его имени, хоть оно и встречалось во всех учебниках и антологиях: историки литературы венчали его лаврами и спорили о том, был он предтечей романтизма в Бразилии или нет. Во всех школьных хрестоматиях можно было встретить биографию генерала и отрывок из его поэмы — по странному совпадению всегда и оди и тот же. Поэма, написанная классическим португальским языком, ласкала слух автора «Языковых пролегоменов», однако Морейра не соглашался с теми критиками, которые находили в «Амазонках» черты романтизма — романтики, по мнению генерала, обращались с португальским языком крайне небрежно, творение же классика было написано с безупречной правильностью.

Поглаживая старинный фолиант — гордость академической библиотеки, — Морейра по очереди наслаждался

всеми двенадцатью песнями, читая верному Сабенсе — чего не стерпишь ради любви?! — страницу за страницей. Генерал сожалел, что раньше не был знаком с этой жемчужиной отечественной классики. «Вы, друг мой, конечно, не раз читали «Амазонок», мне кажется, в вашей «Антологии португальско-бразильской литературы» я видел отрывок...» Сабенса согласно кивал, совершая двойной обман: о, разумеется, он много раз читал поэму, но властный, воинственный, мужественный голос генерала придает безупречным строфам особое очарование. На самом же деле Клодинор и в руки не брал «Амазонок», что характеризует составителя антологии не с лучшей стороны, а просто-напросто привел отрывок, напечатанный во всех хрестоматиях. Он был не одинок: в самом деле, если какой-то добрый человек когда-то уже взял на себя труд выбрать отрывок, то зачем, спрашивается, другим блуждать по двухсотстраничному дремучему лесу туманного и выспренного эпоса?.. Голос Морейры, как колокол, гудел в ушах Сабенсы, а сам он видел перед собой пленительный образ Сесилии и грезил наяву.

Генерал Морейра рассчитывал, что чтение его речи займет около двух часов — это страниц тридцать пять — сорок, из которых три будут посвящены автору «Амазонок». Кандидат в академики сознавал, что память о классике и его поэма требуют большего внимания, но ядром речи должен стать разбор произведений трех генералов, занимавших это место до абсурдного избрания Антонио Бруно. Морейра вгрызался в труды своих предшественников так же отважно, как когда-то ходил в атаку. Это был настоящий пир интеллекта.

Первый генерал оставил потомкам только одип, и довольно тощий, томик в сто двенадцать страниц, который назывался «Знаменательные даты в истории бразильского народа». Под одной обложкой были собраны его речи на различных годовщинах — главным образом по случаю побед, одержанных бразильскими войсками во времена Империи. Тем не менее, речей хватило на то, чтобы их автор, многозвездный генерал, вошел в число членов-учредителей Бразильской Академии. Этот симпатичный старик прожил на свете больше девяноста лет: скупо писал, зато щедро помогал новорожденной Академии, когда она была еще бедна и никому не внушала доверия.

Его преемником стал другой генерал, который, напротив, оставил после себя обширную библиографию, но

умер через несколько месяцев после того, как стал академиком. Он был чрезвычайно плодовит: сочинил восемь толстых томов о войне в Парагвае¹, четыре тома о Цислатинском конфликте, не успев дописать исследование о войне против аргентинского диктатора Росаса: в свет вышел только первый том задуманной серии, а два других остались ненапечатанными. Не напечатаны они и по сей день. Морейра читал некоторые из этих книг и очень высоко их ставил. Он утверждал, что памфлет «Тиран Лопес» очень близок его собственным работам: их обближает одно чувство — пламенный (и слепой) патриотизм.

Третий генерал был известен не только как автор серьезных и очень любопытных исследований о языках, обычаях, верованиях амазонских индейцев. Это была личность почти легендарная: он пересекал дремучие леса, переплывал реки, пробирался через топкие болота, проникал к индейским племенам, которые никогда не видели белого человека. И сочинения его, и поступки были озарены светом истинного гуманизма: он относился к дикарям с симпатией и уважением. Антонио Бруно, говоря о нем в своей речи при вступлении, назвал его поэтом — «не столько книги его, сколько сама жизнь есть воплощение подлинной и высокой поэзии».

Поразмыслив над книгами и судьбами трех генералов, Валдомиро Морейра придумал заглавие, под которым решил опубликовать свою речь, это краткое, но обстоятельное исследование: «Бразильская армия в Бразильской Академии».

На долю Антонио Бруно, который всегда казался генералу поэтом, лишенным мужественности и нравственных устоев, пришлось в речи чуть больше страницы. И то много! Но, как сказал бы этот распущенный виршеплет, перепевавший французов: «Noblesse oblige»².

Генерал пролистал сборники стихотворений и очерков покойного Бруно и остался недоволен как поэзией, так и прозой. Бруно употреблял верлибр (он им злоупотреблял!), пренебрегал строгим размером и точной рифмой, а без этого — что же за стихи?! Зачастую темно по смыслу, туманно... Сюрреализм! Не образ, а иероглиф.

¹ Имеется в виду война, которую Аргентина, Бразилия и Уругвай вели с 1864 по 1870 г. с Парагваем, потерявшим в ходе ее половину территории и 4/5 населения.

² Положение обязывает (*фр.*).

Не чувствуется работы над словом. Множество галлицизмов.

Генерал присутствовал на возобновленном спектакле по пьесе «Мери-Джон» — его пригласил академик Родриго Инасио Фильо — и нашел, что пьеса эта легкомысленная и бапальная. Ну а что касается «Песни любви покоренному городу», то Бруно, если и вправду хотел создать воинственную песнь, призывающую к борьбе, должен был взять за образец «Лузиады» или по крайней мере «Амазонки» — в них черпать вдохновение. Вывод генерала Морейры был таков: Антонио Бруно — дутая величина, пустоцвет, погремушка. Разумеется, он не собирался высказывать свое мнение с трибуны — традиция Академии требовала, чтобы преемник воздал предшественнику хвалу без всяких оговорок.

Однако никто не мог помешать генералу неодобрительно отзываться о легкомысленном барде в частных разговорах во время двухнедельных напряженных трудов в библиотеке Малого Трианона.

Изюминкой речи будет мысль о том, что место, со дня основания Академии принадлежавшее армии, ныне снова занимает представитель вооруженных сил. Славная традиция восстановлена. Бруно был пелепым исключением из замечательного правила.

Одни академики поддакивали, давая болтливому генералу выговориться, другие слушали молча — Морейра воспринимал и то и другое как одобрение и согласие. Единственный кандидат может позволить себе роскошь не скрывать своих взглядов. Антонио Бруно в речи генерала Валдомиро Морейры представал штафиркой сомнительных нравственных качеств, затесавшимся в общество безупречных генералов.

БАЛЬЗАКОВСКАЯ ДАМА

Дона Мариана Синтра да Коста Рибейро направляется туда, где в штофном кресле сидит в углу библиотеки местре Афранио Портела. Оттуда хорошо видна склонившаяся над столом фигура генерала Морейры. Афранио просит извинения и под тем предлогом, что свет бьет в глаза, садится спиной к претенденту. Потом достает из папки пожелтевший ломкий лист бумаги. Вверху — инициалы поэта, под ним — аккуратными, почти рисованными буквами выведено название стихотворения: «Рубаш-

ка». Местре Аффранио протягивает листок даме, которая едва может справиться со своим волнением:

— Вот он. Я храню его как святыню. У каждого свои реликвии, не правда ли?

Глаза доны Марианы влажнеют, по щеке скатывается слеза: гостыя не смахивает ее.

— Последняя его мысль была обо мне... Столько лет прошло, а он не забыл...

Тогда, на панихиде Бруно, местре Аффранио поздравился с нею — она молча стояла в кругу друзей покойного поэта. В осанке этой дамы чувствовалась порода, а в огромных глазах — давняя затаенная грусть. Время не пощадило ее красоту, посеребрило волосы. Местре Аффранио слышал, как она вздыхала: о чем думала эта женщина, какие воспоминания не давали ей покоя?

Потом они не виделись несколько месяцев, а вчера раздался междугородный звонок — большая редкость в те времена. Дона Мариана звонила из Сан-Пауло и просила принять ее. Они условились о встрече в Малом Трианоне, и вот она стоит перед ним, сжимая дрожащими пальцами лист бумаги, слезы катятся по ее щекам, в голосе слышатся еле сдерживаемые рыдания. Но дона Мариана берет себя в руки — это она умеет — и говорит:

— Когда ему исполнилось двадцать лет, мы устроили праздник, который продолжался целые сутки. Мы отправились в ювелирный магазин, и я подарила Бруно часы — он вечно опаздывал на свидания. Мне уже шел тридцать третий год, Антонио называл меня бальзаковской дамой, но он вовсе не хотел меня обидеть — напротив. — Она улыбнулась сквозь слезы.

Местре Аффранио быстро прикинул в уме: на двенадцать лет старше Бруно... значит, сейчас ей примерно шестьдесят шесть. Не скажешь... Она выглядит даже моложе, чем четыре месяца назад: исчезли мешки под глазами.

Словно отгадав его мысли, дона Мариана произносит:

— Да, мне шестьдесят шесть лет. Я не могла встретиться с вами сразу после похорон Бруно, потому что в Сан-Пауло легла в клинику для маленькой пластической операции. Я это сделала по просьбе Алберто — он любит мои глаза, и я убрала мешки, которые их портили.

Алберто да Коста Рибейро — это ее муж, один из финансовых магнатов, кофейный король, крупнейший пред-

приниматель, латифундист, экспортер. Местре Аффранио давно знаком с ним: отец Алберто был компаньоном его тестя.

— Пока не исчезли рубцы, я не могла показаться на людях и жила все это время в нашем поместье в Мато-Гроссо. Там так хорошо... Тихо... А третьего дня мне в руки попал старый номер «Карреты» со статьей Перегрино Жуниора, и я узнала, что перед смертью Бруно написал на листке бумаги слово «Рубашка». Перегрино считает, что это заглавие стихотворения. Вы не можете представить себе, как я разволновалась! В смертный час Бруно думал обо мне, вспоминал свою «бальзаковскую даму»!..

— Это и вправду заглавие стихотворения? — скромно любопытствует местре Аффранио.

— Он не успел написать его. — Дона Мариана поднимает голову, чуть сощуривает глаза («...глаза твои речной воде подобны», — писал когда-то Бруно). — Он так гордо именовал своей студией мансарду на шестом этаже маленького студенческого пансиона на бульваре Сен-Мишель. Пансион сохранился и по сей день на углу улицы Кюжа и Бульмища. Я думала, что встреча с Антонио ломает мне жизнь, а вышло как раз наоборот. — Она глядит в сочувственное лицо Аффранио. — То, что я вам скажу, звучит нелепо, но это чистая правда: Антонио Бруно спас мой брак, это он сделал меня верной и любящей женой.

Ох, эти женщины, любившие Бруно! Все как на подбор — воплощенная тайна, от них голова идет кругом: ничего не поймешь, как ни старайся. Какой роман можно было бы написать!..

— Я очень хорошо запомнила то утро — всю неделю перед этим было пасмурно, небо хмурилось. Когда я проснулась и протянула руки к Антонию, он стоял возле кровати и смотрел на меня с каким-то восторженным выражением на лице. Я... на мне ничего не было... Он улыбнулся своей улыбкой мальчишки-сорванца — помните эту улыбку? — и сказал: «Ты одета в солнечный свет... Я напишу об этом стихи». В то утро он не успел написать, я не дала... Отложили... А перед смертью вспомнил. Вспомнил обо мне!..

Рыдания заглушают ее слова. Она зажимает рот платком, с трудом сдерживается — светская женщина должна владеть собой.

— Давайте поменяемся. Отдайте мне этот листок, а я подарю вам нечто гораздо более ценное. Мне же делать с этим нечего.

Она открывает дорожную сумку и достает оттуда школьную тетрадь.

— В эту тетрадь Антонио написал для меня венок сонетов. К сожалению, они, что называется, не для печати — во всяком случае, не для массового издания. Я подумала, что вы могли бы заказать несколько десятков экземпляров с иллюстрациями... У Алберто много подобных книжечек по-французски и по-английски. Рисунки мог бы сделать Ди Кавальканти, он очень дружен с моим старшим сыном Антонио... — произнеся это имя, она чуть медлит и потом добавляет: — Он вылитый отец.

Афранио начинает перелистывать тетрадку.

— Прошу вас, — говорит дона Мариана, — не сейчас: после того, как я уйду. Я понятия не имею, во что обойдется такое издание, но если вы возьметесь за это дело, готова оплатить все расходы. А потом, когда книжка выйдет, пришлите мне, пожалуйста, экземпляр.

— Я все сделаю, будьте покойны, и возьму все расходы на себя. Где сейчас Ди?

— В Лиссабоне вместе с Антонио — война выгнала их из Франции. Помимо прочего, Антонио унаследовал от отца и страсть к Парижу. Он проводит там больше времени, чем в Сан-Пауло. Сейчас они ждут парохода в Бразилию.

— Как мне распорядиться рукописью?

— Вы можете подарить ее библиотеке Бразильской Академии или Национальной библиотеке — на ваше усмотрение. Держать ее у себя я больше не хочу. Я могу умереть. Что будет, если Алберто обнаружит эту рукопись среди моих вещей? Отныне вы один знаете, что сонеты посвящены мне. Это неизвестно даже моему мужу.

На лифте они спустились в холл. Афранио проводил ее до такси. Шофер читал известия с театра военных действий. Мариана наклонилась, залезая в машину, и местре Афранио улыбнулся, оценив крутизну ее бедер: не случайно Ди Кавальканти был рекомендован в качестве иллюстратора первой, никому не известной книги Антонио Бруно, написанной еще до «Танцовщика и цветка» и еще более вольной. Настоящий уникум, библиографическая редкость.

В библиотеку местре Афранио не вернулся, а пошел на третий этаж, в архив. Там он залпом прочел пятнадцать весьма рискованных сонетов под названием «Посвящение в страсть». Подзаголовок гласил: «Венок сонетов — даме из Сан-Пауло, вакханке из Парижа». Дальше шло посвящение: «М. — моей Марии Медичи».

Дочитав до конца, Портела вернулся к началу и медленно произнес про себя строфы первого сонета, наслаждаясь их звучанием, словно ароматом выдержанного вина:

— Бедрям твоим позавидует даже Венера...

БЫВШАЯ КРАСАВИЦА

I

«Бракосочетание отпрысков двух старинных семейств», «слияние двух крупнейших капиталов» — сообщали газеты, пространно информируя читателей о свадьбе Марианы д'Алмейда Синтра и Алберто Косты Рибейро. И все же это был брак по любви — молодожены по-настоящему любили друг друга, что не так уж часто встречается в высших сферах нашего общества, где чувствами управляют деньги.

Мариана — высокая, пышнотелая, златовласая, казалось, сошла с картины Рубенса (так писал о ней снедаемый страстью поэт Менотти дель Пикшиа), ее прозрачные, как две огромные капли, романтические глаза были всегда устремлены в какую-то неведомую даль. Алберто — рослый, широкоплечий, смуглый красавец, прославленный спортсмен, неизменный победитель всех конкурнппиков, знаток лошадей и конозаводчик, член Жокей-клуба и совладелец отцовской фирмы. Фирма же эта помещалась в Сантосе и занималась экспортом кофе: это она распоряжалась на бирже, то повышая, то понижая курс кофейных акций и лопатой загребая деньги.

Оба семейства владели плодороднейшими землями в штате Сан-Пауло, на которых выращивались самые дорогие сорта кофе. На пастбищах Мато-Гроссо нагуливали вес тысячеголовые стада.

Когда молодые отправились в трехмесячное свадебное путешествие, Мариане было двадцать, Алберто — двадцать пять. Медовый месяц затянулся на четыре с лиш-

ним года: приемы, балы, празднества, прогулки, путешествие в Аргентину, в Соединенные Штаты, в Европу.

Потом все изменилось. После смерти отца Алберто, старшему в семье пришлось одному управлять фирмой и плантациями — мать в дела не вмешивалась. Раньше старик все решения принимал единолично, Алберто только помогал ему делом и советом, высказывал свои соображения, большую же часть времени проводил с женой, преданно и любовно выполняя малейший ее каприз, с готовностью предупреждая все ее желания. «Ах, если бы он не был так деловит в постели», — думала иногда Мариана, тело ее томилось от неудовлетворенного желания, о котором Алберто даже не подозревал, потому что стыдливая Мариана ничем и никогда его не обнаруживала. Их супружеская жизнь текла скучновато и размеренно — Алберто не был склонен скрашивать ее прелестью разнообразия или особой пылкостью. Для того и для другого существовали в Рио и Саптосе французенки.

Постепенно бесконечные дела и лихорадка бизнеса стали поглощать целиком и время, и мысли Алберто, и Мариана увидела, что занимает в его жизни второстепенное место. Муж стал еще более тороплив и озабочен. Канули в прошлое дни счастливой праздности и веселых путешествий: Алберто продолжал колесить по свету, но теперь это были утомительные и краткие деловые поездки. Он еще появлялся в обществе — эти выходы в свет были особенно милы Мариане, — но неохотно, через силу: работа и ответственность тяжким грузом лежали на его плечах. Он продолжал изредка посещать ипподром, но давно уж не ставил рекордов, не покровительствовал жокеям. Конным заводом занимались теперь младшие братья.

И вот через двенадцать лет после чудесного праздника бракосочетания Мариана обнаружила, что семейная ее жизнь зашла в тупик. В один несчастный день, когда с утра лил дождь и одиночество стало совсем нестерпимым, Мариана, устав от пренебрежения и равнодушия мужа, который, как ей казалось, разлюбил ее, решила разводиться. Детей у нее не было, а жизнь все больше становилась никому не нужной, бессмысленной жертвой и сулила только новые унижения и горечь. Случалось, что Алберто по месяцам не заходил к ней, а когда они переехали в новый особняк, выстроенный по проекту Варшавчика, то еще больше отдалились друг от друга.

Она сообщила мужу о своем намерении. Алберто не мог опомниться от удивления, он был поражен. «Ты с ума сошла? Зачем нам разводиться, ведь мы так любим друг друга и так славно живем! А может быть, ты меня разлюбила?..» Нет, Мариана по-прежнему любила Алберто, быть может, и он ее любил, но какое это имело значение, если они почти не виделись, крайне редко ходили в кино, в театр или на какое-нибудь торжество?! «Ты помнишь, когда в последний раз стучался в дверь моей спальни? Два месяца назад!»

Алберто защищался. Мариана сама настояла на отдельной спальне, и его очень задело это безразличие и равнодушие. Взаимному охлаждению немало способствовало и то, что детей у них не было, хотя они страстно мечтали о ребенке. Мариана ходила по врачам, прошла курс лечения, но это ни к чему не привело. Однако и Алберто не был виноват — он тоже проконсультировался у специалиста. Они все больше отдалялись друг от друга, и Мариана начала тосковать. Она была истинной женщиной, созданной для любви — любви же не получала... Слишком гордая, чтобы жаловаться, закованная в броню светской сдержанности, она страдала молча и продолжала настаивать на разводе. Но Алберто обожал жену и не представлял себе жизни без нее. Он предложил компромисс: старшая сестра Марианы Силвия, овдовев два года назад, жила теперь в Париже, снимая целый этаж на Елисейских полях. Почему бы Мариане перед тем, как совершить непоправимый шаг, не провести с ней несколько месяцев? Полгода супружеских каникул. Если они выдержат этот искуc и смогут жить друг без друга, то он согласен на развод. Если же нет, они попробуют предпринять новую попытку восстановить свой брак. Как знать, а вдруг после шести месяцев разлуки все станет как прежде? Кроме того, братья Алберто уже работали в фирме, и средний оказался толковым малым. За это время Алберто постарается переложить на плечи братьев часть груза, который он до сих пор нес один. Мариана согласилась: в глубине души она и сама не хотела разлучаться с мужем.

...На пирсе Алберто помахал ей на прощанье. Забывшись в каюту английского пакетбота, Мариана проплакала весь путь до Марселя. Больше месяца она в Париже жить не собиралась, а остальные пять хотела провести в самом дальнем своем имении, находившемся в штате Мато-Гроссо, на самой границе с Парагваем.

Перебравшись в Париж, Силвия вместе с траурной вуалью оставила в Сан-Пауло все заботы и обязанности. Семейные дела не интересовали ее теперь вовсе. Никто не сказал бы, что она на восемь лет старше Марианы. В Париже она вновь обрела молодость.

— Ах, моя дорогая, всю жизнь я была в самом настоящем рабстве у мужа и сыновей. А теперь муж умер, дети выросли, скоро получают диплом, денег у них сколько угодно, и во мне они не нуждаются. Так что — да здравствует Париж!

Это она представила Бруно Мариане.

— Тебе нужен человек, который сопровождал бы тебя на прогулках, в театр, в ресторан, танцевал бы с тобой. Через две недели в Гранд-Опера бал-маскарад, тебе необходимо заказать себе костюм. Для этого, как, впрочем, и для всего остального, без жиголо не обойтись. Я знаю одного молодого человека, который тебе подойдет. Он хорош собой и пишет стихи.

— А у тебя... есть такой?

— Честно говоря, у меня таких двос. Маленький Жан и большой Андре — они отличаются друг от друга ростом и всем прочим. Я люблю разнообразие.

— Но я-то не люблю разнообразия: для меня существует только один мужчина — Алберто.

— Вот потому, что ты однолюбка, я и рекомендую тебе Бруно. Его зовут Антонио Бруно — студент, поэт и баиянец. Чего еще желать? Лучше его никто не ухаживает за дамами.

— Ты тут совсем сошла с ума! Я хочу не изменить мужу, а забыть его.

— А кто говорит об измене? К чему трагедии? Бруно будет лишь сопровождать тебя, гулять с тобой, водить к модистке, в ресторан. Он станет твоим пажом. А уж дальше — только если ты сама захочешь и не сможешь сопротивляться.

Мариана сопротивлялась ухаживанью, чарам, стихам Бруно больше недели. Она сдалась на девятый день — после костюмированного бала в Гранд-Опера.

В течение восьми дней, предшествовавших этому, она в обществе нежного и дерзкого Антонио — Мариана никогда не называла его Бруно — открывала для себя Париж, так непохожий на тот город, что предстал перед ней раньше, в первый приезд. Ходила в музеи, соборы,

изучила во всех подробностях Нотр-Дам и постепенно полюбила и пошла прелесть этого очаровательного города, прониклась его духом, перестала чувствовать себя там любопытствующей иностранкой. То с Жаном, то с Андре, но неизменно с Сильвией они ночами напролет веселились в бистро и ресторанах, кафе и кабаре — танцевали, смеялись, пили шампанское. Бруно шептал ей нежные признания, читал свои стихи. Влюбился ли в нее этот красивый и нежный, беспечный и взбалмошный юноша? Тонким смуглым профилем он напоминал Мариане мужа — того юного и отважного Алберто, который брал барьеры на скачках, но Алберто безумного и поэтичного. Антонио украдкой целовал ее во время танца — ах, как он танцевал! — и во время прощаний на рассвете, когда совершенно потерявшая стыд Сильвия уходила с тем, кто состоял при ней в этот вечер. Однако дальше поцелуев дело не шло.

Вспомнив комплименты Менотти, Мариана надела на маскарад костюм Марии Медичи, в котором та изображена на картине Рубенса. Надела костюм? Мариана стала подлинной Марией Медичи и королевой бала. Бруно, как и в прошлом году, нарядился арлекином. Тяжелые юбки роброна мешали Мариане быть достойной партнершей Бруно в матчише, но сам он выделял такое, что все остальные прервали танец и стали рукоплескать. Сильвия воспользовалась успехом сестры и улизнула — на этот раз с Андре.

Когда забрезжил рассвет, Мариана — королева и рабыня — обнаружила, что она, хмельная и забывшая обо всем на свете, преодолела шесть маршей крутой лестницы с выщербленными ступенями и лежит в постели юного танцора, бродяги, жиголо, Франсуа Вийона из тропиков — так любил со смехом называть себя Антонио Бруно.

Когда роскошное тело Марианы простерлось рядом с ним, Бруно охватило неукротимое желание. Ни одна женщина не сопротивлялась ему так долго, никого не приходилось соблазнять так упорно, пуская в ход всю науку обольщения. Мариана словно испытывала его терпение — па комплименты и признания она отвечала рассказами о том, какой у нее замечательный муж. Прошли все сроки: искушенный покоритель женских сердец был уже готов признать себя побежденным. Нестерпимое унижение! И вот теперь, в ключья разорвав пышное королевское платье, разорвав пакрахмаленные нижние

юбки, оставив на королеве лишь затканый золотом корсаж и кружевной воротник, он овладел ею яростно и почти грубо. Это был настоящий смерч.

Когда первый порыв миновал и Бруно почувствовал, что начинающая прелюбодейка трепещет и стонет от впервые испытанного наслаждения, ему открылась трагедия этой женщины, тело которой, созданное для нескончаемого любовного праздника, было обречено томиться на скучном супружеском ложе богатого бизнесмена. Алберто, о котором она без усталости рассказывала, мог быть и непревзойденным наездником, и победителем всех турниров, и красавцем, и мультимиллионером — кем угодно! — но в главном деле, определяющем все остальное, он, как легко догадался Бруно, был в высшей степени зауряден.

Овладев Марианой — в сущности, он изнасиловал ее, словно какой-нибудь апаш,— Бруно принялся раздевать ее: не торопясь, не жалея времени, он снимал с королевы одну часть туалета за другой, медлил, задерживался — и наконец добился своего. Мариана воспламенилась и вздрогнула от неведомого прежде ощущения. Тогда, на рассвете их первого дня, впервые прикоснувшись к этому телу, созданному, казалось, кистью Рубенса, Бруно, любовник по профессии и по призванию, увел Мариану от торопливой обыденности к утонченной любовной игре, к разнообразию и полной свободе, которая прежде казалась ей предосудительной и запретной; показал ей, чем может стать умелый поцелуй и искусное прикосновение. И вот она предстала перед ним совсем обнаженной — он увидел ее огромные прозрачные глаза, ее высокую грудь, ее крутые бедра — круп кобылицы, с которой не совладал прославленный наездник Алберто...

Мариана была несведуща, но старательна. Она ответила Бруно мгновенно и бурно — казалось, началось извержение спавшего вулкана: в поднебесье взметнулось пламя, по склону потоком хлынула горячая лава. Убогий чердачок на шестом этаже наполнялся вздохами любви и всей музыкой страсти, запахами удовлетворенной и продолжающей жаждать плоти, женского тела, мужского пота. Его озарял свет, вспыхнувший в глазах Марианы — от слез они казались еще больше. Так началась эта вакханалия, длившаяся три месяца.

Три месяца Мариана стремилась наверстать упущенные годы. Три месяца она отдавала себя без остатка: ей ничего теперь было не надо, кроме этой мансарды, кро-

ме этого баиянского мальчишки-поэта — должно быть, сам «Bon Dieu de France»¹ послал его, избрав своим орудием по-родственному щедрую Силвию. Мариана осыпала его подарками, ловила каждое его слово, каждое четверостишие. Она была валакана, залюблена, зацелована — каждая ночь приносила с собой новые откровения, новые ощущения, новый вкус. Говорили они только по-французски: на этом языке непристойностей нет. Бруно читал ей эротические стихи Бодлера, Верлена, Рембо, Аполлинера и тут же иллюстрировал смелые поэтические образы. Мариана заучивала эти строки наизусть и, вспомнив уроки французского в коллеже при монастыре Des Oiseaux, повторяла их. Как прекрасно было засыпать в объятиях Бруно и просыпаться от умелых прикосновений его пальцев и губ.

Жиголо и бальзаковская дама, авантюрист и вакханка, непреодолимая тяга и непобедимое желание, зов и страсть, голод и жажда. Не довольствуясь чужими стихами, Бруно сочинил для Марианы венок сонетов, каждый из которых воспевал какую-либо часть ее божественного тела. В рифмованных строчках легкомысленных стихов он рассказывал о том, как на бульваре Сен-Мишель любили друг друга Франсуа Вийон из Баии и Мария Медичи из Сан-Пауло.

III

Но роман этот не сводился только к радостям взаимного обладания. Любовь их укреплялась и углублялась в нескончаемых беседах на набережной Сены, за столиком быстро в Сен-Жермен, на скамейке Люксембургского сада. «Этот сад — твой дворец», — говорил Бруно. Мариана поведала ему все свои радости и печали, пересказывала всю свою жизнь — и детские мечты в монастырском коллеже, и первый бал, и то, как она, разборчивая невеста, наследница миллионного состояния, отвергала женихов. Рассказывала и про встречу с Алберто, про безмерную любовь, замужество, кругосветное свадебное путешествие, медовый месяц, продолжавшийся четыре года, а потом — охлаждение, безразличие, мечты о ребенке, отдельные спальни, Алберто, лихорадочно зарабатывавший деньги, разрывавшийся между Сантосом и Сан-Пауло.

¹ Милосердный французский господь (фр.).

Бруно узнал про то, как она в конце концов отчаялась и решила уйти от мужа, тем более что детей у них не было, и о том, как перед окончательным шагом приехала в Париж. Здесь она нашла Антонио и свое счастье.

Счастье? Была ли она и вправду счастлива или только на миг потеряла голову в этом сладчайшем и порочном вихре? Не все ли равно? Развод предрешен — теперь она уже не старалась понять, каково ей живется без Алберто. Она предала его. Все кончено.

Бруно слушал ее с тем нежным участием, которое неизменно — даже в ранней юности — возникало у него, когда он говорил с женщиной, он подхватывал Мариану на руки, заговаривал о чем-нибудь другом, целовал ее огромные прозрачные глаза, чтобы отвлечь возлюбленную от печальных дум.

— Ни у одной женщины на свете, моя королева, нет таких прекрасных глаз и таких бедер.

Он говорил о картинах и канцонах, читал ей сочиненное экспромтом стихотворение, но Мариана любой разговор переводила на Алберто, отныне потерянного навсегда.

Однажды вечером, когда они взобрались наконец по крутой лестнице на шестой этаж, Бруно спросил:

— Чем ты так встревожена? Что с тобой?

Мариана достала из сумочки телеграмму:

— Прочти.

Алберто извещал, что в конце следующей недели прибудет во Францию: он не может больше выносить разлуку и дожидаться окончания им самим установленно-го срока. Дела фирмы переданы братьям, теперь все его время принадлежит Мариане. «Жить без тебя не могу», — прочел Бруно на бланке телеграфной компании «Вестерн».

— Это будет неприятно, да что я говорю, — «неприятно!» — это будет ужасно, но я должна ему сказать, что дальнейшая наша совместная жизнь невозможна, что я ему изменила...

Бруно обнял Мариану и стал раздевать ее, убеждая:

— Ты не сделаешь этого, Мария Медичи, ты ничего не скажешь мужу, потому что любишь его, вот единственная истина, в которую я верю. Зачем же ты хочешь причинить ему страдания?

— С чего ты взял, что я люблю Алберто? Любила, так не обманывала бы...

— Ты говоришь о нем все время, он сопровождает нас как тень, и не будь я таким добродушным парнем, наверняка обиделся бы. Ты не любишь меня — ты просто нуждалась во мне: я дал тебе то, чего тебе не хватало, я открыл тебе наслаждение. Тебя плохо любили до встречи со мной — в этом виноват и твой муж, и ты сама... Разве я не знаю, в какую броню надменности и приличий была ты закована? Я разбил этот панцирь лишь потому, что ты в тот вечер выпила слишком много шампанского... Я взял тебя силой. Я разорвал на тебе платье и обнажил не только тело твое, но и душу. Разве не так?

— Так... — ответила Мариана. Знал или угадал этот юный мудрец?

— Вот видишь. Ты должна вернуться к мужу, ты должна сделать так, чтобы ваше супружеское ложе стало доказательством твоей любви. Отдай Алберто все, что ты получила от меня, все, что я взял у тебя и тебе же вернул. Но пусть это произойдет в день его приезда! А до тех пор ты моя, и больше ничья. Я никогда не забуду тебя, Мария Медичи да Коста. В мой смертный час я вспомню о тебе. А сейчас не будем терять время! Всего несколько дней отпущено нам для нашего прощанья!

— Да, Антонио, ты прав, я люблю Алберто... Но вернуться к нему не могу все равно...

Бруно слегка струсил. Неужели она хочет остаться с ним и превратить веселое, легкое и пикантное приключение в постоянную связь, которая хуже брака?

— Помнишь, я говорил тебе... я не могу связать себя надолго ни с кем, я не рожден для постоянства... Я ведь так — временный...

— Не бойся. Я вернусь в Бразилию.

— Хочу о другом тебе сказать: ты создана для того, чтобы быть верной женой, чтобы любить своего мужа. Не верю, что, переходя из рук в руки, ты найдешь счастье.

— Речь идет не об этом, Антонио. Выслушай меня: кроме стихов и наслаждения, ты подарил мне еще и ребенка. Я сразу предупреждаю тебя, что избавляться от него не собираюсь: я много лет мечтала о сыне. Не волнуйся, это произойдет в Бразилии. Мой сын будет напоминать мне о тебе, о моем временном Антонио.

Лицо Бруно осветилось улыбкой.

— Почему это «мой сын»? Это наш сын, он такой же мой, как и твой!

Целую минуту он о чем-то размышлял, а потом обнял Мариану и поцеловал ее в глаза и в губы. Он заговорил серьезно и раздумчиво, словно в свои двадцать лет был уже умудрен опытом, — так бывает только с поэтами, с теми, кто наделен даром провидения.

— Ведь твой муж тоже хочет ребенка? Да? Видишь, мы и вправду с ним похожи. Не думай, что я забуду о нашем сыне — я знаю, что у тебя родится сын и ты назовешь его Антонио. Ты следишь за моей мыслью? Зачем тебе растить ребенка, рожденного вне брака, одной, без мужа? Ему слишком дорого и долго придется платить за наше увлечение. Лучше всего для нашего Антонио было бы родиться от Алберто Рибейры да Косты, а я хочу своему сыну самого хорошего. Не кричи, не сердись, обдумай все не горячась — и ты поймешь, что я прав. Я хочу дать тебе не только память о наслаждении и сына — я хочу вернуть тебе твоего мужа. Втроем — ты, он и Антонио — вы будете счастливы.

Накануне приезда Алберто, в час прощания, она заплакала и поблагодарила Бруно, а тот сказал, что не забыл о своем обещании написать стихотворение: образ облаженной Марианы, окутанной розовым шелком зари, навсегда остался в его памяти.

Мальчик, зачатый на греховном ложе в мансарде отеля «Сен-Мишель», получил при крещении имя Антонио — в честь святого, покровителя брака, к которому с молитвой обратилась Мариана. Чудо произошло в ночь после приезда мужа: она впервые забыла про свою целомудренную сдержанность и отдалась Алберто с требовательной и жадной страстью. Слепленный муж прошептал:

— Я уверен, что ты подаришь мне сына, любовь моя!..

Потом, уже в Сан-Пауло, появились на свет Алберто-Фильо и Силвия, названная в честь тетки, которая все еще жила в Париже и возвращаться не думала. У нее все было по-прежнему, только теперь она чередовала не маленького Жана с большим Андре, а белокурого, застенчивого американца по имени Боб — американцы входили в моду — с французом Жоржем: без француза, как ни крути, не обойдешься...

Местре Афранио Портела, собирая материал для своего романа, пришел к выводу, что в высшем обществе

Сан-Пауло пет семейства счастливее. Внимательный и преданный муж, верная и любящая жена. Вместе дожив до старости — через четыре года их золотая свадьба, — Мариана и Алберто доказали, что и среди суетных великосветских миллионеров встречается вечная любовь. Этим чудом они обязаны поэтам, ибо там, где речь идет о любви, поэты — не меньшие чудотворцы, чем причисленные к лику святые.

ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ

За неделю до выборов, в душный январский день 1941 года, когда знойное марево придавило город, словно бетонная глыба, единственный кандидат в Бразильскую Академию получил от Алтино Алкантары два отрядных известия, открывающие перед ним самые благоприятные перспективы.

Первое известие касалось мундира и носило чисто экономический характер. Мундир, расшитый на груди, по вороту и на обшлагах золотыми пальмовыми ветвями, стоит целое состояние, если же прибавить к этому стоимость всей дополнительной академической амуниции — треуголки с золотым галуном и белым плюмажем и шпаги с чеканным клинком, — то еще раза в полтора дороже. Алтино Алкантара был приятно удивлен, когда генерал попросил его произнести речь от имени новых коллег на церемонии вступления — он полагал, что этой чести удостоится Родриго Инасио Фильо, один из тех, кто выдвинул кандидатуру Морейры, и, по слухам, интимный друг дома. Алкантара сначала пообещал собрать деньги на великолепное облачение «бессмертного» по подписке среди граждан Сан-Пауло, но вскоре понял, что дело это долгое и хлопотное, хоть генералу, активному участнику боев 32-го года, очень приглянулась по вкусу идея коллективной благодарности жителей великого штата.

Алкантара отказался от своего намерения и решил действовать с черного хода, прибегнув к посредничеству своего друга, который был близок с интервентором¹ штата Пернамбуко. Тот оказался в высшей степени любезным человеком и обещал распорядиться о выделении сверхсметных сумм на мундир для славного земляка. Патриотизм взял верх над политическими разногласиями.

¹ Интервентор — временный представитель президента в каком-либо штате.

«Кроме того, — втолковывал интервентор начальнику полиции, — генерал Валдомиро Морейра сейчас отставлен от командования, метит в академики и никакой опасности для Нового государства не представляет. Официальный дар утихомирит его окончательно, так что эти несколько тысяч пойдут на благое дело».

Благодетель Алкантара не только принес генералу эту радостную новость, но еще и нарисовал ему картину единогласного избрания. Генерал был уверен, что Лизандро Лейте проголосует «против», и этого будет достаточно, чтобы нарушить столь редко встречающееся на выборах единодушие — по пальцам одной руки можно было перечислить академиков, удостоившихся такой чести.

Алтино Алкантара, закулисный политик, владелец одной из самых знаменитых адвокатских контор Сан-Пауло, представлявшей интересы «Португальского банка в Бразилии» и крупных промышленников, после того как в 1937 году правительство разогнало парламент, крайне редко появлялся в Рио-де-Жанейро и еще реже — в Академии. Он был единомышленником генерала Морейры, не скрывал своих симпатий к нему, собирался поздравить его от имени коллег — генерал не делал тайны из своей просьбы, — и потому ни партизаны Эвандро, ни сторонники полковника Перейры во главе с Лизандро даже не намекали ему, что избрание генерала — дело довольно сомнительное, считая эти разговоры пустой и бессмысленной тратой времени. Однако во время одного из редких приездов Алкантары президент Эрмано де Кармо посетовал на достойный сожаления поступок кандидата, который открыто сообщил о том, что не станет наносить визит Лизандро Лейте, нарушив тем самым протокол. Подобный шаг не вызовет одобрения среди академиков.

Перед отъездом в Сан-Пауло Алкантара вручил генералу свой голос, поскольку на самый день выборов у него была назначена совершенно неотложная деловая встреча, которая воспрепятствует его личному участию в голосовании. Алтино попросил извинения за то, что не сможет поздравить нового академика, его почтенную супругу и очаровательную дочь со столь знаменательным событием. Кроме того, он воспользовался случаем и посоветовал кандидату вести себя с Лизандро более гибко, и прежде всего — не быть столь непреклонным в отношении визита.

— Простите меня, друг мой, но здесь затронута честь бразильской армии, генералом которой я являюсь, и моя честь.

Ловкий Алтино нашел выход — он всегда находил выход из любого затруднительного положения.

— Я понимаю, что вы не хотите идти к Лизандро. Сделайте так: оставьте свою визитную карточку у швейцара. Такие случаи бывали. Может быть, тогда Лизандро не станет голосовать против вас, а всего лишь воздержится — и вы будете избраны единогласно.

Последний аргумент подействовал, и генерал дрогнул:

— Вы поговорите с ним?

— Я пришлю ему письмо из Сан-Пауло.

— Хорошо. Я завтра же завезу Лейте свою карточку.

Последовав совету Алкантары, он после слов «Генерал Валдомиро Морейра» приписал на визитной карточке: «приветствует академика Лизандро Лейте». Генерал надеялся, что каналья юрист оценит этот шаг и воздержится от голосования. Выборы увенчаются единогласным избранием, и генерал окажется среди двух-трех счастливых, которые обычно не упускали возможности похвалиться этим редкостным отличием.

КАВАРДАК

Кавардак! Этим словом генерал Валдомиро Морейра пытался примерно определить то, что творилось в его доме в последний январский четверг — день, когда в четыре часа пополудни тридцать девять членов Бразильской Академии соберутся на последнее в этом году заседание, чтобы избрать преемника поэта Антонио Бруно, скончавшегося около четырех месяцев назад. Бывало, что соперничество претендентов становилось таким острым, что никому из них не удавалось набрать нужного числа голосов. Но если на место в Академии претендует только один кандидат, этого можно не бояться.

Кавардак! Слово это было незнакомо доне Консейсан, но, послушав объяснения полубессмертного лингвиста, она готова согласиться: ничего подобного не выпадало ей на долю — ни в девичестве, ни в супружестве. Адская работа, чудовищная ответственность!.. Генеральша, как угорелая кошка — сравнение принадлежит ее мужу, — мечется по дому, отдавая приказания, распределяя поручения. Вот она влетела в кладовую, где Сесилия и Сабенса чистят и нарезают фрукты для крошона, время от

времени, когда никто не видит, обмениваясь поцелуями — счастливый день!

— Как вы думаете, сеньор Сабенса, неужели придет больше пятидесяти человек?

— Да что вы, дона Сейсан! — Сабенса любит уменьшительные имена — это знак уважения и родственной близости. — Какие там пятьдесят! Вы еще не осознали всей значительности события! Стать членом Бразильской Академии — это высшее отличие для человека, посвятившего себя словесности. Рассчитывайте на сотню гостей, самое малое.

— Ах, боже мой, значит, надо заказать побольше пирожков с мясом и жареных куриных ножек — еще по двадцать того и другого... Позвони сеу Антеро, Сесилия.

— Не беспокойтесь, дона Сейсан, я позвоню.

Сама услужливость этот сеньор Сабенса... Если Сесилии суждено вновь выйти замуж — к мужу она не вернется, даже если б и захотела: он ее не примет — и будет прав, — то пусть ее избранником станет такой, как Клодинор: не мальчишка — ему около сорока, — прилично зарабатывает в газете и в гимназии, разведен: через три месяца после свадьбы жена сбежала от него со своим старым любовником (Сесилия и то вытерпела целый год). А кроме того, Клодинор в свои сорок лет уже член Академии, второразрядной, как говорит Морейра, но это он сейчас так говорит, а перед тем, как к нему явилась делегация «бессмертных», сам до смерти хотел туда попасть...

Ох, сейчас ей не до устройства судьбы дочери, не до размышлений о достоинствах Сабенсы — на все воля божья... Клодинор уже позвонил сеу Антеро, поручение исполнено. Дона Консейсан, прежде чем вернуться на кухню в ставку главного командования, восклицает:

— Такие расходы, такие расходы... Окупится ли это?..

На кухне жарятся горы пирожков с треской и другой начинкой. Всем распоряжается Эунисе — неизменная палочка-выручалочка семейства Морейра с незапамятных времен: в расчете на то, что генерал не оставит их своими милостями, ей помогают две ее кузины и свояченица. Одна из этих добровольных помощниц, специалистка по слоям, хлопочет над ватрушками, слойками, «тещиными глазами» и прочей сдобой. Дона Консейсан мимоходом снимает с блюда верхний кренделек — обеденье! В очаге румянится огромный окорок; индейка и

кабанья нога уже готовы. Сеу Арлиндо занимается напитками. После завтрака пришел официант, рекомендованный соседом, — дорого берет, но без него не обойтись. Дона Консейсан не знает только, следует ли удержать с него стоимость хрустального бокала, который официант расколотил, когда мыл посуду. До слез обидно — бокал был из дюжины, подаренной им с мужем на свадьбу... Кроме крюшона, прохладительных напитков и пива, припасены еще три бутылки шотландского виски и две бутылки французского коньяку — все это стоит бешеных денег, но Сесилия, осведомленная о дурных привычках академиков, была неумолима:

— Виски и коньяка должно быть в избытке. — Именно так обстояли дела с этими напитками в гарсоньерке Родриго. — И пожалуйста, не вздумай купить нашего — он как деготь!

Дона Консейсан схватила за голову, но делать было нечего. Счет в банке, где лежали многолетние сбережения четы Мореяра, сильно сократился. Сесилия потребовала, чтобы платья для сегодняшнего вечера и для церемонии вступления в ряды «бессмертных» шились у донь Дины Амаду, ибо знала, что жены академиков заказывают туалеты только у нее... Четыре платья и две шляпы обойдутся в фантастическую сумму — дона Дина дерет со своих клиенток семь шкур.

Дона Консейсан, проинспектировав кухню, дает указания Косме, бывшему ординарцу генерала Мореяры, сменившему военную службу на более мирное и не менее выгодное занятие — он продает лотерейные билеты. Косме был призван под знамена позавчера, на его долю достались трудоемкие операции — установить козлы для стола, перетащить от соседей столы и стулья, натереть пол.

— Паркет должен блестеть как зеркало.

Не забыть бы о лекарстве для Мореяры! Кардиолог, пользующийся генерала, нашел, что давление у него в последнее время подскочило, и прописал еще одно средство. Генерал, хоть и выглядит совершенно спокойным, на самом деле очень волнуется. Дона Консейсан знает, что муж ее властен, но не груб, и если уж он обозвал жену угорелой кошкой, значит, нервы у него напряжены до последней степени.

Дона Консейсан снова оказывается в кладовой, едва не застигнув дочь и Клодинора за прочувствованным нескончаемым поцелуем — счастливый день!

— Сесилия, брось фрукты, этим займется сеу Арлип-до. Ступай на кухню, помоги Эунисе. Еще нужно прибрать в доме. А вы, Клодинор, пойдите к генералу, раз влеките его немножко.

Сабенса посылает Сесилии влюбленный взгляд, Сесилия отвечает Сабенсе взглядом многообещающим. Дона Консейсан вздыхает: если господь явит милость, может, и кончится свадьбой, а не так, как с другими, на полдороге... Ох, Сесилия, ветер в голове!..

Генералу не сидится в качалке — строевым шагом он ходит из одного угла сада в другой. Неумелый новобранец Сабенса никак не может подстроиться и зашагать в ногу со своим другом и — как знать? — будущим тестем. Они еще раз детально обсуждают предстоящие выборы. Клодинору надлежит занять позицию рядом с телефоном в холле, который отделяет комнату, где происходит голосование, от гостиной, где академики пьют чай. Как только избрание совершится, он тут же позвонит и доложит о результатах — единогласно или все-таки ватесался один черный шар. Генерал надеется, что Лизандро Лейте удовлетворится визитной карточкой и не подложит ему свинью. Тогда генерал «готов забыть прежние распри и протянуть коллеге по «бессмертию» руку дружбы» — во всяком случае, так он обещает Сабенсе.

Появляется дона Консейсан с таблеткой и стаканом воды.

— Морейра, прими лекарство. А может быть, тебе сегодня двойную дозу?

— Это еще зачем? Я превосходно себя чувствую. — Он глотает таблетку, запивает ее водой. — К приезду академиков все должно быть в полной готовности. — Улыбка наплывает на его лицо, обычно такое серьезное. В знак неслыханного расположения он щиплет дону Консейсан за щеку. — А завтра отправимся к Пене, придворному портному Бразильской Академии. Снимем мерку...

Избрание генерала заставляет и Сабенсу потратиться на новый костюм, но игра стоит свеч: он получит Сесилию в жены, премию Жозе Вериссимо в награду, а там — чем черт не шутит — и... Если у тебя тесть член Бразильской Академии, он уж шепнет словечко кому надо... В доме генерала Морейры среди невиданного кавардака носится дона Консейсан, все сегодня предаются мечтаньям.

Ренато Мюллер Виейра, посол Бразилии в Мексике, приехал на родину в отпуск как раз накануне выборов. Он стал академиком пять лет назад после жестокой предвыборной борьбы и сейчас должен был впервые голосовать лично. Прежние его наезды в Рио не совпадали с выборами, и он присылал свой бюллетень по почте. Едва получив от полковника Перейры пространную и любезную телеграмму, он тут же обещал ему свою поддержку.

Ренато не был знаком с полковником, хотя, разумеется, слышал о нем. Он ни разу в жизни его не видел и не читал ни единого его творения, о которых велось столько разговоров и споров. Однако посол поторопился отправить Перейре свой голос и поздравления: ведь речь шла о самом влиятельном человеке в правительстве и военных кругах. Полковник мог бы оказать ему поддержку и серьезно помочь в осуществлении давней мечты: если слухи об отставке министра иностранных дел Освалдо де Араньи подтвердятся, то Ренато вполне мог претендовать на этот пост. После того как Гитлер пришел к власти, Ренато некоторое время служил в Германии и считал, что это весомый аргумент в его пользу: он был в прекрасных отношениях с гитлеровскими чиновниками и в те времена, когда правители Бразилии подумывали о заключении договора с Гитлером, немало сделал для сближения Нового государства с третьим рейхом.

Ренато был поэтом и романистом: опубликовал полдесятка сборников герметических стихов и несколько романов-ребусов. Критики превозносили творчество Ренато, видя истоки одиночества и тоски, царившие в его книгах, в романах Достоевского, Джойса и Кафки. В романах Ренато не было Бразилии, в его стихах самый проницательный читатель не нашел бы любви. Из-за того что книги его предназначались самой что ни на есть интеллектуальной элите, их почти никто не читал — не исключая и расхваливавших его критиков, которые, впрочем, не читали также ни Джойса, ни Кафки, в лучшем случае ограничиваясь тем, что перелистывали переводы романов Достоевского, — таково было мнение ехидного драматурга Фигейредо Жуниора. Читали Мюллера Виейру или не читали, но он был дружно провозглашен

гением: литературоведы заявляли, что его романы и стихи отражают наш мятущийся век, наш тревожный мир и не знающее пределов насилие — не войну, объявленную им «целебной и радикальной хирургической операцией», а страсть к насилию, изначально присущую природе человека.

Ренато получил телеграмму и от генерала Валдомиро Морейры. Она была весьма лаконична — в отличие от полковника Перейры, имевшего в своем распоряжении «борьбу с коммунизмом», генерал платил свои кровные денежки. Виейра поблагодарил за честь и ответил, что уже дал слово полковнику. Однако после смерти последнего он получил новое письмо от генерала, оставшегося единственным кандидатом, — тот обращал внимание посла на изменившуюся ситуацию и снова просил поддержки. Виейра в ответ сообщил, что после Нового года приезжает в отпуск и будет иметь честь лично подать свой голос за выдающегося представителя нашей армии. Ренато не сказал, разумеется, как сильно опечалила его кочина могущественного полковника Перейры, который с лихвой отблагодарил бы посла за поддержку. У единственного кандидата иных достоинств, кроме звезд на погонах, не было, однако генерал, пусть даже в отставке и в оппозиции к правительству, все-таки остается генералом. В столице Ренато хотел узнать, насколько достоверны слухи о смещении Освалдо де Араньи, и предпринять шаги по выдвижению собственной кандидатуры на пост министра иностранных дел. Он рассчитывал на помощь друзей, близких к главе государства. Все утро и первую половину дня он провел в Итамарати, а оттуда отправился в Малый Трианон. Коллеги приняли его с распростертыми объятиями, в секретариате он получил жетон — это был знак особого расположения президента, ибо Ренато на заседаниях не появлялся — кое-кто во время чаепития прямо прочил ему министерский портфель. Лизандро Лейте, не удовлетворившись объятиями и бесконечными «добро пожаловать», увлек Ренато к окну:

— Пока вам не успели назвать другое имя, хочу сообщить, что наш Раул Лимейра намерен баллотироваться...

— Ректор университета?

— Он самый. Он не только ректор, он закадычный друг Хозяина. Раул может оказать неоценимую помощь. —

— Да, но чье место собирается занять Лимейра? Неужели кто-нибудь умер, пока я летел из Мехико?

— Никто не умер. Раул станет преемником Антонио Бруно.

— Но ведь им станет генерал...

— Это зависит...

— От чего?

— От того, как вы проголосуете. Ваш голос может оказаться решающим. Раул поручил мне переговорить с вами. Он в долгу не останется...

— Я ничего не понимаю. Выражайтесь яснее!

— Пойдемте в библиотеку. Там мы побеседуем без помехи.

ПРИРОДА ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ

Родриго Инасио Фильо — он только что из Петрополиса — вылезает из машины у входа в Малый Трианон и попадает прямо в когтистые лапы Эвандро Нунеса дос Сантоса:

— Счастливцев, наслаждался жизнью в горах, пока мы задыхались в этой душегубке!..

Под руку они направляются в секретариат. Родриго просит рассказать ему о ходе событий.

— Ну-с, Пламенный Эвандро, как подвигаются ваши партизанские дела? Это ваш кум Портела подсудобил вам такое прозвище.

— Совсем скоро начнем последнюю вылазку. — Эвандро останавливается посреди холла и со смехом снимает пенсне. — Враг взят в кольцо, сейчас мы его уничтожим.

— Подлое вероломство в высшей степени присуще природе человека, — доверительно сообщает ему Родриго.

— Вы так считаете?

— Да. Ведь это я назвал имя Морейры, когда вы с Портелой никак не могли отыскать подходящего по всем статьям генерала. Я был членом делегации, которая явилась к нему и предложила баллотироваться...

— Я тоже там был. Афранио меня вынудил.

— ...я прочел книгу, которую он мне прислал...

— Этого еще не хватало!

— ...я завел интрижку с его дочерью — прелестное существо, жаль, пресновата немножко... Я стал другом дома, чуть ли не родственником. Исходя из всего вышеизложенного, хочу уведомить, что буду голосовать за

генерала — во-первых, у меня хоть совесть будет чиста и спокойна, а во-вторых, не дам вам победить несчастного! Да, подлое вероломство, без сомнения, в высшей степени свойственно человеку.

— Хорош несчастный! Он уже сейчас распоряжается у нас в Академии, как у себя дома, и заявляет, что Бруно — ничтожество и дутая величина! Представьте, что он будет вытворять, когда станет академиком! Шутки в сторону: нам может не хватить вашего голоса. Родриго, одумайтесь! Родриго, вы поступаете против совести! Родриго, послушайте меня!..

Но Родриго непреклонно идет к дверям секретариата.

— Изыди, сатана!

— «Прелестное существо»... «Пресновата немножко»... Идите, идите, расплачивайтесь за свои пашни! Об одном вас прошу: не заводите долгих романов, через четыре месяца мы будем избирать Фелисиано. Вам это известно?

— За него я проголосую с большим удовольствием. Бог даст, и пройдет...

— Вы еще смеете сомневаться? Пока я здесь, никто не сменит погоны на пальмовые ветви. Ни погоны, ни сутану!

— Я вижу перед собой оголтелого антиклерикала...

— Я не антиклерикал, я материалист. У меня множество друзей среди священников — я только не хочу, чтобы Академия провоняла ладаном!

— ...и пацифиста.

— Я демократ! Я дружу и с военными тоже, но не допущу, чтобы они заводили тут казарменную муштру... Место, по традиции принадлежащее вооруженным силам, — нет, вы слышали что-либо подобное?!

УРНА

По заведенному порядку старейшина Академии Франселиво Алмейда позирует фоторепортерам — делает вид, что опускает бюллетень в урну. После того как снимки сделаны, журналистов просят удалиться. Двери комнаты, где происходят выборы, запираются.

Старый служитель — седовласый негр, черный как сажа, элегантный, как английский лорд, — подносит урну Эрмано де Кармо: президент голосует первым. Потом он по очереди обходит всех присутствующих.

Их немного — это последнее заседание перед каникулами. Большинство «бессмертных» спасается от нестерпимой жары где-нибудь в горах, кое-кто уехал на рождество в родные края и еще не вернулся. Старый служака останавливается у каждого кресла, и каждый академик опускает в урну бюллетень. Прежде чем началась процедура выборов, президент подсчитал, сколько писем получено от тех, кто не смог приехать и прислал бюллетень в запечатанном конверте.

Обойдя стол, служака опорожняет урну. Сейчас начнется подсчет голосов. Потом бюллетени сгребут в кучу, служака обольет их бензином, чиркнет спичкой и обратит в пепел. Тайна голосования будет соблюдена.

В соседней комнате журналисты и фоторепортеры пробавляются остатками угощения с академического стола. Обычно во время выборов Малый Трианоп запружен народом — в библиотеке, в холле, в залах толпятся приверженцы того или иного претендента. А когда баллотируется один-единственный кандидат, не будет ни борьбы, ни неожиданностей — следовательно, незачем и приходить. И все-таки кое-кто из любопытных ждет результата. Среди них старый букинист Карлос Рибейра. Когда заседание закроется, генерал повезет сочувствующих к себе, примет поздравления, накормит и напоит.

Рядом со столиком, на котором стоит телефон, дежурит Клодинор Сабенса — он ждет той минуты, когда сможет сообщить генералу Валдомиро Морейре, что тот приобщился к «бессмертию».

СООБЩЕНИЕ ПО ТЕЛЕФОНУ

Сидя в кресле возле телефона, генерал Валдомиро Морейра ждет той минуты, когда его друг Клодинор Сабенса сообщит ему, что он приобщился к «бессмертию». На кандидате парадный мундир (пока еще генеральский, а не академический), серьезное лицо его выражает спокойное достоинство. Рядом дочь Сесилия: она хоть и легкомысленна, но искренне привязана к отцу. Дона Консейсан снует туда-сюда, делая последние приготовления. Обе в новых, с иголки, платьях.

Те гости, что пришли разделить с кандидатом радость великого известия, разбрелись по комнате. Тут соседи, ближайшие друзья, бывшие сослуживцы и однокашники. Они любят накрытым столом, который ломится от

солений и печений, от блюд с окороком, ветчиной, индюшатиной. Посвященные осведомлены о кулинарных галантах Эунисе. В саду Арлиндо сооружает импровизированный бар: ставит кувшины с пивом, чаши с клюшом, прохладительные напитки, пряча до поры бутылки виски и коньяка — они предназначены для академиков и прочих сиятельных лиц.

Как медленно тянется время!.. Генерал ждет, гости переговариваются вполголоса, иногда вдруг слышится сдавленный смешок. В дверях появляется дона Консейсан с последним подносом.

— Еще нет?

В этот самый миг звонит телефон. Генерал снимает трубку. Сесилия раздвигает губы в улыбке. Дона Консейсан замирает.

— Сабенса? Да-да, я. Ну как? Единогласно?

Глаза его вылезают из орбит, челюсть отвисает.

— Что?

Краска заливает лицо, он разжимает пальцы, и телефонная трубка падает. Тело генерала оседает в кресле. Дона Консейсан роняет поднос, пирожки с треской катятся по полу. Она подбегает к мужу, обнимает его.

В телефоне раздается далекое, еле слышное попискивание — это Сабенса кричит: «Алло, алло!» Сесилия поднимает трубку и говорит севшим голосом:

— Приезжай немедленно. С папой плохо...

— Он умер не вовремя, — говорила потом дона Консейсан. — Ему бы умереть после того, как он остался единственным кандидатом и счел себя академиком.

ИЗВЕСТИЕ

Афранио Портела отдал горничной шляпу и трость.

— Доктор Эрмано просил вас позвонить сразу же, как придете: дело очень срочное.

По пути в кабинет местре Портела улыбнулся жене, которая шла к нему навстречу, сгорая от нетерпения. Ожидая, пока президент возьмет трубку, он поцеловал дону Розаринью и пообещал немедленно удовлетворить ее любопытство.

— Сейчас все расскажу.

В трубке раздался голос президента.

— Да, Эрмано, это я! Слушаю! — Его рука, лежащая на плече жены, вдруг судорожно сжалась. — Дьявольщина!

Он повесил трубку и постоял несколько мгновений молча и неподвижно. Дона Розаринья взяла его за локоть.

— Что случилось, Афранио?

— Мы убили генерала!

ВТОРОЙ

Эвандро Нунес дос Сантос вошел в дом. По обе стороны от него шли внуки.

— Ну расскажи!

— Поскорее, миленький, не тяни!

Старик уселся в свое любимое кресло, закурил.

— Генерал набрал шестнадцать голосов,— начал он, поигрывая пенсне,— четырех не хватило до победы. Двенадцать человек воздержались, одиннадцать проголосовали против. История с постоянными местами в Академии кончена. Преемником Бруно станет тот, кто этого заслуживает,—Фелисиано.

— А ты не находишь, что поэты тоже заслуживают постоянного места? — спросила Изабел, страстная поклонница стихов.

Зазвонил телефон. Педро взял трубку:

— Это ваш президент. Наверно, хочет тебя поздравить, он очень взволнован.

— Итак, мы...— начал Эвандро и осекся.— Не может быть! Да-да, очень жаль... Я согласен, это очень печально. Но война есть война.

Он положил трубку и рассказал внукам о случившемся:

— Узнав о результатах голосования, он умер на месте. Мгновенная смерть.

— Инфаркт?

— Называй как хочешь. Я-то считаю, что генерал был убит.

— Это уже второй. Не забудь про полковника Перейру. Знаешь, дед, для одной драки, пожалуй, многовато...

ДВА СТАРЫХ ЛИТЕРАТОРА

Два старых и знаменитых литератора-демократа — умеренный либерал Афранио Портела и тяготеющий к анархизму Эвандро Нунес — тихо выпивали в кафе «Колombo». Дело было на следующий день после выборов. Взгляд местре Портелы скользил по окнам дома напра-

тив, где помещалось ателье мадам Пик. Когда-то из этих окон Роза увидела Антонио Бруно. Теперь у нее собственная мастерская — целый этаж на улице Роварио, — она прислала донне Розаринье свою визитную карточку с предложением услуг.

— Кум, а я начал роман... Послезавтра отправляюсь в свой домик в Терезополисе, сяду за машинку.

— Давно пора.

— Я думал, что «Женщина в зеркале» — моя последняя книга. К гостиным и гарсоньеркам я вкус потерял, родные мои места остались далеко позади, и новую Малужинью мне уже не создать.

— Но ведь я не так давно читал твой рассказ... Там как раз про «Коломбо». Я помню...

Послушав, как Эвандро говорит о его рассказе, мастре Афранио возгордился: он и не знал, что кум прочитал «Пятичасовой чай» и даже что-то запомнил.

— Он был напечатан четыре года назад. Меня вдохновил романчик, который завел Бруно с одной швейкой — раньше она сидела как раз напротив — вон там, на втором этаже. Ну вот я и решил вернуться к ней...

— К швее?

— Да. Теперь-то я знаю, что она из себя представляет, а в рассказе все наврано... Героинями романа будут эта самая Роза и три другие любовницы Бруно. Действие начнется на панихиде.

— Там-то мы и заварили эту кашу, помнишь? Вошел полковник Перейра, отдал честь усопшему... В газетах появились фотографии, чтобы никто не сомневался.

Эвандро поднес рюмку к губам:

— Черт побери, мне теперь нечего делать! Ты будешь сочинять роман, а мне чем заняться? Без войны скучно.

— Пиши мемуары.

— Что ж, из нашей партизанщины может получиться неплохая глава... Генерала похоронили сегодня утром? — Он выпил рюмку до дна.

Прежде чем ответить, Афранио Портела залпом опорожнил свою. Оба держали рюмки перед собой, и казалось, что академики чокаются.

— Сегодня. В одиннадцать. Родриго, разумеется, присутствовал, без него не обошлось.

Он подозвал официанта и спросил счет. Потом, лукаво улыбувшись, взглянул на Эвандро, воскликнул с мрачным пафосом:

— Убийца!

...Два старых литератора, вполне добольные жизнью, медленно идут по улице. Они направляются в книжный магазин — полистать книги, узнать о последних новинках, обсудить триумфы и провалы, купить из-под прилавка иностранные издания, продажа которых в Бразилии запрещена.

МОРАЛЬ

Мораль? Извольте: в мире покуда не уничтожены ни мрак, ни война против собственного народа, ни тирании. Но, как доказывает эта история, всегда можно взрастить семя, зажечь огонь надежды.

СОДЕРЖАНИЕ

Захват холма Мата-Гато, или Дружья народа (Новелла из книги «Пастыри почи»). <i>Перевод Юрия Калугина</i>	7
Лавка чудес (Роман). <i>Перевод Александра Богдановского</i>	119
История любви Полосатого Кота и сеньориты Ласточки. (Сказка). <i>Перевод Лилианы Бреверн</i>	443
Военный мундир, мундир академический и ночная рубашка. (Роман). <i>Перевод Александра Богдановского</i>	473

Амаду Ж.

А 61 Собрание сочинений. В 3-х т. Т. 3. Захват холма Мата-Гато, или Друзья народа; Лавка чудес; История любви Полосатого Кота и сеньориты Ласточки; Военный мундир, мундир академический и ночная рубашка: Пер. с португ./Сост. И. Тертерян. — М.: Худож. лит., 1987. — 687 с.

В том вошли романы: «Лавка чудес», рассказывающий о судьбах народной культуры в современном буржуазном обществе; «Военный мундир, мундир академический и ночная рубашка», образец социальной сатиры с острой антифашистской и антиимпериалистической направленностью; новелла «Захват холма Мата-Гато, или Друзья народа» и сказка,

А $\frac{4703000000-259}{028(01)-87}$ подписное

ББК 84.7Бр

ЖОРЖИ АМАДУ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ТРЕТИЙ

Редактор Л. Бреверн, А. Минин. Художественный редактор Ю. Коннов. Технические редакторы Е. Полонская и В. Нефедова. Корректоры Т. Калинина, И. Филатова

ИБ № 4664

Сдано в набор 28.10.86. Подписано в печать 06.04.87. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага кн.-журн. имп. Гарнитура «Обыкновенная». Печать высокая. Усл. печ. л. 36,12. Усл. кр.-отт. 36,12. Уч.-изд. л. 39,32. Тираж 100 000 экз. Изд. № VII-2110. Заказ № 353. Цена 4 р. 10 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература», 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Ленинградская типография № 2 головное предприятие ордена Трудового Красного Знамени Ленинградского объединения «Техническая книга» им. Евгении Соколовой Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 198052, г. Ленинград, Л-52, Исамайловский проспект, 29.

